



Юрий Смолич

РАССВЕТ НАД МОРЕМ

РОМАН

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРЕВОД
С УКРАИНСКОГО



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Перевод А. Островского (книга первая)
и Л. Нестеренко (книга вторая)

Книга первая

ЧАЙКИ САДЯТСЯ НА ВОДУ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Город жил странной жизнью и сам себя не узнавал.

Он, казалось, был кем-то выдуман нарочно.

Собственно старая Одесса издавна славилась своей сутолокой и сумятицей, как и всякий большой портовый город. С давних времен вошло даже в привычку называть Одессу царством лени и столицей лодырей.

Но молва эта — плод первого, поверхностного впечатления заезжих повес, не видавших Одессы дальше приморских бульваров и центральных улиц, и она несправедлива. Люмпены, мелкая торговая шушера и тьма-тьмущая слетавшихся со всех концов света бездельников создавали только внешний облик одесской улицы тех времен.

В действительности же Одесса со времени основания ее воинственными и отважными ватагами запорожских и донских казаков всегда была городом напряженного созидательного труда.

Город вырастал из собственных недр — из камня-ракушечника, камень этот рубили топорами и резали ручными пилами. Цеховой каменщик-строитель прежних времен — творец Одессы, какой мы видим ее подчас и сегодня. Город жил рыбой — «царицей моря» скумбрией, «жемчужиной юга» кефалью, кормилицей хамсой,— и именно отважный рыбак, вечный труженик, наметил первые черты его великолепного образа.

Одесса сначала родилась как порт, а уже потом как город. Сюда, к причалам тихой гавани, потекло зерно с плодородных земель необъятного украинского и русского черноземного Юга, чтобы претвориться в душистый и сытный хлеб для трапезы всей Западной Европы. Отсюда, из трюмов западных и восточных судов, стоящих на приколе в одесском порту, разнообразнейшие товары — западная мануфактура и восточные

пряности — водными путями, широкими трактами, а со временем и по железной дороге расходились по всей Украине и России. Мореплаватель-флотский, каталь-грузчик и биндюжник-ломовик были в те времена подлинными хозяевами и порта и города. Одесский порт стал колыбелью и первого пролетариата Юга. На рыбачьем улове и урожаях огородников возник консервный промысел. Из портовых мастерских выросли доки, верфи и эллинги. На потребу вывоза поднялись многочисленные фабрики и заводы. Рабочий-пролетарий довершил живой образ порта-великана и города-труженика.

Вечно шумный базар — место продажи рыбаками даров моря и огородниками плодов земли — расцветил лицо города тонами теплыми, мягкими и колоритными.

Торговцы — перекупщики и спекулянты — пришли позднее, одновременно с посредниками между отечественными и заморскими негоциантами. Их нахлынула огромная орава, они скучились в центре города и тотчас же подняли отчаянную суету, галдеж и грызню. Они пожирали друг друга и вместе грабили все вокруг. Они захватили прилегающие к городу земли, прибрали к рукам городские промыслы, положили к себе в карман трудовые сбережения горожан — и узурпировали власть над недрами, водами и, казалось, над самими стихиями.

И город перестал принадлежать коренному, мирному и трудовому населению.

Рыбаки и рабочие — еще недавние хлеборобы на окрестных землях, грузчики и портовый служилый люд — кочующий пролетариат со всех концов Российской империи, пригородные садовники и огородники — все теперь сбились вместе и трудились с утра до ночи на берегу, в заводских дворах и у портовых сооружений. Для жительства им негоциант-грабитель оставил только пыльные и тесные окраины — Пересыпь, Слободку, Молдаванку и Сахалинчик — да узкую кромку песчаного и глинистого берега под кручами Малого, Среднего и Большого Фонтанов.

Именно эти места, заселенные коренными хозяевами — строителями и тружениками Одессы,— и получили от них прозвище: «Одесса-мама».

Коренной одессит редко когда и видел своих властителей.

Одесская аристократия — финансовые и торговые тузы, земельные магнаты и крупные промышленники, которым принадлежали теперь и поверхность таврийской земли и ее недра, а за ними и всякие приживалы аристократии, всегда пренебрегали коренным одесситом. В зимние дни они прятались за тяжелыми жалюзи своих по-восточному роскошных особняков, в летнюю пору — за легкими маркизами своих с парижским шиком меблированных дач на взморье. В предвечерние же часы — и летом и зимой — они вихрем проносились в блестящих кабриолетах, запряженных орловскими рысаками, по мягким торцам

Дерибасовской к Английскому клубу или звонкой мостовой Ришельевской к опере. А улица день и ночь жила своей собственной — суетливой, призрачной и бесплодной — жизнью вселенского сброда. Здесь неизменно царило «уличное столпотворение», суетились турки-лавочники, румыны-негоцианты, греки-комиссионеры и прежде всего матросня всех флотов мира с кораблей, разгружавшихся или принимавших грузы у многочисленных причалов гавани.

Под горячим южным солнцем, овеваемый соленым бризом, весь этот «многоязыкий сброд» беспрестанно суетился и галдел. Облик уличного одессита прежних времен складывался из удивительного, но органического сочетания праздности и лени и столь же неотъемлемых азарта и предприимчивости. Неописуемая сутолока царила в старой Одессе — богатейшем и красивейшем городе юга Украины и России тех времен.

2

Но таким, как осенью тысяча девятьсот восемнадцатого года, город не бывал еще никогда. Он и в самом деле не узнавал себя, а образ жизни его мог вызвать только удивление.

Оставаясь все в тех же своих географических пределах, город вдруг сделался как бы вдвое больше. И впечатление это не было обманчивым: за несколько месяцев восемнадцатого года полумиллионное население Одессы выросло еще чуть ли не на полмиллиона.

То было время утверждения советской власти в рабоче-крестьянской России и время немецкой оккупации и гетманщины на Украине. Спасаясь от «большевистского варварства», русская буржуазия и всероссийская реакция двинулись на юг — в Екатеринодар и Ростов, в Киев и Одессу. В Киеве, Одессе и Екатеринославе — крупнейших украинских городах — сосредоточилась и украинская буржуазия. Ведь к осени восемнадцатого года вся Украина — от западных границ до Донца и от севера до Черного моря — уже запылала в огне народных восстаний против немецких оккупантов и украинской гетманщины. Теперь в Одессу в надежде пробраться за границу съехались петроградские банкиры, московские мануфактурщики, промышленники Донбасса и Кривого Рога. Помещики бежали сюда со всех концов: и из средней полосы России, и с украинского юга.

Дотошные журналисты подсчитали тогда, что в новом «российском Вавилоне» собрались к тому времени владельцы шестидесяти процентов всех принадлежащих отечественному капиталу ценностей в средней полосе России и на Украине.

Следом за финансовой плутократией прибыло и высшее всероссийское — царское и Временного правительства — чинов-

ничество. Прибыли министры, послы, директора департаментов — тайные советники, действительные статские советники и генералы. Прибыли сановники двора его императорского величества. Прибыли великие князья и великие княгини.

Приехали также и руководители всероссийских общественных организаций, промышленных и торговых объединений, земских союзов и союзов городов.

Слетелись и лидеры контрреволюционных партий — и центра, и правых, и левых: октябристы, трудовики, кадеты, эсеры и меньшевики.

Дотошные журналисты путем своих астрологических исчислений тогда же пришли к выводу, что из этих деятелей можно было бы в ту пору создать министерские кабинеты и организовать парламенты — для всех стран Западной и Юго-Западной Европы.

И весь этот сброд безраздельно завладел теперь одесскими кварталами и стал хозяином одесских улиц. Им были битком набиты все одесские рестораны, кафешантаны и театры миниатюр. Ломбарды и комиссионные магазины города ломились и от товаров и от людей — преимущественно сдающих, а не покупающих. На базарах не прекращалась толкучка, а по тротуарам невозможно было пройти.

Улицы когда-то фривольной Одессы вдруг оделись в чопорные рединготы и визитки, а весьма распространенным головным убором стал черный цилиндр в окружении огромных модных шляп и роскошных дамских туалетов. По воскресным дням и престольным праздникам в церквах запестрели шитые золотом мундиры камергеров и камер-юнкеров.

Но еще гуще залило одесские улицы и площади разномастье военной формы. Никогда еще с самого основания Одессы не собиралось здесь столько вооруженных сил. Город вдруг превратился в военный лагерь. Всероссийская контрреволюция избрала его своей штаб-квартирой.

Генерал Деникин под высокой рукой омского «всероссийского правителя» адмирала Колчака формировал и здесь, в Одессе, офицерские отряды для белой «добровольческой армии». Тысячи «дружинников» — «дружин» астраханских, приволжских, донских и кубанских,— сверкая золотом русских погонов на новеньких английских и американских шинелях, пьянствовали по ресторанам, безобразничали в шантанах и фланировали по одесским бульварам.

Время от времени эскадрон офицеров-добрармейцев во всей своей красе, гарцуя на резвых конях, проезжал по улицам с залихватскими песнями. Пели:

Оружьем на солнце сверкая,
Под звуки лихих трубачей,
По улицам, пыль поднимая,
Проходил полк гусар-усачей...

Новехонькое оружие «гусар-усачей» и в самом деле сверкало на солнце и было все, до последнего винтика, английским и американским.

Гетман Скоропадский, осажденный в столице Киеве повстанцами, в Одессе, однако, держался крепко, и гетманские сердюки и серожупанники в новенькой, с иголочки, австрийской и немецкой форме составляли пышный Одесский гарнизон. Гетманцы были «законной» властью в городе, и потому для укрепления престижа власти и демонстрации ее вооруженных сил они ежедневно маршировали по улицам, непременно в сопровождении духового оркестра.

Оркестры исполняли попурри из украинских песен в перемежку с бравым «Майн либер Аугустин». Оружие у гетманских вояк было немецкое и австрийское.

Одновременно сколачивались в Одессе и «украинские республиканские» — с ориентацией на петлюровскую директорию — «охочекомонные» [1] казацкие отряды. Одесские портные спешно мастерили для них синие жупаны, красные шаровары и смушковые шапки с длиннющими шлыками.

Гетманское командование еще не имело точных указаний, какую занять позицию по отношению к своему внутреннему врагу, и на всякий случай ждало прояснения ситуации.

«Охочекомонное» казачество собиралось кучками на перекрестках и орало «Ще не вмерла Украина».

Оружия у казаков пока еще не было.

Не меньше «шпацировало» по Одессе и хлыщеватых польских легионеров — с бело-малиновыми шевронами на голубых французских шинелях и в диковинных четырехугольных фуражках с огромными, окованными медью козырьками. Войско польское под белым орлом готовилось к походу против большевиков — за «Великопольщу од можа до можа», и отсюда, от берегов Черного моря, польские националисты-белогвардейцы собирались начать свой маршрут.

Муштровали белополяков бельгийские офицеры — из инструкторов при авиационном заводе Анатры,— задержавшиеся здесь еще с недавних времен мировой войны, когда они действовали в составе авиации русской армии.

Кроме того, в Одессе были еще сербские дружинники, хорватские четники, македонские партизаны, чешские боевики — мелкие формирования из бывших военнопленных австро-немецкой армии, одетые ныне в мундиры с плеча побежденных немцев и австрийцев.

Немцев и австрийцев,— несмотря на то, что война уже закончилась, оккупация была сорвана восставшим народом, а в самих Германии и Австро-Венгрии вспыхнула революция,— тоже было в Одессе еще немало.

---

[1] См. примечания в конце книги.

Командующий австро-немецкой оккупационной армией генерал фон Бельц только что застрелился в припадке отчаяния, а солдатские массы частью подались домой, частью задержались, организовав свои советы солдатских депутатов.

Зато к этому времени уже появились невиданные здесь раньше англичане и французы. Английские и французские инструкторы с румынского фронта и английские и французские моряки с сумбарин восточного союзного флота прохаживались среди разномастной вооруженной толпы с особенной важностью и пользовались особенным успехом у дам.

Ибо Одесса со дня на день ждала крупного десанта американо-англо-французских войск.

Руководство Антанты — английский премьер Ллойд-Джордж и французский премьер Клемансо, совместно с президентом Соединенных Штатов Америки Вильсоном,— уже приступило к широким, всеобъемлющим интервенционистским операциям против Советской страны. Американо-английский десант еще с лета свирепствовал на Севере — возле Архангельска и Мурманска. Американо-японские войска заливали кровью Дальний Восток и Сибирь. Англичане высадили свои войска на Кавказе. Теперь на очереди были Крым и юг Украины.

В румынском городе Яссах, в ставке командования вооруженными силами союзных армий на Ближнем Востоке, как раз в это время происходило совещание держав Антанты с военным командованием и посланцами российской и украинской контрреволюции. Обсуждался масштаб и определялся срок начала интервенции на юге России и Украины.

Всероссийская контрреволюция с нетерпением ждала прибытия «освободителей» — интервенционистскую армию Антанты.

На Дерибасовской ходили слухи, что союзники должны прибыть и высадиться не позднее чем завтра. С Николаевского бульвара высматривали, не прибудут ли они еще сегодня.

Впрочем, наивысший в Одессе авторитет по международным вопросам — ресторатор при гостинице «Лондонская», не то румын, не то итальянец Штени — скептически утверждал, что союзную армию нужно ждать не раньше чем в декабре.

А сейчас еще шел конец ноября.

И был чудесный, возможный в эту пору только в Одессе, теплый, солнечный осенний день.

Дамы, накинув меховые боа, ходили в осенних костюмах, мужчины — распахнув демисезонные пальто.

Но Сашко Птаха — коренной одессит, родившийся под одесским солнцем, в рыбачьем курене между Ланжероном и Отрадой, и овеянный сызмалу всеми ветрами одесской бухты — горовым, дофиновским, трамонтаной,— вышел сегодня в одной полосатой тельняшке, только накинув отцовский

жакет. Жакет, взятый тайком, пока отец еще не вернулся с утренней тони, Сашко решил прихватить на всякий случай: он не знал, когда придется возвращаться домой, быть может и поздней ночью, когда падет на берег холодный осенний туман. Сашко не распоряжался своим временем. Жизнь Сашка́ принадлежала революции, и временем его распоряжался подпольный большевистский комитет. Хлопцу только что исполнилось шестнадцать лет, но комсомолец Сашко Птаха выполнял ответственнейшие функции связи в одесском подполье.

3

День был и вправду чудесный, как, впрочем, и вообще чудесно было жить на свете!

Не спеши он к месту явки, Сашко даже окунулся бы разок. Ведь он купался до первых морозов — пока не покрывались ледяной коркой каменные глыбы на ланжероновском пляже.

На миг Сашко остановился на откосе и с грустью поглядел на легкую рябь у берега застывшего в мертвом штиле моря. Он колебался. В шестнадцать лет так трудно отказаться от малейшей радости бытия. Какое это наслаждение: прыгнуть в холодную воду, от которой захватывает дух, тело становится неощутимым, а мускулы — всемогущими! Да и погодка какая! Ни волны́ на море, ни ветерка в небе; воздух застыл, и лишь вдали, у самого горизонта, видно, как он дрожит и струится, согретый солнечными лучами, над бескрайным зеркалом холодной воды...

Но Сашко все-таки превозмог почти неопреодолимое желание. Он нахмурил те места на лице, где у людей растут брови, а у него лишь кудрявился легкий пух — так Сашко делал всегда, когда приходилось призывать на помощь волю,— и пристально оглядел бухту.

За Рейдовым молом, против Карантинной гавани, высились мачты нескольких судов. Это были мелкие суда Русского добровольного флота и ропитовские баржи — «Российского объединения пароходства и торговли»,— которые теперь подвозили белой деникинской добровольческой армии из Константинополя и Салоник английское военное снаряжение, а обратным рейсом везли в Салоники и Константинополь награбленные на Украине пшеницу и сахар для снабжения войск Антанты на Ближнем Востоке.

На Малом рейде, как и вчера, стояла большая моторная яхта со спортивной оснасткой, под французским флагом. Она прибыла вчера еще на рассвете и высадила на берег только одного какого-то «пижона». На берегу пошел слух, что прибыл самый главный представитель Антанты, который будет руково-

дить высадкой иностранного десанта. Оно, конечно, похоже было и на правду: для какой-нибудь мелкоты не гоняли бы через море такую роскошную посудину. Но сегодня надо было разузнать, какие такие главные полномочия у этого антантовского представителя,— ведь недаром же Сашко вторую неделю связан с большевистским подпольем!

На Большом рейде было пустынно. На горизонте за бухтой тоже не видно ни одного дыма. Надо думать, что Антанта сегодня еще не прибудет.

Минутку Сашко постоял задумавшись. Он, пожалуй, не столько раздумывал, сколько просто с наслаждением грелся, подставляя солнечным лучам раскрытую грудь и свое шершавое от солнечных лишаев, веснушчатое лицо. Чайки кружили у Карантинного мола, и Сашко с интересом следил за ними.

Чайка — компас рыбака, да и барометр тоже. Чайка кружит, высматривая добычу. Чайка падает, чтоб ухватить рыбешку. Одинокая чайка не интересует рыбака. Рыбак приглядывается к большой стае чаек. Стаями летят чайки за косяками. За стаей чаек гонит и рыбак фелюгу.

Высоко поднимется чайка — рыбак ожидает ненастья.

Чайки садятся на воду — будет на море погода.

Чайки у мола не летали высоко и не падали камнем вниз. Они спокойно садились на волну, трепыхая крыльями, перелетали с места на место. Ерунда! Чайки гонялись за глупой верховодкой-хамсой. Скумбрия и кефаль уже прошли.

Сашко Птаха любил птиц. Но особое пристрастие питал он к веселым и нежным голубям. И был Сашко первейшим голубятником среди всех голубятников от Ланжерона до Люстдорфа. Турман Сашка́ Малютка на состязаниях в Аркадии взял первый приз. За турмана теперь давали двадцать пять австрийских крон. Но Сашко не продавал голубей. Разве продаются за деньги нежные друзья? Сашко давал согласие только на обмен: за турмана Малютку — горлинку Быструю. Из горлинки Быстрой Сашко, безусловно, сделал бы чемпиона всей Одессы, не устояли бы ни молдаванские, ни пересыпчанские и даже дофиновские голуби!..

Но надо было спешить, и, снова сделав попытку нахмуриться, Сашко отвернулся от моря.

Теперь перед ним был город.

Вверху, на круче, возвышались фантастические башни и сверкали оконные фонари роскошных дач Французского бульвара; там жили, не ведая горя, наследники Маразли и Анатр. Их фамильные особняки утопали в густых, чуть прихваченных золотом осени парках, изобилующих заморскими растениями, и даже в такой ранний час оттуда долетали рулады голосов и аккорды роялей: самые младшие отпрыски одесских тузов и шишек брали утренние уроки музыки. Довольством, покоем

и весельем дышал Французский бульвар — вотчина одесской аристократии.

Внизу, под кручей, на юру, жались к морю землянки-мазанки рыбаков и портовых грузчиков.

Курень Птахи ничем не отличался от прочих рыбачьих мазанок. Сложенный из ракушечника, крытый толем и старой жестью, он был о двух оконцах, каждое величиной с корабельный иллюминатор, с низкими дверками, сделанными из ящиков из-под мессинских апельсинов. Украшали мазанку только крученые паничи, обвивавшие переднюю стену. Все лето курень красовался в ярком — розовом, голубом и лиловом — цветении крученых паничей. Но была осень — крученые паничи уже отцвели, и широкие листья их почернели на высохших стеблях. Теперь, под кружевом сухих плетей, мазанка обнажила свои рыжие, некрашеные стены. Убогая рыбачья снасть понуро свисала с кольев вокруг «веранды». «Веранда» — старый, ржавый парус на четырех кольях, тоже оплетенных паничами и хмелем,— была гордостью Сашка. Сашко сам соорудил ее и собственноручно обсадил цветами, чтобы порадовать отца и мать. Но сейчас, осенью, и веранда отслужила свое и являла зрелище грустное и неуютное.

Впрочем, Сашко и не смотрел на веранду. Он озабоченно поглядывал на крышу: там, на чердаке, превращенном в голубятню, жили его голуби — двенадцать пар и чемпион Малютка. Сашко только что засыпал птицам корм на целый день, а вечером, как всегда, надо было бы погонять голубей, чтоб не жирели. Только вернется ли Сашко до вечера? Не придется ли, упаси боже, нарушить строгий голубиный режим? Ведь нарушение режима, безусловно, может отразиться на летных качествах Малютки.

Но надо было спешить, и Сашко быстрым шагом направился к куреню.

В курень он не зашел. Напротив, взял старое весло и припер им низенькие двери. Это должно было означать, что хозяев дома нет, хата заперта и недобрым людям вход воспрещается,— ключи и замки не были в почете на рыбацком берегу. Сашко обошел курень, пробрался сквозь заросли сухой полыни и очутился под самой кручей. Тут, почти у самой земли, в небольшой пещерке, прикрытой куском фанеры и присыпанной сверху глиной, был у Сашка тайничок. Сашко отодвинул фанеру и вынул из тайника ящичек с подставкой для ноги наверху и двумя щетками и набором баночек гуталина внутри. Ящик был на ремне, и Сашко легко закинул его за плечо. Затем он аккуратно закрыл и засыпал глиной пещерку и, прячась за кустами полыни, двинулся вдоль кручи к тропинке, ведущей в Александровский парк. Свою причастность к вольной корпорации чистильщиков обуви Сашко вынужден был тщательно скрывать.

Дело в том, что отец Сашка́, старик Птаха Петро Васильевич — рыбак «в сезон» и грузчик Карантинной гавани в «не сезон» — категорически запрещал сыну добывать деньги чисткой сапог. Вольный рыбак и независимый грузчик, Петро Васильевич Птаха жестоко презирал сию жалкую профессию панских холуев, пресмыкающихся перед лодырями с Дерибасовской. Сказать по правде, Сашко и сам недолюбливал это занятие подростков,— подозрение в малолетстве было нестерпимо для его шестнадцатилетнего юношеского самолюбия. И он прибегал к щеткам и гуталину только в тех случаях, когда не было уже никакого другого способа раздобыть денег на корм голубям.

Но что могло быть лучшей конспирацией для подпольного связного, чем личина чистильщика сапог?

Молодой пересыпский слесарь с завода Гена Коля Столяров, в группе которого Сашко начал свою деятельность в качестве связного, так и сказал Сашко о Союзе рабочей молодежи, бывшем Молодежном революционном интернационале — «Моревинте»:

— Мы теперь комсомол, то есть Коммунистический союз молодежи — организация юных большевиков. Большевистская партия сейчас в подполье. Значит, в подполье и мы. Каждый из нас должен иметь два лица: легальное и нелегальное. Легально — ты Сашко Птаха, сын рыбака с Ланжерона. Нелегально — ты беспризорный, чистильщик сапог. Ты будешь связным между подпольщиками-большевиками. Это, Сашко, очень почетный пост и очень ответственная работа. Мы можем доверить ее только особо надежным товарищам. Тебе, Сашко, подполье доверяет и надеется, что ты оправдаешь это большевистское доверие. Задания будешь получать только от меня лично, начальник комсомольской группы связи — я.

Что Сашко мог против этого возразить?

Разве мог он сказать о запрете отца и о своем отвращении к унизительной, ребячьей профессии?

Тем более что Коля Столяров прибавил:

— Партийные поручения по подпольной связи выполнял в свое время и Ленин.

С этого и началась деятельность рыбацкого сына Сашка Птахи в большевистском подполье — в роли юного чистильщика сапог.

Сегодня Сашко должен был выйти на Николаевский бульвар и расположиться возле памятника дюку Ришелье, у самой лестницы, спускающейся в порт. Задание Сашку было такое. Он должен сидеть и чистить ботинки каждому, кто поставит ногу на подставку его ящика. Но среди других ногу поставит и человек, который, говоря вообще о чем вздумается, между прочим скажет: «А где сейчас можно выпить хорошего кофе?» Сашко, услышав это, должен на всякий случай произнести

контрольный отзыв: «Где уж теперь хороший кофе! Турки теперь кофе пьют!» На это неизвестный должен ответить: «А все-таки? Неужто нигде нельзя кофе напиться?» Тогда Сашко может быть уверен, что это именно тот, кого он поджидает. И должен спокойно сказать: «Зайдите в кафе Фанкони на Екатерининской. Вон, за углом...» На этом функции Сашка-связного будут исчерпаны. Он может идти домой, к своим голубям, с чувством выполненного долга. Может идти и размышлять о том — все ли у вновь прибывшего в Одессу подпольщика и дальше пойдет счастливо? Потому что Сашку было известно, что он — только «вторая линия связи»: кафе Фанкони — это совсем еще не явка, в кафе Фанкони прибывший подпольщик найдет только связного «первой линии связи», который уже и скажет адрес настоящей явки.

Сашко вышел на дорожку и, насвистывая «Ночка темна, я боюся, проводи меня, Маруся», направился к Александровскому парку.

И тут произошла катастрофа.

Из Александровского парка прямо на Сашка, так что они непременно должны были столкнуться на узкой дорожке, шел не кто иной, как его собственный отец, старый Птаха Петро Васильевич. У Сашка даже ноги онемели. О том, что отец должен был об эту пору быть в море на утренней тоне, а совсем не на берегу, Сашко уже и не подумал,— удивляться было некогда. Сашко думал только об одном. Ведь он шел с запретным ящиком чистильщика за спиной. Отец увидит ящик, выхватит и разобьет в сердцах. Как же тогда Сашко выполнит подпольное задание? Куда теперь скрыться или хотя бы спрятать ящик?

Но и прятаться и прятать ящик было поздно: отец был в тридцати шагах и уже, безусловно, заметил и ящик и Сашка.

Как вывернуться? Взмолиться, что необходим корм голубям, а у Сашка нет ни копейки в кармане?

Хорошо, если отец в дурном настроении — и дело обойдется ремнем! А если он настроен добродушно, вынет из кармана немецкую марку и подарит голубям на корм, а ящик все-таки отнимет и разобьет?

Признаться? Сказать прямо, что снаряжение чистильщика необходимо для выполнения совсем другого, тайного дела?

«Какого такого тайного дела?» — спросит отец.

Нет. О своей подпольной работе Сашко не имел права сказать никому — даже отцу родному! Таков незыблемый закон конспирации и партийной дисциплины. Сашко не признался ни отцу, ни матери даже в том, что вступил в комсомол: еще, чего доброго, станут сердиться или запрещать!

Что ж теперь было Сашку делать?

Петро Васильевич тоже увидел сына. И был не менее его неприятно поражен.

Как же это случилось, что этот шелихвост — Петро Васильевич, когда сердился, ругал сына разными уличными словами, начинавшимися на букву «ш», особенно мягкую и ласковую в одесском произношении,— вместо того чтобы сидеть за партой в школе флотских механиков-мотористов, до сих пор валандается на берегу? Снова баклушничает! Не говорил разве Петро Васильевич жене, когда та просила-молила за своего баловня, чтобы на последние гроши отдать сына, уступив его желанию, в флотскую школу, что толку из этого не будет, потому как в голове у этого шелапута только ветер гуляет? Говорил!

Господи боже мой! Да он еще со своими щетками и гуталином!

Рука Петра Васильевича невольно потянулась к ремню. Ну, сейчас он ему всыплет так, что не будет знать, каким местом сесть!

Но рука Петра Васильевича отпустила ремень.

Да ведь теперь станет известно, что он в неурочное время вернулся домой!

О том, как это так произошло, что утром он сел с хлопцами в фелюгу и отчалил в море, а теперь вдруг объявился снова на берегу,— об этом Петро Васильевич уже не думал. Некогда было сочинять оправдания. Да и — черт побери! — разве он обязан давать отчет каждому сопляку, хотя бы и родному сыну? А вот то, что сын его увидел и, таким образом, пропало старательно подготовленное «алиби»,— это вконец расстроило старого рыбака. Ведь ни сын, ни жена — никто на свете! — не должны были знать, что Петро Васильевич Птаха сегодня в море не ушел. Ушел! Береговой пограничный патруль сделал отметку в его рыбацкой квитанции. Это потом уж хлопцы высадили его под Карантинным молом, так, чтоб никто не видел. Потому что хлопцы-то свои и с Петром Васильевичем в сговоре.

Что же теперь, черт побери, делать? Может, признаться по-хорошему? Как-никак — свой, родной сын.

Нет! Признаться Петро Васильевич не имел права, хотя бы и родному сыну, дело было совершенно секретное...

Петро Васильевич и Сашко остановились на дорожке друг против друга на расстоянии десяти шагов.

— Ты куда? — грозно начал Петро Васильевич и умолк; он не знал, что говорить дальше.

— А ты откуда? — как эхо, отозвался Сашко и тоже неуверенно замолчал.

У Сашка была теперь одна цель: проскочить! Проскочить мимо отца по узкой дорожке со своим драгоценным в эту минуту ящиком, гуталином и щетками. А там... там будь, что будет...

У Петра Васильевича тоже была только одна забота: как отвести сыну глаза?

Как это сделать, Петро Васильевич так и не знал и задумался, подняв руку и поглаживая усы. Такая была у Петра Васильевича привычка: когда задумывался, он степенно и медленно поглаживал свои усы сверху вниз.

Этим и воспользовался Сашко. Только отцовская рука добралась до усов, он сразу наклонился, съежился и стрелой прошмыгнул под отцовским локтем. Дорожка была узкая, Сашко даже толкнул отца. Петро Васильевич покачнулся и чуть не упал. Но когда он оглянулся, Сашко был уже далеко, у входа в парк.

Сашко убегал, унося с собой тайну Петра Васильевича, тайну того, что он вернулся с моря и был на берегу, дома.

— Эй, эй! — крикнул Петро Васильевич жалобным голосом.— Подожди!

Сашко остановился. Теперь и он и ящик были в полной безопасности. Конечно, стыд-таки мучил его: пришлось, словно какому-нибудь пацану, таким недостойным манером удирать от отца. Сашко стоял, глядел в землю и ковырял босой ногой камешки на дорожке.

— Слушай,— миролюбиво заговорил Петро Васильевич,— иди уж себе, куда хочешь. Иди,— с презрением прибавил он,— вылизывай сапоги белой офицерне... Только сделай ты мне, своему родному отцу, одолжение...

Сашко поднял голову и удивленно посмотрел на отца.

— Слышишь? Не приходи сейчас домой... Приходи к вечеру...

Сашко был совершенно сбит с толку.

— А почему?

— Ну, потому... дело тут у меня... И того... окажи ты мне, родному отцу, раз в жизни услугу: не говори матери, что я не пошел в море, что домой приходил. Ладно?

Сашко стоял ошарашенный. Такого еще никогда не бывало! И с чего это отец вдруг стал таиться? И не только от него, а и от матери! Не вздумал ли он, чего доброго, на старости лет увиваться за какой-нибудь юбкой?..

Обида пронзила душу Сашка. И это, очевидно, отразилось на его лице, потому что старик Птаха даже съежился и заторопился:

— Ты того... слушай! Ты не подумай! Да подойди ты поближе сюда!..

Сашко стоял и подозрительно, враждебно смотрел на отца исподлобья.

— Ну, прошу же тебя, подойди. Не могу же я орать с Отрады на Ланжерон! Поговорить мне надо... как мужчине с мужчиной...

Какой-то миг Сашко еще колебался. Потом поставил свой ящик на дорожку, чтоб подхватить его на лету, если б снова пришлось удирать, и ступил на несколько шагов ближе к отцу.

Петро Васильевич Птаха-отец и Сашко Петрович Птаха-сын остановились друг перед другом для разговора как мужчина с мужчиной.

— Слушай,— грустно, но доверительно заговорил Петро Васильевич.— Ой, горе той чайке-небоге, что вывела деток при самой дороге...

Сашко хорошо знал отцовскую привычку каждый длинный и трудный разговор начинать непременно какой-нибудь старинной присказкой или поговоркой, точно запев к думе, и нетерпеливо махнул рукой.

— Ну ладно, ладно! — еще мягче зачастил отец.— Я коротко, я сейчас. Понимаешь, сынок, теперь такое время, поганое, можно сказать, время...— Он еще не придумал до конца, как выкрутиться, и потому нарочно тянул. Может, признаться? Нет, признаваться он не имел права.— Словом, трудное настало теперь время...— Он мучительно придумывал ложь, наиболее правдоподобную и убедительную.— Для вас же, молодых, стараемся, чтоб вам, молодым, не так, как нам, старикам, тяжко на свете жилось.— Ему стало жалко себя, и, махнув рукой, он поскорей закончил: — Ну, словом, предлагают эти... контрабандисты... ящик французских духов, такие себе «лёриган-коти». Вчера французские матросы подкинули, что того «пижона» на яхте из Румынии привезли. Ну, и того... разменять ящик надо. За пайку, не за магарыч...

Сашко с укором и болью посмотрел на отца. К контрабандистам Сашко относился без особого предубеждения. Люди шли на риск, ставили на карту жизнь, было даже что-то красивое в этой опасной, разбойничьей профессии. Конечно, надували и обманывали. Но обманывали кого? Власть: царя, полицию, словом — мировую буржуазию. Нет, Сашко не относился к контрабандистам с непримиримым осуждением. Комсомолец Птаха еще не задумывался над кодексом морали и этическими проблемами. А если бы и задумался, то, верно, пришел бы к выводу, что, когда установится в Одессе своя, народная, без царей и помещиков, без Анатры и Бродского, рабоче-крестьянская власть, как вот сейчас в России, одесские контрабандисты сами собой исчезнут, превратившись в самых обыкновенных людей... Но входить «в пайку» с барахольщиками, «разменивать» для контрабандистов товар на базаре — этого сын рыбака и комсомолец Птаха, который и вступил-то в комсомол не когда-нибудь, а в условиях подполья, не мог простить даже родному отцу. Позор на весь берег, на всю Одессу! Позор перед пролетарской революцией, которой присягал Сашко, занося свое имя в списки Молодежного революционного интернационала!.. И кто понесет барахло на базар? Старый рыбак и грузчик — человек вольных и независимых, наипочетнейших в Одессе профессий! Старый Петро Птаха, которого все соседи на берегу уважают за

то, что в девятьсот пятом году — если не врет — прятал беглецов с броненосца «Потемкин»! Петро Птаха, который в шестнадцатом году — а это была уже истинная правда, потому что Сашко и сам это помнит,— ходил громить тюрьму, чтоб освободить осужденного на смерть Котовского! Петро Птаха, который хвастался, что еще этим летом, будучи боевиком в группе самого Котовского, якобы пускал немецкие поезда под откос! Да он же, выходит, видел Котовского собственными глазами и даже — теперь это уже приходилось брать под сомнение — пил с Котовским из одной кружки молдавское вино «фетяска»! А теперь — с барахлом на базар!.. Эх, не повезло Сашку на отца!

— Амба! — гневно крикнул Сашко.— Нюхай свое «лёриган-коти»! Жуй свое барахло! Когда выйдет мне срок паспорт брать, не выпишу себе документ на твою фамилию! — Он шваркнул отцовским жакетом о землю, отчаянно махнул рукой и быстро пошел прочь.

Теперь Сашку было понятно, с чего это повадился к отцу в последнее время какой-то неизвестный бродяга, называвший себя грузчиком Григорием. Какой он, к черту, грузчик! Недаром же Сашко сразу взял его на подозрение: приходит ночью, в дом не зайдет, вызовет отца на берег, и о чем-то говорят, озираясь по сторонам. Как раз вчера вечером он и приходил, этот липовый грузчик Григорий, сразу же как пришвартовалась та самая яхта под французским флагом, которая привезла этого полномочного «пижона» на голову Одессы и ящик «лёриган-коти» — на голову Сашка.

Сашко с налету подхватил свой ящичек со щетками и гуталином, и чаща тамариска при входе в парк поглотила его щуплую фигурку в полосатой тельняшке.

Старый Птаха еще долго стоял на месте, глубоко огорченный, и отчаянно ругался, что вынужден был возвести на себя такой позорный поклеп.

Наконец, и он махнул безнадежно рукой, поднял с земли свой жакет и поплелся к куреню, все еще бормоча проклятия неведомо кому. Но ворчание его постепенно смягчалось и становилось все добродушнее. Среди проклятий прорывались уже и отдельные выражения, свидетельствовавшие о том, что он доволен собственной персоной. Все ж таки здорово подвернулся ему на язык этот ящик духов с французской яхты; он слышал о нем от хлопцев на шаланде: французы расспрашивали о факторе, которому можно было бы спихнуть беспошлинный товар.

Именно в это время на спуске между Отрадой и Ланжероном показалась коренастая фигура грузчика Григория. Впервые грузчик Григорий появлялся днем возле мазанки старого Птахи, но дело было уж очень спешное и слишком важное, чтоб откладывать его на более поздний час.

4

Сашко торопливо шел Александровским парком, улицей Маразли, потом по Канатной — на Николаевский бульвар. Он ничего не видел, не смотрел по сторонам, не взглянул даже на афишные тумбы с такими заманчивыми рекламами новых кинофильмов: «Дама полусвета», «Дневник кокотки», «Женщина, которая изобрела любовь». Не соблазнили его и анонсы варьете с именами Вертинского и Убейко. Чувство обиды угнетало его, гнев жег ему сердце. Его старый отец, потомственный рыбак, на всем берегу уважаемый грузчик с Карантинной гавани, превратился в барахольщика при контрабандистах! Лучше бы уж сам вышел на фелюге в ничьи воды и таскал барахло с румынских и турецких шаланд, ежеминутно рискуя попасть под пулеметную очередь со сторожевого катера или на одну из слепых мин, разбросанных еще «Гебеном» и «Бреслау» в мировую войну [1].

Сашко был обыкновенный — каких в Одессе тысячи — уличный мальчишка. Жизнь его от рождения и до сегодняшнего дня проходила на морском берегу и улицах города. Сколько он себя помнит, родители его жили в нужде и ели раз в день уху из бычков или жареную паламиду — это был обед; а про завтрак и ужин Сашко только слышал, что так бывает у богатых. Денег на свой курень на берегу с трудом собрали родители Сашка только перед самой войной, когда мальчик начал уже бегать в приходскую школу на Куликовом поле. А до тех пор они жили в казенном бараке для сезонных грузчиков — на территории порта. Тогда отец больше работал грузчиком, а рыбачить ходил, когда в гавани не было работы. В войну, когда порт замер, старый Птаха пошел в рыбачью артель, а за крюк брался в «не сезон», когда рыба уходила к румынским и турецким берегам или когда случался в порту транспорт с ростовской или херсонской линии: линия Новороссийск — Одесса почти не действовала из-за мин. Детство Сашка проходило на берегу, у рыбачьей снасти да на артельной фелюге: выбирал невод, смолил днище, наживлял перемет. В город Сашко попадал, когда мать брала его себе в помощь: поднести корзинку с уловом скумбрии или кефали до Привоза или мешочек мелких крабов — их в Одессе употребляют как закуску к пиву — в какую-нибудь кухмистерскую на Ришельевской. Но еще с детства — сколько он себя помнил — Сашко жил не только нежной и азартной страстью к голубям, но и горячими, опьяняющими мечтами.

У Сашка было три мечты: механика, Уточкин и Котовский.

Конечно, больше всего любил Сашко море, как и каждый одессит. Он родился на берегу моря и, не раздумывая над

---

[1] «Гебен» и «Бреслау» — германские крейсеры.

этим, знал, что на берегу моря и умрет. Сашко вообще не представлял себе, как могут люди жить на свете без моря. Будущее его предначертано было, казалось, с самой колыбели: он будет рыбаком, портовым грузчиком, затем флотским, когда придет время призываться в армию. И хотел бы Сашко, конечно, быть моряком дальнего плавания — чтоб плавать на доброй посудине в неведомые края по морям и океанам всего света.

Но Сашко с детства уже увидел, какое огромное, неизмеримое расстояние отделяет весельную лодку и даже парусную фелюгу от моторной шаланды. На веслах они с отцом выбирали свой жалкий перемет и снимали с крючков в лучшем случае полсотни скумбрий. А даже самый маленький моторный ботик вытаскивал на берег невод с полутонной, а то и целой тонной царицы моря и жемчужины вод. И Сашко влюбился в мотор. Его мечта родилась у одноцилиндрового моторчика на четыре силы, который можно прицепить к жалкому ялику, и взлетала до сверхмощного корабля с механизмом, в котором вал был бы толще человеческого туловища, шатуны — в человеческий рост, а маховик — с обод ярмарочной карусели. Сашко мечтал стать механиком на военном судне, вести корабль в далекие края и властвовать даже над двенадцатибалльным штормом.

Но на мореходных курсах корабельных механиков надо было платить целых сто рублей за право учения — и самому большому желанию Сашка суждено было остаться только тайной грустной мечтой.

Мечта об Уточкине была связана собственно с той же механикой.

Впервые увидел Сашко Уточкина на его механической птице еще совсем маленьким мальчиком, когда в степи за Средним Фонтаном авиатор-самоучка на большом «змее» из бамбуковых палок и брезентовых парусов, с маленьким, хриплым и отчаянно тарахтящим моторчиком, взлетел над полем на пять саженей и кувыркнулся в овраг, зацепившись за платан у дачи Анатры.

Но первая неудача не погасила задора молодого авиатора. Через две недели он поднялся уже на десять саженей и пролетел на этот раз до Большого Фонтана, до дачи Ковалевского.

Этого было достаточно, чтобы вселить в сердце девятилетнего мальчишки с Ланжерона веру в безграничные возможности и чудесное будущее авиации.

Сашко Птаха еще тогда своими глазами убедился во всемогуществе механики, склонился перед властью мотора — и решил стать авиатором, а не моряком. Ведь моряк властвовал только над водной стихией, а летчик — над водами, землями и самим небом.

Конечно, аэроплан стоил больших денег и купить его мог только такой богач, как владелец мельницы на Пересыпи грек

Анатра. Но ведь у рыжего Уточкина с Молдаванки тоже никогда не водилось и гроша за душой. А был же он знаменитый, первейший на всю Российскую империю авиатор. Анатра платил ему целых сорок рублей в месяц, хотя сам, правда, загребал на демонстрации каждого полета тысячи. Но на эти тысячи Сашку было наплевать. Надо было только научиться владеть машиной, стать царем небесных просторов, и тогда любой богач — пускай это будет Анатра, Вальтух, Бродский, Маразли или Инбер — в погоне за прибылями от авиации, построив себе собственный аэроплан, возьмет Сашка Птаху пилотом — управлять доходной механической птицей: ведь они же, богатеи, не умеют сами и лошадь запрячь в фаэтон, не то что управлять мотором, парящим в поднебесье.

И Сашко целехонький день — от утренней до вечерней тони, пока отец отсыпался,— не отходил от ангара возле дачи Анатры. Здесь Уточкин держал аэроплан, на котором зарабатывал деньги для Анатры своими мировыми рекордами.

Сашко бегал для рыжего Уточкина за папиросами и пивом, обтирал паклей пыль с брезентовых крыльев аэропланчика и подкатывал бочку с бензином или подносил бидоны с маслом. Потом Уточкин доверил ему подавать винты и ключи во время ремонта, и Сашко мог с замиранием сердца заглядывать в таинственные глубины всемогущего механического чрева. Сашко даже посидел однажды на велосипедном седле меж тоненьких бамбуковых палочек — на капитанском месте летчика.

Но Анатра высосал из смелого авиатора все соки, и Уточкин умер в благотворительной больнице для бедных и бездомных. Сашко горько плакал тогда, спрятавшись в сухой полыни под обрывом. Горько плакала и поминала авиатора монополькой с субботы до понедельника вся Одесса — Пересыпь, Молдаванка, Чумка, Слободка, Сахалинчик, Ближние и Дальние Мельницы: рыжего Уточкина боготворили все настоящие одесситы.

Так расстался Сашко со своей второй горячей мечтой.

Когда началась война, аэропланов появилось уже немало — они несли патрульную и разведывательную службу на фронте,— и Анатра построил возле Сахалинчика целый аэропланный завод. Но завод был обнесен высокой оградой с колючей проволокой и вдоль нее день и ночь ходили часовые с винтовками, никого близко не подпуская.

Впрочем, Сашком к тому времени овладела новая мечта: Котовский!

Про Котовского Сашко слышал с тех пор, как себя помнит.

Слава о бессарабском народном мстителе, который карал панов и заботился о бедняках, пришла к одесским берегам через рыбаков из Килии, Измаила и Аккермана, через «заробитчан» из-под Тирасполя, Кишинева и Бендер.

То была легенда о народном чудо-богатыре, могучем, как

сам бог Саваоф, и прекрасном, как дева Мария. Народное сказание высоко поднимало обаятельный образ народного мстителя не только над бессарабской землей, но и над всем реальным миром — перед ним не только трепетали паны, ему подчинялись стихии. Легенда превратила своего героя во владыку над ветром и дождем, над водами рек и морскими волнами. Котовский дул на реку — и река поворачивала вспять, от моря к своим истокам. Котовский по колени входил в воду в самый сильный, двенадцатибалльный шторм на море — и волны опадали, а море застывало в мертвом штиле. Котовский высекал искру кресалом из обыкновенного кремня — и она молнией падала с неба на панское поместье и сжигала стога соломы и хлеб в скирдах. Котовский появлялся неведомо откуда в помещичьих хоромах — и паны падали ниц, он только подымал руку — и они несли ему все свои сокровища. Сам Котовский всегда выходил невредимым, потому что ни клинок, ни пуля не брали его и даже веревки на нем сгорали, и нес отобранные панские богатства в жилища бедняков. Он раздавал деньги беднякам, кормил и одевал нуждающихся, даже исцелял от тяжелых болезней...

Так повествовала легенда о Котовском. Но и правда была от нее недалека.

Бессарабские помещики дрожали от одного имени народного мстителя. Котовский действительно жег помещичьи имения, действительно являлся к богачам, требовал у них долговые обязательства бедняков и тут же, на их глазах, уничтожал, действительно забирал деньги и раздавал их неимущим. Больным он присылал врачей, оплатив гонорар вперед; за нуждающихся студентов анонимно вносил плату за учение; арестантам посылал в тюрьму передачи со съестным и куревом. Деньги на все это он экспроприировал у помещиков и в царском казначействе. Экспроприированным суммам он вел точный учет и посылал в бессарабские газеты сообщения, сколько у кого из помещиков взято и куда, на какие нужды истрачено, чтобы не воспользовались его именем, совершая своекорыстные грабежи, разные темные элементы.

Потом Котовский объявился и в Одессе. Одесские банкиры поставили на окна своих особняков железные решетки, казначейские возки перевозили деньги под охраной стражников и жандармов, градоначальство объявило премию в десять тысяч рублей тому, кто опознает народного мстителя и выдаст его полиции.

Эти десять тысяч золотом и по сю пору целы.

На предательство не пошел никто. Но Котовский все-таки был схвачен — жандармами в бою.

Народного мстителя судили и заслали на вечную каторгу в Сибирь.

Горько тужили тогда бессарабцы от Дуная и до Днестра,

а Пересыпь, Молдаванка, Слободка, Сахалинчик, Чумка, Ближние и Дальние Мельницы в Одессе с вечера субботы и до понедельника заливали горе вином.

И тогда же, на этих поминках, родилась новая легенда: Котовский прошел сквозь двенадцать стен, разбил двадцать четыре замка, одолел стражу из сорока восьми жандармов — и с каторги бежал.

И пошла тогда новая молва: Котовский объявился в Поволжье, Котовский трясет купцов в Москве, Котовский пугает вельмож в Петербурге, Котовский идет огнем и мечом через Подолию, Котовский уже снова в Бессарабии и Одессе.

Такова была новая легенда. Но очень походила на нее и правда.

Котовский и в самом деле с каторги бежал и снова экспроприировал бессарабских помещиков и оделял опекаемую им бессарабскую бедноту. Сообщения о приходах и расходах экспроприатора начали публиковать теперь и одесские газеты.

Затем Котовского поймали вторично и приговорили к казни через повешение. Приговорил его одесский суд, и казнь должна была быть приведена в исполнение в одесской тюрьме.

Революция не дала погибнуть Котовскому и освободила его из заключения.

Котовский пошел на фронт. Вместе с революционными полками двинулся он с передовых позиций в тыл, когда в тылу впервые подняла свою голову гидра белой контрреволюции. В Одессе он вел Красную гвардию, командовал ею вместе с первым красногвардейцем — славным большевистским боевиком Старостиным. Когда хлынула на Украину немецкая, а на Бессарабию румынская лавина интервентов-оккупантов, Котовский организовал партизанский отряд и пускал под откос эшелоны оккупантов и под Одессой и под Кишиневом. Его партизанский отряд с боями отошел от родной Бессарабии и Одессы и двинулся на север — пробиваться к красной Москве...

Сашко Птаха мечтал стать таким, как Котовский.

Эх, если бы Сашку Птахе хоть раз увидеть воочию мечту своих юных лет!

Жизнь Сашка в последние годы сложилась уже по-взрослому. Еще во время войны — тринадцатилетним мальчишкой — попал он в железнодорожное депо учеником слесаря: мечта овладеть механикой не оставляла его. В семнадцатом году он вступил в организацию рабочих подростков на транспорте. Позднее, в начале восемнадцатого года, когда установилась советская власть, эта организация была преобразована в Союз социалистической молодежи. Этим летом — во время железнодорожной забастовки — Союз социалистической рабочей молодежи, преобразованный уже в Молодежный революционный интернационал, понятное дело, тоже бастовал, и после ликви-

дации двухмесячной забастовки Сашко вместе со всеми моревинтовцами был уволен с железной дороги на основании черных списков гетманской варты и немецкой жандармерии. Моревинт вместе с большевистской партией оказался в подполье. И странно — именно в это время, в условиях подпольной деятельности молодежной организации, начали осуществляться мечты Сашка. Подпольный комсомольский комитет помог ему устроиться на мореходные курсы мотористов: большевики расширяли сферу своего влияния и готовили рабочую молодежь к борьбе.

Так стал Сашко Птаха и связным при большевистском комитете.

Конечно, чистить сапоги гетманским сердюкам и белым офицерам и сообщать в это время разные адреса неизвестным лицам — это была еще не революция. Но для Сашка не впустую прошли месяцы забастовки и пребывания в подпольном Моревинте: он уже знал, что Октябрьская революция — власть рабочих и крестьян — сама не падает с неба, а за нее надо бороться; что рабочие и крестьяне России уже завоевали для себя советский строй и красная Москва руководит этой борьбой на землях всей бывшей Российской империи; что на Украине, и в частности в Одессе, от Лузановки до Люстдорфа и от Заставы до порта,— рабоче-крестьянская советская власть может быть установлена только тогда, когда на борьбу за нее поднимется весь трудовой народ, и он, комсомолец Сашко Птаха, в том числе.

Комсомол открыл Сашку глаза и на то, что такое дисциплина и почему она так важна для организации борьбы: она ведет в бой не отдельных бойцов, а целый боевой коллектив.

Конечно, Сашку хотелось быть Котовским или хотя бы воевать — рубить саблей и стрелять из пулемета — под командой Котовского. Но если временно нужно полировать гуталином и щетками чужие сапоги, значит — нужно. Пускай так: Сашко будет наводить глянец на сапоги, раз этого требует революционная дисциплина.

Сашко прошел по Николаевскому бульвару, сел у памятника дюку, прислонившись спиной к тяжелой чугунной цепи, как раз против знаменитой лестницы, спускающейся в порт, и выбил двумя щетками о ящичек короткую чечеточную дробь:

— Эх, почистить! Кому почистить? Женихам — к невесте, офицерам — на парад, гимнастизам — в карцер! Гуталин немецкий, щеточки французские, бархатка одесская, из шлейфа королевы экрана Веры Холодной! Эх, кому почистить? Навались!

А почистить было кому. На бульваре в эту утреннюю пору погожего осеннего дня толпилось полно народу: одесские

тузы высматривали в море долгожданный десант союзной американо-англо-французской армии.

Сначала на подставку ящичка поставил ногу в элегантном шевровом сапоге с лакированными отворотами какой-то франт в серых бриджах, черном смокинге и соломенном канотье на голове. Стояла осень, соломенные шляпы были уже не по сезону. Но день выпал совсем летний, а уличные фланеры тем и форсили, что начинали лето первыми, а кончали последними. Потом поставил на ящик ногу в хромовом сапоге со шпорами дьявольски шикарный польский легионер; у него были расшиты серебряным позументом даже лампасы на штанах, и обшлага, и хлястик на шинели. Потом грохнул огромным юфтовым сапожищем какой-то гайдамак в широченных синих шароварах. Тут Сашко пришлось-таки повозиться: гайдамацкие сапоги были до половины заляпаны глиной с Кривобалковских хуторов.

Солнце уже подошло к полудню, Сашко чистил и чистил — сапоги, ботинки и туфли, мужские «вэра» и дамские на каблучках «контэсс»,— а до сих пор так никто еще и не подошел, чтобы спросить, где бы напиться кофе.

Но Сашко сидел здесь, на второй линии связи, уже не первый день и знал, что просидеть можно и до вечера, а может статься, что вообще никто не подойдет и не скажет пароль. Ничего не поделаешь, все равно надо быть на месте, на посту — в подполье все конспиративные инстанции должны быть обеспечены.

— Эх! — заливался Сашко, когда подставка его ящика на несколько минут оставалась свободной.— Кому почистить? Чистили папе римскому, чистили шаху персидскому, чистили самому царю Николаю! Фирма поставщиков всех императорских дворов обоих полушарий нашей планеты! Навались, караси!

Ничего не поделаешь, законы конспирации суровы, для полного правдоподобия подпольщик должен строго выдерживать стиль профессии, которой ему приходится маскироваться.

Это хорошо знал и добросовестно выполнял — во имя победы революции — молодой подпольщик Сашко Петрович Птаха, коренной одессит.

5

Тем временем старый Птаха Петро Васильевич с грузчиком Григорием спустились узенькой тропкой в небольшую бухточку — сразу за Отрадой, под кинофабрикой Ханжонкова.

Берег здесь, у этих бесчисленных миниатюрных заливчиков огромной одесской бухты, вообще мало заселенный, в эту раннюю пору, когда прибрежные жители, рыбаки, ушли на утреннюю тоню, а их жены — на базар, был совершенно безлюден.

Однако от перевернутой кверху дном только что просмоленной шаланды навстречу Петру Васильевичу и грузчику Григорию поднялись несколько человек. Все это были тоже рыбаки в клеенчатых зюдвестках и ватных «куфайках», по-осеннему, либо портовые грузчики — в крошечных захватанных кепочках на макушке и коротких холщовых блузах-балахонах. Они молча поздоровались с прибывшими кивком головы или приложив два пальца к головному убору.

— Восемь? — сразу подсчитал грузчик Григорий.

— Восемь.

— Итак, с нами десять. Управимся. Пистолеты у всех?

Каждый молча кивнул в ответ.

— Ве́рхом пойдем или пляжем?

— Тропинкой пойдем по обрывам,— предложил Петро Васильевич, солидно оглаживая усы.— Тут наши курени, можно прогуливаться взад-вперед. А ве́рхом — такая банда в глаза будет бросаться...

— Резонно! — согласился грузчик Григорий.— Тогда не будем терять времени, пошли.

Все послушно двинулись за грузчиком Григорием и Петром Васильевичем. Грузчик Григорий разговаривал мягко и весело, однако в тоне его проскальзывала начальническая нотка. И слушались его беспрекословно. Видно было, что он и в самом деле начальник, во всяком случае — общепризнанный авторитет.

Все вышли на тропинку и двинулись пригорками над морем. На широких и низких холмах, изрезанных извилистыми, глубокими трещинами от летней суши и постоянных оползней и поросших частыми кустами боярышника и сухой полынью, было пустынно и совсем тихо. Иногда только встречалась белая коза, забежавшая сюда из какого-нибудь рыбачьего двора в поисках свежего корма, да доносился неясный шум города — хотя и близкого, за четверть версты, но отрезанного от прибрежной полосы высокой стеной обрыва. Сначала слышны были еще гудки пароходов да вой сирен в порту, но когда тропинка свернула за мыс, к Малому Фонтану и берегам Аркадии, стало и вовсе тихо. Морем внизу катилась длинная, ленивая волна прибоя,— и вода, падая, била о пляж мягкими ударами и шуршала галькой, сбегая назад. Шли гуськом, друг за другом, молча, только сухая глина поскрипывала под подошвами тяжелых австрийских бутсов.

Когда вышли в долинку — расщелину между обвалами красной глины, за рыбачьим поселком, под дачей Маразли,— грузчик Григорий остановился. Остановились и остальные.

— Вот что, друзья,— сказал грузчик Григорий,— сделаем так. Дальше пойдут только пятеро. А пятеро останутся здесь, спрячутся в глинище.— Он улыбнулся.— Как бы боевое охранение. Пятеро понесут, а остальные пойдут впереди — на

случай если б вздумалось наведаться сюда патрулям. Понятно?

Грузчик Григорий слегка заикался, ему с трудом давалась буква «а».

Он отделил пятерых и указал им на пещеры в глинистой расщелине. Сам со старым Птахой и еще тремя двинулся дальше по тропинке.

— Надорветесь впятером! — подал голос кто-то из тех, кто оставался в «боевом охранении».

Грузчик Григорий хитро подмигнул:

— А мы будем нести только полдороги, а полдороги понесете вы, а мы пойдем боевым охранением.

Пятеро скрылись в пещерках глинистого обрыва, пятеро пошли дальше по тропинке. Грузчик Григорий попрежнему шел впереди. Он шагал быстро и легко — неожиданно для его крупной, могучей фигуры.

За мыском, отделявшим Малый Фонтан от аркадийской бухты, начались нагромождения камня, диких, замшелых скал — хаос известковых глыб: результат свежих береговых оползней и обвалов подмытых штормами круч.

Из-под одной такой огромной глыбы вдруг раздался ленивый окрик:

— И чего б это я шатался тут по камням? Кто?

— Одесса-мама! — сразу же откликнулся Петро Васильевич и вышел вперед.

Из-за глыбы появилась фигура в солдатском картузе без козырька, в ватнике и широких матросских клешах. Неизвестный подозрительно посмотрел на Петра Васильевича, но, очевидно, узнал его, успокоился и, даже не взглянув на остальных, молча пошел вперед, перепрыгивая с камня на камень. С тропинки он свернул; все двинулись следом за ним и пошли по самой кромке берега, местами по воде, окатываемые до колен набегающей волной прибоя. Над головами справа нависали глыбы известняка, громоздились старые, изъеденные морскими прибоями скалы.

Вдруг все очутились в низкой, но широкой пещере.

Посреди пещеры стоял ящик из свежих сосновых досок, поставленный на попа. Вокруг на других ящиках сидело четверо. Они играли в карты и негромко напевали: «Шармак ходит голый, босый, зато курит папиросы...»

Когда вход в пещеру заслонили фигуры прибывших, песня оборвалась, игроки бросили карты и поднялись.

Грузчик Григорий вышел вперед. Перед ним встал высокий плотный детина с черной бородой, в затрепанной капитанке на голове и босой, даром что стояла осенняя пора. В руке у него был наган.

Минуту он оглядывал пришедших из-под густых бровей, затем коротко спросил:

— Деньги?

Грузчик Григорий хлопнул себя по карману. Остальные трое, игравшие с бородачом в карты, и четвертый, который был проводником, стояли вокруг, держа правые руки в карманах.

— На бочку! — приказал бородач.

Грузчик Григорий вынул из кармана пачку денег и молча положил на ящик поверх разбросанных карт.

Бородач послюнил пальцы и стал считать.

Пока он считал, все стояли молча — всё так же с правыми руками в карманах. Троица партнеров бородача была столь же живописна, как и он сам: полосатые тельняшки, рыжие бушлаты или старые пиджаки, кепки и войлочные шляпы.

— Верно,— сказал бородач, кончив считать.— Можете брать. Наши не хуже ваших.

Грузчик Григорий, Петро Васильевич и товарищи, пришедшие с ними, взялись за ящики. Ящиков было пять — по одному на человека. Но были они тяжеленные, каждый пуда в четыре. Нужно обладать ухваткой докера, чтобы нести на себе такую тяжесть. Но все пятеро, кряхтя, взвалили тяжелые ящики себе на спину.

— Сразу же и идите! — приказал бородач.— Нам ни к чему, чтобы сюда легавые налетели...

Один за другим, покряхтывая под тяжелой ношей, люди начали выходить.

Побрели сначала по воде, затем выбрались на кромку берега, наконец вышли и на тропинку. Шли, едва передвигая ноги, сгибаясь под тяжестью ящиков.

Когда за мыском показались уже рыжие глинистые осыпи — это было самое дикое и пустынное место на всем берегу,— позади людей, согнувшихся под ношей, вдруг послышалось глумливое:

— Стой! Клади на землю и руки вверх!

Все остановились и взглянули из-под ящиков, не опуская их на землю. Вокруг стояло пятеро — бородач, а с ним тот, который их проводил в пещеру, и трое остальных картежников. В руках у них были наганы.

Люди послушно сбросили ящики со спины и поставили их на землю перед собой.

— Ребята! — сказал грузчик Григорий.— Как же это так? Взяли деньги, а теперь — руки вверх?

Кто-то из картежников фыркнул, бородач, захлебываясь смехом, прохрипел:

— А нам интерес второй раз продать. Руки вверх! — повторил он грозно.— А ну, полапайте у них по карманам.

Бандиты приблизились и стали вытаскивать у стоявших с поднятыми руками пистолеты.

В эту минуту тишину над морем вдруг пронизал резкий свист. То засвистел грузчик Григорий.

— Ты что? — свирепо ощерился бородач.

Но в то же мгновение рядом раздалось:

— Руки вверх!

Пять человек, которых грузчик Григорий оставил в боевом охранении, вынырнули из расщелины с пистолетами в руках.

Пистолеты были уже в руках и у грузчика Григория и Петра Васильевича — у них еще не успели опорожнить карманы.

Теперь двое с пистолетами были окружены пятеркой с пистолетами, но и эти пятеро были в окружении других пятерых — тоже с пистолетами в руках.

Какое-то мгновение царило общее молчание.

Наконец, грузчик Григорий хмуро спросил:

— Что ж, перестреляемся? Или, может, еще поживем?

Бородач злобно выругался и бросил свой наган на землю.

— Кидай пистолеты под ноги! — приказал грузчик Григорий.

Бандиты неохотно побросали свои наганы.

— Полапай их, хлопцы, по карманам! — приказал теперь грузчик Григорий.— Не запрятал ли кто пугача?

— Больше нету,— мрачно буркнул бородач и опять крепко выругался.

— Чего ж ты ругаешься? — удивился грузчик Григорий.— Сам же затеял. Нам бы это и в голову не пришло.

Грузчику Григорию подали все, что обнаружили в карманах бандитов: кроме пяти наганов было несколько обойм, кисеты, пачка денег — те самые деньги, которые только что были заплачены за ящики с контрабандой.

Минуту грузчик Григорий, задумавшись, вертел пачку денег в руке. Потом кивнул бородачу:

— Иди сюда!

Бородач приблизился, не опуская поднятых кверху рук.

— Возьми деньги.

Бородач не двигался и не опускал рук.

— Бери деньги, дура! — прикрикнул грузчик Григорий.— Что мы, бандиты? Деньги за товар плочены. Бери!

Бородач нерешительно взял деньги. Он оглядывался и переминался, опасаясь каверзы.

— Взяли, хлопцы, ящики, пошли! Нечего время терять, мне еще в город нужно,— сказал грузчик Григорий.

Тогда бандиты заскулили:

— Братишки, отдайте нам пистолеты.

— Пистолетов не отдадим! Детям спичек в руки не да

— Отдайте, братишки, мы больше не будем!

— Как же я отдам вам пистолеты? Пойдем — а вы о пулю в спину?

— Вот убей бог, больше не будем.

Бородач униженно уверял:

— Гад буду, коли совру!.. Да разве это мы сами? Мишка же нам приказал.

— Япончик?

— А то кто? Мы ж не от себя работаем. Мы люди подневольные, служба у нас такая.

Грузчик Григорий задумался. Ссориться с Мишкой Япончиком — королем одесских бандитов, налетчиков и контрабандистов — пока что было не с руки. Шайка Мишки Япончика представляла сейчас значительную силу в городе. Несколько сот, а может быть, и тысяч вооруженных грабителей не только держали в страхе и трепете все население, но и верховодили даже среди официальных властей. Да и драгоценный «товар» можно было раздобыть только через контрабандистов.

— Выньте обоймы и отдайте им пистолеты,— приказал грузчик Григорий. А бородачу бросил с угрозой: — Передай Япончику, что я ему морду набью, если еще раз выкинет такую штуку! Так и скажи. Я — Котовский.

— Григорий Иванович! — ахнули бандиты. — Григорий Иванович! Да ты не врешь?.. Хлопцы, да как же так? Ведь это же сам Котовский!..

Бородач бросился к ящику, стоявшему у ног Григория Ивановича:

— Григорий Иванович! Дозвольте, я вам помогу! Хлопцы, а ну, поднесем Григорию Ивановичу! Григорий Иванович, вам далеко? До гавани или в город?

Но Григорий Иванович категорически отказался от услуг бандитов и велел взять ящики своим людям.

Тогда бородач предупредительно предложил:

— Так берите по двое — легче будет. Нас не опасайтесь. Лопни мои глаза, мы вас не тронем, Григорий Иванович! Мы ж разве знали? Мы б против вас ни за что на такое дело не пошли! И Япончика не послушались бы. Вот убей бог! Вы несите по двое, а мы пойдем в охране, чтоб не наскочили легавые.

Но Котовский и от этого отказался. Среди бела дня не было оснований опасаться гетманской варты. Ночью гетманцы выгоняли на берег для патрулирования чуть не весь свой гарнизон, а днем, при свете солнца, они были спокойны за побережье. Днем можно было свободно пронести по городу и по берегу все что угодно: в корзинках или в ящиках могли быть и помидоры, и синие баклажаны, и бессарабский чернослив,— подходила зима, и люди запасались овощами и прочими плодами земли. Не случайно же из щелей между планками ящиков торчали пучки соломы и сыпались опилки: экспортеры-контрагенты заботливо паковали нежную «овощь» и деликатную «фрукту».

В ящиках из сосновых досок, которые несли на плечах люди Котовского из пещеры аркадийских контрабандистов, были пистолеты «вальтер» с обоймами и ручные гранаты — «лимонки». Одесские рабочие-подпольщики вооружались. Григорий Иванович Котовский и Петро Васильевич Птаха по поручению подпольного комитета доставали оружие для подпольной дружины портовых рабочих. Дружина уже имела и название: «Боевая дружина Морского райкома».

Пятеро котовцев с тяжелыми ящиками за спиной и пять других, не вынимая руки из кармана, двигались не спеша по пустынным обрывам под высоким берегом города.

А пять бандитов еще долго стояли на пригорке над расщелиной, смотрели им вслед и ожесточенно жестикулировали, проклиная друг друга, своего вожака — бородача, а больше всего — своего верховного правителя, короля бандитов Мишку Япончика.

6

Солнце уже склонялось к закату, за Пересыпь и Лузановку, а Сашко Птаха все чистил и чистил сапоги да ботинки, и никто не подходил к нему спросить о кофе.

У Сашка уже болели и руки, и ноги, и спина, даже в глазах темнело. Он перечистил за день не меньше пятидесяти пар и почти ничего не ел, только пожевал лепешку, которую купил у какой-то торговки, да выпил стакан сельтерской с сиропом. Но Сашко знал: он должен сидеть до вечера, пока совсем не стемнеет, сидеть, чистить и ждать, хотя бы никто и не подошел к нему с условным вопросом,— не каждый день прибывают подпольщики, но готовым к их прибытию надо быть в любую минуту.

Уже совсем под вечер, когда тень от головы дюка протянулась через площадку до самого бульвара, Сашку показалось, что вот-вот должно «клюнуть». Какой-то господин начал кружить поблизости, под платанчиками бульвара, и из-под руки как будто посматривал на памятник дюку Ришелье и на Сашка у его пьедестала. Господин то присаживался на скамейку и устремлял взгляд вдоль бульвара, то подходил к парапету над обрывом и искоса поглядывал на лестницу, ведущую в порт, то начинал прохаживаться взад-вперед по аллейке. У него, несомненно, было здесь дело, и похоже, что дело именно к Сашку; подпольщики не приходили одетые рабочими или пригородными крестьянами — подпольщики обычно пользовались для конспирации отлично сшитой одеждой и старались ничем не отличаться от самых франтоватых уличных повес.

Но когда незнакомец, которому Сашко, повидимому, и должен был ответить на вопрос о кофе, подошел ближе и стал

прохаживаться по аллейке, Сашко вдруг узнал его. Это был помещик Золотарев, и шатался он по бульвару, должно быть, с перепоя.

Помещика Золотарева, хотя и появился он в Одессе совсем недавно — месяца два назад, после того как бессарабские крестьяне сожгли его имение не то возле Окницы, не то за Ларгою,— знала уже вся одесская улица. Помещик Золотарев был бесшабашный гуляка, пьянчужка и бездельник, завсегдатай ресторанов и кафе, свой человек среди петербургско-московской чиновничье-помещичьей «внутренней эмиграции» и закадычный приятель всех самых залихватских офицеров гетманской «варты» и деникинской контрразведки. А главное, он был прославленный бильярдист, который давал «десять форы» даже самому Моте Рубинштейну — признанному королю одесских бильярдистов — и выигрывал у него на десяти! Кроме того, он так здорово исполнял дойну на молдаванской флояре, что даже Ситник и Максонский, солисты оркестра в «Лондонской», признали его виртуозом.

Сашко, конечно, глубоко презирал прогоревшего помещика Золотарева, как акулу капитала и представителя мировой буржуазии, однако не мог не завидовать его славе музыканта и бильярдиста.

Когда Золотарев, слегка пошатываясь с перепоя, вышел на аллейку и поровнялся с памятником дюку, Сашко звонко выбил чечетку на своем ящичке и молодецки крикнул:

— Почистим, добродию Золотарев?

Помещик Золотарев остановился перед Сашком, глядя на него мутноватыми глазами беспробудного пьяницы, покачался на каблуках и, чуть заикаясь, спросил:

— А... откуда ты знаешь, что я Золотарев?

Собственно он заикался не оттого, что был навеселе; он вообще выговаривал не все буквы, и Сашко знал, что это только рисовка и считается признаком высшего шика среди гусарских корнетов и всяких прочих буржуйских хлюстов. За это Сашко, конечно, тоже презирал Золотарева, но не мог все же не признать, что всякий форс у него получается особенно здорово.

— Ну,— сверкнул Сашко зубами в почтительной усмешке,— кто ж вас не знает? Я видел, как вы загоняете чужого в одну, а своего в другую среднюю лузу!

Помещик Золотарев хитро подмигнул: ему, безусловно, было приятно убедиться в своей популярности,— но чистить ботинки отказался.

— Потом,— сказал он,— у меня еще есть время...

Сашку очень хотелось еще поболтать с прославленным бильярдистом и, воспользовавшись случаем, расспросить о некоторых секретах техники оттяжек и клопштоссов, но в эту минуту вдруг появился клиент, поставил запыленный

ботинок вышедшего из моды остроносого фасона на подставку ящика, и Сашко должен был взяться за щетки.

Новый клиент не вызывал особенного интереса. Это был, верно, какой-нибудь купец или комиссионер — в старомодном долгополом пальто с бархатным воротником и в каракулевой шапке пирожком, хотя и модной, но надетой явно раньше времени, не по сезону. Впрочем, возможно, что он был прямо с поезда и приехал откуда-то издалека, с севера. Сашко бросил на него короткий рассеянный взгляд и принялся наводить блеск на давно не чищенные, порыжелые башмаки с белыми, потертыми от калош задниками, искоса поглядывая на девушку, которая стояла рядом с клиентом, поджидая его. Девушка сразу привлекла внимание Сашка; она была, бесспорно, хороша, даром что Сашко вообще относился к девушкам с пренебрежением. Небольшого роста, стройная и изящная, с длинными черными косами, черными бровями шнурочком и огромными синими-синими глазами под длиннейшими, каких Сашко еще никогда не видел, густыми ресницами. Она была грациозна и элегантно одета. Под расстегнутым модным пальто-клеш виднелась белая матроска с широким синим воротником с тремя белыми тесемочками по краю, черная юбочка «плиссе», чулочки на ней — фильдекос, туфельки — «вэра» на каблучках «контэсс». Девушке было лет шестнадцать — семнадцать, и Сашко задумался над тем — кто же она комиссионеру в рыжих башмаках, дочка или племянница?

Чтобы отмахнуться от своей чрезмерной заинтересованности девушкой, Сашко заставил себя сердито подумать: «А, буржуйское щеня! Гимназисточка или из института благородных девиц».

— Скажи, мальчик,— вдруг услышал он,— а где бы тут выпить хорошего кофе?

Щетка на какое-то мгновение замерла в руке Сашка. Он почему-то никак не ожидал услышать этот вопрос как раз от комиссионера в порыжелых башмаках, да еще с хорошенькой девушкой рядом.

Но он был уже опытным связным, и через мгновение щетка заходила по ботинку еще быстрее.

— Где уж теперь это кофе! — буркнул Сашко, бросив взгляд на «клиента».— Турки теперь кофе пьют...

Глаза комиссионера в рыжих башмаках улыбнулись из-под надвинутой на лоб шапки-пирожка. В улыбке этой Сашко почувствовал и облегчение — человек был рад, что попал на того, кто ему нужен,—и еще какую-то благожелательность — это уже относилось к собеседнику, к самому Сашку.

— А все-таки? — настойчиво произнес комиссионер.— Неужто нигде нельзя кофе напиться?

Теперь надо было сказать главное — назвать адрес, и Сашко с сердцем бросил косой взгляд на Золотарева: этот

чертов помещик все еще вертелся здесь, и так близко, что, несомненно, услышит его слова. Шел бы уж точить лясы в свой «высший свет»!

Но приезжий подпольщик ждал, а пароль для того и составляется из простых, обыденных слов, чтоб можно было его в случае надобности произносить в присутствии посторонних. И Сашко ответил:

— Что ж, зайдите в кафе Фанкони на Екатерининской. Вон, за углом.

— Спасибо,— ответил подпольщик.

И Сашко опять почувствовал, как он окинул его ласковым, каким-то отеческим взглядом.

— А сколько тебе лет? — вдруг услышал Сашко.

Сашка даже в жар кинуло. Проникнутый всей серьезностью выполняемого дела, он совершенно забыл о девушке, забыл и о том, что подошла она вместе с подпольщиком, которого он поджидал, и потому упустил из виду, что, выходит, и она, эта несчастная девчонка, тоже... подпольщица.

Не могло этого быть! Подпольщики — всё люди взрослые, солидные, мужественные, боевые и, конечно же, все мужчины. А эта... эта паинька из института благородных девиц не могла и близко стоять к... великому, опасному и, разумеется, мужскому делу борьбы за всемирную революцию.

Сашка кинуло в жар, он густо покраснел.

Потому что удар был нанесен Сашку в самое чувствительное место. Всю свою короткую жизнь Сашко мечтал быть взрослым, мечтал как можно скорее вырасти — и тяжело страдал от своего несовершеннолетия. Не было для него муки горше той, которую он испытывал, когда ему давали понять, что он еще пацан. Не переносил Сашко, когда его спрашивали, сколько ему лет. Он всегда видел в таком вопросе подвох, коварное желание уколоть его малолетством, неполноценностью. И вот сейчас, в такую ответственную минуту, в минуту, когда он стоит на боевом посту, ему, как назло, поставлен именно этот каверзный вопрос. И кто поставил? Эта несчастная девчонка — пусть она даже будет дочкой самого главного подпольщика!

Он смерил девушку полным презрения взглядом и в первую секунду решил вовсе не отвечать на ее возмутительный вопрос.

Но через секунду Сашко изменил свое твердое решение. Он скажет! Пускай знает эта гимназисточка — сама от горшка три вершка,— какие бравые хлопцы в Одессе!

— Шестнадцать, семнадцатый! — вызывающе кинул Сашко и еще раз пронзил девушку уничтожающим взглядом старого морского волка.

Потом он повернулся к подпольщику и сухо повторил:

— Зайдите в кафе Фанкони на Екатерининской. Вон, сразу за углом.

— Не рекомендую,— вмешался вдруг помещик Золотарев,

который все еще торчал возле памятника, пожевывая длинную желтую сигару.— Я только что от Фанкони, кофе и у Фанкони кончилось. Не стоит туда ходить. Вы приезжий? — Помещик Золотарев, пьяно покачиваясь на своих толстых ногах, пустил подпольщику в лицо целую тучу дыма.— Закурите лучше сигару.— Он вынул из кармана и протянул такую же длинную желтую сигару.— Отличные сигары, бодрят лучше всякого кофе. Купить их можно только в одном месте: на Ришельевской, в лавочке рядом с молочной «Неаполь».

Подпольщик внимательно посмотрел на помещика Золотарева, но сразу же отвел глаза. Сашку показалось, что подпольщик насторожился. Еще бы! Такое важное, ответственнейшее дело — обмен паролями на явку, а тут подкатывается какой-то полупьяный ферт... Но подпольщик просто полез в карман за кошельком, чтобы — для видимости — заплатить Сашку за работу.

Он дал Сашку немецкую марку — это было чертовски щедро за чистку пары поношенных башмаков! — приветливо кивнул ему и взял под руку девушку.

— Пойдем, Галя!

— Дядя, дядя! — быстро прошептал Сашко, так, чтоб не услышал Золотарев.— А вы все ж таки пойдите к Фанкони, пойдите.

Подпольщик кивнул, еще раз окинул Сашка ласковым, отеческим взглядом и вместе с девушкой Галей двинулся через площадь к углу.

Помещик Золотарев, пьяно шаркая ногами, поплелся по направлению к «Лондонской».

Сашко с тревогой следил за подпольщиком, пока он и девушка вместе с ним не скрылись за углом Екатерининской. Тогда Сашко облегченно вздохнул: все хорошо, дело сделано, он выполнил свой долг на посту.

В эту минуту к нему подошел какой-то гимназист и поставил ногу на подставку. Но Сашко спихнул его ногу и громко захлопнул крышку ящика.

— Шабаш, карандаш! Иди свои уроки учить! А башмаки пусть тебе мама чистит...

В самом деле, был уже вечер, солнце давно село за лиман, а с наступлением вечера Сашко должен был шабашить.

Он закинул свой ящичек на ремне через плечо и, насвистывая «На Молдаванке музычка играет...», почти бегом направился к Ланжерону. Отец уже должен был вернуться с вечернего лова и надо было с отцом мириться. Нашкодил, конечно, старик, но как-никак — отец.

В это время за углом Екатерининской мужчину с девушкой снова нагнал помещик Золотарев.

Запыхавшись от быстрой ходьбы, он скороговоркой произнес, оглянувшись предварительно, чтоб никто не услышал:

— Парнишка со второй линии связи не был предупрежден. Но связь первой линии, у Фанкони, только что провалилась. Собственно связист не провалился, но вынужден был оттуда уйти, потому что оставаться там опасно: облава! Связь первой линии — я. И я даю вам явку: табачная лавочка возле молочной «Неаполь». Мы вас ожидаем, Иван Федорович. Видите, я вас знаю. Если вы мне всё еще не верите, я назову и себя. Вас должны были обо мне предупредить. Я — Котовский.

* * *

Явку получили двое большевиков: Иван Федорович Смирнов, он же «Николай Ласточкин», и Галина Мирошниченко, она же «Галя». По поручению Центрального Комитета РКП(б) они прибыли в Одессу для руководства местным подпольем в борьбе против сил контрреволюции и интервентов.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Консул Франции с особыми полномочиями по Украине мосье Эмиль Энно прибыл еще третьего дня.

Небольшое, но быстроходное и элегантное спортивное судно — яхта с парусной оснасткой фрегата и мощным дизель-мотором — появилось в виду Одессы вечером и бросило якорь на рейде.

Яхта была под французским штандартом, и население города высыпало на берег — смотреть на французский десант.

Прошел слух, что это легкокрылое спортивное суденышко — флагман крупной эскадры тяжелых броненосных кораблей.

В таком парадоксальном несоответствии одесские «мудрецы» и львы петербургских великосветских салонов, ныне ставшие табором у спасительных одесских берегов, усматривали галантное проявление типичного французского остроумия и легкомыслия. Милые шутники, двинув огромную и могучую армаду, с тонким юмором подчеркивали увеселительный характер своего боевого похода. За яхтой-флагманом должны были прибыть на одесский рейд пятьдесят крейсеров, линкоров и субмарин.

Береговой телеграф — речь идет не о пустомелях и сплетниках приморских бульваров, которые сами выдумывают и сами же распространяют несусветные слухи, а о вполне реальном прямом проводе «Англо-черноморского телеграфного агентства» — уже принес известия из других пунктов черно-

морского и азовского побережья: в порты Батума, Новороссийска и Ростова прибывала английская эскадра, в севастопольскую бухту вошли французские и итальянские корабли. Вымпелы американских, английских, французских и итальянских судов проходят через Босфор и держат курс на порты Черного моря.

Всю ночь напролет на мачте французской яхты, бросившей якорь на рейде, будоража население Одессы, вспыхивали и гасли сверкающе-синие огоньки. Искровой радиотелеграф яхты держал связь с Константинополем.

Представитель военного командования союзных армий генерал Бартелло, находившийся в рубке яхты, запрашивал генерала Франшэ д'Эспрэ — главнокомандующего союзных армий на Востоке — о церемониале высадки на берег военного и гражданского представителей Антанты.

Ответ пришел не сразу, а уже поздней ночью — после консультации генерала Франшэ д'Эспрэ, находившегося в Константинополе, в Турции, с представителем Франции в ранге посла, мосье Сен-Олером, который в Яссах, в Румынии, возглавлял дипломатический корпус союзнических стран на Ближнем Востоке и юге Европы.

Военному представителю Антанты предписывалось временно — до получения указаний из Парижа — воздержаться и на российские берега не сходить. Консулу же Франции с особыми полномочиями, как гражданскому представителю правительства, предлагалось сойти на берег немедленно, не дожидаясь выяснения вопроса по военной линии, однако судна не швартовать и держать его покуда на рейде. Высадку консулу рекомендовалось произвести не корабельным шлюпом, а средствами местного портового транспорта: этим надлежало подчеркнуть, что консул не имеет отношения к военной администрации, что он только дипломатический представитель и прибывает как гость страны.

2

Катер начальника одесского порта еще с вечера егозил на волнах у парадного трапа яхты.

Но консул Франции с особыми полномочиями решил, что во имя государственного престижа и для соблюдения дипломатического этикета ему подобает сойти на берег только после завтрака.

Он появился у борта яхты точно в десять вместе с женой.

Утро было серое и туманное — типичное для Одессы во второй половине ноября, но с моря уже тянуло ветерком, и через часок-другой — что тоже типично для одесского климата — несомненно, должно было выглянуть солнце. День обещал быть ясным и теплым. Волнение на море утихало,

судно покачивала медленная, ленивая зыбь, прибой у берега ложился длинными спокойными полосами.

Мосье и мадам Энно еще в иллюминаторы кают-компании вдосталь нагляделись на береговой пейзаж — на величественную панораму прекрасного приморского города, импозантного и ласкающего взгляд даже сквозь дымку туманного осеннего утра.

Ни мосье Энно, ни мадам Энно не были особенными любителями природы или ценителями красоты, однако, остановившись у трапа, на виду команды катера, они сочли нужным на мгновение застыть с выражением крайнего восхищения открывшимся видом.

Мадам Энно даже слегка вскрикнула — так, чтоб услышали на катере внизу, и вслед за тем порывисто вздохнула, чтобы снизу, с катера, отчетливо обрисовался на фоне неба общий контур ее грациозной фигуры.

Мадам Энно придерживалась взгляда, что красивая женщина должна производить впечатление с первого шага, независимо от того, кто на нее смотрит и вообще смотрит ли на нее кто-нибудь. Быка, говорила она, надо сразу брать за рога. Кто был бык и о каких рогах шла речь, этого мадам не считала нужным комментировать.

Но бриз подхватил полы манто, отвернул их и пробежал по телу холодными струйками. Мадам Энно поспешно запахнула полы и поежилась. Это поеживание тоже имело свое символическое значение: оно должно было засвидетельствовать заранее перед всеми, кто ее видел, деликатность и изнеженность ее натуры и вообще ее нерасположение к каким бы то ни было жизненным невзгодам.

Впрочем, то утро и в самом деле было прохладным, а мосье и мадам Энно были одеты легко, по обычаю парижан.

На плечах у мадам Энно были только легкие шиншиллы, а на голове — легчайший белый беретик из ангорской паутинки. Палантин из шиншиллы был лишь недавно приобретен в Константинополе за полцены у супруги какого-то еще в семнадцатом году бежавшего из Петрограда и прожившегося русского сановника. Берет был галантным и, возможно, символическим подарком самого главнокомандующего Франшэ д'Эспрэ,— в дипломатических кругах Ближнего Востока шептались о флирте почтенного старца в боевых орденах с пикантной консульшей в шиншиллах. А драгоценную шерсть ангорских коз французские интенданты забирали у турецких скотоводов за гроши.

Мосье Энно был в пальмерстоне тонкого черного сукна, на голове у него был легкий котелок с муаровой ленточкой.

Элегантный котелок и бархатный воротник пальмерстона очень шли мосье Энно; его черные усики стрелками приобретали в таком обрамлении особенно мужественный вид.

Но ветер крепчал, и мосье Энно и в самом деле озяб у открытого борта. Поэтому он перестал любоваться видом и, галантно предложив руку мадам, поспешил к трапу.

На катере немедленно раздалась команда, даже заиграла боцманская дудка — и весь экипаж подтянулся.

Начальник порта — седоусый моряк в форме капитана — стоял внизу, у трапа, и, когда нога консула ступила на палубу катера, молодецки отдал честь. Консул одарил его галантной улыбкой и тоже приложил два пальца к своему котелку. Он собирался подать руку мадам, которая уже семенила по трапу, но из джентльменских соображений чуть помедлил, справедливо полагая, что сей акт вежливости пожелает выполнить сам начальник порта — гостеприимный хозяин. Но начальник порта вдруг вытянулся «смирно» и начал барабанить рапорт. Мосье Энно, как человек абсолютно штатский, не был подготовлен к принятию рапорта, не знал совсем воинского этикета, удивился и растерялся.

Как раз в это время мадам прыгнула на палубу. Но волна вдруг качнула катер, палуба вдруг ушла далеко вниз, и мадам, слегка взвизгнув, на миг повисла в воздухе, между морем и небом, а затем тяжело упала в объятия двух бравых матросов, стоявших у трапа.

Мосье Энно поспешно наклонился с бортовой скамьи, на которой он стоял, чтобы, не теряя времени, помочь мадам, и весь рапорт начальника порта — косноязычная и громогласная мешанина из уверений, что в порту все спокойно, и выражений счастья по случаю лицезрения посланца дружественной державы — был обращен, таким образом, к спине мосье Энно.

Это происшествие было исчерпано тем, что мадам подарила бравых матросов милой улыбкой и мужа по-русски «свиньей», а мосье Энно вдруг пожал начальнику порта руку и произнес в тонах наивысшей экзальтации: «Вив ля Рюси!» [1] Потом, спохватившись, он поспешил прибавить: «Э мосье гетман д'Украин оси!» [2]

Захлопал винт, и катер сразу дал полный ход. Стрелой полетел он к белому маяку на конце Рейдового мола.

Мосье и мадам Энно, пикируясь по поводу только что пережитых происшествий, стояли рядом на носу катера, начальник порта — навытяжку несколько в стороне. Матросы — те, что приняли в свои объятия мадам,— обменивались позади своими непосредственными впечатлениями, с некоторыми натуралистическими подробностями, относящимися к формам мадам. Высказывания их, хотя и не вполне пристойные, не были, однако, обидны для мадам. Они высоко оценивали ее

---

[1] Да здравствует Россия! *(франц.)*

[2] А также господин гетман Украины! *(франц.)*

достоинства, даже льстили ей. Однако, чтобы избежать в дальнейшем возможных недоразумений, да и не без коварного женского кокетства, мадам Энно, не слишком сердито стрельнув в сторону матросов глазами, обратилась к начальнику порта полным голосом и на чистейшем русском языке, если не принимать во внимание некоторых особенностей одесского диалекта:

— Расскажите же нам, господин капитан, что-нибудь за вашу прекрасную Одессу.

Матросы осеклись на полуслове и поспешили спрятаться за бухту каната. Но начальник порта растерялся еще больше и начал что-то лепетать о том, что он, видите ли, не местный, что родители его — рязанские помещики, а сам он до этой чертовой гетманщины, то есть при старом режиме, служил на Балтийском море, но должен был бежать оттуда из-за большевиков...

Мадам Энно была одесситка. Точнее говоря, отец ее держал корчму и торговал беспошлинной водкой на бессарабском тракте возле Бендер, но дочку выводил в люди через одесское епархиальное училище. Впрочем, не закончив курса наук в епархиальном, мадам Энно — тогда собственно Муся Ильманеску — сбежала в кордебалет Театра миниатюр у Сабанеевского моста. С этой же труппой попала она позднее на гастроли в киевский театр «Интимный» на Крещатике. Там и увидел ее мосье Энно — тогда, перед мировой войной, торговый представитель синдиката французских фирм на юге России, а с начала войны — торговый консул Франции. Основной сферой деятельности мосье Энно в те поры была парфюмерия, которую французские фирмы поставляли в Киев «Юротату» — «Южно-русскому обществу торговли аптекарскими товарами», и в ассортименте товаров, кроме разных лекарств и хирургических инструментов, всегда был великолепный выбор гигиенических принадлежностей и духов фирмы «Коти». Этим и соблазнил мадемуазель Мусю мосье Энно, сам соблазненный ее округлыми формами и кругленькой суммой, которую давал за непутевой дочкой ее родитель, старый корчмарь, разбогатевший на безакцизной водке...

Город между тем приближался во всей своей красе. И был он воистину прекрасен. Первый взгляд на него не может не взволновать каждого новоприбывшего.

— О Одесса, российский Вавилон! — патетически воскликнул мосье Энно. Фраза эта, заготовленная еще загодя, в Париже, была рассчитана, конечно, на слушателей, знакомых с древней историей.— И мы украсим тебя садами Семирамиды!

Город стремительно приближался, буруны кипели за кормой, и, выписав широкую дугу по тихой заводи за волнорезом, катер полетел к градоначальницкому причалу на Платоновском молу.

Мосье Энно стоял на носу катера, заложив руку за борт пальмерстона и чуть-чуть выставив вперед правую ногу, и на лице у него застыло выражение вдохновенное и преисполненное достоинства. С береговых склонов, с прибрежных бульваров, с дебаркадеров пристани на катер, вне сомнения, смотрели в подзорные трубы и бинокли тысячи людей — и консул Франции, да еще с особыми полномочиями, должен был позаботиться о приличествующем моменту выражении своего лица. Ибо выражение лица дипломата — это политика государства, которое он представляет.

Берега Одессы и в самом деле были густо усеяны людьми. Поодиночке, группами и целыми толпами люди облепили все возвышенности над территорией порта: склоны над Карантином и под таможней, холмы над Приморской улицей, гору возле Воронцовского дворца и даже обрыв под дачей шаха персидского. Широкая лестница от памятника дюку до порта вся чернела людьми. Но наибольшая давка была на Николаевском бульваре, между думой и гостиницей «Лондонская». Здесь собрались все тузы Одессы, собрались русские и украинские белогвардейцы. Буржуазия и контрреволюция с нетерпением ждали иностранного десанта, который спас бы их от «варваров-большевиков», а заодно вызволил бы и из лап гетманской «украинизации».

Консул Франции с особыми полномочиями был и в самом деле взволнован.

Что ожидало его впереди?

Ведь был он облечен высокой миссией дипломатического представительства от имени не только правительства своей страны — Франции, но и от дипломатического корпуса стран, одержавших победу в только что закончившейся мировой войне. Он должен был осуществить здесь высокие «идеалы мировой цивилизации», одновременно выполняя и ответственнейшие задания в интересах ряда великих держав, которые, впрочем, в большинстве случаев были абсолютно противоречивы. Особенно высоко он должен был держать знамя Франции и вместе с тем особо блюсти интересы французских предпринимателей здесь, на юге России, где теперь откуда ни возьмись появилось правительство украинского гетмана.

На консула Энно дипломатическим корпусом стран Антанты и была возложена чрезвычайная миссия — выяснить, что же это за гетманская Украина, кому и зачем она нужна.

Похоже было, что мосье Энно должен был открыть для цивилизованного мира какую-то новую, неизвестную страну и чувствовал себя в эту минуту Колумбом, который вот-вот откроет Америку. Разница была только в том, что Колумб даже не знал, что Америка существует, он просто искал путей в Вест-Индию, а мосье Энно наперед было доподлинно известно, что Украина действительно есть. Ведь именно на этой

земле, которая для мосье Энно и ему подобных только сейчас вдруг начала именовать себя Украиной, издавна были шахты, рудники и заводы, дававшие огромные дивиденды и принадлежавшие французскому капиталу, и именно туземцам этой земли издавна продавал мосье Энно аспирин, патентованные препараты, резиновые изделия, а также пудру и духи непревзойденного Коти.

Но теперь мосье Энно предстояло иметь дело не с контрагентами «Юротата», а с министрами, и с министрами не только гетманского, но сразу нескольких правительств, претендовавших на властвование над этой землей: южно-русского, донского, да еще, пожалуй, и украинско-петлюровского, которое всего несколько дней назад неведомо откуда объявилось в провинциальном городишке Белая Церковь в лице республиканской «директории» и потребовало от гетмана его монаршую булаву.

Словом, консул Энно уполномочен был выявить контрреволюционные силы на Украине и установить их пригодность для борьбы против большевиков...

При этой мысли по спине мосье Энно пробежал холодок.

Впрочем, это, конечно, был только свежий морской ветерок, нахально пробиравшийся под легкий пальмерстон. Конечно же, надо было надеть сибирскую доху из песцов, которую еще в Киеве торжественно презентовали мосье Энно агенты Протофиса — объединения промышленников, торговцев и финансистов — за мелкие услуги при учете русских векселей во французском Национальном банке в связи с валютными операциями в начале российской революции. В Париже эта доха произвела фурор. В ателье мод на Пляс д'Этуаль не замедлили появиться жалкие подделки из обыкновенных кроликов. Но уже сама реклама чрезвычайно льстила самолюбию торгового агента и коммивояжера: «русская доха мосье Энно» — только девятьсот девяносто девять франков, со всеми необходимыми переделками по фигуре и с доставкой на дом!

Мадам Энно тоже поеживалась в своем шелковом манто под палантином из шиншиллы. Но такое поеживание было ей к лицу, и мосье Энно не мог по-настоящему понять — то ли ей действительно холодно, то ли она старается произвести соответствующее впечатление. А впечатление пора уже было производить: катер подлетал к дебаркадеру.

Мосье Энно подкрутил усики стрелками кверху, как у немецкого кайзера Вильгельма, и изобразил на лице улыбку благоволения и привета. Ведь он причаливал к берегу страны, которая впоследствии должна вписать его имя в свою историю.

— Скажите,— обратившись к начальнику порта, полюбопытствовал мосье Энно,— а полиция и жандармерия у вас как — при исполнении своих обязанностей?

3

Прибытие консула Франции с особыми полномочиями было обставлено без пышности, но солидно и со строгостью, достойной уважения.

Пристани, сколько мог окинуть глаз, были совершенно безлюдны. Мосье Энно сразу же оценил эту заботу о пристойности и порядке. Восторженные приветствия осчастливленного народа были бы, конечно, приятны и льстили самолюбию, но кто мог поручиться, что в толпе не возникнет какой-нибудь нежелательный эксцесс? В стране, где подбирались к власти варвары-большевики, всего можно ожидать.

Только на градоначальницком причале стояла кучка людей, повидимому именитых граждан города. А у самого дебаркадера застыли четыре фигуры: одна дородная, тучная, в меховой шапке и широченной оленьей дохе — надо было-таки и мосье Энно надеть свою куда лучшую доху из песцов! — и три другие в военной форме. Катер причалил. Мосье Энно пригляделся внимательнее, и сердце его затрепетало: у военных на плечах были генеральские эполеты — консула Франции встречал генералитет!

Фигура в дохе, распахнув полы, из-под которых виднелся черный сюртук, тоже расстегнутый, с широкой красной лентой через плечо и с каким-то орденом, болтавшимся под подбородком, сдернула шапку и, шевеля страшными, турецкими усами с подусниками, заорала так, что эхо прокатилось по пакгаузам, находившимся позади причала:

— Вив ля Франс! [1]

— Градоначальник, господин Мустафин! — негромко информировал мосье Энно начальник порта, взяв под козырек.

Мосье Энно тотчас же сорвал с головы котелок и, точно флагом, замахал им над головой.

Мадам Энно мило улыбнулась. Мустафин был градоначальником Одессы и очаровывал всех девиц на Дерибасовской своими рысаками с ёкающей селезенкой, Дубровского конного завода, еще в те времена, когда Муся Ильманеску проделывала сотбаски, шене тур де форсы и другие балетные пируэты в Театре миниатюр у Сабанеевского моста. Он славился далеко за пределами Одессы как сказочный богач, неотразимый сердцеед и безупречный джентльмен.

— Скоты! — рявкнул градоначальник Мустафин на матросов, которые, ловко спрыгнув на пирс, без промедления выложили сходни, и бросился на палубу катера.

Ругать матросов было не за что — они действовали с виртуозностью циркачей,— но престиж градоначальника требовал немедленного и наглядного проявления власти.

---

[1] Да здравствует Франция! *(франц.)*

— Ах, русский медведь! — улыбнулся мосье Энно, справедливо полагая, что на глазах у именитых граждан и перед объективом фотоаппарата — а тут уж обязательно должен был быть фотограф — он в минуту прибытия непременно должен обменяться с супругой тонкой улыбкой и милыми репликами.

— Старый биндюжник! — фыркнула мадам Энно.

Она не могла простить неотразимому донжуану Мустафину, что лет пять тому назад, за кулисами Театра миниатюр, куда он попал после какой-то джентльменской попойки, градоначальник Мустафин не обратил никакого внимания на все ее прелести и увез с собой какую-то тощую хористку — только потому, что та свободно щебетала по-французски и вообще славилась своей пикантностью. Теперь знала уже тысячу французских слов и Муся Ильманеску, причастилась и она всех тонкостей французского обхождения, стала чистокровной парижанкой и даже представляла само правительство Франции. Русский вельможа Мустафин был теперь по сравнению с мадам Энно ничто, и мадам Энно еще подумает, терпеть ли ей его у кормила власти в городе Одессе.

Ввалившись на палубу катера, русский медведь с турецкими усами первым долгом схватил ручку мадам Энно и так чмокнул ее, что снова пошел шелест по гофрированному железу портовых пакгаузов. Потом он выпрямился и протянул обе руки консулу Франции:

— Аве, Цезарь, император, моритури те салютант! [1]

Мосье Энно растерялся. Ведь он же не был ни Цезарем, ни императором, да и сам градоначальник Мустафин как будто не собирался умирать. К тому же, насколько было известно мосье Энно, окончившему торговую католическую школу в Марселе, это патетическое латинское изречение приличествовало при иных, пускай и столь же торжественных, случаях.

Но мосье Энно пришлось еще больше растеряться, когда его протянутая для пожатия рука повисла в воздухе, а русский медведь с турецкими усами вдруг облапил его и так прижал к своей жилетке, что щуплый мосье Энно совсем потонул между полами дохи и чуть не задохнулся от запаха спиртного перегара, табака и одеколона. Одеколон был, правда, вне всякого сомнения, фирмы Коти.

— Разрешите по нашему русскому обычаю! — прогремел между тем градоначальник Мустафин и трижды облобызал оторопевшего консула.

Только после этого, отпустив мосье Энно, градоначальник поймал его руку и так начал трясти, что чуть не выдернул из плеча.

И уже тогда на чистейшем французском языке градоначаль-

---

[1] Здравствуй, Цезарь, император, обреченные на смерть приветствуют тебя! *(лат.)*

ник стал представлять генералов, взошедших уже на палубу катера и ждавших своей очереди.

Один из генералов был старый, грузный, с усами моржа и вообще каким-то моржовым выражением лица. Его, очевидно, мучила изжога, потому что он все время болезненно морщился и, казалось, готов был разразиться плачем и стенаниями. Фигура у него была неуклюжая, бабья. Полы шинели спускались чуть не до пят. А сапоги с низенькими блестящими голенищами тонули в огромных калошах с медными петельками вырезов на задниках — для шпор. Шпоры тоже позванивали как-то плаксиво. Казалось, что генерал пришел о чем-то клянчить и тут же, немедленно, начнет долго и нудно излагать свою униженную просьбу.

Второй генерал был совсем молодой — даже странно, что генеральские эполеты лежали на таких юношеских плечах. Это был стройный, элегантный красавчик с подщипанными бровями и крошечными английскими усиками под носом. Генеральская фуражка сидела на его гордо поставленной и аккуратно подстриженной голове с особым гвардейским шиком. Его тоненькая, летняя шинелька была сшита коротко, до колен, и узка в талии. Всей своей подтянутой фигурой, всем своим холеным видом молодой генерал выказывал полнейшее презрение ко всему на свете, включая и французского консула, которого он приветствовал.

Третий генерал выглядел и вовсе неожиданно. И как будто что-то знакомое показалось мосье Энно в его генеральской внешности. Знакомой была шинель. На генерале красовалась голубая французская армейская шинель, с французскими же генеральскими золотыми жгутами вместо эполетов. И все же генерал не принадлежал к французским войскам. На голове у генерала возвышалось какое-то хитроумное сооружение. Огромнейшим козырьком, окованным сверкающей латунью, начинался сложный головной убор с высокой тульей, густо расшитой толстым золотым галуном и увенчанной сверху широким плоским четырехугольником, обильно простроченным крест-накрест густым золотым шитьем. Петлицы на генеральском воротнике были двухцветные — бело-малиновые и тоже с огромными золотыми шевронами. Такие же, только, пожалуй, еще больше, золотые шевроны были на рукавах шинели — выше локтя, на обшлагах — ниже локтя, а также на груди с обеих сторон.

Градоначальник тем временем представлял.

Генерала с моржовыми усами:

— Генерал от инфантерии, командующий одесским гарнизоном войск его ясновельможности пана гетмана всея Украины Бискупский.

Генерал отдал честь, зацепив локтем мадам Энно и пробубнив что-то в свои рыжие от табака усы.

машину,— мы доставим вас сейчас в наш лучший отель и потом уже обмозгуем, где найти вам подходящие и соответствующие вашему дипломатическому рангу апартаменты.

— Нет, нет! — заволновался мосье Энно и даже поднялся с места.— Что вы! Сразу на вокзал!

— Как так на вокзал? — удивился градоначальник, тоже поднимаясь с места, на которое уже было уселся.

Мадам Энно тоже встала.

— Мон ами [1], но ведь надо отдать распоряжения относительно наших кофров, и вообще после морской поездки...

Они так и стояли все трое в машине посреди площадки перед павильоном на молу. Шофер вопросительно поглядывал через плечо на градоначальника. Именитые граждане столпились вокруг машины.

— Да-а,— замялся мосье Энно,— можно, конечно, сначала и в отель, мадам отдохнет с дороги. В отеле мы узнаем, когда идет поезд...

— Вы собственно,— полюбопытствовал градоначальник,— куда собираетесь ехать? Какой вам нужен поезд?

— Как куда? — искренне удивился мосье Энно.— В Киев, конечно. В столицу Украины. Я, мосье, аккредитован в качестве консула Франции с особыми полномочиями при правительстве украинского гетмана...

Градоначальник минуту смотрел на консула и вдруг засмеялся:

— В Киев! В столицу Украины! Правительство гетмана... Поездом в Киев?

Мосье Энно озадаченно смотрел на хозяина города Одессы. Толпа именитых граждан стояла вокруг мрачная, веселость градоначальника не заразила никого. Даже у генералов лица потемнели. Гришин-Алмазов покусывал верхнюю губу. Бискупский, казалось, вот-вот заплачет.

Наконец, градоначальник растолковал:

— Поезда на Киев не ходят, мосье. Железнодорожный путь между Киевом и Одессой перерезан по крайней мере в десяти местах. Между Киевом и Одессой по меньшей мере десять крупных и сто мелких банд. Их царство начинается сразу же за Одессой-Товарной. Гайдамаки, сечевики, синежупанники, черношлычники, усусы и усусусы, григорьевцы, ангеловцы, архангеловцы, тети Маруси и батьки Махны — черт их там разберет всех, вплоть до петлюровцев в Белой Церкви! До Киева, мосье, сейчас дальше, чем до Северного полюса в довоенное время! Гетманское правительство! Столица! Еще неизвестно, мосье, чьей столицей он будет сегодня после завтрака! Еще неизвестно, мосье, что будет с самим паном гетманом завтра после обеда!..

Градоначальник даже налился весь синей кровью.

---

[1] Мой друг *(франц.)*.

— Директория! Директория, мосье, с которой деликатничают ваши министры, премьеры и президенты, вместо того чтобы гнать ее взашей! Директория обложила Киев вместе с гетманом, с которым вы... Пардон, мосье... вы простите, но нас все это чрезвычайно волнует...

Он попытался изобразить на лице некоторое подобие учтивой улыбки.

— Э, директория, директория...— не нашелся что сказать консул Франции с особыми полномочиями; он пока не имел еще указаний, как относиться к антигетманскому восстанию, случившемуся уже после того, как он получил из Парижа инструкции поддерживать власть гетмана на Украине и выехал из Ясс.— Никакого восстания, знаете, мы не допустим... Мы, знаете, обещали им только, так сказать, моральную поддержку, понимаете, национальный колорит, капеллы там и певческие кружки... Это, безусловно, только недоразумение. Они починят железнодорожную колею, успокоят мадам Марусю и пустят сюда поезда...

— Поезда, мосье, не ходят! — решительно отрубил градоначальник.— И неизвестно, когда пойдут. Куда будем ехать?

Он первым сел на свое место в машине.

— Ну что ж,— сказал мосье Энно,— что ж... Тогда, конечно, давайте проедем в отель и...

Мотор зафыркал. Градоначальник ткнул шофера кулаком в спину:

— В «Лондонскую»!

Машина рванула, именитые граждане бросились врассыпную.

Но в эту секунду мадам Энно прошептала:

— Эмиль! Заявление союзных держав тебе поручено обнародовать не позже чем сегодня вечером. Если мы в Киев не попадем, ты должен опубликовать его в Одессе.

Мосье Энно схватил шофера за плечо:

— Нет, нет! Сначала в редакцию газеты! В редакцию газеты в первую очередь! Или нет, на телеграф! Телеграф у вас работает, мосье градоначальник?

Мустафин передернул плечом.

— Телеграф иногда работает... Но разрешите все-таки сначала заехать в гостиницу, устроиться, а там...

— Нет, нет! — забеспокоился мосье Энно и даже сделал движение, как бы намереваясь выскочить из машины.— На телеграф!

Он полез в карман, вытащил бумажник, раскрыл его и достал оттуда листок бумаги. Удостоверившись, что листок цел, он сунул его обратно и, крепко держа бумажник в руках, с некоторым страхом поглядел на градоначальника.

— А на телеграфе не переиначат чего-нибудь, не переврут

текста? Ведь на телеграфе тоже могут быть большевистские агенты, не правда ли, мосье?

— И очень даже просто! — подтвердил градоначальник.— Там большевик на большевике сидит и большевиком погоняет.

— Тогда в редакцию газеты! Если документ появится в газете, они уже не смогут его переврать — не правда ли, мосье?

— А что там такое? — поинтересовался градоначальник, подозрительно поглядывая на бумажник в руках у консула.

— Декларация. Декларация Антанты, мосье, к народу вашей страны.

Лицо градоначальника сразу расцвело.

— В редакцию! — рявкнул он шоферу.

Машина снова рванула, и именитые граждане сразу остались далеко позади.

— А в какую же редакцию, мосье? У нас здесь полтора десятка этих самых органов прессы... разнообразнейших направлений. Вам какое направление подойдет?

Но нерешительное поведение мосье Энно заставило мадам Энно взять дело в свои руки.

Мадам потихоньку ущипнула мосье и мило улыбнулась градоначальнику.

— Нет, нет, мосье! Раз дело обстоит так, что сразу выехать в Киев невозможно, мы, конечно, раньше всего поедем в отель, который вы нам любезно предлагаете. Там мы отдохнем, все обдумаем и так далее.

Она еще раз ущипнула мосье, и тот одобрительно кивнул головой.

Теперь для начальника града Одессы уже не было сомнений, кто именно консул Франции.

Он снова толкнул шофера в спину:

— В «Лондонскую»!

Машина, мчавшаяся уже на полной скорости по направлению к Градоначальницкому спуску, с ходу развернулась на Таможенной площади и рванула назад по Приморской улице, к Воинскому спуску, под Сабанеевский мост и дальше, Гаванною, Ланжероновскою, Екатерининской — на Николаевский бульвар, к гостинице «Лондонской».

4

Завтрак был сервирован в малом банкетном зале на втором этаже.

Это должна была быть изысканная джентльменская трапеза — без участия представительниц прекрасного пола. Мадам Энно в данном случае в счет не шла: она была почетным гостем, а тем самым и почетной хозяйкой за мужским столом,— следовательно, не нарушала ни этикета, ни самого тона. В бюджете

градоначальника, который должен был платить по счету, расходы на такого рода трапезы проходили по графе дипломатических приемов, приемов гостей особо важных, прежде всего — иностранного происхождения. В этикетном прейскуранте ресторатора Штени, получавшего по счету, подобная трапеза значилась в рубрике «завтраков учтивости», под номером «I». Всего номеров в этой рубрике было двенадцать.

Точно в два, как было назначено, Штени во фраке и с ленточкой ордена Почетного легиона, который продал ему какой-то посетитель, застыл возле буфета; два лакея — пока еще без салфеток — вытянулись по обе стороны плотно прикрытых дверей. Двери должны были широко распахнуться невидимой силой при первом же поскрипывании шагов по персидскому ковру в коридоре.

Но все вышло не так, и «завтрак учтивости номер один» не состоялся.

Мосье и мадам Энно категорически отказались завтракать в открытом банкетном зале. Мосье Энно, вежливо извинившись, объяснил, что, будучи облечен столь ответственной миссией, он считает своим долгом немедленно же приступить к выполнению сей миссии. А наиболее существенное для выполнения ее — это теснейшие связи с самыми широкими кругами русского общества. Поэтому мосье Энно и спешит возможно скорее припасть к этому животворному источнику — безотлагательно начать свое знакомство с российской общественностью запросто. Иными словами, они с мадам, надеясь, что мосье градоначальник и мадам градоначальница не откажутся их сопровождать, спустятся сейчас в первый этаж и скромно перекусят в общем зале ресторана среди широчайших кругов российской общественности.

— Российская общественность,— закончил мосье Энно,— таким образом, будет иметь возможность достойно оценить отношение к себе высших кругов общественности французской; Франция и Россия должны быть на равной ноге!

Мосье Энно собственно не собирался устраивать подобный дипломатический реприманд. Но мадам Энно прямо заявила ему, что если он, Эмиль, действительно хочет выйти в дипломаты, то прежде всего должен делать все наперекор тому, что ему здесь станут предлагать, во-вторых, только то, что скажет она. Мадам Энно пришла в ужас от одной мысли протомиться несколько часов в компании именитых граждан с меланхолическими физиономиями и генерала с моржовыми усами. А за те несколько минут, которые ей с мосье Энно пришлось пробыть в вестибюле отеля перед входом в ресторан, мадам Энно успела заметить не одну привлекательную офицерскую фигуру в английской шинели с русскими погонами. Таким образом, намечались все необходимые условия для небольшой предварительной перестрелки глазами в общем зале ресторана.

Ресторатор Штени полетел сломя голову в общий зал — сервировать столик в уютном уголке возле буфета на четыре персоны: для мосье Энно, мадам Энно, градоначальника и градоначальницы, за которой уже послали курьера.

Второй курьер был послан к полицмейстеру — срочно организовать в ресторане внутреннюю охрану. Форма для филеров внутренней охраны устанавливалась — смокинг или черный пиджак; рацион за столиком — бутылка лимонада; вероисповедание — православное.

Третий курьер отбыл к коменданту города с указанием, чтобы патруль при входе пропускал в ресторан господ офицеров и панов гетманских старшин чином не ниже ротмистра и есаула — для кавалерии, капитана и сотника — для пехоты. Для польских легионеров белого орла минимальный чин устанавливался полковничий. Из немцев и австрийцев вход разрешался только генералам.

Когда мадам, а за нею и мосье Энно в сопровождении градоначальника и градоначальницы вошли в ресторан, зал «Лондонской» — в эту раннюю, предобеденную пору обычно пустой — был набит людьми, как в новогоднюю ночь. За столиками на четверых сидело по восемь персон; за приставной стул официанты брали сначала по десятке, а затем и по четвертной николаевскими. Позднее, когда за это дело — и в свою пользу — взялся сам ресторатор Штени, появились и приставные столики; за каждый столик ресторатор Штени брал тысячу думскими. На немецкие марки и австрийские кроны ресторан расчетов уже не производил.

Немецкие марки и австрийские кроны с той минуты, как мадам Энно объявила, что союзники прибывают только для того, чтобы ликвидировать пагубное немецкое влияние, на одесской бирже уже не котировались. Гетманские карбованцы еще продавались, но только перед входом на биржу, на углу Пушкинской и Полицейской, и только на вес: фунт гетманских «лопаток» за фунт стерлингов. Франк, который за последнюю неделю то дорожал на три рубля, то дешевел на два, дошел до десяти рублей. Банкиры братья Кусис, которые за время австро-немецкой оккупации обратили свои капиталы в марки и кроны, только что застрелились на своей даче в Аркадии.

Когда мадам Энно, очаровательно приподняв бровки, на мгновение приостановилась на пороге ресторана, в зале, хоть он был набит, как синагога Бродского в судный день, стало тихо, как в Успенском соборе в страстную пятницу.

Сказать, что здесь в эту минуту собрался весь цвет Одессы, было бы неверно. Тузы Одессы присутствовали не все, зато представлен был чуть ли не весь цвет бывшей Российской империи.

Тут были земельные магнаты из плодороднейших областей Украины — Херсонщины, Харьковщины, Подолии. Но вместе

с ними восседали и владельцы латифундий рязанских, орловских и пензенских. Тут были крупнейшие промышленники Юга — из Юзовки, Бахмута, Екатеринослава. Но рядом с ними сидели и мануфактурные властелины средней полосы России — подмосковные ситцевые и сарпинковые короли. Тут собрались не только одесские нувориши, или финансовые парвеню украинского юга, но и главы старых банкирских династий Центральной России.

Петербургскую аристократию, кроме упомянутых уже графов Бобринского, Капниста и Гейдена, барона Меллер-Закомельского и князя Урусова, представляли даже члены царской фамилии: великая княжна Ксения и княгиня — супруга великого князя Михаила, который, как известно, был последним русским царем, процарствовав всего два дня.

Российские великодержавно-политические круги, кроме названного уже главы «Южно-русского национального центра» черносотенца Шульгина, представляли также главы «Совета земств и городов юга России», «Совета государственного объединения России» и «Союза возрождения России» — тоже черносотенцы.

Русский дипломатический корпус был представлен несколькими послами и несколькими десятками посланников. Генералов было не меньше двадцати, адмиралов — десяток, полковников генерального штаба — без числа.

Чиновный мир присутствовал здесь в составе нескольких царских министров и почти всех министров Временного правительства.

Были здесь и супруги Пуришкевича и Протопопова.

Явились и лидеры партий коалиции: меньшевиков, правых и левых эсеров, а также думского центра, правого и левого его крыла, не говоря уже о кадетах и октябристах.

Отдельно, за столиком у входа, тоже специально сервированным лично Штени, в окружении молодых людей со старческими физиономиями морфинистов сидел даже сам Мишка Япончик.

Мишку Япончика — главу корпорации одесских бандитов — каждый в Одессе отлично знал в лицо, а половина присутствующих здесь была либо ограблена им, либо стала его вечными данниками. Так что появляться Мишке Япончику в публичном месте было как будто бы небезопасно. Однако для подобных случаев у него был специальный уговор с полицмейстером и градоначальником: грабежей не учинять и надевать на голову рыжий парик. Рыжий парик был, пожалуй, и ни к чему — узнать Япончика было нетрудно по черным, при рыжем парике, усикам,— но он имел чисто символическое значение: Мишке Япончику надлежало не быть похожим на свои собственные фотографии, выставленные во всех полицейских участках и во всех общественных местах Одессы.

Молодые люди со старческими физиономиями — телохранители бандитского царька — были все как один в желтых крагах, бриджах из мелкоклетчатого «столетника», черных смокингах при целлулоидовых воротничках «композиция» и сдвинутых на левое ухо рыжих котелках. Парабеллумы они носили в кобурах под правой полой смокинга, а по два браунинга — подмышками, на резинках, прикрепленных к золотым браслетам: если руки резко поднять,— например, по команде «руки вверх»,— браунинги автоматически выскакивали из обоих рукавов.

Руководство внутренней охраной ресторана взял на себя лично командующий гетманским гарнизоном генерал Бискупский. Он стоял в двух шагах от приготовленного для мосье и мадам Энно столика — на традиционном месте самого ресторатора Штени.

Когда мадам Энно переступила порог и вместе с мосье Энно, мило улыбаясь и кокетливо поеживаясь под своими шиншиллами, направилась к столику, сервированному под сенью малиновых драпри, словно вихрь пронесся по залу.

— Вив ля Франс! — истерически взвизгнул какой-то старикашка. Еще полчаса тому назад он слонялся по вестибюлю в замызганном сером пиджачке, но уже успел сбегать к себе в номер на третий этаж и надеть шитый золотом и пропахший нафталином камергерский мундир.— Вив ля Франс!

Он упал лицом в тарелку и зарыдал, как малое дитя.

Именно это и стало сигналом ко всеобщему взрыву.

От возгласов «вив ля Франс» и могучего русского «ура» вперемежку со значительно более слабым украинским «слава» задрожали старые стены гостиницы «Лондонской». Эхо зазвенело в разноцветных витражах окон. Таких громогласных оваций и такого столпотворения никогда еще не слышали и не знали стены одесской ресторации. А ведь здесь каждую субботу пропивали свои турецкие аферы греческие контрабандисты и их наложницы, по воскресеньям пьянствовали с кафешантанными танцовщицами гарнизонные корнеты и мичманы, а в будни спускали по ночам отцовские дивиденды сынки одесских негоциантов в компании с румынскими коммивояжерами.

Крики гремели из конца в конец. Мадам и мосье Энно раскланивались на все стороны. Штени, размахивая салфеткой и отирая ею пот с лица, пытался расчистить путь почетным гостям к столику возле буфета. Полковников он просто толкал, а генералам кричал:

— Куда же вы лезете? Что же вы пхаетесь? Вы же не на Дерибасовской и не в генеральном штабе!

Но генералы и адмиралы уже подхватили мосье и мадам Энно и понесли их через весь зал на руках.

Тогда Ситник и Максонский — знаменитый «оркестр» ре-

сторана «Лондонской»: Ситник — скрипка, Максонский — рояль — ударили туш.

— Взять у него «бимбер», а у нее «ракушки»? — предложил один из охранителей Мишки Япончика, имея в виду золотые часы мосье Энно и жемчуга мадам.

— Я же дал слово градоначальнику,— грустно вздохнул Мишка Япончик.— Или ты не понимаешь? Это же международная, неприкосновенная особа! Мы же вынем из него душу и миллионов пять выкупа, а ты мне «бимбер» и «ракушки»!

Когда мосье и мадам Энно были, наконец, через головы всей толпы доставлены к своему столику и еще стояли, раскланиваясь в ответ на бурную овацию, генерал Бискупский сделал два шага, отделявшие его от почетных гостей, и, согнувшись почти пополам, прошептал:

— Ваша светлость! Ваша драгоценная жизнь и драгоценности вашей супруги в полной безопасности!

— Мерси, генерал! — поблагодарил консул.— Мы о вас не забудем...

— Ваша светлость!..— снова заговорил генерал.

Видно было, что он собирается или снова на что-то пожаловаться, или о чем-то попросить. Но мадам Энно не любила, когда у нее чего-нибудь просили, и потому поспешно прервала разговор.

— А это кто такие, генерал? — спросила она, указывая на десяток молодых людей, полукругом выстроившихся перед столиком.

— Репортеры и хроникеры, ваша светлость! На предмет интервью и фотографических снимков. Общественность города и всей России ждет вашего слова и жаждет лицезреть ваши особы. Разрешите щелкнуть?

— Пусть щелкают! — милостиво разрешила мадам Энно и привычным движением поправила пышный шиньон. Теперь вид ее перед аппаратом был достаточно эффектен.

Вспыхнул магний, десять аппаратов дружно щелкнули. И сразу же репортеры выхватили карандаши и блокноты и бросились к мосье и мадам Энно.

Но тут как раз подоспел градоначальник.

— Тпрусь! А-ту! — зашипел он, отгоняя репортеров.

Однако мадам Энно его остановила и приветливо кивнула журналистам.

— Эмиль,— подтолкнула она консула,— можно!

Желтый бумажник крокодиловой кожи — уже вторично за сегодняшнее утро — появился в руках мосье Энно. Из бумажника появился и сложенный вчетверо листок.

Шум в зале как отрезало, воцарилась мертвая тишина. Только слышно было, как тяжело всхлипывал в свою тарелку камергер и дробно стучали секачи на кухне, готовя котлеты.

Голос консула Франции с особыми полномочиями прозвучал в торжественной тишине, как глас архангела перед страшным судом.

— Я прошу, чтобы декларация Антанты, которую я уполномочен огласить перед российской общественностью, сегодня же появилась в газетах!

В переводе на русский язык не было необходимости: большинство из присутствовавших в зале представителей российской «общественности» знало французский язык зачастую лучше русского. Тишина стала еще глубже — на камергера цыкнули, и даже на кухне перестали рубить котлеты.

Репортеры сделали стойку. Представлены были одесские газеты «Родная страна», «Южная Русь», «Проюг», «Нові шляхи», «Вісник Одеси», «Одесская почта», «Одесский листок», «Одесские новости» и «Маленькие одесские новости» — все монархические и националистические органы прессы.

— Пожалуйста,— сказал консул, протягивая бумажку.

И девять репортеров, сбивая друг друга с ног, бросились к мосье Энно.

Самым проворным оказался корреспондент «Маленьких одесских новостей», он успел схватить бумажку и стремглав кинулся к двери. Измятая бумажка была намертво зажата в его кулачке.

Но на полдороге его перехватили.

— Прочитать! — ревел зал.— Огласить! Обнародовать!

Выхода не было. Хроникер понял, что живым ему отсюда не выйти. Спасая свою жизнь и свою добычу, которая сегодня же прославит его на всю Одессу, а быть может, и Россию, и даст ему утроенный гонорар, хроникер вскочил на столик.

Зал замер.

Но, прежде чем читать текст, хроникер с торжеством поглядел на своих коллег и произнес:

— В дружеской беседе с корреспондентом «Маленьких одесских новостей» консул Франции с особыми — чрезвычайными и экстраординарными — полномочиями авторитетно заявил...

Только тогда он развернул бумажку и начал читать в самом высоком, патетическом тоне:

— «Державы Антанты заявляют через своего особого уполномоченного, французского консула в Киеве, что они решили не допускать ни малейшего уклонения в деле восстановления порядка и реорганизации России, начатой русскими патриотами и полностью поддерживаемой союзниками. Возрождение России как государства, входящего в состав победоносного блока стран Антанты, будет осуществлено в соответствии с желаниями всех патриотов и всех элементов, стоящих за порядок в России. Что же касается, в частности, областей

Южной России, как оккупированных, так и не оккупированных немцами, находящихся под угрозой большевизма, то государства Антанты заявляют о своем непоколебимом решении поддержать в них порядок. Это непоколебимое решение в самом ближайшем времени будет подкреплено силой оружия — вооруженными силами настолько значительными, насколько потребуют того обстоятельства. Кроме того, они заявляют, что отныне возлагают личную ответственность на всех лидеров партий и организаций, независимо от их политической окраски, буде они попытаются сеять смуту или распространять анархию...»

Вот когда наступило настоящее вавилонское столпотворение.

Казалось, потолок ресторана обрушится и погребет под собой всех — вместе с самим консулом Франции и ресторатором Штени.

Сановные особы исступленно кричали «вив», «ура», «слава». Солидные граждане хлопали в ладоши, разбивая пальцы в кровь, как мальчишки. Аристократы «чистых кровей» топали ногами, как лошади, как плебеи на галерке в цирке. Величавые генералы и невзрачные штатские тузы падали друг другу в объятия. Дамы и старики плакали. Они продавали родину иностранцам с упоением.

Репортера «Маленьких одесских новостей» уже давно вынесли за дверь. Уже, должно быть, жужжали типографские машины, печатая экстренный выпуск газеты, а в ресторане все еще не смолкало шумное ликование.

Кто-то затянул марсельезу, ее тотчас же подхватили за столиками лидеров партий. Министры и дипломаты грянули «Боже, царя храни!» Генералы, точно юнкера, запели с присвистом: «Марш вперед, трубят в поход черные гусары, звук лихой зовет нас в бой, наливайте чары!..»

Потом все с бокалами шампанского толпой двинулись к столику мосье Энно. Каждый из двухсот представителей российской «общественности», присутствовавших в ресторане, хотел чокнуться с представителем цивилизованного мира — с великим консулом великой Франции, возвестившим великое спасение великой Российской империи.

И каждый, чокаясь, во все горло орал свой вопрос, стараясь перекричать всех остальных.

Херсонский помещик Балашов ревел:

— Так помещичьи имения будут возвращены?

— О, безусловно, мосье! — любезно кивала ему супруга консула Франции.

Товарищ председателя Протофиса Демченко надсаживался:

— А акции, займы, долги будут гарантированы?

— О мосье, что за вопрос? — разводил руками мосье Энно.

Председатель Одесского биржевого комитета Вайнштейн чуть не разрывался:

— Мон дье! [1] Мессия! Чтобы я так жил!

Царскому министру Кривошеину посчастливилось протиснуться к самому столику и ухватить мосье Энно за борт пиджака. И он тянул консула к себе, откручивая ему пуговицы.

— А наши вожди, наши вожди? — допытывался он.— Я имею в виду — как с Милюковым?

— Вы можете быть совершенно спокойны, мосье! — заверил его мосье Энно, спасая свои пуговицы.— Мосье Милюков не далее как третьего дня в Яссах поставил свое факсимиле на оригинале этой декларации.

— А представители российского капитала? — домогался московский банкир Третьяков.— Российский капитал не был забыт на высоком совещании в Яссах?

— Мосье Рябушинский, мосье Гурко и мосье Шебеко — русские ротшильды — держали в руках текст декларации,— тонко улыбнулся мосье Энно.

Наконец, протолкались к столику с наполненными коньяком чайными стаканами и генералы с адмиралами.

— От имени русского офицерства — ваше здоровье, мосье и мадам! Мы надеемся, русский генералитет уже в курсе исторических решений?

— Русскую делегацию в Яссах возглавлял генерал Щербачев.

— Ура! — гаркнули генералы и адмиралы.— Ура адмиралу Колчаку и генералу Деникину!..

Генерал Гришин-Алмазов, звякнув шпорами, чокнулся с мадам Энно.

— Когда, мадам, можно ожидать высадки десанта вооруженных сил Антанты?

Мосье Энно бросил на него ревнивый взгляд и поспешил ответить сам:

— Через два-три дня, генерал. Эскадра уже вышла. Пехота идет походным маршем через Румынию.

Генерал Бискупский топтался вокруг Энно, чуть не плача.

— Мосье, мосье! — дергал он консула то с той, то с другой стороны.— А как же я? То есть я хотел бы знать — как с паном гетманом, гетманщиной и со всем остальным?

— Ах, генерал! — поспешила мужу на помощь мадам Энно, опасаясь, как бы этот плаксивый генерал не выклянчил чего-нибудь у мягкосердечного консула.— Вы можете спать спокойно: делегация гетманского правительства в Яссах изъявила свое полное согласие с восстановлением единой, неделимой России...

Градоначальник Мустафин, однако, перекричал всех своим могучим басом:

---

[1] Боже мой! *(франц.)*

— Хотел бы я знать — какую же судьбу готовит Антанта всем этим большевикам и прочей нечисти?

Мосье Энно, который еще не присел и все стоял с бокалом в руке, улыбаясь и отвечая всем сразу, поставил бокал и выпрямился.

В зале стало тихо; все поняли, что сейчас будет сделано еще одно историческое заявление.

Консул Франции подкрутил усики кверху и произнес негромко, но так, что его услышали даже лакеи у дверей:

— Все мятежные элементы будут подавлены...

Буря рукоплесканий и возгласов грянула снова, но мосье Энно поднял руку:

— Но в борьбу между легальными партиями мы вмешиваться не будем.

Из-за столиков лидеров партий взлетели крики «браво», и лидеры всех легальных партий, схватив свои рюмки, тоже засеменили к консулу.

Градоначальник Мустафин осушил свой бокал до дна и хлопнул им о пол, как на свадьбе на Молдаванке.

— Ныне отпущаеши раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром...

— Совершенно справедливо, мосье! — прошипела сквозь стиснутые зубки мадам Энно.— Вас и в самом деле придется отпустить... Разгон думы из представителей легальных партий, который вы вчера учинили, никак не отвечает... демократическим идеалам союзных держав!

Солистка кордебалета из Театра миниатюр у Сабанеевского моста Муся Ильманеску отомстила-таки сердцееду Мустафину за его былое невнимание к ее прелестям.

— Да, да! — послушно подтвердил мосье Энно.— Власть в городе должна возглавить коалиция представителей всех общественных кругов, всех легальных партий. Городом должен управлять парламент... Пардон, парламент будет для всего государства в Киеве, а городом должна управлять дума, как это у вас здесь называется, от всех слоев демократии: промышленники, негоцианты, финансовые деятели, затем меньшевики, трудовики, православное и католическое духовенство...

Мустафин непонимающе хлопал глазами. Что такое? Ему уже, кажется, дали по шапке? Похоже на то, что его выгнали с поста градоначальника?

Мосье Энно, завершая сей сложный дипломатический реприманд — то есть дав понять градоначальнику, что он уже вышел на пенсию,— галантно склонился к ручке градоначальницы. Старушка градоначальница была глуховата, не успела сообразить, какой поворот произошел только что в судьбе ее семьи, да и вообще не очень-то разбиралась в политике, специализировавшись преимущественно на вишневом варенье

с косточками. Поэтому учтивость консула заставила ее прослезиться.

В это время и лидеры легальных партий, наконец, тоже пробились. Жестикулируя рюмками и расплескивая вино на своих партийных противников, лидеры заговорили все сразу, перебивая друг друга, но по сути на один голос:

— Обеспокоенные судьбами российского государства... исполненные желания плодотворного сотрудничества у кормила власти... признавая доминанту коалиционного способа правления...

— Так, так, господа! — одобрительно кивнул мосье Энно.— Вы должны сплотить силы российской общественности. Не правда ли, мон ами?

Мадам Энно обратила приветливую улыбку к толпе легальных лидеров.

— И местный парламент,— продолжал мосье Энно,— то есть, я хотел сказать, муниципалитет, следует возродить не откладывая. Кто из вас, господа, может претендовать на пост главы парламента, то есть, я хотел сказать, городской думы?

Легальные лидеры даже побледнели и растерялись от волнения: похоже, что кормило власти давали им прямо в руки!

— С вашего разрешения... с вашего согласия, мосье, мы немедленно же созовем представителей всех легальных партий и...

Мосье Энно кивнул головой, давая понять, что аудиенция окончена.

Лидеры, откланиваясь, попятились от столика.

Вернувшись к своему столу, они тут же объявили заседание межпартийного совещания открытым. На повестке дня стоял один вопрос: о кандидате в председатели одесской думы, способном сформировать, так сказать, кабинет, который сумел бы, как говорится, плодотворно сотрудничать с командованием войск Антанты.

Гришин-Алмазов стоял все время поблизости — против генерала Бискупского, по другую сторону стола — и рассеянно играл красным темляком своей кубанской шашки. Иногда он бросал взгляд на мадам Энно и снова погружался в задумчивость. Мадам Энно тоже отвечала ему короткими взглядами. Воспользовавшись небольшой паузой, наступившей после ухода лидеров партий, Гришин-Алмазов учтиво склонился к мосье Энно.

— Мосье,— сказал он,— не из пустого любопытства спрашивал я о сроках высадки десанта. Положение сейчас чрезвычайно напряженное. Гетманцы, петлюровцы, прочие сепаратисты — все это нас, конечно, немало беспокоит, но главная угроза — большевики. Разорвав после революции в Германии Брестский договор, большевики начали наступление на Украину. Гетманскую власть они объявили низвергнутой, на помощь

антинемецким и антигетманским повстанцам с севера движутся уже две большевистские армии: Ворошилова — в харьковском направлении и Щорса — в направлении на Киев. Поддержанное местными большевистскими силами, особенно в Донбассе и в Кривом Роге, их наступление может развернуться молниеносно. Военное командование Антанты должно это учесть. Высадку десанта необходимо всемерно ускорить!..

Этот молодой генерал начинал уже нервировать мосье Энно. Аристократическая внешность генерала вызывала в мосье Энно зависть, а несомненная заинтересованность мадам Энно мужскими качествами генеральской особы — ревность.

Кроме того, этот генерал позволял себе как бы подгонять консула Франции в выполнении им его особых полномочий. И попадал к тому же не в бровь, а в глаз. Ведь и в самом деле, не для чего иного, как именно для ликвидации большевизма, прибыл сюда консул с особыми полномочиями от Антанты. И программа ликвидации была ему изложена самым точным образом — и в Париже, и в Константинополе, и в Яссах. Премьер Клемансо, наделяя консула особыми полномочиями, так и сказал: «Большевизм надо изолировать на территории Великороссии — с целью блокировать его и добиться его падения. И в первую голову большевиков надо отрезать от кавказской нефти, угля Донбасса и руды Кривого Рога». Французский посол Сент-Олер — глава дипломатического корпуса стран Антанты в восточных странах — так напутствовал консула с особыми полномочиями для Украины и юга России: «Одесса должна стать только исходной базой союзных армий, а южный плацдарм — трамплином для броска на Криворожье и Донецкий бассейн и дальше — на север». А генерал Франшэ д'Эспрэ — командующий вооруженными силами Антанты на Востоке — показал ему и копию своего заготовленного уже приказа: «Немедленно оккупировать Криворожье и Донецкий бассейн, Киев и Харьков».

А этот красавчик-аристократ в генеральских эполетах шпыняет его тем, что... не союзные армии занимают сейчас Киев и Харьков, а большевистские войска продвигаются к Харькову и Киеву, чтоб выйти на Криворожье и Донецкий бассейн...

Десант, конечно, необходим как можно скорее. Но откуда консулу Энно знать, когда должна начаться высадка десанта? Дислокацией армий — этой черной работой — занимаются военные специалисты, а консул — лицо гражданское, он озабочен высшей политикой!

Этот выскочка-молокосос и тут хочет подсадить Энно, невзирая на его особые полномочия.

Мосье Энно смерил Гришина-Алмазова холодным взглядом.

— Генерал! Ждите распоряжений высшего военного командования!

Гришин-Алмазов щелкнул шпорами и отошел.

Мосье Энно наклонился к мадам и прошипел:

— Мон ами! Вам, кажется, пришелся по сердцу этот ферт с малиновым звоном шпор? Преклоняюсь перед вашим тонким женским вкусом. Но рекомендую не обходить своими завлекательными взглядами и других членов генералитета. Вот хотя бы этого,— он кивком головы указал на стоявшего по ту сторону стола генерала Бискупского, который с горестным и обиженным видом жевал свои моржовые усы.

Мадам Энно повела плечом и холодно сказала:

— Генерал Гришин-Алмазов заслуживает особого нашего внимания, так как представляет основные силы российской контрреволюции: добрармию и руководящие круги единой и неделимой России.

Мосье Энно так же холодно ответил:

— А этот генерал с моржовыми усами представляет силы украинского гетманата, и я назначен консулом именно при правительстве гетмана Украины!

— Дурак! — сказала мадам Энно по-русски.

— Идиотка! — отвечал мосье Энно по-французски.

И мадам Энно мило улыбнулась Гришину-Алмазову, а мосье Энно ободрительно кивнул генералу Бискупскому.

Гришин-Алмазов вежливо потупился, но Бискупский понял движение мосье Энно как приглашение поболтать. Он мгновенно, несмотря на свою тучность, очутился за спиной консула и наклонился к его уху.

— Ах, ваша светлость, если б вы знали, какое сейчас трудное положение! Директория вот-вот свалит гетманское правительство и войдет в Киев! А петлюровцы, ведь они же, мосье, расчищают путь большевикам. Они в своей борьбе против гетмана используют даже большевизированные банды повстанцев!

— Ах, канальи! — возмутился мосье Энно.

— Канальи и есть, ваша светлость! И зачем ваша Антанта собирается разрешать какой-то там украинский вопрос? На виселицу всех их, этих украинцев,— и делу конец! Это говорю вам я, мосье, а ведь я сам хохол — малорос из-под Умани! Дадите волю этой собачьей директории — и не видать Киева ни нам, ни вам! Поверьте мне. У меня у самого в Киеве дом на Жилянской и мельница в Злодиевке, что возле Плютов!

Мосье Энно заволновался. Упоминание о Киеве расстроило его. Ведь как раз сегодня он должен был уже быть в Киеве и вершить судьбы украинского государства! А тут и в самом деле эта чертова директория...

— Да, да! Директория! — заволновался мосье Энно.— Простите, генерал, забыл,— кто там у них во главе этой самой директории?

— Да Винниченко же, ваша светлость, прохвост Винниченко, сдохнуть бы ему, пока он еще в Белой Церкви!

— Ах да, Винниченко, Винниченко! — припомнил мосье Энно.— Как же, знаю, знаю! «Черная пантера», «Ложь»! Видел в Киеве, в театре Соловцова. На премьере даже был. Вызывали автора. Вышел такой черный, с черной бородой, с черными глазами...

— Душа у него черная, ваша светлость...

— Возможно, очень возможно... Но я даже познакомился с ним тогда. Как же! Драматург Винниченко! Очень милый господин! Мы вместе поужинали в Купеческом собрании,— знаете, над Днепром? Очень, очень приятный господин.

Мосье Энно вдруг оживился. Его осенила идея.

— Я сейчас отправлю ему депешу, генерал! Да, да, депешу! Он остановит наступление своих войск и оставит пана гетмана в покое. И пустит сюда поезда.— Мосье Энно тут же вытащил блокнот и стило.— А депеша дойдет до Белой Церкви, генерал?

Генерал Бискупский присел на стул, с которого поднялся градоначальник — теперь уже не градоначальник — Мустафин; вместе со своей градоначальницей он тихо исчез задним ходом через буфет и кухню.

— До Белой Церкви не дойдет! — мрачно пожевал свой ус генерал.— Ведь это же вражеский лагерь, ваша светлость. Но телеграмму можно послать на имя пана гетмана в Киев. Гетман будет заинтересован в том, чтобы такая высокая телеграмма была получена в Белой Церкви, по ту сторону фронта, и уж найдет способ ее передать. Не беспокойтесь, мосье, на это есть парламентеры, перебежчики, дезертиры.

Консул Франции тем временем уже настрочил телеграмму, поставил под ней свою размашистую подпись и помахал бумажкой в воздухе, чтоб просохли чернила.

— А как же ее доставить на телеграф, генерал?

— О, не беспокойтесь, ваша светлость! Да я сам!

Генерал Бискупский выхватил бумажку из рук Энно и чуть не побежал к двери с неожиданной для его тучного тела резвостью. Одним глазком он уже заглянул и в телеграмму.

Текст телеграммы был лаконичен:

«Белая Церковь Винниченко Остановите наступление интересах Антанты Консул Франции с особыми полномочиями Энно».

В это время к столику возвратились лидеры легальных партий. Собственно на этот раз они пришли не все, а только прислали депутацию из трех человек.

Депутация почтительно уведомила консула, что на межпартийном совещании представителей всех легальных партий кандидатом на пост председателя думы выдвинут инженер Брайкевич — беспартийный, в прошлом — кадет, но разочаровавшийся, с семнадцатого года — бессменный председатель «Общественного комитета», который, впрочем, за весь прошедший год еще не успел развернуть свою деятельность.

— Вот и хорошо! — сказала мадам Энно.

— Очень хорошо! — подтвердил мосье Энно.— А где же мосье Брайкевич?

Из-за спин депутатов показался и сам кандидат. Это был пухленький, розовый человек, безупречно одетый по последней моде, в эту минуту изрядно под хмельком.

— Очень рад с вами познакомиться, мосье председатель! — консул подал Брайкевичу руку.— Завтра мы оформим ваше избрание председателем парламента, то есть, я хотел сказать, думы. Хотя нет! Не завтра, а послезавтра. Завтра мы с мадам будем заняты устройством нашей резиденции. Не так ли, мон ами? Познакомься, пожалуйста. Это председатель думы. Послезавтра он, вместо Мустафина, будет градоначальником, то есть мэром города. А впрочем, господа! — спохватился мосье Энно.— Вы можете провести эти... выборы и завтра. Без меня.— Он снисходительно улыбнулся.— Ведь я, не будучи гражданином Одессы, все равно не имею права голоса. Таким образом, будет соблюдена полная демократичность выборов, без какого бы то ни было нажима со стороны Антанты...

— Мы на первом же заседании новой думы изберем вас почетным гражданином Одессы! — еле держась на ногах от волнения и вина, воскликнул мосье Брайкевич.

Мосье Энно милостиво кивнул. Аудиенция окончена. Лидеры с будущим председателем думы и мэром города попятились на свои места. Мосье Энно проводил их приветливым кивком. И в этот миг взгляд мосье Энно упал на женское лицо... Черт подери! Мосье Энно был ошеломлен. Можно ли было предположить, что здесь, в какой-то Одессе, вдруг натолкнешься на такую необыкновенную красавицу!

Мгновение мосье Энно сидел, как в рот воды набрал, даже забыв по своей привычке улыбнуться и подмигнуть хорошенькому личику. Красавица дама в эту минуту тоже смотрела на мосье Энно. Взгляды их встретились, и она не опустила глаз.

Но, наконец, мосье Энно пришел в себя, мигнул и улыбнулся красавице. Дама ответила чуть заметной улыбкой и опустила ресницы.

У мосье Энно перехватило дыхание. Он искоса взглянул, не видела ли его улыбки мадам. Но все было в порядке: мадам не отрывала глаз от красавчика генерала. И мосье Энно поискал взглядом, у кого бы расспросить о прекрасной незнакомке, столь очаровавшей его.

Впрочем, генерал Бискупский, который успел вернуться и торчал на своем месте, готовый к услугам, уже заметил блуждающий взгляд консула.

— Ваша светлость! — склонился он через плечо.— Вам что-то угодно? Если уборная, то...

— Генерал! — прошептал мосье Энно.— Скажите — кто эта дама? Вон там, в углу? Рядом с ней польский маршал и

какой-то адмирал, и она не обращает на них никакого внимания, несмотря на все их выверты. Вон та шатенка с необычайной величины глазами и неправдоподобной длины ресницами...

Мосье Энно говорил, не отрывая глаз от далекой красавицы, и волнение охватывало его все сильнее и сильнее. Сначала словно что-то уже виденное где-то, когда-то почудилось ему в чертах этого чарующего женского облика, потом ему начало казаться, что и в самом деле есть что-то знакомое в этом прекрасном лице; наконец, он мог бы уже присягнуть, что видел эту женщину, даже знаком с нею...

— А! — отыскал-таки, наконец, женское лицо генерал Бискупский, догоняя взгляд мосье Энно.— Так это же, ваша светлость, артистка синематографа, звезда студии Ханжонкова, королева экрана Вера Холодная!.. Ее знает вся Одесса, вся Россия, весь...

Ну конечно же, знал ее и мосье Энно. На экране, понятно. Сколько раз еще тогда, до войны, в Киеве, в синематографе Шанцера на Крещатике, он смотрел фильмы с участием звезд русского экрана — Лысенко в паре с Мозжухиным, а в паре с Максимовым Вера Холодная! О, как она всегда очаровательна в ролях изменчивых обольстительниц или обольстительных изменниц! Но, мон дье, в жизни она была еще очаровательнее!..

— Разрешите представить вам, ваша светлость? — гудел над его ухом генерал Бискупский.— Артистка Вера Холодная будет счастлива, получив возможность...

— О нет! Что вы! Мерси, генерал! Я просто из любопытства...

Мосье Энно поспешил остановить услужливого генерала и бросил опасливый взгляд на мадам.

В знакомствах с женщинами мосье Энно всегда рассчитывал только на собственные силы и собственные чары. И всегда добивался своего. Это могли засвидетельствовать многочисленные шляпницы Монмартра в Париже и не менее многочисленные белошвейки киевского Подола. С артисткой Верой Холодной, королевой экрана, он, конечно, познакомится, но при других обстоятельствах: не в таком большом и шумном обществе и не на глазах у мадам Энно.

Мосье Энно сразу повеселел. Оказывается, и в Одессе можно провести время не без удовольствия. Он, пожалуй, поторопился посылать депешу этому самому Винниченко. Пусть бы себе копался там, под Киевом, подольше и не спешил восстанавливать железнодорожную связь с Одессой...

— А как с депешей, генерал? — поинтересовался он, придавая лицу самый деловой вид, довольно-таки кисло.

— Ее уже выстукивают по прямому проводу, ваша светлость!

— Мерси, генерал! Мы вас не забудем.

Генерал Бискупский немедленно воспользовался вниманием консула и снова жалостливо и умоляюще встопорщил усы.

— Ох, ваша светлость! Милостиво прошу меня простить, прошу не посчитать за дерзость, но, с вашего разрешения, имею к вам покорнейшую просьбу...

Но мадам уже заметила и разгадала его намерение о чем-то попросить и немедленно вмешалась.

— Генерал! — сказала она.— Обстоятельства говорят за то, что нам придется здесь задержаться на неопределенное время, однако государственные, международные дела, та высокая миссия, с которой мы сюда прибыли, не могут ждать! Консулу с особыми полномочиями придется начать свою деятельность безотлагательно здесь же, в Одессе. Так вот, нам с мосье консулом необходима... резиденция. Мы не можем дольше оставаться в отеле, где проживают все, мы не можем развернуть здесь нашу широкую и... конфиденциальную деятельность. У нас, вы знаете, международные, дипломатические тайны... Я говорю это вам как командующему вооруженными силами, то есть лицу, фактически осуществляющему высшую власть в городе... — Мадам Энно мило улыбнулась.

Генерал вытянулся и хотя и неуклюже, но все же щелкнул шпорами.

— Мадам! Завтра же под вашу резиденцию будет освобожден лучший в городе особняк! Любой дворец, какой вы укажете.

— Очень хорошо, генерал! Не смею задерживать вас дольше, отвлекать ваше внимание и отрывать вас от выполнения ответственных и сложных обязанностей...

Наконец-то мосье и мадам Энно остались одни и могли приняться за яства, стынувшие перед ними на столе.

Они начали есть, разглядывая находящихся в зале.

Представители «российской общественности», наконец, оставили в покое консула Франции. Люди не теснились у столика и сидели на своих местах... Но в зале не смолкал шум. Звенел хрусталь, бренчали ножи и вилки, между столиками, размахивая салфетками, сновали официанты. В ресторане в эту раннюю пору шел настоящий пир. Пировала «соль земли русской», во всяком случае те, кто испокон веков привык считать себя «солью». И события сегодняшнего утра были для этой «соли» слишком волнующими, слишком значительными — историческими событиями. Здесь, в этом зале одесской ресторации, на их глазах и с их непосредственным участием возрождалась старая Россия. Сердцу каждого из присутствующих здесь именно эта старая Россия была всего милей. «Доброе старое время» было альфой и омегой их существования. Доброе старое время, и никаких революций! Пускай опять будет что-нибудь вроде «керенщины», пускай уж там какое-нибудь

«Временное правительство», ну в крайнем случае и ненавистное «Учредительное собрание», а лучше бы всего — царь! Только б не было этих страшных «совдепов», отбирающих их родовую собственность — землю и заводы — и отдающих ее мужикам: крестьянам и рабочим! Только бы избавиться от этих ужасных большевиков, которые лишают «соль земли» всех прерогатив и проповедуют власть труда и царство коммунизма на земле. Хватит уже мужицкой революции!

Мужицкая революция загнала их, «соль земли», сюда, на самый крайний юг, где и земли-то осталось всего узенькая полосочка над бурными волнами холодного моря,— они уже было впали в отчаяние.

Уже померкли их последние надежды на приход «спасителя»...

Но вот «спаситель» все же объявился! Антанта! Коалиция держав, самых могущественных ныне держав мира, победивших сильнейшего, какого только знала история, врага — Германию кайзера Вильгельма! — идет сюда в качестве «спасителя»!

Вот он, посланец Антанты. Он только что возвестил эту желанную, радостную весть. Они услышали ее из его уст своими собственными ушами.

И, бурно выразив свой энтузиазм, они теперь блаженствовали в сладкой истоме.

Ресторатор Штени отпустил уже в зал сотую бутылку коньяку и двухсотую шампанского.

Место ресторатора Штени, так сказать в красном углу, занял сегодня «верховный представитель власти». И потому ресторатор Штени потеснился поближе к буфетной стойке. Быстрым движением глаз он одобрял или, наоборот, отклонял заказы, которые через официантов получал из зала буфетчик — жирный и тучный, пудов на десять, круглый, как дежа с тестом, человечище какого-то греко-турецкого вида: усы торчали кверху — по-гречески, а на голове была турецкая красная феска с кисточкой. Он был так грузен и объемист, что не двигался с места и даже не поворачивался; он сидел на высоком винтовом стульчике, который вертелся вокруг оси и в случае надобности поворачивал тушу буфетчика то туда, то сюда. Жирный буфетчик вертелся легко и почти безостановочно: заказы поступали один за другим. Давно уже не шли так бойко дела в ресторации при гостинице «Лондонской».

И все-таки ресторатор Штени был хмур и озабочен. Надо было внимательно следить и быстро решать, от какого столика принимать заказы, а от какого нет. Ресторатор Штени за эти месяцы, когда в Одессе скопилась чуть ли не вся российская эмиграция, уже хорошо раскусил эту «соль земли». Немало попадалось здесь таких, что, выпивши и наевши на две сотни,

старались подсунуть официанту две десятки, а то и попросту смыться, совсем не оплатив счета. Кроме того, надо было мгновенно, не сходя с места, и с абсолютной точностью проделывать в уме сложнейшие математические расчеты, для которых по сути дела необходима была таблица логарифмов. Нужно было все время учитывать биржевые курсы валют: платили банкнотами всех стран, а цены ресторатор Штени назначал — для себя — только в американских долларах. Как ни высоко подскочили сегодня английские фунты и французские франки, ресторатор Штени все равно переводил их в уме на доллары, согласно золотому паритету. Еще с довоенных времен Штени все расчеты своего русского предприятия производил только в американских долларах: его родня проживала за океаном, в Америке, и свои сбережения и накопления Штени вкладывал исключительно в американские акции — через банки Рокфеллера и Моргана. Между гостиницей «Лондонской» и биржей непрерывно курсировал мальчик-курьер, который каждые полчаса приносил Штени свежую котировку: в это утро мир прямо-таки сошел с ума — валюты мировых держав взлетали вверх, точно мотыльки, либо камнем падали вниз...

Кроме того, ресторатор Штени не выпускал из поля зрения стол высоких гостей и привычным ухом ловил каждое слово, обращенное к высоким гостям или сказанное высокими гостями друг другу.

Мосье и мадам Энно доели холодную куропатку, и мосье Энно сказал:

— Я прошу вас, мон ами, взять на себя устройство нашей резиденции.

— О, можешь быть спокоен, Эмиль!

— Я думаю, мон анж [1],— продолжал консул,— что перед моим кабинетом должны быть две приемные.

Мадам Энно подняла брови. Она не сразу проникла в суть этой идеи. Но тут же ее осенило, и она прошипела:

— Ах, вы хотите устроить вторую приемную для девок, которых собираетесь пускать с черного хода?

Мосье Энно был искренне оскорблен.

— Как вы можете так думать, мон ами! Просто мне предстоит разбираться в очень сложных взаимоотношениях между различными местными группировками: русские, украинцы, деникинцы, гетманцы, а тут еще и петлюровцы... Будет недипломатично раскрывать перед одними из них мое отношение к другим. Я полагаю, что следует устроить две отдельные приемные: одну — для русских, другую — для украинцев...

Про себя же мосье Энно подумал, что несправедливое предположение мадам подсказывает, пожалуй, неплохую мысль:

---

[1] Мой ангел *(франц.)*.

одной из приемных и в самом деле всегда можно будет воспользоваться для конфиденциальных, вернее интимных, встреч с этими самыми — как она сказала?..

Но объяснения мосье Энно вполне удовлетворили мадам и заслужили ее полное одобрение:

— О, вы начинаете расти, мон ами! Блестящая мысль, которая может сделать честь лучшему дипломату! Можете быть спокойны, перед вашим кабинетом будут действительно две приемные, и каждую я обставлю в соответствии с национальными вкусами и традициями русских и украинских посетителей.

В конце концов, пока консул в одной из приемных будет занят выполнением своих дипломатических обязанностей, жена консула может воспользоваться другой для своих личных секретных нужд. Мадам Энно решила не упускать из виду эту возможность.

— Знаешь, Эмиль,— заботливо и нежно промолвила она,— я думаю, что мне придется во многом тебе помогать. Ситуация здесь и в самом деле чрезвычайно сложная, и очень трудно будет разобраться во всех этих направлениях и в особенности в представителях этих разных направлений. Ведь они, само собой понятно, будут говорить одно, а думать совсем другое: не одни же мы с тобой дипломаты! А нам надо знать все так, как оно есть в действительности, то есть заглянуть в самые мысли и чувства всех этих местных... дипломатов. И тут я тебе буду очень полезна. Я буду устраивать широкие приемы, организую салон, стану приглашать гостей, бывать в высшем свете, сближусь с лидерами разных направлений и, конечно, выведаю у них всю подноготную...

— О, мон ами!

Мосье Энно был искренне тронут и — не в первый уже раз — потрясен гениальностью своей супруги. Он взял ее руку и поцеловал кончики пальцев.

Мадам Энно говорила с нежным укором:

— Вот ты опять показал свой гадкий характер и уже уколол меня этим красавчиком генералом. А ведь я обратила на него внимание только потому, что он стоит во главе русской белой эмиграции, является прямым ставленником генерала Деникина, следовательно и возможным британским агентом. Таким образом, со всех точек зрения, мы должны особенно внимательно к нему приглядеться. Ты не забыл, что тебе поручено быть особо бдительным в отношении английского влияния?.. Вот я и решила помочь тебе в этом и взять на себя, что смогу...

Мосье Энно сразу ощетинился. У него уже не было ни малейшего сомнения, что вся эта затея — помогать ему разбираться в настроениях местных кругов и заниматься изучением носителей этих настроений — придумана мадам,

чтобы прикрыть свои интимные дела с красавцем генералом.

Мосье Энно швырнул вилку на стол.

— Вы!.. Вы!..

Он даже не успел еще подобрать слова, чтобы обругать мадам, но мадам уже парировала:

— От такого слышу!

Между тем консул Франции гневался напрасно. Мадам Энно в самом деле собиралась внимательнейшим образом изучать местные настроения и их носителей, и вовсе не сейчас это пришло ей в голову, это было поручено мадам еще в Париже, на Пляс д'Опера, где помещается «Сюрте женераль». Мадам была внешним агентом французской разведки и имела ряд поручений на время своего пребывания с мужем-дипломатом на территории Украины. В частности, поручено ей было самым тщательным образом следить и за своим мужем, консулом Франции, и аккуратно посылать информацию на Пляс д'Опера.

Ресторатор Штени привычным ухом вслушивался в разговор между консульской четой. Он тоже делал это не только как внимательный и предупредительный хозяин и не просто в силу привычки ресторанного персонала. Такая уж была «планида» у ресторатора Штени: он был прирожденный шпик. Последние полгода он шпионил для гетманского правительства, с начала русско-немецкой войны — для немецкой разведки, одновременно — для русской царской охранки, а сыздавна, уже двадцать лет, состоял штатным агентом разведывательного аппарата заокеанского государства.

И, полуобернувшись к толстопузому буфетчику с греческими усами и в турецкой феске, он бросил ему через плечо:

— Жора! Не сегодня-завтра нам тоже ждать гостя... из-за океана. Ты не забыл, что он должен тебе сказать и что ты должен ему ответить, чтобы нам узнать друг друга?

Жора молча кивнул, как кивал каждый раз, когда принимал заказ на бутылку коньяку или дюжину шампанского.

— Смотри,— назидательно и предостерегающе поучал его Штени,— чтоб не просыпаться перед кем-нибудь из них,— он презрительно мигнул в сторону зала, где пировала «соль земли русской».

— Спокойно! — флегматично отозвался буфетчик Жора. Потом он так же флегматично поинтересовался: — Доллар?

— Полфунта стерлингов, сорок франков, четыреста рублей николаевскими.

Буфетчик Жора удовлетворенно кивнул. И он и Штени гонорар от разведки получали в долларах.

Мосье и мадам Энно тем временем кончили завтракать. Еще покурить, и можно уже считать свое первое явление народу свершенным. Мосье Энно закурил гаванну, мадам — египетскую пахитоску.

Они уже помирились, сойдясь на том, что во имя выполнения возложенной на них высокой миссии дадут друг другу полную свободу, а про себя решив следить друг за другом самым тщательным образом.

В конце концов мосье Энно был доволен. Одесса так Одесса. Ведь не его же вина, что эта идиотская директория перерезала дорогу на Киев. Но и в Одессе,— он поискал глазами и нашел красавицу королеву экрана,— в Одессе тоже можно решать судьбы этой самой Украины, России, всего мира. И решать эти судьбы будет он. Как сказал тогда этот болван? «Аве, Цезарь...»

В это время к столику приблизилась какая-то фигура.

Фигура эта держалась исключительно скромно и вежливо, как не держался сегодня еще никто. Но во внешности фигуры было что-то странное, во всяком случае неожиданное. Под носом у нее торчали подстриженные по-английски черные усики, а на голове буйно вились огненно-рыжие кудри.

Фигура с черными усиками и рыжей шевелюрой скромно на уровне живота держала бокал с шампанским.

— Мадам и мосье! — заговорила фигура, скромно потупив глаза.— Разрешите приветствовать вас от имени лиц свободных профессий, так сказать от свободных художников города Одессы! — Французский прононс у фигуры был с заметным одесским привкусом. Фигура подняла свой бокал чуть выше живота и отвесила галантный поклон мадам и мосье Энно.— Бонжур, мадам. Бонсуар, мосье!

Фигура скромно пригубила из своего бокала, церемонно откланялась и так же скромно вернулась на свое место.

— Симпатичный молодой человек! — сказал мосье Энно.

— Пикантный! — согласилась мадам.— Но его портят черные усики. Неужели он красит одни усы? Оригинальная мода. Вероятно, так теперь носят в Одессе?

В эту минуту с грохотом распахнулись двери, и в зал ресторана бомбой влетел мальчишка-газетчик. Размахивая листами «Маленьких одесских новостей», он вопил:

— Маленькие одесские новости! Экстренный выпуск! Прибытие консула Франции с особыми полномочиями для всего мира! Декларация Антанты ко всему человечеству! Союз Америки, Англии, Франции и России! «Четыре сбоку — ваших нет!..»

Итак, консул Франции с особыми полномочиями приступил к исполнению своих обязанностей.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Заседание подпольного областкома совместно с товарищами, прибывшими из Центрального Комитета, состоялось на Слободке, Третий Малый переулок, 25, в доме «пяти Столяровых».

В доме «пяти Столяровых» весьма кстати случилась грандиозная попойка.

Гулянка у «пяти Столяровых» имела и чисто семейный и вместе с тем общественно-демонстративный характер: пятеро Столяровых впервые после начала войны девятьсот четырнадцатого года собрались все вместе дома, и собрались именно потому, что, наконец, как они говорили, «замирились со всем светом».

Все пятеро Столяровых — старик отец Никодим Онуфриевич, сыновья Александр Никодимович, Николай Никодимович, Федор Никодимович и младший, которого ввиду его допризывного возраста звали просто Колей,— были слесари. Колей называли четвертого сына старика Столярова еще и в отличие от второго, тоже носившего имя Николай. Крестил четвертого сына Столяровых старый и весьма строго придерживавшийся святцев поп в слободской же церквушке, возле приюта общественного призрения — «Дома трудолюбия». Родился четвертый в роде Столяровых, как и второй, тоже в день святого Николая — и поп-ретроград категорически отказался дать младенцу какое-нибудь другое имя, кроме имени почитаемого святого, ангела-хранителя рожденных в этот день. Так появились в семье Столяровых два сына с одинаковым именем: Николай — старший и Коля — младший.

Старик Столяров работал слесарем на заводе Гена на Пересыпи и славился на всю Пересыпь и Слободку как непревзойденный мастер слесарного дела; он перенял профессию слесаря от отца, деда, да и прадеда — от тех времен, когда слесарное ремесло вообще завелось на Руси. В Одессе династия слесарей Столяровых осела и стала множиться не так уж давно, но и не то чтобы недавно — с полвека назад, когда только начали возникать машиностроительные мастерские и заводы, а родом были Столяровы волгари и зачинали свое от отца к сыну переходящее искусство на первых заволжских и приуральских литейнях и сталеварнях. Вполне понятно и естественно, что Никодим Онуфриевич каждого своего отпрыска, когда тот достигал рабочего возраста, обучал слесарить и постепенно делал из него искусника в этом тонком и умном мастерстве. Работали Столяровы чуть ли не во всех крупнейших металлообрабатывающих предприятиях Одессы: и в сельскохозяйственных мастерских Гена, и в доках Беллино-Фендериха,

и на эллингах Ропита и на авиазаводе Анатры, работали и на Газовом, и на Канатке, зарабатывали трудовую копейку и на мельницах Анатры, Инбера и Вальтуха. А на фабрике весов Ройхварга Никодим Онуфриевич Столяров, невзирая на то, что был он только слесарем, считался главным консультантом по приемке готовой продукции и получал по гривеннику с каждого коромысла. Весы на коромысле фирмы Ройхварга шли на рынок по сто двадцать рублей большие и по семьдесят пять средние. Выпускал Ройхварг таких весов — для государственных таможен, портовых причалов, скупщиков тони у рыбаков и помещичьих экономий — до тысячи ежегодно, и Никодим Онуфриевич теперь, после сорока лет слесарничанья, когда не те уже у него были силы и он потерял работу на заводе Гена, все же подрабатывал... чуть ли не две сотни рублей в год.

Александр, Николай и Федор Столяровы в четырнадцатом и пятнадцатом годах были призваны в армию и побывали на фронтах: Александр — на австрийском и немецком, Николай — на австрийском и румынском, Федор — на турецком. Александр хотя был и не молод, лет сорока, и за четверть века совершенствования в своей профессии и постоянного участия в разных рабочих организациях стал человеком культурным, однако не получил никакого образовательного ценза и потому пошел в армию рядовым. Николай, во всем следовавший по пути старшего брата и отставший от него разве только в возрасте, так как был десятью годами моложе, обладал свидетельством об окончании приходской школы — и потому был произведен в младшие унтер-офицеры. Федор — еще пятью годами моложе, на образование которого вся семья, в ногу с веком, отдавала последнее,— окончил четыре класса городского училища и, как вольноопределяющийся второго разряда, был послан в военное училище ускоренного выпуска и стал прапорщиком пехоты.

Вот тогда-то, когда все сыновья-помощники ушли воевать на фронт, старый Никодим Онуфриевич и подучил себе в помощь младшего, пятнадцатилетнего Колю, который, тоже закончив городское училище — в ногу с веком,— готовился к поступлению в реальное училище. Родился Коля в девятисотом году, и сейчас ему только что пошел девятнадцатый.

Три старших сына Столяровых за годы войны появлялись дома в Одессе — на Слободке, Третий Малый переулок, 25,— очень редко и каждый порознь, только на поправку после очередного ранения.

Война против Австрии и Германии была собственно окончена в России еще осенью прошлого, семнадцатого года — ленинским декретом о мире, но братья Столяровы задержались на разных послевоенных фронтах. Александр продолжал сражаться с немцами под Псковом, а затем защищал от белогвардейских путчистов Петроград. Николай застрял в Бесса-

рабии, на румынском фронте, а затем в отрядах Румчерода (Революционного комитета Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского округа) давал отпор румынским оккупантам. Федор после турок воевал еще некоторое время против закавказских контрреволюционных группировок.

Но этой осенью все трое вернулись, наконец, домой. Это и дало повод старому Никодиму Онуфриевичу пошутить между своими, что семья Столяровых объявила мир на всех фронтах.

Александру пришлось пробиваться через захваченную немцами гетманскую Украину. Николай бросил винтовку после ликвидации Румчерода и оккупации Бессарабии румынскими захватчиками. Федор прошел сквозь все рогатки армянских дашнаков, грузинских меньшевиков, дагестанских различных национальных формирований, пробился через расположение белогвардейских кубанских и терских казаков, через оседланный красновцами Дон и захваченный добрармией Ростов — и тоже, наконец, добрался до родного гнезда.

Съехались сыновья Столяровы почти в одно время со всех фронтов мировой войны и со всех концов Российской империи и в первое же воскресенье, когда и отцу не надо было идти на работу, устроили шумную гулянку с грандиозной выпивкой.

Домик «пяти Столяровых» был типичен для одесских окраин и стоял на такой же характерной для Одессы уличке. Расположенный в глубине двора, он двумя загнутыми наподобие буквы «п» крыльями выходил на тротуар. В крыльях этих были сарай, дровяник, хлевок для коз и другой мелкой твари, небольшая домашняя кузня-слесарня и кухня. Но окон на улицу в этих крыльях-пристройках не было. Все окна выходили во двор. Во дворе был палисадничек в две клумбы с пионами весной, матиолой летом и георгинами осенью, огородик в три грядки — с луком, чесноком и двадцатью кустами помидоров — и «сад»: один орех, один абрикос и одна слива. Вдоль забора, разумеется, росли акации.

Это был тихий и уютный уголок, но сегодня по случаю праздника домик, двор, да и переулок на целый квартал прямо-таки ходуном ходили от разгула и веселья.

Еще с полудня, осушив с отцом до обеда четверть сквирского вина под скумбрию с помидорами, сыновья Столяровы, крепко обнявшись и переплетясь руками в одну неразрывную четверку, шатались серединой мостовой из конца в конец переулка и пели песни. Начали они с солдатской «Спите, орлы боевые». Возле дворов старых знакомых и соседей — а на уличке, в квартале, да и во всей Слободке все между собой соседи и старые знакомые — братья Столяровы то и дело останавливались. Старые знакомые и соседи им подносили. Опрокинув стаканчик и закусив тут же кабачковой икрой или малосольной хамсой, братья Столяровы, покачиваясь, шли дальше. За ними — также серединой улицы, в облаке пыли,

тоже подпевая и пританцовывая и тоже успевая перехватить где придется — двигалась жадная до веселья молодежь со всей Слободки до самой Пересыпи. Из фронтовых песен пропета была еще «Умер бедняга в больнице военной», и после нее — уже совсем на «третьем взводе» — братья Столяровы начали свой коронный номер, песню, которой прославились они еще перед мировой войной, до того, как судьба раскидала их по разным фронтам от Полярного круга до тропиков. Они пели «Ревела буря, гром гремел». Четыре голоса — бас, два баритона и Колин тенор — можно было уже услышать в Дюковском парке, на Хаджибеевском шоссе, и даже за Херсонским спуском, на Лузановском пляже.

Теперь можно было начинать и заседание областкома.

Веселая гулянка фронтовиков и пьяный кавардак на всю Слободку создавали наилучшие условия для конспирации.

Да и дом слесарей Столяровых был известен и почитаем не только на Слободке, а от Молдаванки до Одессы-Сортировочной.

В семье «пяти Столяровых» были еще шестой и седьмой члены. Но уличная кличка их в счет не брала, так как это были особы женского пола.

Шестой — младшим отпрыском рода Столяровых — была Катюша.

Сейчас она тоже гуляла с братьями по улице. Но шла она сторонкой, скромно, по тротуару, как и надлежит порядочной девушке. В руках у нее был баян, и это под ее аккомпанемент орали песни четыре брата. Катюша была баянистом на всю округу, ее звали играть на каждую свадьбу и даже на похороны.

Седьмой была мама Феня, иначе говоря — Фекла Дормидонтовна Столярова, мать четырех сыновей и одной дочки, жена главы семьи.

Вместе со своим стариком она сейчас была занята приемом и угощением почетных гостей, которые собрались, чтоб выразить свое уважение старому Никодиму Онуфриевичу и Фекле Дормидонтовне и поздравить их со счастливым возвращением с войны дорогих сынов.

Собственно в эту минуту Фекла Дормидонтовна хлопотала на кухне у плиты, Никодим Онуфриевич сидел в сенях на страже, а «гости» сами угощались в комнате.

На столе стояли четверть сквирского вина, большое блюдо винегрета да полтора десятка пивных бутылок. Гости — подпольный областком — были здесь, за столом, в полной безопасности и могли заниматься тем, чем было нужно.

Все пятеро Столяровых были большевики, только маленькая семнадцатилетняя Катюша — моревинтовка-комсомолка.

Пирушка по случаю возвращения сыновей была устроена по заданию областкома.

2

Товарищ Ласточкин начал сразу же, как только все расселись вокруг стола:

— Так вот, товарищи, положение сейчас таково. Против нас огромный фронт международной реакции и внутренней контрреволюции. На севере — англичане и американцы, на Дальнем Востоке — американцы и японцы, на Волге — белые чехословацкие легионы, на азиатских землях — банды басмачей под руководством английских инструкторов, на Кавказе — меньшевики, националисты и английский десант, к Каспию движется контрреволюционное казачество. Из Крыма и через южные порты на помощь белым офицерам, украинским националистам и остаткам немецких оккупационных войск со дня на день тоже могут нагрянуть интервенты. Вчера прибыла первая ласточка — консул Энно с особыми полномочиями, сегодня уже стал на рейде и английский миноносец, и ширятся слухи, что завтра на английском крейсере «Скирмишер» должен прибыть и английский полномочный представитель, адмирал Боллард...

Ласточкин поднялся со своего места. Как председательствующего, его посадили в почетном красном углу, под «богами», там, где обыкновенно сидел глава семьи, старик Столяров,— и Ласточкину казалось, что его плохо видят и из-за этого плохо слышат. Маленького роста, он и в самом деле почти не был виден из-за высокого стола в низеньком кресле. Дальше Ласточкин говорил стоя или прохаживаясь.

— Что касается самой Одессы, то здесь контрреволюционных сил собралось особенно много. Стоит довольно многочисленный гетманский гарнизон, осталось немало и австро-немецких частей, не до конца деморализованных; накапливаются, растут изо дня в день и изо дня в день наглеют отряды белых офицеров-добрармейцев, горящих желанием растерзать большевиков. Все это вполне боеспособные армейские единицы. А с севера движется и выходит на подступы к Одессе еще скопище войск петлюровской директории, тоже стремящееся захватить власть на Украине. В самой Одессе и вблизи нее — десятки тысяч войск контрреволюции; на подступах к Одессе — еще десятки тысяч. И десант Антанты, который международная реакция готовится высадить здесь, тоже, безусловно, должен быть не маленький: надо думать — десятки тысяч, а может быть, и сотни... Такова картина на сегодняшний день, товарищи.

Ласточкин умолк и прошелся взад-вперед вдоль стены. Живой, непоседа по характеру, он не мог долго оставаться без движения. Он прохаживался, сосредоточенно подняв брови, точно прислушиваясь — то ли к шумному гомону на улице, бравурным переливам баяна под пальцами Катюши да молодецкому пению четырех Столяровых, то ли к своим собствен-

ным стремительным мыслям. Искоса он поглядывал на товарищей за столом.

Перед ним сидели члены областного комитета — области, объединявшей сейчас две огромные губернии: Таврическую и Херсонскую,— и представители районных комитетов. Эти люди возглавляли сейчас большевистское подполье на территории, которая была больше территории трех европейских государств — Бельгии, Голландии и Люксембурга, вместе взятых. По этому пространству только что прокатилась могучая волна народного восстания против немецких оккупантов, и борьба эта стоила немалых жертв большевистской партии. Сначала партия боролась из подполья, потом возглавляла двухмесячную всеобщую забастовку, затем повела вооруженные отряды повстанцев в открытый бой. Оккупанты отчаянно свирепствовали. В боях и особенно в немецкой и гетманской контрразведке погибли тысячи мужественных большевиков. Одесское подполье понесло в этой борьбе огромные потери: возглавляя борьбу масс, погибли почти все руководители большевистских организаций, отдали жизнь сотни и тысячи рядовых борцов-большевиков. Нынешний состав обласкома был совершенно новый, почти неизвестный Центральному Комитету. А борьбу надо было продолжать, собственно — начинать сначала...

Братья Столяровы вместе с веселой толпой — теперь они пели грустную украинскую, недавно принесенную с австрийского фронта, «Чуєш, брате мій, товаришу мій» — прошли мимо дома в другой конец улички; в комнате стало почти тихо, и Ласточкин продолжал:

— Итак, против нас огромный фронт. Против нас единый фронт! — подчеркнул он.— И в то же время это, безусловно, несколько фронтов, по меньшей мере пять-шесть: гетманцы, петлюровцы, добрармия, белополяки, французы, англичане, американцы или кто еще там. И необходимость борьбы на каждом из этих фронтов, конечно, усложняет наше положение. Но между ними всеми, несомненно, существуют противоречия, неминуемо возникнут споры, появятся трещинки... Вспомните, товарищи! Ильич учит, что большевики никогда не должны забывать о противоречиях, существующих между врагами, об антагонизме между отдельными единицами во вражеском лагере, хотя бы их и связывала общая ненависть и совместные действия против нас,— о трещинках, которые возникают в результате этих споров и разногласий в самом теле мировой реакции. Конечно, дипломаты Антанты, которые прибудут сюда вместе с вооруженными отрядами интервентов, будут всячески изворачиваться, чтобы замазать все трещинки между гетманцами, петлюровцами, деникинцами и между собой — американцами, англичанами, французами,— и именно это нам, большевикам, надо учесть в самую первую очередь! Я понятно выражаюсь, товарищи?

— Понятно! — отозвалось несколько голосов.— Ясно!

Члены обласкома видели Ласточкина впервые. И сейчас все приглядывались к нему. Что за человек? Какой хватки? Каким будет в деле и каково будет работать с ним товарищам? Центральный Комитет направил Ласточкина для руководства подпольем Юга — и это был важный и радостный факт: ЦК, следовательно, придавал особое значение борьбе одесских подпольщиков. Но в какой мере этот товарищ из центра будет на высоте ответственного задания Центрального Комитета, насколько сумеет он охватить местную обстановку, разобраться в настроениях местных товарищей, слиться со всей большевистской массой, чтобы возглавить ее и повести за собой?

О товарище из центра, новом руководителе, молодым членам обласкома было мало что известно: приехал с паспортом купца второй гильдии Николая Ласточкина; член партии с тысяча девятьсот пятого года; только в дни февральской революции вернулся из ссылки; весь прошлый год работал под своей фамилией легально в киевском Совете рабочих и солдатских депутатов, возглавлял профсоюз работников иглы. Значит, по профессии, очевидно, портной. Стал известен благодаря ряду удачно проведенных во время керенщины забастовок и той руководящей роли, которую он сыграл в восстании киевских арсенальцев против Центральной рады. Потом он ушел в подполье и выехал с Украины в Москву.

Это была неплохая партийная характеристика. И многие из членов обласкома могли искренне позавидовать ей. Ведь в этом новом, молодом составе обласкома почти не было старых, закаленных большевиков, которые начинали бы свою большевистскую деятельность еще в канун пролетарской революции, которые свой боевой путь в дни Октября тоже прошли бы как руководители одесских большевистских организаций — рядом со славным большевистским вожаком одесского пролетариата, недавно героически погибшим от рук немцев и гайдамаков Старостиным! Правда, почти все они начинали свой боевой путь именно здесь, под руководством Старостина, в отрядах Румчерода, на баррикадах январского восстания в Главных железнодорожных мастерских и на эллингах Ропита либо в рядах красногвардейцев города Одессы и Одессы-порта. Начинали с винтовкой или пулеметом в руках. Но руководить подпольем и через него борьбой всех трудящихся города еще не приходилось почти никому из членов нового обласкома, созданного после гибели прежнего состава в немецких и гетманских застенках.

Укрепление местного руководства товарищами из центра было вполне своевременно.

Но именно из этих соображений второй товарищ, присланный ЦК, вызывал... по меньшей мере удивление.

И это полномочный представитель Центрального Комитета?

Вот этот товарищ прислан для укрепления организации, состоящей из обстрелянных красногвардейцев — матросов, овеянных ветрами морей, портовых грузчиков, прошедших сквозь огонь и воду, заводских пролетариев, участников трех революций?

Вторым товарищем из центра была девушка, вернее — девочка, потому что на первый взгляд ей можно было дать не больше семнадцати — восемнадцати лет, да и то от силы, только зная, что моложе и в партию не принимают. Вот она сидит тихонечко в углу — курносенькая, с детскими бровями шнурочком и длинными черными девичьими косами, которые не уберешь под кепку или ушанку, если придется брать винтовку в руки и идти в бой. Да и умеет ли она стрелять, да и поднимет ли одиннадцатифунтовую винтовку, чтоб приложить к плечу и навести на цель? Не свалится ли от выстрела и отдачи винтовки?.. Она и одета-то совсем по-детски: белая матроска с синим воротником и игрушечными якорями, юбочка «в гармонику» — как на вывеске «Принимаю заказы гофре и плиссе», и туфельки, боже ты мой, лакированные лодочки!.. Хотя бы ради конспирации постыдилась так одеваться... А кличка? Кличка — «Галя». Галя и есть...

Члены областкома и представители райкомов — матросы, грузчики, да и заводские пролетарии — поглядывали на девочку Галю из центра с нескрываемым недружелюбием.

— Какие же вопросы, товарищи, вы ставите сегодня на повестку дня? — спросил Ласточкин.

— Восстание! — крикнул матрос Александр Понедилок, собственно Шура Понедилок, или попросту «Шурка», как его звали и в порту и на берегу от Молдаванки до Пересыпи.— Восстание против всех паразитов и контры! Сбросить гадов в Черное море! У меня больше вопросов нет...

Матрос Шурка Понедилок старался «глядеть чертом» — сверкал глазами, свирепо морщил лоб, да и матросскую бескозырку свою с длинными ленточками он не снял, войдя в комнату, а только залихватски передвинул со лба — от брови — на самый затылок.

«Глядеть чертом» Шурке Понедилку не очень-то удавалось: он был светловолосый, сероглазый, с вот этакими ресницами, румянцем во всю щеку и никак не мог согнать с лица веселую, задорную, юношескую улыбку. Стройный, сухощавый и подвижной, элегантный в своей матроске, ослепительно чистой полосатой тельняшке под ней и в широченных, за носок, моряцких «клешах» — Шурка был предметом воздыханий всех девчат и молодиц от Пересыпи до Молдаванки.

— Товарищ, гм... матрос,— ласково промолвил Ласточкин,— простите, не знаю еще вашего имени...

— Понедилок Александр, матрос второй статьи с посудины

«Витязь»! — вскочил и вытянулся «смирно» Шурка Понедилок.— Представитель Морского райкома партии.

— Садитесь! — мягко сказал Ласточкин.— Я вам не командир, и вы мне не рапортуете; тянуться «смирно» не нужно. Но я хотел вам напомнить, что, войдя, вы забыли снять свою шапку...

— Или вам не известно, что это не шапка,— чуть не подпрыгнул Шурка,— а флотский головной убор — бескозырка и...

Вдруг лицо его залилось краской от подбородка до самых волос, и, сорвав флотскую бескозырку с головы, он сел.

Ласточкин смотрел на него спокойно, с улыбкой, но твердо, и где-то в глубине его глаз поблескивали искорки гнева.

По комнате пробежал легкий шорох. Товарищ из центра был, видимо, мягкого обхождения, но крутого нрава.

Степенный мужчина в однобортной тужурке с серебряными паровозиками на петлицах, несомненно — железнодорожный машинист, пригладил бородку с тонкими прядями седины и негромко сказал:

— Моя фамилия Куропатенко, я представитель Железнодорожного райкома, точнее — председатель райкома. Я думаю, что прежде всего надо обсудить и окончательно определить наше отношение к анархистам, эсерам, меньшевикам и другим мелкобуржуазным партиям. В ходе будущего восстания это будет иметь огромное значение. У нас здесь засилие этих соглашателей. И в Совете верховодят тоже они... А какую повестку на сегодня предлагаете вы, товарищ Николай?

Среди собравшихся были еще: матрос Иван Голубничий — руководитель военного отдела обласкома, он же председатель райкома Молдаванки; печатник Яковлев — представитель райкома партии центральной части города; рабочий судостроительных верфей в Николаеве Каминский; лоцман Бабка — от Херсонской организации и другие.

Пересыпский, самый крупный, райком представлял Александр Столяров. Вернувшись в родной город, он на следующий же день стал на работу на заводе Гена и немедленно связался с партийной организацией, фактически и возглавив ее.

Созыв заседания обласкома, обеспечение его конспиративности и безопасности было возложено как раз на Александра Столярова, и он все меры от начала до конца провел лично, не передоверяя их никому. Теперь он же руководил и охраной заседания. Сейчас с пением «Вдоль да по речке» братья Столяровы прошли мимо двора и направились к углу Кладбищенской улицы.

— Товарищи! — сказал Ласточкин.— Я думаю, что повестка дня нашего сегодняшнего заседания должна целиком исходить из тех задач, которые ставит перед нами общий, единый план борьбы нашей партии против иноземных захватчиков-интервентов и, разумеется, их подпевал из внутренней контрре-

волюции. Это единый план! — Он опять подчеркнул слово «единый» и подкрепил это ударом кулака по столу.— Единый для всех организаций большевистской партии! Большевики севера России, Дальнего Востока, так же как и юга Украины, должны строить свои планы, конечно с учетом местных условий и задач, исходя именно из этого единого плана.

И Ласточкин напомнил: Второй съезд Коммунистической партии большевиков Украины, который с участием Владимира Ильича Ленина проходил в Москве в конце октября, принял решение о помощи украинскому народу в его освободительной войне. В Москве же состоялось совещание Реввоенсовета республики и членов ЦК КП(б)У с главнокомандующим, которое и наметило план ведения вооруженной борьбы в разных частях Украины — в зависимости от военно-политического положения в той или иной ее части. По решению Совнаркома создан Реввоенсовет Украинского фронта. В Курске сформировано Временное рабоче-крестьянское правительство Украины, в которое вошли товарищи Ворошилов и Артем. Украинское советское правительство только что в городе Судже объявило власть гетмана низвергнутой и выпустило манифест к народам Украины, в котором объявило все завоевания Октябрьской революции достоянием трудящихся Украины, все советские декреты и законы — действующими на территории Украинской республики. Украинские войска ворошиловской группы на северных границах Украины перешли в наступление в харьковском направлении. Одновременно украинские дивизии, созданные Щорсом и Боженко по приказу Центрального военно-революционного комитета Украины еще в начале осени на Черниговщине, тоже начали наступление в направлении на Киев.

— Начата большая война! — сказал Ласточкин.— И наша задача — в согласии с единым планом командования включиться в великую освободительную отечественную войну нашего народа отсюда, с юга. Силы наши далеко не равны: враг в военном отношении сильнее нас. Но победить должны мы, и мы победим, потому что за нами весь трудовой народ. Но выиграть войну можно только в том случае, если хорошо к ней подготовиться. И каждое выступление вразрез с общим планом борьбы, всякая горячность, хотя бы и от чистого и доброго сердца,— Ласточкин метнул острый взгляд на Шурку Понедилка, готового провалиться сквозь землю под этим уничтожающим взглядом,— всякая анархистская романтика, всякие призывы к немедленному неорганизованному восстанию только поведут наши кадры на бесплодную гибель! — Ласточкин еще раз взглянул на Шурку, и тот счел за лучшее совсем отвернуться к окну.— Мы здесь должны готовиться к серьезной войне, готовиться спешно и отмобилизовать все наши силы! Потому-то и начинать нам надо именно с... мирных дел.

Поворот уж очень был неожиданный, и все настороженно подняли головы.

Но Ласточкин тут же и перечислил все эти «мирные» дела, с которых, по его мнению, надо было начинать.

По городу и области числилось довольно много большевиков, но цифры были неточные и не о каждом были исчерпывающие сведения. Взять на учет всех, выявить способности и возможности каждого, провести широкую перерегистрацию членов партии — надо в первую очередь, и закончить это за два-три дня. Весь реальный актив привести в боевую готовность, а все мертвые души — вон! После этого созвать по районам области и города районные конференции и избрать районное руководство. На это уйдет еще три — пять дней. И немедленно же — городская и областная конференции. Эти обе можно провести в течение одной ночи. Таким образом, за неделю все большевистские кадры будут готовы вступить в борьбу, чтобы выполнить ту задачу, которую ставят перед ними Центральный Комитет, общий план борьбы и сами условия отечественной войны.

— Возражений нет? — спросил Ласточкин.

Возражений не было. В самом деле, разве не первейшая задача перед началом борьбы именно установление боевого порядка?

— Областная конференция,— сказал Ласточкин,— изберет и новый областной комитет. Пока предлагаю заместителем председателя обласкома избрать товарища Александра Столярова, одновременно выдвинув на городском пленуме его кандидатуру как председателя городского комитета.— Ласточкин вдруг снова улыбнулся широкой, веселой улыбкой.— Как, товарищи, считать товарища Столярова Александра отсутствующим или присутствующим на нашем заседании? И имеем ли мы право выбирать его, так сказать, заочно, на один только... слух?

Он, смеясь, кивнул на окно.

Братья Столяровы как раз снова проходили мимо домика в своем бесконечном «пьяном» променаде, и густой, могучий бас Александра Столярова рокотал втору в «Гей, нуте, хлопці, славні молодці».

Все засмеялись, и все руки дружно поднялись.

— Второе,— сразу же серьезно заговорил Ласточкин,— подготовка вооруженных сил народа и, конечно же,— он вдруг подмигнул Шурке Понедилку,— вооруженного восстания! — Шурка покраснел и снова отвернулся к окну.— Мы создадим Военно-революционный комитет, и в состав его я предлагаю большевиков: Ивана Голубничего, Александра Понедилка, Петра Куропатенко, Александра Столярова и Николая Ласточкина.

Услышав свое имя в составе Военно-революционного комитета, Шурка Понедилок — еще совсем молодой член партии — стал совсем багровым и уже не отрывал глаз от двух белых козочек и одного белого петуха за окном.

Матрос Иван Голубничий — полная противоположность матросу Понедилку: степенный и серьезный, с густыми, солидными усами флотского сверхсрочника,— как только услышал свою фамилию, сразу же встал и не спеша начал докладывать:

— В распоряжении военного отдела областкома на сегодняшний день имеются три подпольные боевые дружины: рабочая пересыпская имени Старостина в количестве до ста человек, матросская дружина Морского райкома в количестве до тридцати человек и молодежная — из моревинтовцев-комсомольцев — в количестве человек до пятидесяти. Однако в отношении оружия в настоящий момент...

— Товарищ Голубничий,— остановил его Ласточкин,— ты обожди. Об этом доложишь Ревкому. А сейчас областком должен решить еще другие вопросы.

Матрос Голубничий расправил усы и сел.

— И третье, товарищи, это армия Антанты, которую мы ждем сюда. Большевики,— Ласточкин улыбнулся,— уже имеют кой-какой опыт в обращении с армиями оккупантов.— Все тоже заулыбались.— Трехсоттысячная армия немецких оккупантов, разложенная и насыщенная революционными идеями, уходит сейчас со всей территории Украины к себе домой, в Западную Европу. А не то и здесь создает свои солдатские советы и спартаковские комитеты. Я думаю, товарищи, что не вредно бы нам распространить опыт революционного расслоения немецкой армии и на армию Антанты? А?

— Пусть им будет вредно...— ворчливо отозвался Голубничий.— Чтоб в Синопе, в Трапезунде галушки варили...

Веселый смех пробежал вокруг стола. Шевченковский стих был применен в этом случае остро и бил в самую точку.

— Так вот,— подхватил с веселым смехом Ласточкин,— если возражений не будет, то надо немедленно же начинать к этому подготовку. Перед отъездом сюда я был в Москве в Центральном Комитете. Товарищ Ленин...— Ласточкину пришлось сделать небольшую паузу: все зашевелились, придвинулись ближе и наклонились, чтоб лучше расслышать,— товарищ Ленин особое внимание обращает именно на эту сторону нашей с вами работы. Москва поможет нам кадрами специальных работников, как только станет точно известно, какие именно кадры нам будут нужны — для английских, французских или еще каких-нибудь частей. Когда выяснится, на каких языках нам придется проводить агитацию, Москва пришлет к нам группу товарищей, в совершенстве владеющих этими языками. Наша партия обращает сейчас особенное внимание на подготовку специальных кадров для Украины.

Ласточкин поднял руку, призывая всех к порядку, потому что в ответ на его сообщение члены областкома все сразу вдруг заворочались, заговорили весело и возбужденно:

— Вот спасибо! Не забывает нас Владимир Ильич!..

Дверь из сеней скрипнула, и на пороге появилась грандиозная фигура Никодима Онуфриевича. Гомон сразу оборвался, все притихли. Что такое? Опасность?

— Ничего, ничего,— загремел во всю силу могучий бас Никодима Онуфриевича.— Как раз хорошо! Шумите, шумите! А то что за гулянка такая? Сошлось пятнадцать казаков и шепчутся, как девчата на посиделках. Не конспиративно, товарищи! Никуда не годится! Говорите погромче и чарки поналивайте! И винегрета хотя бы для видимости ковырните! Мама Феня сейчас и кабачки подаст...

Дружный смех был ответом Никодиму Онуфриевичу.

Но он уже исчез в сенях и прикрыл дверь.

Когда веселое оживление стихло, а товарищи налили себе вина, Ласточкин закончил:

— Так вот, для подготовки пропагандистской работы в иностранных войсках нам надо создать при Ревкоме этакую «Иностранную коллегию» — штаб нашего революционного слова! В Иностранную коллегию войдут товарищи, которые прибудут из Москвы, а пока что мы создадим группу организаторов человека в три, в пять. Поручим это дело товарищу Гале.

Все члены областкома, как по команде, повернули головы к девушке в углу: так вот зачем эта девушка из центра — специалистка, выходит, в делах пропаганды!

Ласточкин перехватил эти взгляды и не мог сдержать улыбки.

— Товарищи! — укоризненно произнес он.— Ну как вам не совестно? Вогнали девушку в краску! — Но он сразу же сдержал улыбку и сухо сказал: — Галя действительно мала ростом и выглядит совсем девочкой, но это не так уж плохо для конспирации! Только Гале не шестнадцать лет, как вам, верно, кажется, а... Галя, тебе как будто двадцать два?

— Двадцать три,— тихо отозвалась Галя и сердито передернула бровями.

— Итак, двадцать четвертый! И четыре года Галя член партии. Из них два просидела в тюрьме. А вообще Галя — один из лучших организаторов подпольных типографий. Кроме того, Галя окончила гимназию, и в аттестате у нее пятерки по французскому и по немецкому. Помимо гимназических наук, Галя изучала и английский язык. На иностранных языках Гале хоть стихи писать: специалистка! Есть ли у кого-нибудь возражения против Гали, товарищи?

Члены областкома единодушно подняли руки за Галю. Первым вытянул руку Шурка Понедилок. Девушка, оказывается, что надо!

Все глядели на нее теперь с любопытством и симпатией: так вот какого большевика прислал одесситам Центральный Комитет!

— Кстати,— сказал машинист Куропатенко,— поскольку речь зашла о пропаганде, то, пока выяснится, на каком языке проводить агитацию среди интервентов, следовало бы расширять и расширять работу среди населения.

Он полез в карман, вынул сложенный в восемь раз лист газеты и пояснил:

— Свежий номер «Правды»... Машинисты наши из Бахмача привезли...

И сразу же начал читать вслух. Все слушали молча, сосредоточенно.

— Вот и начало нашей работы!— сказал Ласточкин.— Оживим нашу печать, наладим выпуск листовок... Галя, когда б это можно было осуществить?

— Сколько тысяч? — спросила Галя.

— Пять, ну, десять тысяч...

— Нужно больше, чтобы и для области,— сказал лоцман Бабка.

— Типография есть,— отозвался печатник Яковлев,— только не разобраны шрифты.

— Не разобраны? — подняла брови Галя.— Тогда — послезавтра.

— На разборку можно бросить комсомольцев,— предложил судостроитель Каминский.

— Им же поручить и распространение. Этим пускай Коля Столяров займется, у него есть группа связных,— поддержал и Голубничий.

На этом и порешили. Слово еще раз взял Ласточкин.

— И четвертое у меня очень важное дело, товарищи: разведка и добывание оружия. Это дело надо будет поставить в самых широких масштабах. Начинать я предлагаю с того, что уже делает Григорий Иванович. За Григорием Ивановичем и закрепить это дело, хотя он еще пока и не член нашей партии; путевку в одесское подполье после его партизанской деятельности против немцев ему дала Москва.

Предложение Ласточкина вызвало новое оживление. Григорий Иванович! Фамилия названа не была, но кто ж из одесских большевиков не понимал, что речь идет о Котовском? Однако не всем было известно, что Котовский опять вернулся в Одессу. Вот это новость так новость! Кого же из старых красногвардейцев — после Старостина — так уважали и любили одесские большевики? Конечно, Котовского! А кого знала и любила вся окраинная Одесса — на Фонтанах, на Сахалинчике, Мельницах, Молдаванке, Пересыпи и здесь, на Слободке? Котовского!

Только... слишком уж это заметная фигура для подпольной, конспиративной работы — вот что смущало областкомовцев. В Одессе знают Котовского в лицо тысячи людей. Рискованно! Ведь повсюду шныряют шпики и провокаторы...

В ответ на эти соображения Ласточкин сказал:

— Опасения вполне обоснованные, и, возможно, в дальнейнем придется использовать Григория Ивановича иначе. Но начинать нужно немедленно, и давайте все-таки для начала привлечем его. Надо только следить, чтобы Григория Ивановича таким, каким его знает Одесса, никто в Одессе и не увидел...

Он хотел еще что-то прибавить, но в эту минуту шум на улице стал особенно громким, и все обернулись к окнам.

Веселая толпа, которая следом за четырьмя Столяровыми все время двигалась уличкой взад-вперед, вдруг остановилась как раз против дома. Столяровы выводили мелодию высокую и залихватскую, но в то же время нежную и волнующую — в ритме танца. Катюшин баян заливался вовсю. Братья Столяровы, крепко сплетенные в одну четверку, стояли шеренгой и, ритмически покачиваясь, тянули напев. Смотрели они прямо в окна дома.

Четверка Столяровых выглядела живописно.

Все они, как один, были великаны — в отца, и головы их возвышались над толпой. Были они статны и широкоплечи, с могучей грудью; полосатые матросские тельняшки выглядывали из-под расстегнутых пехотных гимнастерок. Шапки они давно потеряли, и буйными светлыми чубами вольно играл ветер. Александр, Николай и Федор стояли как три богатыря, и только младший Коля — помельче старших братьев, поуже в плечах и щуплее — отличался от них и фигурой и одеждой. Он тоже был без шапки, но аккуратно причесанный, в тесной черной тужурке ученика городского училища, и все пуговки на ней были застегнуты — сверху донизу. Это он выводил альтовые верхи, Николай и Федор исполняли баритональную партию, Александр гудел басом — густым и могучим.

Вдруг Александр прервал свою втору, сорвал у кого-то из толпы с головы фуражку и ударил ею оземь. В то же мгновение Катюшин баян зачастил, рассыпался трелью, Александр притопнул ногой — и четверка братьев, сплетясь в кольцо, закружилась, изгибаясь в ритме жаркого молдаванского танца.

Они пели дойну и плясали.

Толпа широким кругом обступила танцоров.

В ту же минуту Никодим Онуфриевич снова открыл дверь. В комнату с дымящимся блюдом в руках быстро вошла мама Феня: горячие кабачки были готовы. Никодим Онуфриевич плюхнулся в свое кресло во главе стола и налил себе стакан по самый край.

— Гуляем! — крикнул Никодим Онуфриевич и, подавая пример, до дна опорожнил свой стакан.

Члены областкома тоже взяли стаканы, чокнулись и выпили.

Так и было договорено: если братья Столяровы остановятся перед домом и заведут танец, это значит, что надвигается опасность и подпольному комитету следует немедленно же превратиться в настоящих пьяных гостей.

Действительно, через минуту, в самый разгар танца, когда пыль уже встала столбом и окутала всю толпу, из-за соседнего двора показалось четверо верховых. Это была конная гетманская «варта». Они патрулировали город, в особенности его окраины. Гетманцы опасались восстания в рабочих районах.

Конники придержали лошадей и, пересмеиваясь, подзадоривали танцоров. Толпа отвечала им насмешками, а то и бранью. Гетманские «вартовые» для одессита с окраины были презренными париями. Кто-то даже запустил в них гнилым помидором. «Вартовые» погрозили нагайками и, пустив коней шагом, поехали прочь. Конечно, наглецов следовало бы отстегать этими самыми нагайками с вплетенными в них гвоздями, но «вартовые» никогда бы не отважились на это в рабочем предместье: наклали бы им так, что и ног не унести! Обиду они затаили до подходящего случая — когда выйдет приказ расправиться с этой голытьбой. А сейчас они только «сполняли службу» и были совершенно удовлетворены весельем на улице: люди пили и танцевали, значит власть могла чувствовать себя спокойно.

Когда «вартовые» скрылись за поворотом на Кладбищенскую, братья Столяровы оборвали танец и отерли пот.

Вытерев усы после очередного стаканчика и порции кабачков, снова исчез в сенях Никодим Онуфриевич.

Ушла и мама Феня. Феня была тоненькая и миниатюрная — даже удивительно, как могла она родить этаких четырех великанов! Она была сухонькая, вся сморщенная — в свои шестьдесят пять в тяжком труде прожитых лет,— но быстрая, живая и суетливая. Собственно весь дом Столяровых лежал на ее плечах: она вела хозяйство, кормила и обшивала семью. Сыновей своих она — фигурально — носила на руках. Не фигурально, а совершенно реально сыновья в шутку хватали ее и носили на руках, когда хотели выказать особую свою к ней сыновнюю нежность. В таких случаях мама Феня страшно сердилась, отбивалась от нахала-сына своими кулачками и грозилась отстегать шалуна отцовским ремнем.

Но вся околица глубоко почитала старуху Столярову, и «мама Феня» было ее прозвищем, нежным и почтительным. Мама Феня слыла авторитетом на всю Слободку во всех сложных вопросах среди женщин, да и среди мужчин. Ее уважали за доброе сердце, заботливость и вечное беспокойство о невзгодах своих соседей.

Итак, опасность миновала. Мама Феня унесла пустое блюдо. Заседание могло спокойно продолжаться.

И Ласточкин стал развивать высказанную им уже ранее мысль.

Речь шла о конспирации.

Ласточкин требовал соблюдения самой строгой конспирации. Белогвардейщина начинала первым делом с создания контрразведки. Каждая офицерская дружина непременно организовывала свою собственную контрразведку, а в рабочие организации и на предприятия были засланы многочисленные шпионы и провокаторы.

Ласточкин заявил:

— Нашу подпольную работу, товарищи, мы сосредоточим в центре города, под самым носом у контрразведки. Это и будет самой лучшей конспирацией: нет места безопаснее, чем за пазухой у врага. Что же касается предприятий, то, всемерно укрепляя и расширяя наши большевистские ячейки на заводах и фабриках, мы в то же время начисто откажемся, во всяком случае для начала, от организации там каких бы то ни было прямых выступлений. Никаких подпольных собраний на предприятиях! Ни одной подпольной явки на заводах и фабриках.

У Ласточкина были убедительные аргументы: не навлекать дополнительных репрессий на рабочий класс и не провалить подполье. Контрразведчики справедливо ожидают наибольшей для себя опасности именно из рабочих кругов и именно в рабочих кругах и на предприятиях будут старательно докапываться до подполья. Нельзя обнаружить перед ними даже хвостик подполья — и этим сорвать все дело подготовки пролетариата к восстанию.

И, обосновывая свою мысль, Ласточкин сделал целый экскурс в историю рабочего класса Одессы за последние годы, показав себя отличным знатоком города, несмотря на то, что был здесь первый раз в жизни и всего второй день. Очевидно, готовясь отправиться сюда по заданию Центрального Комитета, он заранее тщательно ознакомился с местной обстановкой.

Одесский порт до начала мировой войны по экспортно-импортному обороту был первым в России. В одесском порту вели дела двенадцать иностранных пароходных компаний, а местный, русский торговый флот, приписанный к одесским причалам, насчитывал сто двадцать судов среднего и большого тоннажа. В связи с этим в Одессе возникли десятки крупных и сотни мелких предприятий. Рабочий класс с семьями составлял до войны почти половину всего населения Одессы. Рабочих в одесской промышленности и в одесском порту было больше пятидесяти тысяч.

Но за годы войны большая часть рабочих сынов Одессы была мобилизована в армию, и многие из них так и не вернулись домой, погибли на позициях. Место кадровых пролетариев, славных своими революционными традициями, заняли за эти годы на одесских предприятиях недавние выходцы из деревни — особенно из кулацких поселков немецких колонистов, которых ввиду их германского происхождения воздерживались посылать на противонемецкий фронт,— а также мелкий служивый люд, кустари и мелкие торговцы, разорившиеся за годы войны, а не то и просто укрывавшиеся от посылки на фронт и купившие себе «бронь» на предприятиях, работавших «на оборону». Таким образом, ко времени революции социальный облик рабочих одесских заводов заметно изменился: хлынула мелкобуржуазная стихия.

Именно в этих не пролетарских, пришлых, случайных группах, в заводских коллективах и находили себе опору в дни Октябрьского переворота меньшевики, эсеры и анархисты. Анархисты, правда, пополняли свои ряды главным образом за счет деклассированного, люмпенского населения, которого в Одессе и в дни революции насчитывалось до двадцати пяти тысяч и которое одновременно питало и разбойничьи банды Мишки Япончика.

Через «рабочую аристократию», на которую опирались меньшевики, через мелкобуржуазные круги и группы анархистов или через специально подготовленные кадры полицейских шпиков и провокаторов из «зубатовских» черносотенных организаций белая контрреволюция протягивала свои лапы к самому сердцу одесского рабочего класса.

— Вот почему,— закончил Ласточкин,— мы должны все время быть начеку. Всю силу партийного, большевистского влияния нести в рабочие массы, но вместе с тем бдительно остерегаться козней контрреволюции именно здесь. Задача нашего подпольного партийного центра: ни одного предприятия без нашей большевистской организации. Задачи наших подпольных большевистских организаций на предприятиях: разъяснительная работа, направленная против интервентов и против провокационной деятельности меньшевиков и эсеров,— во-первых, и подготовка восстания — во-вторых. Это,— повернулся он к машинисту Куропатенко,— думается мне, будет ответом и на те вопросы, которые вы поставили вначале: о нашем отношении к меньшевикам и эсерам.

Эту речь Ласточкина слышал и Александр Столяров. После пляски перед домом он оставил на улице трех братьев допевать пьяные песни, а сам вошел в дом и сел к столу вместе с членами областкома. Товарищи уже сообщили ему о том, что он избран заместителем председателя областкома.

Когда Ласточкин кончил, Александр Столяров попросил слова.

— Мне особенно пришелся по сердцу,— сказал он,— анализ, которому подверг товарищ Николай наш одесский трудовой народ, и его призыв держать ухо востро с меньшевиками и эсерами, с блудливыми подпевалами белой контрреволюции. И верно, нужно как можно скорее вырвать из-под их влияния ту часть трудящихся, которая еще идет на их гнусные приманки. Но я думаю, что одновременно с организационной и пропагандистской работой наших ячеек на фабриках и заводах необходимо самым широким образом начать массовую работу. Надо немедленно же осуществить массовый акт, который раскрыл бы глаза на меньшевистско-эсеровские махинации и тем, кто еще не прозрел, акт, который бы возвел баррикады между нами, большевиками, и этими пособниками буржуазии. И именно сейчас, когда мы готовимся к большой войне против иноземных интервентов.

Он на минуту умолк — все тоже молчали и напряженно ждали его слов — и заговорил снова уже совсем иным тоном, как-то по-простецки, даже затылок почесал.

— Вот только что, когда мы здесь на улице кренделя выписывали и горло драли, рассказали мне ребята с завода Спивака и Спеванова, что в конце Московской улицы,— две недели они уже бастуют! Две недели бастуют, а Спиваку и Спеванову хоть бы что! Прошел слух, что они даже собираются объявить локаут. Закроют заводик, продадут его французским или английским посредникам — их уже шатается тут до черта,— и тысяча рабочих рук на улице подыхай с голоду и безработицы! На прошлой неделе такую штуку уже отколол Инбер: закрыл мельницу — и триста человек на улице. А перед этим Родоконаки продал джутовую немцам, а те половину цехов и закрыли: полторы тысячи на улице... И на каждый локаут — санкция градоначальника, его превосходительства Мустафина; этот бандюга решил таким способом обессилить и разложить наш рабочий класс — безработицей и голодом...

Столяров вдруг стукнул кулаком по столу, так что подпрыгнули и зазвенели стаканы.

— Вот я и спрашиваю: чья сила в Одессе — наша, рабочего класса, или градоначальника Мустафина? Я спрашиваю и хочу, чтобы ответ на это услышала вся Одесса. Их, контры, беляков и паразитов, больше, чем нас, подпольщиков-большевиков; за ними недавно были немецкие оккупанты, а будут английские, американские или французские, но за нами — пролетариат, за нами все трудящиеся, весь народ. И нас больше, и мы сильнее, сколько бы пулеметов, пушек и дредноутов они сюда ни пригнали! Мы, большевики, понимаем это, а нужно, чтобы наше превосходство в силе увидел и понял каждый трудящийся, и в первую очередь именно тот, которого обхаживают меньшевики и эсерики!

Столяров обвел взглядом сидящих за столом, помолчал минуту и спокойно закончил:

— Я предлагаю не спускать ни одному Спиваку или Спеванову. Не спускать, а бороться против них. И бороться не так, как якобы «борются» меньшевики, выдвигая при забастовках только экономические требования — повышение заработной платы или там страхование,— а по-большевистски: превращать каждую забастовку в забастовку политическую, открывать глаза отсталому элементу на то, что только свержение власти буржуазии даст возможность удовлетворить все требования пролетариев. Я предлагаю, товарищи, объявить всеобщую забастовку солидарности и политического протеста против попыток буржуазии укрепить свое господство. Пускай трудящиеся города увидят, что настоящая власть в руках у трудящихся, а не у градоначальника Мустафина!

Столяров сел, и все вокруг стола сразу заговорили:

— Правильно! Всеобщую забастовку! Продемонстрировать силы рабочего класса! Чтоб не вышло опять так, как в дни революции в Германии!..

А произошло в Одессе в дни революции в Германии вот что. Одесские большевики, а за ними и другие политические организации решили провести в городе манифестацию в честь германской революции. Но градоначальник Мустафин, опасаясь рабочего восстания, манифестацию запретил, вывел на улицу войска гарнизона и «державную варту» — и людские потоки, которые собирались в рабочих районах, чтоб направиться в центр на демонстрацию, разогнал по частям силою оружия. В ответ рабочие организации решили объявить забастовку протеста. Были предъявлены условия: освобождение из тюрьмы политических заключенных, легализация Совета рабочих депутатов, свобода слова и собраний. Но меньшевики, верховодившие в Центропрофе — Центральном совете профессиональных союзов — и составлявшие большинство в нелегальном Совете рабочих депутатов, так как каждый меньшевик персонально проживал в городе на легальном положении, а большевики, члены Совета, по большей части ушли из города с антинемецкими отрядами партизан,— меньшевики проведение забастовки сорвали. В процессе забастовки они подменили требование легализации Совета рабочих депутатов требованием созыва... Учредительного собрания. Забастовка провалилась, буржуазия торжествовала свою победу над трудовой Одессой, а Мустафин начал кампанию закрытия заводов, локаутирования рабочих и ликвидации профессиональных пролетарских организаций.

Глаза у Ласточкина загорелись. Стачка! Он всегда верил в стачку как в одно из лучших средств сплочения сил пролетариата в борьбе против буржуазии. Сколько стачек провел за свою жизнь он, Иван Федорович Смирнов! За организацию

стачек пошел он до революции и на каторгу. Руководство стачками принял на себя, вернувшись в семнадцатом году из ссылки. Недаром прозвали его, председателя профессионального союза работников иглы, «закройщиком стачек», а самый союз — «союзом стачечников иглы». Все стачки, которые проводил Иван Федорович Смирнов во время керенщины, закончились победой рабочих, включая и всеобщую забастовку в дни Октябрьского переворота. Как хотелось Ласточкину провести всеобщую забастовку и в Одессе!

Но своевременна ли будет сейчас стачка, когда вот-вот высадится на берег Одессы иностранный десант и может обрушиться на головы забастовщиков всей мощной вооруженной силой интервенции?

Он поднялся и сказал:

— Товарищи, объявить стачку завтра — безрассудно, так как мы еще не отмобилизовали свои собственные партийные резервы. Но если мы завтра отмобилизуем наши силы, проведя все те мероприятия партийного учета, которые мы только что одобрили, то послезавтра нам уже без стачки не обойтись. Я предлагаю создать на всех предприятиях города тройки для подготовки стачки. Через эти тройки наш центр сможет действовать безотказно, и мы поведем массы на борьбу за наши, а не за меньшевистские требования.

Столяров поддержал это предложение.

Председателем стачечного комитета был избран Ласточкин.

Заседание подпольного областкома закончилось только к вечеру, когда солнце уже село, а братья Столяровы совершали чуть ли не сороковой рейс из конца в конец Третьего Малого переулка. Они совсем охрипли. Катюша еле держалась на ногах, и пальцы ее на ладах баяна совсем онемели, а из веселой толпы, шатавшейся за ними, три четверти уже храпело под заборами.

3

«Гости» пяти Столяровых расходились с пьяным гамом и дикими выкриками — как и полагается гостям после доброй выпивки. И Слободка знала: завтра фонарь на углу Кладбищенской окажется разбитым, тумба для афиш на Втором Малом будет выкорчевана из земли, а будка с сельтерской напротив инфекционной больницы перевернута вверх дном. Такая уж была традиция у слободских гуляк.

Ласточкина — якобы «пьяного в дым» — вели под руки его «племянница» Галя и — тоже как будто пьяненький — матрос Шурка Понедилок. Было поздно, все пространство от Пересыпи до Молдаванки уже перешло во власть ночных «хозяев» — банды Мишки Япончика. И Шурка Понедилок держал в зубах финку, чтобы бандитам Япончика еще издали было

видно: идет как будто «свой», только руки у него заняты «бесчувственным» телом пьяного товарища.

В начале Херсонского спуска все трое, однако, «протрезвились», и Шурка засунул финку за пояс. Когда же миновали Новый базар, он и вовсе спрятал ее в карман.

— Ну, Понедилок,— сказал Ласточкин на углу Дворянской,— теперь топай один — так, кажется, говорится на языке одесской улицы? И ты, Галя, иди домой спать.

Шурка Понедилок усмехнулся и покраснел.

— А разве вы, товарищ Николай, иностранных языков не знаете?

— Не знаю,— вздохнул Ласточкин.— Некогда было научиться, да и сейчас некогда.— Он весело кивнул головой Гале.— С иностранными языками пускай за меня уж Галя возится. А вот языком одесской улицы надо овладеть и мне: ничего не поделаешь, придется нам заняться и улицей и бандитами Япончика.— Он пожал руку Гале и Шурке.— Иди, Понедилок, будь здоров. Думаю, что мы с тобой хорошо сработаемся, особенно в Военно-революционном комитете. Идите, товарищи, у меня еще одно дело есть. Как здесь по-уличному будет «дело»?

Понедилок опять усмехнулся:

— Дела тут, товарищ Николай, разные бывают: бывают «сухие», бывают «мокрые», а бывают и «со жмуриками»...

— Ну, «сухие», «мокрые» — это я понимаю. А что такое «со жмуриками»?

Шурка серьезно, как бы и в самом деле читая лекцию, объяснил:

— «Сухое» — без пролития крови, «мокрое» — с пролитием крови, а «со жмуриками» — это с покойниками, когда после «дела» трупы на земле остаются.

— Фу, страх какой!

— Бандитизм тут у нас в невероятных масштабах, товарищ Николай! Разве вы об этом не знали?

— Знаю.

— И это, товарищ Николай, опасность не меньшая, чем контра или мировая буржуазия. Потому что каждый вор или бандит — это в первую очередь отчаянный индивидуалист, зубр индивидуализма, так сказать; у них собственнический инстинкт гиперболизирован до мировых, так сказать, масштабов!

Шурка с особенным смаком козырял иностранными словами. Ему, как видно, не терпелось продемонстрировать перед Ласточкиным свою «ученость».

Но Ласточкин слушал его с интересом. Этот горячий матрос — сам дитя старой одесской улицы — был не просто симпатичный парень, но и умел видеть, думать и осмысливать увиденное и продуманное. Продукт уличной толпы и городской люмпенской среды, он — во флотском коллективе, в бурном

водовороте общественной жизни — поднялся уже высоко над своим окружением. Именно такие «выходцы из своего окружения» и должны были повести это окружение к коренной перестройке и включить его в сознательную социальную борьбу. Ценный это был, думалось Ласточкину, человеческий экземпляр.

Как бы в ответ на эти мысли Шурка продолжал развивать свою идею:

— Бандиты, каждый в отдельности, непримиримые враги какого бы то ни было коллективизма, потому-то их и тянет к анархистам. Но в беде — только, например, попадут они в тюрьму — они создают крепчайший, монолитный коллектив. В этом их козырь. И это надо учитывать, товарищ Николай. Потому что бандиты будут у нас здесь и справа и слева, куда ни повернись. Но я думаю себе так: тут-то мы их и подденем, надо только дать им перспективу, близкую их сердцу и понятную для их уровня развития. Надо дать им ориентир видимости, товарищ Николай, бросить луч света в это темное царство порока. Правильно ли я применяю диалектику, товарищ Николай?

«Диалектику» Шурка приберег под самый конец и ахнул ею с явным расчетом ошеломить Ласточкина.

Ласточкин и в самом деле был ошарашен.

Они стояли под уличным фонарем, и Ласточкин с интересом разглядывал этот «продукт одесской улицы, перетертый во флотском коллективе и в бурном водовороте общественной жизни». Шурка даже взопрел от собственной тирады и теперь вытирал пот со лба.

— Правильно! — сказал Ласточкин.— Дай-ка я тебя, Шурка, поцелую!

И они крепко обнялись под фонарем.

Затем Шурка двинулся по направлению к порту.

Он спешил, но на каждом перекрестке приостанавливался и нерешительно оглядывался. В порт, на корабль,— налево, или на Молдаванку — направо?

На Молдаванке, под самой Одессой-Товарной, на Хуторской, стояла мазанка в одну комнатушку с кухонькой — в садике из двух горьких черешен и одной шпанской вишни.

В мазанке на Молдаванке жила Шурки Понедилка «мама ро́дная». Отец его — корабельный кондуктор Понедилок — погиб еще в русско-японскую войну, под Цусимой. Мать, белошвейка, своими силами вывела Шурку в люди. И теперь, когда старуха потеряла зрение, вышивая дамские пенюары для «парижской» фирмы дамского белья «Либерман, сын и К^0» на Ришельевской, Шурка заботливо ухаживал за матерью. Надо было каждый день наколоть дров, принести воды, замешать отруби на пойло козе, то-другое сделать по хозяйству. Служба не давала Шурке возможности забегать домой дольше чем на

полчаса, но он и за полчаса со всем этим управлялся, целовал мать в голову, она его умоляла, чтоб «остерегался» и «не встревал куда не следует», крестила — и Шурка опять что есть духу бежал через весь город, чтоб поспеть до вечерних склянок, то есть переклички экипажа «Витязя» перед сном.

Но сегодня заседание областкома затянулось, и срок его отпускной уже кончался.

Забежать все-таки к матери или спешить на корабль? Только воды принести и дров наколоть, а уж коза как-нибудь обойдется сегодня без пойла.

Нет. Лучше пусть перебьется мамаша денек без воды и дров, чем завтра Шурка сядет на гауптвахту и оставит ее на три дня без присмотра.

И Шурка решительно зашагал к порту.

Ласточкин в это время на Садовой крикнул извозчика.

— На Ришельевскую, братец! Знаешь, там лавчонка турецких табаков, возле молочной «Неаполь»?

4

В табачной лавочке «Самойло Солодий и Самуил Сосис» было уже пусто в эту позднюю пору: еще полчаса — и наступало время, когда по городу можно было ходить только с пропусками гетманской «варты» или деникинской контрразведки.

Когда Ласточкин вошел, хозяин лавочки — Солодий или Сосис, а вернее — их третий компаньон, который вкладывал в торговое предприятие свой труд приказчика (в то время как Солодий и Сосис вкладывали только «оборотный капитал», проделывали махинации с контрабандистами и получали прибыль), а еще точнее — подпольщик, выполнявший функции приказчика,— как раз подсчитывал дневную выручку и перекидывался словцом с солдатом в армейской гимнастерке, стоявшим возле прилавка.

Солдат был Александр Столяров; он успел добраться сюда раньше Ласточкина, несмотря на то, что Ласточкин полдороги проехал на извозчике. Столяров шел напрямик, оврагами, мимо Дюкова сада.

— Однако вы быстро! — удивился Ласточкин.— Правда, я заговорился немного с Шуркой Понедилком. Дельный паренек, будет из него толк!

— Парень непутевый,— возразил Столяров,— но человека мы из него сделаем и толк будет. Я по дороге успел прицепиться к трамваю.

— А Григорий Иванович? Неужто не пришел?

— Григория Ивановича еще нет. И это странно, потому что он всегда бывает очень точен. А уже половина одиннадцатого...

В эту минуту перед лавочкой остановился шикарный извозчик на «дутиках». Ласточкин и Столяров занялись сигарами и папиросами, выбирая каждый товар на свой вкус. Приказчик, готовый к услугам, склонился над прилавком перед покупателями. Дверь отворилась, и вошел осанистый господин в шубе и бобровой шапке.

Ласточкин сразу же поинтересовался ценой на сигары «Трапезунд», Столяров попросил пачку крепкого трубочного «Дюбек анатолийский»: они и не узнали Котовского.

И только когда Григорий Иванович снял шапку и тоже потребовал гильз — «только с русским свинцом вместо турецкого табака», они все весело рассмеялись.

Все трое прошли за прилавок, протиснулись в узкую дверцу и очутились в задней комнате. Это был склад товара Самойла Солодия и Самуила Сосиса. Склад гранат-лимонок и револьверных патронов областкома был глубже — в погребе под полом, и попасть в него можно было, лишь подняв люк под ящиками с сигарами, сигаретами и табаком. Ящики с куревом громоздились в этой комнатке у всех стен.

Когда двери закрылись, Ласточкин сразу озабоченно заговорил:

— Вот что, Григорий Иванович. От имени комитета мы должны передать вам несколько важных поручений.

— А именно? — заинтересовался Котовский.

— А именно... надо узнать, большой ли десант собирается высадить здесь Антанта. Хотя бы приблизительно, в круглых цифрах. И уже совершенно точно и безотлагательно надо выяснить, какой национальности будут войска союзников, которые должны сюда прибыть: англичане, американцы или французы? А может быть, и все сразу? Понимаете, Григорий Иванович?

— Понимаю! — сказал Котовский.— Такие сведения лучше всего получать из первых рук.

— Что вы подразумеваете под «первыми руками»?

— Гм! Скажем, консул Энно с особыми полномочиями...

— Вы думаете, что можно проникнуть даже к консулу?

На этот вопрос Котовский не ответил. Он ответил на вопрос, который, очевидно, мысленно только что поставил себе сам:

— Думаю, что за один раз, может, и не выясню всего. Придется побеседовать с ним и так и этак... А еще какие дела?

Ласточкин сел, сели на ящики с табаком и Котовский со Столяровым.

— Хочу я еще, Григорий Иванович, открыть здесь, где-нибудь на Ришельевской, в самом центре города, портняжную мастерскую. Такое, знаете, фешенебельное ателье, модный салон для верхушки белоэмигрантского бомонда. Чтоб, знаете, могли заказывать себе отличное, по последней парижской моде, платье все эти фертики из добрармии, франты контрразведчики, да и офицеры будущей оккупационной армии. Доку-

менты же у меня, как вы знаете, на имя купца. Так что оформить приобретение мастерской и тому подобное можно будет без всяких недоразумений. А по профессии я, как вы тоже, может быть, слышали, портной, закройщик. Но вы, Григорий Иванович, в этой мастерской себе гардероба не сошьете,— вдруг улыбнулся Ласточкин,— потому что вас и в Одессе-то не будет...

— Как так? — удивился Котовский.— А где же я буду?

Ласточкин улыбнулся.

— Будете вы, конечно, в Одессе. Но раз вы переходите на разведывательную работу, мы распространим слух, и слух совершенно «верный», что Котовский, дескать, уехал из Одессы, перебрался куда-нибудь, ну, скажем, в Бессарабию, к себе на родину, или еще что-нибудь в этом духе...

— Ах, «дескать»! Понимаю, Иван Федорович! Завтра же меня здесь не будет.

— Даже и сегодня уже нет,— снова улыбнулся Ласточкин.— Кстати, чтоб вы знали: меня тоже нет. Очень прошу вас хорошенько запомнить: отныне я и для вас вовсе не Иван Федорович Смирнов, а только купец второй гильдии Ласточкин Николай.

— Понимаю, товарищ Николай. Будет выполнено. Какие еще поручения?

Они просидели долго, допоздна; компаньон-приказчик фирмы «Самойло Солодий и Самуил Сосис», торговавшей контрабандным турецким табаком, не успел уже до комендантского часа уйти домой и остался ночевать в своей лавочке. Он лег под дверью, у порога, с пистолетом в руке: надо было стеречь прибыли Самойла Солодия и Самуила Сосиса, вернее — охранять от опасности подпольный центр.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Под резиденцию консула Франции с особыми полномочиями был отведен Воронцовский дворец — в конце Николаевского бульвара, на горе, господствующей над территорией порта.

Мадам Энно организовала все именно так, как было решено. При кабинете консула устроено было три приемных: для представителей русской общественности, для представителей украинских кругов и третья — маленькая, у самого кабинета — для всех остальных.

Жилые апартаменты — изолированные половины с отдельными выходами для мосье и для мадам — расположены были позади анфилады официальных покоев, окнами во двор.

Телефоны мосье Энно приказал поставить только в кабинете, в комнате секретарей и в вестибюле, внизу. В комнате секретарей был установлен и телеграфный аппарат: консул намеревался вести переговоры по прямому проводу.

Обновляя телефон, первым позвонил адмирал Боллард.

Английский адмирал Боллард прибыл только накануне на английском крейсере «Бейвер» в сопровождении английского же крейсера «Скирмишер». Крейсеры бросили якоря на Большом рейде, на мотоботе были доставлены на берег штаб адмирала Болларда и взвод охраны из сухопутных шотландских стрелков. Мосье и мадам Энно на портовом катере выезжали навстречу адмиралу, его штабу и стрелкам.

Затем мосье и мадам Энно мило провели вечер в апартаментах адмирала в гостинице «Лондонской». Это был совсем интимный обед, без местной прислуги,— подавали к столу шотландские стрелки в клетчатых юбочках под управлением ресторатора Штени. За дверьми шотландские волынщики высвистывали на своих волынках вальсы и марши.

Адмирал был приятно поражен тем, что первое же место на русской земле, на которое ступила его английская нога, носило имя столицы Британского королевства. Адмирал только неделю назад по приказу военного министра Британии выехал из столицы Британии Лондона на Украину и прибыл прямехонько в одесскую гостиницу «Лондонская». Поднимая бокал, адмирал произнес:

— Пусть же это станет символом могущества Англии на землях России!

Телефонный звонок затрещал ровно в восемь утра. Адмирал, хотя вчера вечером и перепил по случаю счастливого прибытия, был, однако, пунктуален, как и надлежит истому англичанину.

— Халло, консул! — взял трубку адмирал.— В каком состоянии искровой телеграф на ваших линейных кораблях? Если он неисправен, моя станция на «Бейвере» к вашим услугам. Я думаю, что мы с вами сейчас отправим телеграммы в Яссы или, лучше, в Константинополь. Если хотите, можете телеграфировать и в Париж, премьеру Клемансо! Тысяча чертей! Согласно указаниям министра, я наделен тут всеми правами и лишен только одного: права медлить! Тут, говорят, стачки, митинги, демонстрации! Это мне не по душе! С этими большевистскими штуками надо покончить! Скоро начнется массовый десант, но уже сегодня, я думаю, мы должны получить разрешение спустить на берег хотя бы команды наших кораблей. Все-таки это несколько сот бравых вояк под двумя штандартами — Соединенного королевства и Французской республики! Черт побери, но я солдат — и умею действовать только по-солдатски! Да и министр сказал мне на прощанье: «Адмирал, я позаботился, чтоб патронов у вас было достаточно».

— Что случилось, адмирал? — спросил мосье Энно. «Не-

ужели произошел какой-нибудь эксцесс и эти чертовы большевики уже дают о себе знать?» — подумал он.

— Как — что случилось? Ничего не случилось. Что тут вообще происходит? Министр сказал мне: «Адмирал, поддерживайте всех, кто дерется или даже только хочет драться с большевиками». Ол райт! Ясно и принципиально! Но, черт побери, как же мне всех их поддерживать, если все они, не понюхав еще пороха в боях против большевиков, уже ссорятся между собой? Оказывается, тут существует какой-то «национальный вопрос»?! Тут, оказывается, не Россия, а какая-то Украина! Мне был дан самый точный маршрут: отправиться в Одессу на юге Российской империи. Я прибыл в Одессу, а она, оказывается, совсем в другой стране — на Украине!

Консул Энно снисходительно усмехнулся в трубку.

— Адмирал,— начал было он,— «национальный вопрос» здесь действительно существует, и суть взаимоотношений между Украиной и Россией...

Но адмирал, как и всякий военный в высоком звании, не слушал своего собеседника:

— Но тут вообще какая-то сплошная кутерьма! Русские существуют сами по себе, а украинцы сами по себе. И занимаются тем, что треплют друг друга. Вы слышали, что произошло этой ночью? Украинцы у себя в клубе запели свой национальный гимн, который, оказывается, у них тоже есть. Но в клуб, с пением «Боже, царя храни» ворвались русские офицеры и открыли пальбу. Затем украинские офицеры и русские офицеры стали кидать друг в друга бомбами. После этого прибыла для умиротворения местная гетманская «варта». Но тогда, следом за ней, прибыла и русская контрразведка. Вместо того чтобы навести порядок, «варта» и контрразведка тоже начали драться между собой. Произошло самое настоящее сражение!

— Каналии! — закричал мосье Энно.

Адмирал между тем продолжал греметь — даже мембрана в трубке звенела:

— Я, конечно, как только узнал, послал туда десяток моих шотландцев с автоматическими винтовками образца четырнадцатого года, и они, само собою разумеется, всыпали и тем и другим. Но — тысяча чертей и четыре ведьмы! — никакого национального вопроса тут быть не должно. Уинстон ничего мне об этом не говорил. Учтите, консул: я — солдат, и вся эта белиберда меня не касается. Все, что не может служить целью для пристрелки корабельной артиллерии, не входит в поле моего зрения. Все это штатская ерундистика и, очевидно, является полем деятельности дипломатии. А это уже ваши прерогативы! Но вы окажете мне большую услугу, если примете на себя решение всяких национальных и тому подобных вопросов, которые не входят в номенклатуру боевой диспозиции или не значатся в лоциях!

Консул Энно поспешил его заверить:

— Вы можете быть абсолютно спокойны, адмирал! Я здесь уже пятый день — и в курсе национального вопроса. Как раз сейчас я жду представителей обеих сторон — и русской и украинской, антибольшевистского, конечно, лагеря! Я тут быстро наведу порядок.

— В добрый час! — удовлетворенно отозвался адмирал Боллард.— Таким образом, вы имеете еще шесть часов на ликвидацию национального вопроса: телеграмму премьеру Ллойд-Джорджу я отправлю после ленча, в два.

Повидимому, адмирал употреблял натощак спиртное...

Консул положил трубку и призадумался.

Он действительно был «в курсе» национального вопроса на Украине. Семнадцатый год, до самой Октябрьской революции, он безвыездно прожил в Киеве, заканчивая свои торговые операции с «Юротатом». Мосье Энно наблюдал манифестации на Крещатике и Думской площади — и под красными знаменами, и под желто-блакитными стягами. Он собственными глазами видел лидера украинских националистов, длиннобородого профессора Грушевского, и знал, что Центральная рада издала универсал об отделении от России.

Было ему известно и то, что вооруженные части Центральной рады выступали против большевиков — и русских и украинских — во время Октябрьского восстания на Украине. Именно поэтому французский генерал Табуи и был вызван из Петрограда и назначен полномочным представителем правительства Франции при Центральной раде в Киеве. Ведь как раз в те дни делегация Центральной рады в Бресте выступала против большевистского требования мира и соглашалась продолжать войну на стороне Антанты. За это Центральная рада и получила двести миллионов франков займа. Задание генералу Табуи от премьера Клемансо было: поддерживать Центральную раду, поскольку она против большевиков и за войну, однако любыми средствами добиваться примирения на Украине всех антибольшевистских группировок — и украинских и русских,— а также объединить их со всеми остальными контрреволюционными группировками за пределами Украины — Корниловым, Калединым, Красновым. Нужно это было правительству Франции, да и всей Антанте для того, чтобы вернуть к участию в войне против Германии максимальное количество солдат бывшей русской армии и к тому же чтоб уничтожить слишком опасный для Западной Европы большевистский режим в России. Но правительству Франции нужно это было еще и потому, в частности, что политика правительства Франции ориентировалась на существование в Европе единой, неделимой, мощной, централизованной России — не большевистской, конечно, а антибольшевистской — в качестве союзника и в противовес мощной Германии, которая постоянно угрожала

Франции, добиваясь господствующего положения в Европе и мирового господства. К тому же, что греха таить, сильная централизованная Россия была необходима Франции и в противовес мощи ее союзника и в то же время соперника — Британской империи, которая также постоянно угрожала Франции и претендовала на господствующее положение в Европе и в мире. А политика Британской империи в отношении России была совершенно противоположна французской.

Французскому консулу была доподлинно известна позиция английского премьера Ллойд-Джорджа в отношении России. Напутствуя мосье Энно в его далекое путешествие с ответственнейшей миссией, французский премьер Клемансо особо подчеркнул расхождение политики Франции и политики Англии в этом вопросе и даже процитировал ему несколько слов из недавнего выступления Ллойд-Джорджа, в котором говорилось о необходимости обеспечить безопасность английского государства в Индии и реализовать английские интересы в Закавказье и Ближней Азии, и эти «жизненные интересы Великобритании» требовали ослабления России.

Потому-то английский военный министр мистер Уинстон Черчилль и строил сейчас свою политику помощи контрреволюционным силам бывшей Российской империи, исходя из своей, тоже недавно обнародованной, программы, где выдвигалась идея — содействовать возрождению российского государства, которое бы... «слагалось из несильных автономных государств, объединенных федеративно, ибо такое российское государство будет представлять меньшую угрозу...»

Консулу Франции было также известно, что совсем недавно — только две недели назад — военный кабинет Англии принял решение помочь генералу Деникину и его добровольческой армии на юге России и Украины оружием и военным снаряжением. Именно потому прибыл вчера на крейсере «Бейвер» английский адмирал Боллард. Но, оказывая помощь русской белой армии на юге Украины, помогая в то же время оружием, офицерскими кадрами и деньгами Колчаку в Сибири, английское правительство настаивало на том, чтоб были поддержаны оружием и деньгами и все другие белые формирования и контрреволюционные группировки на юге Украины и России и чтобы расходы на них взяли на себя остальные члены Антанты, Франция в первую очередь.

Потому-то и оказался здесь мосье Энно в роли консула при правительстве украинского гетмана.

Правительству украинского гетмана консул Франции уполномочен был содействовать всемерно.

Конечно, если б спросили лично у мосье Энно, он сказал бы, что и пану украинскому гетману тоже следовало бы дать по шапке! Ведь украинский гетман был немецким ставленником — ставленником государства, против которого Франция

воевала целых четыре года, и в этой войне даже самого мосье Энно едва не призвали в армию, чтобы он отдал свою жизнь где-нибудь под Маасом, Верденом или на Марне.

Но мосье Энно мог это сказать разве только мадам или в кругу самых близких друзей, а перед лицом всего человечества должен был осуществлять высокую политику правительства, направленную на поддержку украинского гетманата.

Ведь война против Германии уже окончилась, и окончилась победой Франции, значит отпала нужда в антинемецких союзниках.

Ведь пан гетман был против большевиков, значит заслуживал всяческой поддержки.

К тому же, как выяснилось совсем недавно, на том же совещании в Яссах, гетман вовсе и не был сепаратистом, а, наоборот, всей душой сочувствовал возрождению сильной централизованной капиталистической России, что как раз и отвечало интересам Франции в ее соперничестве с Англией.

И вот на тебе, нежданно-негаданно,— не успел мосье Энно прибыть сюда с полномочиями всемерно укреплять гетманский режим, как этот самый гетманский режим зашатался; бывшие деятели известной уже мосье Энно Центральной рады Винниченко и Петлюра вдруг устроили путч против пана гетмана!

Казалось бы, дело простое: раз консул Франции прибыл, чтоб поддерживать на Украине гетмана, а директория в Белой Церкви, эти самые Винниченко с Петлюрой, затеяла против гетмана восстание, то — какой может быть разговор? Разогнать директорию! Усмирить восстание!

Но, оказывается, директория тоже против большевиков, а ведь мосье Энно для того и прибыл, чтобы оказывать поддержку всем, кто против большевиков.

Вот тут-то консул Франции и начинал... чего-то не понимать.

Что генерала Деникина с его армией надо поддерживать, раз он против большевиков и за французскую политику сильной России, это консул Франции понимал.

Но кого же поддерживать — гетмана или директорию, если и гетман и директория против большевиков,— в этом консул Франции никак не мог разобраться, хотя и хвалился перед английским адмиралом Боллардом своей осведомленностью в национальном вопросе. Тем более что в национальный вопрос все это как будто бы и не укладывалось, так как и те и эти, и гетманцы и петлюровцы, были украинцы.

И посоветоваться консулу Франции, собственно говоря, было не с кем. Мадам Энно — самый надежный советчик — только отмахивалась: и те и те — хохлы, мужичье, всех их надо гнать в шею!.. А премьер Клемансо в ответ на телеграфный запрос своего консула — что же делать,— только развел руками. Так представил себе это мосье Энно, потому что в ответ

получена была телеграмма, в которой премьер запрашивал: а кто ж это такие — петлюровцы и что это за штука такая — директория? Когда консула снаряжали из Парижа на Украину с особыми полномочиями, директории еще и в помине не было. Премьер Клемансо и поручал теперь консулу — не откладывая в долгий ящик, изучить настоящий вопрос и незамедлительно представить свои соображения.

Таким образом, мосье Энно должен был вопрос изучить.

Он рассуждал так.

Петлюровцы, возглавляемые директорией,— заядлые сепаратисты. Следовательно, они действуют не в интересах Франции, политика которой ориентируется на единую и неделимую Россию. Таким образом, им как будто бы следует дать по шапке.

Гетманцы не против единой сильной России, то есть действуют в плане французской политики. Следовательно, им можно не давать отставку.

Но гетманский строй вот-вот может развалиться, и его место займет строй петлюровский — сепаратистский.

Поддерживать ли его? И чего тогда добьется консул Франции, прибывший на Украину с особыми полномочиями?

Усилит английские, антифранцузские позиции...

Пот оросил чело мосье Энно.

А может быть, как советует мадам, не поддерживать ни тех, ни других?

Но ведь кто-нибудь из двух — либо гетман, либо директория — должен же в конце концов одержать верх. Кто поручится мосье Энно, что победителем будет гетман, а не директория?

Никто.

Пот снова оросил чело мосье Энно. Он даже вынул платочек и утерся.

Может быть, поддержать и тех и других?

Но ведь тогда обе стороны, почувствовав себя сильнее, начнут еще пуще дубасить друг друга. Кто же в таком случае будет воевать против большевиков?

Эврика!

Мосье Энно, кажется, нашел выход. Каждой стороне можно сперва что-нибудь пообещать, а затем постепенно уговорить каждую сторону мирно договориться и поделиться. Скажем, так: половина Украины пусть будет во главе с гетманом, а половина — во главе с директорией. Разве не хватит места всем на такой огромной украинской земле? Вон какие широкие просторы.

Консул Франции взглянул на карту, висевшую как раз против стола на стене. Боже мой, Украина никак не меньше самой Франции!

Но дело в том, что на всю эту территорию претендовал еще и генерал Деникин с добрармией, выражая притязания русских антибольшевистских контрреволюционных кругов, и эти притязания полностью укладывались в русло французских устремлений к единой и сильной России...

Но дело в том, что на значительную часть украинской территории, от Карпат и до самого Черного моря, заявляли претензии еще и сепаратистские круги «Великопольщи», представленные здесь маршалом в французской шинели и забавном четырехугольном кепи. Маршал прочил Польшу в верные дочери Франции и жаждал для «Великопольщи» протектората Французской республики. И эти домогательства антибольшевистских белопольских кругов, как это было достоверно известно консулу Франции, горячо поддерживало все французское правительство во главе с самим премьером Клемансо.

Мосье Энно еще раз отер пот с лица и нажал кнопку звонка.

Хочешь не хочешь, а надо было браться за пристальное изучение вопроса, ведь премьер Клемансо ждал безотлагательных соображений...

Вошел секретарь и доложил, что внизу, в вестибюле, собралось множество посетителей, жаждущих аудиенции у мосье консула Франции.

— Кого вы сегодня примете, мосье консул? — спросил секретарь.

— Сегодня,— вздохнув сказал мосье Энно,— первый день, и сегодня я буду принимать всех, кто бы ни пришел, пусть проникнутся уважением к демократическим идеалам Франции! Кто там ожидает?

Секретарь перечислил. Явились представители города, представители всероссийских антибольшевистских организаций, представители украинской антибольшевистской общественности, а также генерал Бискупский по неотложному, как он уверял, делу.

Мосье Энно с содроганием вспомнил моржовые усы генерала и его отвратительную наклонность вечно что-нибудь клянчить и решительно отмахнулся:

— Этот может и подождать! В первую очередь мы примем депутацию от города. Надо оказать уважение городу, на территории которого расположилась наша резиденция. Ну, и русских представителей можно, поскольку они пришли вместе. Депутацию от города и российских представителей просите в приемную «А». Пускай подождут там, я выйду через пять минут.

Эти пять минут ожидания были необходимы для того, чтобы поддержать консульский престиж. Кроме того, они нужны были мосье Энно, чтобы заглянуть в жилые апартаменты и спросить у мадам совета — как вести себя с представителями города и российской общественности?

Мадам Энно как раз заканчивала украшать комнаты картинами и фарфором, наскоро свезенными из музеев Одессы.

На вопрос мосье Энно она ответила коротко и недвусмысленно:

— Ах, Эмиль! Ведь ты же дипломат! Сколько раз я напоминала тебе основной принцип дипломатии: действовать наперекор тому, что тебе подсказывают. Не давай никаких обещаний, но внимательно прислушивайся к тому, что обещают тебе. Вообще лучше молчи. А если уж придется говорить, то выражайся поучительно и загадочно. В этом секрет престижа государственного деятеля. Ах, и почему это консул ты, а я только твоя жена? Куда бы лучше было наоборот. Уж я бы им всем показала, что такое настоящая дипломатия.

2

Но мадам Энно напрасно так пренебрежительно относилась к дипломатическим талантам своего мужа. Через пять минут мосье Энно с завидным дипломатическим достоинством появился в приемной «А» перед представителями города и российской общественности. Усики его торчали кверху, как две мягкие кисточки для акварели, галстук был вывязан с непревзойденным искусством, на визитке — ни пылинки, а складка на брюках — как шнур отвеса у каменщика. Лицо сохраняло выражение слегка меланхолическое, несколько томное, приветливое, однако отмеченное высокой озабоченностью.

Еще с порога, где мосье Энно на мгновение величественно задержался, он заметил, что среди присутствующих мелькают и знакомые физиономии — из тех, кто встречал его на пристани и приветствовал в ресторане гостиницы «Лондонской». Избранный уже с соблюдением всех правил новый председатель думы, «мэр» города Брайкевич, юлой вертелся впереди всех, стараясь во что бы то ни стало обратить на себя внимание консула.

Консул милостиво кивнул «мэру» города.

Два десятка солидных штатских, полтора десятка сановитых чиновных особ да с полдесятка генералов почтительно встали со своих мест, как только порог комнаты переступил высокий консул Франции, недавний прыткий коммивояжер французской фирмы.

— Прошу садиться, господа! — любезно пригласил мосье Энно.— Франция приветствует вас!

Мосье Энно с удовольствием оглядел приемную.

Мадам Энно действительно сумела проявить здесь свои незаурядные таланты и свой исключительный вкус.

Просторная комната с дорогими итальянскими витражами должна была, безусловно, импонировать каждому русскому

«патриоту», независимо от его партийной принадлежности. Кроме талантов и вкуса, мадам Энно обладала еще тонким политическим тактом. На одной боковой стене приемной в тяжелых бронзовых рамах один за другим висели портреты русских царей дома Романовых. На другой боковой стене — в рамах полегче, но тоже бронзированного багета, выстроились портреты выдающихся деятелей общественной жизни времен февральской революции. Возглавляли шеренгу князь Львов и помещик Родзянко, за ними шел Керенский, а последним висел адмирал Колчак. Консул Франции демонстрировал свое свободолюбие, свою терпимость и высокие принципы невмешательства в какие бы то ни было русские дела внутреннего порядка, само собой разумеется не большевистского.

Именно с этого и начал консул Франции свою речь.

— Господа,— сказал консул, сдерживая надлежащее дипломатическое волнение.— Мы прибываем сюда во имя либертэ, эгалитэ, фратернитэ! [1] Это начертано на знаменах Франции со времен революции...

Мосье Энно на секунду замялся: он забыл, да собственно и не знал никогда, после какой же революции появился на знамени французской республики этот звучный, свободолюбивый лозунг.

И мосье Энно искренне пожалел, что не последовал совету мадам: лучше уж было молчать!.. Но и прервать теперь свою речь было невозможно: дипломатично ли и не бестактно ли закончить свое приветствие сим одиозным словом — «революция»?

На помощь консулу поспешил новоиспеченный «мэр» города Брайкевич. Будучи человеком благородного происхождения и деликатного воспитания, он сразу почувствовал, что пауза затягивается и если ее тотчас же не прервать, может получиться конфуз, а, понимая всю свою ответственность за события, как «мэр» города, он не имел права допустить это. Поэтому он поспешно вскочил со своего кресла и патетически воскликнул:

— Да здравствует французская революция и знамя Франции!

Мосье Энно, дав себе слово впредь свято придерживаться совета мадам — по возможности молчать, а если высказываться, то лишь величественно и загадочно,— сухо поинтересовался, по какому вопросу прибыла к нему депутация. Еще суше консул попросил высказаться от имени депутации какое-нибудь одно лицо, так как на всю аудиенцию он мог уделить не больше десяти минут: важнейшие государственные дела, непосредственно связанные с проблемами освобождения России и Украины из-под «большевистского ига», ожидали его сегодня.

---

[1] Свободы, равенства и братства *(франц.)*.

Слово от депутации взял все тот же Брайкевич, «мэр» города.

От имени всех присутствующих, от имени города Одессы, да и всей России, «мэр» Брайкевич высказал горячие приветствия и наилучшие пожелания консулу и государству, которое он представлял, и поставил перед консулом всего два вопроса: что будет с Одессой и что будет с Россией?

Заканчивая свое короткое, но витиевато построенное обращение, он умудрился еще — в придаточных, вводных и подчиненных предложениях — выразить свою и всей антибольшевистской российской общественности надежду и уверенность, что в славном российском городе Одессе и на всей Украине, которая, безусловно, является только Малороссией, руководство Антанты при решении всех проблем предоставит приоритет именно русским политикам, русским деятелям, русскому капиталу и всем прочим сторонам русского национального бытия.

Под одобрительный гул депутации председатель городской думы инженер Брайкевич сел.

Консул Франции выдержал подобающую для такого случая и не выходящую за рамки приличия дипломатическую паузу. Пауза была ему нужна не только из дипломатических соображений, но и для того, чтобы еще раз припомнить наставления мадам — говорить всем наперекор, а еще — чтобы собраться с собственными мыслями. На вопрос о том, что же будет с Россией, мосье Энно, понятное дело, ответить не мог, но своим вопросом «мэр» города, так сказать, оседлал для мосье Энно его собственного конька. Мосье Энно получал возможность блеснуть своей эрудицией, приобретенной за время деятельности французским торговым представителем в России, и к тому же использовать все специальные инструкции, которыми снабдили его, наделяя высокой миссией дипломатического представителя с особыми полномочиями.

Мосье Энно с надлежащим достоинством и некоторой загадочностью изрек:

— Господа! И вы, мосье мэр! Прежде всего я должен вам сказать, что вы забыли, а вы, мосье мэр, очевидно еще не вполне усвоили прекрасную историю вашего очаровательного города!

Мосье Энно выдержал вторую дипломатическую паузу, и слышно было, как все в комнате затаили дыхание.

— Напомню вам. Одессу основал испанец французской службы де Рибас. Построил Одессу и был ее первым градоправителем дюк Ришелье — француз. Наиболее выдающимся ее градостроителем был тоже француз — Ланжерон.— Мосье Энно эффектно простер руку к широкому окну, выходившему на Николаевский бульвар.— Вот он, памятник славному дюку, сооруженный благодарными одесситами, вы можете лицезреть его и сегодня. Равно как и красивейшие улицы нынешней

Одессы до сих пор именуются Ришельевской, Дерибасовской и Ланжероновской. Живописнейшими уголками Одессы и теперь остаются Дюковский сад и Французский бульвар. Вспомните также, что стараниями именно французских негоциантов Одесса была в свое время объявлена порто-франко, что, как вам известно, означает статус вольного приморского города с беспошлинным ввозом товаров. Это было в минувшем столетии, господа! А как обстоит дело в нашем веке — веке расцвета торговли и промышленности и преуспеяния основной движущей силы цивилизации — индустрии? Пожалуйста, господа: лучшие и самые мощные предприятия города Одессы плодотворно развиваются именно под эгидой животворного французского капитала!

Вот тут-то мосье Энно вскочил на своего конька. Легко, как бы играя, он начал перечислять индустриальные предприятия, торговые компании и банкирские дома Одессы, принадлежащие французскому капиталу: «Джутовая фабрика французского анонимного товарищества» с годовым оборотом четыре миллиона рублей, Химико-фармацевтическое товарищество «Леман и К°» с оборотным капиталом четыре с половиной миллиона, «Анонимное товарищество химических продуктов» с оборотом три миллиона, «Анонимное товарищество пробковой промышленности» — два с половиной миллиона, «Анонимное товарищество виноделия», «Анонимное электрическое товарищество», «Анонимная франко-бельгийская компания одесского трамвая»... И еще ряд других. Всего сорок иностранных, контролируемых французским капиталом, торгово-промышленных предприятий насчитал мосье Энно и закончил упоминанием о двух крупнейших в Одессе банках: «Лионский кредит» — с чисто французским капиталом и «Среднеазиатский банк» — смешанный англо-французский.

— Таким образом,— торжественно закончил мосье Энно,— вы видите, господа, что жизнь вашего города всецело зависит от французского капитала!.. К этому могу только прибавить,— скромно потупился мосье Энно,— что муниципальная задолженность французским банкам по городу Одессе составляет на сегодня ровно семьдесят три миллиона золотых франков, как один сантим. Эта сумма превышает пятьдесят процентов стоимости всего недвижимого имущества одесского муниципалитета... Вуаля!

Мосье Энно закончил и умолк.

Молчали и все члены депутации, ошеломленные и подавленные.

За окном, где-то за обрывом, над которым возвышался Воронцовский дворец, за территорией порта с пятью огромными гаванями и пятью мощными молами, в море, глухо прогудел гудок парохода. Это был пароход Ропита — товарищества российского торгового пароходства. Но ни у кого из присутствую-

щих теперь уже не было ни малейшего сомнения, что этот гудок, как и сам пароход, тоже принадлежит французскому капиталу.

Наконец, гнетущее молчание отважился нарушить какой-то штатский генерал с орденом святого Владимира на шее, действительный статский советник, безусловно не одесского, а петербургского происхождения, то есть представитель «всероссийской общественности».

Сдерживая дрожь в голосе, но пытаясь сохранить достоинство, он тихо произнес:

— Вы, очевидно, правы, мосье консул: роль иностранного капитала в экономике Российской империи известна каждому из нас, так что вполне возможно, что в жизни Одессы вес французского капитала особенно чувствителен. Однако, мосье консул! — дрожь в голосе действительного статского советника все-таки прорвалась.— Одесса — это не только Одесса-город или Одесса-порт, это один из крупнейших портов всей России. Судьба Одессы может быть решена лишь совокупно с решением судеб всего Российского государства. И это и был второй вопрос, который от имени нашей депутации поставил уважаемый глава города Одессы.

— Вполне резонно! — с готовностью откликнулся мосье Энно.— И в связи с этим разрешу себе напомнить вам, что сумма долгов Российской империи Франции составляет...— он на мгновение запнулся и затем сказал, не заглядывая ни в какие шпаргалки, по памяти, но действительно совершенно точно,— составляет четырнадцать миллиардов семьсот двенадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот сорок девять золотых франков.

Генерал сел.

В комнате — в приемной «А», для «русской общественности» — царила гробовая тишина.

Мосье Энно минутку помолчал, затем сказал ободряюще:

— Огромные природные богатства русской и украинской земли, упорный труд русских и украинских производителей способны в кратчайший срок создать ценности даже на эту грандиозную сумму и... рассчитаться с долгами. Но и вы, господа, и мы отлично знаем, что от большевизированной России нельзя получить ни одного сантима! Большевистская Россия, которая называет себя теперь РСФСР, одним из первых своих декретов, за подписью самого Ленина, отказалась признать долги царского правительства иностранному капиталу, при этом еще оскорбительно назвав иностранные государства империалистическими и грабительскими. Что означает слово «империалистический», мне неизвестно, но что такое «грабительский» — знает каждый. Это надо понимать так, что большевистская Россия и впредь отказывается от капитализма — навсегда и не собирается пускать к себе иностранный капитал. Потому что никто,

конечно, не станет пускать к себе в дом «грабителей»! Итак, уплатить долги может только Россия небольшевистская, Россия, в которой будет восстановлен антибольшевистский, капиталистический порядок и власть потенциальных сил буржуазии. Уничтожить большевизм в России — и в наших и в ваших интересах. В наших общих интересах — восстановить в России власть твердой руки. К этому я и призываю вас, господа. Передайте это, прошу вас, вашим семьям, вашим друзьям и всей российской общественности.

Мосье Энно поклонился.

— Консул Франции всегда к вашим услугам, господа...

Бесшумно, тихо, чуть ли не на цыпочках, депутация толпой двинулась прочь. Не слышно было говора, даже перешептывания...

Мосье Энно вернулся в свой кабинет и вызвал секретаря.

— Просите в приемную «Б» представителей украинской общественности.

Он уже вошел во вкус. И вообще: рубить — так рубить сплеча!

— А как быть, мосье, с генералом Бискупским? Он упорно добивается внеочередного приема и чуть не плачет, мосье!

Этот докучливый и плаксивый генерал уже осточертел консулу. Он сказал с раздражением:

— Генерал Бискупский представляет украинскую власть, поэтому может войти вместе со всеми украинцами.

Секретарь вышел, чтобы выполнить приказание. В это время снова зазвонил телефон. Как ни странно, но это опять был адмирал Боллард.

— Халло, консул! — раздалось в трубке; по флотской привычке Боллард орал так, как будто ему надо было перекричать вой урагана и грохот штормовых волн.— Вы меня слышите, консул? Из ставки добрармии, от генерала Деникина из Екатеринодара, я получил только что телеграмму. Генерал Деникин просит всячески содействовать какому-то там генералу Гришину-Алмазову, его полномочному представителю здесь у нас. И я теперь вспомнил: министр еще в Лондоне говорил мне, что как только тут высадится наш десант, надо назначить генерал-губернатора Одессы из местных кругов. Министр сказал тогда, что лучше всего было бы подобрать кандидата на этот пост именно среди генералов белой добрармии. У старика Уинса сердце больше всего лежит к русским белогвардейцам. Он послал им сто тысяч шинелей и даже называет эту армию «моя армия». Так не пригласить ли нам с вами сегодня генерала Гришина-Алмазова на ленч? Посмотрим, что он из себя представляет. Может быть, он годится и в генерал-губернаторы? А, консул? Вы меня слышите? Я уже пригласил генерала Гришина-Алмазова к двум часам...

Мосье Энно поморщился. Английский адмирал Боллард,

кажется, обскакал мосье Энно, несмотря на всю его прыть, его французский темперамент и дипломатическую изощренность. Похоже было, что адмирал Боллард собирался хозяйничать на Украине, хотя он только представитель английского командования, а отнюдь не дипломат с особыми полномочиями. С особыми полномочиями от Антанты здесь только консул Франции, мосье Энно. И только от него здесь все должно зависеть.

Итак, с генералом Гришиным-Алмазовым надо было решать немедленно, пока эти решения не приняты за спиной мосье Энно. Но как именно?

Почему бы это Англии, интересы которой требуют раздробления России, проявлять такое настойчивое внимание к добрармии, стоящей на страже единой и неделимой России, что соответствует интересам как раз не Англии, а Франции?

Быть может, английские дипломаты действуют по тем же принципам, какие положены мадам Энно в основу французской дипломатии,— делать все наоборот?

Ну, конечно же, так! Проницательность дипломата в одно мгновение раскрыла перед мосье Энно все карты.

Англия поддерживает здесь, на Украине, где должна была бы верховодить украинская контрреволюция, добрармию именно потому, что она действует в интересах русской контрреволюции, которую должна была бы поддерживать в своих интересах Франция! Ясно: Англия рассчитывает, что Франция — в противовес английской политике — начнет поддерживать украинскую контрреволюцию, укрепление которой как раз в интересах Англии. Таким образом, ободренные английской и французской поддержкой, украинские и русские контрреволюционные силы начнут между собой еще больше ссориться,— что как раз в интересах именно Англии, а не Франции, которой было бы выгодно их между собой примирить.

У мосье Энно даже в глазах потемнело от напряжения, пока он додумал до конца и все-таки распутал эту запутанную дипломатическую комбинацию. Что и говорить, не легко быть дипломатом!

Мосье Энно с облегчением вздохнул. Он-таки обскачет хитрую английскую политику! И действовать будет именно по гениальному совету мадам: наперекор! Только он перехитрит этих болванов англичан: он будет действовать наперекор не той комбинации, которую ему ловко хотят подсунуть, а наперекор той комбинации, которую от него хотят ловко скрыть!

Потому что мосье Энно истинный дипломат!

И мосье Энно нажал кнопку звонка. Адмиралу в трубку он ответил:

— Мерси, адмирал. Охотно разделю с вами и генералом Гришиным-Алмазовым ленч в два часа.

Положив трубку, он сказал появившемуся на звонок секретарю:

— Позвоните генералу Гришину-Алмазову и попросите его явиться ко мне немедленно по неотложному делу!

У мосье Энно не лежало сердце к красавчику генералу. Что-то слишком уж заглядывалась на него мадам Энно, а за ее нравственность мосье Энно поручиться не мог. Но долг — прежде всего! И консул Франции обязан был немедленно обезвредить коварную английскую политику и уберечь генерала Гришина-Алмазова от пагубного английского влияния.

— Депутация украинской общественности и генерал Бискупский уже пять минут дожидаются в приемной «Б», мосье! — доложил секретарь.

3

Консул Франции вышел в приемную «Б».

Устраивая и украшая приемную «Б», мадам Энно превзошла самое себя.

В украинской приемной на стенах не было ни одного портрета. Этим политика Франции давала понять украинской общественности, что места вакантны и перед претендентами на руководство украинской жизнью раскрываются широкие перспективы. Зато убранство комнаты подчеркивало приверженность политиков Франции к украинскому национальному укладу. Пол сплошь был устлан украинскими коврами, ковры висели и на стенах. Окна, вместо портьер, обрамляли роскошные украинские рушники, столы покрыты были клетчатыми украинскими плахтами, чехлы на креслах густо расшиты украинским орнаментом. Украинские гончарные изделия — пестрые опошнянские и зеленые межигорские «куманцы», «медведики», миски — были расставлены на всех столах, тумбочках и горках вдоль стен. Копия репинских «Запорожцев» висела в простенке между окнами, над креслом у стола консула.

Когда мосье Энно вошел, довольно большая толпа, горячо разговаривавшая, сразу притихла, а затем разразилась громкими приветствиями. Мосье Энно хорошо понимал по-русски, но украинского языка не знал совсем и не очень-то разбирался в значении возгласов «слава», «хай живе», «наши головы вам, пане консуле», но, конечно, догадался, что выражают они уважение и восторг.

Поэтому мосье Энно приветливо и дружелюбно закивал головой.

Однако точно соблюсти этикет, намеченный заранее, консулу на этот раз не удалось. Генерал Бискупский сразу же кинулся прямо к нему. Физиономия генерала была не только плаксивой и умоляющей, но и испуганной.

— Ваша светлость! Ваше высокопревосходительство! — бормотал генерал.— Прошу прощения, но... но...

— Что случилось, генерал? — недовольно поморщился кон-

сул.— Садитесь, пожалуйста, и примите участие в нашей дружеской беседе...

— Ваша светлость! — в ужасе зашептал генерал, озираясь, не услышит ли его кто-нибудь.— Ваше высокопревосходительство! Его ясновельможность пан гетман всея Украины ждет у аппарата!..

— Что? — не сразу сообразил мосье Энно.— У какого аппарата? Кто ждет? Кого ждет гетман?

Событие было и вправду исключительной важности. Получив телеграмму Энно, адресованную директории, и узнав, таким образом, о прибытии в Одессу консула Франции с особыми полномочиями от Антанты, пан гетман всея Украины пожелал немедленно же связаться с консулом лично. Пан гетман всея Украины там, в Киеве, лично прибыл к прямому проводу с Одессой и ждал уже полчаса, в то время как генерал Бискупский тщетно пытался пробиться к мосье Энно через его секретаря.

— Ваше превосходительство! — лепетал, заикаясь с перепугу, генерал Бискупский.— Выяснив, что в вашей резиденции установлен телеграфный аппарат, я распорядился немедленно переключить на него прямой провод Киев — Одесса.

— Мерси, генерал!

— Рад стараться, ваше превосходительство!

— Простите, господа! Одну минуточку!..

Мосье Энно покинул представителей «украинской общественности» и поспешил в комнату секретарей. Мосье Энно был весьма доволен: ведь именно к украинскому гетману направило его с особыми полномочиями руководство Антанты. И еще больше был мосье Энно польщен: его, бывшего коммивояжера, ждет у аппарата сам украинский монарх!

Однако на полдороге мосье Энно умерил шаг, потом даже остановился и закурил сигаретку. Генерал Бискупский затанцевал вокруг него, слезливо постанывая.

Но мосье Энно это не трогало. Мосье Энно должен был обдумать свой первый разговор с гетманом. Да и вообще — зачем ему спешить? Гетман ждет представителя Франции уже четыре месяца у себя в столице, ждет с утра у аппарата. Пускай подождет еще немножко. Консул Франции должен был поддерживать престиж!

Разговор между гетманом Украины и консулом Франции начался с обоюдных приветствий.

— От имени украинской державы и от своего имени приветствую представителя великой Франции на украинской земле! — поползла лента с приветствием гетмана.

Фраза кончилась, и теперь была очередь мосье Энно приветствовать.

— Мосье...— хотел было уже начать мосье Энно, но вдруг спохватился: ведь он же будет говорить с монархом! — Пст!

Генерал! — поманил к себе пальцем мосье Энно генерала Бискупского.— Как обращаются к гетману в разговоре?

— Обращаются: ваша ясновельможность...

Мосье Энно поискал в своей памяти соответствующее выражение. Но лексикон мосье Энно и вообще был небогат, а для бесед с монархами и подавно. Он не мог найти подходящего обращения во французском языке. Вдруг его осенило: ведь к Наполеону Бонапарту дипломаты других стран обращались — «сир».

— Сир! — продиктовал мосье Энно телеграфисту.— Франция и я приветствуем вас! Примите мои комплименты по поводу вашей великолепной борьбы против большевистской анархии и узурпаторов из Белой Церкви. Alea jacta est! [1] Мы спешим вам на помощь. Большевики перерезали коммуникации, и я приступил к выполнению моей высокой миссии здесь, в Одессе. Надеюсь в ближайшее время беседовать с вами лично по специальному поручению премьера Клемансо.

После этого аппарат снова перешел на прием.

На этот раз гетман Скоропадский говорил долго — телеграфист намотал метров двадцать ленты.

Гетман говорил о том, что положение в украинском государстве следует считать весьма напряженным. Он констатировал, что повстанцы, разоружая или блокируя немецкие гарнизоны, сейчас фактически контролируют всю Украину. Он жаловался, что сепаратисты-петлюровцы из Белой Церкви коварно хотят воспользоваться революционным настроением масс и на плечах вооруженных повстанческих отрядов при помощи хитрости прорваться в столицу и захватить в свои руки власть. И гетман настойчиво допытывался, может ли он рассчитывать на реальную и неотложную помощь со стороны Антанты и, в частности, великой Франции? Гетман не валял дурака и говорил прямо, что согласен на все, что уже готовит манифест, которым собирается ликвидировать самостоятельность украинского государства и объявить только автономию Украины в составе единой, неделимой России во главе с русским монархом, что целиком отвечает известным ему интересам Франции. Он сообщил, что уже договорился с адмиралом Колчаком, верховным правителем России, и вошел в полный контакт с генералом Деникиным, командующим русской белой армией на Украине. Гетману Украины необходимо было безотлагательно выяснить отношение ко всем этим проблемам руководства Антанты. Он просил принять во внимание и то, что обязуется из казны украинского государства уплатить Франции и другим странам Антанты ту часть царских долгов, которая приходится на Украину сообразно численности ее населения. Он просил не забывать и о том, что отныне он отказывается от своей прогер-

---

[1] Жребий брошен! *(лат.)*

манской ориентации, ориентируется теперь только на союз стран, победивших Германию, то есть на Антанту и Соединенные Штаты Америки, однако вынужден держаться пока что только силой немецких частей, которые еще не оставили территорию Украины. Он настоятельно просил не расценивать это как его симпатию к Германии, а понимать только как следствие безвыходности его положения. Словом, единственное, что по-настоящему интересовало сейчас гетмана, это — когда можно ждать наступления армий Антанты с юга Украины на Киев?

Консул Энно отвечал:

— Сир! Мой аппарат стоит у окна, и из окна видна бухта и ширь открытого моря. На горизонте на рейде стоят...

Мосье Энно бросил взгляд в окно и сосчитал. На рейде стояло четыре корабля: два английских, прибывших с адмиралом Боллардом, и два французских — его яхта и конвойный минный тральщик. Четыре дыма поднимались к небу с Большого рейда. Мосье Энно, торговый специалист, был весьма силен в арифметике, однако допустил ошибку, считая.

— ...стоят восемь дымов, сир! Это бросили якоря в ожидании начала десантных операций передовые суда объединенной эскадры стран Антанты. Завтра их будет шестнадцать. Послезавтра — тридцать два. Еще через день — шестьдесят четыре. Десант начнется, как только количество судов будет доведено до полусотни, чтобы гарантировать безопасность десантных операций и встретить мощным огнем судовой артиллерии любую попытку сопротивления со стороны местных большевиков. Я могу вас заверить, сир, что не позднее чем через два-три дня храбрые французские пуалю и веселые английские джонни дружно двинутся навстречу вашим отважным гайдамакам!

— Сердюкам! Гайдамаками именуют себя казаки директории, мосье...

— Пардон, сердюкам!

— Жду, мосье! Приветствую вас!

— Мои пожелания, сир!

Разговор окончен. Консул Энно минутку постоял задумавшись. Он был взволнован выдающимися историческими событиями, которые развернулись вокруг, и еще больше потрясен тем, что вершил эти исторические события именно он, бывший коммивояжер, а ныне консул с особыми полномочиями.

Генерал Бискупский, однако, не сходил с места. Ему не терпелось узнать содержание беседы двух великих людей, в руках которых была судьба его отечества, и прежде всего его собственная судьба — судьба старого генерала на пенсии, призванного к выполнению своих обязанностей на старости лет, в пору физической и душевной немощи.

Но мосье Энно с высоты своего величия не замечал несчастного генерала. Он приказал секретарю:

— Депешу в Яссы, Сент-Олеру. Настоятельно предлагаю

запретить немецким гарнизонам оставлять территорию Украины. Немецкие войска должны подавлять восстания и сдерживать наступление большевистских армий, пока не подойдут им на смену войска Антанты. В противном случае войскам Антанты придется заново завоевывать плацдарм. Прошу безотлагательных санкций.

Забыв генерала Бискупского в комнате секретарей, Энно вернулся в приемную «Б», где его ожидали представители «украинской общественности».

Но, к его удивлению, в зале, вместо порядочной толпы, которую оставил мосье Энно, сейчас сидело только два человека, мрачно и недружелюбно поглядывавших друг на друга.

— А где же весь состав депутации? — удивился мосье Энно.

Оказывается, депутация от «украинской общественности» состояла наполовину из представителей гетманской ориентации, наполовину из представителей с ориентацией на директорию. Пока консул отсутствовал, обе половины депутации перессорились между собой. Гетманская половина заявила, что не желает быть в составе одной депутации с головорезами петлюровцами, и ушла. Тогда половина ориентирующихся на директорию еще переполовинилась, разделившись на непримиримых, которые были рады, что гетманцы ушли, и умеренных, которые призывали к объединению всех национальных сил. В результате непримиримые петлюровцы тоже ушли. А за ними побежали и умеренные, чтобы уговорить и вернуть во имя общенациональных интересов или непримиримых петлюровцев, или хотя бы гетманцев.

— Генерал! — позвал тогда мосье Энно генерала Бискупского.— Видели ли вы что-нибудь подобное? Как же теперь быть?

Генерал Бискупский чуть не заплакал и побежал догонять первую половину и обе половинки второй половины украинской депутации.

Мосье Энно тем временем поинтересовался у двух оставшихся представителей, не присоединившихся ни к первой половине, ни к одной из двух других четвертей:

— А вы, господа, почему не ушли?

— Я не ушел,— высокомерно ответил первый, здоровенный мужчина с лицом римского патриция,— потому, что не имею с этой депутацией ничего общего.

— А вы, мосье?

— А я потому, что мои интересы близки обоим течениям этой депутации.

— Очень интересно, господа. С кем имею честь?

Гражданин, который ни с кем не имел ничего общего, и гражданин, интересы которого были одинаково близки и гетманцам и петлюровцам, отрекомендовались. Это были харь-

ковский земельный магнат Котов-Кононенко и киевский земельный магнат Григоренко.

Мосье Энно милостиво подал каждому руку.

— Очень рад, господа, приветствовать в вашем лице столь чтимые мною высшие круги украинской общественности. Перед совещанием в Яссах я имел честь лично познакомиться с представителями украинской земельной аристократии — помещиком Галаганом и сахарозаводчиком Терещенко. У обоих этих мосье, кроме тех огромных поместий, которые национализировали здесь у них большевики, на счетах иностранных банков лежат еще десятки миллионов. Очень, очень милые мосье!.. Вы, господа, очевидно, хотите мне что-то сообщить?

Первым заговорил мужчина с лицом римского патриция, харьковский магнат Котов-Кононенко, что вызвало недовольное ворчание его коллеги, киевского магната Григоренко, человека хотя и не слишком толстого, однако с заметным брюшком.

Французский прононс магната Котова-Кононенко был совершенно безукоризнен.

— Мосье! В Харькове и Харьковской губернии я на протяжении последних лет имел честь занимать пост председателя «Союза русского народа»...

— О! — с уважением склонил голову мосье Энно.— Я слушаю вас.

— К тому же мой род — старинный казацкий род, занесенный в реестры конца семнадцатого века. Прадед мой, слобожанский полковник Кононенко, был сводным братом правнука знаменитого запорожского писаря Кота, женатого на племяннице гетмана Дорошенко.

— О!..

Мосье Энно был ошеломлен такой родословной нового знакомого, но это еще раз напомнило ему собственное его плебейское происхождение, и потому он не ощутил особой симпатии к собеседнику.

Мосье Котов-Кононенко — потомок исторического полковника и родич еще более исторического гетмана — тем временем продолжал:

— И потому, мосье, я надеюсь, у вас не вызовет никакого удивления тот факт, что, с превращением Малороссии в Украину в тысяча девятьсот семнадцатом году, я же был избран председателем слобожанского отдела украинского союза хлеборобов.

Однако, пока мосье Энно прикидывал, удивляться ему или не удивляться, паузой воспользовался мосье Григоренко и ввернул словцо в тоне нескрываемой неприязни к мосье Котову-Кононенко.

— Но к чему вы это ведете, мой пане? — ехидно полюбопытствовал он.— Зачем вы пускаете добродию французскому консулу в глаза пыль вашего трухлявого родословного дерева?

Вы, верно, думаете, что пришли на базар покупать груши-дули?

— Пане Григоренко! — завопил мосье Котов-Кононенко.— Не перебивайте, пожалуйста! Пускай пан консул решает сам; моя родословная должна заинтересовать пана консула, представляющего интересы Франции и всей Антанты.

— Однако, пане Кононенко,— разъярился и Григоренко,— ваша вторая фамилия, Котов, свидетельствует как раз о вашем происхождении из рязанских лесов, которые не имеют никакого отношения к нашей неньке Украине, поскольку Украина существует для украинцев!

Мосье Энно примирительно поднял руки.

— О, мосье, прошу вас! Я с большим удовольствием выслушаю все, что вы оба мне скажете: такова миссия дипломатического представителя. Пожалуйста, продолжайте.

— Я буду краток, мосье.— Котов-Кононенко с лютой ненавистью взглянул на Григоренко.— Дело международной важности, мосье! Гетман Скоропадский, поставленный, как вам известно, немцами, вот-вот выпустит из рук булаву. Да если бы ему и удалось удержать булаву в своих руках, я позволю себе не поверить, что победоносные страны Антанты, раздавившие Германию, пойдут на то, чтобы на украинском престоле плясала немецкая марионетка. Гетман Скоропадский так или иначе, а с украинского престола должен быть низвергнут, мосье!

Мосье Котов-Кононенко даже ногой притопнул. Он был крайне возмущен наглостью гетмана Скоропадского.

— Что же вы предлагаете? — поинтересовался мосье Энно.

Бросив уничтожающий взгляд на ехидно усмехающегося Григоренко, Котов-Кононенко провозгласил, торжественно положив перед собой на стол обе руки:

— Я предлагаю государствам Антанты свою кандидатуру на престол гетмана всея Украины — под высокой рукой Французской демократической республики. Вот!

— А! — мосье Энно понимающе кивнул головой.— Очень любопытно! А скажите... вот вы сказали, что были председателем «Союза русского народа» и в то же время были председателем «Союза украинских хлеборобов». Это разве совместимо? Разве это не исключает одно другого?

— Что вы, мосье! Да они друг с другом как голубь с голубкой! Цель-то ведь одна: мужичье — от власти прочь и самим хозяйничать в своей стране!

— Очень, очень любопытно! Я непременно отправлю депешу премьеру Клемансо!

Действительно, премьеру Клемансо стоило телеграфировать. Предложение претендента на украинский престол вполне отвечало интересам французской политики; значит, силы украинской контрреволюции и силы русской контрреволюции можно

примирить и объединить, раз интересы обеих этих сторон могут прекрасно совмещаться даже в одном лице.

— А ваши предложения, мосье?

Григоренко пожал плечами.

— Видите ли, добродий высокий консул! Я не стану хвастаться своим заплесневелым происхождением. Я считаю так: жизнь берет за рога тот, у кого у самого хорошие бода̀ла.— Григоренко тоже вдруг топнул ногой, точно собирался отколоть гопака.— Гербарии, или, как бишь там, геральдии пана Котова уже протухли, и за душой у него сейчас от силы тысяча десятин. А мой прадед пускай и был простым гайдамаком, пускай дед мой держал шинок и своим трудом сколотил свою первую сотню десятин, зато мой отец уже вышел в богачи на целый уезд; а у меня, его сына, сейчас уже четыре тысячи десятин. Вот и судите сами, кто сейчас берет быка за рога, а значит, и должен заправлять нашей ненькой!

— Безусловно, безусловно! — кивнул мосье Энно. Некоторое сходство его собственной биографии с биографией этого украинского парвеню родило в нем симпатию к Григоренко.— Каковы же ваши притязания, мосье?

— А никаких притязаний, добродий консул! Разве что — не слушайте вы этих протухших египетских мумий, или, выражаясь по-украински, эти мощи из Киево-Печерской лавры. И только развяжите людям руки: у кого они длиннее, тот и возьмет верх. Конкуренция, здоровая конкуренция, мосье,— вот основа прогресса! Что касается гетманской булавы и всяких клейнодов, то я совершенно спокоен: французская республика никогда не пойдет на то, чтобы вытащить из могил и музеев царей и гетманов. Сейчас век свободной буржуазии, мосье! Я пришел заявить, что не выставляю своей кандидатуры на пост украинского президента, найдутся горлопаны и без меня! Но пускай ваш премьер Клемансо знает, что украинская пшеница родится на землях пана Григоренко и ему подобных деятелей молодой неньки Украины, а на пустошах у пана Котова родится только бурьян. Я все сказал, мосье. А вы уже сами решайте, какую там депешу посылать вашему Клемансо.

В это время генерал Бискупский вернулся со второй половиной депутации, той, которая ориентировалась на Петлюру. Первая половина, состоявшая из сторонников гетманата, чувствуя себя еще хозяевами в гетманской Украине, не захотела унижаться и вернуться отказалась. Генерал Бискупский, сам представитель гетманской власти на Украине, однако ничуть не уверенный в прочности гетманского режима, топорщил свои усы в тоске и отчаянии.

Когда все члены петлюровской половины депутации уселись на свои места, мосье Энно спросил:

— Какие же вопросы имеют ко мне уважаемые представители украинской общественности?

Как ни странно, в ответ на это мосье Энно услышал не вопросы, а целый ряд притязаний.

И изложил эти притязания в почти наглой форме человек какой-то неожиданной внешности.

Собственно лицом и фигурой это был как будто вполне приличный и даже видный мужчина. Стрижен он был ежиком, взгляд имел пронзительный, усы торчком, к тому же еще нафабренные, а держался прямо и осанисто. Вся фигура и поведение его выдавали в нем военного человека, да еще с немалым стажем и в немалых чинах. Впечатление «неожиданности» во внешности этого бравого вояки создавала его одежда.

Серую солдатскую шинель пехотинца старой русской армии и кепи «керенку», то есть обыкновенную кепку сукна хаки с длинным и широким суконным же козырьком, выдающимся далеко вперед, и верхом, отчаянно сплюснутым назад, на самый затылок,— наиболее распространенный мужской головной убор эпохи «керенщины»,— эту верхнюю одежду бравый воин оставил на вешалке в вестибюле. Стоял он теперь, одетый не во френч и галифе, принятые в то время военными во всех армиях, а в рейтузы бирюзового оттенка «жандарм» и в темно-синий мундир с малиновыми отворотами — генерала царской армии довоенного времени. Но ни парадных генеральских эполетов с висюльками, ни строевых генеральских погонов с муаровым зигзагом у генерала на плечах не было. Вместо всего этого на левом рукаве у генерала был большой трезубец из золотой парчи — похоже, что из поповской ризы, а на воротнике — два небольших трезубчика золоченой жести, вроде вил кверху зубьями. Такой же трезубец, только значительно больше размером, был у генерала и на груди. Под трезубчиками на воротнике, трезубищем на груди и парчовым трезубцем на рукаве были еще пущены в качестве подкладки желто-голубые шелковые ленточки.

Был это, вне всякого сомнения, генерал, и, безусловно, генерал украинский. А поскольку украинские гетманские генералы носили форму другую и ранговые различия у них тоже были несколько иные, то из существовавших тогда украинских национальных военных формирований он мог быть генералом разве что неведомых еще и никем не виденных войск белоцерковской директории.

Это и в самом деле было так, хотя до места расположения войск директории было с полтысячи километров, а в самой Одессе, где в эту минуту находился генерал войск как-никак антигетманской директории, держалась еще власть антидиректориального гетманского «правительства».

Но генерал войск директории немедленно же дал разъяснения, с них собственно и начав свою речь:

— Являюсь парламентером, потому прошу не удивляться моему присутствию здесь, на контролируемой гетманщиной территории: как парламентер, пользуюсь правами экстерриториальности и дипломатической неприкосновенности, хотя и не имею ранга посла.

Генерал войск директории сообщил, что прибыл только сегодня утром и направился прямо в резиденцию полномочного представителя Антанты для ведения переговоров, а вышло так, что попал он как раз в то время, когда представитель Антанты давал аудиенцию «депутации от украинской общественности». В этом генерал усматривал определенный символ и добрый знак — сама судьба озаботилась будущим Украины, сведя его с депутацией украинского единения. Попал генерал как раз в ту минуту, когда депутация украинского единения, перессорившись, разбежалась кто куда, однако он об этом умолчал.

Вместо этого генерал недвусмысленно дал понять, что в скором времени — как только члены белоцерковской директории въедут в завоеванную столицу на белых конях победы и будет создано «правительство Украинской народной республики» — ему, генералу, предстоит занять в этом «правительстве» пост военного министра. Поэтому все, что он говорит сегодня или скажет впредь, может быть принято как вполне официальные декларации правительства УНР, во всяком случае — генерального штаба при батьке головном атамане Симоне Петлюре.

Генерал назвал и свою фамилию — Греков.

«Депутация от украинской общественности» с ориентацией на директорию, сидевшая в зале и слушавшая речь генерала Грекова, полномочного представителя директории и будущего военного министра УНР, сопровождала каждое слово генерала Грекова бурной овацией, шумно аплодировала и вопила «слава».

Мосье Энно, консул Франции, сидел совершенно ошарашенный.

Что за черт? И откуда это все взялось? Таинственная директория, возникшая с целью низложить украинского гетмана, поддерживать которого прислан сюда он, консул Франции, и которая уже помешала ему, консулу, попасть в Киев для выполнения своих высоких обязанностей,— эта самая директория невесть откуда вдруг объявилась сама, прямо здесь, да еще в лице генерала, который собирается стать военным министром в стране величиной с Францию.

И этот будущий министр, оказывается, и в самом деле был не какая-нибудь мелкая сошка. Гетманский генерал Бискупский наклонился к мосье Энно и шепотом доложил, что генерал Греков отнюдь не «липа», вроде польского маршала Дзяволтовского, а самый настоящий генерал-майор артиллерии

еще царской армии. Хотя он и собирается возглавить армию украинских националистов-сепаратистов, а в фамилии его есть что-то греческое, в действительности же он «чистокровный кацап», откуда-то из-под Костромы. Ввязался же он в украинские дела потому, что имеет на Украине несколько паровых мельниц — на Полтавщине, Херсонщине, Черниговщине и на Подолии.

С вопросом, чем он может быть полезен «депутации от украинской общественности», обратился растерянный мосье Энно к главе депутации, знакомому уже ему по встрече в порту председателю украинской «громады», доктору Луценко. Однако доктор Луценко, почтительно поклонившись неожиданному представителю директории, заявил, что полномочный представитель правительства УНР генерал Греков лично выскажет все их соображения представителю стран Антанты.

Генерал встал, окинул всех генеральским взглядом, остановил свои генеральские очи на консуле Франции и коротко, без всяких экивоков, выложил свои притязания.

Притязания эти были таковы.

Войска Антанты, которые собираются высадиться на украинских берегах, должны помочь директории сбросить гетмана или, на худой конец, соблюдать нейтралитет. Руководство Антанты, иначе говоря, правительства Франции, Англии, Италии, де-юре и де-факто признают белоцерковскую директорию единственной законной государственной властью на Украине. Одновременно командование войсками Антанты расформирует войска русской добрармии на территории Украины и отклонит какие бы то ни было претензии каких бы то ни было русских формирований на какие бы то ни было украинские земли и имущество, а тем паче на какую бы то ни было форму власти на Украине. Вслед за тем правительства стран Антанты гарантируют неприкосновенность интересов украинских землевладельцев и промышленников, в частности железорудной промышленности в Кривом Роге, угольной и металлургической в Донбассе и собственников паровых мельниц.

Генерал Греков кончил и стоял молча, ожидая ответа.

Все члены украинской депутации захлопали и закричали «слава». Доктор Луценко, глава «депутации от украинской общественности» с ориентацией на директорию, прочувственно высморкался.

Консул Энно растерянно хлопал глазами. Никто еще тут не говорил с ним таким наглым тоном. Было похоже, что не он, консул с особыми полномочиями, прибыл наводить порядок на Украине, а этот будущий министр еще не существующего «правительства» собирается наводить порядок... во Франции.

— А что... а что же вы можете предложить Антанте за... за такое отношение к... вашим делам?..— неуверенно промямлил консул Энно.

У представителя директории предложения уже были наготове, и он немедленно их изложил.

Директория обещала поставлять Антанте хлеб и сахар по потребности, заключив на эти поставки соответствующие международные торговые договоры. Директория обещала разрешить иностранным промышленникам добывать украинскую железную руду и украинский каменный уголь по возможности, заключив на это соответствующие международные договоры. И прежде всего директория бралась создать армию любой численности — хотя бы и в полмиллиона солдатских голов — и воевать против «кацапов-большевиков» до тех пор, пока им не придет конец...

Последнее предложение было, по правде говоря, соблазнительным, и консул Энно несколько пришел в себя: война против большевиков была основным заданием, с которым консул был направлен на Украину руководством Антанты. В глазах у консула слегка прояснилось, и мосье Энно мог внимательнее присмотреться и к самому необычайному генералу.

Этот государственный деятель без государства представлял сейчас антигосударственных заговорщиков, которые разрушили государственный железнодорожный путь между Одессой и Киевом и помешали консулу с особыми полномочиями от четырех государств выполнять его государственные обязанности при правительстве государя Украины, пана гетмана...

Консул Франции вспыхнул.

— Мосье! — почти крикнул консул.— Генерал! Прежде всего я требую, чтоб ваша директория восстановила железнодорожную связь со столицей Украины Киевом! Я должен ехать в Киев, мосье генерал-министр!

Военный министр директории развел руками.

— Железнодорожный путь будет восстановлен, мосье консул, в тот же день, когда директория вступит в столицу на белых конях победы...

Но мосье Энно уже окончательно разъярился:

— Я хотел бы знать, мосье генерал-министр,— кто вас собственно уполномочил предъявлять мне ваши требования и что вам дает основания надеяться, что эти домогательства могут быть кем-то удовлетворены?!

Военный министр директории пожал плечами.

— Я уже имел честь информировать вас, мосье консул, что полномочия имею от самой директории. Что же до «оснований надеяться», то я не совсем вас понимаю, мосье консул. Я направлен сюда, к вам, не искать «оснований для надежд», а для деловой реализации достигнутой уже договоренности по тем именно пунктам, каковые я только что имел честь вам изложить: о хлебе и сахаре, о руде и угле и в первую очередь об организации полумиллионной антибольшевистской армии.

Мосье Энно неуверенно посмотрел на генерала Грекова.

— Д... договоренности? Но собственно с кем договоренность?

— С полномочными представителями Соединенных Штатов Америки, мосье консул Франции.

Мосье Энно уставился на генерала, совершенно сбитый с толку. О договоренности Соединенных Штатов Америки с белоцерковской директорией, да и о каких бы то ни было разговорах Америки с директорией консул Франции с особыми полномочиями ничего не слышал и не знал.

— Г... где была достигнута договоренность?

— На совещании в Яссах.

— К... когда?

— Два дня назад. Тридцатого числа только что минувшего месяца ноября.

Мосье Энно выехал из Ясс двадцать седьмого ноября. Что же это такое? Консул выехал из Ясс с полномочиями для Украины, через три дня после этого там же, в Яссах, принимаются какие-то новые решения, касающиеся Украины, а консула с полномочиями, касающимися Украины, даже не уведомили! Мосье Энно смешался. Конечно, вся эта катавасия с белоцерковским восстанием директории против гетмана, к которому ехал занять свой пост консул Энно, произошла как раз на следующий день после его отъезда из Парижа; в Яссах, конечно, тоже не предполагали, что его встретят такие неожиданности в дороге, что даже железнодорожное сообщение с Киевом будет перерезано, но... но все-таки надо было хотя бы послать вдогонку какое-нибудь сообщение, если политику по отношению к гетману и директории вдруг решено изменить... Ай-ай-ай! Высокая Антанта нехорошо поступила со своим дипломатом. Она заставила его на первых же шагах сесть в калошу.

И, сконфузившись, мосье Энно растерянно спросил:

— У вас... генерал, есть официальное уведомление ясского совещания?

Генерал Греков полез в карман своего генеральского мундира.

— У меня нет официального уведомления ясского совещания. Высокое совещание дипломатов стран Антанты в Яссах не рассылает своих уведомлений правительствам, которые еще только борются за свое будущее. Но такое уведомление должны иметь вы, мосье консул, как полномочный представитель держав Антанты; вы, безусловно, получаете все постановления высокого международного совещания.— Мосье Энно еще раз сел в калошу, а генерал Греков вынул из кармана газету.— Но я имею официальное сообщение информационного бюро директории, излагающее содержание заявления полномочного представителя Соединенных Штатов Америки на совещании в Яссах. Вот оно, его опубликовали уже в газетах.

И генерал Греков прочитал:

— «Полномочный представитель Соединенных Штатов Америки авторитетно заявил, что Соединенными Штатами Америки предрешено, что Финляндия и Украина должны стать самостоятельными народными республиками. Соединенные Штаты Америки придерживаются того взгляда, что право на создание Украинской народной республики принадлежит единственно директории и ее республиканским войскам».

Члены «депутации украинской общественности» с ориентацией на директорию исступленно закричали «слава», «виват» и «ще не вмэрла».

Генерал Греков сел. Доктор Луценко обнял его и поцеловал в ежик.

Консул Франции попал, как говорится, что кур во щи.

Ах, эти чертовы Соединенные Штаты Америки! Они снова наплевали в физиономию всей Антанте! Оказывается, они решили поддерживать не гетмана против директории, а директорию против гетмана, в то время как все государства Антанты — Франция, Англия, Италия...

Нет, с Соединенными Штатами Америки мосье Энно чего-то недопонимал. Похоже было, что они начинают заправлять европейской политикой почище самих европейских держав. В чем дело и откуда это все идет? Воевали против Германии Англия, Франция и Италия, ну и Россия, пока не пришли к власти в России эти самые большевики, которых принялись теперь выгонять из России опять-таки Англия, Франция и Италия, ну и Соединенные Штаты Америки вместе с ними. Но, вступив в войну против Германии уже после революции в России, почти не успев принять участие в войне, эти самые Соединенные Штаты Америки теперь, когда Германия побеждена и начата подготовка мирного договора, оказались в сущности во главе коалиции. Они фактически заправляют перекраиванием всей Европы, включая Францию, Англию и Италию, да и перераспределением колониальных владений не только Германии, но тех же опять-таки Франции, Англии и Италии... Мосье Энно кое-что подметил еще на совещании в Яссах. Председательствовал на совещании дипломатических представителей и военачальников Антанты глава дипломатического корпуса французский посол Сент-Олер. Но «меценатом», так сказать, совещания, который подсовывал проекты всех решений, ведя за собой на поводу представителей всех остальных держав, был опять-таки именно американский представитель, который не имел даже дипломатического ранга, а пребывал на Балканах якобы по своим личным коммерческим делам, какой-то американский бизнесмен; мосье Энно даже не запомнил как следует его фамилии — не то Каллес, не то Валлес... И больше всего этот американский бизнесмен был озабочен именно «русским вопросом». В чем дело? Мосье

Энно — старому, опытному специалисту по торговым сношениям с Россией — было известно, что никаких особенных интересов до сих пор Соединенные Штаты Америки в России не имели. Франция и Англия — дело совсем иное. Да и старый долг России Соединенным Штатам Америки был просто мизерен по сравнению с долгами России Франции или Англии. Франции, например, Россия задолжала в семь раз больше, чем Соединенным Штатам, что же касается Кривого Рога или Донбасса, то в этот украинский Рур и Саар Соединенные Штаты пока не вложили ни одного доллара. Нет, во всей этой истории Соединенные Штаты Америки оставались для мосье Энно — представителя, как бы это выразиться, старой гвардии иностранных контрагентов России — какой-то загадкой...

Но мысль о Кривом Роге и Донбассе вывела мосье Энно из состояния беспомощной растерянности.

Да ведь высокое совещание дипломатов в Яссах решило максимально ускорить интервенцию на Украину именно озабоченное судьбой Кривого Рога и Донбасса прежде всего. И разве не ради Кривого Рога и Донбасса прежде всего и прибыл на Украину консул с особыми полномочиями, чтобы поддержать покачнувшийся гетманский режим?

Однако мысль о Кривом Роге и Донбассе — тем паче, что на них уж очень нахально намекнул и этот белоцерковский генерал без армии — воодушевила мосье Энно.

Мало о чем мог мосье Энно говорить толково, но о Донбассе и Кривом Роге он сумеет поговорить с толком!

И мосье Энно сказал, придав своему лицу выражение как можно более загадочно-дипломатическое и дипломатично-назидательное:

— Мосье! И вы, господа! Оглашенный документ принуждает меня немедленно снестись с высокими правительствами, которые я здесь уполномочен представлять, и дальнейшие мои действия будут логически вытекать из тех позиций, какие займет в этом вопросе руководство Антанты. Но...— тут мосье Энно повысил голос и довел его до предельной загадочности и назидательности,— но должен теперь же от себя сделать по поводу декларации представителя директории кое-какие замечания — в части, касающейся украинских провинций Донбасса и Кривого Рога,— чтобы ни у кого не осталось на этот счет никаких сомнений...

Депутация затаила дыхание, насторожился и генерал Греков.

— Да будет вам известно, господа, что абсолютное большинство предприятий, добывающих уголь в Донбассе и железную руду в Кривом Роге, принадлежит никак не украинскому, да и не русскому капиталу, а капиталу французскому либо в некоторых случаях капиталу франко-бельгийскому. Аналогичное положение мы имеем и в металлообрабатывающей про-

мышленности. Металлургический синдикат «Продамет», например, сосредоточивший в своих руках восемьдесят процентов металлургической промышленности Украины,— собственность французского капитала, господа!

В приемной консула Франции для представителей украинской общественности стояла мертвая тишина. Молчал голова украинской громады доктор Луценко. Молчал представитель директории генерал Греков.

Консул Франции закончил:

— Надеюсь, что эта моя небольшая справка дала понять, кто же владеет промышленностью Донбасса или Кривого Рога и кто, надо полагать, и в дальнейшем будет руководить промышленной жизнью Украины... Честь имею кланяться, господа! Передайте мои сердечные пожелания вашим семьям, вашим друзьям и всей украинской общественности.

Не дав членам «депутации украинской общественности с ориентацией на директорию» опомниться, мосье Энно сухо поклонился и величественно удалился из комнаты.

В конце концов мосье Энно был вполне собой доволен, да и мадам не могла бы его ни в чем упрекнуть: он говорил только наперекор, выражался весьма загадочно и поучительно, но поняли его, кажется, совершенно недвусмысленно.

Не задерживаясь у себя в кабинете, мосье Энно направился было в комнату секретарей, чтобы немедленно послать вторую депешу послу Франции в Яссах мосье Сент-Олеру. Но на пороге его схватил за рукав генерал Бискупский. Бросив свою депутацию в приемной, генерал пустился за консулом Франции вдогонку опрометью, невзирая на свой изрядный вес.

— Что такое, генерал? — раздраженно обернулся мосье Энно, с достоинством выдергивая свой рукав из цепких пальцев генерала. Этот генерал-плакса уже осточертел мосье Энно.— Чего вы, наконец, хотите от меня, генерал?

Генерал Бискупский выпустил рукав визитки мосье Энно и умоляюще сложил руки на груди, как перед святой иконой. Усы его немедленно шмыгнули к нему в рот.

— Ах, ваша светлость! Ваше превосходительство! У меня к вам всепокорнейшая просьба! Выслушайте меня, ваше превосходительство! Я человек старый, мне уже в могилу пора, но у меня сын-кадет и дочка — пепиньерка в институте благородных девиц!

— Ближе к делу, генерал! Меня ждут...

— Минуточку, ваше высокопревосходительство! — Генерал Бискупский извивался всем своим тучным торсом, чтоб преградить мосье Энно путь и не выпустить его из комнаты. — Явите божескую милость, ваше превосходительство! Век буду бога молить за вашу светлую душеньку...

— Что вам нужно, генерал? — уже почти закричал мосье Энно. Этот назойливый толстяк въелся ему в печенку.

— Визу! — простонал генерал и сделал движение, свидетельствующее о том, что он готов упасть на колени, но мосье Энно не понял его душевного порыва, подумал, что генерал поскользнулся на собственных слезах, и поспешно подхватил его под руку.— Визу, ваше высокопревосходительство!

— Какую визу?

— Визу во Францию! В Люксембург, в Кайенну или Гвиану, на остров святой Елены — все равно куда, лишь бы вон отсюда! Для меня, моей старухи, сына-кадета и дочки-институтки! Ваше высокопревосходительство! Мы приобретем себе какую-нибудь хижину, будем сажать капусту и продавать на базаре: внесем, так сказать, лепту на алтарь французской либертэ, эгалитэ, фратернитэ... Умоляю вас, ваше высокопревосходительство!

Мосье Энно, пораженный, смотрел на генерала, командующего гетманским гарнизоном в Одессе и, собственно говоря, всеми войсками гетмана на юге Украины.

— Не понимаю вас, генерал! Вы — представитель власти, а будущее вашего отечества...

Генерал Бискупский завопил:

— Ваше превосходительство! Разве это власть? Хвост собачий, а не власть! Виляет и дрожит, давно уже и к брюху поджат с перепугу. Какое там будущее? Не знаю, как для отечества, а для нас уже нет в отечестве никакого будущего! Умоляю вас! Сжальтесь над малыми детками! Пожертвуйте визу во Францию, не надо нам другого будущего!..

Мосье Энно смотрел на генерала, вытиравшего глаза кулаком, а с усов смахивавшего слезы ладонью. Мосье Энно всегда был склонен к патетике и выспреннему образу мыслей: перед ним плакал у своего разбитого корыта никчемный старик, но это плакал перед ним и разбитый, да и с самого начала никчемный гетманский режим, который представлял и вместе с тем олицетворял сей генерал — плакса и попрошайка.

И этого-то плаксу-попрошайку, то бишь этот государственный режим, должен поддерживать он, консул с особыми полномочиями, дошлый торговый агент, который согласен, понятно, пойти на любую аферу во имя прибыли, но с единственным условием: чтобы прибыль была.

— Фи, генерал! — свысока процедил мосье Энно и, отстранив командующего гарнизоном ясновельможного пана гетмана на юге Украины, перешагнул порог и проследовал в комнату секретарей, к прямому проводу.

Гетманщина была при последнем издыхании — у мосье Энно и без слез генерала не было на этот счет никаких сомнений. И так же ясно было — с этим он и приехал,— что нельзя допустить, чтоб вместо раздавленного гетманского режима утвердился на Украине режим большевистский. Но ведь оставалась еще директория... Может быть, мосье Энно самому

въехать на белом коне в столицу Киев впереди Винниченко с Петлюрой и этого странного вида генерала? Ведь директория будет воевать против большевиков... А относительно Донбасса и Кривого Рога разве нельзя договориться?..

Мосье Энно подошел к аппарату прямого провода:

— Через Яссы — в Париж, лично премьеру Клемансо!

Когда телеграфист приготовился, мосье Энно стал диктовать:

— Восхищен вашей прозорливостью, президент! Ваша идея — в деле уничтожения и ликвидации большевизма ориентироваться в первую очередь не на вооруженные формирования украинской и русской контрреволюции, а на вооруженные силы интервенционистской армии — гениальна. Изучение местных условий блестяще подтверждает ее: русская и украинская контрреволюция только грызутся между собой. Максимальное количество французских частей среди контингентов оккупационных войск, бесспорно, даст французам преимущество над Англией и Соединенными Штатами. Но как же все-таки относиться к директории, которая, безусловно, сбросит гетмана? Жду ваших инструкций. Энно.

Мосье Энно вернулся к себе в кабинет и в изнеможении опустился в кресло у стола. Тяжелый день выпал мосье Энно, и вообще трудное и хлопотливое это дело — быть дипломатом, да еще с особыми полномочиями...

Вошел секретарь и сообщил, что в вестибюле бушует, добиваясь приема у консула, одесский негоциант мосье Герш Беркович.

Негоциант! То есть обыкновенный торговец! Этот по крайней мере лишен возможности продавать оптом целое государство, да и вообще вряд ли он что-нибудь продает,— что может в нынешних условиях продать Одесса? Это скорее покупатель, который будет пытаться что-нибудь приобрести у Франции через консула Энно, чтобы потом заработать на нуждах одесситов. Мосье Энно, сам по призванию торговец, отведет по крайней мере душу, а может быть... предвидится и какой-нибудь куртаж? Да и в интересах Франции наладить здесь торговые связи.

— Просите! — махнул рукой мосье Энно.— Пускай заходит. Сегодня, в первый день, я принимаю всех: Одесса должна почувствовать нашу французскую либертэ, эгалитэ, фратернитэ...

Мосье Энно придвинул блокнот и карандаш; разговор предстоял деловой, и, конечно, будут фигурировать цифры.

4

Не успел еще мосье Энно придать лицу соответствующее выражение, как двери с грохотом распахнулись и в кабинет вкатился ожидаемый посетитель. Именно вкатился. Потому что только этим словом можно хотя бы приблизительно определить

быстроту, живость и стремительность вошедшего. Личность эта двигалась с предельной стремительностью, жестикулировала беспрестанно и ни на секунду не оставалась в состоянии хотя бы относительного покоя.

Мосье Энно едва смог разглядеть оригинальную внешность посетителя. Негоциант был одет в широченный долгополый парусиновый плащ, покроем напоминавший старинный еврейский лапсердак, в каких разъезжают на тележках по селам Подолии откупщики, забирая за бесценок хлеб у крестьян или вытягивая из арендаторов последние гроши. На левой руке негоцианта-откупщика повешен был ручкой на согнутый локоть огромный черный зонтик. На голове у него был твердый котелок, захватанный по краям и до блеска лоснящийся на макушке. Правой рукой посетитель все время размахивал, а черная его борода топорщилась и прыгала во все стороны, когда он говорил. А заговорил он еще в дверях и уже не умолкал ни на минуту в продолжение всей аудиенции.

— Наше вам, мосье консул! — закричала личность еще с порога и ринулась к столу, за который поспешил ретироваться мосье Энно.— Я рад вас приветствовать, мосье консул! Скажите, пожалуйста, вы видели, какая сегодня погода? Евреи не запомнят такой жары после «кучек»! Это ж ваша колониальная Африка, а не наша русская зима! Если такая жара простоит еще два дня, так не кушать нам урожай на тот год, как своих ушей! Я встретил сегодня Йоселе Маламуда, что держит себе зимой ледяной каток для благородных спортсменов, так он уже покусал себе локти до самого плеча! Но как вам нравится наша Одесса? А? Это же прямо парижский шик! Вы же парижанин, мосье консул. Или, может, ваши папаша и мамаша родились у нас на Молдаванке? Садитесь, пожалуйста, мосье консул, будьте себе как дома!

Посетитель сам плюхнулся в кресло, сорвал с локтя зонтик и уткнул его между колен, а котелок осторожно снял с головы и аккуратно поставил донышком книзу рядом со своей ногой. А впрочем, под котелком у него на голове был еще один головной убор — маленькая кругленькая шапочка-ермолка.

Мосье Энно машинально сел. Посетитель не дал ему даже ответить на приветствие. Он продолжал сыпать, как горохом, картавя и заикаясь. Фигура была на редкость колоритная. Мосье Энно приходилось видеть таких только в Париже, за Сеной, да в Киеве, на Подоле, за Житным базаром.

— Пусть сам Иегова будет мне свидетелем,— кричал посетитель,— что вы удивляетесь с нашего с вами приятного знакомства! Так я вам сейчас скажу, зачем я до вас пришел. Или вы знаете, мосье консул, что такое картошка?

Мосье Энно знал, что такое картошка, но он был лишен возможности довести это до сведения оригинального посетителя, потому что тот уже тарахтел дальше:

— Я уверен, что вы, как интеллигентный человек, скажете мне, что картошка — это продукт потребления человеческого организма. Так поверьте мне, мосье консул, что это чисто научная постановка вопроса. И я вас спрошу иначе: или вы знаете, что такое картошка в Одессе, где ни русский, ни еврейский бог не посылает дождей? Так я вам отвечу: картошка в Одессе — это Гершко Беркович! А кто такой Гершко Беркович? Гершко Беркович — это я!

И мосье Энно вынужден был уже выслушать все до конца, не перебивая одесского негоцианта Гершка Берковича и только выжидая момент, когда тот захлебнется и появится возможность вставить и свое словцо.

— Гершку Берковичу надо знать немедленно, сколько ваших дорогих солдат вы ждете сюда с вашими прекрасными кораблями! Гершко Беркович хотел бы, чтоб ваших солдат прибыло сюда сто тысяч, двести тысяч, миллион! Чтоб они, дай им бог здоровья, защищали своими пулеметами и пистолетами Гершка Берковича от большевиков и чтоб они кушали себе на здоровье картошку! Пусть и Гершко Беркович около них заработает себе на кусочек хлеба с маслом! Ведь у Гершка Берковича шестеро детей с разинутыми ртами и одна мадам с пороком сердца! Еврейский бог Иегова запрещает евреям воевать, и Гершко Беркович не любит войны — он пацифист! Но Гершко Беркович любит солдат, потому что они кушают очень много картошки. И Гершко Беркович должен немедленно знать: сколько съедает за день картошки французский, английский или американский солдат? Или тут будут еще другие солдаты? Может, итальянские? Так это не гешефт — они едят себе макароны!

Гершко Беркович вытащил из кармана обгрызенный карандаш и потрепанную записную книжечку и пристроился писать на собственном колене, хотя перед ним был огромный и удобный для письма стол.

— Или ваш солдат съест фунт картошки в день? Будем считать — один пуд картошки на каждого солдата в месяц. Вы ждете десять тысяч, двадцать? Может, даже двадцать пять?

Гершко Беркович послюнил карандаш и начал выводить на колене.

— Один пуд картошки на двадцать пять тысяч солдат — это будет...

— Почему двадцать пять? — удивился мосье Энно, воспользовавшись, наконец, небольшой паузой, когда Гершко Беркович занялся своими каракулями и математическими расчетами. Мосье Энно был совершенно ошеломлен, но, ей-богу, ему уже начинал нравиться этот торгаш: это был действительно деловой человек. И если здесь таких много, оккупационные войска Антанты могут быть спокойны насчет снабжения про-

дуктами питания. А вопрос снабжения и ремонта десанта был один из первых вопросов, которые по поручению военного командования должен был выяснить и подготовить, прибыв на Украину, мосье Энно. Да разве только картошка? А мясо? А хлеб? А фураж?

— Почему двадцать пять? — спросил мосье Энно.

— А сколько же? Неужели аж тридцать пять?

— Прикидывайте лучше сразу на все пятьдесят...

— Чтоб вам так жить, мосье консул! — обрадовался Гершко Беркович.— Один пуд картошки на пятьдесят тысяч солдат оккупационной армии — это будет пятьдесят тысяч пудов картошки в месяц. А долго вы собираетесь тут задержаться, хотел бы я знать, мосье консул?

— Знаете,— развел руками мосье Энно,— мне собственно нужно ехать в Киев, но...

Гершко Беркович замахал руками.

— Бог с вами, мосье консул! Живите себе, сколько хочете, вместе с вашей мадам — это нам будет только приятно. Но я имею интерес: или долго собирается тут пробыть ваша армия, кушая мою картошку. Вот в чем вопрос, мосье консул, как сказал в театре мосье Шекспир! Гершко Беркович должен знать: или имеет он основание рисковать своими последними капиталами, вкладывая их в пятьдесят тысяч пудов картошки? Не погонят ли, извините меня, мосье консул, вашу армию большевики еще до того, как она съест мою картошку?

Мосье Энно сделал движение, но Гершко Беркович его перебил:

— Чтоб я так жил, вы уже обиделись, мосье консул! Но, мосье консул, мы же таки с вами люди коммерции! Я закуплю пятьдесят тысяч пудов картошки, а большевики стрельнут из пушки, и ваши солдаты побегут в Англию, вы себе поедете во Францию. А что же тогда делать бедному одесскому коммерсанту, у которого не будет уже его капиталов, останется только паршивая картошка, шестеро детей с разинутыми ртами и мадам с пороком сердца? Я знаю, вы, как интеллигентный человек, скажете тогда Гершку Берковичу: «Гершеле, давай будем тикать вместе во Францию и Америку». Но я вас тогда спрошу: что делать там Гершку Берковичу? Что, там нет своего Детердинга? Так там есть свой Ицик Рокфеллер! Не Ицик? Джон? Бог ему судья, пускай будет теперь Джон!..

Гершко Беркович вдруг расстроился и, откинув полу плащапыльника, вынул из кармана огромный клетчатый платок.

— Что же вы плачете, мосье Беркович?

— Потому что я не хочу ни во Францию, ни в Америку, мосье консул!

— А зачем вам во Францию и Америку?

Гершко Беркович взмахнул своим огромным платком и утер на глазах слезы.

— Как это вам нравится? Он еще меня спрашивает! А куда же будут тикать ваши солдаты, как не домой, во Францию и Америку?

Мосье Энно получил, наконец, возможность обидеться и высказать свою обиду.

— Во-первых,— строго сказал он,— наши солдаты не будут бежать. Они придут сюда, чтоб ликвидировать большевиков и здесь остаться. Во-вторых, французские пуалю известны в истории своими победами и вообще никогда не бегут!

— Дай им бог здоровья! — обрадовался Гершко Беркович.— Но разве мосье французский консул может поручиться и за английских и американских солдат, хотя они тоже известны в истории своими победами?

— Они тоже не будут бежать! — сурово отвечал мосье Энно.— Да их здесь и не будет совсем. Здесь будут только французские солдаты, и вы, мосье негоциант, можете быть абсолютно спокойны.

Гершко Беркович и в самом деле немедленно успокоился.

— Дай вам бог здоровья, мосье консул, вы-таки настоящий Наполеон. Раз тут будут одни французские солдаты, так Гершко Беркович уже совсем спокойный: мы уже с вами хорошо знакомы, мосье консул, и вы не дадите обидеть бедного одесского коммерсанта. Так, значит, мы себе будем считать, что уже ударили с вами по рукам, мосье консул? Давайте вашу цену — и гешефт сделан!

— Простите,— не совсем понял мосье Энно,— чего вы хотите?

Гершко Беркович удивился до крайности.

— Как это вам нравится? Он спрашивает меня, чего я хочу! Это вы спросите себя — чего вы хотите? Или вы хотите картошки? Так Гершко Беркович даст ее вам пятьдесят тысяч пудов в месяц на пятьдесят тысяч ваших пуалю. По десять французских франков за пуд. Нет? А по девять? И по восемь — нет? Что, вам совсем не надо картошки? Или вы, консул Франции, не интересуетесь, чтоб героические французские пуалю ели картошку — вареную, жареную и в борще? Ах, вы едите суп? Так разве не нужна картошка пур ля зуп? Что вы мне зубы заговариваете, мосье консул?

— Да вы ведь не даете мне слова сказать,— прорвался, наконец, мосье Энно.— Я совсем не говорил, что нам не нужна картошка. Наоборот, нам будет нужна не только картошка. Нужны еще будут мука, сахар, мясо, яйца... Но я не могу договариваться с вами о цене. О цене и других условиях поставки договариваться будет интендантство, которое прибудет вместе с армией, и санкции на приобретение того или иного количества провианта и фуража должен давать штаб армии, в частности начальник штаба, полковник Фредамбер. Моя задача только обратить на наши фуражные нужды внимание

местных деловых кругов. Я рад, что могу это сделать сейчас через вас, мобилизуя, таким образом, торговую инициативу...

— Дай вам бог здоровья, мосье консул! — чуть снова не заплакал, теперь уже от избытка чувств, негоциант Беркович.— Так вы так бы сразу и сказали! Мы договоримся с полковником Фредамбером. А он кто будет — американец, англичанин? Или он тоже, дай ему бог здоровья, непобедимый француз?

— Француз. Вообще здесь все будут французы.

— Дай им бог здоровья! А когда имеет прибыть ваш штаб? На праздник пурим в будущем году?

— Не позднее чем через два-три дня, вместе с первыми же десантными частями. Тогда вы и побеседуете с полковником Фредамбером.

Гершко Беркович вскочил с кресла, поднял котелок и зацепил зонтик ручкой за локоть.

— Тре бьен, мосье, как говорят у вас во Франции, но как теперь будем говорить и мы, раз теперь тут будет вроде Франция! Прошу вас, вы ж таки лучше меня знаете полковника Фредамбера, шепните ему на ухо, когда он приедет, что ваш добрый старый друг Гершко Беркович может накормить картошкой всю оккупационную армию, всю Францию и даже Антанту! А после того я к полковнику Фредамберу и сам зайду. Вы сказали, мосье, и мука, и мясо, и яички? Тре бьен! Гершко Беркович и это будет иметь в виду... Не беспокойтесь, я сам знаю, где дверь. Очень рад за вас, что мы с вами познакомились, мосье! Знакомство с интеллигентным человеком — это пускай только для души, но тоже гешефт. Будьте мне здоровы, мосье консул Франции! Кланяйтесь мадам...

Гершко Беркович, вернее Григорий Иванович Котовский под видом негоцианта Гершка Берковича, исчез так же внезапно, как и появился...

Подпольный областком узнает сегодня — а завтра будут знать об этом и в Москве,— что на одесский плацдарм следует ожидать до пятидесяти тысяч войск интервентов и обращаться к солдатам интервенционной армии со словами большевистской пропаганды нужно на французском языке.

Мосье Энно устало закрыл глаза и несколько минут должен был посидеть, отдыхая. Знакомство было, конечно, приятное и полезное, однако очень уж утомительное. Хорошо еще, что за время пребывания торговым представителем в Киеве мосье Энно привык иметь дело с разными контрагентами, среди которых было немало похожих на экспансивного одесского негоцианта.

— Кто там еще? — спросил он, вызвав секретаря.

— Только что прибыл по вашему вызову генерал Гришин-Алмазов.

— А!

Мосье Энно со всеми этими националистами и с посещением суматошного негоцианта чуть не забыл о том, что вызвал Гришина-Алмазова, чтобы перехватить его до того, как его опутает адмирал Боллард.

— Просите, просите генерала Гришина-Алмазова. Больше никого нет?

— Есть, мосье. Пришла одна дама и тоже добивается свидания с вами.

— Дама? Она назвала свою фамилию?

— Да, мосье. Это Вера Холодная. Артистка синематографа.

Мосье Энно остолбенел бы, если б не было неудобно консулу столбенеть перед своим секретарем.

Но морозцу, который вдруг пробежал у него по спине, мосье Энно разрешил пробежаться. Вера Холодная! Королева экрана! Очаровательная женщина, можно сказать — перл красоты! И не мосье Энно искал путей познакомиться с нею, а... пришла сама... Что ж, если дело оборачивается так, то мосье Энно, опытный донжуан, может побиться об заклад, что не завтра, так послезавтра перл красоты, королева экрана Вера Холодная... будет его любовницей.

— Пускай генерал Гришин-Алмазов немного подождет, проводите его в приемную «А», а артистку Веру Холодную просите немедленно и прямо сюда.

5

Мосье Энно сел за стол, развернул какое-то досье и сразу так углубился в него, что даже скрип дверей, шелест женского платья и дробный стук дамских каблучков не могли обратить на себя его внимания.

Артистка Вера Холодная вошла и, сделав два шага, остановилась.

Мосье Энно продержал ее так секунд десять и только тогда, наконец, поднял усталый и равнодушный ко всему на свете взгляд.

И сразу же его подбросило, как на пружинах. Он вскочил и учтиво поклонился, а на лице у него в эту минуту застыло выражение сногсшибательного восторга.

— Мадемуазель? Простите... мадам?

— Мое имя — Вера Холодная. Я — артистка синемà.

— О, прошу, мадемуазель...

Вера Холодная села.

— Чем могу служить?

Вера Холодная волновалась. И, несмотря на то, что была она артисткой, не умела скрыть своего волнения. А возможно, и наоборот: совсем не волновалась, но, будучи артисткой, умело разыгрывала горячую взволнованность. Так или иначе, но в своем волнении она была еще очаровательнее.

— Мосье консул,— промолвила, наконец, артистка,— я к вам по важному для меня и конфиденциальному делу. Дело это, впрочем, не будет, мне кажется, для вас неожиданностью, потому что в этом собственно, насколько я понимаю, и заключаются обязанности консула иностранной державы...

— Я слушаю вас, мадемуазель?

— Я хочу выехать за границу, во Францию, мосье консул, и пришла к вам просить визу.

Консул Франции минуту помолчал. За последний час это был уже второй случай, когда у него просили визу на выезд. Не очень-то держатся родных берегов представители высшего света, которым всегда бредил бывший коммивояжер. Сначала придурковатый генерал, теперь очаровательная артистка... Но мосье Энно было безразлично, какие причины побуждали блестящую королеву экрана тоже искать возможности покинуть родные края. Для него важно было другое: эта прекрасная дама просит об услуге, так вот, за эту услугу ей придется платить. Похоже, что мосье Энно не трудно будет взять свою цену...

— Почему вы хотите уехать, мадемуазель? — спросил консул сухим, почти черствым, официальным тоном.

Вера Холодная посмотрела на мосье Энно. Их взгляды встретились, и какое-то мгновение они смотрели друг другу в глаза. Взгляд мосье Энно был холоден, но в глубине его тлел — и это не скрывал мосье Энно — затаенный горячий огонек.

Артистка сказала:

— Я буду откровенна, мосье консул. Мне надоела эта жизнь. Войны, революции, перевороты... Я артистка, и меня влечет только искусство. Я получила приглашение от французских фирм синема. В частности, от «Братьев Патэ». Я рассчитываю на ангажемент и интересную работу.

— Кроме искусства,— мягко промурлыкал мосье Энно,— вас, очевидно, влечет и... красивая жизнь, не так ли, мадемуазель?

— Пусть так, мосье...

— Но ведь мадемуазель известно, что сейчас — в условиях войны, революции, переворотов,— теперь чуть заметно улыбнулся мосье Энно,— ни о каких визах на выезд не может быть и речи?

Артистка посмотрела консулу прямо в глаза:

— Я это понимаю, мосье. Но мне известно также, что бывают исключения. Обращаясь к вам, я именно на это и рассчитывала.

Кажется, между ними было сказано все и они пришли к соглашению.

Так по крайней мере казалось Вере Холодной, так по крайней мере понял это и мосье Энно.

Тихо, еще мягче, но давая волю огонькам в глубине его

зрачков разгораться, сколько им вздумается, мосье Энно спросил:

— А когда бы вы желали выехать, мадемуазель? Надеюсь, не завтра утром и не послезавтра вечером?

Вера Холодная взмахнула ресницами — они были у нее и в самом деле неправдоподобной длины и, как это ни странно, ее собственные — и сразу же прикрыла ими глаза.

— Я хотела бы еще сегодня вечером... Но если у мосье консула другие соображения...

Мосье Энно уже хотел, не теряя времени, встать, подойти и просто заключить в объятия очаровательную красотку. Он даже скрипнул стулом, поднимаясь.

Артистка сидела неподвижно, не дрогнув ресницами и не поднимая глаз.

Но стул под мосье Энно скрипнул еще раз — он снова сел.

Неожиданная идея вдруг пронизала мозг консула Франции.

Гетмана уже можно сбросить со счетов долой, перспективы директории вилами по воде писаны, да и не в интересах Франции поддерживать сепаратистские устремления, направленные на подрыв единой и мощной России. В сущности главной контрреволюционной силой являлась тут белая добровольческая армия генерала Деникина, которая и по направленности своей шла в русле именно французских интересов, связанных с единой и сильной централизованной Россией. Это было уже ясно консулу Франции. И он, придя к такому выводу, даже вызвал к себе генерала Гришина-Алмазова, деникинского представителя, чтоб вырвать его из когтей пагубного английского влияния. Но головку белой русской контрреволюции необходимо полностью прибрать к рукам! А кто же его знает, что думает генерал Деникин? Его полномочный представитель генерал Гришин-Алмазов отдает себя под высокое покровительство французского руководства. А каковы его тайные стремления? Какова его политика в отношении будущего режима в России? Каковы его политические симпатии? Может быть, он тайно тяготеет все-таки к английской политике?

Мадам, как всегда, права: Гришин-Алмазов — особенно интересная фигура и заслуживает особого, пристального внимания. Подле него должен быть проницательный шпик!

И здесь консул Франции во имя интересов Франции, выполняя свои особые полномочия, должен несколько поступиться даже своими личными интересами.

Допустить красавчика генерала в спальню мадам не позволяла мосье Энно ревность, но очаровательная артистка Вера Холодная в вознаграждение за визу могла бы стать любовницей генерала Гришина-Алмазова.

Ласки очаровательной женщины откроют сердце воинственного мужа.

Сердце самого мосье Энно сжалось и заныло. Пусть и во

имя высокого долга, но трудно было отказываться от интимного знакомства.

Конечно, чтобы изменчивая обольстительница не превратилась в обольстительную изменницу, как это она великолепно проделывает в своих кинофильмах, у мосье Энно должна быть на нее хорошая узда: эта самая приманка-виза, которую потом можно и не дать. Но одной уздою тут не обойтись. Мосье Энно должен получить над нею власть более глубокую и сильную, нежели любовник-генерал, чтобы изменчивая обольстительница-шпионка приносила ему все, что раздобудет в глубинах сердца любовника, не припрятывала чего-нибудь для себя, обернувшись в шпионку Гришина-Алмазова против мосье Энно. А настоящую власть над женщиной можно получить только через любовь, это старому донжуану мосье Энно уже давно известно — спросите у шляпниц Монмартра и белошвеек киевского Подола! Артистка Вера Холодная будет прежде всего любовницей мосье Энно,— пусть тогда попробует выскользнуть из-под чар парижского сердцееда!..

— Мадемуазель! — решительно произнес мосье Энно.— А если я скажу, что просьба ваша может быть выполнена не сразу, а через некоторое время, как отнесется к этому мадемуазель?

Вера Холодная долго молчала, опустив ресницы.

— Какое время, мосье?

— Два-три месяца.

Вера Холодная взмахнула ресницами.

— Для чего вам, мосье, нужны эти два-три месяца? Так долго?

— Нет, мадемуазель,— тонко улыбнулся мосье Энно,— два-три месяца — это не долго даже для любви, а для дел, связанных с любовью, это и вовсе мало: дай бог справиться.

— Что вы имеете в виду, мосье? — Артистка посмотрела консулу прямо в глаза.— Давайте будем говорить начистоту.

— Давайте начистоту,— с милой улыбкой согласился мосье Энно.— Визу вы получите через три месяца, и после этого мы с вами снова встретимся уже во Франции; надеюсь, что вы будете довольны и Францией и мною лично. Но в течение этих трех месяцев вы выполните здесь одно задание, которое получите непосредственно от меня, и никто об этом не будет знать, мадемуазель. Выполнить это задание вам нетрудно: у вас, королевы экрана, для этого все данные, и осуществлять его придется в тех кругах, к которым вы очень близки. После этого вы получите визу и...— мосье Энно улыбнулся, дав полную волю притаившимся в глубине глаз огонькам,— и будете ждать меня во Франции, мадемуазель.

Вера Холодная сидела молча, опустив глаза и прикрыв их ресницами. Мосье Энно терпеливо ждал.

Через минуту или две Вера Холодная тихо спросила:

— Виза будет не позднее чем через три месяца, мосье?

— Не позднее чем через три месяца.

Вера Холодная встала. Мосье Энно тоже встал.

Мосье Энно сказал:

— В приемной ждет сейчас генерал Гришин-Алмазов...— Он бросил мгновенный взгляд, чтоб выяснить, какое впечатление произвело на артистку это имя. Но артистка не пошевельнулась.— Нам не нужно, чтоб генерал увидел вас у меня. Вы меня поняли? — Артистка молча кивнула.— Я приму сейчас Гришина-Алмазова, затем уйду вместе с ним, а через час вернусь. Этот час вы подождете меня там, в моих апартаментах.— Мосье Энно кивнул головой на дверь позади письменного стола и любезно улыбнулся.— Там вы найдете кучу французских романов, модные журналы, фрукты и шоколад... Мадемуазель?

— Как пройти? — спросила Вера Холодная.

Мосье Энно открыл двери и остановился. Артистка прошла мимо и перешагнула порог. В это мгновение мосье Энно взял ее руку, поднес к губам и снова отпустил. Артистка прошла, не подняв ресниц. Мосье Энно прикрыл дверь.

Усики мосье Энно торчали кверху, когда он нажал кнопку звонка.

— Просите генерала!

Гришин-Алмазов вошел. Он был, как всегда, подтянут, учтив и вылощен, словно только что от портного и парикмахера.

Мосье Энно пошел ему навстречу, радостно улыбаясь. Руку генерала он пожал обеими руками.

— Рад приветствовать вас, генерал! О,— удивился он,— да вы с портфелем?!

Генерал и в самом деле держал подмышкой, прижимая локтем, элегантный портфель тонкого шевро с золотыми монограммами.

— Да,— ответил генерал,— здесь только цифры. Количество винтовок, пулеметов, орудий, количество патронов и снарядов, которые необходимы немедленно для вооружения частей добрармии, формирующихся в Одессе, Херсоне, Николаеве и Тирасполе. Я уверен, что именно для этого вы меня и пригласили.

Он положил портфель и сразу же стал его расстегивать. Но мосье Энно мягким движением ладони прижал руку генерала вместе с портфелем к столу.

— Мы внимательно рассмотрим все это, генерал, после ленча у адмирала Болларда.— Консул взглянул на часы.— О, без четверти два. Мы можем опоздать! Мы, французы и русские, не так уж пунктуальны, но англичане необыкновенные педанты. Н-эс-па [1], генерал? Ведь адмирал Боллард вам звонил?

---

[1] Не правда ли? (*франц.*)

— Да. Он просил меня в два быть у него.

— Вот видите. Это будет обыкновенный ленч, задушевная беседа трех джентльменов. Здесь недалеко, и мы с вами пешком пройдемся до «Лондонской». Но я позволил себе предварительно пригласить вас сюда.— Мосье Энно внушительно посмотрел на генерала, вкладывая в свой взгляд всю дипломатическую многозначительность, на какую только был способен.— Ибо я, как полномочный представитель Антанты, в развитие моих особых полномочий, хотел бы до этого предупредить вас...

Гришин-Алмазов смотрел выжидательно, готовый ко всему.

Тогда консул Франции сказал:

— Я еще вчера отправил депешу генералу Франшэ д'Эспрэ, главнокомандующему армий Антанты на Востоке...— Эту маленькую ложь мосье Энно разрешил себе с легким сердцем, исключительно во имя престижа Франции, ну и чтобы насолить адмиралу Болларду, английскому представителю.— В этой депеше я прошу командующего армиями Антанты на Востоке, главного руководителя оккупации юга России, дать согласие на ваше, генерал, назначение генерал-губернатором города Одессы...— мосье Энно мило улыбнулся,— со всеми вытекающими из такого назначения последствиями.

Генерал Гришин-Алмазов наклонил голову и щелкнул шпорами.

— Когда я должен приступить к исполнению своих обязанностей?

Но мосье Энно, должно быть, не услышал вопроса, погруженный в свои высокие думы. Он произнес задумчиво, больше для себя, чем для собеседника:

— Да, да! Большевизм — это огромная опасность. И на всех большевиков, знаете, тюрем не напасешься... Я хочу сказать, что большевиков на свете, к сожалению, больше, чем мест в тюрьмах. Надо находить другие способы, чтоб избавиться от этой заразы...

— Когда я должен приступить к исполнению своих обязанностей? — еще раз спросил генерал Гришин-Алмазов.

— О! Через два-три дня. В ту же минуту, как нога первого солдата оккупационной армии Антанты ступит на берег Одессы...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

И вдруг все остановилось.

Стачка началась в восемь, когда на заводах должна была заступать утренняя смена.

Заводские гудки на Пересыпи, за Чумкою, у Заставы и под

Татарским шляхом загудели, как всегда, за четверть часа до начала работы. Они прогудели трижды: без четверти восемь, без пяти восемь и ровно в восемь. Но не застучал после этого ни один станок, не зашелестела ни одна трансмиссия. У заводских ворот — и на Пересыпи, и за Чумкою, и у Заставы, и под Татарским шляхом, а также перед подъездами более мелких фабрик, разбросанных по разным районам города,— не появилось ни единого человека. Охрана у подъездов, табельщики в проходных, мастера в цехах стояли растерянные. А впрочем, табельщики тоже в большинстве случаев бастовали, бастовал и кое-кто из мастеров.

Трамваи, выйдя на линию, как всегда, еще до рассвета, уже в половине восьмого потянулись порожняком обратно в парки и депо. К восьми прибыли уже последние — из Люстдорфа, Большого Фонтана и Куяльника. «Ватманы» клали на стол в диспетчерской свои ключи, «кондуктриссы» сдавали сумки с мелкой утренней выручкой и катушки нераспроданных билетов. Только один трамвайный вагон остался стоять, перегородив Канатную улицу, на повороте к Куликову полю. Вагон задержался на обратном маршруте с Хаджибеевского лимана, и прекращение подачи тока застигло его на полдороге. Вагон стоял пустой, брошенный бригадой, и уличные мальчишки играли в нем «в ватмана и кондуктриссу»: в качестве билетов продавались золотистые листья платана, мелочью служили шершавые, почерневшие листочки белой акации.

В восемь прекратила подачу воды и водонапорная станция в селе Беляевке. Супруга великого князя Михаила Александровича и фрейлины императорского двора, занимавшие в «Лондонской» номера от шестнадцатого до двадцать второго, остались в это утро неумытыми. Они освежились без мыла — нарзаном и ессентуками номер двадцать.

Многочисленный сброд всероссийских и всеукраинских беженцев, а также офицеры всех армий, дислоцированных или еще только формирующихся сейчас в Одессе, не пили в это утро кофе и не завтракали: все рестораны и кафе были закрыты, гостиничная прислуга бросила дежурства, на уличных буфетах и киосках висели замки.

Не загремели и шторы на дверях и витринах магазинов. Отдельные мелкие лавчонки, в которых хозяева обходились без приказчиков, открылись было в восемь. Но в половине девятого в лавочки заглянули пикеты забастовщиков.

— Продаешь? — спрашивал пикетчик.

— Продаю. Чего желаете?

— А душу свою не продашь?..

Лавочники поторопились прикрыть свою торговлю.

Бастовали мастерские, конторы, парикмахерские, даже продавцы сельтерской воды. Бастовали мальчишки-газетчики и посыльные — «красные шапки».

Работа конного транспорта на улицах тоже остановилась: извозчики не выехали с бирж.

Из чистильщиков сапог на всю Одессу работал только один — в вестибюле «Лондонской». Это был отставной полковник князь Володарь-Курбский, который освоил ремесло чистильщика еще в дни Октябрьского переворота, в знак протеста против изменения социального режима России.

Город встретил утро немой, мертвый, неправдоподобный. Тысячи приезжих бездельников, которые с утра до ночи фланировали по Дерибасовской и заполняли кафе и пивные на Ришельевской, сидели с перепугу по домам, так как сочли за лучшее не появляться на улице: разнесся слух, что точно в десять должно произойти всеобщее восстание.

Следом за этим слухом пошли разговоры, что до вечера будут вырезаны все аристократы, домовладельцы и лавочники, а также заодно с ними и все бывшие царские чиновники, нынешние служащие гетманских учреждений, офицеры всех армий, интеллигенты с паспортами не одесской прописки — словом, все, у кого на ладонях при общем осмотре не будут обнаружены мозоли.

Старая Одесса спокон века славилась как место возникновения диковинных и несусветных слухов и сплетен; не было на свете города, столь богатого самыми невероятными и чудовищными измышлениями. Однако таких небылиц, какие разнеслись по городу этим утром, не знала даже старая Одесса.

Рассказывали, например, что русские большевики приобрели в Америке тысячу аэропланов и две тысячи аэростатов с пассажирскими гондолами, посадили на этот воздушный флот всю Красную Армию, и не позже чем после обеда большевики должны уже приземлиться на Куликовом поле и объявить в Одессе Черноморскую коммуну.

Говорили и наоборот: что из катакомб вышел вторично воскресший Иисус Христос и во главе двенадцати тоже воскресших апостолов движется уже от Куяльницкого лимана, уничтожая огнем и мечом всех, у кого печать антихриста на лбу и красный партбилет в кармане.

Циркулировали также неопределенные слухи, что Мишка Япончик объявил себя всероссийским монархом и на помощь ему идет десант двунадесяти языков, который должен привезти с собой гроб господень из Иерусалима и окрестить Мишку Япончика в христианскую веру.

Смельчаки, которые отваживались высунуть нос за ворота своего дома, потихоньку прокрадывались к Николаевскому бульвару, чтобы взглянуть на Большой и Малый рейд и на порт — не идет ли десант Антанты?

Но порт тоже бастовал.

Огромный, самый большой на Черном море, порт, не умолкавший ни днем, ни ночью, сколько себя помнили старейшие

из одесских старожилов, сегодня был мертв, точно после моровой язвы. Не двигались товарные эшелоны по густой сети подъездных путей, не сновали между стрелками пискливые кукушки, не скрипели лебедки на причалах; в пяти гаванях и на пяти молах не было ни одного ломовика с упряжкой першеронов, ни одного грузчика с крюком на спине, не видно было даже ни одного пьяного загулявшего матроса.

Зеркало бухты было неподвижно,— казалось, оно застыло, как стекло.

Только моторный бот начальника порта суетливо метался туда и сюда — от причала к причалу, от мола к молу, за волнорез и обратно. Начальнику порта самому пришлось взяться за штурвал — портовые мотористы тоже бастовали.

Тишина стояла над портом, тишина нависла над городом. И только ревуны на Фонтане, за монастырем, у выхода из бухты, неумолчно ревели, точно возвещая шторм. Но ждать шторма не было оснований, море едва колыхалось, стояла на диво тихая погода. Чайки садились на воду.

На Большом рейде, как и вчера, как и позавчера, поднимались в небо четыре дыма. Это застыли на якорях два французских и два английских корабля. Они стояли здесь уже не первый день и не гасили топок, но и к пристани не приближались. Они ждали прибытия всей эскадры. Это были только квартирьеры будущей оккупационной армии.

Квартирмейстеры интервентов сошли на берег и готовили казармы. Но сегодня и казарменные корпуса не ремонтировались: каменщики, штукатуры, плотники на работу не вышли — всеобщая забастовка!

Условия забастовки были такие: освобождение из тюрьмы политических заключенных, свобода собраний и слова, легализация Совета рабочих депутатов.

Руководил стачкой Центропроф, который объединял все профсоюзы, кооперативные общества, а также и некоторые группы неорганизованных трудящихся «индивидуальной квалификации» — ремесленников, мастеровых, рыбаков. В совете Центропрофа представлены были все партии: большевики, меньшевики, эсеры, анархисты, бундовцы, поалей-цион. Большевистская фракция внесла предложение о стачке и собрала большинство голосов, потому что идея саботажа, идея сопротивления монархистской гетманской власти была жива и среди инертной части профсоюзных масс, еще пребывавших под влиянием эсеров и анархистов. Представители большевистской партии, бывшей вне закона, а значит, и на нелегальном положении, вышли из подполья и явились на заседание совета профсоюзов. Возглавлял большевистскую фракцию по поручению подпольного обласкома матрос Иван Голубничий.

Матрос Иван Голубничий собственноручно и водрузил над входом в помещение Центропрофа красный флаг.

Однако меньшевики немедленно же созвали межфракционное совещание представителей партий и поставили вопрос о флаге на обсуждение. Меньшевики доказывали, что поднятие красного флага — знамени революции — может быть расценено существующей властью как попытка политического переворота, то есть как сигнал к захвату власти в городе. К этому — к политическому перевороту и к власти — по мнению меньшевиков, трудящиеся России и Украины еще не были готовы. Кроме того, в случае, если бы стачка закончилась победой трудящихся и все требования бастующих были бы приняты, удовлетворение третьего пункта требований — легализация Совета рабочих депутатов — фактически означало бы провозглашение в городе советской власти. На это меньшевики, а за ними и эсеры, анархисты, бундовцы и поалей-цион пойти никак не могли.

Большевики, отстаивавшие красное знамя над стачкой, были теперь в меньшинстве. Флаг был снят.

Снял его собственноручно председатель межфракционного совещания партии меньшевик Градов-Матвеев.

Иван Голубничий запросил подпольный областком — как же быть?

Связь с областкомом осуществлялась путем «живой веревочки»: десять моревинтовцев-комсомольцев под командой Коли Столярова беспрерывно циркулировали эстафетой между помещением Центропрофа и конспиративной квартирой областкома.

Где располагалась во время забастовки конспиративная квартира областкома, не было известно никому. Адрес ее знал только Коля Столяров, бывший последним узелком веревочки.

Конспиративная явка областкома на время забастовки — для руководства большевистскими тройками в бастующих коллективах — была устроена на Товарной станции. Железная дорога не бастовала, и это создавало особо выгодные условия для концентрации здесь конспиративных связных. Со всех концов города, со всех заводов прибывали сюда связные от троек, и отсюда — из конторы дежурного паровозных бригад, где выписывались наряды машинистам, помощникам и кочегарам на очередные рейсы,— связные разносили указания во все концы города. Сюда и направился Коля Столяров.

В дежурке паровозных бригад Одессы-Товарной работал в этот день старый машинист Куропатенко — большевик, член областкома. Машинист Куропатенко еще в прошлом году, после аварии и контузии, вышел на пенсию, на паровозе уже не ездил и перешел на скромную работу конторщика. Но из уважения к долголетней работе на паровозе никто и не отважился бы никогда обратиться к старому Куропатенко как к «конторщику»: старика Куропатенко все попрежнему с уважением называли не иначе как «машинист» или «механик».

У машиниста Куропатенко как раз сегодня случились гости из деревни — кум с племянницей. Работы у дежурного паровозных бригад не выше головы — только выписать наряд, отправить мальчишку-посыльного с нарядом за машинистом, помощником и кочегаром и взять расписку от машиниста, помощника и кочегара на корешке наряда, когда бригада уже явится по вызову на назначенный час. Поэтому кум с племянницей пришли вместе с машинистом Куропатенко, сидели с ним в его конторке и между делом — от одного наряда до другого — чесали языки, перебирая свои семейные дела, обмениваясь замечаниями о видах на урожай в этом году. В дежурку машинистов то входили, то выходили мальчишки-посыльные, вызванные машинисты, помощники и кочегары или члены их семей, с «сундучками» к поезду — и связные от троек среди них были совсем незаметны.

«Кумом» был Александр Столяров; ему областком поручил руководить большевистскими тройками на бастующих предприятиях и держать в руках все подпольные нити забастовки, увязывая их с деятельностью большевистской фракции в легальном Центропрофе. «Племянницей» «кума» была Галя: на время стачки областком выделил ее в помощь Александру Столярову. Столяров, Куропатенко и Галя Мирошниченко составляли руководящую тройку стачечного большевистского центра.

— Передай Голубничему,— сказал Александр Столяров Коле Столярову,— что над помещением меньшевистского Центропрофа красный флаг может и не развеваться. Но пусть знают меньшевистские заводилы из Центропрофа: хотят они этого или не хотят, а будет сегодня же реять над всеми бастующими предприятиями красное знамя пролетарской солидарности.

Затем Александр Столяров обратился к Гале:

— Галя! Тебе придется это взять на себя. Коля со своими моревинтиками тебе поможет.

Галя с Колей Столяровым вышли. Коля «пошел по веревочке», а Галя поспешно двинулась по направлению к Николаевскому бульвару.

2

На долю Сашка Птахи выпало в это утро немало волнений.

От Коли Столярова, связывавшего его с большевистским подпольем, он не получил вчера специальных, на случай забастовки, инструкций: Коля Столяров на комсомольскую явку не пришел, он был спешно поставлен на связь с большевистским стачечным центром. И связной второй линии областной связи Сашко Птаха не знал теперь — что же ему делать?

Как и всегда, Сашко должен был явиться на свое место — на Николаевском бульваре у памятника дюку — и сообщать

по паролю второй линии адрес связного первой линии; теперь это было не кафе Фанкони на Екатерининской, а кабачок «Не рыдай» на Приморской, против Арбузной гавани. Но сегодня Сашко никак не мог усесться на свое место и чистить сапоги. Ведь в таком случае он станет штрейкбрехером? Однако если он не сядет на свое место и не будет чистить сапоги, то... приехавший в город подпольщик не попадет на первую линию связи и не получит явки...

Как же теперь Сашку быть?

Не зная, с кем посоветоваться, Сашко на свой страх решил бастовать «по-итальянски». Он явился на место работы, но основного орудия производства — ящика — не взял. Таким образом он был избавлен от необходимости принимать заказы на чистку сапог. А для того, чтобы тот, кто, возможно, будет искать чистильщика сапог у памятника дюку, нашел того, кого ищет, Сашко сидел со своими двумя щетками в руках — для черного и для желтого гуталина. Он то клал их по обе стороны рядом с собой, то принимался подкидывать вверх, двумя, а то и одной рукой, совершенствуясь в тонком искусстве жонглирования. При этом Сашко напевал и выстукивал пятками о гравий частушки. К полудню Сашко уже ловко жонглировал одной рукой и даже ухитрялся под свист выбивать спинкой щетки о спинку, как двумя ложками, отрывки простейших популярных песен: «Кину кужіль на полицю» или «Семь сорок».

И Сашко не ошибся в своих расчетах.

Сразу после полудня к Сашку вдруг подошел щеголеватый поручик добрармии и, предварительно поинтересовавшись, всегда ли Сашко тут сидит и действительно ли он чистит сапоги, спросил напоследок — где бы сейчас напиться хорошего кофе по-турецки?

Получив в ответ заявление, что кофе теперь пьют только турки, а затем совет попробовать спросить себе кофе в кабачке «Не рыдай», щеголеватый поручик, отходя, подмигнул Сашку совершенно недвусмысленно и даже угостил его папиросой, причем Сашко сразу отметил, что папироска не одесская и не турецкой контрабанды, а московская, фирмы «Гудал».

Сашко был чрезвычайно горд своей догадливостью.

Но никто больше не подходил, и Сашко продолжал томиться без дела, тяжко казнясь, что тратит время зря, когда в городе происходят такие необыкновенные события: всеобщая забастовка, а вот-вот, как казалось Сашку, может вспыхнуть и восстание. Ведь у заводов, может быть, уже собираются рабочие дружины. Или вдруг раздают оружие. А возможно, объявился уже и сам Котовский на черном коне, с саблей наголо в одной руке и факелом в другой — рубать паразитов-буржуев и контру-беляков одной рукой, а другой поджигать завод Гена, мельницу Анатры или дачу Маразли...

А Сашко снова остается в стороне от чрезвычайных рево-

люционных событий, как было в семнадцатом году, когда Старостин и Котовский организовали Красную гвардию, а Сашко был еще совсем пацаном.

И опять Сашко горько пенял на свой возраст, который мешал ему находиться в центре событий и воевать как настоящему большевику, и с завистью поглядывал на каждого мальчишку, который, не связанный необходимостью сидеть на одном месте, бежал себе куда хотел по бульвару. А мальчишек, как назло, сегодня шныряло туда и сюда без счета: ведь они были самыми первыми вестниками всех чрезвычайных новостей и разносчиками неправдоподобных слухов.

И вдруг Сашко увидел, что прямо к нему идет какая-то девушка.

Девушка подошла и остановилась перед Сашком.

Сашко даже перестал жонглировать своими щетками и окинул ее враждебным взглядом исподлобья. Что надо? Чего стала и вытаращилась?

Сашко еще сызмала глубоко презирал женский пол: разве девушки могут быть футболистами, летчиками или революционерами?

Правда, что-то как будто знакомое было во внешности девушки, и Сашко посмотрел внимательнее. Возможно, Сашку уже приходилось когда-нибудь встречать эту девушку в белой матроске под расстегнутым пальто?.. Но разве был в Одессе такой уголок, которого Сашко не знал? Разве могла быть в Одессе девушка, которую Сашку не случалось бы когда-нибудь хотя бы мельком видеть?

— Чего тебе надо? — хмуро буркнул Сашко.

Девушка стояла и улыбалась.

— И с чего б это я смеялся? — рассердился Сашко.— Иди, откуда пришла! А то сейчас как дам...

— Куда же я пойду, если я именно к тебе и пришла?

Сашка осенило: кажется, он чистил когда-то ботинки этой чудачке.

— Сегодня забастовка! — сердито и с нескрываемым пренебрежением к этой гимназисточке огрызнулся Сашко.— И мы, чистильщики, тоже бастуем! — высокомерно прибавил он.— Сегодня уж сама поломай свой буржуйский маникюр об свои «лодочки»!

Девушка громко засмеялась.

— Ведь ты Сашко Птаха! — сказала она.

— Ну и что? — насторожился Сашко. Эта гимназисточка, оказывается, знала его по имени!

— А то, что у меня к тебе дело.— Девушка бросила быстрый взгляд в одну и в другую сторону.— Я к тебе от Коли.

— Какого Коли? — встревоженно, но по возможности равнодушно поинтересовался Сашко.

— От Коли пяти Столяровых.

Сашка кинуло в жар. Морока с этими девчонками! Не могут сразу по-человечески сказать, надо какие-то там смешки и загадки строить! Но раз от Коли пяти Столяровых, значит девушка комсомолка. Понабирали в пролетарский комсомол разных гимназисточек и барышень-интеллигенток — сразу и не разберешь!

Сашко тоже оглянулся налево и направо. Но все было в порядке. На мальчишку со щетками и девушку рядом с ним никто из редких прохожих не обращал никакого внимания.

— Какое у Коли ко мне дело? — спросил Сашко, абсолютно игнорируя возможность, что дело могла иметь к нему сама девушка.

Тогда девушка сказала:

— Ты освобожден с поста.

Ага! Вот это уже было подходяще! Молодец Коля, что не забыл! Сашко облегченно вздохнул. Теперь он подастся куда надо: на Пересыпь, к эллингам Ропита или на Молдаванку, на Товарную. Сейчас он узнает все новости и примет участие во всех событиях...

— Куда же ты? — перехватила его движение девушка.— Я еще не кончила.

— А что такое? — удивился и рассердился опять Сашко.— Ты передала, я услышал. И все. В нашем деле,— поучительно прибавил он,— много болтать не полагается. Ты, верно, из новичков, из интеллигентиков, не ученая еще?

Девушка снова не могла удержаться от смеха.

— Из новичков,— согласилась она,— из интеллигентиков. Но только Коля пяти Столяровых поручил тебе передать, что с этого момента ты переходишь в мое распоряжение и будешь выполнять то, что я тебе скажу.

Сашко оторопел. Что такое? Ему — выполнять приказы какой-то девчонки? Как мог позволить себе такое издевательство над ним комсомольский секретарь Коля Столяров? А еще играли когда-то в одной футбольной команде против бойскаутов!

— Да ты что? — вызверился он на девушку.— Не мог этого сказать Коля Столяров!

— Сколько тебе лет? — укоризненно спросила девушка, не обращая ни малейшего внимания на слова Сашка.— Ты что, маленький?

И Сашко сразу осекся. Не потому, что от этого досадного, самого больного для него вопроса его кинуло в жар, но оттого, что по этому вопросу он вдруг узнал девушку. Ведь это именно от нее он уже раз слышал такой же вопрос. Ведь это именно она с неделю тому назад подошла к нему с тем приветливым человеком, которому Сашко давал явку первой линии к Фан-

кони, а чертов помещик Золотарев чуть не спровадил их куда-то в другое место. Она приехала с подпольщиком — и, значит, сама была подпольщица.

И подпольщица не какая-нибудь там! От Коли Столярова под большим комсомольским секретом — под честное ленинское слово — Сашко теперь знал, кому он дал тогда явку. Этот неказистый, тихий человек прибыл тогда из Москвы главным руководителем всего большевистского подполья в городе Одессе и Херсонской губернии.

Оторопев, стоял теперь Сашко перед девушкой. У него даже перехватило дыхание, когда он прошептал:

— Говорите же, пожалуйста, скорее — что там такое? Что вы хотите, чтоб я сделал?

Девушка непринужденно присела на парапетик бульвара и дернула Сашка за рукав, чтобы он тоже сел. Сашко послушно, но робко присел на краешек. Никого поблизости не было, и девушка говорила, почти не понижая голоса.

— Сашко, ты здорово лазаешь? — спросила она.

— Как это — лазаешь? — не понял Сашко.

— Ну, на деревья взбираешься, на столбы или мачты... На заводскую трубу по лесенке наружной взобрался бы?

— Если за делом,— пожал плечами Сашко,— так могу.

— И не закружится голова там, наверху?

Сашко молча сплюнул через губу. Он не нашел нужным отвечать на такой глупый вопрос. Девчонки, пускай там и высокопоставленные, все равно оставались только девчонками, и говорить с ними было бессмысленно.

— А еще нескольких ребят, человек пять-шесть, которые могли бы полезть на трубу или просто на высокую крышу, можешь найти? Вот сейчас, сразу, за полчаса?

— Конечно! Подумаешь, забота!.. А на что это... лезть? — поинтересовался Сашко.

Тогда девушка придвинулась ближе и сказала:

— Заводы бастуют. Забастовка должна проходить под нашим, пролетарским знаменем. Над заводами должны немедленно появиться красные флаги. Пусть над всей Одессой развеваются знамена Октябрьской революции!

У Сашка даже захватило дух. Революция, кажется, начиналась.

— Господи! Да я сейчас... хоть и десяток найду. Да наши моревинтовцы... да у нас на Ланжероне и Отраде... да возле эллингов, или в порту, или на Пересыпи... А где же флаги?

— За флагами пошел Коля. Через полчаса будут.

Девушка весело смотрела на Сашка.

А Сашко... Сашко уже был влюблен. Вот это девка так девка! И как он сразу не распознал, что имеет дело с настоящей революционеркой, подпольщицей-большевичкой?.. Сашко

уже был влюблен в девушку со всем пылом первого юношеского чувства.

В груди у Сашка замирало. Он уже видел себя на самой высокой трубе — на трубе пивоваренного завода Бродского. Он стоит на самой верхушке, а город — и Пересыпь, и Молдаванка, и Порт — раскинулся у его ног. Только море бушует и пенится вдали, и волна за волной, в гребнях белых барашков, набегает на волнорез и молы. А он стоит во весь рост и размахивает красным флагом — над всем городом, над пересыпскими заводами, над кварталами Молдаванки, над стапелями Ропита и над Ланжероном и Отрадой, где прижался к берегу и его домишко. Отец с матерью выходят из дому и, прикрывшись рукой от солнца, смотрят на красный флаг: «Мама ро́дная, так это ж стоит и машет наш Сашко!» Правда, с Ланжероновского берега трубы пивоваренного завода Бродского не увидишь. Но это не важно,— началась революция, восстание, сейчас будет и победа!.. А не может разве случиться, что в эту минуту и сам Котовский взглянет на трубу — дан ли уже сигнал к восстанию? Увидит Сашка с флагом и вынет саблю из ножо́н: «А ну, хлопцы, пошли рубать беляков да паразитов, уже подан знак с трубы!» Нет, он еще сначала спросит: «А что это за бравый хлопец подал нам сигнал к восстанию? А ну, позовите-ка мне его сюда, я сейчас его сделаю своим личным адъютантом!» Э, чего там звать ребят, только канителиться, Сашко сам нацепит флаги над всеми как есть заводами!

Но Галя отклонила это предложение. Она справедливо заметила, что времени мало и нужно, чтобы через час-полтора флаги были подняты сразу над всеми большими заводами и фабриками.

И Галя с Сашком поскорее двинулись к месту, где их должен был ожидать с флагами Коля пяти Столяровых.

Они торопливо шли опустелыми улицами и жадно ловили каждое долетавшее до них слово немногочисленных прохожих, а чаще — гетманских парных патрулей на перекрестках. Сечевики директории обложили Киев, от Киева до самого Донбасса повсюду вспыхивали антигетманские восстания, а какие-то воинские части с ориентацией на директорию уже заняли станции Вапнярку, Бирзулу, а может быть, и Раздельную и двигались к Одессе. Казаки какого-то атамана Григорьева, еще неизвестно — красного или жовто-блакитного, подхо́дили к Елизаветграду. Да и в самой Одессе, оказывается, объявились не то на Дальних Мельницах, не то в Артиллерийских казармах какие-то петлюровские «охочекомонники», а может быть, и «вольные казаки» или «рыцари Запорожской Сечи» и как будто тоже грозятся напасть на город.

Гетманские патрульные встревоженно спрашивали друг друга: что же будет дальше? И не двинуть ли им по домам, по хатам, пока не поздно?

3

Забастовка ошеломила и парализовала весь город. Обыватели и городские власти никак не ожидали, что рабочие отважатся забастовать, когда вот-вот должен высадиться иностранный десант, несомненно значительный по численности, высокодисциплинированный и хорошо вооруженный. Четыре иностранных корабля дымили на рейде, с минуты на минуту могла войти в бухту и вся эскадра Антанты — и сотни жерл дальнобойной морской артиллерии направлены будут тогда на кварталы города, на фабрики и заводы предместий.

Если рабочие не испугались этой угрозы, значит они тоже обладали немалыми вооруженными силами.

Смертельный страх охватил весь контрреволюционный сброд, всех белых вояк, которые сбились здесь, у моря, в своем последнем пристанище, и чувствовали себя до сих пор более или менее в безопасности, рассчитывая на близкий приход интервентов.

Запершись и забаррикадировавшись в своих временных обиталищах, белая эмиграция судорожно паковала чемоданы, а белые офицеры на всякий случай срезали с плеч золотые погоны. Не придется ли снова бежать? Успеешь ли удрать благополучно? Да и куда собственно бежать? Впереди — море. Разве хватит на всех нескольких пароходов Ропита с николаево-херсонской линии? Да и куда держать курс пароходам? В Новороссийск — под крылышко екатеринодарского генерала Деникина? Или уж сразу за границу — в Румынию, Турцию, Месопотамию, Палестину? Лучше всего, конечно, было бы прямо в Париж и Нью-Йорк. Да только примут ли там непрошенных гостей, пустят ли к себе на порог благополучные американцы и легкомысленные французы? Ах, Антанта, Антанта! Что ж она в конце концов не присылает свой проклятый десант?!

Одесские коммерсанты и предприниматели рвали на себе волосы. Если столько полиции и войска — гетманского, добровольческого, белопольского, еще какого-то там — не могут установить порядок и гарантировать безопасность, если эти обнаглевшие рабочие не боятся бастовать под самым носом у миллионной, быть может, армии Антанты,— что же тогда в мире может гарантировать спокойную жизнь коммерсанту и промышленнику, кто же поставит на место рабочих-большевиков?

Где, наконец, эта чертова Антанта, где обещанный десант? Что себе думает консул Энно в своей роскошной резиденции?

В каждом особняке на Французском бульваре или на улице Маразли, в каждой даче на Фонтанах или в Аркадии, в каждой фешенебельной квартире сановного чиновника, фабриканта или купца, в конторах одесских дельцов и салонах заез-

жих деятелей всероссийской контрреволюции — царил переполох.

Не меньший переполох царил и в «петербургском» модном ателье «Джентльмен», которое только что, всего несколько дней назад, открылось в помещении на Ришельевской.

Владелец ателье, он же главный закройщик, шустрый, вертлявый мосье Николя, сделался, казалось, еще подвижнее и вертлявее. Когда открывалась дверь и в роскошный салон заходил не частый сегодня клиент,— а клиентов с первого же дня открытия повалило в шикарное петербургское ателье более чем достаточно,— Николя бросался клиенту навстречу, хватался за голову и, ероша волосы, восклицал:

— Ваше сиятельство! Ваше высокородие! Ведь они нас без ножа режут! Когда же доблестное офицерство добровольческой армии приберет к рукам этих бунтовщиков, эту чернь? Когда же наши верные союзники сжалятся над муками несчастных обывателей? Вы, ваше сиятельство, на примерку? Один момент! Эй, кто там! Брюки его сиятельству!

Но их сиятельство в большинстве случаев от примерки отказывалось и только мрачно справлялось, раскроен ли уже материал. Если бостон, диагональ или шевиот еще не были раскроены, их сиятельство, облегченно вздохнув, просило завернуть отрез и от заказа своего отказывалось: кто его знает, что будет дальше, а в наше, знаете, время отрез на костюм, да еще добротного английского сукна, ценность, сами понимаете, немалая...

И их сиятельство, подхватив материал подмышку, поскорее направлялось к двери.

Мосье Николя бежал за сиятельством вдогонку до самых дверей, даже за дверь, прижимал руки к груди, умолял, взывал к совести и к богу, высказывал горячую надежду, что все будет хорошо и напасть эта минует — американский президент Вильсон не допустит сюда большевиков! Но все было напрасно: десятки клиентов поторопились еще с утра отменить свои заказы.

Некоторые из клиентов — более доброжелательные и человеколюбивые — давали совет и самому мосье Николя:

— А вы бы тоже того... подумали о своих перспективах... Очень возможно, что придется ехать дальше... Во всяком случае, подумайте хотя бы о вывеске... «Джентльмен», «мосье Николя» — этим архаровцам, большевикам, можете, знаете, и не прийтись по вкусу... Вы же, мосье Николя, не иностранец, не француз какой-нибудь. Вероятно, попросту Николай... русский?..

— Николай Иванович! К вашим услугам. Истинно русский, патриот. Это, знаете, только название фирмы... Так сказать, стиль духовного аристократизма... Вы не думайте, мы люди просвещенные, разбираемся во вкусах и тонкостях высшего света...

— То-то и оно... Имейте все-таки в виду, Николай Иванович...

И двери за добросердечным клиентом закрывались.

Двери закрывались, и главный закройщик мосье Николя оставался со своими мастерами и подмастерьями.

Тогда он переставал взывать к богу, совести и престижу американского президента Вильсона, возвращался к столам, за которыми сидели без дела портные, так как и они должны были бастовать, и продолжал прерванную приходом посетителя речь:

— Так вот, товарищи! Наша тактика по отношению к меньшевистской части Центропрофа должна логически вытекать из ленинского тезиса об отношении к мелкобуржуазным партиям... Центральный Комитет проводит сейчас в Москве систематические собрания партийного актива по важнейшим вопросам партийной политики. На одном из таких собраний, где выступал Ильич, посчастливилось побывать и мне. Ленин говорил о том, что политика меньшевиков и эсеров наглядно доказывает, что считать их социалистами — ошибка. Социалистами они были разве что только по фразеологии, да и то в прошлом... Выступая перед коллективом рабочих на фабрике или заводе, каждый из вас это блестящее ленинское определение должен иллюстрировать примерами из местной жизни: показывать, как меньшевики и эсеры всякий раз, где только могут, предают интересы рабочего класса, интересы пролетарской революции... За примерами ходить не далеко. Только вчера одесская меньшевистская газета «Южный рабочий» приветствовала приход интервентов. Вот строчки из ее передовой: «Вступление союзников на территорию России — событие большой политической важности, оно может повлечь за собой самые благоприятные последствия...» Так же обстоит дело и с украинскими националистами. Выплывает на поверхность «Украинская директория» во главе с авантюристом Петлюрой с лозунгом старой «самостоятельности» на «новый» лад,— новая, более удобная, нежели «гетманство», ширма для новой, англо-французской, оккупации Украины... Ведь директория ориентируется именно на украинское кулачество, городскую мелкую буржуазию и буржуазно-националистическую интеллигенцию, которых на Украине несравненно больше, чем крупных украинских и русских помещиков, на которых ориентировалась гетманщина. Отсюда и демагогические призывы директории — против «панов» и «земельной аристократии» и за «труженика хлебороба», независимо от размера его «мелкой» собственности. Директория хочет силами украинских землевладельцев-кулаков отобрать землю у русских и польских помещиков, да и у крупных украинских: несколькими «национальными» магнатами они уж согласны пожертвовать — и отделиться от России, чтобы создать свое буржуазное государство, по образцу любого другого капиталистического

государства. Ясное дело, что Антанте выгодно использовать борьбу украинских националистов-сепаратистов против России, раз эта Россия — рабоче-крестьянская, большевистская. А уж потом они найдут способ прибрать украинских сепаратистов к рукам и легко превратят буржуазное украинское «государство» в свою колонию, на манер десятков и сотен других номинально «независимых», а фактически эксплуатируемых Англией, Францией и Соединенными Штатами государств...

«Владельцем», то есть «мосье Николя», был Николай Ласточкин, а «петербургское ателье «Джентльмен» — главной конспиративной квартирой большевистского подполья. Здесь проводился инструктаж агитаторов, осуществлялось руководство подпольными большевистскими группами заводских комитетов; сюда под видом свертков с отрезами на костюм приносилась подпольная литература, отсюда в пакетах с готовым платьем литература распространялась по городу.

Мастера, подмастерья и изрядное количество учеников и учениц «школы кройки и шитья» — все это были подпольщики-большевики или комсомольцы и комсомолки — связные.

Сюда же временно дана была явка для загородной связи и для подпольщиков, которые прибывали из Киева, Харькова и Москвы, направленные Центральными Комитетами РКП(б) и КП(б)У. Явка в ближайшее время должна была быть перенесена в другое место — во избежание провала.

В первом часу в мастерскую зашел щеголеватый поручик добрармии.

Мосье Николя оставил свою «школу кройки и шитья» и поспешил элегантному поручику навстречу.

— Пожалуйте! Пожалуйте! Заходите! Рады вас приветствовать в «Джентльмене»!.. К вашим услугам!

Поручика главный закройщик видел впервые. Он не мог припомнить, чтоб этот элегантный офицер заказывал себе френч, галифе или бриджи. Но в руке у офицера был чемоданчик крокодиловой кожи, и в этом чемоданчике, несомненно, находился отрез; поручик, очевидно, собирался заказать себе что-нибудь из одежды. Это был первый заказчик за сегодняшний день, и мосье проявил чрезвычайный восторг.

Уверениями, что во всей Одессе не найти лучшего ателье, чем «Джентльмен», особо специализировавшийся на армейских фасонах, так как теперь настоящие «джентльмены» только офицеры, мосье Николя и приветствовал поручика.

Гость с любопытством разглядывал роскошный салон, пока красноречие услужливого закройщика не иссякло. Потом он небрежно произнес:

— Я хотел бы из английской шинели сшить походный френч и галифе. Материал английский, расчет — на франки...

Мосье Николя еще не перестал быть главным закройщиком,

но уже до некоторой степени стал и Николаем Ласточкиным. Удивленный, он сказал:

— В нашем ателье есть последние заграничные журналы мод. Может быть, интересуетесь посмотреть новинки? Тогда прошу ко мне в кабинет...

Ласточкин прошел вперед, поручик следом за ним. Ласточкин открыл двери своего кабинета и, галантно шаркнув на всякий случай, пропустил клиента вперед. Двери за собой он прикрыл.

В ту же минуту у дверей в небольшом коридорчике, отделявшем кабинет от салона, встали две ученицы — Катюша и Вера. В руках у каждой под фартучком был браунинг.

Когда дверь была плотно прикрыта. Ласточкин остановился у стола.

— Ну-с?

— Чайки садятся на воду...

— Будет на море погода,— ответил Ласточкин.

Они посмотрели друг на друга.

— Откуда?

Поручик не отвечал. Он поставил чемодан на стол и отодвинул петельку замочка. Из-под петельки он ногтем вынул бумажный шарик. Расправив бумажку, он протянул ее Ласточкину.

Ласточкин читал долго и внимательно, несмотря на то, что на крохотной бумажке было всего несколько слов мелким, едва различимым почерком.

Наконец, он улыбнулся и протянул руку.

— Здравствуй! Садись, товарищ Долгополов!

— Жак Эллин...

— С сегодняшнего дня — Жак Эллин. А для первого знакомства пускай еще будет Долгополов.

Щеголеватый поручик, иначе говоря — товарищ Долгополов, он же Жак Эллин, спросил:

— Товарищ Смирнов?

— Он самый. Тоже для первого знакомства, а в дальнейшем — только Николай Ласточкин.

Они оба засмеялись. И Ласточкин сказал:

— Когда же ты успел? Я прямо поражен был, когда услышал про английскую шинель, походный френч и расчет на франки! Ведь всего три дня, как мы сообщили, что прибывают французы, и передали этот пароль в Москву! А тут же такая территория — тысяча километров и полсотни всяких «властей»!

— Ну, уж и полсотни! — улыбнулся Жак Эллин.— Всего полдесятка: большевики, гетманцы, петлюровцы, немцы и добрармия. Из Москвы специальным маршрутом до самой линии фронта. А фронты сейчас переходить нет ничего легче: где — леском, где — ярком, а где и чистым полем, лишь бы от села

к селу пробраться. Тяжело было только здесь, уже поблизости: с той стороны петлюровские заставы, а с этой — и гетманцы, и добрармия, и белополяки. Пришлось купить этот костюм у какого-то пьяного поручика в Вапнярке,— как раз впору пришелся, а деникинская форма тут в наибольшем почете — никто и документов не спрашивает. Приказ партии: не терять ни минуты! В Москве думали, что французский десант высадится еще вчера...

— Мы и сами так думали,— сказал Ласточкин.— И что же, ты только один?

— Первый, а не один. Через неделю, через две будет еще человек пять.

— А настоящие французы будут?

— Во главе группы — француженка из иностранного отдела ЦК, Жанна Лябурб. Она заканчивает подбор людей.

— Здорово! Французы нам тут будут во как нужны! А то у нас на подготовке пропагандистских материалов сидит пока одна Галя Мирошниченко.

— Мирошниченко? Галя? — обрадовался Жак Эллин.— Разве и она здесь?

— Здесь. Вместе со мною приехала. А ты разве ее знаешь?

— Галю? — Жак чуть заметно покраснел.— Знаю...

— Вот и хорошо. Вместе будете работать.

Жак Эллин, по всей видимости, был вполне доволен такой перспективой.

— А ты французским языком свободно владеешь? — поинтересовался еще Ласточкин.

— Полжизни во Франции. Отец — эмигрант, я там и родился, а после девятьсот одиннадцатого года сам во Францию же эмигрировал. И в армию французскую призывался, во флот. Только в семнадцатом и вернулся домой.

— Здорово! — обрадовался Ласточкин.— Вот это нам и нужно!..

Они разговаривали долго. Жак привез указания и инструкции из Москвы. Все это было только в памяти, ни слова на бумаге, и все надо было сообщить немедленно, пока память не изменила. Они говорили часа два — до сумерек. Разговор прерывался только тогда, когда звякал звонок на дверях и в ателье заходил очередной, редкий сегодня, посетитель. Тогда Ласточкин немедленно превращался в «мосье Николя» и спешил в салон — извиняться, возмущаться, уговаривать, взывать к богу и к совести американского президента Вильсона. Затем он возвращался, и беседа продолжалась. Вера и Катюша уже оставили свой пост у двери: прибыл свой!

В обеденную пору Катюша постучала в кабинет главного закройщика.

— Галя с нашими комсомольцами,— с восторгом, да и не без гордости, сообщила она,— водрузили красные флаги на за-

водских трубах на Пересыпи и на эллингах Ропита! Везде перед заводами собираются толпы, смотрят на флаги и поют Интернационал!

— Здорово! — похвалил Ласточкин.— Добьемся ли мы удовлетворения наших требований, это еще будет видно, но настроение народа уже проверено: боевое настроение, Жак! Пролетариат Одессы с нами, с большевиками!

И тут же Ласточкин заторопился:

— Ну, Жак, сегодня ты отдыхай, сейчас укажем тебе квартиру. А мне еще надо на два-три завода... инкогнито, а потом к врачу...

— Болеете, товарищ Николай?

— Да что-то...— Ласточкин лукаво подмигнул,— кости ломит, поясница ноет — не ревматизм ли?..

4

Митинг в Главных железнодорожных мастерских возник как бы стихийно.

С самого утра все участки железнодорожного узла охватило беспокойство. Ночная смена возвращалась домой, дневная как раз выходила на работу; рабочие останавливали друг друга и расспрашивали о забастовке в городе. Много вопросов их волновало, но в конце концов это был все тот же один вопрос: почему город бастует, а мы нет? Что думает себе Учкпрофсож — Участковый комитет профсоюза железнодорожников? Почему это мы, железнодорожники, прославленный своей организованностью отряд пролетариев, не выступаем вместе со всем пролетариатом? Почему железные дороги — «нервы страны», способные в один миг парализовать деятельность всего государственного аппарата,— продолжают обслуживать проклятый гетманский режим? Давай сюда наших профсоюзных «вождей»!..

Руководители Учкпрофсожа, депо и мастерских до обеденного перерыва всячески уклонялись от встречи со своими «массами». Всем гонцам, которые уже с утра начали прибывать в Учкпрофсож с разных участков узла, ответ был один: указаний из центра нет, продолжайте спокойно работать. Руководство Учкпрофсожем в Одессе, как, впрочем, и на всех других железных дорогах Юга, недавно, после подавления во время немецкой оккупации двухмесячной забастовки железнодорожников, прибрали к своим рукам меньшевики, а позиция меньшевиков в отношении забастовок оставалась неизменной: никаких забастовок не допускать! К тому же под утро в ответ на запрос Учкпрофсожа, как реагировать на объявление забастовки в городе, по прямому проводу из Киева была получена и директива от Дорпрофсожа, Дорожного комитета союза,— не реагировать!

Но когда в обеденный перерыв рабочие Главных мастерских собрались в пролете центральной галереи и заявили, что не вернутся к станкам, профсоюзные «вожди» переполошились. Непослушные массы собирались, похоже на то, выразить солидарность вовсе не со своим профсоюзным центром, а... с пролетариатом города.

И руководители мигом спустились со своего «Олимпа» — бывших «царских покоев» на втором этаже пассажирского вокзала, занятых теперь руководством профсоюзного движения,— поспешно сели на дрезину и сломя голову помчались к Главным железнодорожным мастерским, постоянному очагу крамолы. Весть об этой неожиданной активизации профсоюзной верхушки молниеносно распространилась от вокзала до Товарной, от блок-поста до блок-поста — и со всех концов огромной территории железнодорожного узла и из окрестных железнодорожных поселков люди валом повалили к мастерским. Маневровая «кукушка» «Ь» в это время не умолкая оглашала окрестности на много верст вокруг своим отчаянным, пронзительным гудком, сзывая трудовой железнодорожный народ. Распоряжения дать тревожный гудок «кукушка» ни от кого не получала, но машинистом на ней был большевик Козлов, и он самолично принял такое решение, исходя из своего понимания политической обстановки: раз народ собирается и требует митинга, митинг должен состояться в самом широком составе!

Ласточкин получил сообщение о митинге «по веревочке» от Коли Столярова и поспел как раз к началу.

В галерею Главных мастерских его провел Куропатенко. Ивану Федоровичу пришлось для этого случая сменить свое элегантное пальто и каракулевый пирожок на потрепанную серую шинельку и черную фуражку с топориком и якорем. С обстановкой Куропатенко познакомил Ласточкина еще по дороге, когда они торопливо шли по путям: работу в Главных мастерских первыми оставили рабочие-большевики — по указанию большевистской стачечной тройки,— для того, чтобы железнодорожный райком партии мог организовать «стихийный» митинг.

Митинг нужен был, чтобы всколыхнуть всю многотысячную массу железнодорожников и, вопреки стараниям меньшевиков, включить железнодорожный узел в забастовку.

Когда Ласточкин и Куропатенко вошли в центральную галерею, руководство Учкпрофсожа уже поднялось на импровизированную трибуну — площадку товарного пульмана. Вокруг все свободное пространство широкого пролета между станками и самые станки залиты были бурлящей многотысячной массой людей. Здесь были рабочие и мастерских, и ремонта пути, и персонал поездных бригад, и рабочие депо и Товарной станции. Голоса родили гулкое эхо под сводами высокого стеклянного колпака огромной галереи, шум волнами перекатывался из

конца в конец. Учкпрофсожевцы сгрудились на платформе вагона, со всех сторон раздавались возгласы: «Тише, тише!» — но гам от этого только возрастал. Председатель Учкпрофсожа стоял у борта платформы и что-то кричал. Видно было, как губы его шевелятся, но ни одного слова услышать было невозможно. На председателе Учкпрофсожа была тужурка с малиновыми кантами и фуражка с красным верхом. Это был помощник начальника станции Вариводенко, он же — председатель Участкового комитета, он же — атаман «железнодорожного куреня», националистической организации, пытавшейся расколоть союз железнодорожников на два: союз железнодорожников русских и союз железнодорожников украинцев.

Наконец, когда Ласточкин и Куропатенко пробились сквозь толпу уже на середину пролета, поближе к платформе, Вариводенко удалось кое-как установить тишину.

— Панове громадяне! — крикнул Вариводенко в мегафон, предусмотрительно захваченный им из профсоюзного митингового реквизита.

И шум сразу вспыхнул с новой силой.

— Нету панов! — раздавались возгласы.— Ищи себе панов на Французском бульваре! Паны в «Лондонской» шустовский коньяк дуют!..

— А «товарища» забыл? — неслось со всех концов.— Забыл, гетманский прихвостень!

— В Брянском лесу ваши «товарищи»! — послышалось в ответ из первых рядов, окружавших вагон.— Волками ваши «товарищи» воют!

В первых рядах, у вагона, собрались члены «куреня» — оплот и опора националистов в союзе железнодорожников.

— Волк тебе товарищ! — кричали они и, сунув два пальца в рот, оглушительно свистели.

Прошло не меньше пяти минут, пока Вариводенко получил возможность продолжать свою речь.

Выступление его заняло тоже минут десять, хотя состояло оно всего из нескольких фраз. Каждая фраза, чуть не каждое слово вызывало новую бурную реакцию. Тысячи кричали: «Долой!» — и требовали, чтобы сбросили Вариводенко с платформы на кучу шлака, а «куренные» возле платформы орали и требовали удаления с митинга «большевиков». В речи своей председатель Учкпрофсожа и атаман «железнодорожного куреня» заявил, что считает это собрание незаконным, поскольку созвано оно помимо профсоюзных органов. Он призывал всех разойтись и приступить к работе. Он прибавил еще сверх того, что и действия городских забастовщиков он считает преступными, ибо забастовка в городе, нарушив нормальную жизнь, будет на руку только темным элементам, в особенности анархистам Мишки Япончика, которые, воспользовавшись темнотой и беспорядком, намерены этой ночью дочиста ограбить город.

Свист, выкрики и шум после окончания «речи» снова не умолкали добрых пять минут и закончились бы дракой между рабочими и «куренными», если бы в это время не взобрался на платформу с другой стороны какой-то рабочий в потрепанном матросском бушлате.

Оторвав от своего бушлата цепкие руки членов Учкпрофсожа, пытавшихся его задержать, рабочий в бушлате подошел к борту платформы и стал рядом с Вариводенко.

— Братцы! — крикнул он, уклоняясь от наскоков Вариводенко, который тоже хотел помешать ему говорить и вопил, что «слова никому не давал».— Раз такое дело, что в городе забастовка, так сказать, закон классовой борьбы в действии, так пускай в этом и разбирались бы не наши профсоюзные «субчики», а настоящий орган пролетарского представительства. Пускай скажет свое слово Совет депутатов! Хватит Совету сидеть за печкой! Пусть берет в свои руки...— Он на миг замялся, потом, чтоб не сбиться на небезопасный сейчас политический лозунг, закончил: — Словом, пускай берет и скажет нам свое слово, как тут быть.

Когда шум, сквозь который прорывались возгласы: «Верно!», «Правильно!», «Пускай Совет даст о себе знать!» — ослабел, Вариводенко воспользовался минутой относительной тишины и поспешил дать разъяснения.

— Совет депутатов, панове громадяне, не существует. Правительство пана гетмана не разрешило его легальной деятельности, и вообще никому не известно, есть ли он, или, может быть, его и совсем нет...

— Врешь! — неслось со всех сторон.— Есть Совет! Только в подполье! Пускай выходит из подполья! А не то из подполья скажет свое слово! Пускай руководит стачкой!

«Куренные» засвистели и завизжали:

— В Брянском лесу твой Совет!

Но их заглушили другие голоса. Эти голоса кричали:

— В Совете меньшевики верховодят! Еще раз продадут, как при немцах продали!

Снова поднялся шум и никак не мог улечься. «Куренные» свистели и орали, из пролета тоже неслись выкрики. Кто кричал: «Пускай Совет скажет свое слово!» Кто: «Вон из Совета предателей!»

Ласточкин толкнул локтем Куропатенко.

— Ну, Куропатенко,— сказал он,— придется тебе. Тебя знают и будут слушать. Не говори о том, что ты большевик,— слишком тут много «куренных» и всяких шпиков,— но что надо сказать, ты знаешь...

Куропатенко молча кивнул и стал протискиваться сквозь толпу, плечом пробивая себе дорогу. Машинально и Ласточкин двинулся за ним. Оглядываясь, он видел, что несколько рабочих из разных концов таким же образом таранят толпу,

пробираясь ближе к платформе. Вид у них был сосредоточенный и решительный, иногда они переглядывались друг с другом. «Наши!» — понял Ласточкин и вдруг весело засмеялся.

— А ты зубы не скаль! — сразу же прикрикнул на него какой-то угрюмый пожилой рабочий.— Это тебе не смешки, дело серьезное!

Рабочего в бушлате члены Учкпрофсожа тем временем все же столкнули с платформы. Теперь он барахтался среди «куренных» и тех, кто пытался ему помочь: одни тащили его куда-то в одну сторону, другие вырывали его из их рук и тянули к себе. Бушлат был на нем уже расстегнут и воротник разорван.

Но Куропатенко не успел еще добраться до вагона, как на платформе, неизвестно откуда, снова появился непрошенный и не просивший слова оратор.

Это был уже старичок. Вскарабкавшись на платформу и встав перед толпой, он скинул свой старенький, потрепанный кожаный картузик, и его примятые околышем седые волосы упали ему на лоб, на очки в тонкой железной оправе. Он поправил прядь заскорузлыми пальцами, изъеденными зелеными и рыжими пятнами кислоты, и поднял руку. Был это, очевидно, старый слесарь и многим известный человек, так как со всех сторон послышались возгласы:

— Кондратьич объявился! Гляди, Кондратьич хочет говорить!

Старый слесарь Кондратьич заговорил, и хотя голос у него был тихий, слышно его было всем, потому что в галерее сразу же водворилась тишина.

— Имею вопрос к нашему уважаемому руководству,— сказал старичок вежливо, даже отвесив поклон в сторону главарей Учкпрофсожа.

— Спрашивай, Кондратьич! — закричали в толпе.— Спрашивай! Пусть хоть старому человеку правду скажут!

Но тут же раздались и другие голоса:

— А чего спрашивать? А что старик хочет узнать?

— За бога и церковь интересуешься, старичок? — долетела насмешливая реплика.

Старичок откашлялся и поправил очки.

— Нет,— все так же тихо и вежливо продолжал он.— Про бога и церковь тоже вопрос имею, но сейчас не ко времени о божественном речь вести. Дозвольте спросить вот о чем...

Он на мгновение умолк, снова поправил очки, но толпа ждала, а на кого-то зашумевшего сзади шикнули.

— Были здесь у нас и, натурально, по всей Украине интервенты немецкого кайзера Вильгельма и австрийского монарха Франца Иосифа, да только на сегодняшний день от них мало что и осталось...

В толпе прокатился смех.

Старичок переждал, пока смех утихнет, и продолжал:

— А теперь вот вся буржуазия нашего города — и правде и господу богу вопреки — снова поджидает иноземной интервенции от короля английского, от короля итальянского, а может, и от самого президента американского. Вон на Малом рейде — о том люди говорят, а в точности сказать не могу, потому сам не видел, проживая здесь, возле Чумки, и ходить далеко, к морю, по причине болезни ног не гожусь,— будто бы стали уже на якорь корабли и американские, и английские, и итальянские...

— Французские! — закричали из толпы.

— Английские,— возразил кто-то в другом конце.

— И французские, и английские, и итальянские!

— Брешешь! Итальянских нету!..

Пока в толпе спорили, какие стоят на рейде корабли, старичок приглаживал волосы и поправлял очки — они все сползали ему на кончик носа. Но только галерея притихла, он сразу же этим воспользовался.

— Так вот, спрашиваю я: а на что нам снова интервенция? Разве ж это по человеческому и по божескому закону? Зачем они сюда идут? Разве мы в своей хате сами не можем порядок навести?

Старичок адресовал этот вопрос к руководителям Учкпрофсожа и даже еще раз вежливо поклонился в их сторону. Но в галерее теперь кричали, казалось, уже все: вопрос поставлен в лоб, и вопрос основной. Напрасно слесарь Кондратьич снова поднял руку, напрасно и Вариводенко надсадно что-то кричал — ни он, ни Кондратьич остановить шума уже не могли.

В эту минуту рядом со старым слесарем на платформе оказался Куропатенко. Появление нового человека на трибуне утихомирило взволнованную толпу.

Куропатенко тоже многие узнали. Его приветствовали подбадривающими возгласами:

— А ну, скажи ты, Иван Митрофанович! Пускай механик скажет! Даешь, Куропатенко.

Куропатенко начал:

— Братцы! Старый Кондратьич сокрушается: справимся ли мы без чужой помощи и совета? А я скажу так: сами себе дадим совет, если наши дела будет решать наш Совет!

Народ захохотал, и в разных концах раздались аплодисменты: игра слов пришлась всем по сердцу, в нее вложен был ясный политический смысл.

Куропатенко еще крикнул, стараясь перекричать шум:

— Требуем легализации Совета! За это и бастует город. Если присоединимся к всеобщей забастовке, то и добьемся, чтобы Совет действовал легально и руководил нашей жизнью.

Голос его потонул в выкриках и свисте, и «куренным», которые давно уже тащили его за полы пальто, удалось-таки стащить его с платформы вниз. Он упал прямо на Ласточкина,

который протиснулся уже к самой трибуне. Но «куренным» не привелось учинить над Куропатенко расправу, так как те рабочие, которые одновременно с Ласточкиным пробивались сквозь толпу, были уже у платформы и сразу же заслонили Куропатенко от разъяренных «куренных».

Толпа гудела, толпа грохотала, толпа бесновалась. Выкрики, гогот, свист неслись со всех концов. Не под силу было Вариводенко, даже с помощью мегафона, успокоить буйное настроение своей профсоюзной массы.

Сердце Ласточкина билось все сильнее, знакомый холодок разливался в груди. Он был в своей стихии — в массе, в народе, среди людей, в атмосфере борьбы страстей, борьбы за стачку, а стачка — это и была стихия Ласточкина. Он должен, он обязан тоже выйти на трибуну, бросить в бурлящую массу свое страстное слово — слово протеста, слово призыва, слово, которое поднимет общий накал еще выше! Он уже не может не выйти на трибуну, не сказать своего слова.

Но Ласточкин все-таки сдержался: выступать ему было слишком опасно. Его никто здесь не знал, его могли принять за чужака, могли не поддержать, а попасть в руки «куренных» — это была дорога и в державную «варту» и в контрразведку. Провалить себя никак не годилось.

Он только ухватился за край платформы, одной рукой поддерживая Куропатенко.

Вариводенко наконец-таки удалось установить некоторый порядок. Он добился этого, передав мегафон кому-то из своих соратников по Учкпрофсожу. Смена председательствующего привлекла общее внимание.

Теперь на месте Вариводенко стоял человек в штатском, в черном драповом пальто с бархатным воротником и в каракулевом пирожке на голове — точь-в-точь как у Ласточкина, когда он разгуливает по Одессе в облике купца второй гильдии и собственника конфекциона «Джентльмен». Это был мужчина с небольшой, клинышком, бородкой и такими же остренькими усиками, на носу у него поблескивало пенсне в золотой оправе на широком черном шнурке, закинутом за ухо. Человека этого многие знали. Был это старший контролер спальных вагонов прямого сообщения, известный в профессиональном движении железнодорожников еще с начала семнадцатого года деятель, один из лидеров одесских меньшевиков Петрункевич.

Замена на трибуне гетманского «куренного атамана» меньшевистским вожаком была встречена массой с любопытством.

Наступила тишина, и Петрункевич, приложив ко рту мегафон, заговорил.

Его слова были прямым ответом на призыв Куропатенко добиваться легализации Совета путем забастовки.

Петрункевич, поддерживая одной рукой мегафон, а на палец другой накручивая черный шнурок от пенсне, завопил:

— Уважаемые граждане пролетарии! Предыдущий оратор, воспользовавшись трудным и, я бы сказал, злонамеренно усугубленным коварными агитаторами положением в городе, воспользовавшись также возбужденным и, я бы сказал, злонамеренно разжигаемым настроением отдельных элементов, присутствующих на нашем собрании, бросил с этой трибуны свой призыв: легализация Совета!

— Верно! — покатились возгласы.— Требуем легализации Совета!

Но понаторелый в митинговой практике лидер не дал возгласам вспыхнуть с новой силой. Он сорвал с переносицы свое пенсне и постучал им о рупор мегафона. Звонкое бренчание, еще усиленное гулким рупором мегафона,— такой привычный на всяких заседаниях и такой неожиданный здесь, на митинге в галерее, звук — подействовало почти магически, и снова установилась тишина.

— Минуточку внимания, граждане пролетарии! — крикнул Петрункевич.— В ответ на слова предыдущего оратора я позволю себе поставить перед уважаемым собранием один вопрос. Что должна означать по сути, а я имею в виду политическую суть, легализация Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в нашем городе?

Ловким движением он снова вскинул пенсне себе на нос. И, не давая никому возможности опередить себя каким-нибудь выкриком, тут же ответил:

— Позволю себе, уважаемые пролетарии, дать исчерпывающий ответ. Выход Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов из подполья и решение вышепоименованным Советом каких бы то ни было вопросов текущей общественно-политической жизни от имени граждан всего города фактически будет обозначать провозглашение и установление в городе советской власти!

— Верно! Правильно! — прорвались-таки голоса.

— Ура! — крикнул кто-то сзади, а из группы «куренных» раздались отчаянные вопли и свистки.

Как ни странно, меньшевистский лидер не растерялся и был даже, кажется, доволен. Во всяком случае он весело улыбался, помахивая мегафоном, точно веером, и раскланивался во все стороны, как оперный певец на аплодисменты после удачно исполненной арии.

Сердце Ласточкина то сжималось в комок, то вдруг, казалось, заполняло собой всю грудь. Сейчас нужно было ждать какой-то провокации, и тут Ласточкин уже был готов на все, чтобы сойтись с провокатором лицом к лицу.

— Ну, Куропатенко!..— прошептал он.— Держись, Куропатенко! Если что... уж пускай твои хлопцы как-нибудь выручают...

Поведение оратора на трибуне сбило с толку толпу, и гомон рассыпался, утих.

Тогда Петрункевич, победоносно сверкнув стеклышками пенсне, снова накрутил черный шнурок на палец и заговорил почти спокойно:

— Так вот, уважаемые граждане пролетарии, позвольте мне поставить еще один вопрос. Как вы думаете, Антанта, союз мощных стран — Англии, Франции и Италии, да еще вместе с сильнейшими в мире Соединенными Штатами Северной Америки,— союз победителей в мировой войне, озабоченных ныне великой миссией установления покоя и порядка на земном шаре, которые именно с этой целью шлют сюда, к нашим берегам, огромную, оснащенную самой лучшей боевой техникой и закаленную самым большим боевым опытом, высокодисциплинированную армию в сто, двести, триста тысяч, может быть и миллион штыков,— разве примирится с фактом провозглашения здесь советской власти? Разве допустит, чтобы вышли из подполья и взяли в свои руки власть силы анархии и разрушения?

Толпа молчала, и Петрункевич с трагической ноткой в голосе всхлипнул:

— Нет!

Он так тряхнул головой, что пенсне слетело у него с переносицы, но он ловко подхватил его на лету и водрузил на место.

— Не согласятся они с этим и не допустят этого! Они немедленно начнут боевые действия силами своих мощных армий здесь, на нашей земле, в нашем городе. И опять война! Опять кровопролитие! Литься будет наша с вами кровь! Кровь наших с вами детей! Они потопят в крови наш с вами семейный очаг, наш город, нашу страну!..

Петрункевич давно уже не говорил, даже не кричал, крик его перешел уже в истерический вопль, почти рыдание.

Толпа глухо гудела, отдельные возгласы еще вспыхивали тут и там, откуда-то еще раздался свист, но свистуна сразу утихомирили. Люди хмурились, опускали глаза в землю, переминались, оглядывались на соседей.

Это дало возможность меньшевистскому провокатору, после того как он вынул платок, снял пенсне и вытер слезы на глазах, продолжать свою речь почти спокойно и без перерывов.

Он говорил:

— А что такое на данном этапе исторического развития армия Антанты? Она одолела варвара нашей современности — немецкий империализм. Разве и нам с вами здесь не принес горя и беды немецкий империализм? Разве мы с вами тоже не гнали отсюда, с нашей земли, немецких оккупантов? Армия Антанты устами своего полномочного представителя, консула с особыми полномочиями мосье Эмиля Энно провозглашает,

что идет сюда с единственной целью — уничтожить немецкое влияние...

Толпа неясно гудела, а Ласточкин тем временем вцепился и второй рукой в борт платформы и нашаривал ногой, на что бы опереться. Наконец, он встал на согнутое колено Куропатенко и попробовал подтянуться на руках.

Товарищи, сгрудившиеся вокруг него и Куропатенко, подхватили его и подняли на платформу.

Петрункевич говорил уже совсем кротким, нежно-воркующим голоском, даже без мегафона:

— На данном этапе исторического процесса армия Антанты несет нам покой и мирную жизнь. И что собственно стоит за ее спиной? Может быть, сапог немецкого солдата? Нет. Может быть, виселицы изуверской сатрапии? Нет. Всем известно: Соединенные Штаты — республика, страна свободы и демократии, Франция — республика, страна свободы, равенства и братства. И даже в Англии королевская власть — это только условный символ, дань древним традициям, а на самом деле она строго ограничена конституционной формой правления. Это — цивилизованные страны свободных народов, граждане пролетарии! Демократию и цивилизацию — вот что несет нам армия Антанты на данном этапе исторического процесса!

— Простите! — сказал Ласточкин. Он стоял уже на платформе рядом с Петрункевичем. Фигурка в серой шинели, вдруг появившаяся рядом с оратором, привлекла к себе любопытные взгляды.— Простите, что вас перебью.

Петрункевич повернул голову к Ласточкину и снял пенсне; он был близорук и в пенсне смотрел только на далекое расстояние.

Ласточкин произнес в наступившей тишине:

— Вот вы сказали — демократия и цивилизация. Это действительно очень хорошая и необходимая для нас вещь — демократия и цивилизация.

— Да, да! — воскликнул Петрункевич, радуясь, что неожиданно обрел единомышленника среди масс.

— Демократии и цивилизации,— с кротким видом продолжал Ласточкин,— мы, пролетариат, и хотим добиться для себя. Я разумею: пролетарской демократии, пролетарской цивилизации. Во имя этого и идет пролетариат на социальную революцию и борется за установление диктатуры пролетариата.

Петрункевич тихо охнул и даже взмахнул рукою с пенсне, но Ласточкин уже говорил полным голосом, обращаясь не к нему, а в галерею, к многочисленной толпе рабочих:

— Так вот: почему бы вам самим не поехать в эту «демократию» парижских фабрикантов и буржуев, в эту самую «цивилизацию» американских банкиров и капиталистов? Поехали б и помогали бы им — так, как помогаете здесь русским и украинским помещикам, кровососам и живоглотам сосать

кровь трудового народа. И кланялись бы себе английскому королю...

По галерее прокатились смешки, толпа зашевелилась.

— А мы,— крикнул Ласточкин, иронически поглядывая на растерявшегося меньшевика и хитро подмигивая аудитории,— мы люди маленькие. Нам хотя бы советскую власть — и то уж ладно...

Выкрики, шум и гогот взлетали над толпой. Раздались аплодисменты, прокатился смех. Чей-то пронзительный юношеский голос вдруг запел: «Цыпленок жареный, цыпленок пареный, цыпленок тоже хочет жить...» — песенку, как известно, адресованную белогвардейской офицерне. А из групп, взобравшихся на большие станки, дружно загремела песня: «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастия ключи...»

Позднее в утреннем выпуске газеты «Одесские новости», в сообщении репортера о митинге в Главных железнодорожных мастерских, было сказано, что «вот когда наступило настоящее вавилонское столпотворение».

Шум не утихал так долго, что митинг собственно на том и закончился: он рассыпался и разбился. В просторном помещении галереи образовалось по сути дела два митинга вместо одного.

«Куренные» сбились вокруг платформы, на которой окруженный учкпрофсожевцами Вариводенко писал самопишущей ручкой «монблан» на бланках Учкпрофсожа резолюцию под диктовку Петрункевича. Резолюция в длинных, кудрявых и витиеватых фразах, со ссылками на «демократию» и «цивилизацию», заявляла о том, что отделение профсоюза железнодорожников Одесского узла не будет поддерживать противозаконной и антигосударственной забастовки рабочих и служащих предприятий города.

Масса же рабочих огромной толпой сгрудилась вокруг одного из станков, на станине которого примостился тот рабочий в матросском бушлате, который первым взял слово. Он склонился над листочком, вырванным из блокнота Куропатенко. Старый Кондратьич подсунул ему огрызок обкусанного карандаша,— и десятки голосов подсказывали ему варианты короткого текста резолюции митинга о том, что пролетарии железнодорожного узла постановили поддержать городской пролетариат и призывают всех железнодорожников немедленно прекратить работу...

Ласточкина там в это время уже не было. Воспользовавшись теснотой и суматохой, он исчез. Десяток «куренных» напрасно «прочесывали» толпу и осматривали группу рабочих. Найти человека в серой шинельке и фуражке с топориком и якорем им так и не удалось.

Уже смеркалось, наступал вечер, и Ласточкин спешил к

центру города; ему еще нужно было поспеть на завод Гена, да и старый ревматизм давал себя знать, хорошо было бы побывать у доктора.

5

Доктор Скоропостижный принимал на Базарной, дом № 36-А, вход с улицы.

По Базарной, 36-А, вход с улицы, доктор Скоропостижный не проживал. Вообще в этой квартире не жил никто, хотя на дверях висел по меньшей мере десяток табличек с именами специалистов по разным болезням. Квартиру снимал у домовладельца какой-то оборотистый делец, который обставил ее в соответствии с элементарными требованиями врачебного приема. В первой комнате, где должны были ожидать пациенты, стояло полдюжины венских стульев и два круглых столика, на которых валялись комплекты журнала «Нива» за тысячу девятьсот третий год. Во второй, предназначенной для врачебного приема,— кушетка, стол, два кресла и шкафчик с необходимыми медикаментами и справочником по фармакопее; кроме того, в этом же шкафчике было несколько особых отделений, запертых каждое особым ключиком. Была еще в квартире ванная комната — без ванны, но с умывальником, кусочком мыла и полотенцем. Рядом с ванной — кухонька. В кухоньке ютился — в роли охранителя квартиры и среднего медицинского персонала — инвалид из демобилизованных ротных фельдшеров Влас Власович Тимощук.

Оборудованное таким образом помещение ловкий комбинатор-комиссионер сдавал от себя по часам из недели в неделю и из месяца в месяц врачам, которые, проживая в стесненных квартирных условиях, не имели возможности проводить прием больных у себя на дому. Таблички с фамилиями врачей, обозначением их специальности и часов приема украшали дверь квартиры сверху донизу. Тут были хирурги, терапевты, лярингологи, педиатры и венерологи. Таким образом, квартира с выходом на улицу корпуса «А», тридцать шестого номера по Базарной, могла сойти за солидную амбулаторию.

А Влас Власович Тимощук, кроме того, что присматривал за помещением, открывал двери пациентам и подметал после них комнаты, выполнял еще и срочные врачебные назначения: прикладывал компрессы, ставил банки и делал клизмы.

Новый подназиматель, заплатив «квартирные» за месяц вперед, повесил на дверях такую табличку: «Доктор Скоропостижный из Петербурга — физиатрия, фтизиатрия, физиотерапия, консультации только два раза в неделю: среда и пятница, от пяти до девяти».

Слово «только» на табличке было подчеркнуто. Это, очевидно, должно было обозначать, что доктор слишком перегру-

жен консультациями в других, более солидных лечебных заведениях и имеет возможность уделить своим пациентам на Базарной улице лишь очень ограниченное время.

Влас Власович Тимощук, впрочем, расшифровывал это иначе: доктор Скоропостижный небогат деньгами, и ему нечем заплатить квартиросъемщику за большее количество часов — это одно, а второе — хочет набить себе цену подчеркиванием своей якобы знаменитости.

Так или иначе, но в среду и пятницу от пяти до девяти на прием к доктору Скоропостижному являлось совсем мало пациентов. Возможно, их отчасти пугало таинственное обозначение специальности доктора — физиатрия, фтизиатрия и физиотерапия. Влас Власович из сочувствия, так как был по натуре человеком добросердечным,— да и доктор Скоропостижный внушал ему симпатию, потому что имел привычку угощать спиртом из запертого на ключик своего особого отделения в шкафу общего пользования,— советовал даже доктору заменить эту слишком «ученую» терминологию на «божескую». Однако доктор только загадочно улыбался в ответ, а Власу Власовичу подносил сверх рациона спирту в одной из двенадцати баночек, которые употреблялись для отсасывания у пациентов крови.

Сегодня пациентов и вовсе не было. И доктор Скоропостижный коротал время, разглядывая в окно улицу перед домом и выбивая пальцами на стекле барабанную дробь.

На дворе уже стемнело, но окна домов на той стороне улицы оставались неосвещенными. Лишь кое-где вспыхивали и, подмигивая, мерцали слепенькие огоньки. Люди зажигали коптилки — электростанция бастовала, электричества не было.

Часть улицы, видная из кабинета, была совершенно безлюдна. Всегда шумная Базарная улица выглядела сегодня необычно. Пробежал мальчик и скрылся во дворе. Затем из ворот напротив вышел дворник, постоял минуту и исчез. Еще через некоторое время прошли не спеша двое мастеровых по направлению к базару. Но вдруг они повернулись на месте и быстро пошли назад... Доктор Скоропостижный прижался к самой раме, чтобы взглянуть, что их так испугало. Но это уже и так было видно. По середине улицы мелкой рысью прогарцевали десятка полтора всадников. Были это казаки гетманской «варты»; они разъезжали по улицам, следя за порядком, а больше — демонстрируя перед населением самый факт существования в городе власти.

Доктор Скоропостижный внимательно и пристрастно оглядел коней под казаками.

Он был влюблен в лошадей, сколько себя помнил. Впервые почувствовал он эту страсть еще, должно быть, тогда, когда лет тридцать тому назад ходил в пастушках в своем родном бессарабском селе Ганчештах, когда с мальчишками-побрати-

мами гонял в ночное табуны помещика Манук-бея. Еще сильнее овладела им эта всепоглощающая страсть позже, когда учеником низшей сельскохозяйственной школы в селе Кокорозинах, Оргеевского уезда, на практике, он выхаживал скакунов для помещика Скоповского. И, может быть, еще сильнее — когда ставил конный завод помещику Семиградову, которого первым и довелось... поджечь за его нечеловеческие издевательства над батраками. Здорово тогда молодой, девятнадцатилетний практикант-агроном отхлестал нагайкой по толстой морде и самого толстопузого садиста. На денежки, экспроприированные у помещика, построил он тогда хаты нескольким оргеевским горемыкам, выдал «пенсию» искалеченным помещиком батракам и, кроме того, заплатил за «право учения» четырех студентов и четырех курсисток в Одессе. А лошадей Семиградова вывел из конюшен и выпустил в степь. Ох, и кони были — огонь! Поскакали степью — только их и видели... Позднее, спустя несколько лет, прослышал он, что в плавнях на Днестре появились табунки диких скакунов неведомо откуда,— не знала Бессарабия диких лошадей уже три-четыре столетия. Возможно, что это как раз и расплодились семиградовские кони...

Кони под гетманскими «вартовыми» были хороши — сытые, холеные, добрая порода, в самый раз под седло!

Доктор Скоропостижный даже затоптался у окна. Вот бы сбросить этих плюгавых «вартовых», вскочить на их скакунов, сабли наголо — и айда по улицам со свистом и улюлюканьем, сея панику, разгоняя всю эту сволочь — и офицерню из добрармии, и гетманских казаков, и жолнеров из белопольских легионов. Разрушить старый мир паразитов и пауков и построить новый мир, в котором настоящим и единственным владыкой будет труд! Словом, по-большевистски: царство коммунизма на земле!

А то... скучное это дело — организация подполья, конспирация, маскарад под помещиков Золотаревых, негоциантов Берковичей, докторов Скоропостижных...

Эх, если бы восстание! На коня, саблю из ножон — и айда на паразитов и контру!..

Но пылкие мечты Григория Ивановича спугнул старый фельдшер. Он приоткрыл дверь и сообщил, что, наконец, появился-таки пациент.

Доктор Скоропостижный поспешно надел огромные черные очки, которые никогда не снимал во время приема больных. В комнату вошел высокий, статный и широкоплечий человек в солдатской шинели и мятой солдатской фуражке без кокарды. Половина населения города одевалась теперь так: тысячам людей пришлось пройти армейскую службу на позициях за четыре года войны.

Влас Власович посмотрел на него с сочувствием. Хотя и

выглядел пациент крепким и жилистым, старый фельдшер не сомневался, что в его могучем организме затаились и ревматизм, и порок сердца, и расстройство органов пищеварения, и еще сотня разных болезней — после сидения в окопах да ран и контузий в боях. Влас Власович хорошо знал это по собственному фронтовому опыту.

— Садитесь, гражданин. Н-на что жалуетесь? — спросил доктор Скоропостижный, пока Влас Власович прикрывал за собой дверь.

— Прослышав, что вы специалист-фтизиатр и физиатр...— начал гражданин, расстегивая шинель, под которой у него была такая же обычная армейская гимнастерка.

Но доктор Скоропостижный снял свои очки и, улыбаясь, перебил его, так как дверь за Власом Власовичем уже закрылась:

— Привет, Александр Никодимович! Как стачка?

— Здоров будь, Григорий Иванович! — ответил Александр Столяров, крепко пожимая руку Котовскому.— Со стачкой все в порядке, только вот твоя помощь нужна. Я к тебе по поручению комитета.

— Слушаю, Александр Никодимович. В чем дело?

— Дело в Мишке Япончике. Мы сейчас еще не имеем сил прибрать к рукам его «шпану» в несколько сот, а может, и тысяч бандитов, но придержать их необходимо немедленно. Прошел слух, и слух абсолютно верный, что сегодня ночью Япончик со своей бандой собирается «почистить» город...

— Очевидно, процесс захватил легкие, — быстро произнес доктор Скоропостижный, поспешно водружая на нос свои очки, так как дверь скрипнула и на пороге появился Влас Власович.— Раздевайтесь, посмотрим.

Влас Власович принес керосиновую лампу под абажуром.

— Электричества сегодня не будет через эту забастовку, доктор,— объяснил он,— так я вам лампочку наладил: на дворе уже темнеет. Воняет только она, проклятущая...

— Спасибо, Влас Власович! И прикройте поплотнее двери, чтоб пациента не просквозило...

Александр Столяров как раз стягивал за ворот через голову гимнастерку.

Влас Власович вышел.

— Разве не распропагандировал еще своего напарника? — кивнул Столяров на дверь, за которой скрылся ротный фельдшер Тимощук.

— Да какой уж из меня пропагандист! — отмахнулся Котовский.

— А надо, надо! Для нас, брат, каждый человек дорог...

— Попробую, Александр. Значит,— улыбнулся Котов-

ский,— Мишка Япончик собирается сегодня ночью нагнать на буржуев страху?

— Буржуям,— сказал Столяров, не отвечая на шутку Котовского,— страху хватает. А устраивать сейчас, во время забастовки в городе, бесчинства нам не с руки, дорогой Григорий. Заодно с буржуями эти бандюги и простого обывателя тронут, да и, будь уверен, кое-кто из трудящихся, особенно интеллигенция, тоже пострадает. Это подорвет у населения сочувствие к стачке. Найдутся и меньшевистские провокаторы — они будут раздувать озлобление против рабочих, которые, мол, своей стачкой дали возможность разгуляться бандитам...

— Верно! — сразу согласился Котовский.— А где бы мог сейчас быть Япончик? Как его найти? — спросил он после паузы.

— Это нам уже известно, где он сейчас. И как его найти — тоже есть способ. Нам надо, чтоб ты его припугнул, он тебя боится. Вот только где вам встретиться?

Григорий Иванович снял свои черные очки, положил их перед собой и стал барабанить пальцами по столу, задумчиво поглядывая в окно.

— Лучше всего было бы,— сказал Столяров,— затащить его сейчас же хотя бы сюда и поговорить — шито-крыто... Вот только знает ли он тебя в лицо?

— Не знаю. Никогда его не видел. А меня он, возможно, видел когда-нибудь.

— Тогда не годится,— сразу отбросил свое предложение Столяров.— Провалишь маску «доктора Скоропостижного».— Он кивнул на белый халат на плечах у Григория Ивановича, стетоскоп на столе, шкафчик с медикаментами в углу: — Вся эта мишура нам очень подходящая.

— Н-да,— задумчиво согласился Котовский,— удачный вышел маскарад. Жалко терять...— Вдруг он тихо засмеялся и хлопнул ладонью по столу.— Все будет в порядке, Александр! Поговорим именно здесь. И Котовский с ним познакомится, и прием у доктора Скоропостижного сохраним!

— Каким образом?

Котовский хитро прищурился, придвинул к себе бланки для рецептов со штампом врача-физиатра, фтизиатра и физиотерапевта Скоропостижного, обмакнул перо в чернила и стал писать поперек бланка.

Столяров с любопытством следил за его пером.

На листке появились две строчки:

«Япончик! Нам нужно поговорить. Приходи немедленно на Базарную, 36-А, встретимся на приеме у доктора Скоропостижного. Котовский».

Столяров понимающе засмеялся, и Котовский подал ему рецепт.

— Можно так устроить, чтобы Япончику сразу же и передали?

— Можно. Среди его телохранителей у нас есть свой человек — из молдаванской братвы, из старых «корешков» Шурки Понедилка...

Григорий Иванович положил бланк в конверт, Столяров тем временем надевал гимнастерку и шинель.

Затем Столяров взял конверт, и они с Котовским крепко пожали друг другу руки.

— Счастливо!

Когда внизу хлопнула дверь за Столяровым, Григорий Иванович прошелся по комнате, заложив руки за спину и сосредоточенно обдумывая положение. Что на свидание с Котовским Мишка Япончик придет — в этом не было сомнения: он уже давно набивался «установить контакт». Но как заставить бандита подчиниться? Да и как держать себя во время разговора? Ведь Япончик приведет с собой целую шайку, а Котовский будет один...

6

Слух, что Мишка Япончик, всемогущий король одесских бандитов, объявляет на эту ночь Одессу «открытым городом» для банды налетчиков, прошел уже от Фонтанов до Лузановки и от Николаевского бульвара до самой Заставы.

Окна в особняках, особенно на центральных улицах и в районах дач, плотно закрывались ставнями, а где ставен не было — баррикадировались шкафами, столами и матрацами. Каждый дом готовился к обороне как умел и как мог. В больших домах организовывалась внутренняя самооборона — из всех жильцов мужского пола от четырнадцати лет под командой господ офицеров, проживавших в этом доме.

Приближалась и в самом деле тревожная ночь.

Город притаился и постепенно замирал. Улицы совсем опустели, одну за другой проглатывала ночная темень и настороженная тишина. Центр города точно вымер. Даже постовые казаки гетманской «варты» оставили свои посты на перекрестках: они не решались рисковать,— что значит один или два патруля против вооруженной банды налетчиков? Не вышли на обход города и патрульные отряды: что они могут сделать, даже с винтовками и пулеметами, если неведомый враг неведомо откуда массой двинется против них?

В гостинице «Лондонской» самооборону несли все постояльцы мужского пола, до камергера двора его императорского величества включительно. Освобожден от участия в самообороне был только английский адмирал Боллард; совет старейших постояльцев, который руководил самообороной, надеялся умолить адмирала вызвать с кораблей «Бейвер» и «Скирми-

шер» вооруженных английских матросов и охранный взвод шотландских стрелков. А тем временем «совет старейших» лично охранял самого адмирала Болларда. Генералы и адмиралы русской добрармии с браунингами в руках стояли под дверями покоев адмирала. Каждого, кто появлялся в коридоре, они освещали электрическими фонариками.

Не могло быть никаких сомнений, что первым объектом нападения должна стать именно гостиница «Лондонская», где собралась вся знать белой эмиграции, а также и неисчислимые — и не доверенные сейфам банков — ценности скопившейся здесь всероссийской буржуазии.

К консулу Энно в Воронцовский дворец, охранявшийся вызванными с французского минного тральщика матросами, была отправлена специальная депутация: шлите искрограммы в Яссы, в Константинополь, прямо в Париж — просите, требуйте, молите, взывайте на весь мир, чтоб долгожданный иноземный десант на всех парах, под всеми парусами как можно скорее летел спасать Одессу!..

7

Дверь в кабинет доктора Скоропостижного скрипнула, и Влас Власович просунул голову в щель:

— Доктор! Пациент! — В голосе старого фельдшера звучало искреннее удивление и возрастающее уважение к доктору, популярность которого росла у него на глазах.

— Пускай войдет. Вот только руки помою. Идемте, Влас Власович, польете мне на руки.

Сквозь щель кухонной двери Котовский увидел, как из приемной в кабинет прошел пациент. Курчавый, с черными усиками. Сомнений не было: это сам Мишка Япончик.

Тогда, вместо того чтобы мыть руки, Котовский сбросил свой белый халат и стал напяливать его на Власа Власовича.

— Влас Власович! Вы сейчас будете доктор Скоропостижный. Все остальное я вам потом объясню. Скорее!

— Но!..

Влас Власович был совсем ошарашен.

Однако времени уже не было, а испуг Власа Власовича был как раз кстати, и Григорий Иванович толкнул очумелого фельдшера к кабинету.

— Вы сядете на мое место и будете только поддакивать.

И тут Влас Власович увидел, что доктор Скоропостижный вытаскивает из кармана пистолет. Влас Власович поскорее поднял руки кверху.

Все это произошло уже на пороге, и пациент, вошедший в кабинет, стал свидетелем этой жуткой сцены. Он мгновенно сунул руку в карман и тоже выхватил пистолет.

— Не волнуйтесь! — сказал Григорий Иванович.— Можете

спрятать ваш пистолет в карман или как вам угодно, мне все равно. Садитесь, доктор! — прикрикнул он на Власа Власовича.— И не мешайте нам пять минут! Нам надо побеседовать с этим мосье.— Влас Власович, так и не опуская рук, упал в кресло, а Котовский тем временем объяснил Япончику: — Простите, что так случилось. Мне некуда было вас пригласить и пришлось пойти на эту аферу. Надеюсь, вы меня понимаете? Надеюсь также, что ни вы меня, ни я вас при этом остолопе...— он кивнул головой на помертвевшего от страха Власа Власовича,— то есть, я хотел сказать, при докторе Скоропостижном, не будем называть по имени? Договорились? Садитесь, пожалуйста... Доктор, вы можете опустить руки. Тут вас никто не боится. Можете даже засунуть руки в карманы: мы знаем, что доктора носят в карманах стетоскопы, а не пистолеты.

Мишка Япончик смотрел на Котовского с нескрываемым восхищением. Секунд десять он даже слова не мог произнести от восторга. Наконец, он обрел дар речи.

— Слушайте! — крикнул он.— Чтоб я так жил, вы-таки туз! Вы думаете, я буду удивляться, если вы в другой раз назначите мне рандеву у самого французского консула?! Слушайте! Идите ко мне в компанию!

Он сел и положил пистолет к себе на колени.

— Нет, спасибо! — сказал Котовский.— У меня другая программа. Но не будем терять времени... У меня к вам дело...

— Может, вы чего хочете? — Япончик сделал широкий жест.— Для вас мне ничего не жалко. Хочете дворец Маразли? Он — ваш! Хочете виллу Анатры? Ваша! Может, вы хочете пол-Одессы?

— Больше,— серьезно сказал Котовский.— Я хочу всю Одессу.

Япончик вытаращил на Котовского глаза.

— Слушайте, может, я малохольный, но я вас еще не понял.

Котовский сказал:

— Мне стало известно, что вы хотите, воспользовавшись темнотой в городе, разрешить вашим бандитам...

— Ну, ну! — обиделся Япончик.

— Простите, но я не знаю, как вы себя называете.

— Мы — люди свободных профессий.

— Пускай так. Так вот, если ваши люди свободных профессий начнут сегодня массовый грабеж, это вызовет среди жителей города возмущение против стачки. Я не знаю, понятно ли вам то, что я говорю...

Япончик снова обиделся.

— Вы же разговариваете с интеллигентным человеком.

— Тем лучше. Так вот, у меня предложение такое: вы запрещаете вашим... лицам свободных интеллигентных профес-

сий бесчинствовать, воспользовавшись всеобщей стачкой. Договорились?

Япончик смотрел на Котовского, поглядывал и на Власа Власовича. Влас Власович уже немного пришел в себя и с интересом прислушивался к беседе.

— А что, если я не соглашусь?

Котовский пожал плечами.

— Как хотите. Будем знать, что вы не выполнили... моего требования.

Япончик рассердился:

— Что вы меня берете на «понт»? И чем вы хотите меня заставить?

Котовский улыбнулся.

— Как же я могу вас заставить? Дом, вероятно, вы окружили двумя десятками... ваших людей свободных профессий... Что ж я могу вам сделать? — Он снова улыбнулся и кивнул на Власа Власовича.— Разве что попросить доктора Скоропостижного поставить вам клизму?..

Япончик вдруг впал в бешенство:

— Что вы меня агитируете! Я уже наагитированный по колени! Вы думаете себе, что ваша будет сверху, что опять придут ваши совдепы, и хочете меня этим настращать! Можете мне поверить: чтоб я так жил, ваших совдепов тут больше никогда не будет!

Котовский спокойно ответил:

— Будет или не будет тут советская власть — это вопрос другой. Смею вас уверить, что она будет! И я вам свое требование уже сказал.

Япончик исподтишка поглядел на Котовского, делая вид, что рассматривает стетоскоп, который он, взяв со стола, вертел в руках. Он старался разгадать: какой у Котовского козырь? Ну, сам Котовский — туз, ничего не скажешь! Но действительно ли есть у него король, дама и валет на руках?

— Могу прибавить, что требование это — не моя личная прихоть, его поручили мне передать вам бастующие рабочие. Если вы сорвете стачку, все силы стачечников будут брошены на одно дело: пятьдесят тысяч бастующих разделятся на тысячу групп, по пятьдесят человек в каждой, с единственной целью — выловить и ликвидировать всех ваших бандитов до единого...

Япончик захлопал глазами. Ореол славы окружал легендарного народного мстителя Котовского; его популярность в Одессе была Япончику хорошо известна. Конечно, можно было бы сейчас схватить Котовского и тут же покончить с ним — вокруг дома Япончик предусмотрительно расставил человек пятьдесят своих головорезов,— но... у него не было ни малейшего сомнения, что Котовский каким-то образом заранее хитро позаботился обеспечить себе безопасность...

Япончик подозрительным взглядом обшарил углы комнаты и присмотрелся к обоям на стенах — не торчат ли сквозь стены замаскированные рисунком дула пистолетов? Он, кажется, свалял дурака, забрав себе в голову идиотскую фантазию, что Котовский собирается искать с ним компанию... Япончик заерзал на месте и даже тайком заглянул под кресло: а может, там спрятана адская машина?.. Конечно, Япончик не верил, не хотел верить, что в Одессе будет восстановлена советская власть, потому и жил в мире и согласии с немецкими оккупантами, потому и готовился найти общий язык с ожидаемыми оккупационными войсками Антанты... Ну, а если она, советская власть, в Одессе все ж таки восстановится?

— Слушайте! — примирительно сказал Япончик.— И на что оно вам сдалось?

— Это вы о чем? — не понял Котовский.

— Ну, про это самое... «мы наш, мы новый мир построим...» Придет, скажем, ваша советская власть — и что тогда будете делать вы? Персонально вы?

— Пожалуйста,— сказал Котовский,— могу сказать. Я организую полк и буду продолжать воевать против буржуазии.

— Пхи! — состроил гримасу Япончик.— Я уже имею полк и уже чищу буржуев.

— Что ж,— не стал возражать Котовский,— наши полки встретятся — ваш и мой. Что вы тогда предполагаете делать? Будете против моего полка воевать или вместе с моим полком?

Япончик задумался. Дилемма была поставлена прямо, и дилемма достаточно-таки сложная. Наконец, он принял решение:

— Или за, или против. А вы?

— Против.

— Против кого? Паразитов и контры?

— Против паразитов и контры. Значит, и против вас.

— Или я паразит? Или я, может быть, контра?

— И паразит и контра. Я окружу ваш полк моим полком, разоружу его, а вас, персонально вас, расстреляю.

Это уже была не угроза, это был ультиматум, после которого либо должна была быть объявлена война, либо...

И в эту минуту в мозгу Япончика — матерого провокатора и матерого комбинатора — блеснула гениальная, как ему показалось, идея: раз такое дело, так он же может выгодно продать Котовского... французским оккупантам.

— Ладно,— сказал Япончик.— Мне ваша стачка без интересу. Мы будем принимать ванны на Куяльницком лимане, а может, на Хаджибеевском или аж Дофиновском — я знаю?

— Вы будете принимать ванны, пока не закончится забастовка?

Япончик опять обиделся. Он был очень обидчивый.

— Слушайте! Я же сказал! Это же неинтеллигентно — пе-

респрашивать! Ведь в Одессе есть жлобы индивидуальной практики! Или мне и за них давать слово?

— Хорошо! — согласился Котовский.— Но за полное спокойствие в городе отвечаете вы, персонально вы!

— Адью! — произнес Мишка Япончик надувшись.— Мне было приятно с вами познакомиться и дружески побеседовать. Вы-таки вправду козырный туз! Можете мне поверить. И знаете, что? Может, вы еще передумаете, так я всегда буду радый. Мы можем, например, организовать концерт! То есть, я хотел сказать, консерв...

— Вы имеете в виду концерн?

— Вот именно, концентр. На паркетных, то есть, я хотел сказать, на паритетных началах. Наши не хуже ваших! Подумайте.

— Нет,— сказал Котовский,— хуже! И смотрите, чтоб вы сдержали свое слово. Потому что, когда здесь установится советская власть, я собираюсь возглавить Чека!

Когда дверь за Япончиком закрылась, Григорий Иванович еще некоторое время стоял у порога задумавшись. В глубокой задумчивости вернулся он и в кабинет.

Влас Власович в халате доктора Скоропостижного все еще сидел за столом.

— Доктор! — прошептал он.— Вы не доктор!

— Почему же? — усмехнулся Котовский.— Вы же сами видели, сколько сегодня было пациентов... Я очень прошу вас, дорогой Влас Власович, простить мне всю эту... комедию. Не сердитесь, что доставил вам несколько неприятных минут и так вас напугал. Но ведь вы сами убедились, что дело было чрезвычайно важное. Я, дорогой Влас Власович, действительно сочувствую забастовщикам. Да и вы, надеюсь, не за папу римского...

— Доктор! — снова воскликнул Влас Власович со всей экспансивностью, на какую был способен в свои пятьдесят лет.— Доктор! Хотя собственно вы и не доктор... Но ведь это же был сам Мишка Япончик?

— Да, это был именно он.

Влас Власович даже за голову схватился.

— Боже мой! Как вы решились? Это же гроза! Но он вас боится. Значит, вы еще больше гроза, вы...

— Ураган? — подсказал Григорий Иванович.— Самум? Всемирный потоп?

— Вы все шутите...— неодобрительно покачал головой старый фельдшер.— А у меня даже поджилки трясутся...

Котовский подошел к шкафчику с лекарствами и инструментами, отпер собственным ключиком свое отделение и вынул бутылку со спиртом и две посудинки, какими ставят банки.

— Выпьем, Влас Власович, чтоб у вас поджилки не тряслись.

Влас Власович охотно принял посудинку из рук Григория Ивановича и с удовольствием чокнулся. Спирт был не разведенный, он обжигал горло. Но они опрокинули, и оба даже не поморщились. Влас Власович только одобрительно крякнул.

Котовский тоже удовлетворенно вздохнул и лукаво подмигнул старому фельдшеру:

— Счастье еще, Влас Власович, что вам не пришлось ставить ему клизму. Горячее было б тогда дельце. Не знаю, вышли бы мы с вами отсюда живыми...

Влас Власович прижал руки к груди и даже поднялся на цыпочки.

— Доктор,— сказал он,— хотя вы и не доктор, а я только старый инвалид, но если вам и в самом деле понадобится когда-нибудь старый инвалид, который только и умеет, что ставить банки да класть компрессы, вы можете на меня рассчитывать!

— Вот это слово мужчины! — похвалил Григорий Иванович.— В таком случае давайте еще по одной.

Они выпили еще по одной, и Котовский сказал:

— Один большевик — и, надо вам сказать, большевик настоящий,— один из крупнейших одесских большевиков, сегодня пожурил меня, что я вас, Влас Власович, до сих пор не распропагандировал. Он ругал меня за вас, Влас Власович. Как это так, говорит, своего напарника и не распропагандировать? Нам, говорит, каждый человек дорог...

— За меня? — перепугался Влас Власович.— Я — дорог?

— За вас! Вы — дороги. И выходит, что я уже на ходу исправил свою ошибку. Итак — распропагандировал я вас, Влас Власович, или не распропагандировал? А? Будем вместе бороться за восстановление советской власти?

Влас Власович снова прижал руки к груди и поднялся на цыпочки.

— Доктор!.. Хотя вы и не доктор...

Тон у него был торжественный, словно он собирался произнести высокую клятву. Но вдруг его точно пронзило.

— Доктор! — крикнул он.— Я знаю, кто вы, доктор! Вы — сам Котовский!..

— Спокойно, Влас Власович! — мягко остановил его Григорий Иванович.— Вы мне перестаете нравиться. Вы что-то чересчур уж догадливы. Давайте договоримся: я этого не слышал, вы этого не говорили, вам это даже и в голову не приходило. Согласны?

— Так точно! — даже вытянулся старый фельдшер, совсем так, как вытягивался он на параде перед генералом Драгомировым после окончания школы ротных фельдшеров в Киеве, тридцать лет назад.

Как раз в эту минуту зазвенел звонок на парадном.

Влас Власович заковылял вниз — открывать.

8

— Доктор! — испуганно прошептал Влас Власович с порога.— Что за напасть такая? Опять пациент!

Вошел Ласточкин.

Они радостно поздоровались.

— Ну, как дела, Григорий Иванович, или, простите, доктор Скоропостижный?

— Спасибо, Иван Федорович! О ваших и не спрашиваю: события говорят сами за себя. Одесса еще не знала такой стачки! — Котовский улыбнулся.— Забастовала даже костюмерная оперного театра. Когда мне сегодня понадобилось превратиться из доктора Скоропостижного в помещика Золотарева, я не мог этого сделать...

Ласточкин захохотал.

— Логично, Григорий Иванович! Забастовка идет против всех помещиков, даже... липовых!

— Но отчего вы так поздно, Иван Федорович? — забеспокоился Котовский.— Уже девятый час, ночь, осадное положение, рискованно это для вас...

Ласточкин беспечно отмахнулся:

— Бог не выдаст, свинья не съест, Григорий Иванович!

Котовский засмеялся.

— Да и дело у меня к вам срочное. Где уж там откладывать!

Они сели друг против друга в кресла перед столом, и Котовский шутя надел свои огромные черные докторские очки.

— Ну-с? На что жалуетесь? Сердце? Печень? Желудок?

— Сердце! — серьезно отвечал Ласточкин.— Сердце у меня не на месте, Григорий Иванович! Боюсь, не подстроили бы какой-нибудь пакости меньшевики. В Центропрофе через совет так называемых «социалистических» партий заправляют фактически они. Непременно сделают какую-нибудь подлость со стачкой — спровоцируют, предадут! Не могут они, чтобы не спровоцировать и не предать. Такова уж меньшевистская натура. Уже и приметы есть.

— А именно?

— Да вот настойчиво распространяют басню, что Антанта, дескать, идет сюда только для того, чтобы... ликвидировать немецкое влияние. Ссылаются при этом на авторитетное заявление... консула Энно. А для трудового народа что такое «немецкое влияние»? Расстрелы, виселицы и издевательства — зверский режим полугодовой оккупации! Против этого «влияния» сейчас пылает в огне восстаний вся Украина. Меньшевистские лидеры и говорят: раз Антанта посылает сюда свою армию для борьбы с немецким «влиянием», против которого борется украинский народ, то... радоваться должен украинский народ антантовской интервенции и всемерно поддерживать ее. А? Как

это вам нравится? Наичистейшая меньшевистской грязной воды провокация!.. Был я сегодня на заводе Гена, на митинге. Выступает один рабочий, спрашивает: как же так? Немецкая ли, французская или американская — все равно интервенция, все равно империализм! Так они, сукины сыны, выкручиваются: что вы! Германия была кайзеровская, а во Франции и Соединенных Штатах, видите ли, демократия и вообще цивилизация! Армия Антанты несет нам «святые принципы демократии»! Как это вам понравится? — Ласточкин вдруг весело рассмеялся.— Был я сегодня в Главных железнодорожных мастерских, на митинге... Изгнали меньшевистских лидеров из железнодорожных мастерских! Такой шум поднялся! — Ласточкин оборвал смех.— А я к вам по делу, Григорий Иванович. Нужна ваша помощь.

— Говорите, что там такое? Будет выполнено, Иван Федорович.

Ласточкин встал с кресла и, заложив руки за спину, начал ходить взад-вперед по комнате.

— Стачка! Нам необходимо выиграть эту стачку. Потому что в требованиях стачки стоит: легализация Совета рабочих депутатов! — Он вдруг остановился перед Котовским.— И тут опять меньшевистская провокация. Пугливый и неустойчивый элемент они стращают тем, что, дескать, легализация Совета означает провозглашение советской власти. А завтра прибудет десант антисоветской коалиции, и, конечно, немедленно же начнутся боевые действия против советской власти и кровопролитие! Понимаете? Вот пугливый элемент и начинает бояться легализации Совета. А Совет нам необходим до зарезу! Только через Совет мы можем поднять и организовать широчайшие слои трудящихся. Но...— Ласточкин снова заходил по комнате,— но если мы стачку проиграем...— а как разумные хозяева и трезвые политики, веря в победу стачки, мы в то же время должны быть готовы к тому, что стачка может быть и проиграна...— так вот в случае провала стачки мы начнем упорную, кропотливую, пускай и длительную работу среди масс. Организуем советский актив в подполье, созовем конференции советского актива в подполье, наладим работу отдельных органов Совета в подполье, поведем агитацию из подполья... Что это вы помрачнели, Григорий Иванович? — прервал себя Ласточкин и остановился перед Котовским.— Что такое я сказал вам не по душе?

Котовский пожал плечами.

— Не понимаю я вас, Иван Федорович.

— Ну как же вы не понимаете? — искренне огорчился Ласточкин.

— Я понял все, что вы сказали, Иван Федорович. А не понимаю вашей... тактики и стратегии. Да что там! — Котовский

хлопнул ладонью по столу и тоже встал.— Не согласен я с вами, Иван Федорович!

— С чем не согласны? — удивился Ласточкин.

— Не согласен с вашей идеей: если забастовка сорвется и Совет не будет легализован, то... упорная, кропотливая и длительная работа в подполье... организации, конференции, актив... Бюрократизм! Воду в ступе толочь! Не понимаю и не согласен!

Ласточкин минутку помолчал, гневно глядя на стоявшего перед ним Котовского, но сдержался.

— Что же вы предлагаете? — спокойно, но с угрозой в голосе спросил он.

— Решительные и... и немедленные активные действия!

— А именно? Прошу — яснее.

— Пожалуйста, яснее: восстание!

— Восстание?

— Да, восстание! И немедленно. Завтра же!

Минуту они стояли друг против друга молча, сверля друг друга гневными глазами, точно собираясь вот-вот кинуться один на другого — крупный, коренастый и сильный Котовский, маленький, сухопарый и щуплый Ласточкин.

Затем Ласточкин, измерив Котовского взглядом, спросил:

— Позволите диагностировать это как... истерию?

— Нет, не позволю! — гаркнул Котовский.— Не позволю! И докажу!

— Как же вы это докажете? — язвительно протянул Ласточкин.— Разрешите полюбопытствовать?

Котовский рубанул воздух рукой — ему не хватало слов, горячих, резких, уничтожающих, но убедительных и сильных, как он сам.

— Докажу...— прорычал он,— делом докажу! Завтра с тысячей, полтысячей, сотней смельчаков выйду на улицу с оружием в руках...

— С оружием в руках? — ехидно переспросил Ласточкин.

— Да, с оружием! Переколем, порубаем, постреляем контру вместе со всеми меньшевиками, захватим правительственные учреждения, телеграф, почту, все, что нужно,— и наше вам! Объявляю советскую власть!

— Все? — спросил Ласточкин, не отрывая от Котовского злых глаз.

— Нет, не все! — взорвался Котовский.— Не все!

Он снова рубанул воздух, намереваясь обрушить на Ласточкина какие-то самые сильные, самые убедительные, уничтожающие слова, но только махнул рукой.

— Все.

Снова какую-то минутку царило молчание.

Затем Ласточкин язвительно спросил:

— Разрешите и мне?

— Что разрешить?

— Слово. Только слово. Надеюсь, свобода слова вами еще не отменена?

— Да ну вас! — огрызнулся Котовский.— Не до шуток!..

— И мне не до шуток, Григорий Иванович,— сурово и печально произнес Ласточкин.— Где уж тут шутить! Вот я сейчас нарисую вам картину немедленного, завтрашнего восстания, которое вы поднимете, выйдя на улицу и созвав сотню смельчаков. Сомнения нет, смельчаки найдутся. Народ наш, Григорий Иванович, и в самом деле смелый, героический, иной раз даже отчаянный. И вот какова будет картина. Вы переколете и порубите сотню, две, пять, тысячу беляков и разной нечисти. Заметьте — тысячу из двадцати пяти тысяч, скопившихся здесь вооруженных врагов. Итак, останется еще двадцать четыре тысячи, которые разбегутся, спрячутся, и вы должны будете их выковыривать из разных тайников.

— И выковыряем! — сердито огрызнулся Котовский.

— И выковыряете, не сомневаюсь. В первый день, скажем, выковыряете тысячу, на второй день — две, на третий — три. Дней на десять хватит ковырять, а? Учтите, что они, опомнившись, организуются и начнут оказывать вам сопротивление...

— Управимся! — сердито крикнул Котовский.— Будьте покойны.

— Не сомневаюсь, управитесь. Председатель Чека из вас будет отличный, лучшего и не надо. Это, учтите, высокая, очень высокая похвала, Григорий Иванович. И из сотни ваших смельчаков выйдет великолепный отряд по борьбе с контрреволюцией и бандитизмом,— тоже, учтите, наивысшая похвала. А кто в это время, пока вы станете управляться, будет удерживать власть в городе? И сколько времени думаете ее держать — день, два, до вечера или до утра?

— Вы что, смеетесь надо мной? — вскинулся Котовский.

— Смеюсь, Григорий Иванович! Смеюсь! — Они снова стояли друг против друга, как два боксера, готовые возобновить прерванный раунд.— Смеюсь, хотя и хочется плакать. Ни черта вы еще не понимаете, Григорий Иванович, хотя и воображаете, что все поняли.

Котовский растерялся от этой резкости, но Ласточкин не дал ему опомниться и сам ринулся в наступление.

— Я могу,— чуть не закричал он,— уничтожить вас здесь же, на месте, десятками аргументов! Но не нужно десяти. Мы с вами не на митинге, и я пришел к вам с совершенно конкретным спешным делом. Хватит с вас и полудесятка. Даже трех. Одного! Этот один — Антанта!

Ласточкин смотрел на Котовского, уже заранее торжествуя свою победу в их «поединке».

— Антанта! Вы думаете, она будет смотреть, пока вы станете рубить, выковыривать и пытаться удержать власть до ве-

чера или до утра? Антанта идет с интервенцией. Или вы об этом забыли? Не вам ли, Гершку Берковичу, сказал консул Энно, что послано не менее пятидесяти тяжелых кораблей и не меньше пятидесяти тысяч вооруженных до зубов башибузуков?! Эскадра прибудет завтра и сыпанет раскаленной сталью из тысячи орудий на головы вам, вашим смельчакам и всему мирному населению города! Бросит в бой пятьдесят тысяч солдат!.. А может быть, вы станете возражать и скажете, что Антанте невыгодно все разрушать и сметать с лица земли там, куда она идет с намерением властвовать и грабить? Пожалуйста! Она не разрушит города, она высадит свой десант не в Одессе, а в Аккермане, Севастополе, Херсоне, Николаеве — и возьмет вас в мешок!

— Интересно! — насмешливо отозвался на этот раз Котовский.— Только что вы говорили, что именно этим аргументом лицемерно оперируют... меньшевики.

Замечание Котовского уязвляло больше, чем все резкие слова Ласточкина, и Котовский уже ожидал взрыва.

Но Ласточкин, наоборот, вдруг сразу успокоился.

— Верно,— сказал он совершенно хладнокровно и сел.— Именно этим и оперируют меньшевики. В том-то и заключается их коварная политика, что они подбирают убедительный аргумент, чтобы, вопреки истине, повернуть его в свою пользу. Какой они делают из этого вывод? Вооруженная борьба для народа не нужна и опасна. Понятное дело — так как она утвердит ненавистную им советскую власть. А какой вывод делаем мы с вами, большевики? Необходима вооруженная борьба, широкая, непримиримая, и... немедленно!

— Позвольте! — Котовский был сбит с толку.— Только что вы сказали...

— Только что я сказал,— спокойно прервал его Ласточкин,— именно это. И скажу еще больше. Именно с этим я к вам и пришел. Надо начинать вооруженную борьбу, Григорий Иванович! Надо воевать!

Котовский встал.

— Послушайте, Иван Федорович,— возмущенно сказал он,— разрешите мне...

— Не разрешаю! — обрезал Ласточкин.— Прошу выслушать меня до конца! Ведь я же вас выслушал? Не так ли? Ведь я начал говорить только после того, как вы сказали «все».

Котовский пожал плечами, примирительно, хотя еще и не вполне остыв, поглядывая на Ласточкина.

И Ласточкин закончил свою аргументацию:

— Страна наша ведет сейчас отечественную войну, Григорий Иванович, а не просто совершаются путчи в разных концах нашей огромной отчизны. Следовательно, боевые операции в каждой отдельной местности должны исходить из интересов общего и единого плана разгрома врага. Вы были военным,

Григорий Иванович, и знаете, что означает выражение «огонь на меня». Юг Украины должен оттянуть на себя часть сил антисоветской коалиции и, перемалывая их, тем самым помочь общегосударственному делу борьбы против интервентов в других краях советской родины: на Кавказе, в Крыму, на юге России и на Дальнем Востоке. В этом залог победы революции. Вам это понятно, Григорий Иванович?

Котовский кивнул:

— Конечно!

— Не путч будет здесь у нас, а война! Не тысяча смельчаков пойдет героически умирать на баррикадах, а сотни тысяч и миллионы смелых сынов нашего советского героического народа пойдут на бой, на войну! Не на рыцарский турнир для красивой минутной победы, а чтобы победить навсегда и построить на земле коммунизм! Такая победа — всенародное дело. И чтоб поднять народные массы, нам с вами, большевикам, придется поработать засучив рукава, а иной раз и повозиться с кое-какими скучными, как вы говорите, бюрократическими делами. Только не воду в ступе мы будем толочь, а кровь зажигать в сердцах людей!

Взволнованный Ласточкин встал со своего кресла, прошелся взад-вперед по комнате и остановился у окна, вглядываясь сквозь стекло в черный мрак ночи.

— Вы правы, Иван Федорович...— глухо за его спиной произнес Котовский.— Я не прав, а вы правы. Вы правы, как всегда,— задумчиво прибавил Котовский.— И это потому, что вашими устами говорит партия. А у меня — только крик наболевшей души... души «легендарного экспроприатора»... в прошлом, конечно, как вы изволили метко заметить.— Котовский криво усмехнулся, и в его голосе прозвучали одновременно и ирония и грусть.— Завидую я вам...

Ласточкин не отвечал. Он все смотрел в черное окно, словно мог увидеть что-то там, в темноте.

Но он и в самом деле увидел. В доме напротив, через улицу, высоко, на четвертом этаже — так, что с земли почти и не видно было,— светилось окно. Электричества не было, и обитатели квартиры тоже зажгли керосиновую лампу. Это была старинная, должно быть давно не бывшая в употреблении висячая керосиновая лампа, тремя фантастического рисунка цепями прикрепленная к крюку в потолке; между цепями спускалась бронзированная груша — наполненный дробью противовес. Когда-то давно такие лампы непременно висели в каждой квартире, в столовой, над обеденным столом. От такой лампы из-под широкого, конической формы, зеленого абажура падал на скатерть уютный круг мягкого, неяркого света... Ласточкину не видно было отсюда, с уровня второго этажа, сидел ли кто-нибудь за столом. Он видел только лампу... И вдруг ему вспомнилось детство. Детские годы маленького Вани Смир-

нова... Отец-пекарь, мать-швея пришли с работы. Субботний вечер — и потому на столе, в неярком кругу от лампы, вместо черного ржаного хлеба серый ситник, и чай не вприкуску, а внакладку. И так хорошо, уютно под лучами «праздничной» лампы, которая зажигалась только в субботу, в воскресенье да по большим праздникам; в остальные дни на столе стояла «трехлинейка» со слепеньким плоским фитильком. Тепло как-то на душе под спокойным широким светлым кругом от абажура, хотя и... страшновато оглядываться на углы, где притаились тени, а дальше — и черная тьма... Потом маленький Ваня вырос, но его попрежнему называли «Ваня-маленький» за невысокий рост и невидную фигурку, называли товарищи по церковноприходской школе, по городскому училищу, по портняжной мастерской, где он был сначала учеником, а затем подмастерьем и мастером. Под этим же псевдонимом «Ваня-маленький» его знали и партийные товарищи, это стало его подпольной кличкой. Вырос Ваня-маленький. И так — под висячей лампой с абажуром — сидел и на конспиративных собраниях и в кругу своей семьи: жены и Вани еще меньшего, сына... Ссылка и каторга разлучили Ваню Смирнова с женой и сыном. Он с ними увиделся ненадолго только в семнадцатом году, когда революция вернула его из ссылки,— вот так же сидели они под лампой с абажуром, когда встретились после многолетней разлуки... Затем — водоворот борьбы за Октябрь: на митингах, снова в подполье, на баррикадах... Затем, две недели назад, прощанье с женой и Ваней-меньшим — под такою же лампой в Москве; только керосиновую горелку номер пятнадцать прогресс заменил уже шариком электрической лампы с угольной нитью и силой в пятнадцать свечей. И вот Ваня-маленький прибыл сюда, на юг, организовывать народ для борьбы. Скоро ли приведется увидеть милую жену, товарища в жизни и в революционной борьбе, обнять Ваню-меньшого?.. Скорее бы добиться победы, отвоевать право на вольный, творческий труд и построить на земле коммунизм — для всего народа, и для своей семьи...

— Завидую я вам, Иван Федорович,— задумчиво повторил Котовский.— И очень прошу всегда поправлять меня... прямо с ходу. Вот так, без церемоний, прямо в лоб, то есть по лбу — раз! И, будьте уверены, я соображу, что и к чему... Стать верным сыном партии, ее разумным членом, а не только отважным солдатом, стать разумным и дисциплинированным коммунистом — это моя мечта, поверьте, Иван Федорович!..

Ласточкин через силу оторвался от черного проема окна — от видения, возникшего в светлом неярком кругу под абажуром висячей лампы — и подошел к Григорию Ивановичу.

— Милый мой, дорогой мой, друг мой Григорий Иванович! — заговорил он тихо и задушевно.— Я очень вас понимаю. Вы, еще юношей ставший живой легендой, десяток лет носившийся вольным ветром, поджигавший помещичьи имения,

экспроприировавший царскую казну, мечтающий перевернуть весь мир паразитов,— вы жаждете бурного и немедленного действия! Огонь и металл, факел и сабля мстителя — да еще на горячем коне — вот каким вы привыкли видеть себя в борьбе, вот каким вы легко можете ухватить мир за вихор и перевернуть его вверх ногами! Я вас понимаю и сочувствую вам. Вам это трудно и скучно: подполье, маски Золотаревых, Скоропостижных или Берковичей, кропотливая организационная и пропагандистская работа... Тяжело! В борьбе много есть тяжелого, Григорий Иванович. Хорошо! Согласен! Вот вам сабля рубаки. Но позвольте нам раньше построить прочный трамплин, создать точку опоры — чтобы удобнее было ухватиться за эту петельку и перевернуть буржуйский мир вверх тормашками! Не обижайтесь за эти мои слова. Вы будете еще рубить, но до того помогите нам хорошенько подготовить все для прыжка. По рукам, Григорий Иванович?

— Ну что вы, Иван Федорович! — смутился Котовский.— Что за разговор? Давайте ваше поручение — и квит... Вы же пришли со спешным заданием. Что я должен сделать?

— Милый мой! — удивился, даже пришел в ужас Ласточкин.— Как что? Да я ведь полчаса только о том и толкую! Оружие нужно, Григорий Иванович! Много оружия! Ваши лимонки и пистолеты — это отлично! Но, во-первых, их мало — нужно в сто раз больше. А во-вторых, не пистолеты и лимонки нужны. Нужны винтовки, пулеметы, пушки! Чтобы вооружить батальоны и полки рабоче-крестьянской армии! Не сто смельчаков, а тысячи и десятки тысяч рабочих и крестьян для всеобщего восстания!

Котовский схватил Ласточкина за плечи.

— Так, значит, восстание? Все-таки восстание?

— Безусловно! — добродушно ответил Ласточкин.— Только восстание. Да ведь я же вам об этом полчаса толкую: нам надо здесь поднимать восстание! Только не восстание сотни отчаянных головушек, а восстание масс!

Ласточкин снял руки Котовского со своих плеч, усадил его в кресло и сам сел напротив.

— Мы будем готовить всеобщее восстание — в городе Одессе и по селам Одесской области, на всем плацдарме, который захватят интервенты для вожделенного прыжка на север. Они расположат тут, на юге Украины, свои силы, а мы их — восстанием! И свернем им шею. Вас, Григорий Иванович, Военно-революционный комитет просит заняться добыванием оружия в первую очередь.— Ласточкин улыбнулся.— Само собой, не бросая и всех остальных дел, которые вам поручены. Но прежде всего: винтовки, пулеметы, пушки, хотя бы и дредноуты! Доставайте каким угодно способом, только бы побольше! Договорились? И еще одно: привыкайте все-таки, что я не Иван Федорович, а Николай...

Это была, несомненно, одна из самых страшных ночей в Одессе.

В разных концах города — то на одной улице, то на другой — вдруг раздавался выстрел. Часто в ответ на выстрел раздавался и второй из-за какого-нибудь угла. Иногда возникала целая перестрелка — и утихала, обрывалась так же внезапно, как и началась.

Стреляли по большей части из какого-нибудь двора, приняв с перепугу деревянную скамью на трамвайной остановке за группу притаившихся или подкрадывающихся бандитов. Случалось тоже, что два отряда самообороны затевали между собой настоящее сражение, приняв друг друга за банду грабителей.

В некоторых кварталах гремели и взрывы бомб. Бомбы бросали тоже со страху, из простого озорства, а чаще — на всякий случай, чтоб подбодрить самих себя.

То там, то тут взлетали в небо ракеты — красные и зеленые. И неизвестно было, что они означают: то ли кто-нибудь подает кому-нибудь знак, то ли просто кто-то балует спьяну?

Ни о чем невозможно было узнать. Телефон в городе не действовал, и каждый дом жил своей собственной, изолированной от остальных и вообще от всего мира жизнью. Каждый двор был словно обособленный, ни от кого не зависимый, самостоятельный мирок.

На тысячу отдельных, самостоятельных мирков распался вдруг огромный город; как единый организм он уже не существовал. Свободно в городе жили и свободно по всему городу ходили только слухи. И невозможно было понять — откуда же они приходят и как проникают со двора во двор, из одного обособленного мира в другой в этом огромном городе, где все связи нарушены и не существуют больше?

Впрочем, слухи рождались по большей части «в порядке самодеятельности» — на основании только звуков, которые были теперь единственным языком города: выстрелов, перестрелок, разрывов бомб и сигнальных ракет. Это были слухи о наступлениях и отступлениях, о захвате в плен и освобождении, о приходе большевиков и высадке антибольшевистского десанта, якобы происходившей уже под покровом темной ночи.

Во всяком случае, во всех разъединенных мирках, по всем кварталам города еще до полуночи стало точно известно, что в Новороссийске английский десант уже высадился, что в севастопольскую бухту вошла французская эскадра, что итальянский крейсер «Аккордан» уже виден с маяка на семнадцатой станции Большого Фонтана.

И самое странное было то, что слухи эти в большинстве случаев соответствовали действительности. Итальянский крей-

сер «Аккордан» действительно в ту ночь можно было бы увидеть на горизонте — если бы сквозь ночную тьму можно было видеть горизонт.

И, кроме итальянского крейсера, там, на морском горизонте, за Большим рейдом, рядом с ним закачались в ту ночь на морских волнах еще и французские военные корабли: «Мирабо», «Жюстис», «Жюль Мишле». Поблизости появился и английский дредноут «Сьюперб»...

Это еще не была эскадра Антанты. Это был лишь ее передовой отряд. Он даже еще не имел указания войти в одесскую бухту. Передовому отряду эскадры был дан приказ — войти в воды Украины и патрулировать на линии «ничейных» вод, утюжа волны от берегов Румынии до Крыма. Четыре бронированных морских великана заперли выход со всего приморского юга Украины.

И вдруг странные, никак не жданные звуки спугнули тишину города.

Играл военный духовой оркестр.

Звуки его сначала долетели откуда-то издалека, словно из-под земли, как будто с территории порта. Затем они стали слышны ближе и выше — похоже, что с Николаевского бульвара. Наконец, они разлились широко и совсем близко — ясно, что на самой Дерибасовской.

Загремели двери, на верхних этажах открывались окна, люди выглядывали на улицу.

Оркестр? Откуда оркестр? И что за необыкновенный оркестр?

Звуки и в самом деле были диковинные, непривычные для уха одессита. Это не были медные трубы гетманского гарнизонного оркестра или серебряные фанфары добровольческого, обслуживавшего офицерские дружины добрармии. Строй неведомого оркестра был выше, звонче, и звучали в нем какие-то совсем незнакомые инструменты. Похоже было, что основную массу составляли не трубы, а кларнеты, флейты, даже свирели.

Оркестр двигался к центру города, и впереди него — теперь это уже было ясно видно — вставало зарево.

Сомнений не было: по улицам Одессы шел оркестр, и факелы освещали путь оркестрантам багровыми вспышками.

Улицы города уже не были пусты. На Дерибасовской, Ришельевской, Александровской, Екатерининской толпы людей залили тротуары.

— Десант! Десант! Десант! — перекатывалось из конца в конец.— Французы! Англичане! Американцы!

И действительно, по мостовой маршировали иностранные войска.

Впереди, откинув головы назад и подняв кверху какие-то чудные длинные дудки, выступали трубачи. Сразу за ними

шла шеренга, человек десять, музыкантов, игравших на инструментах, похожих на корнет-а-пистон. Дальше рядами шагали флейтисты и кларнетисты. И уже позади хрюкало несколько валторн.

Музыканты были в необыкновенной, тоже чудно́й, одежде, и в конце концов нельзя было разобрать — мужчины это или женщины. В коротеньких клетчатых юбочках, с голыми коленями, на икрах — белые чулки. На головах у них тоже красовалось что-то вроде дамских шляп с плюмажами и перьями.

Это был шотландский оркестр.

Сразу же за оркестром в таких же юбочках, чулочках и дамских шляпах шагали в несколько рядов солдаты с винтовками на плечо, но кверху магазинами.

Это были шотландские стрелки.

За ними, заломив синие береты с помпонами набекрень, распахнув куртки на груди, и тоже в коротеньких белых носочках поверх широких штанин, маршировали с маленькими карабинами за спиной мелкие ростом, но бравые на вид морячки.

Это были французские матросы.

И сзади, печатая шаг высокими коваными сапогами, сверкая в пляшущем свете факелов обильным позументом везде, где только возможно этот позумент нацепить — на фуражках, куртках, штанах,— походным порядком двигались польские легионеры белого орла...

Это не был десант.

Английский адмирал Боллард и французский консул Энно вняли, наконец, мольбам командования добрармии и гетманского гарнизона, услышали молитвы одесских тузов и белоэмигрантских лидеров. Они вызвали со своих четырех кораблей весь экипаж и конвойные взводы с оркестром шотландских свирельщиков и приказали им пройти маршем по улицам города, присоединив еще и польских легионеров.

Консул Франции и английский адмирал решили хотя бы продемонстрировать вооруженную силу, авангард тех, кто должен прибыть сюда, кто будет воевать против большевиков и советской власти,— вселить страх в сердца дерзких забастовщиков.

Это еще не был десант. Но вера в десант уже воскресла в каждом контрреволюционном сердце — на всей территории притаившегося и перепуганного города.

Иностранные солдаты маршировали, иностранный оркестр играл, иностранцы уже вступили на одесский берег — и город сразу забурлил. Контрреволюционный сброд торжествовал.

— Антанта! — кричали с тротуаров.— Союзники! Долой большевиков! Долой забастовщиков!

Офицеры добрармии, гетманские сердюки, львицы уже

несуществующих петербургских великосветских салонов и купчихи из разоренных замоскворецких купеческих гнезд, одесские воротилы, а за ними разнокалиберный городской обыватель бежали по тротуарам за иностранными солдатами и оголтело орали.

Некоторых солдат — шотландцев и матросов-французов затаскивали на тротуар и душили в объятиях.

Их спрашивали — когда же будет десант, сколько будет десанта, из каких он будет стран? Их расспрашивали — как там живется в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Лиссабоне и Рио-де-Жанейро? У них допытывались — почем в Марселе масло, сколько стоят яйца в Риме, какова цена на скумбрию в столице Соединенных Штатов — в Вашингтоне? Привезли ли они с собой мануфактуру и будут ли завтра продавать калоши?..

В помещении Центропрофа зажглись керосиновые лампы и свечи в канделябрах. Старейшина межпартийного совета партий экстренно созвал межпартийное совещание фракций: меньшевиков, эсеров, анархистов, бунда, поалей-цион. Большевистская фракция вызвана не была. Большевики ведь были нелегальные, ведь они были в подполье. Большевистская фракция явилась сама, без вызова, во главе с председателем фракции, членом обласкома, матросом Иваном Голубничим.

Большевики пришли через пять минут после открытия совещания, когда старейшина уже голосовал предложение меньшевиков.

Предложение было: забастовку прекратить.

Совещание «социалистических партий» голосовало единодушно: прекратить!

С улицы доносились звуки английского оркестра, по улицам маршировали французские солдаты, за ними походным маршем двигалась целая дивизия польских легионеров. Завтра, послезавтра самое позднее сойдет на берег Одессы иностранный десант антибольшевистской коалиции. До стачки ли тут меньшевикам?

Меньшевики, эсеры, бунд и поалей-цион здесь же, в Центропрофе, подписали соглашение с градоначальством в лице председателя думы Брайкевича.

По этому соглашению удовлетворялись два первые пункта требований стачечников: освобождение из тюрем политических заключенных и свобода слова.

Третий пункт — легализация Совета рабочих депутатов — не удовлетворялся. Третий пункт был явно большевистский.

Свобода слова тоже не распространялась на нелегальную партию большевиков. Свобода слова разрешалась только для партий, «стоящих на государственной платформе»: меньшевиков, эсеров, бунда и поалей-цион.

Из тюрем также освобождались только члены партий

меньшевиков, эсеров, бунда и поалей-цион, если, паче чаяния, кто-нибудь из них туда попал.

Большевики — члены нелегальной партии, не стоявшей на платформе гетманской «державы»,— из тюрем не освобождались.

Наоборот, фракция большевиков во главе с членом облосткома матросом Иваном Голубничим тут же была арестована и препровождена в градоначальницкий централ — в тюрьму за Еврейским кладбищем.

Так закончилась всеобщая забастовка.

Еще ночью по требованию вооруженного пикета шотландских стрелков вынуждены были возобновить работу портовые рабочие. Заверещала сирена на катере начальника порта, загудел какой-то пароход, засвистела «кукушка» на подъездных путях...

Но света в порту еще не было. И в ночной мгле с моря, издалека, с каких-то рыбачьих шаланд, долетала грустная песня:

Плещут холодные волны, бьются о берег морской,
Носятся чайки над морем, крики их полны тоской...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Теперь город жил прямо под открытым небом.

Всероссийское сборище белой эмиграции и одесская буржуазия ждали, не могли дождаться иностранных интервентов.

Весь берег от Фонтанов до Николаевского бульвара в эти дни был густо усеян людьми. Люди стояли на высоком берегу над обрывом и не отрываясь смотрели в море. На Большом рейде дымили, как и раньше, только четыре корабля, но теперь уже было точно известно: эскадра Антанты прошла Дарданеллы, миновала Босфор и плывет по водам Черного моря.

С моря дул холодный, пронизывающий ветер, но толпы стояли с утра до ночи: каждый хотел увидеть вымпелы эскадры собственными глазами. Кое-кто даже обедать домой не ходил; шикарные кабриолеты подлетали рысью и привозили хозяевам горячий чай в термосах, а в серебряных погребцах чего-нибудь выпить и закусить. К услугам менее прихотливых и не столь сановитых граждан были предприимчивые спекулянты: вся торговая Одесса выслала сюда, на берег, свои небольшие «десанты». В толпе сновали лоточники, бойко торговали ларьки и киоски, на скорую руку натягивались тенты для «выездных» буфетов от ресторанов Робина и «Олимп»; кафе Фанкони и Скведера сооружали летние павильоны, несмотря на то, что начиналась зима.

Впрочем, не меньше, чем на приморских бульварах, было народу и на привокзальной площади, в залах и на перронах Одессы-Главной.

Железнодорожные станции Жмеринка, Вапнярка и Бирзула были уже заняты «сечевиками» директории, двигавшимися на Одессу со стороны Киева, но в Раздельной еще держалась гетманская власть — и железнодорожный путь на Тирасполь, в Румынию, был пока свободен.

А из Румынии — открытая дорога во все европейские страны!

Перспектива была слишком соблазнительна. Мысль, что вот-вот, с приближением войск директории, исчезнет и эта возможность выехать за границу, пугала. Не вернее ли будет, пока там антантовский десант доплывет до Одессы, безотлагательно самим двинуть в Европу?

Челядь царского двора, бывшие царские министры, сановные чиновники, помещики и фабриканты, у которых были солидные счета в заграничных банках, ринулись, не теряя времени, на вокзал.

В поездах на Румынию мест на всех не хватало. Поезда брались с бою, и в этих боях были раненые и убитые — задавленные в тесноте или сброшенные в толкучке под колеса вагонов. За билет сначала платили вдесятеро, затем в двадцать раз и, наконец, в сто раз дороже.

На вокзальных перронах царил шум и гвалт. На площади перед вокзалом волновалась тысячная толпа сановных беглецов. В толпе сновали предприимчивые жулики — они торговали специальными квитанциями на право езды зайцем. Царский министр путей сообщения Кривошеин радовался, как малое дитя: ему посчастливилось за две тысячи думскими приобрести для себя и жены два места в клозете третьего класса.

На площади не прекращались вопли: там сорвали с цепочки золотые часы, там стащили чемодан с фамильными драгоценностями, там из дамского мехового сака лезвием бритвы вырезали целую спинку на шапки. Банда Мишки Япончика развернула самую широкую деятельность. Бандиты «работали» не скрываясь. Они взяли толпу на привокзальной площади в кольцо и, продвигаясь сквозь нее «прочесом», забирали все, что можно было унести с собой. Дамские котиковые манто тут же на месте продавались — хотя бы и самим собственникам их — всего за двести — триста рублей.

Ограбленные бежали к гетманским охранникам жаловаться и взывать о помощи, но «вартовые» только отмахивались и поспешно сдирали со своих фуражек гетманские кокарды.

Власти в городе фактически не существовало. Председателя думы, «мэра» города Брайкевича, невозможно было разыскать. Командующий гарнизоном гетманских войск генерал Бискуп-

ский выставил вокруг своей штаб-квартиры пулеметы — на все четыре стороны. Консула Энно в его резиденции и адмирала Болларда в гостинице «Лондонской» охраняли отряды французских матросов и шотландских стрелков.

2

Но самая большая толпа собралась в помещении цирка и в прилегающих кварталах.

В цирке — с приближением войск директории и ожидаемой в связи с этим юридической смены власти в городе — меньшевики и эсеры решили созвать общегородской митинг рабочих и служащих: как быть, что делать, как относиться к будущей власти?

Митинг был назначен на двенадцать часов, но уже в десять стало известно, что «будущая» власть, кажется, превратилась в «настоящую». Войска директории наступали на Одессу не только по киевской линии, но и по линии бахмачской: вчера был занят Вознесенск, ночью — Березовка, под утро — Сербка. Рассказывали, что броневые поезда петлюровских войск в эту минуту уже стояли перед Одессой-Сортировочной, между Пересыпью и лиманом.

В цирке негде было ни сесть, ни стать. На каждом стуле теснились по двое, в проходах стояли стеной, полны были все вестибюли, толпа залила двор, людьми забита была площадь, все улицы, ведущие к цирку, на несколько кварталов.

Митинг открыл «патриарх» местных эсеров Кулябко-Корецкий, но тут же передал слово «патриарху» местных меньшевиков Градову-Матвееву: меньшевики и эсеры решили провести митинг как межпартийный, вернее — внепартийный.

Градов-Матвеев прошамкал:

— Граждане! С минуты на минуту падет власть гетмана не только в Одессе, но и на всей Украине...

— Уже пала! — раздался громкий возглас из публики.

У входа, в дверях, поднимаясь на носки, размахивал бумажной лентой солдат с петличками искровика:

— Искрограмма! Гетман отрекся от престола!..

Слова искровика потонули в выкриках и свисте. Солдата подхватили на руки, передали вперед, еще раз — и так до самого президиума.

Фуражку солдат потерял и взбежал на трибуну с непокрытой головой.

— Читай! — ревом встретил его зал.

Рев прокатился по коридорам и вестибюлям, потом по площади и смежным улицам. Солдат давно уже читал, а городские кварталы вокруг цирка все еще гудели:

— Читать! Читать!

— «Всем, всем, всем!

Я, гетман всея Украины, семь с половиной месяцев все свои силы отдавал на то, чтобы вывести страну из того тяжелого положения, в котором она пребывает.

Бог не дал мне сил справиться с этой задачей.

Ныне я от власти гетманской отрекаюсь.

Павло Скоропадский».

— Ура! — грохнул зал.

— Ура-а-а! — покатилось по коридорам и вестибюлям, по площади и по улицам.

Минут десять невозможно было успокоить собрание. Люди выкрикивали лозунги, распевали песни, возбужденно подбрасывали шапки вверх. Гетман удосужился-таки — впервые за семь с половиной месяцев — порадовать своих «подданных»: одно полезное для народа дело — отречься от престола — бог все же дал ему силы совершить...

Наконец, оба старца при помощи колокольчика установили кое-какой порядок в зале.

Градов-Матвеев получил возможность продолжать свою речь:

— Немало зла причинил гетман народу Украины. В борьбе против его власти пали жертвами и некоторые члены нашей партии, партии социал-демократов меньшевиков, а также и...— он картинно поклонился второму председательствующему старцу,— некоторые члены партии социалистов-революционеров. Я предлагаю почтить память почивших борцов...

Старческим, дребезжащим голоском он затянул:

— «Вы жертвою пали...»

— «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов...» — могучим тысячным хором загремел зал. Люди встали.

Старец на трибуне петь перестал. Зал пел «Интернационал» — боевой гимн пролетариата, призывающий к борьбе, к бою, а он от имени эсеров и меньшевиков собирался произнести речь с призывами прекратить борьбу, избежать боя, наметить пути мирного сотрудничества с новой, ожидаемой властью — директорией Петлюры и Винниченко.

Оба председательствующих растерянно переглянулись. Как же это случилось? Ведь у дверей цирка были специально поставлены пикеты меньшевистских и эсеровских дружин, следивших, чтобы внутрь проходили только по специальным пропускам. Эти пропуска-приглашения раздавались вчера вечером и сегодня утром только тем рабочим и служащим, о которых точно было известно, что они не принадлежат к партии большевиков, да и вообще не отличаются какой бы то ни было политической активностью.

Большевиков действительно не только не пригласили на митинг, а даже не известили о созыве его.

Большевики узнали об организации митинга поздно ночью. Подпольный областком немедленно решил направить на митинг свою делегацию. Выступить от имени большевиков поручено было Александру Столярову.

Но когда Александр Столяров задолго до двенадцати прибыл на место, пробиться к цирку не было уже никакой возможности: толпа стояла вокруг сплошным кольцом.

Тогда Александр Столяров взобрался на фонарь.

— Товарищи! — закричал он.— Меньшевики и эсеры умышленно собрали этот митинг втайне от большевиков. Они хотят спровоцировать рабочих и служащих на принятие антинародного, предательского решения! Я — представитель большевистской партии, которая сейчас в подполье готовит народ к борьбе против всех врагов рабочего класса. Пропустите меня, товарищи!

— Большевик! Большевик! — загудела площадь перед цирком.— Пропустите большевика!

Но легче было сказать, чем сделать. Плотно стоящая толпа при всем желании не могла расступиться и пропустить даже одного человека.

— Становись! — закричал кто-то.— Становись мне на плечо, а там — соседу! Айда!

С плеча на плечо Столяров пробрался до дверей цирка.

Тем временем председательствующие старцы дали слово украинскому эсеру, который представлял в городе рождающуюся власть директории. Это был доктор Луценко, деятель местной «Просвиты», «Украинской громады» и «Украинского республиканского клуба».

Доктор Луценко, выйдя на трибуну, сказал:

— Панове добродийство! К нашему славному городу, украинскому форпосту на берегу Черного моря, приближается наше славное украинское рыцарство! В эту минуту в столицу нашей неньки Украины с победоносным боем входит украинское казачество, под предводительством головного атамана Симона Петлюры на белом коне... Слава отважным воинам украинского национального республиканского войска!

— Слава Красной Армии! — неожиданно прозвучало в зале.

Доктор Луценко осекся на полуслове.

— Панове...— растерялся он,— добродии...

Но зал его уже не слушал. Славу Красной Армии провозглашали в партере, в ярусах, на галерее. Перекрывая выкрики, из глубины зала понеслась многоголосая песня:

Смело мы в бой пойдем за власть Советов...

Столяров тем временем пробрался на галерку. Он видел, как доктор Луценко, смешавшись, потихоньку сошел с три-

буны и старался протиснуться к задним дверям, к помещениям, где держали ученых свинок и дрессированных собак.

Столяров смотрел сверху на зал. Он должен был немедленно выступить. Но председательствующие меньшевистско-эсеровские старцы слова ему, конечно, не дадут. Да и мыслимое ли дело попасть отсюда, сверху, вниз — на трибуну. Зал колыхался и бурлил внизу, в зале гремели возгласы в честь Красной Армии, звучали боевые революционные песни... Сердце заколотилось у Столярова в груди. Оружия! Не пистолетов и лимонок, а дать в руки вот этим пролетариям, собравшимся здесь, в зале, винтовки и пулеметы! Тысячу винтовок и сотню пулеметов — и трудящиеся Одессы не впустят на свою территорию петлюровских националистов!

Но на три рабочие дружины — имени Старостина, Морского райкома и Молодежно-комсомольскую — имелось только полсотни карабинов, раздобытых Григорием Ивановичем Котовским. События развивались чересчур быстро, и стремительное наступление войск директории на Одессу было совершенно неожиданным.

Столяров вдохнул полную грудь воздуха и, выбрав минутку, когда шум в зале как будто немного поутих, крикнул что было силы:

— Товарищи!..

В зале сразу стало тихо.

Люди оборачивались, чтобы увидеть говорившего.

— Он на галерке! — крикнул кто-то.

— Он на галерке! — сразу же подхватили со всех сторон, и все головы поднялись вверх.

— Тише! Дать слово! Пускай говорит!..

Теперь внизу перед глазами Столярова волновалось море лиц, и все они были подняты к нему. И Столяров заговорил.

— Товарищи! — начал он.— Меньшевики и эсеры лишь на днях продали вас всех гетманской власти, сорвав всеобщую забастовку трудящихся Одессы! Теперь они собрали вас сюда, чтобы еще раз попытаться передать власть в городе Петлюре и его директории. Но одесские трудящиеся знают, кто такой Петлюра. Это его гайдамаки замучили вожака одесского пролетариата Старостина! Это Петлюра допустил на Украину немецких оккупантов!..

Столярова прервали. В зале поднялся шум: кто-то возмущался, кто-то протестовал, на кого-то шикали, кричали о свободе слова и просто — ура большевикам!

— Товарищи! — послышался голос Столярова.— Эти господа,— он протянул руку в сторону трибуны,— опять пытаются сбить вас с пути! Они уговаривают вас, что пролетариат не в силах взять власть в свои руки. То же говорили они в прошлом году, когда Ленин в Петрограде требовал вооруженного восста-

ния. Но народ их не послушал и в октябре установил советскую власть...

— Да здравствует Ленин! — раздался возглас, и его подхватили десятки и сотни голосов.

— Не верьте, товарищи, меньшевикам и эсерам! Если сегодня у нас еще нет оружия, чтобы выйти с ним на улицу, то завтра и послезавтра мы уже будем его иметь! Если Совет рабочих депутатов сегодня еще в подполье, то завтра он из подполья выйдет и возьмет власть в свои руки!

— Да здравствует советская власть! — звучало в зале.

— Товарищи! — продолжал Столяров.— Наш город занят вражескими армиями и контрреволюционными частями — белыми и желто-голубыми, а завтра-послезавтра еще высадится на нашу землю десант капиталистической Антанты! Но пускай это не страшит одесских пролетариев. У пролетариев сейчас нет иной цели, как потопить в море контрреволюцию и иностранных захватчиков и взять власть в свои руки! Товарищи! Требуйте выхода из подполья Совета рабочих депутатов!

— Требуем Совета рабочих депутатов!

Голосок председательствующего, потерявшего всякую власть над митингом, который он собрал, прорвался между двумя возгласами в честь советской власти:

— Я отказываюсь... я отрекаюсь...

— Гетман уже отрекся! — крикнул кто-то из зала.— Давай и ты!

— Я закрываю митинг! — выдохнул старец.

И оба председательствующих, жестикулируя и поддерживая друг друга, исчезли за кулисами цирка.

В партере уже кто-то стоял на стуле и призывал:

— Товарищи! Меньшевики и эсеры, продав нашу стачку, освободили из тюрьмы своих арестованных и бросили в острог большевиков! Сейчас врываются в город петлюровцы. Они могут расстрелять арестованных! Надо идти к тюрьме, спасать товарищей-большевиков!

Призыв потонул в общих выкриках:

— К тюрьме! Разбить тюрьму! Освободить большевиков!

Люди вскакивали и направлялись вон из зала.

Перед цирком уже знали обо всем, что произошло внутри. Стало известно и решение идти громить тюрьму.

Люди строились в ряды. Откуда-то появился и красный флаг. Он уже развевался над толпой. К знамени пристраивались целые колонны. У некоторых в руках уже оказались пистолеты и бомбы. И человеческий поток покатился расщелинами улиц в одном направлении: на Чумку, через железнодорожное полотно, к тюрьме.

Встречные подбегали к толпе и расспрашивали: что такое, в чем дело, кого будут сейчас громить? Какая идет власть и какая власть будет в городе сегодня к ночи?

Толпа росла, как река в половодье.

От встречных стали известны и новости, случившиеся в городе, пока в цирке шел митинг.

Новости были такие. Войска директории уже входят в Одессу, и петлюровские броневики прорвались к Одессе-Главной. Это были войска, наступавшие с захваченной уже Раздельной. Но войска директории входили в город и с другой стороны — с бахмачской линии, через Одессу-Сортировочную. Где-то возле Заставы обе группы только что соединились. Гетманский гарнизон города под командованием генерала Бискупского объявил себя тоже петлюровской воинской частью, признав власть директории.

Теперь к морю, в порт, ринулись очумевшие и перепуганные внезапным наступлением войск директории белые офицеры добровольческих дружин. Белых офицеров-добрармейцев было значительно меньше, нежели петлюровцев, и они не имели артиллерии, в то время как войска директории уже пригнали к станции с десяток бронепоездов. Белые офицеры спешно грузились на пароход «Саратов» — бежать в Новороссийск или в Крым. Порт и приморскую часть города захватили меж тем польские легионеры белого орла; они поспешно возводили баррикады и рыли окопы по линии Гоголевской — Ланжероновской улиц. Белопольский легион был теперь единственной вооруженной силой в городе, которая собиралась оказать сопротивление наступающим петлюровцам. Французский консул Энно только что выпустил и специальное оповещение — оно уже белело на всех заборах и столбах:

«От французского консула.

Польский легион, который ныне в Одессе является авангардом французских войск, находится под французским командованием. Всякое покушение на безопасность этого легиона, его командиров и представителей, а также на всех тех, кто ему содействует, будет рассматриваться как выступление против держав Антанты.

Консул Энно».

3

Когда возглавляемая Александром Столяровым толпа, разбив по дороге Александровский полицейский участок и выпустив на волю всех задержанных там людей, миновала Еврейское кладбище и приблизилась к тюрьме, оказалось, что перед тюрьмой бурлит огромный митинг. Ораторы выступали один за другим, и тотчас толпа подхватывала их на руки и начинала качать. Это были только что освобожденные из тюрьмы большевики.

Вышло это так.

Еще час назад небольшой отряд вооруженных рабочих во

главе с портовым грузчиком Григорием, сопровождаемый толпой обитателей недалекого Сахалинчика, внезапно появился перед тюрьмой. Рабочая дружина имела задание от подпольного Ревкома — воспользовавшись сумятицей в городе в связи со сменой власти, освободить из тюрьмы политических заключенных.

Рабочий отряд остановился перед воротами, и грузчик Григорий закричал:

— Приказ Военно-революционного комитета: отворить ворота немедленно!

Но стража притаилась за толстыми стенами и молчала.

Тогда грузчик Григорий вышел вперед и крикнул еще раз:

— Три минуты срока. Через три минуты идем на штурм!

Еще минуту за стенами стояла тишина. Вдруг из-за ворот грянул выстрел, и пуля просвистела у самого уха грузчика Григория. Григорий выругался, расстегнул бушлат и вынул тяжелую связку гранат.

— Ложись! — крикнул грузчик Григорий своим и, размахнувшись, швырнул связку гранат под железные ворота. Сам он в тот же миг распластался в кювете.

Раздался громкий взрыв — и железные ворота повисли на петлях.

— Вперед! — подал команду грузчик Григорий, срываясь с места.

Рабочая дружина — кто с пистолетом, кто с лимонкой, а кое-кто и с карабином — потоком хлынула в ворота.

Но вступать в рукопашный бой с охраной тюрьмы не пришлось. Вся охрана, бросив оружие и подняв руки, стояла на тюремном дворе. Помощник начальника тюрьмы, дрожа, протягивал связку ключей.

Дружинники разобрали винтовки стражников, грузчик Григорий взял ключи.

— Списки! — приказал он помощнику начальника.— Списки политических заключенных. Уголовные преступники остаются на месте.

Со списками и ключами грузчик Григорий пошел по коридорам тюрьмы, отпирая камеры и выпуская на волю политических заключенных. Это были главным образом большевики и несколько анархистов. Была там вся большевистская фракция Центропрофа во главе с матросом Иваном Голубничим.

Голубничему Григорий Иванович сказал:

— Тебе приказ Николая от имени Военно-революционного комитета: немедленно вернуться к исполнению обязанностей руководителя военного сектора и возглавить все вооруженные рабочие дружины, объединив их в один боевой отряд вооруженного пролетариата.

— Есть возглавить боевой отряд вооруженного пролета-

риата! — по-матросски повторил приказ и даже отдал честь Иван Голубничий.— Прошу — место расположения боевого штаба?

— Болгарская улица, шестьдесят три, школа имени Пушкина — штаб Военно-революционного комитета. Хватай «штейгера» и лети вовсю!

Голубничий кинулся к воротам.

Но выйти из двора тюрьмы было уже не так-то просто. Пока рабочие-дружинники хозяйничали в корпусах, выпуская политических заключенных, тюремный квартал оказался взят в плотное кольцо толпой хорошо вооруженных людей. Однако были это не гетманцы, не офицеры-добрармейцы, не белополяки и не петлюровцы — и вообще совсем не воинская часть. Вооруженные карабинами, пистолетами и гранатами люди были одеты как попало, но добротно: многие были в дорогих пальто, элегантных охотничьих тужурках на меху, в каракулевых и котиковых шапках, даже в мягких шляпах, а то и в котелках и цилиндрах. Это были бандиты Мишки Япончика. Они тоже поспешили к тюрьме — вытащить из-за решетки своих, воспользовавшись сменой власти в городе.

Рабочая дружина с оружием наготове заслонила только что выпущенных заключенных, намереваясь защищаться. Бандитов Япончика было до полутысячи, дружинников — с полсотни.

Бандиты Япончика вливались во двор тюрьмы и разбегались по корпусам. Бревнами, ломами, кувалдами они выламывали двери камер и выпускали своих «братанов». На рабочую дружину бандиты Япончика — и освобожденные и те, кто освобождал,— не обращали никакого внимания. Тюремный квартал уже был окружен огромной, многотысячной толпой — подошла группа, двигавшаяся от цирка со Столяровым.

Ивану Голубничему повезло. Пробившись за ворота тюрьмы, он увидел у стены кладбища пролетку-«штейгера» и в ней Ласточкина, Шурку Понедилка и машиниста Куропатенко. Послав Котовского во главе вооруженной дружины вызволять товарищей из тюрьмы, Ласточкин тоже поспешил туда, чтобы тут же, на месте действия, направлять куда нужно освобожденных товарищей.

Ласточкин сошел со «штейгера» и предложил то же сделать своим спутникам.

— Садись, Голубничий, и гони поскорей в штаб! — приказал Ласточкин.

Когда Голубничий скрылся на «штейгере», Ласточкин спросил у Столярова, Куропатенко и Шурки Понедилка:

— Так вот — какие будут предложения насчет бандитов Мишки Япончика? Попробовать привлечь их на свою сторону и использовать их значительную вооруженную силу, выступить против них или выдерживать нечто вроде нейтралитета?

Шурка Понедилок пожал плечами.

— Это слишком высокая политика,— признался он,— что-то я тут ничего не понимаю...

Ласточкин пристально посмотрел на Шурку Понедилка.

— Товарищ Понедилок! Мы хотим, чтобы ты сейчас пошел к этим бандитам, среди которых, быть может, кое-кто тебя знает и с которыми ты можешь заговорить понятным им языком. Мы должны попытаться расколоть эту толпу бандитов, мы не знаем их намерений, и их полтысячи, а нас... Ты понял, Понедилок?

Шурка пожал плечами.

— Что-то не хочется мне к ним, товарищ Николай,— откровенно признался Шурка.— Сам, знаете... когда-то с ними ходил...

— Именно потому тебе и дается это поручение,— сказал Ласточкин.

Бандиты Япончика тем временем уже тащили банки с керосином и бензином — жечь тюрьму. Пламя внезапно взлетело вверх где-то за главным корпусом, потом огненные языки поползли по стенам пристроек. Кричали, что там, в пристройке, спрятался начальник тюрьмы, это его оттуда выкуривают. Вдруг пламя вспыхнуло со всех сторон. Оно длинными языками кидалось на массивные каменные стены, сразу оседало вниз, точно прячась, затем начинало сызнова, теперь уже потихоньку, ползти с камня на камень вверх. Это горели керосин и бензин, которые выплескивали прямо на стены. Но языки огня добирались до оконных рам, до дверей, и дерево начинало тлеть, затем деревянные части запылали, как факел...

Шурка Понедилок взобрался прямо на широкую стену, окружавшую тюремный квартал.

— Братишки! — закричал Шурка так, что его пронзительного голоса нельзя было не услышать даже среди содома, царившего вокруг тюрьмы.— Братишки! Или вы меня знаете, или, может, я сам знаю вас?

— О! — откликнулось несколько удивленных голосов.— Гляди, Шурка Понедилок с Молдаванки кукарекает на стене! Или ты пьяный, или ты чего имеешь спросить, Шурка?

Но Шуркин вопрос был только приемом ораторского искусства — Шурка ни о чем не спрашивал. Два десятка «шкетов», заинтересованных его появлением на стене, остановились — и этого было уже довольно, чтобы открыть митинг.

— Братишки! — завопил Шурка.— Горит наша «кича», чтоб им всем сгореть от Северного до Южного полюса! Но не сгорели еще тюрьмы на всей земле! Будет на нас новая «кича», а я не хочу опять в тюрьму, хотя бы и в американскую, английскую или французскую! Братишки! Пусть не лезут паразиты в нашу Одессу-маму со своей заморской тюрьмой! И я отвечаю на ваш вопрос, как это сделать: пускай им будет мокро, а мы

выйдем сухими из воды, пускай они играют в жмурики, а мы и вперед будем жить! Теперь я спрашиваю вас: почему это рабочие будут бороться против них, а мы нет? Что мы, хуже рабочих? Или вы меня понимаете, братишки? Котька! — крикнул он кому-то в толпу перед ним, заметив знакомое лицо.— Вдарили, а?

Спрошенный попятился.

— Так я же не военнообязанный. У меня же кила...

В это время над головами что-то завизжало, загудело, недалеко, где-то возле Чумки, один за другим раскатились громкие взрывы, а с моря долгим эхом отозвался могучий гром. Даже воздух задрожал.

— Антанта! — закричали в толпе.— Эскадра! Кроет по городу!..

Толпа забурлила. Бандиты Япончика кинулись кто куда. Одни хватались за оружие, другие, наоборот, бросали оружие и бежали прочь.

Это была еще не вся эскадра. Но к английскому дредноуту «Сьюперб», английскому крейсеру «Скирмишер» и французскому броненосцу «Мирабо» подошли патрулировавшие в украинских водах французские корабли «Жюстис» и «Жюль Мишле», а также итальянский крейсер «Аккордан» — и все вместе дали мощный залп из дальнобойных морских орудий по железнодорожной линии, по которой двигались на город петлюровские броневики.

Французское командование десантной группы союзных войск одесского плацдарма, пересекавшее в это время на флагмане эскадры Черное море, передало по искровому телеграфу приказ кораблям эскадры на одесском рейде: не допускать смены власти в городе, помешать движению войск директории, остановить наступление.

4

Мощный залп из ста орудий шести морских великанов остановил наступление на город и передвижение в самом городе частей войск директории. Полсотни тяжелых «чемоданов», разорвавшихся на территории железной дороги и в прилегающих районах города, были веским аргументом для хотя и многочисленных, однако плохо организованных петлюровских войск. Петлюровцы остановились у железнодорожной линии, не дойдя до центра города.

Дальше, за центральными улицами, начиналась «зона Энно». Так называли теперь приморскую, в районе порта, часть города, по линии Гаванная — Ланжероновская — Ланжероновский спуск, которую консул Энно специальным оповещением объявил территорией, находящейся под защитой французского командования. Эта территория включала порт и

Николаевский бульвар с резиденцией консула Франции. На границе «зоны» стояли в обороне польские легионеры, а вместе с ними выведенный из казарм, до тех пор «нейтральный» немецкий полк. Представитель Антанты, консул Энно, ступив на землю Украины, торжественно заявил, что войска Антанты идут на Украину с единственной целью: уничтожить немецкое влияние и выгнать немцев. Вступив на украинскую землю, он немедленно взял немцев под свое покровительство и приказал им быть в состоянии боевой готовности.

Под прикрытием польско-немецкой обороны, усиленной пушками, захваченными у генерала Бискупского, и броневыми автомобилями из немецкого арсенала, команды французских и английских моряков прибывали со стоявших на рейде кораблей и занимали вторую линию обороны; баррикады возводились на самом Николаевском бульваре.

Деникинские офицеры, удравшие было на пароход «Саратов», отчалить на Новороссийск не смогли, так как экипаж покинул корабль и матросы разбежались кто куда, не желая спасать белых офицеров.

Французские и английские матросы окружили «Саратов» и согнали господ офицеров обратно на берег. Офицеры были построены и под конвоем французских и английских матросов промаршировали в «зону Энно». Здесь им сообщили, что из всех офицерских дружин создана теперь дивизия под командованием генерала Гришина-Алмазова.

Генерал Гришин-Алмазов прошелся перед выстроившейся по команде «смирно» против резиденции французского консула на Николаевском бульваре дивизией, придирчиво всматриваясь, как каждый из офицеров держит винтовку у ноги. Человек двадцать, державших винтовку не «по уставу», генерал Гришин-Алмазов приказал отправить на гауптвахту.

Затем генерал стал на ступеньку немецкого броневого автомобиля, звякнул шпорами, хлопнул стеком по голенищу сапога и сказал:

— Господа офицеры!

Офицеры стояли смирно, немые и окаменевшие.

— Да здравствует единая, неделимая Россия!

— Ура! — гаркнули господа офицеры.

— Да здравствует союз Франции, Англии, Соединенных Штатов Америки и Российской империи от Черного до Белого моря, от Балтийского моря и до Великого океана!

— Ура!

— Да здравствует верховный правитель России адмирал Колчак и командующий войсками добрармии на юге России генерал Деникин!

— Ура!

— Отныне в боевых действиях против большевиков мы

целиком подчиняемся непосредственно командованию войск Антанты!

— Ура!

— Поздравляю вас, господа офицеры, с началом боевых действий!

— Ура!

Генерал тут же, не сходя со ступеньки немецкого броневика и не переставая похлопывать себя стеком по голенищу, отдал свой первый боевой приказ:

— Два полка на первую линию обороны, плечом к плечу с польскими легионерами и немецкими гренадерами! Один полк — в резерв! Резерв — в состоянии боевой готовности!

После этого генерал сошел со ступеньки автомобиля и, похлопывая стеком по голенищу, скрылся в резиденции консула Франции с особыми полномочиями.

Наступила ночь.

5

Ночью, когда город снова замер и притаился в ожидании грозных событий, с представителями петлюровского Осадного корпуса войск УНР, вступившего в Одессу, встретились — по приглашению командования корпуса — представители Военно-революционного комитета города Одессы Ласточкин, Столяров и Голубничий.

Военно-революционному комитету предстояло разрешить сложный вопрос.

Десант вот-вот должен был высадиться, корабли союзной эскадры и транспорты с сухопутными войсками Антанты подходили уже к украинским водам Черного моря. Но и до прибытия эскадры и десанта в распоряжении союзного командования были немалые вооруженные силы: белопольский легион, немецкий полк, только что сформированная белогвардейская дивизия, а также команды шести военных кораблей. Это составляло свыше десяти тысяч штыков.

Что касается войск директории, которые вступали в город, сменяя и вбирая в себя гетманские части, то было очевидно, что между ними и союзным командованием соглашение еще не достигнуто. Таким образом, в городе сейчас не было единой силы и единого фронта. Фронт контрреволюции распался надвое, и два его лагеря противостояли друг другу. Ежеминутно между ними мог возникнуть и вооруженный конфликт.

Какую позицию занять Военно-революционному комитету, возглавляемому большевиками?

Военно-революционный комитет не имел достаточных сил, чтобы выступить против объединенного лагеря контрреволюции и захватить власть, но он пока не в состоянии был справиться и с каждой из двух сторон вражеского лагеря в отдель-

ности. Трудовое население города тяготело к большевикам; несмотря на все ухищрения меньшевиков, можно было немедленно поднять на борьбу тысячи. Но против военной силы нужна была в первую очередь тоже военная сила. Такой боевой, хорошо вооруженной силы Военно-революционный комитет не имел. В штабе Военно-революционного комитета на Болгарской были собраны к этому времени все три рабочие дружины. Это были полторы сотни бойцов, но в большинстве своем вооруженных только пистолетами и гранатами. К штабу отовсюду сходились группами и поодиночке рабочие, заявлявшие о своем желании принять участие в борьбе, но большинство из них не имело даже пистолетов и гранат. Три десятка вооруженных до зубов карабинами, пистолетами и гранатами вояк Япончика привел Шурка Понедилок; они решили бросить бандитскую жизнь и идти на баррикады.

И это было все, чем располагал Военно-революционный комитет.

Может быть, выступить вместе с войсками директории против войск Антанты?

Но тогда выйдет, что большевики поддержали петлюровский путч и укрепили власть украинских националистов — власть такую же враждебную, как и гетманская.

Может быть, держать нейтралитет в грызне между директорией и войсками Антанты?

Но нейтралитет, когда идет вооруженная борьба, несомненно, подорвет симпатии к большевикам населения, которое непримиримо относится к иностранным интервентам.

Ленин учил, что, когда наступление преждевременно, надо отступить, чтобы сберечь силы и умножить их во время передышки для более мощного удара. Но Ленин учил также, что в борьбе надо уметь использовать все силы, противостоящие врагу, если момент для удара подходящий.

Можно ли считать подходящим настоящий момент?

На стороне Антанты и ее контрреволюционных наемников был не только количественный перевес; и войска Антанты и белогвардейцы прекрасно экипированы и вооружены, они имеют не только винтовки, но и пулеметы, пушки и броневики, на помощь им идет эскадра с тысячью жерл дальнобойной морской артиллерии.

Войска директории вооружены значительно хуже: небольшой артиллерийский парк, десяток бронепоездов, переоборудованных по большей части на скорую руку из железных пульманов, обложенных мешками с балластом.

Но боевой дух в массе казаков директории был, безусловно, высок. Они ведь считали, что это именно они только что свалили гетмана: мимо утвердивших гетманщину немецких частей, вооруженных до зубов, они прошли с разудалыми песнями, и немцы, объявив нейтралитет, не решились их тронуть.

Войска директории двигались на Одессу «победителями без боя»; другие формирования, не зная их сил, отступали, не ввязывались в бои, а то и разбегались в панике. И это еще усиливало их дерзость. В пылу успеха они готовы были драться сейчас против всех на свете — хотя бы и против иностранного десанта!

Достаточно было пройтись по улицам северной части города, занятой войсками директории, чтобы убедиться в боевом настроении казаков. Казаки с неудовольствием, нехотя выполняли приказы своих командиров — петлюровских старшин, сдерживавших их перед линией польско-немецкой обороны «зоны Энно». Казаки хотели воевать.

Но стоило повнимательнее присмотреться к самим казакам войск директории. В Осадном корпусе директории, который вошел в город, настоящие, так сказать, кадровые петлюровские части — сечевики, синежупанники и гайдамацкие курени,— были вкраплены только отдельными группками. Основная же масса казаков не была даже одета в армейскую форму. На казаках были крестьянские свитки, кожушки, ватные пиджаки и бушлаты или солдатские шинели старого русского образца. На фуражках или смушковых шапках желто-голубые ленточки были прикреплены в большинстве случаев поверх красных, а у иных — одни только красные, без желто-голубых. В разговорах между собой казаки честили панов, буржуев и интервентов... Все это были недавно демобилизованные фронтовики или крестьяне-повстанцы, которые где-то у себя в селе поднялись против гетмана и немецких оккупантов — за власть Советов. Их подхватила волна проходившего одновременно петлюровского восстания: украинские националистические партии, поддерживавшие директорию, стремясь привлечь повстанцев на свою сторону, бросили лозунги борьбы за «трудовые советы», борьбы за землю. Казаки набирались преимущественно из середняков и бедняков взбудораженного украинского села. Кулацкие сынки группировались в привилегированных сечевых и гайдамацких частях, в которые принимали только «охочекомонников» на собственном коне и в дорогой, по всем правилам сшитой собственной форме.

Таким образом, основную массу войск директории, вступивших сейчас в Одессу, составляли крестьяне, втянутые в петлюровское движение только водоворотом событий и отданные под команду петлюровских «старшин» — реакционного националистического офицерства.

Эти массы крестьян надо было оторвать от петлюровского командования, вообще от петлюровщины, и привлечь на свою сторону, их надо было возглавить и повести за собой на борьбу за власть Советов.

Итак, стоило пойти на риск и выступить одновременно с войсками директории против иностранных захватчиков, по-

степенно в толщу «казацких» частей вкрапливая большевиков, рабочих-дружинников, вообще городской пролетариат, чтобы оторвать «казацкую» массу от контрреволюционного националистического офицерства.

Такое решение и принял Военно-революционный комитет, получив от командования Осадного корпуса войск директории предложение о переговорах.

Условия переговоров были оговорены заранее в целях гарантии безопасности представителей обеих сторон. Переговоры должны были состояться не в штабе корпуса и не в штабе Военно-революционного комитета, а на нейтральной территории. Представителей — по три человека с каждой стороны, без оружия. Вооруженная охрана для тех и других — не больше взвода и не ближе двухсот шагов от места переговоров. Поддерживать во время переговоров связь со своими для консультации с командованием — разрешается, но при посредстве не более чем двух связных. Местом встречи была выбрана аптека на углу Полицейской и Ришельевской.

Ласточкин, Столяров и Голубничий, войдя в аптеку, увидели перед собой довольно живописную троицу. Петлюровские старшины — полковник, сотник и хорунжий — красовались в яркой, никак не военного вида, одежде: на них были красные шаровары, синие жупаны и серые смушковые шапки с длиннейшими шлыками. Из-под шапок свисали оселедцы, усы отпущены были книзу. Гайдамаки все трое прислонились к прилавку у кассы и курили трубки. Немного в стороне стоял казак — в такой же театральной одежде, только и жупан и шаровары были у него синие, а вместо смушковой шапки — обыкновенная солдатская папаха, хотя и со шлыком.

Это были те же самые синежупанники, которые пришли на Украину с немцами. Это были те же гайдамаки, которые залили кровью восстание арсенальцев в Киеве и январское восстание в Одессе.

— Наши головы вам, панове! — картинно поклонился полковник, а за ним и два остальных петлюровских офицера. Казак вытянулся и отдал честь по-немецки.

Полковник сразу же внимательно пригляделся к Ласточкину.

— А я вас, пожалуй, знаю, пане товарищ! — прищурившись, произнес он.— Еще по Киеву. Ведь вы — Смирнов, член президиума Киевского Совета рабочих и солдатских депутатов в семнадцатом году!

— Вы ошиблись,— сухо отвечал Ласточкин.— Я одессит.

Полковник пожал плечами.

— Пусть будет так.— Затем он поднял вверх руки, это же следом за ним сделали и остальные старшины.— Без оружия, панове! Будем друг друга проверять или поверим на слово?

Ласточкин, Столяров и Голубничий тоже подняли руки.

— Мы тоже без оружия,— сказал Ласточкин.— Я предлагаю все же проверить друг друга.

Он приблизился к полковнику, Столяров и Голубничий — к двум остальным старшинам. Связные обеих сторон тоже подошли друг к другу. Каждый быстро ощупал у другого карманы.

— Это люлька,— сказал сотник, когда Столяров нащупал у него в кармане что-то твердое.

Действительно, это была трубка; Столяров вынул ее из кармана сотника и показал всем.

— Заядлый курильщик! — пошутил Столяров.— Две трубки в поход.

— Люлька казаку в дороге пригодится,— словами шуточной песни ответил и сотник.

— А это что? — спросил Ласточкин, когда рука его нащупала в заднем кармане полковника какой-то твердый предмет.

— Это пистолетик,— не смущаясь, ответил полковник.— Но это не оружие. Это — памятка. Можете вынуть и прочитать надпись. Мелкокалиберный. Талисман.

Ласточкин вынул пистолетик. Это был небольшой дамский «зауэр», действительно с выгравированной любовной надписью. Впрочем, в магазине была обойма с патронами. Это было оружие.

— Спрячьте, пожалуйста, обратно в карман,— сказал полковник.

Но Ласточкин положил пистолет в сторонке на прилавок.

Полковник сделал презрительную гримасу, но покорился.

После процедуры взаимного обыска полковник представился:

— Полковник Змиенко, командир первого полка Осадного гайдамацкого корпуса. Член партии украинских эсеров. С кем имею честь? — Своих коллег он не назвал.

— Николай Ласточкин,— отрекомендовался Ласточкин,— по поручению Военно-революционного комитета одесского пролетариата. Член партии большевиков. А это — члены Ревкома. Предлагаю сразу приступить к делу. Какие вопросы вы хотели обсудить при свидании с нами?

Полковник Змиенко сказал:

— Командование Осадного корпуса хочет выяснить отношение общественных и партийных организаций города к республиканским войскам и власти директории, которая отныне устанавливается в Одессе.

Ласточкин ответил:

— Вы, член партии эсеров, не можете не знать отношения партии большевиков к украинской директории: директория не является законной властью, а действия украинских националистов — действия антинародные. Однако большевики с сочувствием смотрят на вооруженную борьбу против гетмана и

немецких оккупантов, которую ведут народные повстанцы, оказавшиеся ныне в составе войск, подчиненных Осадному корпусу.

Полковник Змиенко подумал, затем задал второй вопрос:

— Партия большевиков сейчас в подполье в городе Одессе?

— Это вам тоже известно,— ответил Ласточкин.— Большевики всегда в подполье, когда власть принадлежит не трудящимся, а врагам трудового народа.

Полковник Змиенко внимательно выслушал и этот ответ, опять подумал и в третий раз задал вопрос:

— Думают ли большевики теперь выйти из подполья? Или и впредь останутся в подполье при власти украинской директории, установившейся ныне в Одессе?

— Мне кажется,— сказал Ласточкин,— власть директории в городе еще не установлена. Ваши войска только пытаются ее установить.

Полковник дернул плечом.

— Пускай так. Еще день-два, и она будет установлена.

Тогда Столяров сказал:

— Военно-революционный комитет так и понимает нашу встречу: речь должна идти о том — какую власть установить в городе.

— После изгнания русских офицеров, польских легионеров и немцев? — спросил полковник.

— Нет! — возразил Столяров.— Именно для того, чтобы выгнать всю контрреволюцию и не допустить сюда иностранных интервентов!

— Речь должна идти о том — согласны ли вы поддержать наши боевые действия? — сказал полковник.

— Боевые действия? Против кого? — поинтересовался Ласточкин.

— Против... русских белогвардейцев.

— Согласны,— сказал Ласточкин.

— Против поляков.

— Против белого польского легиона — согласны. И против германских войск.

С минуту длилось молчание.

Его нарушил Голубничий. Он спросил:

— А против новой иностранной интервенции?

Полковник помолчал минутку, затем ответил:

— От командования Осадного корпуса я имею и такие указания.

— Отвечаю на ваш вопрос в целом,— сказал тогда Ласточкин.— Вам должно быть известно, что против иностранных интервентов мы ведем и будем вести неослабную борьбу до тех пор, пока последний интервент не будет изгнан за пределы нашей земли. Вся Советская страна ведет сейчас отечественную войну против иностранных захватчиков.

— Но ведь,— вставил словечко и сотник,— здесь не Советская страна. Здесь — территория Украинской народной республики.

— С этим мы не согласны,— сказал Ласточкин.— Здесь Украинская советская республика. За это и борется украинский народ. За это мы и воюем.

— В сообществе с Россией? — ехидно подсказал сотник.

— Да, сообща с Советской Россией! — спокойно ответил Ласточкин.

— Присоединить хотите Украину к Московщине?! — запальчиво крикнул сотник.

На слова сотника отозвался Столяров:

— Она уже воссоединена волей украинского народа!

— Воссоединена! — нагло передразнил сотник.— Так о том и речь, чтобы сделать ее самостийною.

— Под немцем или под французом? — хмуро, но тоже уже начиная горячиться, огрызнулся Голубничий.— А украинский народ вместе с русским народом хочет свободной советской власти!

Полковник поморщился.

— Я думаю,— сказал Ласточкин,— полемический задор сейчас ни к чему. Мы пришли сюда не дискутировать о наших и ваших принципах — они различны и непримиримы,— а договориться о борьбе против врага, общего для нас в этот момент. По вопросу взаимоотношений Украины с Россией у украинского народа есть свое собственное мнение...

Полковник обратился к Ласточкину:

— Мы не станем здесь разворачивать межпартийную дискуссию на тему о том, какая власть должна быть установлена на Украине. Мы здесь решаем только вопросы вооруженной борьбы сегодняшнего дня. Вы согласны?

— Только потому мы сюда и пришли.

— Так вот, повторяю вопрос: выйдете ли вы из подполья и присоединитесь ли к борьбе, которую ведет армия УНР?

Ласточкин ответил:

— Наш выход из подполья возможен лишь в том случае, если мы убедимся, что со стороны войск директории нам ничто не угрожает. Как гарантию этого мы требуем немедленной легализации Совета рабочих депутатов. Что касается военных действий, то наши отряды будут бороться против общего врага по плану, разработанному сообща нашим и вашим командованием, но самостоятельно, то есть не подчиняясь командованию войск директории. Общий план должен выделить для наших вооруженных сил определенный участок.

Полковник вынул блокнот и стал писать. Все ждали. Окончив, он протянул записку связному.

— Немедленно пану атаману!

Связной исчез.

Столяров спросил:

— Эту записку вы написали в связи с нашими переговорами?

Полковник минуту поколебался, затем сказал:

— Да. Я запросил мнение командования относительно ваших притязаний.

— Тогда вы поторопились, полковник,— сказал Ласточкин,— я еще не изложил всех наших условий. У нас есть еще одно требование.

— Даже требование?

— Назовите, как хотите: требование, условие, предложение... У нас есть возможность умножить наши вооруженные силы, так как нас поддерживают широчайшие слои населения...

Полковник нахмурился.

— К чему вы ведете?

Ласточкин сказал:

— Увеличение наших вооруженных сил укрепит весь фронт борьбы против контрреволюции и интервентов и будет способствовать победе. Поэтому мы предлагаем выдать нам из ваших арсеналов оружие для отрядов, которые мы можем поставить под ружье немедленно.

Полковник криво улыбнулся.

— Где гарантия, что оружие это не будет повернуто против нас?

— А где гарантия, что вы не повернете свое оружие против наших отрядов, как только они обнаружат себя перед вами?

Полковник прикусил свой длинный ус.

— Сколько? — спросил он после паузы.

Ласточкин посмотрел на Голубничего:

— Как ты думаешь, Иван?

Голубничий расправил в обе стороны свои густые усы и с минуту что-то прикидывал. Потом он заговорил медленно, сначала — словно обращаясь к себе самому или к товарищам, а затем — к полковнику:

— В настоящий момент мы можем не вооружать всех — есть смысл ввести более значительные силы позже, в ходе боев, как свежие резервы. На первый случай мы могли бы вооружить только те силы, которые в настоящий момент уже собраны штабом... Вы, полковник, дадите нам для начала... ну, скажем, тысячу винтовок, двадцать пять пулеметов, десяток орудий, ну и броневиков две-три штуки.

Брови полковника поднимались все выше, а ус он еще крепче зажал между зубами.

— Однако,— сказал полковник, когда Голубничий кончил,— вы того... Ваши требования... выходят за пределы скромности. Они по меньшей мере беззастенчивы!

Столяров развел руками.

— По Сеньке и шапка, господин полковник! В Одессе десяток больших заводов, порт, эллинги, сотни более мелких предприятий. Тысяч пятьдесят пролетариата, а неимущих крестьян в пригородных селах — тоже достаточно...

Полковник махнул рукой.

— Я сообщу о ваших... требованиях командованию! — со злостью сказал он.— Однако...

В это время дверь отворилась и вошел связной. В руках у него была телеграфная лента.

Полковник взял ленту и быстро пробежал ее глазами. Затем молча протянул ее своим товарищам. Те тоже прочитали и переглянулись.

— Простите,— сказал полковник, совсем уже втянув свой ус в рот,— но мы должны посоветоваться...

Петлюровцы отошли в глубину аптеки и минут пять о чем-то возбужденно шептались между собой.

Столяров, усмехнувшись, бросил Голубничему:

— Ну, ты, Иван, прямо артист! Здорово взял их на пушку!..

Полковник и его коллеги вернулись к прилавку.

— Панове,— сказал полковник, и в тоне его звучало неприкрытое злорадство,— мы вынуждены прервать наши переговоры. Если возникнет необходимость их продолжить, мы вас известим.

— То есть? — поднял брови Ласточкин.— Вы прекращаете переговоры, не доведя их до конца? Как мы должны это понимать? Как разрыв?

Столяров кивнул на ленту, которую полковник смял в кулаке:

— Эта телеграмма имеет отношение к нашим переговорам? Это ответ на наше предложение?

— Можете прочитать ее сами, добродию! Вам это все равно станет известно...

Ласточкин взял ленту, расправил ее и прочитал:

— «Воздержаться от каких бы то ни было военных действий против союзного десанта тчк С солдатами и офицерами союзной армии и других частей зпт контролируемых союзным командованием зпт обращаться как с гостями на нашей земле тчк Глава директории Винниченко».

— Что это должно означать, господин полковник?

Полковник не отвечал.

— Это должно означать,— ответил за него сам Ласточкин,— что вы, выходит, не собираетесь воевать против десанта?

Полковник передернул плечами.

— Когда депутация отправлялась сюда...

Но его перебил Голубничий. Встопорщив усы, он гаркнул:

— В настоящий момент деникинские белогвардейцы, белополяки и немцы — это и есть «другие части», контролируемые союзным командованием. Значит, вы не собираетесь воевать и против белой контрреволюции. Так ли я понял вашего господина Винниченко?

— Ну, знаете...— угрюмо пробормотал полковник.— Вы забываете, что я социалист...

Но Ласточкин нетерпеливо прервал его:

— Винниченко тоже именует себя социалистом. Однако в прошлом году он не помешал Грушевскому с Петлюрой, тоже «социалистам», привести на Украину немцев! И вы были правы, господин полковник: мы с вами встречались в Киеве. Вы тогда расстреливали восставших арсенальцев!

— А теперь, как мы видим, руководители директории с радостью принимают оккупантов франко-американских,— прибавил Столяров.— А вы, полковник, будете выполнять их приказы и стрелять в рабочих здесь, в Одессе! Прощайте!

Но Ласточкин еще вернулся, подошел к прилавку, взял «зауэр» полковника и положил к себе в карман.

— Простите, я брошу вам пистолет, когда мы отойдем на сто шагов. Понимаю, что этот немецкий пистолетик дорог вам как память. Я не мог оставить его у вас в кармане во время переговоров, тем паче не оставлю его вам сейчас: не уверен, что ваша рука не выстрелит нам в спину...

Петлюровские старшины стояли молча. Полковник жевал усы. Но Ласточкин еще раз остановился на пороге.

— Я очень хорошо знаком с Винниченко еще по Киеву, когда Владимир Кириллович был в руководстве Центральной рады. Прошу передать ему, что я еще раз убедился: как был он далек от народа, так и остался!

Ласточкин так грохнул дверью, что сверху со звоном посыпались осколки разбитого стекла.

— Пусть это нам будет наукой,— сердито прибавил Ласточкин.— Никаких дипломатий на поле боя! Немедленно все наши силы, всех наших людей — в гущу казацких частей: разъяснять, срывать маски, агитировать!..

Они прошли уже свои двести шагов, и в подворотне их окружили вооруженные рабочие дружины имени Старостина.

— Ну что? Ну как? — посыпались вопросы.

— А никак, ребята! — сказал Столяров.— Как было, так и осталось! Пан хлопа по морде мажет, а подпанок хлопу руки вяжет... Айда в штаб!

В штабе Военно-революционного комитета было полно народу. Тут собрались все большевики Одессы, во дворе школы расположились бойцы рабочих дружин. На улице кругом стояла толпа, и дружинники-часовые еле сдерживали ее напор. Люди шли со всех заводов — из близлежащих Главных железнодорожных мастерских, с Молдаванки, со Слободки, с далекой

Пересыпи. Рабочие приходили, чтобы записаться в боевые дружины, требовали оружия.

Ревком в полном составе собрался на экстренное заседание.

Сомнений не было: первым делом сечевики и гайдамаки станут теперь разоружать рабочие дружины. И устоять против многотысячного войска полторы сотни бойцов, конечно, не смогут. Как же быть? Припрятать оружие и разойтись по домам? А большевикам продолжать свою настойчивую работу: собирать силы, вооружать трудящихся и разить врага — иностранных интервентов со всеми их наемниками — из подполья?

Да. Такой и оставалась дальнейшая программа действий для большевистского подполья. Но что касается укомплектованного уже рабочего отряда, то Ревком принял другое решение.

Ревком решил не распылять укомплектованной боевой единицы. А дружины имени Старостина, Морского райкома и Молодежно-комсомольская должны были начать формироваться заново — в условиях подполья. Сводный же отряд оставался в качестве боевого соединения в распоряжении Военно-революционного комитета.

Этой же ночью отряд под командованием Ивана Голубничего должен был выйти через Хаджибеевский парк в направлении на станцию Выгоду за пределы города. Продвигаясь от села к селу, отряд должен был вбирать в себя новые людские пополнения и добывать оружие в боях с белыми. Он должен был превратиться в батальон, а то и в полк, должен был стать опорной частью Военно-революционного комитета, действующей как партизанский отряд на территории, захваченной врагом, по соответствующим указаниям Ревкома. Это должна была быть «внешняя» армия одесского пролетариата, который здесь, в городе, будет вести из подполья непримиримую борьбу против иностранных интервентов, белых и жовто-блакитных войск.

— Ну как, Иван? — спросил Ласточкин Голубничего.— Выйдет дело?

— Выйдет! — спокойно ответил Голубничий, разгладив усы.

— И ты можешь сегодня же ночью двинуться?

Голубничий в недоумении взглянул на Ласточкина.

— Да ведь решено уже!

— Я не о том, Ваня,— сказал Ласточкин.— Я о тебе. Ведь ты только сегодня из тюрьмы, еще и дома не был. Жена, дети...

Голубничий помолчал минутку, потом ответил:

— Дети у меня в настоящий момент уже взрослые, поддержат старуху... Сыну шестнадцатый пошел, дочке четырнадцать. А старуха... Всплакнет моя старуха еще разок...— Он коротко мигнул.— Прошу передать ей, что я жив-здоров, вер-

нусь с победой...— Давая понять, что с этим покончено, он спросил: — Какова будет система связи между отрядом и Ревкомом, товарищ Николай?

6

Консул Энно, подключив аппарат прямого провода в своей резиденции к телеграфу Одессы-Главной, поблагодарил главу директории Винниченко за гостеприимство и тут же дал согласие на то, чтобы доктор Луценко, представитель «Украинского национального клуба», возглавил и сформировал «кабинет» гражданской власти в городе.

Командование десанта войск Антанты на одесском плацдарме по искровому телеграфу с флагмана эскадры, миновавшей уже Тендру и входившей в воды Днепро-Бугского залива, передало свой второй приказ: войскам директории оставить город и отойти от Одессы на двадцать километров на север.

Гайдамацкие «курени» и сотни сечевиков повернулись спиной к морю и двинулись из города.

Но казаки пеших частей отказались выполнить приказ своего верховного командования.

Казаки подняли оружие и — где небольшими группками, а где и целыми подразделениями — двинулись против белопольско-немецко-деникинской линии обороны «зоны Энно». Бой, вернее десятки отдельных стычек вдоль Гаванной и Ланжероновской улиц, продолжался весь день.

В это время на Большом рейде появились два французских корабля: крейсер «Эрнест Ренан» и миноносец, флагман эскадры «Протэ».

Одновременно с теми казацкими частями войск директории, которые отказались выполнить приказ своего командования и ринулись в бой, в разных концах города действовали и рабочие. На Пересыпи, в порту возле эллингов, в районе Александровского парка появились группы рабочих, вооруженных чем попало — кто пистолетом, кто гранатой, кто просто железным ломом,— которые нападали на подразделения белогвардейских войск.

Бой не утихал всю ночь.

Наутро город увидел на рейде уже не четыре, не семь и не девять кораблей, а двенадцать: ночью подошли еще миноносцы «Д. Н.», «М. Ж.», «Р. Г.».

И когда рассеялся над морем утренний туман и город осветило холодное солнце, двенадцать судов эскадры на рейде одновременно окутал черно-бурый дым. Эскадра из двенадцати кораблей открыла огонь по северным кварталам города.

Пятнадцать минут продолжалась эта артиллерийская подготовка, а затем наступила тишина.

Тогда оборона «зоны Энно» пошла в наступление.

Впереди шли белополяки, немцы и деникинцы, и когда они, отбив контратаку рабочих и восставших казаков, занимали квартал, из «зоны» для закрепления захваченного «плацдарма» высылались ударные группы французских матросов и шотландских стрелков. Они захватывали узловые пункты: телеграф, телефонную станцию, здания «Международного банка» и «Лионского кредита».

Именно в это время стало известно и самое главное: десант прибыл!

И на этот раз это был уже действительно десант.

Сначала в бухту вошло несколько миноносцев. За ними один за другим — кильватерной колонной — следовали четыре огромных транспорта. Миноносцы развернулись на Малом рейде, а транспорты прошли прямо к причалам четырех молов — Потаповского, Военного, Нового и Платоновского. На палубах транспортов, построенные уже с оружием в руках, готовые кинуться в бой, как только ступят на землю, стояли французские солдаты. Были они не в обычной фронтовой форме хаки, а в неожиданно яркой одежде. С берега было видно, что верхняя ее часть синяя, а нижняя — красная.

Транспорты причалили, упали сходни, и солдаты боевыми порядками с оружием на изготовку беглым шагом расходились во все стороны веером, заполняя территорию порта.

С берега, с Николаевского бульвара, где под надежной охраной «зоны» собрался «цвет» эмиграции, проживавшей в «зоне», французский десант приветствовали отчаянными возгласами «вив ля Франс», бросали в воздух шапки и белые платочки.

Французские десантники бегом поднимались вверх прямо по склонам обрыва. Ветер трепал их короткие синие курточки и широченные красные шаровары.

Когда французские солдаты в красных шароварах, взбежав на высокий берег, оказались на Николаевском бульваре, стало видно, что лица у них черные. Это были зуавы. Одессу занимал десант французских колониальных войск. Солдаты были негры, офицеры — белые.

На первых четырех транспортах прибыло пять тысяч стрелков-зуавов.

Бой в центре города не утихал, но группы казаков и местного населения, сопротивляясь, уже отходили под нажимом противника за Полицейскую, за Почтовую, за Еврейскую улицы...

Встречали командование десанта на причале Потаповского мола консул Энно с супругой, адмирал Боллард с адъютантами, маршал белопольских легионеров Дзяволтовский и командующий дивизией добрармии генерал Гришин-Алмазов. Дамой генерала Гришина-Алмазова была «представительница

русской общественности», королева экрана, артистка Вера Холодная.

С флагманского катера сошел на берег сам командир десанта, командующий войсками Антанты на Одесском плацдарме генерал д'Ансельм.

Генерал д'Ансельм был в защитной, голубоватого оттенка форме фронтовика, но и в этой серой одежде сразу бросалась в глаза его аристократическая внешность: высокий, статный, представительный, с гордо посаженной головой. Ему нельзя было дать пятидесяти, но его волнистая шевелюра блестела густой серебряной сединой.

Следом за генералом д'Ансельмом на берег сошел человечек в такой же форме французского офицера-фронтовика, но с полковничьими знаками различия на воротнике и кепи и с шевроном генерального штаба. Внешность этого человека была отнюдь не воинственной — слишком уж он был неказист. Ростом он был почти карлик, лицом походил на мелкого комиссионера и к тому же прихрамывал на одну ногу. Это был начальник штаба группы войск Антанты на Одесском плацдарме, полковник генерального штаба Фредамбер.

Генерал д'Ансельм милостиво кивнул всем, особо приветствовал консула Франции, в ажитации размахивавшего своим котелком, и сразу подошел к нему.

— Мосье консул! — томно и как бы с досадой произнес генерал, небрежно приложив два пальца к своему кепи.— По приказу главнокомандующего войск Антанты на Ближнем Востоке генерала Франшэ д'Эсперэ и командующего войсками Антанты на Балканах генерала Бертелло я принял командование войсками Антанты на юге России и Украины и прибыл во главе вверенной мне Сто тридцать шестой пехотной дивизии.

— Наконец-то, генерал! — Консул Франции с чувством пожимал руку генералу французских вооруженных сил.

— Мой начальник штаба полковник Фредамбер! — представил генерал д'Ансельм своего спутника.

Полковник Фредамбер щелкнул каблуками и звякнул шпорами. Но все это получилось у него нескладно,— ноги были у него колесом, как у старого кавалериста.

Затем генерал поднес к губам руку мадам Энно.

— Здравствуйте, старая знакомая и прелестнейшее украшение парижских салонов!

— Здравствуйте, мой генерал!

Мадам Энно мило улыбнулась и слегка ударила генерала по руке своим ридикюльчиком.

— Вы такой же шалун, как и прежде!

Генерал тоже мило улыбнулся.

Адмирал Боллард в ответ на приветствие д'Ансельма рявкнул:

— Ол райт! Это здорово, что вы уже прибыли!

После этого консул Энно представил своих спутников. Маршал Дзяволтовский был отрекомендован как верный союзник Франции и герой обороны Одессы от анархии, генерал Гришин-Алмазов — как верный сын России, друг Франции и доблестный командир патриотического русского офицерства.

Милостиво откозыряв Дзяволтовскому и Гришину-Алмазову, но этим и ограничившись, генерал д'Ансельм вопросительно и не без любопытства посмотрел на стоявшую рядом красавицу.

Генерал Гришин-Алмазов представил свою даму:

— Звезда русского экрана, знаменитая артистка Вера Холодная. Уполномочена выразить вам, генерал, самые горячие чувства русской общественности!

Генерал склонился к руке красавицы артистки. Мадам Энно скосила ревнивый глаз. Но артистка только приветливо улыбнулась, и на лице ее снова застыла маска непроницаемости. Недаром Вера Холодная была королевой экрана. За неповторимую способность при любых обстоятельствах сохранять на лице абсолютную холодность она и носила псевдоним «Холодная».

Только теперь генерал д'Ансельм бросил взгляд вокруг и прислушался к тому, что происходило.

Вокруг была панорама очаровательного приморского города, а из-за гряды каменных домов долетали сюда, на берег моря, звуки недалекого боя: стреляли из винтовок залпами и поодиночке, там и тут перекатывалась пулеметная дробь, взрывались гранаты.

Генерал поднял бровь.

— Кто с кем воюет? — поинтересовался он.

Генерал Гришин-Алмазов выступил вперед.

— Разрешите доложить? Вверенная мне офицерская дивизия войск добрармии совместно с польским легионом белого орла и во взаимодействии с немецкими гренадерами, опираясь на поддержку доблестных французских матросов и шотландских стрелков, усмиряет беспорядки, возникшие в городе в связи с наступлением на Одессу войск малороссийской директории и бунтом отдельных групп населения.

Генерал выслушал рапорт и устало бросил своему начальнику штаба:

— Полковник, это надо немедленно прекратить!

Полковник Фредамбер вытянулся.

— Зуавы с ходу вошли в бой, генерал!

— Ах, так? — удивился генерал, как будто он не знал этого, а может быть, и в самом деле не знал, занятый какими-то более важными делами.— В таком случае предложите бандам смутьянов немедленно сложить оружие.

— Есть, генерал! — Полковник кивком головы подозвал адъютанта.— Всю дивизию — на линию огня! Резерв — только батальон личной охраны!

Адъютант уже готов был кинуться выполнять приказ, но полковник придержал его за рукав и обратился к генералу:

— Осмелюсь спросить: каковы будут условия капитуляции?

Генерал ответил, брезгливо поморщившись:

— Никаких. Пять минут на то, чтобы сложить оружие. Разоруженные могут идти куда угодно за пределы города.

Полковник Фредамбер передал приказ адъютанту:

— Пять минут. Затем — уничтожать каждого имеющего оружие в руках. Пленных не брать.

Консул Энно с галантной улыбкой обратился к генералу Гришину-Алмазову:

— Генерал! Нога командующего десантом ступила на берег Одессы. Вы можете приступить к выполнению ваших обязанностей.

Генерал Гришин-Алмазов взял под козырек, а консул Энно сказал генералу д'Ансельму:

— Генерал! Генерал Гришин-Алмазов принимает на себя генерал-губернаторство над городом и областью.

— Отлично, отлично! — устало кивнул генерал д'Ансельм.— Надеюсь, генерал, что... и так далее...

Генерал Гришин-Алмазов еще раз взял под козырек, а генерал д'Ансельм медленно пошел вдоль ряда выстроившихся у пирса командиров судов.

Церемониал был закончен.

7

Приказ о безоговорочной капитуляции был передан командованию Осадного корпуса по телефону. Назначены были и пункты для сдачи оружия: Крытый рынок, подъезд Государственного банка и площадь перед вокзалом.

К вокзалу — на север — плелось уже немало петлюровских старшин и казаков. На севере проходила демаркационная линия, определенная для войск директории. Гайдамаки и сечевики отошли за нее еще с утра.

Организованная сдача оружия повстанцами началась, впрочем, только на ближайшем пункте — в Крытом рынке. Подразделения казаков, занимавшие позиции поблизости, подходили к рынку и бросали винтовки в кучу на асфальт, как негодный ржавый лом. Французы даже не успели выставить охрану для приема оружия. С них пока было достаточно того, что повстанцы безоружные, с пустыми руками, уходили прочь от города, за двадцать километров.

Но многие казаки, прекратив ненужную стрельбу, винтовок, однако, не бросали и двигались по направлению к вокзалу, к товарной станции, к железнодорожным мастерским, таща оружие с собой.

Между тем на перекрестках улиц и переулков, у железнодорожных мастерских, куда еще не подошли французские солдаты, кучками стояли безоружные рабочие. От группы к группе переходили Ласточкин, Александр Столяров, Куропатенко, Понедилок и другие большевики. Они выстраивали рабочих поперек улиц плотными заслонами.

Когда петлюровский казак приближался к такому заслону, ему говорили прямо:

— Ну, казаче, повоевал, дай другим повоевать! Бросай винтовку, она тебе все равно не нужна!

Некоторые казаки бросали винтовку сразу, другие отказывались либо просили принять их «в компанию» для дальнейшей борьбы. Таких отводили в сторону. Военно-революционный комитет решил не отказывать казакам, которые выскажут желание продолжать вооруженную борьбу, и, объединив их, послать вдогонку Голубничему для пополнения отряда. Уже несколько десятков казаков было завербовано во «внешнюю армию» Ревкома, уже несколько десятков винтовок попало и в руки рабочих. Это оружие Шурка Понедилок должен был собрать и переправить в катакомбы возле Куяльницкого лимана.

В Крытом рынке тем временем набралось уже больше двухсот винтовок, и французы выставили возле них небольшой пост из четырех зуавов под командой белого капрала.

Вдруг к рынку быстро подкатили три тачанки. На каждой из них находился «фурман», на передней сидел еще человек могучего сложения в блузе рабочего.

Рабочий спрыгнул с тачанки и, подойдя к капралу, сказал, коверкая французские слова:

— Начальник приказали. Грузить винтовки!

— Позволю себе заметить...— начал было капрал, отводя рукой слишком близко подошедшего рабочего,— что приказ я имею право принять только от своего прямого начальника, лейтенанта...

Но вдруг рабочий нанес капралу короткий удар под подбородок. Щелкнув зубами, капрал растянулся на спине.

Черные стрелки схватились за винтовки, но тут же снова приставили их к ноге: трое фурманов уже соскочили со своих тачанок и стояли перед зуавами с пистолетами в руках.

— Бросай винтовки в кучу! — приказал рабочий, забыв о французском языке.

Но зуавы поняли его и бросили в кучу и свои винтовки.

А еще через три минуты зуавы перетаскали на тачанки все две сотни винтовок.

Григорий Иванович — а это был он — стоял со взведенным

пистолетом все время, пока происходила погрузка. Три фурмана с пистолетами в руках следили за всеми подходами к рынку. Это были трое Столяровых: Николай, Федор и Коля.

Тем временем и капрал пришел в себя. Он сел и, хлопая глазами, озирался вокруг.

— Камрад! — сказал ему Котовский.— Ты не сердись: так у нас принято встречать каждого, кто сунется непрошенный на нашу землю. Передай своим начальникам, что оружие у тебя забрали большевики, оно им пригодится.

Капрал уже опамятовался и соображал, что здесь происходит, но понять речь Котовского не мог: французский лексикон Григория Ивановича был исчерпан его первой фразой — приказом грузить винтовки. Он понял только одно слово — «большевик».

— Бо... бо... боль... совики...— пробормотал капрал.

— Не «больсовики», а «большевики»,— счел нужным поправить его Котовский.— Так и скажи: большевики! Это слово вам придется здесь крепко запомнить: большевики! Ну, будь здоров! Компрэнэ? Адьё!..

Григорий Иванович вскочил на переднюю тачанку, и все три тачанки сразу взяли в галоп.

Это было вполне своевременно, так как в конце улицы уже показалось подразделение зуавов.

Тачанки развернулись и загромыхали по Херсонскому спуску.

— Ну, Федя! — обратился Григорий Иванович к третьему Столярову, который был фурманом на его тачанке.— Итак, начинаем опять войну? Ты куда — к Голубничему или остаешься здесь?

Федор Столяров ответил не сразу. Он нахлестывал лошадей и озирался во все стороны — не покажется ли откуда-нибудь из переулка французский пикет.

Наконец, он сказал:

— Нет, Григорий Иванович, здесь я не останусь. Ведь я же прапорщик, а Гришин-Алмазов объявил мобилизацию всех офицеров, да и унтер-офицеров. Мне здесь оставаться нельзя. Я подамся...— Федор помолчал, потом закончил: — либо к Голубничему, либо еще дальше, на север, навстречу Красной Армии...

Тачанки протарахтели по Херсонскому спуску вниз, выехали на Пересыпь и, распугивая кучки людей, собиравшихся на перекрестках — оглядеться и разузнать, какие в городе новости,— помчались по Московской улице к Куяльнику.

В Куяльницких катакомбах Военно-революционный комитет устраивал свой арсенал для вооружения одесского пролетариата.

8

Если войти в Куяльницкие катакомбы не через лаз в колодце во дворе биндюжника Егоренко, а тем ходом, который затерялся в кустарнике позади коммунальной дачи, стоящей перед въездом в грязелечебницы Куяльницкого лимана, то, пройдя довольно широким и высоким штреком — метра в два шириной и метра в полтора вышиной,— попадешь в просторную пещеру. Здесь была когда-то центральная каменоломня куяльницкого поселка,— так «каменоломней» называли ее и до сих пор. Отсюда меньшими штреками направо и налево — метров через сто — можно попасть в галереи, где расположились теперь подпольная редакция и подпольная типография. Между галереями редакции и типографии было и другое сообщение — совсем тесным и низким лазом наподобие шахтного гезенка. Это был, так сказать, запасный выход, и существование его было особенно удобно на случай налета полиции: лаз-гезенок, петляя, шел под Жеваховой горой, до самого Хаджибеевского лимана. Этим ходом можно было и вынести материал и уйти подпольщикам.

Сейчас «каменоломня», как обычно, была совсем пуста и темна, только в углу, на глыбе ракушечника, мигала коптилка. Подле коптилки, на другой глыбе, поменьше, сидел Сашко Птаха. Перед ним на земле лежала сумка газетчика — обыкновенная сумка из жесткого брезента, покрытого блестящим черным лаком — под клеенку. В сумке находились тоже самые обыкновенные газеты — «Одесские новости» за вчерашний день. Ничего удивительного в том, что газеты вчерашние, так как и прошедший день и прошедшую ночь в городе гремел бой, и свежие газеты не вышли. Газетчики торговали вчерашними.

Сашко Птаха сегодня первый день работал в подпольной типографии. Он был в полном распоряжении члена областкома печатника Яковлева — главного наборщика, старшего метранпажа, технического руководителя и «директора» подпольного издательства.

Сашко Птаха совсем замечтался. Вот и начался его путь революционера. Отныне он не просто «обслуживает» других подпольщиков, указывая, куда им идти, а сам настоящий подпольщик. Отныне только для товарищей «вольных», как говорил Сашко, то есть непричастных к подполью, он — Сашко Птаха, только для отца и матери — просто Сашко. А по-настоящему, для дела, он — «экспедитор». Так зовет его товарищ Яковлев, которого и он называет только «Семен», так должны его звать и все остальные подпольщики, с которыми он вместе работает; никто теперь не имеет права называть Сашка иначе, как «экспедитор».

— Сашко! — услышал он вдруг из глубины редакционного штрека.

Сашко Птаха вскочил так стремительно, что от движения воздуха коптилка мигнула и погасла. Сашко остался в полной темноте.

Ну, ясное дело, ведь это же Галя! Вот ведь какая бравая девушка, настоящая революционерка, а все равно остается... только девчонкой! Разве так можно? Окликать во весь голос в таком подполье, да еще называть не «экспедитор», а прямо так... «вольным» именем! Нет, с девчатами лучше дела не иметь, хотя бы они были и настоящие революционерки...

— Где же ты, Сашко? — снова послышался из темноты приглушенный низкими сводами штрека голос Гали.

— Я вон где! — прошептал Сашко.— Сюда! Каганец, будь он неладен, погас...

— Ты здесь, Сашко? — Теперь голос Гали звучал еще громче, она, очевидно, уже выбралась из штрека и стояла у входа в пещеру.

В руках у Гали вспыхнул электрический фонарик, и луч его упал на притаившегося Сашка.

Галя подошла ближе, и рассеянный свет фонарика осветил и ее. Она была, как всегда, в своей матроске, только на плечи накинула теплую кофточку — в подземных пещерах сырость пронизывала до костей.

— Зачем же ты потушил коптилку?

— Она... сама погасла,— прошептал Сашко.

Сашко шептал, и голос у него прерывался, его «морозило». Уж очень волнующей была перемена, происшедшая в его жизни, и... слишком уж близко стояла Галя с фонариком и пачкой бумажек в руках.

Сашко был влюблен в Галю — с того самого дня, как они вместе вывешивали красные флаги на заводских трубах и над заводскими воротами. Он был в нее влюблен и завидовал ей. Девушка, а такой настоящий революционер!

— Галя! — прошептал Сашко.— Когда мы с вами будем уже совсем взрослыми...

Галя засмеялась:

— Да не шепчи ты! И почему — когда будем взрослыми? Я, Сашко, уже давно... совсем взрослая. Это я только роста маленького. А знаешь, сколько мне лет?

— А... сколько? — попробовал спросить уже вслух, но охрип и должен был откашляться Сашко.

Ну и балда! Ясно, Гале уже лет, наверно, семнадцать, а то и все... восемнадцать. А ему ведь только шестнадцать — семнадцатый... Конечно, по сравнению с Галей он еще пацан, и Галя тоже его презирает...

— Мне уже двадцать три, Сашко!

Сашко совсем увял.

Если б электрический фонарик светил ярче или если бы Галя внимательнее присмотрелась к Сашку, она б увидела, что на глаза его даже набежали слезы. Но Сашко поспешил пониже склониться к пачке бумаг, которые Галя держала в руках.

Это были только что отпечатанные листовки. Галя протянула пачку Сашку; он должен был вынести их в сумке вместе со старыми газетами, потом бежать по улицам города и выкрикивать: «Одесские новости!» Последние известия! Прибытие в Одессу десанта Антанты!» А затем, добежав до Старого базара, опорожнить свою сумку в табачной лавочке, в базарном филиале фирмы «Самойло Солодий и Самуил Сосис», откуда другие комсомольцы и комсомолки унесут эти листовки тоненькими пачками на себе, под платьем.

— Тут триста штук,— сказала Галя.— Замечательные листовки! Эту листовку для первого раза написал сам товарищ Николай, а я перевела на французский. Вот послушай!

Она взяла из пачки один листок, осветила его фонариком и начала читать вслух.

Листовка была на французском языке. Галя читала с чувством, но сразу же, смеясь, прервала себя:

— Ах, да! Ты же не понимаешь по-французски!.. Ну, не задерживайся, беги!.. Завтра, в это же время, здесь же... До города поезжай трамваем, чтоб не терять времени...

Вдруг она специально для Сашка перевела то, что только что прочитала по-французски:

— «Француз! Зачем ты сюда пришел? Солдат и матрос Франции, ты — такой же рабочий или крестьянин, как и мы, твои братья по классу...»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Раут генерал д'Ансельм давал только на сто персон.

Присутствовали: с французской стороны, кроме генерала д'Ансельма с его начальником штаба полковником Фредамбером и консула Энно с супругой,— генералы, командующие французскими дивизиями, прибывшими в составе экспедиционного корпуса Антанты, и капитаны французских судов, прибывшие в составе объединенной эскадры Антанты, дислоцированной в одесском порту.

С английской стороны, помимо адмирала Болларда и капитанов английских судов эскадры,— Великобритании коммерции секретарь Багге и Джордж У. Пирсли. Когда-то, до революции, британский консул в Одессе, ныне британский коммер-

ческий секретарь Багге выполнял при начальнике британской военной миссии адмирале Болларде функции консультанта по гражданским делам. Мистер Джордж У. Пирсли был полномочным представителем главы английского нефтяного треста «Роял детч шелл» сэра Детердинга.

Польские вооруженные силы белого орла в составе оккупационной армии Антанты представлял маршал Дзяволтовский. Он явился на раут в мундире французского лейтенанта. Свой первый офицерский чин пан Дзяволтовский получил когда-то во французской военной школе, и при нынешней ситуации командующий белопольскими вооруженными силами считал уместным — из дальновидных политических соображений — скромно подчеркнуть сей символический факт, спрятав в карман свой шляхетский гонор. Миниатюрный генеральский эполетик из золота и слоновой кости, в форме брелока, он приколол к груди рядом со значком французской военной школы.

Кроме того, на раут — из уважения к генеральскому мундиру — был приглашен и немецкий генерал Шмул. Под командованием генерала Шмула было в Николаеве двадцать тысяч солдат, в Херсоне — десять и в Одессе — пять. Но на банкете «победителей» он чувствовал себя бедным родственником.

Местное одесское самоуправление представлял новый председатель городской думы, «мэр» Брайкевич. Приглашение он получил на одну персону — без супруги.

Генерал-губернатор Одессы и прилегающих таврийских земель генерал Гришин-Алмазов представлял Россию.

Дамой генерала была королева экрана Вера Холодная.

Дам вообще было только две: мадам Энно и Вера Холодная. Раут был не просто дипломатический, а военно-дипломатический, а потому гражданские гости были приглашены без дам.

Из одесских тузов были Вайнштейн, Родоконаки, Регир, Хаис, Кропива, Яловиков, Анатра-сын и другие. Из всероссийских деятелей, промышленников и земельных магнатов — Третьяков, фон Дитмар, Демченко, граф Гейден, граф Бобринский, князь Урусов, барон Меллер-Закомельский и другие. Из украинских помещиков — Котов-Кононенко, Григоренко и другие. От бессарабцев — помещик Золотарев. Доктор Луценко — от «Украинского национального клуба» — тоже присутствовал; назначение его главой местного, с ориентацией на директорию, самоуправления не состоялось, но он еще не терял надежды.

Чиновный мир — как царского режима, так и временного правительства — на всякий случай, в связи с неопределенностью будущих государственных перспектив, на раут приглашен не был.

Вообще составление списка гостей русского и украинского

происхождения было доверено мадам Энно. Злые языки болтали, что чета Энно стала на этом деле миллионерами: каждое приглашение стоило десять тысяч франков на «благотворительные цели» — конечно, негласно.

Когда все заняли свои места соответственно карточкам у кувертов, генерал д'Ансельм поднялся и устало оглядел присутствующих. Он, как всегда, скучал, а черные гражданские фраки среди армейских мундиров неизменно приводили его в раздражение, еще со дня окончания военной школы.

— Господа! — негромко и мягко, с ноткой глубокого разочарования в жизни промолвил генерал.— На войне — как на войне! И не будем сегодня провозглашать тостов за нашим походным, бивуачным столом. Не так ли, дорогой друг? — Он учтиво и томно склонил голову к своему соседу во главе стола, английскому адмиралу Болларду.

— Йес...— отозвался адмирал.

— Я только позволю себе напомнить вам от своего имени и от имени моего друга адмирала об исключительной важности события, благодаря которому мы и собрались с вами здесь, на гостеприимном берегу сказочной земли восточного колосса. Я имею в виду совещание трех «великих», трех столпов нашей современности — мосье Клемансо, сэра Ллойд-Джорджа и президента Вильсона — на тихом острове Уайт среди бурных волн Атлантики, совещание, которое состоялось на днях, первого декабря.

Генерал счел необходимым приободриться и разрешить металлической нотке зазвучать в своем голосе.

— Три великих мужа нашей современности решили взять судьбы мира в свои могучие и магические руки. Я имею в виду решение представителей стран-победительниц положить конец войне, прекратить смуты и установить вечный мир на земле!

На слове «вечный» генерал разрешил своему голосу чуть-чуть задрожать.

— Через несколько дней в Париже, нашем милом, золотом, под каштанами Париже,— голос генерала перешел на регистр нежный и мечтательный,— начнется мирная конференция, которая должна выработать основы мирного договора с побежденными странами.

Генерал сделал легкий, но исполненный всяческого уважения и глубокого сочувствия поклон в сторону немецкого генерала Шмула. Генерал Шмул покраснел и уткнулся взглядом в свои рыжие, торчком стоящие усы.

Генерал д'Ансельм взял свой бокал.

— В прославленном Версальском дворце, жемчужине французской архитектуры и искусства, в цитадели истории Франции, свершится это всемирного значения событие. Пусть Версаль, этот могучий символ обуздания злобной черни, по-

служит также символом для тех исторических решений, которые примут под его сенью наши великие мужи!

Голос генерала снова чуть-чуть задрожал, и он слегка поднял над уровнем стола свой бокал, держа его за тонкую высокую ножку.

— На конференции в Версале великие мужи нашей современности в интересах высших идеалов цивилизации по-новому переделят карту нашего старого мира, чтобы обеспечить торжество справедливости.

Генерал поднял бокал до уровня живота.

— Господа! Мы призваны для того, чтобы к тому времени, когда наши великие мужи выполнят свою великую миссию, всякая смута во всех уголках нашего взбудораженного мира была окончательно ликвидирована. Во имя этого мы, солдаты, очутились здесь и встретились с вами, мирными деятелями и созидателями. Наше общее высокое назначение — сокрушить силы тьмы и порока, которые посмели подняться против цивилизации в этом уголке земли. Я имею в виду необходимость уничтожить преступный большевизм, который распространяется среди русской черни, я имею в виду наш долг и наш кровный интерес — охранить священные права собственности, на которые поднял руку коммунизм!

Генерал поставил бокал на место.

— Что мы должны предпринять? Как командующий вооруженными силами, коему поручено ликвидировать большевизм и коммунизм, я отвечу вам словами, которыми напутствовал меня в этот крестовый поход главнокомандующий силами цивилизованного мира на Востоке, доблестный генерал французской армии Франшэ д'Эсперэ: «С большевиками надо действовать решительно. Уничтожайте их, уничтожайте их всех, начиная с простых мужиков и кончая их высшими руководителями. Ответственность я беру на себя».

Генерал, наконец, улыбнулся.

— Господа! Надеюсь, мы все разделим эту ответственность с нашим главнокомандующим? Ваше здоровье, господа!

Генерал взял бокал и высоко поднял его:

— За здоровье нежных сердец, ожидающих у семейного очага каждого из нас из боевого похода!

Генерал был холост.

Все высоко подняли бокалы. Генерал сделал общий поклон, пригубил и сел. Он утомленно прикрыл глаза и кивнул полковнику Фредамберу. Этим движением он давал понять, что миссия его на сегодня закончена и все, что будет дальше,— начальник штаба должен взять на себя. Генерал будет только одобрять или отклонять его действия — вот таким кивком своей гордо посаженной седой головы. Сейчас генерала интересовало только одно: статуэтки. Он был страстно влюблен в скульптуру, и именно — в скульптурную миниатюру, безразлично, был ли

то мрамор, глина, гипс. Коллекция скульптурных миниатюр генерала д'Ансельма славилась на весь Париж; он собирал ее во всех странах света. Теперь пришла очередь Одессы. Что раздобудет он у одесских антикваров и мастеров?

Полковник Фредамбер встал. Но мадам Энно, как хозяйка раута, воспользовалась торжественной паузой, чтобы бросить несколько прелестных реплик.

Пригубив бокал и мило улыбнувшись присутствующим, мадам Энно радушно сказала:

— Надеюсь, господа, что рождественский ужин в этом году вы не откажетесь разделить с нами в резиденции консула Франции в Киеве?

Консул Франции стрельнул усиками вверх, приветливо закивал во все стороны и нежно потрепал рукой ручку мадам.

Но пауза еще тянулась, пока полковник готовился достойно завершить речь своего шефа, и мадам, как хозяйка стола, не могла этого допустить; она с еще более милой улыбкой поспешила бросить и вторую реплику. И улыбка и реплика были адресованы на этот раз генералу Гришину-Алмазову, сидевшему на почетном месте по другую сторону стола.

— Надеюсь также, генерал, что на встречу Нового года вы пригласите всех нас к себе в Москву?

Гришин-Алмазов встал, щелкнул шпорами и поклонился.

Мадам Энно успела бросить и третью улыбку — королеве экрана. В этой милой улыбке больше всего было яда: видеть Веру Холодную рядом с красавчиком генералом было мадам Энно в высшей степени неприятно, она ревновала.

Тем временем полковник Фредамбер заговорил. Голос у него был резкий, скрипучий, и слова он выбрасывал, как неотесанные камни из катапульты.

— Господа! От имени объединенного командования Франции и Британии генерал просил уведомить находящихся здесь командующих новыми вооруженными формированиями о следующем.— Он вперил пронзительный взгляд в генерала Гришина-Алмазова, и генерал замер в почтительном ожидании.— Командование вооруженными силами Антанты рассчитывает, генерал, на ваши выдающиеся качества воина и организатора, а также на отвагу ваших храбрых солдат. Союзное командование гарантирует полное обеспечение частей добрармии на одесском плацдарме всеми видами оружия, военного снаряжения и амуниции из арсеналов Англии, Франции и Соединенных Штатов Америки. Бог в помощь, генерал!

Генерал Гришин-Алмазов встал во второй раз и склонил безупречно причесанную на английский пробор голову.

Пронзительный взгляд полковника Фредамбера вонзился в маршала Дзяволтовского.

— Что касается ваших мужественных воинов, маршал...

Маршал Дзяволтовский вскочил и вытянулся. Он был

в мундире лейтенанта, и ему не полагалось сидеть, когда к нему обращался старший чином.

— ...то командование вооруженными силами Антанты, приняв польские легионы белого орла под свою высокую руку, рассчитывает на их беззаветную преданность общему делу и тоже гарантирует им снабжение всеми видами оружия, снаряжения и амуниции.

Полковник Фредамбер ухитрялся смотреть одновременно на обоих генералов — Гришина-Алмазова и Дзяволтовского, сидевших в разных концах огромного стола. Тембр его голоса стал особенно резким и пронзительным.

— Перед обоими вооруженными формированиями, русской добрармией и польскими легионами, стоит отныне только одна общая военная задача: выполняя стратегический план командования вооруженными силами Антанты на юге России, общим ударом уничтожить общего врага. Что же касается политических программ обоих означенных военных формирований, то...

Генерал д'Ансельм на мгновение поднял веки и утомленно обронил, перебивая полковника:

— Я имею в виду противоречия во взглядах русской добрармии и польских легионеров в сфере их национально-государственных притязаний.

— ...то,— закончил полковник Фредамбер,— для солдат они не могут и не должны существовать.

— На войне — как на войне! — устало кивнул генерал д'Ансельм.

Полковник Фредамбер сел.

Сел, поклонившись и загремев своими огромными шпорами, и маршал-лейтенант Дзяволтовский.

Консул Энно приветливо улыбнулся каждому из генералов по очереди:

— Вопрос о взаимоотношениях России и Польши как раз и решит Парижская конференция. В повестке дня конференции будет стоять собственно три вопроса: мирный договор с Германией, русский вопрос и вопрос о малых нациях — Польше, Литве, Чехии эт цетера... [1]

Дело происходило на Украине, речь шла о боевых действиях на украинской земле, вообще разрешался вопрос о существовании украинского государства, но об Украине или каких-нибудь украинских вооруженных формированиях упомянуто не было.

Генерал д'Ансельм не признавал Украины, он и слышать о ней не хотел, а все вооруженные формирования на Украине, включая и добрармию и польских легионеров,— презирал. Он придерживался взгляда премьера Франции Клемансо, что

---

[1] и так далее *(лат.)*.

уничтожить большевиков приличествует войскам союзных держав — Англии, Соединенных Штатов и в первую очередь Франции. Он охотно отказался бы от услуг и добрармии и польских легионов, если бы не приказ высшего командования, который он должен был выполнять. Ему претило всяческое политиканство, и из всей французской политики в отношении России он усвоил только одно: французские интересы требовали России единой и сильной.

Адмирал Боллард молчал. И не потому, что охвачен был в эту минуту одним желанием — опрокинуть второй бокал вина, а потому, что только сегодня утром имел уже конфиденциальную беседу с военным министром новорожденного правительства «Украинской народной республики», генералом от директории Грековым. Генералу-министру Грекову английский адмирал Боллард пообещал особую поддержку английского правительства: Англия была заинтересована в укреплении вооруженных сил украинских сепаратистов, так как жаждала в будущем видеть Россию раздробленной и ослабленной.

Мадам Энно сделала гостеприимный жест:

— Прошу, господа!

Все задвигались, зазвенели бокалы, забренчала посуда, шелест и говор пробежали вдоль стола, бравые черные зуавы с белыми салфетками, прислуживавшие за столом вместо лакеев, забегали с блюдами. Адмирал Боллард придвинул к себе бутылку виски.

Консул Энно наклонился к генералу д'Ансельму.

— Генерал! — прошептал он.— Я думаю, что будет вполне уместно, если наш новый друг...— он повел усами в сторону немецкого генерала Шмула, который сидел, как на поминках, не прикасаясь ни к еде, ни к напиткам, надутый и прямой, словно проглотив аршин,— если наш новый друг именно сейчас услышит обращенное к нему ваше слово?

Полковник Фредамбер вопросительно взглянул на генерала д'Ансельма. Генерал кивнул, не поднимая век. Тогда полковник сделал знак адъютанту. Адъютант подал ему досье.

Полковник Фредамбер вынул из досье листок бумаги, встал и обвел всех своим пронзительным взглядом. Звон посуды притих, все насторожились. Когда взгляд полковника вонзился в немецкого генерала, тот из красного стал лиловым.

— Разрешите огласить один выдающийся исторический документ? — начал снова полковник Фредамбер.

Стало совсем тихо, и бумага зашелестела в руке полковника.

— «Первого декабря 1918 года, остров Уайт, Атлантика...» Из резолюции совещания представителей трех держав: Соединенных Штатов Америки, Британской империи и Французской республики — президента Вильсона, премьера Ллойд-Джорджа и премьера Клемансо...

В голосе полковника послышались металлические ноты, когда он начал читать:

— «Разве Германия не должна сыграть свою роль в установлении мира на Восточном фронте? Сейчас для Германии открываются исключительные перспективы. Гордая и достойная нация может избежать унижения постигшего ее военного разгрома. Она имеет возможность почти незаметно перейти к нормальному сотрудничеству со всеми нами. Без Германии в Европе ничего нельзя сделать, с ее помощью все будет несравненно легче. Необходимо привлечь Германию к усмирению Восточной Европы».

Адмирал Боллард нашел, наконец, повод поднять второй бокал.

— Генерал! — прохрипел он, обращаясь к генералу Шмулу.— Тысяча чертей! Но участие подначальных вам войск в общей борьбе против большевизма делает нас снова боевыми друзьями! Прозит доблестной немецкой армии!

Генерал Шмул вскочил и вытянулся «смирно».

— Гох! — гаркнул он.

Помещик Золотарев громко захлопал в ладоши и закричал:

— Браво! Бис! — но тут же оборвал и смущенно умолк: все были шокированы таким бурным проявлением чувств и выразили это недовольными взглядами.

Генерал Шмул тем временем схватил свой бокал, утопил в нем торчащие рыжие усы и одним духом осушил его до дна.

2

Решение вершителей судеб мира — Антанты и Соединенных Штатов Америки — снова привлечь к борьбе против большевиков немецкую армию было для всех присутствующих приятной неожиданностью. После антинемецкого восстания на юге Украины в гарнизонах больших городов до сих пор задержались еще десятки тысяч немецких солдат; переход этих многочисленных и хорошо вооруженных частей под союзное командование должен был, бесспорно, значительно усилить антибольшевистский фронт. Это было радостным фактом для тех, кто бредил разгромом большевизма. И радость эта была совершенно нежданной, так как всего несколько дней назад, едва ступив на украинскую землю, войска интервентов объявили единственной причиной своего прибытия сюда не что иное, как необходимость... «ликвидировать пагубное немецкое влияние на Украине» и выгнать остатки немецких оккупационных войск.

За столом сразу стало весело. Все наполнили свои бокалы и подняли их, приветливо улыбаясь генералу Шмулу. Войска Антанты еще только начинали прибывать, они еще не имели

возможности двинуться дальше одесских окраин, а немецкие части стояли гарнизонами по всем городам Южной Украины. Генерал Шмул раскланивался во все стороны, чокался с каждым, беспрестанно макая свои рыжие усы в пенистое вино; он был уже багровый, сразу опьянев — от вина и еще больше от спеси.

Снова вошел адъютант д'Ансельма и приблизился к полковнику Фредамберу. Фамилия этого французского офицера была Ланжерон, и именно поэтому он был отправлен с экспедиционным корпусом в Одессу. К Ланжеронам, строителям и градоправителям старой Одессы, он не имел никакого отношения, но именем Ланжеронов названо в Одессе несколько улиц и бульваров, и командование решило, что француз — носитель такой исторической для Одессы фамилии — может, чего доброго, пригодиться при разных дипломатических комбинациях как подходящий... претендент — на что именно, пока еще неизвестно, но во всяком случае на все то, что окажется полезным дипломатии.

Капитан Ланжерон склонился к полковнику.

— Господин полковник! — сказал он.— Из Киева прибыли украинские дипломаты, представители директории. Они только что явились в резиденцию и просят принять их безотлагательно.

Полковник Фредамбер поднял бровь.

— Но ведь мы их... не вызывали!

— Они заявляют, что явились по поручению мосье Винниченко и мосье Петлюры.

— По поручению мосье Винниченко и мосье Петлюры здесь уже обивает пороги министр Греков,— недовольно буркнул полковник Фредамбер.

Но перешептывание между полковником и капитаном уже услышал генерал. Он утомленно произнес:

— Этого следовало ожидать... Они не дадут нам покоя... Но надо дать им почувствовать нашу силу и наше... гм... отношение к ним. Займитесь этим, полковник. Отдайте капитану распоряжение...

— Пусть подождут в приемной,— отдал распоряжение полковник.— Пошлите им содовой воды.

За столом тем временем завязался общий разговор. Центром внимания все еще был генерал Шмул. Налившись кровью, отчего его веснушчатое лицо стало почти одного цвета с рыжими волосами, хлопая осоловелыми тоже рыжеватыми глазками и разбрызгивая пену шампанского своими рыжими усами, генерал разглагольствовал о роли Германии в переустройстве мира и выдающемся историческом значении немецкого «дранг нах Остен». Он доказывал, что в своем наступлении на восток Германия ничем не собиралась ущемить своих соперников —

Францию, Англию и Россию — и не имела иной цели, кроме осуществления плана «Три Б», мечты цивилизации.

План «Три Б», как известно, состоял в том, чтобы проложить железнодорожную линию Берлин — Бизентиу — Багдад или Берлин — Багдад — Басра, то есть построить железную дорогу из Берлина до самого Персидского залива на Индийском океане. Немецкий генерал и слышать ничего не хотел об империалистическом характере этого плана, осуществление которого поставило бы в полную зависимость от Германии не только Балканы, но и страны Ближнего и Среднего Востока.

Английский консультант по гражданским делам при английском адмирале — коммерции секретарь Багге возражал немецкому генералу.

Коммерции секретарь Багге говорил тихим, еле слышным, бесстрастным и каким-то смиренно-пасторским голосом, да и всей фигуркой своей — лысенький, кругленький, с маленькими пухленькими ручками и благочестиво возведенными горé глазами,— как и одеждой — черным плоским галстучком на высоком крахмальном воротничке и черным, застегнутым на все пуговицы длинным сюртуком,— он и в самом деле напоминал благочестивого пастора англиканской церкви. Речь у него тоже была какая-то елейная.

— Осмелюсь возразить,— смиренно говорил он, скромно складывая ручки на животе.— Исключительное значение для цивилизации имеет, наоборот, английский план «Три К».

Английский план «Три К», как известно, выдвигал проблему строительства трансафриканской — трансазиатской железной дороги Капштадт — Каир — Калькутта, соединяющей Южную Африку с Южной Азией и доходящей до самой Индии. Этот план должен был поставить всю Африку и весь юг Азии, в частности нефтяные месторождения в Аравии, Месопотамии и Персии, под полный контроль Британской империи.

В пылу спора коммерции секретарь Багге и генерал Шмул обратились за арбитражем к третьей, незаинтересованной стороне — к русскому генералу Гришину-Алмазову. Незаинтересованной стороной они его считали потому, что Россия не имела колоний ни в Южной Африке, ни в Южной Азии.

Гришин-Алмазов вежливо возразил:

— Вы забываете, господа, что существует еще третий, русский план «Три П», который и должен продвинуть цивилизацию на юг!

План российского империализма «Три П» предусматривал строительство железной дороги Петербург — Пехлеви — Пешевар, связывающей Северный Ледовитый океан с Индийским и ставящей под контроль Российской империи весь Ближний и Средний Восток.

Но спор на империалистические темы был прерван новым

появлением французского адъютанта с одесской фамилией. Капитан Ланжерон доложил:

— К причалу в порту пришвартовалась яхта под флагом Соединенных Штатов Америки.

Это было почти сенсационное сообщение. Ни одного американского представителя не было еще в Одессе, ни одного американского офицера не было еще в составе командования вооруженными силами интервентов на юге, ни одного американского солдата не было еще в частях десанта оккупационной армии. Известно было только, что в Екатеринодаре при ставке генерала Деникина находился полномочный представитель США, адмирал Маккели. Не он ли это пожаловал к одесским берегам?

Генерал д'Ансельм впервые за весь вечер проявил признаки оживления: он совсем раскрыл глаза и поднял кверху обе брови. Полковник Фредамбер вскочил с места, не скрывая своего волнения:

— Чья яхта? Кто на борту? Послать немедленно курьера!

— Курьер уже прибыл, господин полковник. Яхта принадлежит военной миссии США. На борту — военная миссия США в полном составе, числом семьдесят человек, во главе с полковником Риггсом.

Семьдесят человек военных дипломатов! Штат консула Франции с особыми полномочиями состоял всего из двух секретарей, одной машинистки и одного курьера. Английский военный представитель адмирал Боллард обходился двумя адъютантами и одним вестовым.

Полковник Фредамбер напустился на капитана Ланжерона:

— Почему ж они не уведомили о своем прибытии? Почему вы не имели предварительного сообщения о вымпеле на горизонте?

Генерал д'Ансельм взволнованно приказал:

— Надо встретить! Машину!

Он даже поднялся и взглянул на гостей с намерением извиниться.

— Разрешу себе заметить,— доложил капитан Ланжерон,— что встречать уже поздно. Полковник Риггс с высшими чинами миссии, как только яхта пришвартовалась, сошел на берег и прибыл уже в «Лондонскую». В настоящий момент им спешно готовят номера.

— Узнаю американскую манеру! — сказал генерал д'Ансельм, не скрывая досады. Он даже приложил пальцы к вискам: волнение всегда вызывало у него мигрень.— Как неудобно...

Адмирал Боллард захохотал.

— Успокойтесь, генерал! Тысяча чертей, но это совершенно по-американски! Ничего страшного. Мы сейчас пошлем к ним

кого-нибудь и пригласим их сюда. А если мы не пригласим, то они сами придут. Я с полковником Риггсом в прошлом году встречался в Прибалтике,— он был американским военным атташе в Петрограде. Он издалека чует, где есть сода-виски. Сейчас он будет здесь. Мы с ним выпьем на славу!

Однако генерал д'Ансельм, как тонкий знаток этикета, настоял на том, чтобы немедленно же послали американцам приглашение на раут. Решено было, что, поскольку встречу на берегу проворонили, теперь нанести первый визит американским гостям уместнее всего будет генерал-губернатору города.

Генерал Гришин-Алмазов принял это как приказ. Он извинился перед своей дамой и тотчас же вышел.

— Как же быть с представителями украинской директории? — напомнил Фредамберу Ланжерон.— Украинские дипломаты нервничают, они уже давно ждут...

— Подождут еще! — оборвал его Фредамбер.— Пошлите им свежие номера одесских газет. Там есть достаточно антиукраинских выступлений.

Черные зуавы тем временем принесли кофе и ликеры, и по приглашению мадам Энно гости перешли в зал.

Немедленно же образовалось несколько групп. Кругленький коммерции секретарь и его высокий, худой, на редкость долговязый и длинноногий компатриот и коллега мистер Джордж У. Пирсли оказались в окружении одесских банкиров и русских промышленников. Речь зашла о нефти, угле, руде, концессиях и дивидендах. Украинские помещики окружили опьяневшего генерала Шмула. Началась критика ошибок, допущенных немецким командованием в деле охраны интересов землевладельцев на Украине, посыпались предложения, каким образом эти ошибки исправить, чтобы в дальнейшем с помощью не только немецких, но также французских, английских и американских штыков эти интересы полностью обеспечить. Генералы и капитаны кораблей столпились с сигарами и рюмками коньяку вокруг мадам Энно. Однако в этом кружке немедленно же оказался в центре внимания галантный лейтенант-маршал Дзяволтовский.

Лейтенант-маршал Дзяволтовский, пользуясь отсутствием генерала Гришина-Алмазова и сгорая от желания как-нибудь уронить в общем мнении своего политического противника, со смаком рассказывал о том, как не далее чем вчера большевистские разбойники оставили генерал-губернатора в дураках.

В большевистском подполье объявился какой-то отчаянный головорез. Ходят даже слухи, что все эксцессы, которые то и дело случаются в городе, совершал он самолично, хитро маскируясь и принимая самые разнообразные обличья. Якобы это именно он, переодевшись портовым грузчиком, разгромил тюрьму и выпустил политических преступников во время ин-

цидента с петлюровцами. Якобы не кто иной, как опять-таки он, захватил в день высадки десанта две сотни винтовок.

Прошлой ночью этот самый головорез совместно с еще несколькими отколол, однако, пикантнейшую штучку. На Полицейской улице есть шантан под заманчивой вывеской «Бродячие псы», который облюбовали офицеры контрразведки генерала Гришина-Алмазова. Так вот, когда прошлой ночью офицеры контрразведки пьянствовали в «Бродячих псах», в вестибюль шантана ворвался этот самый головорез со своими сообщниками, заткнул швейцару кляпом рот и забрал с вешалок все шинели господ офицеров-контрразведчиков. Надев эти шинели, новоиспеченные офицеры-контрразведчики явились на Екатерининскую площадь и свободно прошли в помещение контрразведки генерала Гришина-Алмазова. Разойдясь по кабинетам, они на скорую руку произвели неплохую ревизию в ящиках столов и забрали целую гору документов, среди которых были, между прочим, и списки конспиративных квартир секретной агентуры. Затем они обезоружили двух часовых, которые стояли внизу на посту у пирамид с винтовками экстренного взвода контрразведчиков, забрали сорок винтовок, полторы тысячи патронов — и растаяли во мраке темной осенней ночи.

Генералы и капитаны кораблей неодобрительно покачивали головами. Мадам Энно ужасалась и всплескивала руками.

Но наибольшее впечатление произвел рассказ маршала на бессарабского помещика Золотарева. Помещик начал креститься и бормотать:

— С нами крестная сила! Пронеси, господи!

— Кто ж он такой, этот страшный разбойник? — допытывалась мадам Энно.

Лейтенант-маршал мог удовлетворить ее любопытство. По городу распространились слухи, что этот разбойник — какой-то знаменитый еще с давних, дореволюционных времен бессарабский экспроприатор.

— Бессарабский! — снова ужаснулась мадам Энно.

Она припомнила, что во времена ее детства, когда она была еще дочкой бессарабского шинкаря, все бессарабские помещики были терроризованы разбойником-экспроприатором, который жег усадьбы, грабил деньги и устраивал дерзкие налеты. Конечно же, это он. Вот только, дай бог памяти, как его фамилия?

— Можете не сомневаться, мадам,— охотно соглашался лейтенант-маршал,— что это именно он. Он неоднократно сидел в тюрьме, а дважды был даже на каторге, но каждый раз таинственным образом бежал из запертых камер, проходил сквозь тюремные решетки и цел и невредим выбирался даже из сибирской тайги!

— Господин Золотарев! — не могла успокоиться мадам

Энно.— Ведь вы бессарабец! Вы должны помнить! Как же фамилия этого экспроприатора?

— Да, да...— мямлил перепуганный насмерть бессарабский помещик.— Как же, как же! Помню! Он и меня когда-то ограбил. Это — К... К... Котовский...

— Правильно! — вспомнила и мадам Энно.— Гришка Котовский! Боже, какой ужас! Вы знаете, это такой артист! Все как будто бы тихо, все хорошо, и вдруг открывается дверь — и...

Она со страхом оглянулась на двери, у которых застыли два черных зуава с саблями наголо.

— А... а... что вы... д-думаете!..— тоже опасливо озираясь, бормотал помещик Золотарев.— И очень просто! Возьмет, переоденется в какого-нибудь генерала...— он обвел подозрительным взглядом всех присутствующих генералов,— и того... бац... и здесь! Стоит, может быть, тут среди нас и слушает...

Генералы и капитаны долго смеялись над испугом помещика Золотарева, человека глубоко штатского и не обстрелянного в боях.

Мадам Энно тоже была перепугана не на шутку.

— Надо будет сегодня же,— сказала она,— выставить вокруг нашей резиденции удвоенную охрану и сделать решетки на окнах.— Она безнадежно махнула рукой.— Но и это ни от чего не гарантирует. О, вы не знаете Гришки Котовского! Он везде пройдет!

— Пройдет везде, мадам,— подтвердил помещик Золотарев.— Обязательно пройдет!..

3

Мосье Энно тем временем устроился в уголке на козетке с королевой экрана Верой Холодной.

— Надеюсь,— спросил он, шевеля усиками и прихлебывая из чашечки кофе,— что генерал чувствует себя хорошо?

— Я полагаю, что он чувствует себя не плохо,— холодно ответила королева экрана.

Они обменялись взглядом, из которого можно было понять, что мосье Энно вкладывал в вопрос двойной смысл и Вера Холодная отвечала на него так же двусмысленно. Консул Франции хотел услышать от артистки о внутренних переживаниях генерала, командующего офицерами добрармии, но и его «внешние» переживания, касающиеся взаимоотношений с сидящей рядом с ним дамой, были не безразличны для Энно.

— А кому генерал больше симпатизирует — Франции или Англии?

Артистка чуть улыбнулась.

— Я не думаю, чтоб его чувства к той или к другой можно было определить словом «симпатия»...

Мосье Энно раздраженно пожал плечами.

— В таком случае — к кому генерал питает бо́льшую антипатию?

Артистка иронически посмотрела на консула.

— Повидимому, генерал недоволен обеими странами. Он считает и Францию и Англию соперниками Российской империи.

— О!..

— Это — в своих политических высказываниях,— прибавила артистка.— А в жизни он... равно привержен к обеим: мне почти не приходилось слышать от него русскую речь. Он разговаривает по-французски либо... изливает свои чувства по-английски...

Мосье Энно свирепо взглянул на артистку.

— Вы могли бы мне не рассказывать о том, как генерал выражает свои чувства.

Артистка ответила ему презрительным взглядом.

— Я добросовестно исполнила ваше поручение, мосье. Вы должны учесть мою добросовестность и... сократить срок моего пребывания здесь.

— Ну, не будем ссориться,— примирительно проворковал консул.— Сегодня вы не пойдете... слушать английское воркование генерала... мон анж...

Артистка подняла брови и взмахнула своими огромными ресницами.

— А что же я буду слушать сегодня?

— Сегодня вы будете слушать меня.— Консул смотрел на артистку, давая волю живчикам в глубине своих томных глаз.— Если хотите, я для вас согласен говорить даже по-русски...

— На нас смотрят,— сказала королева экрана.— Какие еще у вас ко мне вопросы, мосье?

— А! Да. Как относится генерал к проблеме взаимоотношений с украинской директорией в связи с миссией союзных войск?

Артистка пожала плечами:

— Я плохо разбираюсь в этих вещах.

Мосье Энно раздраженно сказал:

— Я не сомневаюсь, что ваша артистическая головка создана не для этого. Но меня интересуют высказывания генерала. Их надо просто услышать и запомнить.

Артистка сделала вид, что не замечает недостаточно галантного тона консула.

— Я запомнила. Генерал против взаимоотношений с директорией. Кроме того, генерал говорит, что англичане — пираты, а французы — корсары.

Мосье Энно чуть не подскочил.

— Каналья! — выругался он.— Пардон! — извинился кон-

сул в ответ на укоризненный взгляд артистки, не выносившей бранных слов.— А кто же тогда большевики? Их как называет генерал?

Артистка холодно ответила:

— Вы мне разрешите не повторять? О большевиках генерал выражается только нецензурными словами. Их он ненавидит больше всего. В Пензенской губернии большевики забрали у него имение в десять тысяч десятин, в Орловской — в пять тысяч. Кроме того, в банках национализировано на полмиллиона его капиталов.

— Чего ж он в таком случае хочет?

Вера Холодная снова пожала плечами.

— Он хочет прежде всего вернуть себе оба имения и капиталы. И он побаивается, что, когда Англия и Франция после ликвидации большевизма собственными силами получат концессионные привилегии, они положат себе в карман и состояние генерала и капиталы вообще всех русских собственников.

— Интересно! А что говорит генерал о руководителях иностранного десанта здесь, в Одессе?

— Он их ругает.

— Кого именно?

— Всех.

— А все-таки? Я хотел бы услышать имена. Кого больше всех?

— Пожалуй... вас.

— Каналья! Пардон... А что именно он говорит обо мне?

— Ругает.

— Как именно он меня ругает? Какими словами?

— Он называет вас... бездарностью, остолопом и интриганом...

— Кана... Интриганом?

— Интриганом и... и мышиным жеребчиком.

— Негодяй! — Мосье Энно расплескал кофе себе на штаны.— И это после того, как я возвел его на пост генерал-губернатора!

Артистка развернула веер и стала обмахиваться. В зале становилось душно.

В это время в другом углу зала, на другой козетке, мадам Энно занимала английского коммерции секретаря Багге, загрустившего после скучного разговора о планах «Б», «К» и «П». Это был долг гостеприимной хозяйки — заботиться, чтобы гости не скучали.

А впрочем, смиренно-добродетельный коммерции секретарь оказался совсем неплохим собеседником. Когда они с мадам остались только вдвоем, он сам заговорил первым.

Сложив ручки на животе, он поинтересовался:

— Мадам, очевидно, очень скучает в этой дикарской стране?

— О да! — томно призналась мадам Энно, хотя это абсолютно не соответствовало действительности: мадам уже начала развлекаться, и компаньоны для этого дела тоже нашлись.

— Осмелюсь заметить,— кротко сказал коммерции секретарь,— что мадам неверно судит об Одессе. Это прекрасный город, и очаровательная женщина...— он так и сказал «очаровательная», и мадам взглянула на него с удивлением: она никак не рассчитывала на комплименты со стороны этого, добродетельной и добропорядочной пасторской внешности, человечка,— и очаровательная женщина может найти здесь для себя немало радостей.

— А именно? — заинтересовалась мадам.

— Знакомства, приемы, банкеты, веселое общество...— начал перечислять добропорядочный коммерции секретарь, но сразу же прервал, сокрушенно вздохнув.— Правда, на все это нужно много денег, а содержание дипломата во Франции не так уж высоко. О, мне это известно, мадам. Вам, конечно, не хватает денег на все то, что мило вашему прихотливому сердцу...

Мадам был неприятен этот разговор, затрагивавший ее больное место: очаровательной женщине не доставляет удовольствия, когда намекают на ограниченность ее финансовых ресурсов. Правда, эти ресурсы именно здесь, в Одессе, уже стали увеличиваться, так как, кроме возможности подработать на пожертвованиях на «благотворительные цели», мадам Энно уже нашла дорожку и к спекуляции: очень выгодно было скупать здесь по дешевке золото и переправлять его во Францию с дипломатической почтой.

— Какие еще развлечения вы можете порекомендовать в Одессе очаровательной женщине, мосье секретарь?

— О! — сказал секретарь Багге.— В нынешней Одессе, где собралось столько русской аристократии, переживающей сейчас трудный момент, есть масса чудесных комиссионных магазинов. В них можно приобрести роскошные вещи и сравнительно недорого.— Коммерции секретарь, впрочем, снова прервал себя и снова сокрушенно вздохнул.— Но это тоже недоступно супруге французского дипломатического служащего.

Это уже начинало раздражать мадам Энно: английский дипломат, кажется, нарочно допекал ее — эти английские дипломаты всегда важничают тем, как высоко оплачивается их работа английским правительством. Но мадам в то же время и насторожилась. Почему это английский дипломат все гнет в одну сторону? Дипломаты никогда не станут настаивать на чем-нибудь без особой на то дипломатической необходимости.

Коммерции секретарь Багге тем временем еще раз вздохнул и добродетельно возвел очи горѐ, словно испрашивая помощи у неба.

— Что поделаешь? Но и в самом деле, мадам, у вас должны быть большие расходы. Приобретение приятных для вас вещей, туалеты, приемы, развлечения...

— Слушайте, мосье секретарь,— сердито прервала его мадам,— вы, кажется, поставили своей целью говорить мне неприятности?

— Что вы, мадам! — с непритворным ужасом воскликнул Багге и даже замахал своими ручками.— Напротив! Я б хотел, чтобы мадам не испытывала никаких огорчений!

— Тогда,— насмешливо сказала мадам Энно,— я вас, очевидно, не поняла. Уж не собираетесь ли вы предложить мне денег?

Мистер Багге посмотрел на мадам ясным, светлым, кротко-доброжелательным взглядом.

— Пожалуйста, мадам, пожалуйста! К вашим услугам, мадам!

— Спасибо! — резко ответила мадам.— Но я не собираюсь занимать у вас деньги!

Мистер Багге снова возвел очи горѐ и вздохнул.

— Зачем же занимать? — так же кротко и доброжелательно возразил он.— Я могу предложить вам деньги просто так, не в долг...— Мистер Багге снова благочестиво поднял глаза и вздохнул.— У очаровательной женщины столько трат, столько искушений...

— Послушайте! — сказала мадам Энно.—Вы хотите предложить мне денег, но не говорите, за что.

Мистер Багге минутку смотрел на мадам Энно своим теплым, добродетельным взглядом. Потом благочестивый Багге снова возвел очи горѐ.

— Нам нужно знать, что консул пишет в Париж мосье Клемансо. Нас интересует также, о чем он говорит с местными людьми, лидерами разумеется. Или какие... гм... пикантные ситуации возникают иной раз по отношению, так сказать, к английскому союзнику, и вообще...

Мадам Энно долго смотрела на английского коммерции секретаря. Но ее взгляда, который, впрочем, ничего конкретного не выражал, мистер Багге не мог видеть, так как он сидел, скромно опустив очи долу и прикрыв их веками.

Наконец, мадам Энно сказала:

— Вы думаете, мосье секретарь, что делаете мне, женщине, пристойное предложение? Предлагаете измену?

— Мадам! — тихо и кротко сказал мистер Багге.— Недостойно предлагать жене изменить мужу в постели. Такого предложения я вам не делаю. А что касается всего остального, если вы имеете в виду измену, так сказать, государственного

порядка, то я осмелюсь высказать вам свой взгляд. Государство будет продолжать существовать, будет существовать века, а человеческая жизнь...— мистер Багге еще раз горестно вздохнул,— так коротка. Человек не успеет оглянуться, а уже приходит конец. Очаровательная женщина начинает... гм... увядать, стареть, скажем так, и тогда...

— Сколько вы предлагаете? — быстро спросила мадам, оглянувшись направо и налево.

— Двадцать фунтов в неделю гарантийно и двадцать фунтов за каждое сообщение премиально.—Мистер Багге прибавил: — Такие сообщения, мадам, есть возможность делать ежедневно, даже по два-три в день, если... отнестись с надлежащим интересом к предложению и думать о своем будущем.

— Хорошо,— сказала мадам Энно.— Давайте пройдемся, на нас смотрят...

4

Оставив гостей за кофе и сигарами, генерал д'Ансельм уединился в кабинете с полковником Фредамбером, капитаном Ланжероном и адмиралом Боллардом. В кабинете были статуэтки, которые генерал за вчерашний и сегодняшний день откопал у одесских антикваров, и генерала тянуло к милым его сердцу скульптурным миниатюрам. Но как раз пробило десять часов, и в это время генерал должен был выслушивать сводку информации за день. Он с тоской смотрел на своих мучителей, начальника штаба и адъютанта.

Докладывал капитан Ланжерон.

— Разрешите сначала внешнюю, затем внутреннюю, господин генерал?

— Давайте сперва внутреннюю.

Капитан Ланжерон раскрыл свой блокнот.

— Большевистские комитеты на заводах готовятся к довыборам в нелегальный Совет рабочих депутатов: в борьбе против немецкой оккупации погибло или ушло из города с партизанами много депутатов-большевиков, и состав нелегального Совета неполный. Меньшевики довыборы саботируют. Большевики рассчитывают провести своих, большевистских кандидатов. Информация меньшевистских лидеров.

— Сапристи! — выругался генерал и прибавил еще соленое солдатское словцо: в мужской компании он любил крепкие выражения.— Под самым носом у контрразведок! Завтра же вызвать ко мне наутро начальников всех контрразведок: нашей, добрармии, польской, немецкой, всех! Позовите и меньшевистских лидеров, они помогут нам напасть на след!

— Слушаю, генерал!

Капитан продолжал. Генерал утомленно смежил веки.

— По городу все время распространяются большевист-

ские листовки и прокламации, направленные против войск Антанты... Донесения полиции, жандармерии и контрразведок.

— Представить мне экземпляры,— вяло приказал генерал, не раскрывая глаз.— Полковник, займитесь их изучением. Чего они требуют в этих листовках?

— Я полагаю,— сказал Фредамбер, что стоило бы в противовес им наладить издание других листовок.

— Каких именно? — апатично спросил генерал.

— Тоже расцвеченных... революционными фразами, словами о свободе и демократии, но направленных против большевиков. Лучше всего было бы поручить это меньшевистским лидерам: у них есть достаточный опыт борьбы против большевистской агитации. Такие листовки собьют население с толку...

— Великолепно! — открыл глаза генерал.— Я тоже имел это в виду. Завтра же поручить это меньшевикам, и пускай не скупятся: деньги, бумага, типография — все это будет, мы им поможем.

— Слушаю, генерал! — Фредамбер склонил голову.

Капитан продолжал читать:

— Листовки обнаружены и среди солдат французских пехотных частей и матросов экипажа. Листовки — на французском языке...

Генерал грохнул кулаком по столу:

— Сапристи! Кто распространяет?

— Об этом нет сведений, генерал. Листовки обнаружены, но откуда они взялись — неизвестно.

— Дерьмо! — выругался генерал; он, очевидно, опять-таки имел в виду контрразведку.— Вы слышите, адмирал?.. Да не спите же, бога ради! — Он толкнул адмирала не слишком вежливо.— Среди наших частей распространяются большевистские листовки!

Адмирал помотал головой, чтобы отогнать хмельную дремоту.

— Тысяча чертей!

— И листовки написаны на французском языке!

— А, на французском...— успокоился адмирал и снова стал клевать носом.

Генерал д'Ансельм опять отпустил нецензурное словцо.

— Задержанных при распространении листовок расстреливать на месте! Солдат, у которых листовки будут обнаружены, под суд и... тоже расстреливать!

Но тут же он отменил свое решение:

— Нет! Сначала ко мне. Я допрошу их лично.

Он хотел было снова смежить веки, но глаза его остановились на статуэтке рядом с чернильницей, и взгляд его потеплел. Это была замечательная добыча, генерал только сегодня утром приобрел ее у антиквара на Преображенской. Голая

женщина, заложив ногу на ногу, курит тонкую сигаретку. Статуэтка была грубовата, но генерал любил пикантные штучки и не сморгнув заплатил за нее тысячу франков.

— Разрешите продолжать? — спросил капитан Ланжерон.

— А что там еще?

— О забастовках в городе. На заводах не прекращаются забастовки.

— Ах, забастовки! Полковник, ликвидируйте, наконец, забастовки!.. А по какому поводу бастуют?

— Требуют выплаты причитающейся заработной платы, требуют повышения расценок. В городе растет дороговизна. Рабочие голодают...

— А! — прикрыл глаза генерал, отрываясь от милой сердцу статуэтки.— Забастовки прекратить, зачинщиков — в тюрьму. Если среди требований будут и политические, ну там о смене власти, против союзного десанта и тому подобное,— расстреливать. Все?

— Еще внешняя информация, генерал.

— Давайте внешнюю. Только коротко. Мне нужно вернуться к гостям. Сейчас придут американцы.

Капитан начал читать. Части французской армии стояли, как и прежде, на позициях по демаркационной линии, определенной для директории. Войска директории вели себя вполне лояльно. Лишь кое-где происходили стычки между частями добрармии и польскими легионерами.

— Дерьмо! — констатировал генерал.— Полковник, когда, думаете вы, мы закончим накопление сил и сможем перейти в наступление?

— Я думаю, дней через пять-шесть. Генерал Франшэ д'Эсперэ обещает не сегодня-завтра подкинуть еще две или три дивизии из Салоник. Надо иметь не меньше чем стотысячную армию, генерал. Будем надеяться, что еще до нового года верховное командование обеспечит нам такую возможность...

Генерал отвел скучающий взгляд от лица полковника. Его внимание привлекла теперь статуэтка, которая стояла в углу на подставке. Глаза генерала смягчились, в них мелькнули игривые искорки. Вот это действительно была находка! Сатир из мягкого белого металла, обнимающий девушку... Генерал выкопал этот «шедевр» вчера в комиссионном магазине, тысяча франков! Настоящая цена статуэтки была три рубля семьдесят пять копеек; ее штамповали и продавали из-под полы вместе с порнографическими открытками сестры Кукинаки — содержательницы домов терпимости на Портофранковской.

Генерал заволновался и заспешил:

— Все?

— Еще только общая картина, генерал! Украина вся охвачена восстанием. Немецкие гарнизоны повсюду, кроме Юга, сложили оружие. От Харькова движется, гоня петлюровцев,

украинская рабоче-крестьянская армия красного генерала Ворошилова. В направлении на Киев начали наступление украинские красные партизаны под командованием Щорса... Они тоже себя именуют украинской Красной Армией. По всей северной границе Украины против войск директории наступает большевистская армия из России.

Генерал неохотно оторвал взгляд от сатира с девушкой.

— Итак, вы хотите сказать, что большевики и петлюровцы фактически находятся в состоянии войны? Миссия директории, выходит, не договорилась в Москве?

— Мы не имеем об этом сведений, господин генерал. Не подтверждаются и слухи, что такие переговоры вообще имели место...

— Что вы говорите? — Генерал был искренне удивлен.— Больше ничего?

— Петлюровцы устроили в Харькове переворот. Петлюровские гайдамаки разогнали Совет рабочих и солдатских депутатов. То же и в Екатеринославе: петлюровские отряды арестовали большевиков, членов Совета, и кое-кого расстреляли. Вооруженный конфликт, начало военных действий между петлюровцами и большевиками — реальный факт, господин генерал!

— Очень любопытно! — наконец-то расшевелился генерал.— Кстати, полковник! Ведь там сидят и ждут эти дипломаты от директории! Что им нужно? О чем они просят? Из Парижа и Лондона нет еще указаний, как вести себя с этими идиотами, как их там — Винниченко и Петлюрой... Что же им сказать? Как вы думаете, адмирал?

Адмирал Боллард продолжал поединок со сном и бессмысленно хлопал глазами.

— Я полагаю, — прохрипел он, — следует подождать указаний из Лондона и Парижа.

Указания из Лондона, лично от военного министра, у адмирала уже были: пока что поддерживать и петлюровцев, пообещать им что-нибудь, а там будет видно. Однако адмирал понимал, что это указание — специально английское, не для французов.

Генерал д'Ансельм пожал плечами.

— Не могу я понять... высокой дипломатии: гетмана уже нет, а наши политики все никак не могут решить, кого им поддерживать — гетмана или директорию! Кстати, полковник,— полюбопытствовал он,— какая между ними разница?

Полковник Фредамбер тоже пожал плечами и подергал щекой.

— Кто их знает, генерал. Очевидно, борьба за престол.

В это время вошел младший адъютант и доложил:

— Украинские дипломаты в приемной очень волнуются.

Они спрашивают, ждать ли им, или, быть может, ввиду позднего времени прийти завтра утром?

Генерал встревожился:

— Нет, нет! К чему откладывать на завтра? Пускай сегодня же ночью уезжают обратно в Киев. На что они нам здесь? Полковник! Пойдите займитесь ими!

Полковник Фредамбер встал.

— Что же им сказать, генерал?

— Боже мой! Почем я знаю! — с раздражением ответил генерал д'Ансельм.— Я запрошу еще раз посла Сент-Олера в Яссах, может быть ему что-нибудь известно относительно того, как вести себя с этой... директорией. А пока... а пока дайте им почувствовать нашу силу и наше отношение. Этих дураков Винниченко с Петлюрой лучше всего было бы, конечно, просто прогнать, но... Что-нибудь в таком духе, полковник. Давно они явились, эти дипломаты?

— В девять,— дал справку капитан Ланжерон.

Генерал взглянул на часы, стоявшие на столе. Это тоже было позавчерашнее приобретение. Небольшие часики являлись фрагментом скульптурной миниатюры: мраморная девушка держала их на плече, как кувшин с водой, и задумчиво смотрела вверх; она шла широким, быстрым шагом и мечтала на ходу. Это была скульптура тонкой работы талантливого и взыскательного художника: девушка из холодного мрамора казалась теплой и живой, жила каждая линия ее тела, вырезанного искусной рукой. Генерал заплатил недорого — всего пятьсот франков.

— Половина одиннадцатого,— констатировал генерал,— они ждут уже полтора часа. Вполне достаточно для престижа. Идите, полковник, выясните и дайте почувствовать...

5

Когда полковник Фредамбер вошел в приемную — украинские дипломаты ожидали в приемной «Б», то есть украинской, с коврами и плахтами,— навстречу ему поднялось двое.

Один из них был седовласый, как и генерал д'Ансельм, и вообще чем-то походил на него. Он держался с достоинством и приветствовал полковника сдержанным поклоном.

Второй был маленький, юркий и суетливый, черный, с лысиной. Кланялся он чересчур уж низко, заискивающе, присовокупляя к сему: «Кланяюсь!» или «Про́шу!»

— С кем имею честь? — спросил полковник Фредамбер, почти не ответив на приветствие: дипломаты сразу должны были почувствовать, с кем они имеют честь беседовать.

— Профессор Остапенко,— отрекомендовался первый.

— Доктор Назарук, про́шу вас! — представился второй и

прибавил, низко склонившись: — Кланяюсь! Мы есть, про́шу пана генерала...

— Полковник,— обрезал Фредамбер.

— Про́шу пана полковника, мы есть представители директории Украинской народной республики. Кланяюсь!

Фредамбер кивнул.

— С чем вы пришли?

Фредамбер говорил кратко, неприветливо, почти грубо. Он не садился, остался стоять у стола, и гости, сделавшие было движение, чтобы сесть, тоже вынуждены были стоять.

Профессор Остапенко собирался начать речь, но быстрый, беспокойный доктор Назарук уже опередил его и заговорил, согнувшись в почтительном поклоне:

— Пан профессор, про́шу вас, приднепровец; я есмь, про̀шу вас, из Галиции. Таким образом, про̀шу вас, считайте, что мы двое представляем здесь всю Украину, про́шу вас!

— Мы уполномочены,— горохом сыпал доктор Назарук,— передать от имени директории высокому французскому командованию в вашем лице наши гратуляции, а также изложить, про́шу вас, соображения и домогания славного правительства нашей неньки УНР!

Полковник Фредамбер открыл было рот, чтобы ответить, но это ему не удалось, так как доктор Назарук еще не закончил своей дипломатической преамбулы. Склонившись еще ниже, он совершенно расстилался своим сладеньким голоском:

— Преисполненные, про̀шу вас, почтительнейших чувств глубочайшего уважения к высокой культурной миссии высоких держав согласия и проникнутые, про̀шу вас, чувством невыразимого восторга перед славными победами великих держав над якобы непобедимыми силами австро-немецкой коалиции, мы, про̀шу вас, рады счастливому случаю лично выразить эти наши чувства герою отважной французской армии! Кланяюсь!

Фредамбер кивнул.

Профессору Остапенко удалось в эту минуту вставить и свое слово:

— Мы счастливы напомнить, что правительство наше отдало приказ своим вооруженным силам не чинить никаких препятствий союзным войскам, когда они вступили на нашу украинскую землю и стали гостями нашей страны.

Фредамбер произнес резко и насмешливо:

— Вашему правительству нельзя отказать в дальновидности. Если бы войска директории не капитулировали после нашего приказа, ваши солдаты были бы уничтожены все до одного.

— Но, про́шу вас,— сразу же зачастил доктор Назарук,— глава директории пан Винниченко приказал не оказывать сопротивления!

— Вашему Винниченко,— саркастически отвечал Фредамбер,— подчинились только офицеры, а солдаты пробовали завязать с нашими частями бой.

— О, про́шу вас...— начал было доктор Назарук, но Фредамбер его прервал:

— С чем вы пришли?

Тогда заговорил, наконец, профессор Остапенко, слегка отодвинув доктора Назарука:

— Директория УНР поручила нам вести переговоры с командованием вооруженных сил Антанты на следующих условиях: предварительное признание де-юре правительства УНР, невмешательство во внутренние дела Украинской народной республики...

Фредамбер снова перебил:

— Мы люди военные и привыкли говорить кратко. Мы пришли сюда, чтоб установить здесь порядок и спокойствие. Для установления порядка и спокойствия мы будем бороться против большевиков. Против большевиков должны бороться все. Если вы не будете бороться против большевиков, мы будем бороться и против вас. Никаких условий от вас мы выслушивать не собираемся. Но просим принять к сведению наши условия. Они коротки. Весь состав вашей директории должен быть сменен и утвержден нами... Вы должны создать антибольшевистскую армию в триста тысяч человек...

Доктор Назарук-таки прорвался:

— Но ведь, про́шу вас, наш пан министр генерал Греков предлагал вам организовать армию даже в пятьсот тысяч человек!

Фредамбер не обратил на него внимания.

— Ваша армия подчиняется верховному руководству нашего командования. Средние командные посты занимают офицеры русской добровольческой армии. Ваши войска проводят операции в полном взаимодействии с остальными антибольшевистскими военными формированиями: добрармией генерала Деникина, польскими легионами белого орла, ну и, конечно, французской армией. Ваши железные дороги, финансы, предприятия мы берем целиком под контроль и используем для нужд борьбы против большевиков. Что вы имеете сказать?

Доктор Назарук заискивающе изогнулся.

— Но, про́шу вас, пан полковник! Россияне и поляки — наши извечные враги. Они претендуют, про́шу вас, на наши земли. Они не признают украинской государственности. Про́шу вас!

— У меня нет ни времени, ни нужды разбираться в ваших несогласиях. Речь идет только об одном: о войне против большевиков!

— Про́шу вас! — завопил доктор Назарук.— Мы объявим эту войну! Мы, про́шу вас, уже воюем!..

Но профессору Остапенко удалось остановить своего коллегу. Он, покраснев, сказал:

— Прошу прощения, но мы не имеем полномочий от нашего правительства дать ответ на такие требования.

Фредамбер подергал ногой в коленке.

— В таком случае нам не о чем говорить.— Он кивнул.— Адъютант отдаст распоряжение, чтобы вас немедленно доставили на вокзал, так как ввиду позднего времени ходить по улицам запрещено. Надеюсь, что вы еще сегодня ночью, первым же поездом, вернетесь в Киев и... доложите вашему правительству. Мое почтение!

— Кланяюсь! — крикнул доктор Назарук вдогонку Фредамберу.

6

Когда полковник Фредамбер вернулся в кабинет генерала д'Ансельма, он застал его и адмирала в некоторой растерянности. Они даже не полюбопытствовали, чем же закончился разговор полковника с дипломатами директории. Были дела поважнее. Генерал Гришин-Алмазов только что возвратился от американского полковника Риггса из «Лондонской» и сообщил, что Риггс отказался приехать на раут.

В ответ на приглашение генерал-губернатора города Одессы и таврийского юга Украины — приглашение, переданное от имени объединенного англо-французского командования,— глава военной миссии США, поблагодарив от своего имени и имени остальных американских дипломатов, просил передать генералу д'Ансельму и адмиралу Болларду сердечный привет, но прийти на раут не пожелал. Он не сослался на усталость с дороги, не оправдывался состоянием здоровья, не пожаловался и на отсутствие времени, как это принято в таких случаях у дипломатов, а с прямолинейностью техасского ковбоя заявил, что он рассматривает раут как акт дипломатический, а он приехал сюда не как дипломат, а только как военный представитель, осуществляющий определенные указания своего правительства. В то же время полковник Риггс просил французского генерала и английского адмирала уведомить его безотлагательно, в котором часу завтра утром генерал и адмирал могут встретиться с ним для совместного делового совещания. Между прочим, Риггс дал понять, что встает он в шесть и начинает свой рабочий день в семь часов утра.

Генерал и адмирал были так шокированы этим ответом, что и не знали — что же теперь делать?

Особенно был уязвлен генерал д'Ансельм. Его аристократизму, его изысканному воспитанию был нанесен тяжелый удар — и кем? Каким-то американским выскочкой. Потомок старинного рода рыцарей ордена «Креста и меча», праправнук

бурбонского царедворца, внук версальца — он был оскорблен в своих лучших чувствах. Он побледнел и процедил сквозь зубы:

— Пароль д'онер! [1] Если б не моя высокая миссия, я бы вызвал этого...— здесь генерал ввернул непечатное солдатское словцо,— на дуэль!

Адмирал же совершенно неожиданно вызвав всеобщее удивление, так как отличался исключительно лаконичной манерой изъясняться и был чрезвычайно скуп на слова, разразился целой тирадой, правда адресовав ее к бутылке виски, стоявшей перед ним, и к сифону с сельтерской:

— Тысяча чертей и две ведьмы! Мы распеваем себе на утешение «Британия, властвуй над морями!» Это, черт побери, наш национальный гимн! Но над морями уже начинают властвовать эти чертовы американцы! Ведь они же за время войны, пока мы проливали кровь, потихоньку построили себе торговый флот куда больше, лучше и мощнее, чем все остальные, вместе взятые, флоты мира! Акулы! Флибустьеры!.. Не мы ли с вами победили Германию, генерал? Мы, будь я проклят до могилы! Но лапу к ней протягивают сейчас опять же эти чертовы американцы!.. Каучук Вест-Индии, за который наши конквистадоры пролили немало крови, эти разбойники вырывают у нас, англичан, прямо изо рта и кидают в пасть своим американским трестам, синдикатам и картелям! Банда чертей и ведьм! Они заграбастали нефть Караибского моря, нефть Мексики и сейчас нацеливаются сделать то же на Ближнем и Среднем Востоке, за двадцать тысяч километров от американских берегов. Но им и этого мало, им бы еще забраться на Кавказ, в самый карман к сэру Детердингу. Их Гувер уже протягивает свою лапу к майкопским месторождениям, тянется к бакинским источникам и сталкивает прямо в Каспийское море честных английских предпринимателей! Каннибалы!

Тут адмирал придвинул к себе бутылку с виски и сифон, нажал ручку сифона и пустил в стакан такую струю сельтерской, что и виски и вода расплескались по всему столу, залив бумаги генерала.

Проклятия адмирала Болларда немного успокоили генерала д'Ансельма, и он кое-как овладел собой.

— Я считаю,— обратился он к полковнику Фредамберу,— что уведомить полковника Риггса о времени нашей встречи по телефону или через адъютанта будет нетактично. В конце концов необходимо дать ему понять, что мы — джентльмены, а он — парвеню. Вам, полковник, придется взять эту миссию на себя. Я прошу вас сейчас же сообщить полковнику Риггсу, что я готов... принять его... гм... завтра в пять минут десятого. Когда можете вы принять полковника Риггса, адмирал?

---

[1] Честное слово! *(франц.)*

Адмирал Боллард сердито буркнул:

— Тысяча чертей, я сегодня сильно напьюсь и встану завтра поздно...

Но генерал д'Ансельм позволил себе прервать новый поток проклятий адмирала Болларда.

— Адмирал! — сказал он мягко, но настойчиво.— Завтра вам придется все-таки встать рано. Мы должны дать понять этому парвеню, с кем он имеет дело. Мы уведомим его, что совместное заседание состоится после визитов, в половине десятого, следовательно...

— А ну его к акулам! — отмахнулся адмирал, успокаиваясь, и осторожно, чтоб не пролить ни капли, еще раз нацедил себе виски и содовой.

Генерал д'Ансельм обратился к начальнику штаба:

— Я думаю, полковник, что лучше всего будет, если вы лично отправитесь сейчас к полковнику Риггсу и лично передадите ему наши приглашения. Пожалуйста, поторопитесь, полковник, пока полковник Риггс еще не лег спать.

Затем генерал придвинул к себе бронзированную девушку с сигаретой и сатира из белого металла и, не обращая внимания на похрапывание адмирала, стал их разглядывать.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Когда полковник Фредамбер постучал в двери номера люкс в гостинице «Лондонской», оттуда откликнулось сразу три или четыре голоса:

— Войдите!

Полковник вошел.

Вчера этот роскошный номер в бельэтаже занимала супруга великого князя Михаила Александровича — того самого, который два дня был последним российским монархом. Сейчас великую княгиню, и в течение двух дней российскую императрицу, администрация отеля вынуждена была в связи с неожиданным приездом знатных иностранцев спешно переселить выше двумя этажами, в комнату поменьше.

Номер люкс бельэтажа вообще был рассчитан на почтенных коммерсантов и потому бил в глаза своей аляповатой роскошью. Но сейчас пышная мебель была в беспорядке сдвинута в одну сторону, а всю комнату загромождали огромные, окованные блестящей медью дорожные кофры — штук пять или шесть, не считая более мелких, также обитых металлом чемоданов. И кофры и чемоданы прямо-таки сверкали богатой палитрой красок от обильно наклеенных на них рекламных

ярлыков отелей, где приходилось останавливаться в своих, видимо бесконечных, путешествиях владельцам этих кофров и чемоданов.

Чемоданы валялись везде, беспорядочно разбросанные, в живописном хаосе. Из одного раскрытого кофра свисала полосатая пижама. Другой был поставлен на попа; на нем красовались бутылки и несколько открытых консервных банок,— и это было странно, так как обыкновенный человеческий стол стоял здесь же, рядом, отодвинутый к окну за ненадобностью.

Три человека сидели на чемоданах вокруг кофра с едой и напитками и, вне всякого сомнения, подкреплялись. Один держал банку консервов, другой наливал себе из низкой пузатенькой бутылки, вроде большой банки с чернилами, третий размахивал ножом, крепко зажатым в кулаке.

В стороне в широком кресле с роскошной позолотой, совсем провалившись в его мягкие подушки, сидела женщина. Она была огненно-рыжая, шевелюра ее сиянием подымалась высоко над головой, худое лицо было неправдоподобно бледным,— натуральной, впрочем, бледностью худосочных людей с рыжими волосами, глаза, зеленовато-коричневые, блестели и светились, как у кошки ночью. Она тянула из чайного стакана какой-то напиток.

Полковник Фредамбер остановился на пороге и приложил два пальца к своему кепи с полковничьими галунами.

— Полковник Фредамбер. Разрешите войти?

Огромный детина без пиджака, в голубых подтяжках, с густой иссиня-черной порослью волос ежиком и чисто, досиня выбритый, поднялся с чемодана.

— Вы уже вошли! — гаркнул он.— Тысяча долларов против одного цента, что вы тоже от генерала д'Ансельма и опять к полковнику Риггсу. Риггс — это я. Как, вы сказали, ваша фамилия?

Фредамбер представился вторично.

Какое-то неуловимое движение прошло по лицу Риггса, минуту он с любопытством вглядывался в нового знакомца. Но это был только миг — и Риггс широким жестом протянул руку.

— Садитесь! — он кивнул на один из чемоданов и ногой сбросил с него пустую консервную банку.— Проклятая дыра эта ваша Одесса! Нам до утра смогли выкроить только один номер. Все занято. И этот остолоп портье не решается ночью побеспокоить других постояльцев, даже когда речь идет о миссии Соединенных Штатов Америки. Прямо дикари! Ведь нас трое, и с нами женщина. Обещают утром. Я их предупредил, чтобы номера были без клопов. Я-то знаю, что такое клопы! Я уже бывал в России и не случайно занимаю при государственном департаменте должность постоянного консультанта по русским делам. По этому вопросу вызывал меня президент

и в Париж перед мирной конференцией. Если клопы все-таки будут, мы сразу же заберем свое барахло — и на яхту! Пусть потом расхлебывают международный конфликт. Как, вы сказали, ваша фамилия? Ах, Фредамбер! Так вот, познакомьтесь. Полковник Гейк Шеркижен, профессор Шацкий. А это — Ева Блюм, журналистка, представитель разных там органов свободной прессы и всемирной информации. Ева! Кому я сказал? Куда же вы, Фред... ах, Фредамбер?

Полковник Фредамбер подошел к телефону на столе и снял трубку.

— Портье! — приказал он.

Когда голос портье откликнулся в трубке, Фредамбер сказал:

— Говорит полковник Фредамбер. Да, лично. Через десять минут три номера в распоряжение миссии США.— Он выслушал ответ и сказал: — Эти три русских генерала могут переночевать в вестибюле или в кабинете директора... С женами, конечно... И с детьми. Через десять минут сообщите в номер, занимаемый сейчас полковником Риггсом.— Он стукнул рычажком.— Коммутатор? Резиденцию генерала д'Ансельма, комендатуру... Комендатура? Фредамбер. Выслать немедленно десять человек в «Лондонскую» и установить постоянный караул в коридоре перед апартаментами представителей миссии США.

Положив трубку, Фредамбер пояснил Риггсу:

— Охрану поставить необходимо. По ночам здесь действуют большевистские диверсанты. Это может представить опасность для вашей жизни. Кроме того, орудуют налетчики. Это может представить опасность для ваших чемоданов.

— Я вижу, вы лихой парень! — сказал Риггс.— Сейчас мы выпьем за ваше здоровье. Вы кавалерист? — Он кивнул на кривые, изогнутые колесом ноги полковника.

— Кавалерист,— отвечал Фредамбер.— Я к вам, полковник, по поручению генерала д'Ансельма и адмирала Болларда.

— Понятно! — кивнул Риггс, усаживаясь на свой чемодан.— Приходил тут уже один генерал. Кажется, генерал-губернатор. Красивый джентльмен, такие нравятся женщинам. Но мне он не понравился. Такой продаст и имени не спросит. Мы с ним договорились завтра осмотреть город и устроить маленький пикник.— Риггс вдруг прервал свою речь.— Джентльмены,— обратился он к своим коллегам,— я думаю, что вы уже поели. Номера тоже сейчас будут. Ты, Гейк, уложишь спать профессора и поможешь ему прочитать молитву на ночь. А мы с полковником... м... Фредамбером еще немного побеседуем.

Полковник Шеркижен и профессор Шацкий — оба в штатском, так что невозможно было разобрать, кто из них полков-

ник, а кто профессор,— немедленно поднялись, откланялись и вышли. Один из них — очевидно, это и был полковник Гейк Шеркижен, так как на лице его не было ни малейшего, даже отдаленного намека на интеллект,— прихватил с собой бутылку.

Женщина — рыжая журналистка в кресле у окна — не шевельнулась. Она небольшими глотками прихлебывала из стакана.

2

Двери за двумя американскими дипломатами закрылись. Риггс, не обращая внимания на рыжую женщину, кивнул Фредамберу:

— Садитесь же, Фредамбер! Курите. Сода-виски?

Фредамбер сел.

— Спасибо. С вашего разрешения я выпью рюмочку коньяку.

— Французская привычка? — подмигнул Риггс и налил себе сода-виски.

— Нет, у меня пониженная кислотность, и сода мне вредит.

— Тогда пейте без соды. Восемьдесят градусов — это не так уж много. В Танжере, когда жара была под семьдесят, я ездил на велосипеде за три мили охотиться на страусов в песках пустыни.

— Риггс! — впервые за все время заговорила рыжая журналистка; голос у нее был с придыханиями.— Это же совершенно другие градусы. Не прикидывайтесь, будто вы не знаете элементарной физики.

— В самом деле?.. Я вообще удивляюсь этим физикам! До сих пор не могут привести все к какому-нибудь одному знаменателю... Во всяком случае, коньяк не рекомендую. Это румынский, дрянь! Мы прихватили его в Констанце. Пойло для свиней. Впрочем, наши калифорнийские свиньи его, конечно, пить не станут. Пейте, ей-богу, виски!

Риггс внимательно наблюдал за Фредамбером, пока тот пил. Когда Фредамбер покончил с этой процедурой и взял сигарету, Риггс сказал:

— Много о вас слышал, Фредамбер! Мне сказали, что могу положиться на вас, как на каменную гору. О вас вспоминал и сам Вудро. С президентом я виделся первого декабря на острове Уайт. Зашла речь и о вас...

— Благодарю! — поклонился Фредамбер.— Это мне очень лестно.

— В госдепартаменте,— сказал Риггс,— и в Эф-Би-Ай [1] о вас тоже самого лучшего мнения.

---

[1] Один из органов разведки США в те годы.

Фредамбер подтянулся и искоса взглянул на рыжую журналистку.

Риггс сказал:

— Все — о'кэй! Я — разведка, Ева — контрразведка. Полный комплект.

Фредамбер почтительно склонил голову.

Риггс, сощурив глаз, смотрел на Фредамбера. Он разглядывал его и оценивал.

— До войны вы получали три тысячи долларов в год?

Фредамбер снова склонил голову.

— Со дня объявления войны шесть?

— Абсолютно точно, сэр...

— И с переходом в вооруженные силы, действующие на Востоке, двенадцать?

— Вы хорошо информированы, сэр.

— Я должен иметь точные сведения обо всех своих сотрудниках. Со дня вашего прибытия сюда в составе оккупационной армии и во главе ее вы будете получать двадцать четыре тысячи.

— Очень благодарен, сэр. Весьма тронут.

— Ваш стаж?

— Пятнадцать лет в кадрах французской армии, сэр.

— Я спрашиваю про американскую разведку.

— С сентября тысяча девятьсот третьего года.

Риггс усмехнулся.

— Ваш стаж ровно на пять лет больше моего. Прошу прощения, что вам придется подчиняться младшему стажем.

— На нашей работе это вполне естественно, сэр. Здесь под моим началом генералы и адмиралы.

— Ну, чины русской армии, да и французской тоже, не имеют значения.

Он взял бутылку виски.

— С вашего разрешения, сэр, я воздержусь.

— Тоже французская привычка?

— Нет. У меня еще много дел сегодня. В американских интересах.

Риггс налил себе и выпил.

Затем Риггс откинулся, оперся спиной о другой чемодан, стоявший сзади, и положил ноги на третий.

Фредамбер отложил в сторону свое кепи с галунами полковника французской армии и нашивкой генерального штаба и расстегнул воротник френча.

— У вас тут жарко, сэр. Вы разрешите, мисс?

Рыжая журналистка удивленно подняла брови. Похоже было, что она не привыкла, чтоб перед нею извинялись за непорядки в одежде. Затем она сказала:

— Меня зовут Ева.

— Жарко,— согласился Риггс и закурил новую сигарету.—

У вас только что на приеме были дипломаты украинской директории.

Фредамбер удивленно поглядел на него:

— Вам это уже известно?

— Один из них десять минут тому назад докладывал мне — он наш с вами коллега. Почему вы их выгнали?

Фредамбер пожал плечами.

— Мы не имеем указаний командования поддерживать украинскую директорию.

— Это французская политика? — сердито спросил Риггс.

— Нам здесь не известна еще ни французская, ни английская, ни американская политика в отношении директории... Когда мы ехали сюда, здесь был еще гетман, и вся политика ориентировалась на него. Нас еще не информировали — придерживаться ли той же политики, или будет какая-нибудь новая.

Риггс раздраженно заметил:

— Какая бы ни была новая политика, она во всяком случае будет против большевиков. Раз директория предлагает воевать против большевиков, пускай воюет. Старая ли, новая ли политика — она может быть только одна: каждый, кто воюет против большевиков, нам годится.

— Но,— неуверенно проговорил Фредамбер,— войска директории состоят сейчас в значительной своей части из повстанцев против гетмана. Там ведь не только сечевики и гайдамаки — петлюровская гвардия. Директория старается привлечь к себе и всякую настроенную по-большевистски голь...

Риггс прервал его:

— Любые солдаты и в любом месте могут быть настроены по-большевистски. Но солдатами командуют и отдают им приказы офицеры. А офицерами командуют и распоряжаются правительства.

— Но ведь,— нерешительно сказал Фредамбер,— сам глава их правительства Винниченко в своих выступлениях бросает лозунги чуть ли не большевистские...

Риггс остановил его движением руки:

— Постойте! Винниченко бросает большевистские лозунги?

— Очень схожие, во всяком случае на первый взгляд, с большевистскими. О земле, о советах, правда не рабоче-крестьянских, а «трудовых», из представителей разных партий...

— Постойте, постойте! — нетерпеливо прервал его Риггс.— Меня не интересует программа мистера Винниченко! Но вы сказали, что он оперирует лозунгами, сходными на первый взгляд с большевистскими! На первый взгляд — этого вполне достаточно.

Риггс хлопнул ладонью по чемодану.

— Да ведь, выбрасывая большевистские лозунги, он сби-

вает с толку большевистски настроенную голытьбу, отрывает ее от настоящих большевиков и привлекает к себе! Слушайте! Да он ловкий парень! Мы прикажем ему побольше швыряться большевистскими лозунгами. Пусть обещает все, что угодно: землю, волю, что там еще... Только — после окончания войны против большевиков. А тогда будет другой разговор! А?

Риггс торжествующе смотрел на Фредамбера.

— Я, кажется, сделал гениальное открытие? А, Ева? Тысяча долларов против одного цента, что Вудро запатентует мое открытие и заплатит мне премиальные!— Риггс весело захохотал.— Президент у нас вообще демократ и любит демократическую фразу. Кроме того, он верный католик. Во Франции, знаете, его принимали как нового Христа-спасителя. Газеты Европы называют его новым мессией! — Риггс совсем развеселился.— Гениальное открытие! Безусловно, это поможет выиграть войну против большевиков, во всяком случае здесь, на Украине, и никак не противоречит традиционной демократической политике США: демократическая платформа и право сильного!

Риггс укоризненно покачал головой.

— Ах, Фредамбер, Фредамбер! Вы, кажется, прошляпили! Поймите: фраза всегда должна быть как можно звучнее, а дело как можно точнее! Ваша директория может стать отличным буфером, а пожалуй, и громоотводом от большевиков на Украине. Пускай швыряется лозунгами, похожими на большевистские, и морочит пока украинской голытьбе головы. Вы прошляпили, Фредамбер! К чему ждать указаний? Пускай их ждут французские цыплята и английские индюки. А мы будем сразу действовать. Как мы будем здесь действовать — такие и будут указания. Они там, в Париже, решают на основании наших же с вами рекомендаций. Так как мы ведь здесь — на месте и в курсе дел. Доклады президенту лично я отправляю еженедельно, а иногда и чаще. Так что решаем здесь мы с вами!

Фредамбер подергал щекой и бровью, что должно было у него изображать улыбку.

— Но, мистер Риггс, вы еще не в курсе дел. Вы только что приехали и еще не ознакомились с местной обстановкой.

— Довольно того, что я уже здесь! — Риггс взглянул на Фредамбера.— А какая собственно обстановка?

Фредамбер развел руками.

— Здесь есть еще русская белая добрармия. Она — основная здесь антибольшевистская сила, но она ненавидит директорию и не пойдет на соглашения с ней.

— Мы можем ей приказать,— небрежно сказал Риггс.— Или прикажем директории, чтобы она пошла на соглашение с добрармией.

Фредамбер изобразил на лице сомнение.

— Здесь есть еще белые польские легионы. Это тоже значительная антибольшевистская сила...

Риггс, перебивая Фредамбера, поднял кверху палец.

— Поляки,— сказал он,— это существенно! Вам, конечно, известно, что Франция готовит целую польскую армию. Но пусть вам будет также известно, что польскую армию готовит сейчас и Америка!

— Но,— все-таки закончил свою мысль Фредамбер,— какое бы то ни было согласие между поляками и директорией абсолютно исключено. Они претендуют на одни и те же территории: Галицию, Волынь, Подолию...

— Ерунда! — отмахнулся Риггс.— Территории будем делить на Парижской конференции.

— Но они ни за что не объединятся — украинцы, поляки, деникинцы! — горячо заверил Фредамбер.

— Ерунда! — снова отмахнулся Риггс.— Объединятся их вожаки, мы им прикажем.

— Но ведь они начнут грызться между собой, заведут междоусобицу.

— Отлично! Значит, вместе они никогда не повернут своих штыков против нас.

Фредамбер умолк, все еще колеблясь. Риггс внимательно разглядывал его.

— Вы не согласны? — спросил Риггс.— Или вам что-нибудь непонятно?

Фредамбер ответил:

— Мне понятно, что все антибольшевистские формирования надо поддерживать. Но... представьте себе: мы поддерживаем украинских сепаратистов — и вдруг при нашей поддержке они одолеют большевиков у себя на Украине! Что же тогда будет? Нам придется заняться их усмирением...

Риггс усмехнулся:

— Разумеется. Их усмирят поляки. Вы же сами говорите, что украинские сепаратисты и поляки никогда не договорятся, что у них претензии на одни и те же территории.

— А мы? — поинтересовался Фредамбер.— Что будем делать мы? Какова будет тогда наша позиция?

— Поддержим поляков.

— А если они при нашей поддержке победят украинских сепаратистов? Тогда что будет?

— На них есть деникинцы. Вы же сами говорили, что русские белогвардейцы никогда не согласятся на отделение Польши.

— И мы поддержим тогда деникинцев?

— Безусловно!

— А если и они победят?

— Тогда на арену выступит Антанта! Разве Франция и Англия поступятся своими интересами в России?

Фредамбер некоторое время молчал, раздумывая. Риггс внимательно приглядывался к нему.

Наконец, Фредамбер заговорил:

— Значит, Франция и Англия потратятся сначала на поддержку украинских националистов-сепаратистов, затем — на поддержку польских националистов-сепаратистов, потом — русских белых великодержавных групп, а после всего еще будут тратиться на то, чтобы и этих обуздать и поставить на место?.. Не кажется ли вам, сэр, что это слишком сложно и... дорого обойдется Франции и Англии?

Риггс сказал резким тоном:

— На вас, Фредамбер, плохо подействовали годы пребывания во французской армии. Не заболели ли вы, случайно, французским патриотизмом? Или, может быть, вас купили англичане?.. Похоже на то, что вы начинаете отстаивать интересы Франции и Англии.

Фредамбер растерялся.

Риггс сказал еще резче:

— Поймите, наконец, Фредамбер, что интересы Соединенных Штатов как раз в том и заключаются, чтобы Франция и Англия потратились! Пускай после разгрома большевиков вымотаются еще и на всей этой украино-польско-русской распре! Что, вы не понимаете, что тогда нам будет проще и легче прибрать к рукам вместе с Россией, Польшей и Украиной и ваши Францию и Англию?

Риггс отодвинул стакан, быстро встал, нашел свой пиджак на спинке какого-то стула, сунул руку в карман и достал небольшую карту, аккуратно вправленную в кожаную папку.

— Давайте по порядку, Фредамбер,— сказал он.— Сначала о настоящем, а потом уже о будущем. Настоящее — это война против большевиков. Вот, взгляните! — пригласил он Фредамбера.— Это карта Украины. Вам приходилось рассматривать ее когда-нибудь? Сейчас все они, и украинские сепаратисты, и польские, и русские, могут действовать вместе и одновременно. Вот так! — Он провел ногтем три линии поперек территории Украины на карте.— Видите? Параллельными колоннами. Правый, восточный, фланг — добрармия. Левый, вдоль западных границ,— поляки. В центре, в бассейне Днепра,— директория. А на стыках всегда будут справа английские, слева французские войска; это и дает возможность регулировать — когда полякам и украинцам или украинцам и деникинцам ссориться, а когда нет. Вот каково наше с вами настоящее. А будущее...

Он захлопнул папку с картой и сунул ее в карман пиджака.

— Вы-таки прошляпили, Фредамбер. Дипломатов директории нужно вернуть! И немедленно. Позаботьтесь об этом.

Фредамбер молчал, несколько растерянный. Риггс понял его состояние.

— Ах, вы не знаете, как это теперь сделать? Престиж и все такое прочее?.. Так нам наплевать на французский престиж. Кто здесь самый старший? Генерал д'Ансельм возглавляет французское командование? Он и должен их пригласить.

— Но,— разрешил себе заметить Фредамбер,— генерал д'Ансельм верен французскому правительству, он свято придерживается французской политики в отношении России: Франции нужна единая, сильная, централизованная Россия, и потому поддерживать Франция должна именно русскую белую контрреволюцию.

Риггс почти с ужасом посмотрел на Фредамбера.

— Боже мой! — воскликнул он.— Как можно было так отстать от жизни за какие-нибудь две-три недели, что вы выехали из Франции! Да ведь французская политика уже изменилась в русском вопросе. Вы абсолютно не в курсе дел, не знаете, чего добился старик Вудро, подготавливая конференцию в Версале!

— Слушайте, Фредамбер! — поучительно продолжал он.— Французская политика действительно ориентируется на единую, сильную, централизованную Россию. Но единая, сильная и централизованная Россия нужна Франции как союзник против Германии, да и Англии, лишь при одном условии, что единая, сильная и централизованная Россия будет не большевистской, а традиционно-капиталистической. Вам это понятно?

Фредамбер кивнул.

— До тех же пор, пока Россия большевистская, не дай бог, чтобы она была единой, сильной и централизованной! Это вам понятно?

Фредамбер кивнул еще раз.

Риггс облегченно вздохнул.

— Ну, вот. Вы, кажется, начинаете соображать, в чем дело. Теперь вам понятно, наконец, почему меняется сейчас позиция Франции в русском вопросе? Президент немало потратил усилий, пока втемяшил это в голову таким болванам, как ваш «тигр» Клемансо! Теперь Франция с доброй душой пойдет на поддержку всех, каковы б они ни были, сепаратистских новообразований, притязания которых направлены против единой, сильной и централизованной России. Ваш генерал скоро получит из Парижа соответствующие указания.

Фредамбер сидел совсем уничтоженный. Он-таки оказался полнейшим профаном, действительно отстал от жизни. В этих походах, с этими армейскими заботами, поневоле превращаешься в дурака.

Однако Фредамбер еще попытался робко заметить:

— Но, сэр, насколько мне известно, такой спокон века была именно английская политика: против единой, сильной и централизованной России. Как же теперь будет? Новая французская политика целиком совпадает с английской?

Риггс расхохотался. Он хохотал долго, отмахиваясь руками и хватая ртом воздух, чтоб не задохнуться в припадке хохота.

Рыжая журналистка неодобрительно посмотрела на него и недовольно подняла кверху брови: ее раздражали громкие звуки.

Риггс, наконец, успокоился.

— Ну и насмешили вы меня, Фредамбер! — Он еще раз коротко засмеялся.— Верно, традиционная, извечная английская политика — против централизованной России, так как сильная Россия всегда угрожала господству Англии в азиатских странах. Английские политики и теперь не прочь оттяпать у России Кавказ или Туркестан. Но сейчас... сейчас английская политика встала вверх ногами.

Фредамбер ошеломленно смотрел на Риггса, не пытаясь скрыть своей полной растерянности.

— Ах, Фредамбер! — с искренним сожалением сказал Риггс.— Неужто вы не сумели сделать никаких выводов из того, что Англия сейчас вовсю начала поддерживать именно русскую белую контрреволюцию, которая мечтает о возрождении единой, сильной России, конечно не большевистской? Ведь на ваших глазах екатеринодарская ставка Деникина, опирающаяся, как вам прекрасно известно, на тех же англичан, сунула сюда генерал-губернатором своего парня — генерала Гришина! Да вы разве не слышали, что мистер Черчилль называет русскую добрармию «моя армия»? Ах, Фредамбер, Фредамбер!

— Вы хотите сказать...— снова нерешительно начал Фредамбер,— что... Нет, простите, я хочу сказать, что... то есть теперь следует ожидать, что Англия будет поддерживать русскую добрармию, а украинских сепаратистов поддерживать перестанет?

— Ну, не совсем,— добродушно поправил Риггс,— постольку-поскольку. Ведь это же антибольшевистские формирования. Вся Антанта будет поддерживать все антибольшевистские формирования: кому охота, чтобы на землю пришел коммунизм? Но в перспективе политика Англии в русском вопросе начинает отныне меняться: Англия будет поддерживать теперь в первую очередь именно русскую контрреволюцию. Англия, видите ли, решила стать «дальновидной»,— иронически фыркнул Риггс.— Она решила оказать наибольшую поддержку тем контрреволюционным формированиям, которые ближе всего сейчас к кавказской нефти, и бороться за «будущую» мощную, централизованную Россию, потому что в «будущем» Англии нужна теперь не раздробленная, ослабленная Россия, а как раз сильная. Поддерживая и укрепляя централизованную Россию, конечно не большевистскую, Англия мечтает приобрести союзника против Франции, да и Соединенных Штатов, которые начинают сейчас, скажем прямо, Фредамбер, решительное наступление на колонии Британской империи. США теперь,

после войны, сильны, и надо убрать с дороги Британскую империю: слишком глубокие корни пустила она везде — и в Азии, и в Африке, и в Океании. Это противоречит интересам бизнеса. Знаете, нефть, каучук, сера, олово; надо их у англичан отобрать... Ну вот! — облегченно вздохнул Риггс.— Теперь вы, кажется, все уразумели, и нам с вами будет нетрудно сработаться. Плесни-ка мне, Ева, виски!

Фредамбер тоже налил себе рюмку чистого виски. Выпив и закурив, он обратился к Риггсу:

— Меня еще интересует, сэр,— как же теперь будет с Польшей? То есть какова будет в отношении Польши политика Франции и Англии?

Риггс ответил сразу:

— Польская проблема, Фредамбер, будет стоять отдельным вопросом на Парижской конференции. Там она и будет окончательно разрешена. Но мы имеем право забежать вперед. Позиция президента в этом вопросе недвусмысленна. Польша, конечно, должна стать антироссийским буфером, какова ни будет в дальнейшем Россия — даже если будет вполне пристойная Россия, капиталистическая. Все дело в том — чья это будет сфера, кто обеспечит себе там влияние? На это влияние претендует Франция. Потому, как вам известно, во Франции сейчас и формируется спешно польская армия под командованием генерала Галлера. Но мы были бы идиотами, если бы отдали такой лакомый кусочек,— ведь там же нефть, Фредамбер, в этой самой Галиции! И, конечно, в Соединенных Штатах сейчас тоже начали спешно формировать польскую армию — в противовес французской. Польша будет одной из наших с вами первейших задач; этот вопрос мы должны будем изучить здесь на месте и представлять президенту по ходу Парижской конференции наши соображения. Конечно, пока это нам трудновато, так как до территории Польши еще далеко. Но потому и следует особо поторопиться с поддержкой украинской директории, чтобы на плечах украинских националистов поскорее докатиться до границ Польши. Надеюсь,— пренебрежительно мотнул головой Риггс,— что в начале нового года мы с вами будем уже под Варшавой. Ну, там, конечно, придется начать войну между поляками и украинцами, вымотать и тех и других, сделать более сговорчивыми и украинских и польских претендентов на галицийскую нефть, ну и вообще... вы сами понимаете. Вам, Фредамбер, в связи с Польшей будет специальное задание. Имейте в виду, что полякам покровительствует сам папа римский — Бенедикт Четырнадцатый, кажется? Он сейчас настойчиво проводит здесь свою политику через варшавского кардинала Ратти и румынского... черт, забыл, как его там! А у папы изрядный аппарат в самой французской армии, которую вы имеете честь здесь возглавлять. В каждом батальоне — капеллан! Этим надо будет специально заняться — прибрать к рукам этих капелла-

нов. Религия, Фредамбер, великое дело! Кстати,— перебил он себя,— вы какого исповедания?

— Я католик, сэр.

— Прекрасно! Так вот, вы и разберетесь во всех этих католических делах, я вас только свяжу с папскими резидентами. Потому что я, знаете ли, могу и напутать. Вы ведь понимаете толк во всем этом? Ну, кто там папа римский, а кто православный патриарх? Вы, кажется, родом из России?

— Да, сэр. Мой отец был служащим одесского трамвая, принадлежавшего франко-бельгийской компании. Одновременно он был и агентом франко-бельгийской угольной компании в Донбассе, экспортировавшей уголь через одесский порт.

— О! Так вы — одессит, Фредамбер!

— Я уехал отсюда совсем маленьким мальчиком, сэр. Моему отцу для продвижения по службе пришлось принять православие, но я остался католиком. Меня учили в Константинополе. Затем я окончил торговую школу в Риме и одновременно миссионерскую коллегию при Ватикане...

— О, так вы ксендз, Фредамбер!

— Нет, сэр. Наша бельгийская компания готовила кадры для Африки и требовала, чтобы каждый агент имел военное образование. Я поступил в военную школу в Брюсселе... А поскольку интересы франко-бельгийской компании в то время сосредоточились во Франции и мне пришлось переехать туда, то, имея военную специальность и прослужив в интересах нашей компании несколько лет офицером французской армии, совмещая это, разумеется, с представительством нашей фирмы,— я должен был окончить и академию генерального штаба в Париже... В Америку я ездил уже в качестве офицера французской армии и вице-директора франко-бельгийской компании.

— Мои комплименты, полковник! — с восхищением сказал Риггс.— Вы настоящий американец и можете стать доблестным американским солдатом.

Фредамбер скромно поклонился.

Ева Блюм тоже выразила свое одобрение:

— О девушке с такой биографией сказали бы, что она... пикантная бестия.

Риггс тем временем снова налил себе виски, прибавил немного содовой и наполнил рюмку Фредамбера.

— Только одну, Фредамбер! — сказал он в ответ на протестующий жест Фредамбера.— Подкрепитесь. Вам придется сейчас сосредоточить все свое внимание. Я решил прочитать вам лекцию. За время пребывания во французской армии вы, я вижу, сильно отстали. И мой долг — пополнить ваше образование. По всем трем специальностям, которыми вы владеете,— торговой, духовной и военной,— для того чтобы вы с честью справились с четвертой и основной — американского разведчика! Так вот, мотайте на ус!

Риггс поднялся. Фредамбер тоже встал — подчиненные встают, когда стоят их начальники. Но Риггс положил Фредамберу руку на плечо и так нажал, что тот не устоял на своих тонких, изогнутых ножках и вынужден был снова сесть.

— Вы сидите, а я буду стоять. Я всегда стою, когда читаю лекции: старая привычка педагога. По специальности я педагог, Фредамбер. Лекции по разведке — мой основной предмет. В программе закрытых школ госдепартамента и генерального штаба. Вы должны хорошенько запомнить все, что я скажу. Ева, ты можешь спать, тебе это неинтересно.

Журналистка не отвечала. Она уже спала.

— Надрызгалась! — с отвращением констатировал Риггс.— Поверите: прекрасный работник, но пьет... Терпеть не могу пьяных женщин! Это, знаете, противоречит моим моральным устоям. И кто бы подумал, что она — дочь благочестивого пресвитерианского проповедника!.. Ну, черт с ней, пускай себе спит! Мы потом позовем коридорных, и они снесут ее в номер... Так вот, слушайте, Фредамбер!..

3

Риггс отхлебнул большой глоток из своего стакана и начал:

— США — самая миролюбивая страна на свете, Фредамбер. Это наш официальный девиз: мы, деятели американской политики, никогда не должны упускать случая твердить всем и каждому о нашем миролюбии.

Риггс сделал еще глоток.

— Но только последние дураки могут верить басне, что Америка не умеет воевать. Наш военный опыт, Фредамбер, не меньше, чем у любой страны, которая вопит о своей воинственности и военной мощи. Мы за всю свою историю вели войн больше, чем любая европейская страна, известная своим милитаризмом. Но мы никогда этим не хвастали, чтобы такой идиотской похвальбой не восстановить против себя общественное мнение,— ведь люди хотят жить мирно, Фредамбер! Вы понимаете, таким образом, какое направление должна иметь вся наша пропаганда? Вам это надо как следует запомнить, поскольку вы возглавляете здесь оккупационную армию.

Фредамбер кивнул.

— Войны мы ведем непрерывно — колониальные, полицейские войны, устанавливая спокойствие и порядок среди всяких там филиппинцев или кубинцев, которые не желают подчиняться нашему мирному проникновению. В США, как вам, конечно, известно, главенствует «доктрина Монро» и основанная на ней политика изоляционизма. К себе, в наш «новый свет», мы никого не пускаем. Но мы, упаси боже, никого силой оружия и не завоевываем! Мы завоевываем бизнесом. И завоевать

должны всех. Но всякий бизнес надо охранять при помощи оружия. К тому же война сама по себе — это прежде всего доходнейший бизнес. В эту паршивую мировую войну с оружием в руках мы вступили в самом конце, когда уже настал момент двинуться в поход и побеждать. Но доллар, конечно, был мобилизован и воевал с первого дня войны — руками французов, англичан, румын и прочих сербов. И сейчас все эти «победители» в наших руках. Они задолжали нам столько долларов, что теперь им уже из этих долгов никогда не вылезть. Воевали мы и руками русских, да только они устроили у себя революцию и отбились от рук. Это первая причина, по которой мы с вами очутились здесь, в этой одесской дыре. Но хотя на фронтах и одержана военная победа над немцами, а в Париже начинается мирная конференция, доллар своей войны против германских претензий на мировое господство еще не прекратил. Наоборот, доллар сейчас только начинает настоящую войну — и в самой разгромленной Германии и ее бывших колониях. Он будет воевать там один либо в содружестве с английским фунтом и французским франком. Фунт и франк, знаете, надо поддержать, подкормить, чтобы пожирнее было блюдо к обеду. Может, выпьем перед обедом по русскому обычаю?

Риггс кивнул на пустую рюмку перед Фредамбером, приглашая ее наполнить. Но Фредамбер категорически покачал головой и рюмку отодвинул. Риггс налил себе.

— Русские обычаи нас, правда, подвели, Фредамбер! Русский капитал, русские рынки, русское сырье — лакомый кусочек, и все это, безусловно, надо прибрать к рукам, на потребу нашего бизнеса. Большевизм, впрочем, страшен не только тем, что он хочет вырвать у нас Россию. Большевизм — явление угрожающее вообще. Он может переброситься куда угодно, где только есть рабочие руки, пролетариат. Так вот, большевизм надо уничтожить. Это второй и, как видите, весьма веский аргумент за то, чтобы вести непримиримую войну против России. И, разумеется, всей коалицией Антанты.

Риггс на минуту присел перед Фредамбером и хлопнул его по колену.

— Милый Фредамбер! Запомните это: воевать всегда лучше чужими руками! Против русской революции надо посылать в бой в первую голову русскую контрреволюцию. Понимаете? Ведь это же злейшие враги! Против большевистской армии должны воевать белые армии — Колчака, Юденича, Краснова, Миллера, Деникина, черта, беса, дьявола — но русского черта, беса и дьявола! Вот почему президент Вильсон, наш старик Вудро,— сторонник контрреволюционных восстаний в сочетании с самой широкой интервенцией против России. Старина чуть не лопнул, но заставил-таки Антанту начать интервенцию сразу со всех сторон: с Белого моря на севере, с Великого океана, с Черноморья — для поддержки контрреволюционных

армий. Вскоре должна развернуться и чисто континентальная интервенция — через Польшу и Прибалтийские страны,— тоже при максимальном использовании местных контрреволюционных сил.

— Теперь второй вопрос: кто еще должен воевать против большевистской России, кроме русской белой контрреволюции, которой не терпится возродить в России власть русской плутократии, но которая согласна на любую плутократию, только бы не большевизм?

Риггс сделал паузу и сам себе ответил:

— Стремление к национальному освобождению среди всех здешних народностей необходимо любыми способами превращать в борьбу за государственное отделение от России. Мы должны, пользуясь любой возможностью, поднимать силы национализма, раздувать антироссийские настроения сепаратистов, поддерживать их, объединять и науськивать на Россию. Таким образом — силами этих наших наемников — Россия и ляжет под ноги... Антанте. Заметьте, Фредамбер, Антанте, то есть Англии и Франции в первую очередь... Принципы дальнейшего нашего обращения с Англией и Францией я уже имел честь вам изложить. Вот и вся наша, американская, политика. Просто, не правда ли?

В самом деле, это было совсем просто, по крайней мере по схеме этой империалистической теории. Она была столь же простой, сколь коварной и кровожадной.

Фредамбер молчал, раздумывая. Риггс, очевидно уже закончив свою лекцию, остановился у окна и смотрел на улицу, на Николаевский бульвар.

— Теперь вам понятно? — спросил Риггс.— Абсолютно не важно, кто будет возглавлять армии внутренней контрреволюции в России — Колчак или Деникин, Скоропадский или Петлюра, Пилсудский или Галлер! Важно только, чтобы они воевали под нашим присмотром. В каждой армии, ясное дело, должно быть обеспечено американское руководство и американский инструктаж... А, ты уже проснулась, пьянчужка? — Риггс заметил движение Евы к стакану.— И опять за пойло? — Он поддал ногой, как футболист, бьющий по мячу, и носком ботинка вышиб стакан из рук журналистки.

— Нахал! — спокойно сказала женщина.

Риггс махнул на нее рукой и опять обратился к Фредамберу:

— Поймите, Фредамбер: если Одесса — русский Вавилон, как ее высокопарно именуют наши политики, то почему бы и в самом деле не построить здесь, на одесском плацдарме, для прыжка в Россию вавилонскую башню? Вавилонскую башню руками всех этих контрреволюционных сепаратистов?.. У вас, Фредамбер, как с историческим образованием? Не припомните

ли вы, чем закончился этот бизнес с вавилонской башней в древние времена?

Фредамбер передернул плечами. Курс исторических наук никогда не входил в программу его обучения.

— Вавилонская башня развалилась недостроенная,— заплетающимся языком пробормотала журналистка,— так по крайней мере учили нас в колледже... Из-за смешения языков... Столпотворение...

Риггс рассердился:

— Ну и черт с ней, с вавилонской башней. Не будем вдаваться в исторические аналогии!

— Однако,— заметил Фредамбер, совершенно равнодушный к судьбе вавилонской башни,— и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на Севере мы имеем не только американское командование и американских инструкторов, но и регулярные американские воинские части. Только на Кавказе и здесь, в Одессе, их нет...

— На Кавказ уже прибывают,— сказал Риггс,— будут и здесь. Конечно, не так много, как английских и французских. Не к чему проливать американскую кровь: наши солдаты пригодятся нам еще как полиция в английских и французских колониях, когда те попадут к нам в руки. Но наши воинские части, конечно, должны быть и здесь,— учитывая общественное мнение. Английские и французские простофили любят вопить, что мы воюем только чужими руками. Они не смеют этого говорить! И наши солдаты прибудут сюда — только попозже, под конец. Прибудут, когда настанет время надеть узду и на французов с англичанами, чтобы они здесь не слишком загостились.

— Но,— заметил еще Фредамбер,— их здесь, французов, англичан, будет не так уж мало. Пятьдесят тысяч французских войск находится сейчас на одесском плацдарме, и это только первая очередь; до конца марта будущего года количество французских войск, по плану командования, будет доведено до ста тысяч. На Кавказе — десятки тысяч англичан. А в Закаспийской области? А флот обеих стран? А Север? А Дальний Восток? Ведь это же, сэр, полумиллионная франко-английская армия! Их тоже не возьмешь голыми руками!

Риггс с минуту еще смотрел в окно на Николаевский бульвар. Сразу за бульваром начинался обрыв, а под ним — территория порта. Из окон гостиницы «Лондонской» территория порта не была видна и днем, а сейчас, ночью, она совсем утопала в черном мраке. Можно было различить лишь концы молов и черную — на фоне темносинего моря — линию волнореза: ее отчетливо обрисовала цепь фонарей и свет маяка на конце Рейдового мола. Воды бухты — за Рейдовым молом, маяком и волнорезом — тонули сейчас в непроглядной тьме; море казалось там совсем черным, как чернила. Оно светилось мелкой, переливающейся, золотисто-серебряной чешуей только возле

кораблей, стоявших на рейде. Корабли были густо усеяны огнями, как елки в рождественскую ночь. Гирлянды огней на реях и над бортами кораблей выписывали в черном небе фантастические узоры. Таких огненных силуэтов стояло на рейде полтора десятка в ряд. Завтра-послезавтра их должно было стать еще больше, а к концу месяца — не менее полусотни. Подготовительное — перед мирной конференцией в Париже — совещание глав четырех государств наметило оккупационную эскадру для юга Украины и России в пятьдесят — шестьдесят боевых единиц. Кроме транспортов и мелких судов, конечно. Этот флот должен был явиться базой интервенционистской армии на юге России и Украины. Он должен был послужить основой наступления и арсеналом для уничтожения большевизма. Выполнив свою миссию, он должен был стоять на страже англо-французских интересов здесь, на юге России и Украины. На страже и от самой России, и Украины, от каждого, кто осмелился бы посягнуть на англо-французские интересы.

Риггс повернулся от окна.

— Французские солдаты уже устали за четыре года войны, Фредамбер. Ваших милых пуалю больше всего тянет домой, к бочонку с сидром и бабьей юбке. Французские и английские войска уже утомлены, а наши — свежохоньки! Проделав войну с большевиками до конца, французские и английские солдаты уже еле ноги волочить будут, а наши останутся свежими. В странах Европы, отдыхая и нагуливая жирок, стоит сейчас два с половиной миллиона американских солдат. Существует еще на свете Дальний, Средний и Ближний Восток, где французские и английские солдаты тоже порядком выдохлись. А это все — сфера американских интересов. Сюда еще придет капитал с Уолл-стрита, чиновник из Вашингтона и солдат с заатлантических берегов. Мир должен принадлежать янки, Фредамбер, запомните это на всю жизнь: из вас тоже выйдет неплохой янки. Приобрели ли вы уже себе акции банков Рокфеллера, Моргана или Дюпона? Торопитесь! Старые клиенты получат привилегии при будущем распределении дивидендов.

Фредамбер молчал, задумчиво вперив взор в свои кривые ножки в элегантных желтых крагах.

— Так вот,— после паузы заговорил Риггс совсем другим тоном; это был тон начальника, приказ которого не подлежал обсуждению.— Что касается этого, как его, Винниченко, то мы с вами уже договорились. Французское командование его поддержит, заключит с ним какое-нибудь соглашение, даст оружие, патроны, снаряжение... С русской добрармией его надо тем временем помирить — в общих интересах совместного наступления против большевиков...— Риггс подумал минутку.— Чтобы он был сговорчивее и не так артачился против того, что пальма первенства находится в руках русской контрреволюции, мы от США тоже подбросим ему малую толику долла-

ров...— Риггс засмеялся.— Чтобы он на эти доллары мог купить оружие, которое вы ему выделите. Таким образом, каждый будет иметь свою выгоду: проценты за заем мы с него слупим по-американски!.. Кстати, когда будете говорить с Винниченко, помните: его зовут Владимир Кириллович. Идиотская привычка у этих русских и украинцев — прицеплять к своему имени еще и отцовское. А мы должны все это запоминать. Страшная морока! Встречаться мы с вами будем редко и только в официальной обстановке, на людях. Если у вас возникнет нужда в личной встрече, передайте мне об этом через местного ресторатора Штени.

— Штени наш человек?

Риггс засмеялся.

— Скорее мы его люди. Стаж Штени в Эф-Би-Ай — двадцать лет, Фредамбер, еще до русско-японской войны... Кроме того, к вам, так сказать за информацией для прессы, будет наведываться Ева.

— Я буду заходить к вам каждый день,— подала голос журналистка. Язык у нее был совершенно пьян, но речь трезва.

— А Винниченко,— сказал Риггс,— просто вызовите сюда.

— Он же глава правительства! — удивился Фредамбер.

— Ерунда! Явится. Только вызывайте, конечно, инкогнито. Чтобы никто не знал ни здесь, ни в само́й директории. Чтобы, упаси боже, не разнюхали эти французские и английские болваны. Сначала побеседуйте по-хорошему с его военным министром, есть там такой генерал Греков, подготовьте все для договоров, а тогда — Винниченко на конспиративное свидание... Ах, да! Еще одно,— вспомнил Риггс, когда Фредамбер встал, чтобы откланяться.— Чуть не забыл! Вот вам политика США по отношению к России в двух словах: США призна́ет в России тот режим, какой призна́ет для себя наилучшим само население России. Понятно? Это для деклараций. Терпимость, демократизм, уважение к суверенитету. Мы должны повторять это при каждом удобном случае и всюду. Этого требует дипломатия — ничего не попишешь! Хотя, по мне, все это ерунда!.. Впрочем, такого рода декларации вполне соответствуют и нашей реальной политике: не один ли черт, какая будет власть в России, кроме большевистской, конечно!.. Еще имейте в виду, что в Николаеве и Херсоне тоже создаются военные миссии США. Они будут действовать самостоятельно, непосредственно подчиняясь президенту и лишь контактируясь с нами через посольство США в Бухаресте... Ну, спокойной ночи, Фредамбер!

Они пожали друг другу руки. Фредамбер хотел было откозырять журналистке, но женщина уже снова уснула.

Фредамбер — агент американской разведки — вышел из номера гостиницы. Коридором же гостиницы прошел, вышел на бульвар и исчез в направлении резиденции консула Франции — начальник штаба французской армии Фредамбер.

4

Спать Фредамбер в эту ночь лег поздно.

Надо было еще рапортовать генералу д'Ансельму о «визите вежливости» к начальнику военной миссии США полковнику Риггсу. Надо было просидеть до конца банкета и выпроводить всех гостей. Надо было, вернувшись в канцелярию, дать распоряжение немедленно вызвать военного министра правительства директории — генерала Грекова. Надо было, наконец, обдумать, как именно — тактично и негласно — пригласить и доставить в Одессу, в штаб оккупационной армии Антанты, самого главу директории мосье Винниченко.

Но и покончив со всем этим, Фредамбер еще не улегся спать.

Полковник Фредамбер уже давно, лет десять, с начала службы его тайным агентом Эф-Би-Ай, страдал бессонницей. Перед сном — до того, как принять таблетку веронала — он непременно должен был совершить хотя бы небольшой моцион на свежем воздухе.

Он позвонил из канцелярии, вызвал свою машину и вышел через ворота парка при Воронцовском дворце на Николаевский бульвар.

Был облачный предрассветный час. По осеннему небу, гонимые трамонтаной, клубясь, проносились тяжелые, темные тучи; над морем стоял густой, непроглядный сизый туман; влажный холод пронизывал до костей.

Черный «рено», на скорую руку размалеванный серыми, белыми и желтыми мазками — фронтовой камуфляж,— подкатил, и Фредамбер, поеживаясь от холода под тонким плащом, сел рядом с шофером. Машина тронулась с места в тот же миг, как рука Фредамбера захлопнула дверцу, и трехцветный флажок на радиаторе сразу же залопотал под струей воздуха.

Фредамбер не сказал шоферу, и шофер не спросил, куда ехать. Шофер знал: это моцион перед сном, и ехать надо прямо, сворачивая туда, куда свернет улица. Шофер также знал: ехать надо не слишком быстро, не больше тридцати километров в час,— полковник Фредамбер боялся быстрой езды.

Кварталы поплыли один за другим — машина свернула на Екатерининскую, сделала круг по Привокзальной площади и свернула на Портофранковскую. Но с Портофранковской она вскоре свернула еще раз на Базарную.

Шофер точно знал ночной маршрут: на Базарной, возле дома номер девять, машина должна остановиться.

Когда машина остановилась, Фредамбер так же молча открыл дверцу и вышел.

Теперь он стоял перед домом, а машина тихо урчала сзади, за его спиной: шофер знал, что стоянка будет короткой и мотор выключать не надо.

Перед Фредамбером был небольшой, типичный для старой Одессы домик. Центр фасада находился глубоко во дворе, два боковых крыла выходили стенами без окон на улицу, под самой крышей по фасаду был расположен ряд небольших — меньших, чем остальные,— окон: чердак для белья, на котором при необходимости можно было и жить. Перед домом росли две старые, с голыми стволами, катальпы. Листья катальп еще не осыпались, но уже пожухли и почернели. Была поздняя осень, вернее — начало зимы.

Фредамбер стоял на тротуаре, в десяти шагах от дома, и смотрел. Каблук его бутса выбивал по плите тротуара дробь, руки были заложены за спину, и пальцы не переставая шевелились, тоже выбивая дробь. Похоже было, что человек остановился перед домом и не решается войти.

Широкая Базарная улица из конца в конец была пустынна, не видно было и ночных патрулей. Ветер шелестел полами резинового плаща Фредамбера.

Постояв две-три минуты, Фредамбер вернулся к машине, сел и захлопнул дверцу. Шофер сразу дал газ. Теперь — по Базарной до Пушкинской и назад, на Николаевский бульвар. Маршрут был точно известен шоферу — он повторялся каждую ночь. И каждую ночь надо было останавливать машину перед домиком номер девять по Базарной улице. Зачем это было нужно хозяину, шофер не знал и спрашивать не имел права: он был солдат, хозяин его — полковник, начальник штаба армии.

5

Вернувшись в Воронцовский дворец, Фредамбер прошел в небольшую комнатку, сразу за канцелярией штаба. Здесь он и жил.

В комнатке стоял турецкий диван, два кресла и ночной столик.

Китель Фредамбер повесил на спинку одного кресла, бриджи, старательно расправив складку на колене,— на спинку другого. Носки Фредамбер положил на радиатор, чтоб просохли. Фредамбер был старый холостяк — и, как все закоренелые холостяки, педантично аккуратен.

Покончив с раздеванием и оставшись в одной длинной, ниже колен, шелковой ночной сорочке, Фредамбер заботливо уложил усы под резиновые наусники перед маленьким походным зеркальцем, проглотил таблетку веронала и лег.

Укрылся Фредамбер серым солдатским одеялом.

Теперь, под одеялом, он не был уже ни хилым, ни плюгавым. Наоборот. Наусники молодецким изгибом поднимали усы кверху до самых глаз — и можно было подумать, что под серым солдатским одеялом лежит и в самом деле солдат, отдыхающий после выполнения сложного боевого задания.

Впрочем, «боевое» задание предстояло Фредамберу действительно сложное.

Надо было ежечасно блюсти интересы правительства Соединенных Штатов Америки.

Надо было делать это в границах пристойности по отношению к правительству Франции.

Надо было не забывать при этом и о себе: из всей этой мороки извлечь и для себя какую-нибудь выгоду.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Утро Владимир Кириллович Винниченко провел в парикмахерской.

Мосье Серж, хозяин парикмахерской, сам подстригал бородку — предмет особых забот и гордости Владимира Кирилловича; мосье Жорж, старший мастер, выполнял процедуру бритья и производил общую стрижку; мадемуазель Фанни́ делала маникюр.

Мосье Сержа, который на самом деле был Костисом Христовасилисом Афанасопуло, Винниченко из атеистических соображений величал Костем свет Васильевичем. Мосье Жоржа, которого дома звали Самуилом Мойсеевичем, он называл Самойло Михайловичем. А к мадемуазель Фанни́, которая в действительности была Фекла, Владимир Кириллович обращался не иначе, как «панна Текля».

Все это были плоды сложных лингвистических построений в результате тройного перевода имени с родного — через русский — на украинский язык, но лидер украинских националистов иностранщины не любил, и такая уж у него выработалась привычка — все имена перекраивать на украинский лад.

Мосье Серж, мосье Жорж и мадемуазель Фанни́ были старыми приятелями Винниченко...

Самуил Мойсеевич и Фекла были киевляне, с Подола, и до последнего времени работали в Киеве, в парикмахерской, что наискосок от Золотых Ворот на Владимирской, постоянным посетителем которой был Винниченко. В Одессу они уехали совсем не потому, что «бежали от большевиков» — разве они буржуи? — а просто потянулись за длинным рублем в город, где собралось народу видимо-невидимо, и был это именно тот «народ», который без фиксатуара и пилочки для ногтей не представлял себе существования: офицеры, генералы и разные аристократы. К тому же — и это было главное — Одесса вдруг оказалась чуть не в самом центре Европы, а к «европейской цивилизации» мосье Жорж и мадемуазель Фанни давно испытывали

тяготение. Своему старому клиенту, и клиенту почетному, который не раз оделял их контрамарками на премьеры «Черной пантеры» и «Лжи» в театре Соловцова, они и обязаны были получением нужных пропусков на выезд из Киева, из-под власти директории. Винниченко стал теперь большим человеком — главой «республиканского правительства» директории, но старых приятельских отношений не порывал: националист Винниченко всю жизнь был демократом, даже социал-демократом,— и гордился своей связью с широкими народными массами, вот хотя бы с работниками бритвы и пилочки для ногтей.

Что же до мосье Сержа, то есть Костиса Христовасилиса Афанасопуло, то он был от дедов-прадедов истый одессит и от дедов-прадедов известный на всю Одессу «метр де барб», что означает «мастер бороды». Родословную своего тонкого искусства он вел от сеньора Леонардо, самого знаменитого в истории Одессы куафера еще времен Иосифа де Рибаса, а генеалогическую профессиональную документацию мог предъявить от Тринитэ и Лавиньота — куаферов пушкинских времен.

Не удивительно поэтому, что Владимир Кириллович, постоянно пекущийся о красоте своей исторической бородки, когда бывал в Одессе, не мог отказать себе в удовольствии отдать себя во власть ножниц мосье Сержа и узнать от него заодно все одесские новости.

Но сегодня мосье Серж был чрезвычайно встревожен и свои тревоги тут же, под щелканье ножниц, поведал Владимиру Кирилловичу. Речь шла о вывеске. Под какой вывеской сейчас жить и вершить свое искусство бедному мосье Сержу? От дедов-прадедов над дверьми его «салона» висело выведенное золотом по черному: «Парикмахер», а на витрине в углу — тоже золотом на черном фоне — скромное: «Серж». Даже сам Маразли говорил, что скромность украшение добродетели. А Анатра-сын прибавлял, что скромная вывеска — «высший шик». Авиатор Уточкин тоже одобрял такую лаконичность. Так жил-поживал и блистал своим тонким искусством Костис Христовасилис Афанасопуло. Но вот пришла революция.

Во время «совдепов» Костиса Христовасилиса из собственника парикмахерской сделали в этой же парикмахерской рядовым мастером, а над «салоном» повесили плакат: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — «Всероссийский союз работников бритвы — Одесский губернский комитет — филиал по городу Одесса номер 77.— Санитария и гигиена не роскошь, а культура!» Это был ужас! Костису Христовасилису больно было не то, что его посчитали за буржуя — тоже, подумаешь, буржуй: дом на Старом Базаре и дача на Большом Фонтане! — его мучило поругание его исторического «салона», в котором брился, может быть, еще сам дюк Ришелье! При немцах, которых привела Центральная рада, Костис Христовасилис опять стал собственником своего «салона» и повесил

вывеску с лаконическим и понятным немцам «Фризер». Но гетманская губернская управа как раз производила украинизацию вывесок и настойчиво требовала от парикмахера, чтобы он переписал свою вывеску по-украински. Пришлось-таки Костису Христовасилису хлебнуть горя. Висело над его «салоном» и «Цилюрня», и «Голярня», и «Стрижарня»: в «Просвите» и «Украинском клубе» никак не могли сделать точного перевода слова «парикмахерская» — там боролись три непримиримых лингвистических течения. Потому-то, как только появились в Одессе французы, Костис Христовасилис поспешил для ясности повесить над своим салоном просто «Куафер».

Но вот, не далее как вчера, пришли к нему из «Союза греков-патриотов» и сообщили, что следом за французами надо ожидать прибытия в Одессу десанта и греческих войск. Поэтому «греки-патриоты» требовали, чтобы все греки, проживающие в Одессе и имеющие свои заведения, переписали свои вывески по-гречески, приветствуя приход соотечественников.

Бедняга Костис Христовасилис был совершенно убит. Во-первых, кто в Одессе, кроме «греков-патриотов», знает греческий язык? Если его и знают те, кто разводит баклажаны на Большом Фонтане, так они никогда не ходят бриться на Ришельевскую, да и вообще неграмотны. Если его знают «греки-патриоты», то их в городе на круг сто двадцать два человека, включая самого Костиса Христовасилиса. Но Костис Христовасилис побаивается, что они греческий язык знают точно так же, как и он,— а он не знал его вовсе; от родного языка у него остался сейчас только «прононс»: смягчение шипящих: жь, чь, шь. Из-за этого проклятого «прононса» ему стыдно бывает вести светскую беседу с высокопоставленными аристократами, которых сейчас понаехало в Одессу видимо-невидимо и которые собственно и составляют сейчас основной контингент его клиентуры... Во-вторых — Костиса Христовасилиса даже морозило от страха,— он боялся, что за такую «сепаратистскую» вывеску офицеры добрармии и польские легионеры, составлявшие вторую половину основного контингента его нынешней клиентуры, просто объявят его «салону» бойкот.

Что же тогда будет есть бесталанный Костис Христовасилис?

Мосье Серж был не на шутку встревожен и просил совета у уважаемого Владимира Кирилловича.

Владимир Кириллович долго думал и, наконец, посоветовал греческой вывески не вывешивать. Владимир Кириллович придерживался того мнения, что на вывеске должно быть написано «Перукарня». В обоснование своей позиции Владимир Кириллович привел лингвистические аргументы.

Лингвистические аргументы базировались на том, что слово «перукарня» — французского корня, от французского «перюк»,

что означает «парик», или же «перука». Французам оно вполне понятно. Немцам, которых в Одессе оставалось еще немало, слово «перукарня» также не будет чуждым, ибо слово «парикмахер» употребляется иногда в Германии, откуда оно, возможно, и пришло в русский язык. Таким образом, в украинском лексиконе слово «перукарня» вполне уместно.

Костис Христовасилис тяжело вздохнул и грустно защелкал своими ножницами. Решать все-таки приходилось ему самому. И решить надо было так, чтобы и «салон» процветал, и дом на Старом Базаре, да и дача на Большом Фонтане остались его собственностью.

Впрочем, сегодня Винниченко был недостаточно внимателен. У него и без Афанасопуло голова шла кругом от государственных забот.

2

Какую позицию занять директории в отношении стран Антанты, какой тон в дипломатических переговорах с представителем великих держав приличествует ему — главе правительства УНР — и как, черт возьми, вообще вести себя с этими французами?

Кой-какой опыт взаимоотношений с Францией Винниченко собственно уже имел. Правда, все это было еще до этой дурацкой истории с «украинско-немецким альянсом», то есть до призвания Центральной радой немецких оккупантов на Украину, и соотношение сил тогда было несколько иное: не «украинское государство» должно было заискивать перед Францией и всей Антантой, а Франция — в интересах всей Антанты — заискивала перед только что созданным, а фактически совершенно еще проблематическим «украинским государством».

Было это в конце семнадцатого года, когда в Бресте решались судьбы войны и мира. Большевистская делегация от имени трудящихся и народов бывшей Российской империи предъявила ленинские условия мира, а Франция, Англия и Соединенные Штаты Америки, стремясь довести войну против Германии до победного в свою пользу конца, пытались предательски расколоть единство молодой Советской республики, для того чтобы если не всю Россию, то хотя бы ее отдельные части снова ввергнуть в войну.

Тогда-то и прибыл в Киев дипломатическим курьером представитель Антанты — бывший начальник французской военной миссии при Временном правительстве Керенского — блестящий генерал Табуи. Именно Винниченко и принимал этого всесильного посланца Антанты.

Весьма приятная для представителя Центральной рады Винниченко состоялась у них тогда беседа; выражаясь дипло-

матическим языком — беседа за круглым столом, то есть на равной ноге. Французский генерал говорил, а Винниченко слушал, французский генерал убеждал, а Винниченко раздумывал, французский генерал настаивал, а Винниченко уклонялся, французский генерал просил, а Владимир Кириллович обещал взвесить и прийти к определенному решению.

В общем, посланец Антанты, французский генерал Табуи, заверил в лице Винниченко секретариат Центральной рады, что правительства Англии, Франции и Соединенных Штатов Америки вскоре, буквально на этих днях, объявят о своем признании Украинской республики во главе с Центральной радой. От имени же правительства Франции, которое облекло генерала Табуи особыми полномочиями, блестящий генерал торжественно заявил, что полностью одобряет политику Центральной рады, в знак чего Национальный банк Франции предоставляет Центральной раде долгосрочный — на неопределенное время — заем в двести миллионов золотых французских франков.

Аналогичные предложения следовало ожидать со дня на день и от правительств Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Об этом писали даже в английских и американских газетах: империалисты вдруг воспылали страстной любовью к украинским националистам.

И за все эти блага и щедроты украинские сепаратисты должны были сделать только одно: сколотить на скорую руку трехсоттысячную армию из украинских крестьян и рабочих и в интересах европейской Антанты и Американских Штатов бросить ее в качестве пушечного мяса в пекло войны на два фронта: против кайзеровской Германии и против большевистской России.

Так было тогда.

Немного с тех пор прошло времени — один только год, а какие разительные перемены!..

Германия капитулировала — и без участия украинских националистов: плакали двести миллионов золотых франков, плакало и признание «самостийной» Украины правительствами Франции, Англии и Соединенных Штатов Америки.

«Конечно,— размышлял Винниченко,— «большевистская угроза» с тех пор не стала меньше, а, наоборот, увеличилась, и нависла теперь эта угроза над всей Европой, да и, пожалуй, над всем миром. Правительства Англии, Франции и Соединенных Штатов Америки заинтересованы теперь в войне против большевиков еще больше, нежели тогда в войне против Германии Вильгельма Гогенцоллерна, ибо революционный ураган может смести с лица земли капитализм. Украинские националисты настойчиво предлагают и теперь свои услуги для борьбы против большевистской России. Но не хотят государства Антанты простить украинским националистам, что пере-

бежали они тогда в немецкий лагерь, да и не верят в самую способность украинских «самостийников» создать хоть какую-нибудь армию. Украинский народ за «правительством» буржуазных националистов не пошел, наоборот, над этим самым правительством еще издевается: в прошлом году Центральную раду называл «центральная зрада» [1], а теперь о директории говорят: «В вагоне директория, под вагоном — территория».

И вот глава «правительства» директории, добродий Винниченко, вынужден теперь обивать пороги миссий Антанты и изворачиваться — как бы ухитриться снискать расположение всяких там Клемансо и Пуанкаре.

Винниченко в сердцах даже стукнул кулаком.

— Волосок? — встревожился мосье Серж.— Дернуло? Сейчас подточу...

— Нет, нет! Это я своим мыслям, свет Васильевич!

Винниченко встряхнулся и усилием воли взял себя в руки. Этой завидной прерогативой — давать волю своим чувствам — пользуются, как известно, только простые смертные, обыкновенные люди, мелкие обыватели. А ведь он личность во всяком случае необыкновенная: лидер, глава правительства, первый человек в государстве, которого, правда, еще нет, но которое должен создать именно он — крупнейший идеолог украинского национализма и вместе с тем европейской цивилизации.

Правда, идеалы украинского национализма воплощает в жизнь, считая именно себя, а не кого иного, призванным на историческую арену в качестве исполнителя заглавной роли, и второй лидер украинских «самостийников», с которым Винниченко пока делит «и лавры и тернии»,— Симон Васильевич Петлюра. В директории Симон Петлюра специализировался по линии военной и героической — даром что весь его армейский опыт зауряд-чиновника военного времени ограничивался командованием обозом прифронтовой полосы в годы первой мировой войны. Симон Петлюра стал «головным атаманом войск УНР». Винниченко, наоборот, специализировался на общих и принципиальных — политических и дипломатических — вопросах государственного устройства. Его теоретический и практический опыт в этом отношении был обогащен созданием психологических пьес и модернистских романов. Он стал главой директории. Как водится, между обоими «вождями» УНР не прекращались споры и раздоры: Петлюра подсиживал Винниченко, Винниченко не оставался в долгу. В кулуарах директории, в межпартийных междоусобицах украинских социал-демократов и украинских эсеров, Винниченко тишком говорил о Петлюре, что он «упрямый, хитрый, недалекий, неотесанный мужлан, мелкий хвастун и отъявленный честолюбец, которому

---

[1] З р а д а — предательство, измена *(украинск.)*.

нужны только парады и балы и который мечтает лишь о том, как бы нарядить украинское казачество в синие штаны и красные жупаны, а самому гарцевать впереди на белом коне». Петлюра в тех же кулуарах и в тех же межпартийных междоусобицах нашептывал в кругу друзей, единомышленников и подпевал, что Винниченко «хотя и известный писатель, от правды не уйдешь, и писатель, можно сказать, не без полета фантазии и проблесков не столько таланта, сколько талана́, однако в своем стремлении к европеизации... заражен не только люэсом, но и великороссийской достоевщиной...» Словом, были они, Винниченко и Петлюра, отнюдь не закадычными друзьями, и одно только мерило, объединяло и вообще делало их неотличимыми друг от друга — их общая борьба против Советской России.

Черт побери! Владимир Кириллович поймал себя на том, что мысли его под щелканье ножниц мосье Сержа снова отклонились куда-то в сторону, и заставил себя вернуться к главному.

А главное для директории на данном этапе заключалось вот в чем: как добиться, чтобы Антанта и Соединенные Штаты Америки признали-таки де-юре Украину и доверили директории, как «законному» правительству, построить украинскую «самостийную державу», скажем, на манер Французской республики?

И в этом плане все вопросы сводились фактически к одному: уничтожить на Украине большевизм, который украинские националисты именовали не иначе, «как русский большевизм».

«Для отпора большевизму,— размышлял Винниченко,— в первую очередь нужна большая и хорошо вооруженная армия. Так можно добиться от Антанты и Соединенных Штатов Америки наилучшего оснащения армии украинских националистов? Хотя бы такого, какое получает от той же Антанты и Соединенных Штатов Америки эта чертова армия генерала Деникина — армия «белого русского империализма»? Как добиться заключения договора — наименее позорного и с максимальными гарантиями украинских сепаратистских прерогатив?

Ну, хотя бы таких, как у этих чертовых белополяков? Как, наконец, держать себя с этим проклятым полковником Фредамбером? Как с представителем великих держав или просто как с обыкновенным рыночным спекулянтом? Как сунуть ему взятку?

Из полы в полу или в букете белых осенних хризантем? Тьфу!»

— Прошу прощения,— снова забеспокоился мосье Серж, и на этот раз признав вину за своими ножницами.

Но тут мосье Сержа и в самом деле обуял ужас. Клиент был нервный, непоседливый, и ножницы-таки наделали беды! Винниченко в сердцах плюнул, дернулся, и большая прядь бо-

роды была с левой стороны начисто оттяпана. Знаменитая на всю Украину «бородка Винниченко» скособочилась теперь на правую сторону.

Мосье Серж совсем растерялся и даже впал в отчаяние. Это было искреннее и безутешное горе великого мастера, которому случилось погубить собственный шедевр. Он рвал на себе волосы и готов был тут же отстричь начисто свою собственную бороду. Владимиру Кирилловичу даже стало его жалко.

Но когда Винниченко взглянул в зеркало, он должен был еще раз плюнуть в сердцах: ни богу свечка, ни черту кочерга!..

— Коцюба! [1] — поправил себя Винниченко. Политическая платформа давно уже заблудилась между «левой» и «правой», любезная его сердцу бородка тоже была изгажена, однако национального колорита Винниченко придерживался до конца.

3

Главе директории УНР и в самом деле было отчего нервничать.

Отношения директории с Антантой и США так до сих пор и не были приведены в ясность.

Гетманские дипломатические представители за границей, несмотря на то, что гетманская власть «в бозе почила», были, однако, все еще аккредитованы при дворах европейских монархов. Они получали поддержку от английского короля, и это не могло не отразиться на отношении к украинским проблемам английского премьера Ллойд-Джорджа, который на Парижской мирной конференции и должен был решать: быть или не быть «самостийному» украинскому государству. Не малую поддержку получали гетманцы и от наследных принцев из династии Габсбургов и Гогенцоллернов, которые даром что потеряли свои троны — династии Гогенцоллернов в Германии и Габсбургов в Австрии,— продолжали, однако, оказывать еще значительное влияние на международную политику через американские банки, в которых они имели свои поистине королевские вклады. А банки, и в первую очередь именно американские, как самые мощные в мире в настоящее время, должны были сказать свое слово на Парижской мирной конференции, и слово это, несомненно, будет весить больше, нежели все остальные, вместе взятые. Все это ставило любые притязания директории, антагонистические гетманщине, под прямой удар.

Правда, еще не начав вооруженного наступления против гетмана, директория начала наступление дипломатическое.

---

[1] Коцюба — кочерга *(украинск.)*.

Дипломатические миссии директории были еще осенью направлены во все европейские страны и подняли отчаянную возню в европейских дипломатических кулуарах, доказывая неспособность гетманщины удержать власть и вести борьбу против русского большевизма. Специальная миссия директории, преимущественно из представителей Западной Украины, давно уже сидела и в Париже, обивая пороги будущих представителей на будущей Парижской конференции — мосье Клемансо, сэра Ллойд-Джорджа, синьора Орландо,— и доказывала, что только директория, возглавив «всю украинскую нацию», в состоянии установить на Украине власть твердой руки и остановить «экспансию русского большевизма в Европу». Были основания надеяться, что Клемансо, Ллойд-Джордж и Орландо учтут это, решая судьбу Украины на мирной конференции.

Во всяком случае, еще на совещании в Яссах, месяц-полтора тому назад, для дипломатических и особенно военных представителей стран-победительниц стало очевидным, что хотя программа гетмана и ориентирована на восстановление на Украине абсолютной власти капитала и целиком отвечает интересам европейских капиталистических государств, однако не стоит и полушки в базарный день, так как, не имея никакой поддержки среди населения, не может быть осуществлена. Поэтому под эгидой гетманата Украина и не может стать буфером против «русского большевизма». Глава дипломатического корпуса великих держав на Востоке французский посол Сент-Олер совершенно недвусмысленно пообещал в Яссах представителям директории,— хотя они и не были допущены на официальные заседания, а толклись только в кулуарах,— что Антанта и США внимательно изучат вопрос о возможном изменении государственного режима на Украине в сторону его «демократизации». Подразумевалась замена монархического строя строем республиканским — при условии, что директория сможет гарантировать создание антибольшевистской армии, способной начать военные операции против большевистской России.

Петлюровские верховоды и пришли тогда к выводу, что, использовав народные восстания против немцев и гетмана, следует организовать антигетманский путч.

И вот, воспользовавшись мощной волной народных восстаний, директория провозгласила свою власть на Украине, но... чаемой помощи от Антанты пока нет и нет, неизвестно, как вообще Антанта относится к украинской директории, а командование вооруженными силами интервенции на Украине ведет себя чрезвычайно странно, отдавая приказ войскам директории оставить украинский город Одессу. Хуже того: дипломатических представителей директории военное командование оккупационной Антанты чуть ли не выставляет за дверь, угрожая, что и самоё директорию разгонит к чертовой матери.

Ведь был уже у консула Энно по поручению директории генерал Греков — военный министр «правительства» УНР. Были у него и министр иностранных дел «правительства» УНР Мациевский, и товарищ министра иностранных дел Марголин, и представитель общественности профессор Бачинский. Посетили — на этот раз военное командование оккупационной армии Антанты — полномочные дипломаты директории доктор Назарук и профессор Остапенко. Приехал снова и толчется здесь уже три дня генерал Греков вместе с генералом Матвеевым... Однако обещанной помощи директория так до сих пор и не получила. Получили оружие польские легионы белого орла, получил оружие русский генерал Деникин, а у директории и до сих пор «кукиш с маслом», или, если соблюдать украинский колорит, «дуля с маком».

Каково же в результате создавшееся сейчас положение?

Красная Армия наступает с востока, от Харькова, а с севера, от Чернигова, большевистские войска уже на подступах к столице, Киеву. Киевский пролетариат поднимает голову и, не скрываясь, организуется для поддержки большевистских войск. То же происходит среди рабочих Екатеринослава и Кривого Рога, не говоря уже про Донбасс и другие промышленные центры Украины. Крестьянство, проникнутое одним стремлением — получить землю, выступает с требованием удовлетворить его претензии немедленно, не ожидая ни Учредительного собрания, ни «трудового конгресса». Не получая земли, крестьянство восстает. Повстанцы, выступившие против гетмана и немецких оккупантов, не захотели идти в войска директории, а начали поддерживать Красную Армию.

Спасти положение, привлечь повстанцев в войска, по мнению директории, возможно теперь только одним способом: воспользоваться, для виду, большевистскими лозунгами о земле и национализации промышленности и козырять ими в своих универсалах, заверяя широкие круги трудового населения, что и мы, мол, «почти большевики», только — полюбуйтесь, люди добрые! — украинские...

И вот, как раз из-за козыряния этими присвоенными видимости ради большевистскими лозунгами у представителей Антанты, повидимому, и сложилось впечатление, что директория и в самом деле придерживается... большевистской политики! Такое ложное представление к тому же старательно подогревают и русские белогвардейцы. Вот Антанта и не решается принять под свою высокую руку правительство директории.

Как же выпутаться из этой дьявольской неразберихи?

Винниченко был опытный драматург; за свою жизнь он сочинил немало пьес, наворотил десятки запутаннейших интриг, развязал множество сложнейших сюжетных коллизий. Но такой

сложной сюжетной коллизии ему еще развязывать не приходилось, и он никак не мог придумать для нее интриги.

Интриги! Фу ты, черт! Да ведь именно здесь — в интриге — и была зарыта собака. Раз Клемансо, Ллойд-Джордж и сам Вильсон обещают, а их клерки не дают обещанного, то совершенно очевидно, что именно они, эти клерки, и интригуют. Почему они интригуют и зачем они это делают? Несущественно! Раз кто-нибудь пускается в интриги, не имеет значения, зачем он это делает. Каждому понятно, что цель любой интриги — шантаж.

Директория УНР посвятила не одно закрытое и абсолютно секретное заседание разрешению вопроса — кому же давать хабар? Мнения между партийными фракциями разделились. Социал-демократы доказывали, что взятку надо дать представителю гражданской власти, то есть консулу Энно. Социалисты-революционеры отстаивали мысль, что взятку надо дать представителю власти военной, то есть генералу д'Ансельму.

Лично Петлюра считал, что взятку надо дать на всякий случай обоим — и консулу Энно и генералу д'Ансельму.

А лично Винниченко, искушенный драматург, нашел четвертый, внесюжетный ход: взятки не давать ни консулу Энно, ни генералу д'Ансельму, взятку дать полковнику Фредамберу. Ибо, как слышно, всеми делами и французской миссии и командования оккупационной армией, всеми вопросами снабжения, ремонта и вооружения заправляет на деле начальник штаба французской армии полковник Фредамбер. Но если полковник Фредамбер действительно заправляет всеми делами, он уже сам найдет способ поделиться и с консулом Энно и с генералом д'Ансельмом, буде возникнет такая необходимость.

Винниченко торжествовал, когда в самый разгар споров вокруг его предложения вдруг был получен секретный пакет не от кого иного как от полковника Фредамбера, на имя главы директории Винниченко.

Начальник штаба оккупационных войск на юге Украины, полковник генерального штаба Фредамбер имел честь уведомить, что командование десантных войск желает безотлагательно иметь совершенно конфиденциальную беседу лично с главой директории УНР мосье Винниченко Владимиром Кирилловичем. Провести эту беседу командование поручило ему, полковнику Фредамберу. Абсолютная конспиративность свидания должна быть гарантирована обеими сторонами. Аэроплан, высланный, чтобы доставить главу директории в Одессу и немедленно транспортировать его назад, на место пребывания правительства УНР, в эти минуты, когда мосье Винниченко читает письмо, ждет с заведенным мотором здесь же, в Киеве, в поле за Голосеевским лесом.

Это было поздно ночью, перед рассветом, и солнце еще не

взошло, когда глава директории поднялся в воздух на французском военном аэроплане «Фарман»...

Когда туалет был закончен и изуродованная бородка кое-как подправлена благодаря исключительному мастерству мосье Сержа, Винниченко на прощанье поднял палец.

— Добродии! — вымолвил он.— Примите во внимание, что в Одессе я инкогнито и, кроме вас, моих старых друзей, никто не подозревает о моем здесь пребывании. Вы меня поняли? Государственная тайна! Международный секрет! Вы меня не видели, вы обо мне не слышали. Меня здесь вообще не было!

Друзья клятвенно заверили: Владимир Кириллович может быть абсолютно спокоен! Они отлично понимают. Да и кому им рассказывать?

Мадемуазель Фанни и в самом деле могла разболтать разве что двум-трем приятельницам маникюршам; мосье Жорж — разве что в кругу нежно любимой семьи; а сам мосье Серж — абсолютно никому, разве что Мишке Япончику, которому он, собственник торгового заведения, как и все собственники одесских торговых заведений, выплачивал ежемесячно один процент от прибыли за «охрану собственности», иначе говоря — за гарантию от грабежа. По этому же условию он не должен был иметь от Мишки Япончика никаких производственных секретов.

4

Встреча Фредамбера с Винниченко была назначена в «меблированных комнатах с собственной кухней» мадам Мурзиди — на Старом Базаре.

Полнейшая конспиративность сего «приюта добродетели» на Старом Базаре, предложенного мастером всяческих секретных и дискретных дел ресторатором Штени, была испытана временем.

Место это было удобно тем, что из дома можно было выйти в любую сторону, на четыре улицы, и что во дворе с утра до ночи толокся самый разнообразный люд, которому наплевать было на все на свете, кроме собственного барыша, а в самих меблированных комнатах, вопреки их названию, никогда не проживал ни один постоянный жилец. На комнаты в заведении мадам Мурзиди не было даже установлено помесячной, да и поденной платы: все десять апартаментов снимались только по часам — контрабандистами и спекулянтами для сделок или перезрелыми купчихами для любовных встреч с дюжими семинаристами. И час пребывания в обители мадам Мурзиди обходился несравненно дороже, чем сутки в номере люкс самой лучшей гостиницы города. Зато с собственной кухни мадам Мурзиди почасовым постояльцам подавалось

все — вплоть до настоящего ямайского рома, только что изготовленного в подвалах Синадино.

Итак, Штени полностью гарантировал конспиративность встречи представителей двух держав, тем не менее осторожный полковник Фредамбер на всякий случай приказал загодя окружить четыре прилегающих квартала двумя сотнями французских жандармов, переодетых в штатское платье, которое не возбуждало бы ни малейших подозрений. В живописных одеяниях грузчиков с Карантина и рыбаков с Фонтанов двести ажанов[1] небрежно расселись на тротуарных столбиках и лениво покуривали, картинно сплевывая сквозь зубы. И уже через пять минут шестнадцать прилегающих кварталов точно знали, что в заведении мадам Мурзиди должно состояться тайное свидание «французского козырного туза» с тузом не козырным — представителем какой-то неведомой страны: не то с абиссинским негусом, не то с индийским магараджей, не то с китайским богдыханом.

Одновременно приняты были меры и по линии внутренней охраны. Девятый номер, смежный с десятым, в котором и должна была состояться встреча, за час до того заняла рыжая женщина, представленная мадам Мурзиди ресторатором Штени как купеческая дочка, которая желает поймать с поличным свою собственную мамашу на свидании с семинаристом — во имя соблюдения нравственности и изменения в свою пользу духовного завещания. Это была Ева Блюм, американская журналистка.

«Купеческой дочке» в девятый номер, ввиду ее нервозного состояния, из собственной кухни мадам Мурзиди было подано полбутылки шустовского коньяку и лимон.

В десятом номере для двух представителей держав приготовлены были бумага, перо и чернила.

Но коридорный мадам Мурзиди должен был в любую минуту быть наготове и, так сказать, под рукой, ибо в кухне мадам Мурзиди на всякий случай был сервирован завтрак на две персоны — с французскими винами, украинским спотыкачем и жареными шампиньонами, к которым глава директории, как это было доподлинно известно американской разведке, питал особое пристрастие.

Закрытая машина доставила Винниченко прямо во двор дома на Старом Базаре. Когда он выходил из машины, агент, сидевший рядом с шофером, молниеносно накинул ему на плечи плащ с капюшоном. Во дворе в это время не было ни единой души, так как еще час назад патрули французской контрразведки на всякий случай разогнали всю толпу комиссионеров и факторов, но плащ с капюшоном был снят с таинственного посетителя только на пороге меблированной комнаты под номером «10».

---

[1] Полицейские *(франц.)*.

5

Винниченко перешагнул порог, презрительно улыбаясь. За свою долгую жизнь Владимиру Кирилловичу приходилось прибегать к разнообразным фокусам маскировки, однако до плаща с капюшоном не додумались даже украинские масоны ордена «Герць и грець» [1]. Плащ с капюшоном Винниченко, матерый украинский социал-демократ и в течение десяти лет завзятый конспиратор, считал абсолютно неконспиративным. Впрочем, презрительная усмешка Владимира Кирилловича адресована была не только плащу с капюшоном. Она относилась и к комнате, в которой он очутился. Огромная двуспальная кровать, рассчитанная, бесспорно, не на контрабандистов и спекулянтов, огромное кривое трюмо, диван с прямой спинкой, непригодный для сидения, два таких же никудышных кресла и столик под зеленой плюшевой скатертью, какие бывают только в приемных дантистов,— так обставлена была комната. На столе лежал большой альбом, как в каждом респектабельном семействе. Но если заглянуть в этот альбом, легко можно было убедиться, что рассчитан он отнюдь не на респектабельное семейство: с каждой фотографии под номером глядела на вас голая девица непревзойденной шантанной красоты. Стоило только крикнуть в коридор номер, под которым значилась любая из обольстительниц на карточке,— и через пять минут эта обольстительница была бы подана с кухни мадам Мурзиди, сервированная самым наилучшим образом...

Винниченко презрительно и раздраженно усмехнулся.

Лидер украинских националистов-сепаратистов, знаток тонкостей дипломатического этикета, наперед был уверен, что в этой похабной комнате его, «главу правительства», непременно заставят ждать, а потом с фальшивой дипломатической любезностью будут извиняться, что это, дескать, произошло не по их вине. И, черт побери, со всеми этими оскорблениями приходилось мириться — во имя высших государственных интересов, во имя «возрождения нации»!

Глава директории тут же проглотил непрошенную усмешку вместе с каким бы то ни было выражением и поспешил сделать каменное, бесстрастное, дипломатическое лицо. В комнате никого не было, но Винниченко, прожженный дипломат, отлично понимал, что откуда-нибудь сквозь дырочку в стене его в эту минуту внимательно изучает чей-нибудь острый и придирчивый глаз.

Как это ни странно, все предположения оказались абсолютно неверными. Не успел еще Винниченко присесть и с независимым видом развернуть альбом с порнографиче-

---

[1] Герць — поединок; грець — удар, «кондрашка» *(украинск.)*.

скими карточками, как на пороге появился полковник Фредамбер.

Что это был именно Фредамбер, а не кто-нибудь другой, Винниченко понял сразу; о внешности Фредамбера он был предуведомлен заранее.

Фредамбер еще за дверями изобразил на своем лице непритворную радость. Когда же переступил порог, то так и двинулся к главе директории, восторженно протянув обе руки.

— С глубочайшим уважением приветствую вас, сударь!

Глава директории коротко кивнул и небрежно подал руку. Фредамбер ухватил ее обеими своими руками карлика — с длинными цепкими пальцами и мокрыми ладонями.

Отлично зная, что перед ним Фредамбер, Винниченко, однако, выдерживая дипломатический этикет, холодно спросил:

— С кем имею честь?

Фредамбер щелкнул каблуками, звякнул шпорами и склонился в почтительном поклоне:

— Полковник генерального штаба французской армии Фредамбер к вашим услугам!

— А! — Глава директории, наконец, улыбнулся тонкой, чуть заметной, лишенной выражения и смысла «дипломатической» улыбкой.— Счастлив вас приветствовать!

Винниченко неважно знал французский язык, и особенно плохо давалось ему французское произношение. Это причиняло ему немало огорчений. Однако на этот раз он даже не пытался приблизиться к правильной французской речи. Он считал, что в данный момент пренебрежение к чистоте произношения на языке партнера явится выражением «дипломатической независимости» и «государственной суверенности». Ведь как-никак встреча происходила пускай и в дрянном бордельном номере, но на украинской, а не на французской земле, и хозяин здесь был он. И вообще это же была встреча представителей двух держав, которые должны провести государственную беседу исключительной исторической важности.

Минутку представители двух держав, сознавая свою высокую миссию и свою выдающуюся роль в грядущих исторических событиях, постояли молча, не находя что сказать. Потом они оба, все так же строго следя, чтобы сей исторический акт состоялся одновременно, без малейшей поспешности или задержки противной стороны, сели друг против друга в непригодные для сиденья кресла.

Усевшись, они еще минутку помолчали. Со стороны могло показаться, что это — торжественное молчание двух государственных мужей, которые собирают свои мысли перед тем, как обменяться словами, решающими судьбы мира. На деле каждый из них обдумывал — кому же при такой ситуации заговорить первым? Естественно, в любом случае первым должен

заговорить хозяин. Хозяином на этой земле, казалось бы, «экс оффицио» [1], был Винниченко — как глава «республики». Однако пригласил его сюда полковник Фредамбер. Таким образом, хозяином здесь был вроде как бы он.

Полковник Фредамбер, очевидно, тоже так полагал и поэтому начал первый.

— Мосье президент,— сказал Фредамбер, почтительно склоняя голову,— вы разрешите мне обращаться к вам запросто: Владимир Кириллович?

Владимир Кириллович, признаться, был огорошен. После приема, который оказал этот же самый Фредамбер дипломатическим представителям директории не далее как три-четыре дня назад, глава директории мог ожидать если не грубости, никак не совместимой с его государственным положением, то во всяком случае каких-нибудь, и при этом любых, неприятностей, шпилек или в крайнем случае прозрачных намеков. Вместо того его встретили: улыбка с порога, приветственный жест с первого шага, рукопожатие обеими руками и сверх всего прочего почтительное и, безусловно, преувеличенное обращение — «президент». Все это Винниченко поспешил отнести за счет своих личных качеств: этот французик не мог не почитать в его особе писателя, культурного, общественного, государственного — черт побери! — деятеля, невзирая на неудачи, которые сейчас переживало возглавляемое им «правительство». Но к предложению перейти на дружеский, даже интимный тон Владимир Кириллович не был подготовлен и промычал в ответ что-то невнятное.

Но Фредамбер и не ждал ответа... Он сразу же заговорил дальше, с готовностью ломая себе язык на непреодолимом для французского прононса «Вльадимиг Кигильовитш».

— Высокочтимый и глубокоуважаемый Вльадимиг Кигильовитш! Вы, конечно, понимаете, что вся эта оскорбительная для порядочных людей обстановка,— Фредамбер с отвращением повел рукой в сторону замызганной двуспальной кровати и заплеванных стен комнаты,— эта необходимость приезда инкогнито, этот срочный вызов вас сюда — все это только жертвы, на которые мы с вами вынуждены идти во имя высших идеалов и во имя нашего общего великого дела.

Фредамбер сделал небольшую паузу, и глава директории тонко уловил, что он должен немедленно же заговорить, чтобы не уронить своего престижа.

— Дорогой полковник! — сказал он, умышленно делая ударение на втором слове, чтобы подчеркнуть дистанцию между чином полковника и званием президента.— Дорогой полковник! У нас с вами, я собственно хочу сказать — у государств, которые мы с вами имеем высокую честь представлять, нет

---

[1] Официально, по служебному положению (*лат.*).

сейчас другой цели, как борьба против российского большевизма.

Теперь новоиспеченный «президент» взял инициативу ведения беседы в свои руки: этого требовал престиж.

— И с русским большевизмом,— произнес он веско,— невозможно бороться ни добрым словом, ни добрыми делами.

— Абсолютно верно! — подтвердил Фредамбер.— Именно поэтому вооруженные силы Антанты и пребывают на вашей,— он корректно подчеркнул это «вашей»,— на вашей земле, Вльадимиг Кигильовитш.

Винниченко с удовлетворением проглотил слово «вашей» и солидно поднял вверх указательный палец.

— Вооруженные силы! Вы мудро выразились, полковник. С русским большевизмом можно разговаривать, только вооружившись до зубов. Именно поэтому и только поэтому я и откликнулся так охотно на ваше радушное приглашение, полковник.— Слово «радушное» Винниченко произнес с ударением. Ударение это утонченная натура могла понять как иронию, но экс оффицио это звучало как очень тактичный дипломатический экивок.— У правительства Украинской народной республики, директории, которую я имею честь возглавлять, нет иной цели, как вести вооруженную борьбу, иначе говоря — войну с московскими большевиками!

Провозгласив эту программную преамбулу, Винниченко позволил себе ироническую нотку в голосе:

— Если разрешите, перед вами сейчас не президент, как вы изволили меня величать, а только... купец.— Винниченко дал волю своей усмешке. Он знал, что эта саркастическая, мефистофельская усмешка в соединении с люциферской бородкой особенно подходит к его высокому государственному положению. Он тоже кивнул на двуспальную кровать и заплеванные стены.— Если я не ошибаюсь, обитель уважаемой госпожи Мурзиди как раз то место, где заключаются сделки между контрабандистами и коммерсантами? — Он вдруг громко захохотал, весьма довольный своей остротой. Развеселившись, он разрешил себе сменить напыщенный дипломатический тон на тон фривольной и бесшабашной фамильярности.— Так вот, мосье контрабандист, перед вами только купец-коммерсант! Покупаю винтовки, пулеметы, пушки эт цэтэра! В неограниченном количестве! Вуаля!

Эффектным жестом Винниченко вынул из внутреннего кармана своего сюртука какие-то бумажки и еще эффектнее бросил их на стол.

— Что это? — удивился Фредамбер, и без того уже крайне удивленный, ибо никак не ожидал такой игривости от своего мрачного, высокопоставленного собеседника.

— Деньги! — весело ответил высокопоставленный собеседник.— Задаток!

Фредамбер взял бумажки и внимательно на них поглядел.

Бумажек было три. Одна была уведомлением одесской конторы «Лионского кредита» о том, что отдел международных расчетов конторы принял от неизвестного лица три миллиона рублей для внесения их в парижский банк на имя гражданина Франции, полковника генерального штаба французской армии Фредамбера. Две другие бумажки были абсолютно одинаковы. Это тоже были уведомления одесской конторы «Лионского кредита» о том, что на счет переходящих вкладов одесской конторы на имя гражданина Франции Фредамбера принята от неизвестного лица сумма, распоряжаться которой предоставляется право гражданину Франции Фредамберу или любому иному лицу, которому это будет передоверено подписью гражданина Фредамбера. Каждое из этих уведомлений было на миллион рублей. Оба вместе — на два миллиона. Все три — на пять.

Фредамбер поднял на собеседника вопросительный и несколько неуверенный взгляд.

Винниченко пожал плечами и небрежно произнес:

— Мы обсудим в общих чертах размеры поставок оружия. Наши военные специалисты их уточнят. Кстати, тут уже двое суток находятся приехавший именно по этому делу мой военный министр генерал Греков и начальник штаба «головного атамана» генерал Матвеев. Им и карты в руки. На основе договоренности моих военных специалистов с вашими позднее придется, очевидно, заключить между нашими государствами официальные соглашения о гарантиях и формах оплаты, а эта... маленькая сумма — это только... аванс. Н-эс-па? Кажется, именно так поступают, когда заключают торговые сделки? Комиссия, куртаж или как там? Простите, полковник, но я не знаток финансовых операций. Я государственный деятель. Пардон, я купец. Меня интересует одно: будет или не будет товар? Будет или не будет оружие, господин полковник?

— Будет.

— Вот и отлично!

Винниченко непринужденно и громко засмеялся. Ему и в самом деле стало весело. Как здорово он сунул эту взятку! И лед сразу тронулся! Главное, за чем он приехал, на благополучное разрешение чего не было почти никаких надежд, достигнуто с первого же слова.

Фредамбер какое-то мгновение сидел молча, разглядывая носок своего ботинка. Наконец, он придвинул к себе приготовленную на столе бумагу, взял ручку и обмакнул перо в чернила.

— Вы собираетесь что-то писать? — встревоженно спросил Винниченко.

В голове у Винниченко вдруг пронеслась идиотская мысль, что полковник Фредамбер сейчас составит протокол на Винниченко Владимира Кирилловича за то, что означенный гражда-

нин, глава Украинской республики Винниченко Владимир Кириллович, имел намерение подкупить его, гражданина Французской республики, полковника Фредамбера, при исполнении служебных обязанностей. А протокола Винниченко, гражданин бывшей Российской империи, боялся пуще всего.

— Что вы собираетесь писать? — с тревогой повторил он свой вопрос.

— Расписку.

— Что вы! Что вы, полковник! — замахал руками глава директории.— Пароль д'онер! Какие между нами могут быть расписки?.. Наши специалисты все точно подсчитают, и наши полномочные представители подпишут соответствующие договоры!..

Фредамбер, все так же опустив глаза на кончик своего ботинка, еще минутку подумал, потом охотно отложил перо. Банковские уведомления он небрежно сунул в карман френча.

Затем сказал:

— Карабины, пулеметы «Гочкис», пушки «Шнейдер-Крезо», годовой комплект боеприпасов, амуниция и прочее снаряжение для трехсоттысячной армии всех родов войск: пехота, кавалерия, артиллерия, разведывательная авиация, танки.

Танки! Глава директории приосанился. Танков он еще никогда не видел, он только слышал о решающей роли этого нового вида разрушительного оружия в последнем наступлении американских войск в долине Рейна. Танки на поле боя в России и на Украине еще никогда не появлялись. По данным его разведки, танки не были приданы и Деникину или Колчаку. И вот танки впервые покажут себя именно в войсках директории, и раздобыл их он — Владимир Кириллович Винниченко!

— Что ж,— небрежно согласился он,— можно и танки...

— Генерал Греков и генерал Матвеев завтра же будут приняты мною по этому вопросу,— сказал Фредамбер.

Винниченко приосанился. За пять минут добиться своего, оставить в дураках генерала Деникина, да и этого миргородского брехунца, Семку Петлюру, тоже мазнуть по губам дерьмом! Что ж, цель достигнута! Пожалуй, на этом можно кончить. Мавр сделал свое дело, мавр может удалиться...

Но Фредамбер сунул руку за борт, вынул из внутреннего кармана бумажку и протянул ее Винниченко.

— Расчеты по вооружению армии директории из арсенала французской армии будут производиться в таком духе...

Винниченко мельком пробежал бумажку. Это был проект тайного государственного обязательства правительства УНР правительству Франции. За поставку вооружения для армии правительство УНР обязывалось, во-первых, признать долги, которые приходятся на долю Украины из общей суммы царских долгов Франции, во-вторых, предоставить Французской респуб-

лике концессию на все железные дороги Украины на пятьдесят лет.

Цена показалась Винниченко просто мизерной. Во-первых, вопрос об уплате долгов решен уже давно — еще при Центральной раде: кому угодно заплатить царские долги де-факто, лишь бы за это кем угодно была признана де-юре «самостийная Украина».

Глава директории повертел бумажку в руках и, небрежно кивнув, вернул ее Фредамберу.

Фредамбер вкрадчиво сказал:

— Подписание соглашения, составленного на основе этого обязательства, состоится особо. Но на проекте обязательства нужен ваш гриф.

Он обмакнул перо в чернила и подал его Винниченко.

Винниченко взял перо.

Пятьдесят лет! Это означало, что в течение пятидесяти лет дети и даже внуки теперешних граждан Украины будут покупать билеты для проезда по своим железным дорогам в французских кассах, даже чтобы съездить на дачу из Киева в Боярку. В воображении писателя Винниченко должен был бы возникнуть хотя бы гротеск: чтобы поехать из Киева в Боярку, нужно сбегать... в Париж за железнодорожным билетом... Но Владимир Кириллович был бездетный, а будущее украинских граждан,— об этом он не думал. Он легко коснулся пером бумаги в левом верхнем углу. На обязательстве появился государственный гриф... президента республики.

Фредамбер аккуратно сложил бумажку и спрятал ее обратно во внутренний карман.

Документ этот теперь удостоверял, что — буде удержится на Украине власть националистов-сепаратистов — из приходной части бюджета украинского государства выпадет основная приходная статья: железнодорожный транспорт. Тридцать, сорок, а затем — исходя из нормы естественного прироста населения по индексу рождаемости — и пятьдесят миллионов граждан Украины в течение полувека будут платить за все свои переезды по железной дороге, а также за перевозку всех грузов — французским коммерсантам и банкирам. За полстолетия это составит сумму, на которую... можно было бы приобрести имущество — движимое и недвижимое, на поверхности и в недрах — чуть ли не всей Французской республики. Сверх того, украинские трудящиеся в течение десятков лет будут выплачивать еще и большие налоги, чтобы рассчитаться с долгами, которые наделал вопреки их воле и для их же закабаления... царь Николай Романов: на полицию, тюрьмы, ведение несправедливых войн...

Фредамбер был не на шутку взволнован сознанием, какую выгодную для Французской республики операцию он проделал,

и задумался, прикидывая: что же получит он в благодарность за это?

Глава директории между тем воспользовался паузой, чтобы заговорить о том, что его собственно больше всего беспокоило.

— Французское командование,— начал он, и в тоне его прозвучала не то чтобы обида, ибо дипломаты не разрешают себе проявлять это присущее простым смертным чувство, но во всяком случае неприкрытая досада,— французское командование во всей этой бесконечной цепи длящихся до сих пор недоразумений с правительством Украинской народной республики обвиняет директорию в том, что она якобы проводит на своей территории пробольшевистскую политику. И именно это мешает обеим сторонам — директории и французскому командованию — достичь полного взаимопонимания.— Винниченко раздраженно передернул плечами.— Смею вас заверить, полковник, что такие наговоры являются лишь плодом недоразумения, результатом коварных интриг, которые плетут против украинского националистического движения русские монархисты — белогвардейцы, вроде излюбленного вами генерала Гришина-Алмазова, а то и самого Деникина.— Фредамбер хотел что-то сказать, но Винниченко его остановил, предостерегающе подняв палец.— Поверьте мне, полковник, что эти утверждения выглядят просто смехотворно: обвинять в большевизме правительство, которое своей первейшей целью ставит именно вооруженную борьбу против большевиков! Французское командование,— поучительно заметил Винниченко,— должно было бы разобраться в местных условиях, изучить их и, основываясь на этом, понять, что, используя, в наших декларациях некоторые лозунги, идентичные, так сказать, кое-каким лозунгам большевиков, мы тем самым хотим лишить большевиков возможности выступить против нашей программы и домогаться захвата власти на Украине.

— Прошу прощения! — прервал, наконец, Фредамбер речь Винниченко, грозившую превратиться в изложение программы украинских сепаратистов-националистов.— Прошу прощения, что перебиваю вас, но это недоразумение мы с вами разрешим в одну минуту. Командование вооруженными силами Антанты считает, что директория, наоборот, слишком мало использует большевистские лозунги.

— Что? — переспросил Винниченко. Ему показалось, что он ослышался.— Как вы сказали?

— Мы полагаем,— сказал Фредамбер,— что директория должна сделать особый упор на большевистские лозунги в своей программе.

Винниченко смотрел на Фредамбера. У него даже язык отняло. Да представитель ли Антанты сказал то, что он сейчас услышал? Или он, может быть, не так расслышал то, что сказал представитель Антанты?

— Простите,— проговорил глава директории,— вы, кажется, сказали, что...

— Я сказал,— пришел ему на помощь Фредамбер,— что директория должна оперировать именно большевистскими лозунгами: земля крестьянам, восьмичасовой рабочий день и тому подобное,— право, не припомню сейчас всей большевистской программы. Директория в своих обращениях к народу должна почти точно повторять программу Российской Коммунистической партии, и как можно чаще...

Винниченко молча развел руками, ошеломленно глядя на полковника Фредамбера.

— Программу Российской Коммунистической партии,— настойчиво повторил Фредамбер.— Если существующим ныне украинским партиям, представленным директорией, из каких-либо соображений неудобно выступать с такой программой, то, мы думаем, не плохо было бы создать какую-нибудь новую, особую — «украинскую коммунистическую партию», которая бы и пополнила состав директории.— Фредамбер выдержал паузу.— Разве нельзя отколоть какую-нибудь часть, скажем левое крыло, украинских социал-демократов или социалистов-революционеров, и создать из них этакую, знаете, независимую партию, например «левых коммунистов» или что-нибудь в этом роде, которые бы, однако, стояли на государственной платформе директории и выступали бы против русских коммунистов-большевиков по мотивам... ну, это самое... по национальным мотивам?

Винниченко хлопал глазами.

— Вы же должны понять,— поучительно продолжал Фредамбер,— что использование большевистских лозунгов поможет вам здесь, на Украине, оторвать от русских коммунистов большевизированные низы. Крестьяне, бунтовавшие против немцев и гетмана, те самые, на плечах которых вы вошли в Киев, сейчас отворачиваются от вас и поднимают большевистские восстания! А надо, чтобы этого не было. Чтобы эти большевизированные элементы были за вас и даже воевали против русских большевиков.

— Простите,— произнес Винниченко,— но ведь тогда они потребуют... этого самого... Я хочу сказать, что придется того... платить долги, осуществлять обещанную большевистскую программу...

— Зачем? — пожал плечами Фредамбер и впился в Винниченко своим левым, не дергающимся глазом.— Программу советской власти вы можете, пожалуй, провозгласить. Но если власть в ваших руках, вы можете установить такую систему выборов, чтобы гарантировать в ваших «трудовых» радах потребный вам контингент украинских хлеборобов-землевладельцев, вообще украинского националистического элемента, который... Словом, вы должны меня понять! Мы полагаем, что

таким образом вы сохраните боеспособность вашей армии, сможете принять участие в нашей победе над большевиками и тем самым дадите основания... гм... гарантировать самостоятельность Украинской народной республики. Вы меня понимаете?.. А что касается этого самого... долгов, как вы изволили выразиться, обещаний, то вы, конечно, уясняете — а вслед за вами должны уяснить себе это и все граждане вашей республики,— что сейчас война и все конструктивные, так сказать, мероприятия могут быть осуществлены только после окончания войны и разгрома российского большевизма. Компрэнэ? [1]

— Муа, же компран! [2] — промямлил Винниченко.— А разногласия с поляками и с русскими монархистами-белогвардейцами?

— Тоже после войны! — отмахнулся Фредамбер.— Так либо иначе это должна будет разрешить Парижская мирная конференция. На данном, военном, этапе вы все сообща боретесь против большевиков. Вашу борьбу против большевиков европейские нации должны рассматривать как освободительную войну угнетенных народов: прежде ваши народы угнетал царизм, а теперь пытаются поработить русские большевики. Кстати!

Фредамбер полез в карман и вынул еще одну бумажку.

— Вы не будете возражать против такого обращения к французской нации от нации украинской?

Винниченко прочитал:

«Украинское правительство с удовлетворением воспринимает тот факт, что благородная Франция, вдохновляемая идеалами свободы, культуры и права, совместно с другими государствами Антанты и Соединенными Штатами Америки готова поддержать нас и сообща выступить на решительную борьбу с большевизмом.

Пользуясь случаем, обращаемся к французской нации и другим нациям Антанты с призывом помочь нам в деле окончательного освобождения нашей украинской нации, создания нашей украинской государственности, ее экономических, финансовых и политических основ.

Мы обращаем свой призыв, зная традиционное уважение французской нации к праву и справедливости, ее неизменную стойкость в защите культурно-правовых интересов».

— Поляки тоже направляют нам аналогичное письмо,— пояснил Фредамбер.— Французскому народу будет приятно услышать, что он помогает национальному освобождению угнетенных наций. А французскому правительству необходимо, чтобы его народ одобрил все мероприятия и расходы, связанные с этим освобождением. Как вам нравится текст?

---

[1] Понимаете? *(франц.)*
[2] Я-то понимаю! *(франц.)*

— Превосходный текст! — воскликнул Винниченко.

— Мы опубликуем это обращение от имени украинской директории во всех французских газетах.

— Великолепно!

— Очень рад, что вам пришлась по душе эта идея и нравится текст. Не откажите поставить ваш гриф.

Винниченко охотно взял перо и наверху черкнул наискосок свои инициалы. Он хотел было уже положить перо, но Фредамбер его остановил:

— Минуточку! Еще один гриф! Это обращение к народу, а нужно еще на обращении к правительству.

Из того же внутреннего кармана Фредамбер вынул еще одну бумагу.

Винниченко прочитал:

«Директория, признавая допущенные ею ошибки, просит французское командование о помощи в борьбе с большевизмом. Директория отдает себя под покровительство Франции и просит представителей Франции взять на себя руководство управлением Украины в областях военной, дипломатической, политической, финансовой, экономической и судебной на все время ведения войны против большевиков. И, наконец, директория надеется, что Франция и другие государства Антанты проявят великодушие, когда после окончания борьбы с большевиками встанут вопросы, касающиеся территорий и наций».

— П-позвольте,— заикаясь, пролепетал Винниченко,— но позвольте! — Его бросило в пот.— Ведь это же совсем не то, о чем идет речь в обращении к народу!

— Как? — искренне удивился Фредамбер.— Как же не то?

Он придвинул к себе листок, который выпал из похолодевших пальцев главы Украинской республики, как будто заподозрил, что только что на его, Фредамбера, глазах кто-то ухитрился подсунуть Винниченко другую бумажку, а не ту, которую он ему сам сейчас передал. Он быстро пробежал глазами по строчкам.

— Как же не то! То же самое! Там — об экономических, финансовых и политических основах, и здесь — о руководстве экономикой, финансами и политикой, а также...

— Ведь там речь шла о «помощи»! — вырвалось у Винниченко.— А здесь «покровительство»... «руководство»... Ведь это же протекторат! Колония!

— Ну! — пожал плечами Фредамбер.— Вы преувеличиваете. Тут же ясно написано: на время войны! Война кончится, и тогда...

— И тогда — надеяться на... великодушие...— бормотал Винниченко, утирая пот.

Фредамбер положил листок на стол и прихлопнул его сверху ладонью.

— На войне как на войне! — говорит в таких случаях наш

генерал д'Ансельм. Вы должны понимать, господин президент, что война есть война!

— Это сказал еще Наполеон...— машинально пробормотал Винниченко.

— Наполеон? Что сказал?

— Наполеон Бонапарт. Сказал: на войне как на войне...

— А! Весьма возможно. Во всяком случае, генерал д'Ансельм тоже так говорит. Вы должны понять, господин президент, что мы не можем рисковать. Мы должны иметь гарантии. Необходимо, чтобы все хозяйство страны работало на армию, обеспечивая ее боеспособность. Мы не можем полагаться только на ваших чиновников, а тем паче на ваш пролетариат. Мы должны держать его под надзором контрразведки...

— У нас есть своя, украинская, контрразведка!

— Естественно. Но мы должны и ее поставить под надзор французской контрразведки!

Фредамбер еще раз хлопнул по столу ладонью, прижав ею бумажку.

— Словом, не я это придумал. Таковы требования нашего правительства, премьера Клемансо. Таковы требования наших союзников — премьера Ллойд-Джорджа и министра Черчилля. Таково требование и президента Вильсона. Север и Кавказ берет под свой полный контроль Англия, Дальний Восток — Америка, Украину и Польшу — Франция. Договоренность между ними по этому вопросу уже достигнута.

Фредамбер саркастически взглянул на побелевшего Винниченко своим левым глазом.

— Конечно, если вы в приятельских отношениях с мосье Клемансо, или с Ллойд-Джорджем, или, предположим, с президентом Вильсоном, то обратитесь к ним с просьбой пересмотреть это решение.

Он вдруг сменил гнев на милость, должно быть тронутый несчастным выражением лица Винниченко.

— Я понимаю, что вам придется посоветоваться по этому вопросу со всем составом вашей директории. Завтра вы будете в Киеве, так вот мы можем вам дать на обдумывание... двадцать четыре часа.

Он спрятал листок, не попросив грифа. Но когда вынул руку обратно из кармана, в ней была еще одна, уже четвертая, бумажка.

— Считаю своим долгом... гм... информировать вас о существовании и такого документа.

Он развернул лист, и это оказался действительно документ: под довольно длинным текстом стояло несколько подписей, а в углу красовалась печать.

Фредамбер терпеливо дождался, пока Винниченко дочитал все до конца и внимательно пересмотрел подписи.

Вот этот документ:

«1. Директория Украинской народной республики входит на федеративных началах в состав возрождаемой единой и неделимой России.

2. Директория УНР формирует коалиционное правительство, которому и передает все права.

3. Украинская народная республика обязуется всеми средствами бороться против большевиков, находящихся в пределах республики.

4. УНР передает в распоряжение специально созданного штаба все войска для наступательной акции против большевиков Великороссии.

5. Все вооруженные части республиканских войск должны быть объединены и подчинены общей организации.

6. В оперативном отношении республиканская армия подчиняется специальным штабам.

7. Оперативный штаб формируется в следующем составе:

а) главы союзного командования — генерала д'Ансельма,

б) одного представителя Добровольческой армии — ген. Гришина-Алмазова,

в) одного представителя польских легионеров — полковника Дзеваницкого.

8. В вышеозначенный штаб входит представитель Украинских республиканских войск — начальник штаба ген. Матвеев.

9. В районах, занятых республиканскими войсками, допускается беспрепятственное формирование Добровольческой армии.

10. Все заложники и те, кто сражался в рядах Добровольческой армии — офицеры, юнкера, казаки и пр.,— немедленно освобождаются с правом беспрепятственного выезда, куда они пожелают.

11. Осадный корпус атамана Якиева, блокирующий Одессу, немедленно оттягивает свои отряды до ст. Раздельная Юго-Западной железной дороги.

12. УНР принимает действенные меры в целях недопущения Трудового конгресса.

13. УНР обязуется не допускать на своей территории Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

14. Союзное командование будет всемерно поддерживать УНР в ее борьбе с большевиками путем поставки боеприпасов.

Вышеозначенный договор должен быть контрассигнован Директорией УНР.

Подписали: ген. д'Ансельм, ген. Бориус, кап. Ланжерон, адм. Балле, ген. Гришин-Алмазов, контр-адм. Ненюков, полк. Антонович, полк. Дзеваницкий, ген. Греков, ген. Матвеев.

Секретари: Серкаль, Пилья».

— Греков и Матвеев? — наконец, пролепетал Винниченкс.

— Генерал Греков и генерал Матвеев,— подтвердил Фре-

дамбер.— Ваш военный министр и ваш начальник штаба головного атамана.

— Когда?

— Вчера.— Фредамбер указал на дату внизу.— Они уже здесь, как вам известно, два дня, и мы с ними времени зря не теряли. На войне как на войне, мосье президент!

Пауза длилась несколько минут. Фредамбер терпеливо ждал. Винниченко закручивал колечками свою мефистофельскую бородку, выглядевшую сейчас, после урона, нанесенного ей мосье Сержем, довольно-таки жалко. Наконец, он заговорил, сдерживая дрожь в голосе:

— Но ведь все это как будто противоречит тому, о чем мы с вами только что, полчаса назад, договорились?

— Никоим образом!

— То есть как? Ну что вы говорите! — В голосе Винниченко звучали умоляющие нотки.— Ведь речь же шла об общей цели: борьбе против большевиков...

— Пожалуйста, пункт третий.

Фредамбер указал пальцем на соответствующее место в договоре.

— Мы говорили о том, что получим от вас оружие.

— Пункт четырнадцатый.

— Мы говорили о широком использовании большевистской программы. И настаивали на этом именно вы...

Фредамбер поморщился и подергал щекой.

— Ну, мосье президент, вы же прекрасно понимаете, что эта тема не может быть предметом договорного оформления. Ведь это совершенно конфиденциально. В порядке, так сказать, джентльменского соглашения. В порядке, как бы это выразиться, стратегического совета...

— Наконец, мы говорили о признании директории де-юре, господин полковник!

— После победы над большевиками, мосье президент! После войны. И гарантией сего будет соблюдение вами пунктов двенадцатого и тринадцатого.

— Мерзавцы! — крикнул Владимир Кириллович и даже стукнул кулаком по столу.— Проскочили-таки «поперед батька в пекло»!

— Кто, осмелюсь спросить?

— Греков и Матвеев, черт бы их побрал! Ведь это я, как президент, должен был подписывать такой документ!

Фредамбер с милой улыбкой укоризненно покачал головой.

— Напрасно, напрасно вы нервничаете, мосье президент! Наоборот, вы должны были бы наградить их эпитетами самыми лучшими!

— Почему?!

— А потому, мосье президент, что эти два бравых генерала взвалили на свои плечи всю тяжесть... гм, этого, скажем прямо...

затруднительного для вашего правительства договора.— Фредамбер снова предупредительно подвинул к Винниченко текст.— Вам следовало бы оценить то, что под этим... гм, скажем, не вполне пристойным для стоящих во главе вашего правительства — я имею в виду вас, мосье президент, а также головного атамана Симона Петлюру — договором нет подписей ни вашей, ни Петлюры...

Фредамбер весело смотрел на Винниченко правым и хитро подмигивал левым глазом.

— Компрэнэ?

Винниченко остолбенело вытаращил на Фредамбера глаза. Что-то такое начинало брезжить в его сознании, но он сам еще не мог толком разобрать, что именно.

— Ну, неужели вы не понимаете, мосье президент?

Фредамбер рассмеялся мелким, скрипучим, жестким, как хруст битого стекла под ногами, смехом.

— Разве вы не обратили внимания, мосье президент, что там нет ни вашей, ни моей подписи? Вместо меня подписался капитан Ланжерон, мой помощник и адъютант генерала д'Ансельма. Мне, видите ли, нездоровилось вчера, когда надо было спешно оформить все подписи. Неужто вам не пришло на ум, что это сделано преднамеренно? Если бы каким-нибудь образом стало известно об этом нашем с вами конспиративном свидании, наше с вами алиби гарантировано: мы встретились не для обсуждения этого договора! Компрэнэ?..

— Позвольте, позвольте! — остановил поток его красноречия Винниченко.— То есть?.. И в самом деле! Мне, признаться, сразу и невдомек! Это Гришин-Алмазов их купил, уверяю вас, это так!

— Ну,— уклонился Фредамбер от прямого ответа,— вы недооцениваете наши возможности, мосье президент.

Винниченко вдруг хлопнул «семейным альбомом» с порнографическими карточками, попавшим ему под руку.

— А, катись оно ко всем чертям! Ладно! Если так, так так! Раз там нет моей подписи... моя хата с краю!

— Вот и чудесно! — облегченно вздохнул Фредамбер.— Я ни на минуту не сомневался, что мы с вами, Вльадимиг Кигильовитш, придем к полному согласию.— Он вдруг засуетился и полез в карман.— А как же, Вльадимиг Кигильовитш, с письмом к правительству Франции?

Винниченко махнул рукой. Что значило это письмо по сравнению с договором! Договором, который был уже подписан и, собственно говоря, уже вступил в действие.

— А! — отмахнулся он.— Пускай его Петлюра подписывает...

Фредамбер подумал и согласился.

— Хорошо,— сказал он.— Петлюра так Петлюра. Надо же и ему что-нибудь оставить. Кстати, генерал д'Ансельм соби-

рается пригласить мосье головного атамана на французский дредноут для торжественной встречи, долженствующей символизировать трогательное единение двух держав... Тогда можно будет подписать и это письмо, в парадной, так сказать, обстановке.

Но Винниченко, только что успокоившийся было на том, что ему не придется ставить свою подпись, вдруг снова скис.

— Однако, господин полковник,— пробормотал он,— меры, предусмотренные этим договором, придется проводить в жизнь... Хотя договор и тайный, но ведь осуществление его будет происходить явно, так сказать, на собственной шкуре граждан... И вот моя, как главы правительства, причастность к этому делу...

— Вы абсолютно непричастны! — поспешил ввернуть Фредамбер.

— Абсолютно непричастен... Между тем со стороны, народом, так сказать, все это будет расценено, вы знаете... как...

Он растерянно умолк. На язык само собой просилось слово — но ему очень не хотелось отнести его к себе — «предательство».

Тут Фредамбер вдруг разрешил себе вольность, совершенно неожиданную и не предусмотренную в обращении с такими высокими особами, как глава правительства: он одной рукой похлопал Владимира Кирилловича по колену, а другую, с холодной, лягушачьей ладонью, положил на волосатый, горячий и потный кулак собеседника и мягко, нежно пожал его.

— Дорогой мой Вльадимиг Кигильовитш! — задушевно, с глубоким чувством произнес Фредамбер.— Выслушайте меня внимательно! — Он смотрел на Винниченко проникновенным взглядом.— Вы, дорогой Вльадимиг Кигильовитш, фигура настолько выдающаяся, настолько, я бы сказал, неоценимая на своем посту для людей, стоящих во главе цивилизованных европейских стран...

— Ну, ну! Вы уж...— замахал руками Винниченко.

— Нет, нет! Не перебивайте меня! — патетически воскликнул Фредамбер.— Выдающаяся и неоценимая! Я имею в виду не только наши дни, но и все дальнейшее развитие исторических событий, в которых вам, ни с кем не сравнимому лидеру украинского национализма, придется играть еще более значительную роль.— В правом глазу Фредамбера блеснуло что-то похожее не то на слезу, не то на хитрый огонек. Он наклонился совсем близко к Винниченко.— И руководство держав Антанты, которое сейчас там, в Париже, готовится к великому, историческому переделу мира, вовсе не собирается пренебрегать такой исключительной личностью, как вы!

Фредамбер откинулся, любуясь впечатлением, которое произвела его речь на сидящего перед ним честолюбца, и, налюбовавшись, закончил:

— Вы имели возможность, Вльадимиг Кигильовитш, убедиться, как оберегается ваше честное имя в тех случаях, когда оно, упаси боже, может быть чем-нибудь скомпрометировано перед лицом вашей нации. Итак, пока будет развиваться победоносное наступление войск директории под руководством командования Антанты, вы будете пожинать лавры победителя. Когда же фронт передвинется вглубь страны, приблизится окончательный разгром русского большевизма и придет время покончить с «большевистскими» обещаниями директории или...— Фредамбер развел руками с видом покорности провидению,— знаете, на войне как на войне...— если бы вдруг случилось, что военная фортуна нам изменила и пришлось бы в связи с этим раньше времени применить репрессии, то есть, я хотел сказать, открыто ввести в действие известные вам договорные пункты, то...— Фредамбер сделал многозначительную паузу,— то в ту же минуту вы, дорогой Вльадимиг Кигильовитш, перед всей вашей нацией заявите о своем несогласии, займете, так сказать, независимую позицию, непримиримую позицию, то есть станете в оппозицию к вашему правительству и подадите, так сказать, в отставку...

— В отставку? — пораженный, переспросил Винниченко.

Фредамбер мягко остановил Винниченко, уже готового очертя голову кинуться в пропасть своих уязвленных страстей.

— Только в том случае, дорогой Вльадимиг Кигильовитш, если вашему честному и славному имени вождя националистов независимо от вас будет угрожать компрометация. Только в том случае, если обусловленные нашим договором действия директории будут компрометировать вас как лидера, так сказать, национально-освободительной войны украинского народа. Вы подадите в отставку, выедете за границу...

— За границу?

— Да! Но не как изгнанник-эмигрант, а как оскорбленный вождь! Пророк, которого не в силах очернить никакие интриганы! Который не может примириться с позорной судьбой своей нации!

— Остракизм!

— Ни в коем случае! — возразил Фредамбер.— Вы выедете временно — пока военная фортуна снова не повернет к нам свой прекрасный лик. Точнее: до тех пор, пока вооруженная борьба против русских большевиков не будет окончательно завершена и большевизм на территории Украины ликвидирован и искоренен. Тогда вы вновь вернетесь к выполнению своей высокой государственной миссии, не слыша трупного смрада, не видя страшных руин, как победивший вождь или бичующий пророк — это уже в зависимости от обстоятельств, какие сложатся в то время тут у вас, на Украине...

Здесь Фредамбер оставил свой высокопатетический стиль и сказал просто:

— Словом, правители цивилизованных стран мира возлагают на вас надежды как на главу будущей — цивилизованной и европеизированной — Украины под эгидой альянса Франции, Англии и Америки. Достаточно ли ясно я выразился, дорогой Вльадимиг Кигильовитш?

— Вы можете пересидеть это время где вам приглянется...— прибавил для вящей убедительности полковник Фредамбер.— Соединенные Штаты Америки, Британская империя, Французская республика, глубоко заинтересованные в будущем использовании всех ресурсов Украины, простите, я хотел сказать — в будущем процветании Украины, ждут вас как желанного и дорогого гостя. Президент Вильсон, сэр Ллойд-Джордж и мосье Клемансо чрезвычайно ценят в вашем лице лидера украинского национализма. Если вы остановите ваш выбор на Франции, то я уполномочен уведомить вас, что в Париже, сразу за Елисейскими полями, для вас приготовлена уютная вилла: газоны, клумбы, цветы — обстановка, весьма располагающая к занятиям отвлеченной философией и чистым искусством. Райский уголок для философа и писателя: оранжерея для выращивания пьес, романов и рассказов. И, знаете,— Фредамбер рассмеялся своим скрипучим, жестким смехом,— под виллою не забыли построить большие темные подвалы. Для разведения шампиньонов. Ведь вы, как это хорошо известно разведке всех мировых держав, увлекаетесь овощеводством — и, в частности, великий любитель разводить шампиньоны.

— Неужто и подвалы для шампиньонов?

— Подвалы для шампиньонов — это личный подарок президента Вильсона: он считает себя вашим крестным отцом. Простите,— вдруг спросил Фредамбер,— не хочется ли вам пить, мосье президент? Меня, знаете, мучит жажда...

— Пить? — Винниченко не сразу уразумел, о чем речь.— Благодарю,— сказал он,— если б чего-нибудь покрепче...

— Это я и имею в виду,— резонно заметил Фредамбер.

Он хлопнул в ладоши, как это делают турецкие паши или индийские магараджи,— и дверь тут же распахнулась, а на пороге предстал коридорный мадам Мурзиди, черный, как жук, и курчавый, как негр, детина, при этом еще и с щегольски подстриженными английскими усиками.

— Бутылку шампанского! — приказал Фредамбер.

— И рюмку русской...

— С кефалькой или со скумбрийкой?

И через мгновение, точно все это стояло уже приготовленным под дверьми, на столе появилась бутылка шампанского, соленый миндаль на горячей тарелке, графинчик водки, скумбрия и кефаль.

Они чокнулись — Фредамбер бокалом шампанского, Винниченко рюмкой водки — и выпили молча, без тостов, без слов.

Вслед за тем Фредамбер сразу поднялся.

— Прошу извинить меня, мосье президент, но сегодня вечером, до темноты, ваш аэроплан должен коснуться земли под украинской столицей Киевом. Особо уполномоченный консул Франции мосье Энно, командующий войсками Антанты на юге Украины генерал д'Ансельм, представитель вооруженных сил Англии адмирал Боллард и начальник военной миссии Соединенных Штатов Америки мистер Риггс просили меня передать вам их наисердечнейшие приветы и наилучшие пожелания. Мое почтение и мои комплименты, мосье президент!

Полковник Фредамбер щелкнул каблуками, звякнул шпорами, как и полагается военному, потом склонился в почтительном поклоне, как джентльмен.

— Прощайте, полковник...

Когда Винниченко перешагнул порог, плащ с капюшоном немедленно же прикрыл его плечи и голову. Еще через минуту та же закрытая машина вихрем вылетела из ворот заведения мадам Мурзиди и, распугивая агентов разведки в живописных одеждах грузчиков с Карантина и рыбаков с Фонтанов, исчезла за Старым Базаром.

6

Полковник Фредамбер минутку постоял на пороге, покачиваясь взад-вперед на своих кривых ногах. Лицо его не то морщила улыбка, не то оно дергалось от тика всеми мышцами сразу. А впрочем, возможно, что это все-таки была улыбка.

У полковника Фредамбера были все основания улыбаться.

Полковник Фредамбер мог считать, что у него уже в кармане чин генерала — от правительства Франции, и по меньшей мере еще раз удвоенная помесячная оплата — от американской разведки.

Дело сделано, и дело международного масштаба! О таких делах французские коммерсанты говорят: «Фер л'аффер» [1]. Американские дельцы: «Делать бизнес».

Купля-продажа состоялась, и состоялась весьма выгодно: Фредамбер покупал — и купил. Содержимое кармана френча Фредамбера самым убедительным образом могло засвидетельствовать реальность этой оригинальной и неслыханной еще в торговом мире комбинации.

А впрочем, полковник, а в недалеком будущем генерал Фредамбер был не только своекорыстным, но и деловым человеком. И прежде всего начальником штаба оккупационной армии, которая действовала на южных территориях Украины с заданием взять в свои руки все украинские территории: на юге, севере, западе и востоке,— чтобы создать обширный и

---

[1] Делать дело, заключать сделку *(франц.)*.

мощный, обеспеченный тылами плацдарм для стремительного броска на север — на Советскую Россию. Банковые чеки в кармане были, конечно, приятным сюрпризом, который делал отныне бизнесмена Фредамбера богачом. Однако не менее приятно было и то, что ловкий агент антибольшевистской коалиции, крестоносец антикоммунистического похода Фредамбер сделал, по его мнению, блестящий «ход конем». Отныне земли Украины, находящиеся под властью директории, можно было спокойно считать не более чем захолустным департаментом Франции или далеким штатом Америки. В наступательных боевых операциях армии интервентов живописные петлюровские гайдамаки и сечевики помехой никак не будут, наоборот — именно они и станут пушечным мясом интервенционистской армии, ее самыми отчаянными головорезами. А сама директория отныне находилась во внутреннем кармане полковника, в ближайшем будущем — генерала Фредамбера.

Таким образом, наступательные боевые операции через территорию Украины на север, навстречу большевистским полкам, можно начинать хоть завтра. И начинать не от берега Черного моря, из Одессы, а сразу из Киева и Харькова; оккупационные войска будут переброшены по занятой петлюровцами территории туда, на исходные позиции, в течение какой-нибудь одной ночи в заготовленных эшелонах, в вагонах первого и второго класса; а в буфетах на каждой узловой станции их еще будет ждать и угощение с горячими блюдами и крепкими напитками. Можно организовать и приветственные демонстрации с оркестрами.

Полковник Фредамбер, начальник штаба армии интервентов, явится сейчас к генералу д'Ансельму, командующему французской армией,— предварительно забежав, конечно, к американскому полковнику,— и доложит: транспорты с греческими войсками, стоящие в Босфоре в готовности выполнить приказ командующего Антанты, могут завтра же полным ходом двинуться в Одессу, Николаев и Херсон. Деникинцы займут правый фланг, белополяки — левый, петлюровцы — центральный фронт. Но и с деникинцами, и с белополяками, и с петлюровцами пойдут надежные греческие ландскнехты: они получают плату наличными, собственно не наличными, а обещанием потом, когда-нибудь, заплатить наличными. Позади всех, за деникинцами, белополяками, петлюровцами и греками, последуют полицейской службой, чтоб всех их подгонять, и сами французы — слева и англичане — справа. Так предусмотрено планом американского полковника Риггса, то бишь командования войск Антанты.

Фредамбер еще раз покачался взад-вперед, подкрутил воинственно торчащие усы, вышел в коридор, сделал два широких шага и толкнул дверь соседнего, девятого номера бордели мадам Мурзиди.

Девятый номер был точь-в-точь такой же, как и десятый: те же заплеванные стены, такой же столик с теми же порнографическими фотографиями, точно такая же замызганная двуспальная кровать.

Сейчас альбом, раскрытый на какой-то пикантной и на редкость мерзкой фотографии, был отодвинут в сторону, и рядом с ним валялась пустая бутылка из-под коньяка. На кровати, раскинувшись в сладком, пьяном сне, покоилась американская журналистка и контрразведчица Ева Блюм.

— Каналья! — выругался Фредамбер.

Ева Блюм должна была стенографировать для американской разведки беседу французского полковника Фредамбера с украинским «президентом» Винниченко.

Но в следующую минуту что-то похожее на удовлетворенную улыбку пробежало по губам Фредамбера. Он поглядел на спящую благосклонно, даже нежно. Рука его невольно поднялась и пощупала нагрудный карман, где легким шелестом отозвались три банковских чека: на три миллиона, которые можно будет получить во Франции, и на два, которые можно реализовать здесь, в Одессе, хотя бы и завтра, на углу Ришельевской и Дерибасовской, в конторе «Лионского кредита».

На цыпочках, потихоньку, чтобы не спугнуть драгоценный сон спящей красавицы, Фредамбер вышел из комнаты и осторожно прикрыл за собой дверь. Итак, факт получения денег никому не был известен, ни с кем не надо было и делиться... Ни с Евой Блюм, ни с самим полковником Риггсом. Три миллиона во Франции и два в Одессе принадлежали теперь до последней копейки одному Фредамберу...

В приподнятом расположении духа миллионер Фредамбер вернулся в десятый номер, чтобы захватить свой плащ и стек.

Кудрявый коридорный с английскими усиками как раз прибирал в номере. Он собирал рюмки и бокалы, пересыпал косточки от скумбрии и кефали с тарелок на совок.

Но шампанское еще не было допито, а у Фредамбера было весело на душе. Он взял у коридорного недопитую бутылку, которой тот уже собирался распорядиться по-своему, и налил себе полный бокал.

Опрокинув бокал одним духом, Фредамбер молодецки перекинул плащ через руку, помахал стеком и шагнул к порогу.

Но через порог он не перешагнул. Он так и застыл над порогом: одна нога осталась в комнате, другая, поднятая, чтобы ступить в коридор, замерла в воздухе. Его точно пронзила пуля. Выстрела, впрочем, не было, и пуля во Фредамбера не угодила. Просто он вдруг услышал сзади оклик:

— Фредамбер! Пст!

7

Если за спиной у человека внезапно раздается выстрел, человек вскрикивает и застывает от неожиданности.

Если ни с того ни с сего земля закачается под ногами от страшного землетрясения, которое рушит все вокруг, люди в смертельном ужасе и животной панике кидаются очертя голову куда глаза глядят.

Но если нежданно-негаданно, когда нет ни малейшего повода опасаться этого, за вашей спиной произносят вашу фамилию, которая, как вы думаете, тут не может никому быть известна,— кто его знает, как в таком случае надо реагировать?

Очевидно, в таких случаях люди просто теряются и совершают непростительные глупости.

Именно так реагировал и полковник Фредамбер.

Вместо того чтобы вскрикнуть от неожиданности или кинуться куда глаза глядят с перепугу, он медленно обернулся и посмотрел в комнату.

Перед ним стоял кудрявый коридорный мадам Мурзиди, глядел на него, хитро прищурив глаз, и делал знаки пальцем.

Это был специфический жест. Им пользуются невоспитанные люди, когда подзывают кого-нибудь к себе. Но так же делают опять-таки маловоспитанные люди и тогда, когда хотят дать понять другим, не лучше воспитанным, что, мол, пришла пора расплачиваться.

Однако близок к этому движению пальцами и еще один знак, которым — и Фредамберу это было известно — обмениваются масоны, когда, встретившись, хотят тайно от всех присутствующих дать знать о своей принадлежности к масонской ложе.

И Фредамбер оторопело спросил:

— Вы масон?

Это, конечно, была самая большая глупость, на какую только способен был в ту минуту Фредамбер.

— Нет,— тотчас же отозвался кудрявый коридорный мадам Мурзиди.— Я — Мишка Япончик.

У Фредамбера все внутри похолодело. И потому, что Фредамберу было отлично известно, что за фрукт Мишка Япончик, и потому, что этому фрукту, Мишке Япончику, следовательно, было известно, что он — Фредамбер.

И, окончательно растерявшись, Фредамбер задал второй вопрос, еще глупее первого:

— А... откуда вы знаете, что я... Фредамбер?

— Или! — пренебрежительно скривился Мишка Япончик.— Или я, как интеллигентный человек, не обязан знать всех тузов, власть имущих? Или это не ваша старая бабушка, дай ей бог прожить сто двадцать лет, живет по Базарной, девять, ход с улицы?

Вслед за этим наступило молчание.

Мишка Япончик, атаман одесских бандитов, добросовестно выполнял сейчас роль коридорного, который лежал в эту минуту опутанный веревками, как колбаса, с кляпом во рту, внизу, в чуланчике. Он сметал салфеткой крошки со стола. Полковник Фредамбер — начальник штаба оккупационной армии, внук старой бабушки с Базарной, девять, ход с улицы — осоловело глядел на стоявшего перед ним кудрявого детину и никак не мог выжать из своей головы хоть сколько-нибудь оригинальную мысль.

— Чего же вы от меня хотите, мосье Мишка Япончик? — наконец, выдавил он из себя.

— Спрашиваешь! — Мишка Япончик недоуменно пожал плечами, вопрос Фредамбера удивил его до крайности.— Лампопо!

— Комман? [1]— не понял Фредамбер.

— Что ты представляешься! Чего ты ломаешься! Или ты русского языка не понимаешь? — возмутился Мишка Япончик.— Тоже мне Пуанкаре! Лампопо, иначе — пополам!

— Что... пополам? — заикаясь, пролепетал Фредамбер.

— Ой, морока мне с тобою! — рассердился Мишка Япончик.— Мильоны пополам! Этот самостийник дал тебе сейчас пять лимонов. Так чтоб тебе не было кисло, я тебе помогу их скушать. Три пропали: этот самостийник загнал их аж в Париж. Твое счастье, если, конечно, ты выберешься отсюда живой. Но два можно разменять завтра утром в конторе «Лионского кредита». Очень кстати, что они на двух бумажках. Мы их совсем даже просто поделим: один тебе и один мне.

Это была не дешевая цена: миллион рублей только за то, что твоя бабка не успела во-время умереть!

У Фредамбера затряслись губы.

— Послушайте! — взмолился он.— Имейте совесть!

— Зачем? — искренне удивился Мишка Япончик.

— Ну, когда между деловыми людьми...— начал Фредамбер,— заключается соглашение, так все-таки...

— У меня сейчас соглашение с тобой,— парировал Мишка Япончик и резонно добавил: — На что мне совесть, если у тебя ее нет?

Фредамбер вознегодовал. Он уже немного пришел в себя, и опасность потерять целый миллион вернула ему способность кое-как владеть собой.

— Но ведь со всех одесских фирм за то, что вы их не грабите, то есть, я хотел сказать, за охрану их собственности, вы берете только один процент с месячной прибыли. Это мне точно известно. Возьмите пятьдесят тысяч! Ведь миллион же — это двадцать процентов!

---

[1] Как? *(франц.)*

Мишка Япончик циркнул слюной через губу.

— Так то ж по-соседски. А ты откуда взялся?

Он вдруг рассердился:

— Послушайте, гражданин! Ваша фирма не внушает доверия — вы только временные оккупанты. А наша фирма существует с тысяча девятьсот шестого года, и цены у нас без запроса. Не подходит — можете не покупать. Товарчик вполне подходящий для мосье Клемансо или полковника Риггса.

Полковник Фредамбер окончательно овладел собой. Упоминание о Клемансо и Риггсе отрезвило его. Ему стало ясно, что дешевле, пожалуй, не купить нигде.

Он сунул в карман два пальца и вытащил одну из бумажек.

Мишка Япончик галантно подал ему перо:

— Передаточная надпись на предъявителя делается здесь, в правом углу.

Фредамбер присел к столу и послушно написал в надлежащей графе: «Выдать предъявителю».

Пока Фредамбер аккуратно выводил свою фамилию, Мишка Япончик укоризненно качал головой:

— Ай-ай-ай! Как нехорошо! Забывать старую бабушку! Или добрый сын может забыть родителей? Подъезжать на машине к самому порогу — и ваших нет? Ай-ай-ай!

Подпись Фредамбера уже красовалась на бланке, и Мишка сменил укоризненный тон на поучительный:

— Или ты думаешь, что платишь за то, что мне стало известно, как ты слупил пять миллионов с этого самостийника? Пхе!

Банковое обязательство было уже у Япончика в руках, и он еще раз сменил тон на дружески-ласковый:

— Ты платишь за то, что мне известны твои шуры-муры с американским консулом. Может, это интересно твоему Клемансе? А может, и большевикам интересно, что ты американец? Я доктор? Я знаю?

— Я — француз! — с достоинством ответил Фредамбер.

— Может, ты мне еще скажешь, что ты англичанка? — скептически поинтересовался Мишка.

Но дело сделано, и можно кончать комедию. Мишка Япончик примирительно похлопал Фредамбера по плечу:

— Можешь быть хоть папой римским. Что я, не понимаю?

Фредамбер осторожно высвободил плечо.

— Вы никому не скажете ни слова, мосье Мишка Япончик?

— Могила! — побожился Япончик.— Я ж — Мишка Япончик, фирма известная!

Фредамбер открыл дверь, но на пороге остановился.

— Это вы ее накачали? — кивнул он головой на номер девятый, где лежала пьяная американская контрразведчица.

Мишка Япончик хмыкнул:

— Что вы! Полбутылки коньяку мало кто выдержит! —

Но тут же заговорщицки подмигнул.— А если еще прибавить ноль, запятая, пять морфия, так никто не выдержит. Можете быть спокойны: фирма несет полную ответственность!

Когда один бандит вышел в коридор, другой бандит крикнул ему вдогонку:

— Полковник! Если вам понадобятся мои услуги, выйдите прямо на бульвар и скажите: «Позовите мне Михаила Яковлевича!» — и я уже буду знать. Мои уши услышат... А ваш номер телефона у меня есть.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

На первое время Иностранная коллегия сосредоточила свою деятельность в катакомбах на Куяльнике.

«Хозяйство» Яковлева — редакция, типография, издательство — раскинулось под землей на обширной территории. Во-первых, для каждого из «цехов» нужна была просторная галерея, а они попадались на изрядном расстоянии друг от друга. Во-вторых, в случае, если проникнет в подземелье враг, размещение отдельных блоков подпольного хозяйства на большом расстоянии друг от друга уменьшало опасность — легче будет спасти людей, спрятать материалы, перенести в другое место оборудование.

Экспедиция готовой литературы осуществлялась двумя способами. Листовки по ночам в больших пачках, аккуратно завернутых в цветистые обертки, выносили во двор биндюжника Егоренко, и под утро биндюжник Егоренко на своей подводе отвозил их на Старый Базар, в лавочку агента торговой «фирмы» Самойла Солодия и Самуила Сосиса. Отсюда пачки каждое утро разбирали комсомольцы и комсомолки Коли Столярова для распространения. На цветистых обертках было напечатано: «Братья Поповы. Папиросы «Сальве». Подпольщики-большевики с табачной фабрики Поповых поставляли эти обертки в неограниченном количестве.

Днем экземпляры свежего номера газеты выносили в сумке газетчика. «Экспедиторами» работали три комсомольца: Сашко Птаха с двумя товарищами посменно.

В «издательстве» — галерее, расположенной недалеко от большой пещеры у входа,— день и ночь шелестела бумага, слышалось постукивание ребром пачки, выравниваемой по краям, и бойкая девичья болтовня. Пять-шесть пересыпских девушек-комсомолок, получив из типографии готовую продукцию, паковали ее стопочками по десять, затем пачками по сто и, наконец, пакетами по тысяче штук — для транспортировки.

В «типографии», тоже не умолкая ни днем, ни ночью, погромыхивала небольшая плоскопечатная машина «американка», прижимая бумажные листы к доске набора, смазанного черной краской из разведенной керосином голландской сажи. Здесь посменно работали два печатника. Здесь же, в пещерах катакомб, они и жили.

«В наборном цехе», укладывая свинцовые литеры на стальные дощечки верстаток, трудились над кассами три наборщика под командой «метранпажа» Яковлева. Жили они тоже в катакомбах.

Редакция коллегии расположилась в большой галерее, и помещение ее было «комфортабельно» обставлено. Из ровных брусков ракушечника, вырезанных когда-то неизвестными добытчиками, но так и не вынесенных на поверхность, были сложены «стол», два «стула», «шкаф» для бумаг, даже «диван» — для посетителей. На стене висел большой план Одессы, пестревший черточками и крестиками. Черточкой обозначалось место, где должны были быть вывешены или разбросаны прокламации; черточка превращалась в крестик, когда — по сведениям разведки Ревкома — это место брали под особый надзор контрразведчики и шпики. На противоположной стене в расщелину меж камней воткнуто было красное знамя с серпом и молотом и с золотой надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Это было старое боевое знамя: с ним Главные железнодорожные мастерские поднимали январское восстание против гайдамаков Центральной рады. Под надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» недавно появилась еще одна, поблескивающая новым золотым шитьем: «Украинская Советская Социалистическая Республика». Эту надпись вышили пересыпские комсомолки сразу же после того, как стало известно, что правительство Советской Украины, собравшись в Харькове во главе с Артемом и Ворошиловым, приняло решение переименовать Украинскую Советскую Республику в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Над «столом» редакции на железной проволоке висела большая лампа-«молния». В подземелье пользовались для освещения главным образом небольшими керосиновыми лампочками и садовыми фонарями «летучая мышь». Но в редакции и в наборном цехе, где для устающих от мелкого шрифта глаз нужно было больше света, зажигали «молнию». Ее гасили сразу же, как только кончалась работа над рукописью или набором: большая лампа слишком быстро поглощала кислород, которого в подземелье и без того не хватало, и становилось трудно дышать.

В катакомбах, под землей, всегда стояла ночь, и, как всякая ночь, она полна была своих ночных, не сразу улавливаемых, «таинственных» звуков: где-то потрескивал известняк, где-то вдруг осыпался из трещины мелкий камень. Но в темноте и настороженной тишине отовсюду доносились из далеких гале-

рей приглушенные звуки напряженной жизни, которая в подземной ночи не прекращалась ни на минуту. Здесь люди жили и работали, словно навеки отрезанные от мира толстым слоем земли. Для них не было ни дня, ни ночи, они утратили самое ощущение времени. То минуты тянулись как-то «ползком», то, наоборот, целые сутки пролетали в напряженном труде, как одна минута.

Иностранная коллегия выпускала короткие воззвания к населению — для расклейки на заборах и стенах домов, большие листовки — для распространения среди солдат и матросов оккупационной армии, а также газету подпольного областкома «Коммунист». Газета «Коммунист» выходила на русском языке и дублировалась на французском. Отдельные номера печатались на польском языке — для жолнеров легиона белого орла.

В редакции иностранной коллегии работали только двое: Галя и Жак.

Жак, для которого французский язык был почти родным, который знаком был с бытом французского крестьянина и рабочего и умел говорить на парижском и марсельском арго, взял на себя авторство. По тезисам областкома или Военно-революционного комитета он писал по-французски и статьи, и листовки, и воззвания.

Галя взяла на себя переводческую часть: она переводила на французский материалы, приходившие в редакцию на русском языке.

Жак правил и редактировал Галины переводы. Зато на Галю была возложена вся корректура.

Работы в редакции хватило бы на большой штат, и Галя с Жаком работали день и ночь, отдыхая лишь по нескольку часов в короткие перерывы.

2

«Утро» сегодня Галя и Жак начинали, как всегда.

«Утро» у них под землей наступало не так, как на земле — с рассветом, а по большей части вечером, так как выход продукции на-гора́ надо было подгонять как раз к настоящему утру.

«Утром», то есть часов в пять вечера, Галя и Жак выползали из своих «спален», устроенных в маленьких нишах-пещерках — возле типографии для Жака и возле издательства для Гали,— и начинали, каждый со своего конца, добираться до «кабинета» редакции.

Приходилось блуждать по грязным, пыльным, кое-где залитым водой подземным галереям, штрекам, ходам и переходам, где — согнувшись в три погибели, а где и ползком. В лабиринте переходов стояла абсолютная тьма; заблудиться в них мог и хорошо знакомый с путаницей штреков человек, так как,

кроме «действующих» переходов, немало было и «недействующих», непролазных. На этот случай установлена была особая система значков: параллельная полу черта — над «мертвым» ходом, и вертикальная — над «живым». На перекрестках мерцали неугасимые огоньки — коптилки, указывающие путь, но это были только «семафоры»: их тусклый свет не проникал дальше трех-четырех метров. Все подземные работники коллегии носили на груди электрические фонарики, которыми и освещали себе путь.

Галя добралась до «кабинета» первой. Отряхнувшись у входа, чтобы не поднимать пыль в редакции, Галя переступила «порог» и включила на миг фонарик: все ли в порядке?

И сразу увидела: на столе, рядом с чернильницей, в белой фарфоровой вазочке стоит белая хризантема.

Галя что-то сердито пробормотала, но приблизилась к столу, осторожно нащупала вазочку и наклонилась к цветку.

Повеяло нежным ароматом, ароматом зелени, свежести, воздуха — ароматом самой земли под небом и солнцем. Цветок был холоден на ощупь — от гнилой сырости подземелья,— но для подземного жителя Гали он дышал солнечным теплом. Уже около двух недель Галя не была на свежем воздухе, не видела ни солнца, ни звезд в небе. Запах цветка здесь, под землей, приносил Гале несказанную радость.

И все же она решила сделать нагоняй за цветок.

Это был не первый цветок «утром» на Галином столе. Под землей, без солнца и воздуха, через час-другой он умирал, зачахнув, увянув. Но проходила «ночь», наступало новое «утро» — и у Гали на столе опять стоял свежий цветок: хризантема, бульденеж, эдельвейс.

Сначала Галя никак не могла понять, откуда эти цветы берутся, пока, придя однажды в редакцию раньше назначенного времени, не поймала на месте преступления Жака: он менял увядший эдельвейс на свежий бульденеж. Тогда Жак и вынужден был признаться, что цветы ставит каждое утро он, однако категорически отказался назвать своего сообщника — того, кто приносит цветы из города в катакомбы. Галя подозревала, что по поручению Жака цветы приносит в своей сумке газетчика Сашко Птаха. И Галя очень сердилась, упрекая Жака, что он гоняет в оранжерею парнишку, у которого и без того немало хлопот: чуть не ежедневно ездить из города на Куяльник и возвращаться обратно. Но Сашко Птаха забожился, что это не он. Да и приходил он в экспедицию не каждый день, с ним в очередь работали еще два экспедитора-комсомольца, а цветок каждый день неизменно появлялся на столе.

Галя твердо решила сегодня же поднять целую бучу, положить конец этой расточительности, да и... выяснить, наконец, кто же приносит цветок сверху.

— Доброго утра! — послышалось из штрека.

Это приветствовал Галю веселый голос Жака.

— С добрым утром! — ответила Галя и направила луч фонарика на вход.

Жак стоял на пороге с двумя кружками в руке и буханкой хлеба подмышкой. Галя и Жак ели здесь же, в редакции; на завтрак у них всегда было молоко. Ласточкин специально наладил ежедневную доставку в катакомбы бидона молока и требовал от всех подземных работников, чтобы они непременно его пили — ввиду «вредности подземного производства».

— Шахтеры обязательно пьют молоко! — говорил Ласточкин.— А вы все равно что шахтеры. Вам даже еще труднее — неделями не выходите на-гора́! Пить молоко приказываю в порядке партийной дисциплины.

Жак вошел, поставил на стол кружки и положил хлеб. Все это он проделал в темноте: боялся включить фонарик — влетит за цветок.

— Жак! — произнесла Галя, и в голосе ее звенела угроза.

— Слушаю, Галя?

— Опять?

— Что опять? — как можно равнодушнее спросил Жак.

— Ты знаешь, что. Я — о цветке.

Жак молчал. В темноте слышно было только его дыхание. Дышал он виновато.

Галя сердито сказала:

— Я прошу тебя. Я, наконец, требую! Я это запрещаю!

— Разве тебе не приятно... увидеть утром цветок?

Галя еще больше рассердилась.

— Вчера ты мне ответил то же самое! Я прошу тебя...

— И вчера ты так же точно на меня напустилась,— вздохнул Жак.

— И завтра будет так же,— гневно сказала Галя, но спохватилась: — Завтра, я уверена, так не будет, так как завтра не будет цветка! Ты должен, наконец, выполнить мою просьбу!..

Жак молчал, и слышно было только его виноватое дыхание.

— Ну?

— Что ну, Галя?

— Ты это сделаешь?

— Сделаю.

— Что сделаешь?

Жак тяжело вздохнул.

— Цветок...

— Что цветок?

— Поставлю.

Галя даже руками всплеснула от возмущения

— Жак! Ты что, смеешься надо мной?..

Разговор шел в темноте, но они уже так знали голоса друг друга, что по интонации могли даже в темноте представить вы-

ражение лица. Лицо Жака было просто виноватым, виноватая была и интонация. Интонация у Гали была суровая и сердитая, но лицо... не выражало ни того, ни другого.

— Я и разговаривать с тобой не хочу! — сурово сказала Галя.

Слышно было, как она села, прошуршав в сердцах какими-то бумагами на столе.

— Осторожно! — сказал Жак.— Не опрокинь молоко!

Он уже поставил кружку с молоком перед ней на стол. Лампы они пока не зажигали, экономя воздух; светить фонариками тоже не хотели, чтобы... не видно было лиц.

Они молча стали пить молоко — каждый на своем месте.

Галя глубоко вздохнула.

— Ностальгия? — спросил Жак.

«Ностальгией», тоской по родине, они, подземные жители, называли острое и тоскливое чувство тяги наверх, жажду хоть на часок выйти на землю, на воздух, увидеть солнечный свет.

Галя не ответила. Но Жак сквозь черную мглу угадывал ее лицо: она гневно хмурила брови, но глаза ее в это время никак не хотели смотреть грозно и помимо ее воли были ласковы, улыбались. Она, может быть, даже покраснела...

Жак молча улыбнулся в ответ на невидимую Галину улыбку.

— А мне сегодня приснилось, как будто я сплю в самой настоящей комнате, под самым настоящим одеялом и в самой настоящей кровати... Боже, что это за роскошь!.. А вокруг — тоже настоящие, человеческие вещи: стол, шкаф, стулья, даже ковер и цветы в горшках... Вот ерунда!..— Он подождал минутку, не заговорит ли, сменив гнев на милость, Галя. Но Галя молчала. И он продолжал: — А знаешь, это очень приятно: настоящие вещи.— Он вдруг спохватился.— Ты только не говори, пожалуйста, что это мещанство. Это абсолютно нормально: человеческий быт складывался веками, и ничего нет удивительного, что во мне это вызывает приятное чувство. Человеческий интеллект не всегда может контролировать сферу подсознательного и...

— Я понимаю,— иронически отозвалась Галя.— Твой интеллект принадлежит лежебоке, и естественно, что в сфере его подсознательного — кровать. Просто ты мечтаешь спать на кровати, вот и все.

Жак вспыхнул:

— Ну и что? Нет ничего дурного в том, что человеку хочется спать на кровати! Что же мне, мечтать о курином насесте? Человек должен спать на кровати. Это норма быта. Ведь программа партии требует материального обеспечения всех трудящихся, следовательно и нормальных бытовых условий. Таким образом...

Галя тихо рассмеялась. Наконец-то!

— Пей лучше молоко,— сказала она, и теперь Жак с уверенностью мог сказать, что в интонации ее нет и нотки осуждения.— Я уже позавтракала. Когда окончишь, можешь зажигать лампу. Работы много...

Жак чиркнул спичкой и снял стекло. В мигающем свете спички фигура Жака казалась фигурой великана: на каменные шершавые стены пещеры от нее падала огромная тень, забираясь головой под высокие своды. Тень шевелилась, точно сказочное чудовище.

Фитиль загорелся, огонек обежал кольцо горелки. Жак надел стекло и подвесил лампу на ее место над столом. Ровный, чистый, чуть голубоватый свет вдруг залил всю пещеру, и пришлось даже зажмуриться после подземной тьмы — яркий свет резал глаза.

Со времени приезда Жак отпустил себе бороду, и теперь она густой порослью покрывала весь подбородок и щеки чуть не до глаз. Эта борода делала его, сильного, крепко сбитого, рядом с маленькой Галей и в самом деле похожим на былинного богатыря.

Когда Жак разжал веки, Галя уже сидела с широко раскрытыми глазами. Руки ее лежали на приготовленных для работы бумагах. Галя разглядывала пещеру, точно видела ее впервые.

— Знаешь, Жак,— заговорила она оживленно и вместе мечтательно,— когда я смотрю на эти камни вокруг, я совсем не ощущаю их только мертвой материей в глубоких недрах земли. Сколько видели эти стены, сколько они знают!.. Сколько разных людей, вот как мы сейчас, скрывались здесь под землей и делали свое дело! Наши партизаны прошлым летом, во время немецкой оккупации... Матросы с броненосца «Потемкин» в девятьсот пятом году... Теперь и мы с тобой здесь снова встретились...

В семнадцатом году, в дни Октябрьского восстания в Москве, они встретились впервые — на баррикадах Красной Пресни, на Кудринской площади. Жак, недавно вернувшийся из эмиграции, был в боевой дружине, Галю — она только что вышла из Бутырской тюрьмы — партийный комитет прислал с дружиной Красного Креста. Жак увидел Галю, когда, под частым огнем юнкеров и ударников батальона смерти из дома на углу Поварской, она бежала вдоль баррикады — опрокинутых трамвайных вагонов — к парку, где залегли рабочие. Баррикада плохо защищала от пуль — дружинники один за другим выбывали из строя. Галя перебегала от одного к другому, падала на мостовую рядом с раненым и быстро делала перевязку. И каждый раз вокруг нее начинал свистеть рой пуль. Позднее захваченные в плен юнкеры признавались, рисуясь, что специально брали сестру на мушку. «Это была прекрасная дви-

жущаяся мишень,— цинично говорили они,— а нас как раз недавно обучали стрельбе по движущейся мишени». Но то ли юнкеров плохо учили, то ли Гале просто посчастливилось — ни одна пуля не настигла ее, и она продолжала смело пробираться вдоль баррикады. Жак тогда же со всем юношеским жаром поклялся, что после боя непременно посмотрит на эту храбрую сестру вблизи, познакомится с нею и... Что «и» — он тогда еще не умел сказать... Но Жак увидел Галю не после боя, а еще в бою. Когда под напором прибывшего к юнкерам подкрепления, внезапно появившегося со стороны Садового кольца, дружинники вынуждены были отступить, Жак поспешно перебегал к Конюшенному переулку. Он добежал уже до угла, оглянулся и тут увидел, что храбрая сестра спешит сюда же. В это время какой-то офицер, присевший за открытой дверью парикмахерской, как раз прицелился в нее из винтовки. И офицер выстрелил... Жак успел толкнуть Галю — она упала, пуля просвистела мимо нее и попала Жаку в левую руку...

На всю жизнь запомнил Жак, как Галя перевязывала его тогда во дворе какого-то многоэтажного дома. Она разрезала рукав и перебинтовала руку в плече, чтобы остановить кровь: пуля не задела кости, но пробила какую-то вену или артерию, и кровь заливала их обоих. Когда Галя кончила бинтовать, она посмотрела снизу вверх — маленькая и хрупкая рядом со статным и высоким Жаком. Жак давно уже ожидал этого взгляда и улыбнулся ей.

— Почему вы улыбаетесь? — удивилась Галя.

Жак потерял много крови, был бледен и едва держался на ногах. Но девушке, которую он только что спас от смерти ценой собственного ранения, девушке, в которую влюбился, глядя на ее отчаянную смелость, Жак не мог не улыбнуться. На это у него хватило силы.

— Зачем вы это сделали? — покраснела Галя.— Какое вы имели право заслонять меня собой? Вы не смели!..

Жак улыбался.

— Если опять случится, сделаю то же самое...

Галя хотела на него накричать, но вдруг заколебалась и неожиданно спросила:

— Почему?

— Во-первых, потому,— резонно отвечал Жак, покачиваясь на ослабевших ногах,— что каждый боец в трудную минуту должен прийти на помощь другому бойцу...

Галя сердито нахмурилась. Неизвестный товарищ был прав. Но... ведь он рисковал жизнью! И, кроме того... кроме того, теперь она становилась как бы... несамостоятельной, зависимой от спасителя. Галя отныне была у него как бы в долгу, и неизвестный спаситель получал на нее какие-то права...

— Во-вторых,— все так же улыбаясь, сказал Жак,— я вас люблю!

Теперь Галя и в самом деле рассердилась. Вокруг гремели выстрелы, под натиском превосходящих сил противника пришлось отступить, а этот неизвестный боец стоит, глуповато улыбается и болтает о... любви.

Галя собралась бог знает как отругать этого нахала, несмотря на то, что он только что спас ее от смерти. Но вместо этого она только растерянно спросила:

— Разве вы меня знаете?

Галя никогда не простит себе этого вопроса. Ничего глупее тогда сказать было нельзя.

Волна горячей крови и сейчас, при воспоминании, залила лицо Гали, и она поспешно наклонила голову над бумагами. Жак не должен был заметить ее смущение — ведь он без слов понимал, о чем она думает, что чувствует. Чертова лампа-«молния» светила так ярко!..

— Здравствуйте! — послышалось вдруг от входа в галерею. Галю даже подкинуло. Жак тоже вскочил. В эту пору сюда, в редакцию, некому было заходить. Кроме того, голос был незнакомый — он не принадлежал никому из обитателей катакомб. А чужой, незнакомый голос должен был бы сказать не «здравствуйте», а пароль.

Голос, произнесший «здравствуйте», принадлежал женщине, и притом неизвестной.

3

На пороге — если вход из штрека можно назвать порогом — возникла, словно рожденная темнотой, женская фигура.

Это в самом деле была совсем незнакомая женщина.

Она стояла, высокая, стройная, в черном пальто с маленьким каракулевым воротничком и в синем берете. Из-под беретика выбивалась короткая прядь черных кудрявых волос, слегка посеребренных сединой, а может быть, просто припорошенных серой пылью катакомб. Лицо у женщины было молодое, черные глаза — горячие, быстрые, с огоньком смешливости в глубине. Яркий свет лампы падал ей прямо в лицо, и она жмурилась после темноты подземных переходов.

— Кто вы? — встревоженно спросила Галя.— И как вы сюда попали?

Женщина улыбнулась. Улыбалась она одними глазами, и улыбка была ласковая, дружеская — улыбка старой знакомой, которую сразу, с первого взгляда, не узнали.

— Верно, попасть сюда не легко.— Голос у женщины был на диво мелодичен, а букву «р» она произносила мягко, картавя. Вообще какой-то иностранный акцент сквозил во всей ее речи.— Я сама никогда бы не разыскала вас здесь, в этих черных шахтах. Да и наверху не нашла бы к вам дороги. На земле — вечер.

— Вечер? — удивилась Галя, так как по подземному распорядку сейчас только начиналось еще утро.

Галя хотела еще что-то сказать, но Жак, перебив ее, произнес сухо:

— И все-таки — кто вас сюда привел и кто вы такая?

— Чайки садятся на воду,— сказала женщина и снова улыбнулась.

— Будет на море погода...— отозвались в один голос Галя и Жак.

Женщина громко рассмеялась.

— У вас чрезвычайно поэтический пароль! Но, мне кажется, это мало конспиративно. Пароль должен быть из совсем простых, будничных слов, чтобы не вызывать подозрений, если кто-нибудь услышит его со стороны. Хотя,— все так же смеясь, прибавила она,— возможно, здесь, у моря, эта поэтичная фраза и звучит совсем обыденно?

— Это пароль специально для прибывающих из центра,— как бы оправдываясь, объяснила Галя.— На первой и второй линии внутренней связи пароли, конечно, попроще...

Женщина протянула Гале руку.

— Лябурб. Это моя фамилия. Имя — Жанна.

— Ах! — радостно вскрикнула Галя.— Вы Жанна Лябурб?

Галя не сдержалась и обняла Жанну. Жанна охотно ответила на ее поцелуи.

— А вы Галя. Я вас сразу узнала.

— Разве вы знали меня раньше?

— Нет,— улыбнулась Жанна,— но вроде бы и знала. Иван Федорович так ярко вас обрисовал: маленькая, хрупкая, совсем фарфоровая статуэтка...

— Ну, ну! — Галя замахала руками.— И вы уже начинаете надо мною смеяться! — Она шутливо пожаловалась: — Все тут надо мною подтрунивают и дразнят... что я такая маленькая...

— Кто смеет дразнить? — тоже с шутливой строгостью нахмурила брови Жанна.

— Он! — Галя бросила взгляд на Жака.— Он все досаждает мне разными глупостями...

Жанна Лябурб протянула руку Жаку.

— А вы, конечно, Жак! В Москве меня предупредили, что вы будете дожидаться меня уже здесь.— Жанна внимательно вглядывалась в лицо Жака.— Но вы совсем не похожи на тот портрет, который нарисовали мне в Москве, да и описание Ивана Федоровича тоже не подходит. Мне никто не сказал, что вы такой бородач!..

Галя прыснула.

— Здесь, под землей, без солнца, никакая растительность не может существовать, а вот борода у Жака...

Жак перебил ее:

— Просто я не носил раньше бороды, только здесь начал

отпускать, и Иван Федорович об этом не знает, так как не приходит сюда к нам...

— А вот и пришел! — послышалось из штрека, и в освещенной галерее показался Ласточкин.

Он весело поглядывал на всех, довольный эффектом, произведенным его неожиданным появлением. Но сразу же строго сказал:

— Товарищи! Сколько раз я уже просил — даже заглазно, даже между собой называть меня только «Николай»!

Все неловко примолкли. Чтобы прервать замешательство, Галя спросила у Жанны:

— Вы к нам одна?

— Нет,— отвечала Жанна,— нас двое.

И как бы в подтверждение ее слов, из штрека, отряхиваясь от подземной пыли и тяжело переводя дыхание, появилась еще одна фигура. Этому человеку действительно трудно было пробираться по штрекам, согнувшись в три погибели, так как он был настоящим великаном: высокий, плотный, атлетического сложения.

— Знакомьтесь,— отрекомендовал Ласточкин,— Славко. Приехал вместе с Жанной из Москвы. Серб, но владеет французским языком, как истый парижанин.

Серб Славко, дружелюбно улыбаясь, так пожал руку Гале, что девушка невольно вскрикнула.

В это время вслед за сербом Славком в галерею редакции вошли еще четверо.

— О! — удивилась Галя.— А вы говорили, что только двое!

— Двое — из Москвы,— объяснил Ласточкин,— а эти казаки — наши, местные, из Одессы-мамы. Знакомьтесь: пополнение Иностранной коллегии, вместе теперь будете работать.

Галя обрадовалась:

— Ну, теперь нам будет легче! А то нас так мало, работы много, и мы не поспеваем!

Ласточкин ухмыльнулся и хитро поглядел на Галю.

— Легче? Боюсь, девочка, что тебе будет как раз труднее. Потому что работы подвалит, а поспевать все равно надо.

— А что? — поинтересовалась Галя.

— Подожди минуточку! — сказал Ласточкин.— Сейчас я все объясню, мы сейчас проведем заседание Иностранной коллегии в ее пополненном составе. Познакомились уже, товарищи?

Партийные клички прибывших были: Алексей, Абрам, Витек и Максим. Все они были одесситы, подпольщики еще с дореволюционных времен. Спасаясь от царской охранки, они в разное время эмигрировали во Францию и вернулись только в семнадцатом году. Алексей пробыл в эмиграции десять лет, Абрам — пять, Максим — четыре, а Витек — молоденький студент — всего пять или шесть месяцев. Но французским языком

владели все в совершенстве, и областком сейчас направил их в распоряжение Иностранной коллегии.

— Ну, раз перезнакомились, так давайте за дело! — сказал Ласточкин. Он остановился перед Жаком и удивленно разглядывал его бороду.— Откуда у тебя борода? На что тебе борода? Ах, для конспирации! — Он покачал головой.— Боюсь, что именно из соображений конспирации тебе эту мужскую красу придется ликвидировать. Садитесь, товарищи. Однако здесь у вас тесновато.

В пещере действительно стало тесно. Двух каменных стульев и одного каменного дивана на всех не хватило, и кое-кому пришлось примоститься под стенкой на корточках. Жанна села на стол.

— Так вот, товарищи! — начал Ласточкин, когда все кое-как устроились.— Некоторым из вас еще сегодня придется выйти на работу.— Он мельком взглянул на часы.— А место работы-таки далеконько: в городе. Поэтому я позволю себе быть кратким.

Ласточкин замолчал и с удовлетворением оглядел присутствующих.

— Семь! Это уже не так мало, товарищи! Правда?

— Восемь,— поправила Галя, пересчитав присутствующих, исключая Ласточкина.

— Семь! — повторил Ласточкин и строго посмотрел на Галю.— А ты, девочка, если не знаешь, в чем дело, вперед батьки в пекло не лезь!

Галя сконфузилась и притихла.

Ласточкин заговорил:

— Так вот, товарищи! Начинаем новый этап работы Иностранной коллегии.— Он выдержал торжественную паузу.— Я собрал всех вас вместе и здесь — как бы вопреки требованиям конспирации. Но это только «как бы», на деле же именно условия конспирации требуют, чтобы мы сошлись все вместе и именно здесь...— Он опять помолчал и закончил: — Новый этап работы Иностранной коллегии будет трудным и... рискованным. Не исключен провал одного или двоих, а может быть, и нескольких, и нужно, чтобы каждый работник Иностранной коллегии знал, где помещается штаб, и в случае печальной необходимости мог связаться со штабом самостоятельно. Новые условия деятельности каждого работника коллегии будут теперь таковы, что придется при выполнении задания встречаться, и каждый должен знать в лицо всех остальных, чтобы различать, где чужой, а где свой.

Все молчали, внимательно слушая. Ласточкин обвел сидевших быстрым взглядом.

— До сих пор наша деятельность ограничивалась только печатанием и распространением литературы. Но этого совершенно недостаточно, товарищи. Войск интервенты нагнали до

черта, и наше первое — печатное — слово уже пошло в гущу солдат оккупационной армии. Теперь нужно второе — непосредственное общение. Мы переходим к агитации живым словом, товарищи!

Среди присутствующих пробежал шелест. Галя прошептала:

— Вот здорово! Давно уже ждем. До чего я рада!

— А ты не очень радуйся,— взглянул на нее Ласточкин,— так как именно тебе придется остаться здесь, под землей, с твоим издательством Сойкина и Сытина.

Он улыбнулся.

— Почему? — крикнула Галя.— Почему я должна остаться здесь? — Она вспыхнула от обиды.— Опять потому, что я женщина? А Жанна?

— Жанна пойдет первая,— улыбнулся Ласточкин и тепло поглядел на Жанну Лябурб.— Именно потому, что женщина! Женское слово, знаешь, легче доходит до мужской души.

— Так в чем же дело? — совсем возмутилась Галя.— Опять потому, что мала ростом?

— Нет,— спокойно ответил Ласточкин.— На этот раз рост тебе не помешал бы. Но потому, девочка, что ты хотя и имела в гимназии пятерку по французскому, но в настоящей, живой Франции никогда не жила. А придется выдавать себя за настоящих французов. Словом, я попросил бы тебя успокоиться и не отнимать время своими возражениями. Я не узнаю тебя, Галя! — вдруг укоризненно сказал Ласточкин.— Ты всегда была такой дисциплинированной коммунисткой...

Галя потупилась.

— Простите, товарищ Николай. Я слушаю вас,— тихо сказала она.

Ласточкин разъяснил суть новой задачи, поставленной перед членами Иностранной коллегии. Товарищи должны были выйти в город и любыми способами завязать личные знакомства с французскими солдатами и моряками. Первейшим заданием была, конечно, агитация. Но вслед за агитацией ставилась и организационная задача. Французскую оккупационную армию надо было не только разложить; среди солдат оккупационной армии — французских рабочих и крестьян — необходимо было пробудить революционные настроения и эти революционные настроения организовать: создать в армии интервентов ячейки из революционно настроенных солдат и матросов...

Украинские красные части уже взяли Чернигов и наступают на Киев. Наша задача — возглавить восстание рабочих и крестьян в тылу белогвардейцев и оккупантов. Но почему бы нам не воспользоваться революционными настроениями солдат интервенции, не принять их помощь?

— Словом,— вдруг весело улыбнулся Ласточкин,— французов надо не только деморализовать, но и организовать. Таково указание Центрального Комитета, товарищи.

Ласточкин снова тепло посмотрел на Жанну Лябурб.

— Жанна,— сказал он,— привезла из Москвы важные новости, товарищи.

Все затаили дыхание и одновременно повернулись к Жанне Лябурб.

Жанна поднялась с каменного стола, на котором она сидела, и тихо, но вместе с тем как-то торжественно и задушевно заговорила:

— В самом ближайшем времени в Москве должен быть созван Первый Конгресс Коммунистического Интернационала из представителей коммунистических партий всех стран...

Ласточкин быстро и весело вставил:

— Разве плохо будет, если мы приготовим Коммунистическому Интернационалу славный подарок? А?

Собрание было подпольное, конспиративное, а на конспиративных подпольных собраниях не аплодируют. Но условия конспирации здесь, глубоко под землей, совсем не были похожи на обычные. Дружные громкие аплодисменты раздались под сводами катакомб.

Жанна вдруг запела. Голос у нее был грудной, мелодичный и взволнованный:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов...

Все поднялись и встали «смирно». Каменные, покрытые пылью веков стены темного подземелья услышали стройный хор голосов, исполнявших пролетарский гимн. Камень-ракушечник, мягкий, пористый, не отражает, а словно впитывает звуки — и песня звучала, точно придавленная всей толщей земли, как сквозь туман, под сурдинку.

«Интернационал» исполнялся на французском языке.

Когда последний припев отзвучал, все еще постояли минутку в торжественном молчании.

Затем опять заговорил Ласточкин.

— Так вот, товарищи! Сегодня у французов праздник. Полки, прибывшие сюда, участвовали в обороне Вердена — им сегодня вручены победные знамена. После церемонии солдаты и матросы получили отпуска до поздней ночи. Все рестораны и кафе в городе полны солдат и матросов. С ресторанов и кафе мы и начнем. Вы немедленно разойдитесь по этим злачным местам. Подсаживайтесь к компаниям солдат и матросов, вмешивайтесь в их беседу, гуляйте вместе с ними. И постепенно переходите на душевный и откровенный разговор. Будьте осторожны! Не лезьте на рожон! — Ласточкин минуту помолчал.— Но и не преувеличивайте опасности. Перед вами французские рабочие и крестьяне в солдатских мундирах. Они воюют пятый год, война им осточертела, они хотят домой и не очень-то рады своему пребыванию здесь. Если они не понимают, что сюда они

приехали на чужую войну, что невольно превратились в палачей украинских рабочих и крестьян, найдите способ это им прямо сказать. А дальше нетрудно будет намекнуть и о том, кому эта интервенция нужна там, во Франции, и здесь, в России. С этого начинается ленинская речь к простым сердцам, товарищи...— Опять помолчав, Ласточкин прибавил: — Опасность одна: провокатор! Будьте начеку и держите себя в руках, товарищи!.. Если же все-таки и случится провал, каждый из вас твердо знает: он ни с кем не связан, он высказал только собственное мнение... «Никого не знаю!» — с этим большевик-подпольщик умрет под самыми тяжкими пытками.

Он умолк. Молчали все.

Взволнованное молчание длилось долго. Каждый думал о себе, но мысль была у всех одна: «Как мне выполнить это поручение партии самым лучшим образом? Хороший ли выйдет из меня агитатор, конспиратор?» Ласточкин же думал о всех... Дойдет ли до французского солдата агитация женщины — Жанны? Не стар ли для такой живой и активной работы солидный и положительный Алексей? Не слишком ли горяч увлекающийся юный Витек? Не будет ли нарушающей конспирацию приметой то, что Абрам немного прихрамывает? Сбрить ли Жаку из соображений конспирации бороду, или, может быть, в самом деле, из этих же соображений, оставить ее?

— Все готовы? — спросил Ласточкин.

— Все! — ответил каждый за всех.

— Кто сомневается в своих силах, пусть тут же скажет об этом прямо.

Ласточкин подождал. Но все молчали. Все верили в свои силы. Все готовы были выполнить поручения партии.

— Тогда что ж...— поднялся Ласточкин.

Все встали.

Галя тоже встала. Жак бросил на нее тревожный взгляд. А как же Галя теперь будет здесь одна за двоих?

В тесный штрек из галереи редакции выходили по одному с короткими интервалами, чтобы не натыкаться друг на друга в темном лазе. Каждый пожимал руку Гале, остававшейся здесь, и нырял в черную дыру. Ласточкин выходил предпоследним.

— Ну, девочка,— пожал он Гале руку,— будь здорова! Надеюсь, что за денек-другой мне удастся раскопать еще парочку знатоков французского языка. Тогда пришлю тебе в помощь. А пока... управляйся одна...

— Хорошо! — отвечала Галя.— Все будет сделано.

— Идем, Жак!

— Иду! Вот только передам здесь... бумаги...

Ласточкин нырнул в темный лаз. Тогда Жак решительно подошел к Гале и схватил ее в объятия. Галя уперлась руками ему в грудь, но не стала сопротивляться, когда он ее поцеловал.

— До свидания, Галя! — прошептал Жак.— Как только выпадет случай, я буду появляться здесь и... помогать тебе.

Он заглянул ей в глаза.

— Об этом ты не думай,— прошептала Галя, не пряча глаз.— Милый Жак, иди, делай, что надо! А там... будет видно.

Она поцеловала Жака.

В этот момент из штрека снова показался Ласточкин.

— Я тоже хочу с тобой как следует попрощаться! — сказал он весело.— А то мне показалось, что ты на меня сердишься.— Он подошел к Гале, которая уже выскользнула из объятий Жака.— Обещаю тебе, как только найдется кого посадить на литературу, я вытащу тебя наверх, на живую агитацию.

— Спасибо.

— Ну, Жак, целуй Галю, и пошли!

Ласточкин снова нырнул в темный лаз.

Галя положила голову Жаку на плечо, и они секунду постояли так — молча и, может быть, даже бездумно. Тишина подземелья окружала их, и в этой мертвой тишине им хотелось молча послушать громкий голос сердец.

Потом Жак зашептал, словно боясь кого-то спугнуть или доверяя Гале великую тайну:

— Галя! Теперь ты сможешь убедиться, что это не я...

Галя посмотрела Жаку в лицо.

— О чем это ты, Жак?.. Ах, о цветке!..

Она тихо и нежно засмеялась.

— Спасибо тебе, Жак, за цветок! Не сердись, что я на тебя рычала.

Она снова склонила голову Жаку на плечо и прошептала еще тише:

— Мне было очень приятно, что цветок каждый день появлялся... Жаль, что теперь его не будет.

— Будет! — все так же чуть слышно прошептал Жак.— Попрежнему будет каждое утро...

Галя откинулась и взглянула на Жака.

— Откуда, Жак?.. Разве это и в самом деле не ты?

В ее голосе слышалось разочарование.

Жак замялся.

— Я. То есть не я, но... конечно, я. Видишь ли... Словом, цветок каждое утро будет у тебя на столе.

Галя рассердилась.

Жак махнул рукой и наклонился к Галиному уху:

— Цветы ставил я. А приносили мне их для тебя наши пересыпские девчата из «издательства». Ведь они по очереди выходят на поверхность...

Галя молчала, не поднимая головы с плеча Жака.

— Какие славные девушки! — наконец, растроганно прошептала она.— Как я им благодарна!

Галя обняла Жака, крепко поцеловала, минутку пристально

смотрела ему в глаза, затем легонько толкнула его к выходу.

На пороге Жак остановился, и они еще раз поглядели друг другу в глаза. Потом Жак исчез в темном лазе.

Галя тоже следом за ним сделала несколько шагов и остановилась у входа. Ей хотелось посмотреть, как постепенно растает фигура Жака в черной мгле подземелья. Но из ярко освещенной пещеры она увидела черный проем и больше ничего: даже очертаний фигуры нельзя было различить в густом мраке... Когда глаза ее привыкли к темноте, она заметила, как где-то далеко, в глубине, блеснул на миг луч электрического фонарика. Но сразу же и исчез — не то погашенный, не то скрывшийся за изгибом штрека. Галя постояла минутку и вернулась к столу.

В пещере ярко светила лампа-«молния». На каменном столе лежали бумаги — двумя пачками: перед ее местом и перед местом Жака. Тихо было в катакомбах, ничто не нарушало мертвой тишины подземелья — разве что иногда чуть шелестел, осыпаясь, сухой ракушечник. Громко тикали часы у Гали на руке. Странно: у Жака тоже были часы на руке, выходит — было здесь даже двое часов, а Галя... не слышала их тиканья в тишине до сих пор, пока они были здесь с Жаком вдвоем...

Галя посмотрела на часы. Была половина седьмого. В городе в эту пору уже зажигались огни: бусы фонарей вдоль тротуаров, яркие рекламы в витринах, светлые четырехугольники окон в жилых домах. Как уютно там, за этими освещенными четырехугольниками, в квартирах! Как весело за яркими рекламами витрин — в магазинах, театрах, кафе!.. И товарищи сейчас уже там — на поверхности, на земле, где свет и люди. С живыми людьми ведут они сейчас живую беседу...

Галя еще минуту постояла. Потом вздохнула, подошла к своему каменному столу, придвинула к себе бумаги Жака и села на свой каменный стул...

Товарищи тем временем уже прошли темный лаз и собрались в гроте у выхода на поверхность.

Ласточкин осветил всех своим фонариком, затем фонарик погасил. В пещере стало совсем темно, и Ласточкин сказал:

— Выходить по одному. Интервал две минуты. На трамвайной остановке держаться, конечно, порознь. Ехать до Дерибасовской. Разойдетесь по дешевеньким городским кафе и трактирам в порту. В фешенебельные рестораны не нужно. Ориентироваться на месте.

Он помолчал минуту и спросил:

— Письмо товарища Ленина к американским рабочим все читали?

Все ответили, что читали.

— Это в такой же мере может быть обращено и к французам и к англичанам. Используйте при случае. Вот и все, товарищи. Завтра в двенадцать, тут же...

Он вышел первым.

На земле был уже вечер, но все равно, выйдя из катакомб, нельзя было сразу не зажмуриться. Стояла зима, и все было покрыто снегом. После черной тьмы подземелья снег даже ночью казался таким яркобелым, что на него больно было смотреть.

Был вечер, лежал снег, легкий морозец приятно пощипывал уши, ясное холодное небо было усеяно мириадами зеленоватых звезд. После низких сводов катакомб небо казалось таким высоким, а звезды такими далекими, что сердце сразу переполнялось чувством невыразимой легкости. И каждый, выходя из-под земли на поверхность, прежде всего вздыхал глубоко, полной грудью.

Тихо было кругом — и над широким плесом лимана внизу, и позади, под обрывами Жеваховой горы. Только промерзший снег повизгивал под ногами.

Один за другим выходили товарищи из лаза, выбирались из кустов, которыми заросло здесь подножие Жеваховой горы, согнувшись, перебегали вдоль заборов пригородных усадеб и выходили на дорогу. Степь перерезала трамвайная линия от железной дороги к лиману, и то тут, то там над дорогой загорались и меркли синие электрические вспышки.

4

Когда Жак заглянул в подвальчик «Гамбринус», он сразу понял, что попал куда надо.

В низкой, под сводами, узкой и темной харчевне было полно французских солдат и моряков. Людей было так много, что вокруг больших бочек, которые служили здесь столами и рассчитаны были на трех-четырех посетителей, сидело и по шесть и по восемь человек. Сидели не только на маленьких бочонках, заменявших здесь стулья, но и на табуретках, и просто на досках, положенных на два бочонка. Табачный дым висел тяжелыми «грозовыми» тучами над головами людей под низким потолком. Шум стоял такой, что трудно было услышать даже ближайшего соседа. Все говорили сразу, стараясь перекричать друг друга, звенел смех, кто-то кого-то ругал, кто-то пытался петь, а на маленькой эстраде, сооруженной из нескольких положенных на бочки досок, танцевала полуголая женщина, и ее движения то и дело вызывали дружные аплодисменты и одобрительные возгласы. Французские пуалю и французские матльо веселились на славу. Пили желтое, как крепкий чай, сквирское вино — бочковое, из подвалов Синадино. Штатских — местных рабочих и людей неопределенной уличной внешности — было в подвале немало, и сидели они не обособленно, а вперемежку с французскими солдатами и матросами.

Жак отметил это с удовлетворением. Итак, знакомство за

стаканом вина уже имело место, и не было необходимости изобретать способ, как подсесть к французской компании и завязать разговор. Можно было просто поискать, где есть свободное местечко у бочки, раздобыть себе какое-нибудь сиденье и заказать кружку для себя и соседей.

Жак так и сделал. Достав себе колченогую табуретку, он протиснулся к бочке, где сидело четверо матросов и один солдат.

— Камрад! — крикнул Жак весело, голосом чуть захмелевшего человека.— Нельзя ли мне пришвартоваться к вашему бочонку?

Французский язык в устах человека в городской одежде сразу обратил на него внимание. Четыре матроса и солдат с любопытством посмотрели на вновь прибывшего и охотно потеснились.

— Вы говорите по-французски? — заинтересовался солдат.

— Да, болтаю немного,— бесшабашно отозвался Жак и с размаху сел на свой табурет.

Усевшись, он весело и доброжелательно оглядел своих соседей.

— Ну как, парнишки, вам здесь живется? Климат? Харч? Девчонки?

— Климат холодный, харч теплый, а девушки горячие! — шутливо отвечал солдат, так же доброжелательно глядя на Жака.

Жак снова отметил, что ему не придется насиловать себя, разыгрывая дружелюбие. Перед ним сидело пятеро интервентов, солдат вражеской армии, которые с оружием в руках незваные пришли на его землю и собирались завоевать его родной край. Но, ей-же-ей, к этим четырем матльо в беретах с помпонами и пятому — пуалю в голубом мундирчике он, Жак, патриот и большевик, не испытывал ни малейшей враждебности. Наоборот, французы сразу показались ему симпатичными. Славные, должно быть, ребята — рыбаки с Атлантического побережья или виноградари из департамента Бордо. Неужели же эти славные ребята не захотят повернуть штыки против своих генералов и офицеров?

Солдат разглядывал Жака светящимися любопытством глазами. Он был уже навеселе — в кружке перед ним оставалось только на донышке.

— Наконец-то,— крикнул он,— вижу здесь человека, который говорит по-французски! Нам прямо повезло. Хоть расспросим — что здесь в конце концов происходит и куда мы собственно попали?

Жаку тоже как будто повезло: парень прямо напрашивался на разговор, ради которого Жак и пришел сюда. Или, может, следует поостеречься? Может, парень как раз из полевой полиции? Жака немного беспокоило то, что между четырех матро-

сов почему-то оказался один солдат-пехотинец. Матросы всех флотов мира всегда держатся особняком от сухопутной «снасти».

Но в это время заговорил уже и один из матросов, горбоносый, сухопарый, черный, как жук,— несомненно, марселец испанской крови.

— Будь я проклят,— сказал он,— но вы говорите так, словно родились между Тулузой и Монпелье. Вы либо француз, либо матрос. Во всяком случае, вам доводилось есть в Марселе макароны с томатами. Пусть мой труп сожрут крабы, если это не так!

— Макароны с томатами у тетки Виктории в таверне «Последний причал»? — сразу же подхватил Жак.— Или вы имеете в виду вертеп старого Мака на пристани итальянского каботажа?

Все четыре матроса разом взглянули на Жака.

Второй матрос — с маленькими подстриженными усиками — хлопнул ладонью по бочке:

— Я готов сесть верхом на акулу, но вы — марселец!

— Пусть ваша акула сперва мной позавтракает! — в тон ему отозвался Жак.— Но я точно такой же марселец, как порториканец или сингапурец. Ребятки,— спросил он с серьезным видом, но заговорщически подняв бровь,— а вы в «Разбитом горшке» не встречали малютку Мими? Черненькая такая, и на левой щеке родинка. Очень беспокоюсь, не родилась ли у нее после нашей последней встречи двойня!

Матросы и солдат весело захохотали.

Третий матрос — рыжий и конопатый — треснул Жака по спине так, что тот даже согнулся.

— На какой посудине плавал, камрад?

Жак махнул рукой:

— Всякое бывало! Призывался в Марселе, на корабле «Святая Тереза».

— Гарсон! — заорал первый матрос, горбоносый, стараясь перекричать шум в трактире.— Еще шесть кружек этого гнусного пойла!

На эстраде в это время, вместо танцовщицы, появился куплетист в черном фраке и лаковых башмаках. Он пел и приплясывал. Куплеты он исполнял по-русски, но скабрезный припев ухитрялся произносить по-французски. Зал хохотал и аплодировал. Каждую новую песню куплетист начинал с запева: «И водятся деньжонки, и любят все меня. А почему?» И тут же, приплясывая, отвечал: «Потому, что я Боба Кастоцкий — оригинальный куплетист!» Был этот куплетист невзрачен, лакейского вида, и ни одного пассажа не мог пропеть, не сфальшивив. Брюки у него внизу обтрепались, а под фраком вместо сорочки — грязная манишка, привязанная к голому телу английским шпагатом.

К тому времени, когда шесть кружек сквирского выставлены были на бочку, четыре французских матроса и один французский солдат были уже закадычными приятелями Жака.

Выяснилось, что двое из матросов — марсельцы, а Жак в Марселе прожил около трех лет и плавал матросом на итальянских каботажных судах. Двое других отбывали в Марселе военную службу, а Жак в первый год мировой войны тоже призывался в Марселе. Что же касается солдата-пехотинца, то он оказался родным братом матроса с подстриженными усиками.

Когда кружки наполовину опорожнились, Жак уже был со всеми на «ты», и именно в это время беседа с воспоминаний о Марселе и марсельских кабачках, с расспросов об общих знакомых, о морях и океанах, где они побывали, перекинулась на местные события. Начал опять солдат. Непривычный к далеким путешествиям и долгим отлучкам из дому, он больше, нежели его друзья матросы, страдал ностальгией и, наконец, крепко выругавшись, бросил в пространство вопрос: долго ли еще им шататься по белу свету и скоро ли они вернутся домой, где его ждет невеста, его Марта?

Жак обнял двух новых приятелей за плечи и наклонился над бочкой к трем остальным.

— Ребята! — сказал он.— Можете выкинуть меня за борт, но, честно говоря, я никак не пойму: какого черта вы сюда приперлись?

Все пятеро французов разразились соленой бранью, а горбоносый матрос — его звали Мишель — сказал за всех:

— Чего ты прикидываешься камбалой? Или у тебя сардинки в голове плавают? Адмиралы нас не спрашивали, когда отдавали приказ, да и президент не каждый день с нами советуется, кому объявлять войну.

— Но ведь война окончилась! — сделал Жак удивленное лицо.— А новой войны никто никому не объявлял. Россия и Франция — союзники. Пусть меня гром побьет, но ваш президент и адмиралы здесь что-то перемудрили!

— Нам сказали,— хмуро отозвался солдат,— что мы одержали победу над Германией, но должны еще выбить немцев, которые засели здесь, в России, и не хотят убираться прочь. Должны помочь союзнице России. Так и в газетах пишут.

Жак пожал плечами.

— Но ведь немцы спокойнейшим образом стоят в Херсоне и Николаеве. Там и пехота, и артиллерия, и парочка посудин. И с ними никто не воюет. Наоборот, у нас прошел слух, что французы вместе с немцами будут воевать против России.

— Я тоже об этом слышал,— подтвердил рыжий матрос.— У нас в экипаже был об этом разговор: немецкие офицеры ходят по улицам вместе с нашими, как старые друзья.

— А с фронта, из-под станции Раздельная, вернулся третий батальон нашего полка,— сказал солдат,— и привели они трех

пленных — ничуть не немцы, местные землепашцы из окрестных сел. Что правда, то правда, с немцами мы и не начинали воевать, война идет против местных крестьян.

— Здешние рабочие,— отозвался матрос с подстриженными усиками, брат солдата-пехотинца,— видимо, не слишком рады нашему прибытию. Наша посудина здесь с первого дня, и я убедился в этом собственными глазами. Когда мы сошли на берег, была всеобщая забастовка. Потом всеобщая забастовка окончилась, но немало заводов бастуют и до сих пор.

— Ну,— возразил солдат,— это дело другое. Всеобщую забастовку проводили большевики, а теперь заводы бастуют каждый в своих интересах. Разве у нас во Франции мало бастуют? В Париже и до войны каждый день пять — десять заводов выставляли стачечные пикеты.

Солдат говорил, подчеркивая свою компетентность. Он, оказывается, был членом профсоюза электриков, сам неоднократно принимал участие в стачках у себя в Париже и даже собирался записаться в социалистическую партию. К тому же он находился на берегу, а не на морском рейде, казарма его расположена была недалеко от пересыпских заводов, он имел возможность ближе видеть местную жизнь. Он закончил даже с апломбом:

— На заводах бастуют потому, что задерживают выплату денег, потому, что плата вообще низкая, а в городе со дня на день растет дороговизна. Абсолютно справедливые экономические требования.

Жак понял, что именно на этом, пожалуй, и можно дать разговору нужное направление.

— Дороговизна — это верно,— сказал он,— и оплата низка, и задерживают ее акулы-капиталисты. Но не в этом суть, ребята! Требования у стачечников экономические, это правда, да стачки-то совсем не экономические.

— Как же так? — не понял солдат.

— Непонятно! — отозвался и рыжий матрос.— Мы тебя объяснить просим, а ты что-то путаешь. Говоришь, как профсоюзный бонза. Ты говори по-нашему, по-моряцки, прямо.

Говорить и в самом деле надо было прямее. Французские солдаты и матросы сызмальства наслушались разглагольствований профсоюзных бюрократов, и разговор обиняками мог создать только еще бо́льшую путаницу в их затуманенных стараниями социал-соглашателей мозгах.

Жак минуту поколебался, потом сказал:

— Хотите — верьте, ребята, хотите — нет, у вас свои головы на плечах, но дело здесь и в самом деле запутанное. Экономические требования забастовщиков, конечно, совершенно справедливы, но есть тут и хитрость одна: сладкими речами глаза отвести. Были бы стачки под политическими лозунгами, ваше командование бросало бы забастовщиков в тюрьмы,

а то и расстреливало бы, по законам военного времени. А стачек под экономическими лозунгами военное командование республиканской Франции запретить не может. Вот стачки и проводятся под экономическими лозунгами.

— Пусть меня крабы живьем съедят,— рассердился рыжий матрос,— но я все равно ничего не понимаю. Для чего же тогда стачки? Какая у них цель?

— Это стачки политические,— сказал Жак и взялся за кружку.— Глотнем, ребята, а то вино киснет.

Все выпили. Матрос, брат пехотинца, спросил:

— Политические? Какой им еще нужно политики?

— Народной! — отвечал Жак и снова поднял кружку.— Ваше здоровье!.. Народ демонстрирует свое единство, силу и свой протест.

— Погоди! — опять остановил его рыжий.— А чего ж хотят рабочие?

Жак поставил свою кружку на бочку, отодвинул ее и посмотрел на собеседников. Разговор развивался именно так, как надо, и подходил к кульминационному пункту. Верно ли он действовал? Имел ли право быть откровенным до конца? По тому ли адресу направлены его слова? И не подвох ли здесь опытного провокатора?

Матросы и солдат смотрели на Жака, доверчиво ожидая ответа. Были они, кажется, славные и простые ребята — чистые сердцем и бесхитростные.

Глядя прямо на своих новых приятелей, Жак сказал:

— Рабочие хотят прежде всего, чтобы все вы, славные французские парни, убрались отсюда к чертям собачьим!

Он улыбнулся.

— К себе во Францию, домой, к женам и детям... Чего вы и сами хотите!

Четвертый матрос, который все время молчал, не проронив ни слова, только с любопытством прислушиваясь к общей беседе, вдруг угрюмо произнес:

— Похоже на то, что нас, ребята, собираются выгнать отсюда. Чтоб мне дома своего не увидеть, но нас здесь принимают не очень радушно.

Горбоносый Мишель с сердцем рубанул рукой воздух и свирепо посмотрел на своего товарища.

— Что у тебя, глаза солью повыело? Или ты на дне моря живешь? Правды не видишь своим рыбьим глазом? Ехали мы сюда как герои-спасители, а приехали — смотрим, нас, моряков, в береговую полицию записали.

Жак внимательно вглядывался в горбоносого Мишеля. Был он из всех них самым горячим, уже с начала разговора высказывал свои мысли прямо и, кажется, сам уже начинал разбираться в обстановке. Его политические симпатии не вызывали ни малейшего сомнения.

Как бы в подтверждение этих мыслей Жака, горбоносый Мишель, опять рубанув воздух рукой — у него была такая привычка: подкреплять свою речь решительным и сильным взмахом руки,— прибавил:

— Будь я проклят, но если бы кто-нибудь вот так же приперся в Марсель, как мы с тобой сюда, я бы тоже, может быть, пожелал ему чертей собачьих на дорогу.

Четвертый матрос, который все молчал, нехотя огрызнулся:

— Да ну вас! Завели шарманку, хоть спать ложись. Ну, наврали нам, что идем гнать немцев. Не один ли черт? Будем гнать большевиков. Скорей бы только с этим покончить — и адьё. Вернемся — ты к Марте, а я к Сюзанн. Нас здешний народ еще и поблагодарит, что мы выгнали разбойников-большевиков.

— Большевики, большевики! — рассердился рыжий.— А ты знаешь, кто они, эти большевики? Пусть меня крабы живьем съедят, но я не знаю, что это такое — большевики!

Жак спросил молчаливого матроса:

— А где же эти большевики, которых вам нужно гнать?

Матрос, пожав плечами, нехотя ответил:

— Как где? На фронте. В России...

— А здесь их разве нет?

Матрос опять пожал плечами.

— Может быть, и здесь есть. Откуда мне знать?

— Есть и здесь! — компетентно заявил солдат.— Говорят, у них под городом банды: грабят, убивают людей, всех женщин хотят сделать общественной собственностью...

— Ну, это дело такое,— игриво подмигнул рыжий,— что, знаете, надо еще разобраться: может быть, здесь есть резон...

Все улыбнулись.

— Я думаю, это вранье! — возразил Мишель.

Жак обратился к молчаливому:

— Ты сказал, приятель, что рабочие должны быть благодарны за то, что вы собираетесь защитить их от большевиков?

— Ну конечно,— угрюмо отвечал тот, ему уже надоел этот разговор.— Кому охота, чтобы его терроризировали разбойники.

— А знаешь ли ты, что рабочие не хотят, чтобы их защищали от большевиков?

— Что ж, они сами разбойники? — уже сердито и грубо огрызнулся матрос.

— Нет,— отвечал Жак,— обыкновенные рабочие, такие же, как в Париже или Марселе. Но они сами большевики.

Минуту длилась пауза. Сердце у Жака колотилось. Не слишком ли далеко он зашел? Не чересчур ли откровенен? Не роет ли он сам себе яму?

Все с интересом смотрели на Жака.

— Ну, уж это ты перехватил! — сказал солдат.

Брат его, матрос с усиками, тоже поддержал, сказав примирительным тоном:

— Перехватил! Никогда не поверю, чтобы все здешние рабочие были разбойниками по натуре. Может быть, и есть, но чтобы все...

— Все! — решительно сказал Жак.— За очень незначительными исключениями. Только не разбойники, а большевики. Это вам ваши генералы и адмиралы дурят головы, что большевики разбойники!..

Все смотрели на него с явным любопытством, и Жак прибавил:

— Вы спросили, и я ответил. Можете выкинуть меня за борт, но я сказал святую правду.

— Чего ж они хотят, рабочие? — поинтересовался рыжий.— И кто такие большевики? Я все, пусть едят меня крабы, спрашиваю, а ты вертишь дырку на месте. Никак не пойму!

Жак ответил вопросом:

— А ты в Париже ходил к стене Коммунаров?

— Не бывал я в Париже,— сказал матрос.

Но сразу же отозвался солдат:

— Я в Париже жил, работал на заводе Рено, каждый год мы ходили к стене Коммунаров большой демонстрацией...

Он хотел продолжать о демонстрации, но Жак его перебил:

— А чего хотели парижские коммунары, знаешь?

На этот вопрос ответили все. Даже молчаливый матрос пожал плечом: кто, мол, этого не знает!

— Так вот,— сказал Жак,— если знаете, так зачем же спрашиваете, чтоб вас крабы, и правда, живьем ели! Рабочие — везде рабочие, что в Париже, что в Марселе, что здесь, на Украине, в Одессе, в Киеве, или в России — в Москве и в Петрограде! И рабочие здесь против того, чтобы вы выгоняли большевиков. Но только большевики не разбойники, как болтают ваши генералы, адмиралы и капиталисты. Они просто хотят, чтоб власть принадлежала не капиталистам, фабрикантам и буржуазии, а народу. Вот чего хотят большевики, вот кто они такие!

Жак взял свою кружку и выпил ее до дна.

Сердце у Жака стучало так, что трудно было вздохнуть. Возможно, он был не слишком тонок в своих агитационных приемах. Но перед ним сидели люди из народа — французские крестьяне и рабочие, только в мундирах солдат оккупационной армии,— и головы их были затуманены подлой пропагандой, а глаза застилала пелена лжи. Черт побери! Если б не было этой пелены на глазах и тумана в голове, то не нужно было бы и идти к ним с агитацией. Вот только благополучно ли все это кончится? Не придется ли плыть отсюда, из кабака, кильватерным строем — в контрразведку?

Горбоносый Мишель вдруг снова рубанул рукой воздух.

— Пусть не найду я могилы на дне моря, пусть зароют меня в вонючую землю, но правда где-то здесь, рядом! Мир темен, как ночь, в мире все запутано, как двойной узел, но парень-таки знает, где правда! Ребята! — обратился он вдруг к товарищам.— Вот если бы к нам в экипаж пришел этакий дружок и рассказал, что и к чему на свете делается, что происходит и здесь, в чертовой Одессе? А? — Он обернулся к Жаку.— Понимаешь, приятель? Сердце у каждого не на месте, ребята наши волнуются: зачем сюда приехали, какого черта собираемся воевать против большевиков, что это за большевики? Муть перед глазами, ничего не видно! — Он опять обратился к своим: — Мариус! Поль! Жюльен! Поблагодарили бы ребята, если б привести толкового человека, чтобы рассказал, а? Будь я проклят, но это было бы здорово!

— Что ж,— спокойно сказал Жак,— если позовете в гости, можно и прийти...

— Ты бы пришел? — кинулся к нему Мишель.

— Пришел. К своим ребятам почему не прийти?

Молчаливый матрос скептически пожал плечами:

— Кто же его пустит?

— Не пустят,— подтвердил рыжий.

Матрос с усиками молчал. Горбоносый Мишель озабоченно почесывал затылок.

Тогда Жак почувствовал, что нужно взять инициативу в свои руки.

Он дернул плечом.

— Была б охота... Разве не случается, что кто-нибудь проходит без разрешения на корабль?

Матросы отрицательно покачали головами.

— У нас так не бывает,— мрачно констатировал матрос с усиками.

Жак подмигнул:

— Забыл — в Марселе? Как приводили девчонок в кубрик?

Смех пробежал среди матросов. Когда эскадра во время войны стояла в Марселе, матросы военных кораблей приводили к себе на корабль веселых девиц, переодев их в матросскую форму.

Горбоносый Мишель смотрел на Жака понимающим и заговорщицким взглядом. Он уже догадался, в чем дело, и идея Жака пришлась ему по душе.

Жак спросил:

— Отпуска на берег дают сейчас на каждого в отдельности или на группу?

— Отдельно — редко, чаще — на команду.

— На сколько самое большое?

— Ну, на десяток.

— А если с берега вернется одиннадцать? Разве вахтенный

на сходнях такой уж арифметик? Что он, кончал математический факультет?

Матросы засмеялись. Именно так делали тогда в Марселе: одиннадцатой проходила девка в матросских штанах.

— Надо ведь и на берег вернуться,— предусмотрительно напомнил матрос с усиками.

— Можно подождать, пока другая команда пойдет на берег.

— Будь я проклят! — крикнул Мишель.— Дело!

Молчаливый матрос скептически рассматривал наружность Жака.

— У нас бородатых матросов нет! — вставил он свое замечание.

— Бороды завтра не будет! — сказал Жак.— Для своих парней можно пожертвовать мужским украшением.

Все засмеялись.

Мишель живо оглядел товарищей. Он не мог усидеть на месте. Идея его захватила.

— Матросы! Сделаем, а?

— Попробовать можно,— согласился рыжий.

— Как бы не провалиться,— осторожно сказал матрос с усиками.

Молчаливый вдруг сердито огрызнулся:

— Ветра бояться — в море не ходить!

Тогда Мишель грохнул кулаком по бочке так, что кружки подскочили.

— Есть — ветра не бояться, есть — в море идти!

Он произнес это так, как матрос, принимающий приказ от командира. Выполнение он брал лично на себя.

— Завтра я тебе вынесу робу! — решительно объявил он Жаку.

Солдат, пока матросы обсуждали свои дела, молчал. Теперь он заговорил, не скрывая зависти:

— Здо́рово! Вот бы и нам так. У нас, знаешь, ребята тоже интересуются и беспокоятся по поводу событий...

Жак хлопнул его по плечу.

— А ты не горюй! Хочешь, я тебя с одним парнем познакомлю? Такой, что придет и к вам в батальон.

Жак собирался сразу же и договориться, но в этот момент оригинальный куплетист Боба Кастоцкий снова появился на эстраде и визгливо отпустил что-то такое, отчего весь зал закатился хохотом.

— Что он сказал? Что он там мелет? — заинтересовались матросы, недослышав.

Дерзкий бесенок вдруг проснулся у Жака в груди. Жаку было весело, Жаку было радостно, восторг захватил его. Ему не терпелось выкинуть какой-нибудь фортель, чтобы излить свою радость, свой восторг.

— Что он там мелет, не знаю! — бросил он своим прияте-

лям, стараясь перекричать шум в зале, визг куплетиста и грохот разбитого пианино.— Но что я молоть буду, вы сейчас услышите. Только, договорились, ребята, подтягивать дружно!

Жак сорвался с места, протиснулся между бочками и вскочил на эстраду. Одной рукой он оттолкнул оригинального куплетиста Бобу Кастоцкого, другой снял пианистку с ее стула и поставил рядом, прислонив к пианино, а сам хлопнулся на ее место и ударил по клавишам.

Пока оригинальный куплетист и его не менее оригинальная аккомпаниаторша обалдело оглядывались, что же такое произошло, Жак уже запел полным голосом, сам себе аккомпанируя.

Зал, который на появление Жака на эстраде и его не слишком учтивое обращение с куплетистом и аккомпаниаторшей реагировал взрывом свиста и хохота, притих, когда Жак взял аккорд. Но когда Жак проиграл вступительный пассаж и запел первую строчку, в зале послышались аплодисменты, приветственные возгласы, а какой-то звонкий голос в углу присоединился к песне.

Мелодия была хорошо знакома французским солдатам и особенно матросам. Это был мотив популярной марсельской песенки: «Море спит в тишине, чуть вздыхая во сне...» — его насвистывали и напевали на всех причалах марсельского порта. Когда куплет был окончен, припев подхватили десять или пятнадцать голосов. Новые приятели Жака пели особенно рьяно. Но, допев первый куплет, Жак не начал второго — про матроса и его несчастную любовь. Жак запел новый куплет — слова, которые только что экспромтом возникли у него в голове:

Реки вин дорогих вечно только для них,
Горы яств дорогих вечно только для них,
И палаты-дворцы тоже только для них.
    Нужда, горе для нас,
    Слезы тоже для нас,
    Ну, а кровь проливать — это мы, мы опять...

Жак пел полным голосом, отчетливо кидая в толпу новые слова. На минуту пение в зале расстроилось, оборвалось: люди услышали, что слова звучат незнакомые, новые. Но новые слова песни сложились у Жака на арго — близком, понятном французским матросам диалекте парижской улицы. И через минуту, когда Жак еще раз повторил новый куплет, голоса опять зазвучали, подхватывая новые слова старой, знакомой песенки. Когда Жак пропел новый куплет в третий раз, зал пел уже весь — дружным и стройным хором:

Нужда, горе для нас,
Слезы тоже для нас,
Ну, а кровь проливать — это мы, мы опять...

Буря рукоплесканий, приветственных выкриков, одобрительного свиста разразилась, когда Жак закончил и встал.

Французские матросы и солдаты топали ногами, дубасили кулаками по звонким днищам бочек, кричали во все горло. Родной напев было особенно приятно услышать здесь, вдалеке от родины, новые слова на родной мотив тоже пришлись по сердцу. Зал требовал повторения.

Жак вынужден был снова сесть за пианино и исполнить песенку на бис. Теперь зал пел совсем хорошо, точно повторяя новые слова песни за Жаком. Нашелся даже дирижер: какой-то матрос вскочил на бочку и размахивал руками, управляя импровизированным хором.

Но и после вторичного исполнения песни Жака не хотели отпускать с эстрады. Слушатели требовали еще.

Жаку пришлось одну за другой исполнить песенки Беранже «Король Иветто» и «Марионетки», любимые на парижских бульварах и в доках Марселя.

Эти песенки, впрочем, не были так широко популярны. Зал слушал внимательно и откликался одобрительными аплодисментами, но подтягивали песне немногие.

Тогда — под конец — Жак взял звучный аккорд и запел песню Беранже «Священный союз народов». Песню эту в годы войны французские интернационалисты распевали как антивоенный гимн:

Видел я: мир воротился на землю...
Золото нес он, колосья, цветы.
Смолкли и пушки, и ружья... Я внемлю
Голосу, шедшему к нам с высоты.
Молвил он: «Все вы равны от природы,
Русский и шваб, итальянец, француз...

И тогда весь зал громко и дружно подхватил популярный припев, который в семнадцатом — восемнадцатом годах звенел по всему франко-германскому фронту — на берегах Мааса и Марны, у Атлантического океана и Средиземного моря:

Будьте дружны и сплотитесь, народы,
В новый священный союз!»

Буря аплодисментов, оглушающий топот ног завершили песню.

Под одобрительные возгласы, отвечая на горячие приветствия и рукопожатия со всех сторон, Жак сошел с эстрады, едва пробился сквозь толпу и вернулся к своей компании.

Новые приятели встретили Жака возгласами «виват», затем подхватили его на руки и стали качать — пока Жак не взмолился о пощаде.

Будьте дружны и сплотитесь, народы,
В новый священный союз!

Этот припев вспыхивал еще не раз.

Только когда появилась в кабачке четверка ажанов полевой жандармерии, французские пуалю и матросы притихли и

обратились опять к своим кружкам с мутным сквирским вином.

Выходили из кабачка поздно, условившись, что завтра в двенадцать горбоносый Мишель вынесет Жаку форму французского матроса и вечером с группой отпускных, возвращающихся на корабль, Жак придет на линкор «Франс». Солдату Жак пообещал, что завтра утром познакомит его с одним товарищем, который придет в казармы батальона для беседы с солдатами-пехотинцами.

Когда на углу Дерибасовской и Градоначальницкого спуска все обнимались, прощаясь уже в третий раз, горбоносый Мишель, припав губами к уху Жака, спросил:

— Жак, скажи правду: ты большевик? Будь я проклят, если ты не большевик!

— Ну ладно,— засмеялся Жак,— ты не будешь проклят. Я большевик.

Мишель в ответ на слова Жака ничего не сказал, только блеснул горячими глазами и так ударил его по спине, что крепкому Жаку еще раз пришлось съежиться.

После этого, взявшись под руки, четыре матроса, покачиваясь, побрели по спуску вниз, к гавани, к катеру у Платоновского мола, который должен был доставить их на Малый рейд — на корабль.

5

Жанна Лябурб попала в Оперный театр.

В Оперном театре местное самоуправление давало сегодня торжественный концерт для героев обороны Вердена, праздновавших день победы и награждения полков почетными знаменами за героическую верденскую эпопею.

Попасть в театр удалось Жанне совсем легко. Она просто подошла к главному подъезду и подождала, пока к входу приблизится большая группа французских солдат. Солдаты, заметив женщину, по своему французскому обычаю, не преминули бросить по ее адресу несколько галантных, хотя и не вполне пристойных шуток. Жанна сказала:

— Легче на поворотах, мальчики. Я француженка и каждое ваше слово понимаю и прямо и навыворот...

Парижская речь Жанны говорила сама за себя, и спустя минуту она была уже окружена толпой пуалю. Ничуть не смутившись оттого, что их двусмысленные шутки попали в цель, пуалю очень обрадовались, что вдруг в Одессе, вдали от родных берегов, встретили свою соотечественницу.

Через несколько минут Жанна была уже с солдатами на галерее.

Роскошный зал одесской оперы, казалось, по мановению волшебного жезла, был перенесен с одесского берега на париж-

ские бульвары. Ложи бенуара и бельэтажа сверкали шитьем офицерских мундиров и эмалью и золотом орденов, в креслах партера расселись сержанты пехоты и старшинский состав корабельных команд, на ярусах тесно разместились солдаты и матросы рядового состава — без серебряных нашивок и золотого шитья.

Единственным штатским в театре был председатель городской думы, «мэр» города Брайкевич. После поднятия занавеса он должен был выйти на авансцену и обратиться к французским воинам — офицерам и солдатам оккупационной армии — с приветственной речью «от глубины сердец российской общественности», в которой должен был выразить величайшую благодарность славным героям Франции за освобождение Одессы от варваров большевиков.

По вестибюлям и проходам ярусов все время прогуливались ажаны полевой жандармерии, следя, чтобы в театр не проник кто-нибудь из местных жителей, и потому новые друзья Жанны, пуалю Сто семьдесят шестого пехотного полка, усадив свою соотечественницу на стул возле барьера, тесно обступили ее со всех сторон, да еще надвинули на ее кудри кепи капрала.

«Мэр» города мосье Брайкевич еще на сцене не появлялся, до начала еще было время, и новые приятели Жанны наперебой расспрашивали ее, заинтересованные тем, как она попала сюда, за тридевять земель от родных мест, и что она тут делает. Этот вопрос задавал ей каждый по очереди, приходилось все время повторять одно и то же, и потому Жанна решила просто рассказать свою биографию — сразу для всех. Толпа солдат сгрудилась вокруг нее, и она начала:

— Я родилась в городе Лапалис, неподалеку от Виши...

— О! — сразу же нашелся земляк.— Это в департаменте Аллье? Я тоже из департамента Аллье. Лапалис от нас только в двух лье на север, по направлению к Виши!

Встреча с земляком сделала Жанну еще более близкой, и кружок вокруг нее сбился еще теснее.

— Девочкой я работала в прачках вместе с матерью, потом научилась гладить кружева — для буржуа, которые лечились в Виши на водах...

— О! — послышалось из толпы.— Моя сестра тоже работала утюгом, занимаясь кружевами. Только в Байоне, возле Сен-Себастьяно! Дьявольская морока: сожжешь все пальцы, а прихватишь кружево — штраф! Они чертовски дорогие, эти кружева! Сестра бросила это дело, ей не хватало заработанного даже на штраф...

— Я тоже только и мечтала, как бы развязаться с этими кружевами,— сказала Жанна,— но больше делать было нечего. И потому, когда мне одна русская барыня, московская купчиха, предложила стать у нее камеристкой, я тут же бросила свой утюг и пошла к ней в услужение.

— Прислугой тоже не легко,— подал реплику какой-то пожилой солдат, грустно поглядев на Жанну,— особенно у буржуа. Иветта, моя старшая дочка, и до сих пор работает прислугой в Бордо, у мадам Пижу, жены ювелира; плачет, бедняжка, горькими слезами...

Толпа сбилась еще тесней. Жизнь у всех находившихся здесь была на один лад, а схожесть биографий всегда сближает людей.

Жанна продолжала:

— Но кончился курортный сезон, и русская барыня собралась домой в Россию. Она предложила мне ехать с ней, и я, конечно, согласилась: куда мне было деваться? Мать моя к тому времени умерла, и я была одна на свете, сирота...

Пуалю понуро молчали: сирот среди них было довольно.

— В России я продолжала служить горничной, потом стала гувернанткой при маленьких детях, которых надо было учить французскому языку...

Жанна умолкла. Рассказывать ли дальше? Ведь в Россию она приехала в девятьсот пятом году, стала свидетельницей революции... и начала свой путь революционерки.

Но Жанна недолго колебалась. Может быть, с этого как раз и начнется ее агитационная деятельность? Есть ли аргументы более убедительные, чем собственный пример, чем картинка из собственной жизни?

И Жанна стала рассказывать. Водоворот революционных событий бросил и ее на баррикады. После поражения революции она сблизилась с рабочими кружками. Она продолжала обучать богатых детей французскому языку, а сама бегала в воскресную школу, организованную большевиками для рабочих. Жанна стала членом социал-демократической партии и примкнула к большевикам...

В этом месте рассказа по толпе солдат пробежал шелест:

— К большевикам... Большевики... Большевичка...

— Вы большевичка? — с любопытством спросил ее какой-то солдат.

Но Жанна не ответила на вопрос. Она и так слишком много сказала. Что она могла еще прибавить? Что она работала в подпольных большевистских организациях Петрограда и Москвы до октября семнадцатого года, а в октябре семнадцатого вместе с большевистскими рабочими дружинами дралась на баррикадах, что после победы Октября партия поручила ей вместе с другими французами-коммунистами организовать французскую коммунистическую группу в Москве? Что группа эта проводила работу среди солдат и офицеров французской военной миссии генерала Лаверня? Что благодаря деятельности этой группы удалось предотвратить несколько заговоров французской контрреволюции, которая через военную миссию под-

держивала русских белогвардейцев?.. Этого Жанна рассказать уже не могла.

И потому, не отвечая на вопрос солдата, она только сказала:

— Когда я прослышала сейчас в Москве, что на юг пришла французская оккупационная армия, меня потянуло сюда, к родным людям. Может быть, я буду чем-нибудь полезна французским ребятам, заброшенным далеко от родной земли?..

Жанна, кончив, умолкла. Молчали и солдаты. Они притихли. Сладкая грусть охватила их сердца. Четыре года были они оторваны от родных очагов, четыре года сидели в окопах и проливали кровь неизвестно за что. А их семьи — сестры, жены, матери,— французские женщины тяжело переживали невзгоды военного лихолетья в тылу — в рабочих кварталах городов и в бедных крестьянских селениях... Гнетущая тоска давила их все эти четыре года проклятой войны. Теперь они брошены далеко на чужбину, опять воевать, опять неведомо за что. И теперь они так далеко от своих семей, что меркла уже и надежда когда-нибудь вернуться к ним — к детям, сестрам, женам, матерям — и услышать давно не слышанный родной голос французской женщины... И вдруг они услышали его! Французская женщина сидела среди них, ее мелодичный голос повествовал им о жизни, столь похожей на тысячи и десятки тысяч других... И от звука этого родного голоса становилось как-то уютно, хорошо на душе и тоска теряла свою горечь. Словно каждый услышал голос с далекой родины — голос сестры, невесты, матери...

Эти солдаты прибыли из Франции совсем недавно: некоторые две-три недели назад, другие — несколько месяцев, не больше полугода. Две-три недели тому назад вышел маршевый транспорт пополнения из марсельского порта. Пять-шесть месяцев тому назад были в отпуску те, кто воевал на салоникском фронте. Французская женщина, с которой они встретились сейчас в театре, покинула Францию больше десяти лет назад — очень давно. Но каждому казалось, что это он уже давно из родной Франции, а женщина эта совсем недавно оттуда: позавчера, вчера, сегодня утром. Женщина Франции была с ними — сама Франция как бы встретила их здесь, у чужих берегов...

Оркестр грянул марсельезу, зал загремел. Солдаты вскочили и стали «смирно».

Затем открылся занавес, и на авансцену вышел человек в черном фраке и белой жилетке — в одежде оскорбительно чужой здесь, среди голубых фронтовых кителей пехотинцев и синих матросских курточек. Это был «мэр» города Брайкевич. Он должен был произнести приветственную речь как радушный хозяин.

«Мэр» города поднял руку и закричал:

— Солдатам Франции, героям Вердена — салют!

Жанна сказала тихо, сквозь зубы, но так, что ее услышали солдаты, сгрудившиеся вокруг нее:

— Этот патриот не сидел в окопах Вердена и ни в каких других окопах тоже. Он набивал себе брюхо в тылу.

Среди солдат, окружавших Жанну, пробежал шелест. Брюшко у «мэра» города было — дай бог, не маленькое. Откуда-то сбоку на них зашикали. «Мэр» подумал, что это шикают ему, и растерялся. Чтобы побороть свое замешательство, он закричал еще громче:

— От имени российской общественности — наша благодарность солдатам Франции за спасение от большевистской опасности!

— Для этого типа,— опять процедила Жанна сквозь зубы,— большевики действительно опасны: могут распороть брюхо!

Среди солдат, окружавших Жанну, пробежал смех. Другие, сидевшие дальше, наклонялись и спрашивали: в чем дело, над чем смеются, что там случилось смешного? Им пересказывали, и они тоже смеялись. Смех прокатился из конца в конец галереи. Офицеры из лож бенуара и бельэтажа поднимали головы и недовольно поглядывали на своих солдат.

Преодолевая замешательство, «мэр» города начал свою речь. Французское произношение было у него недурное, но он не был оперным певцом и не умел приспосабливаться к акустическим условиям оперного театра. Он стоял на авансцене и орал изо всех сил, в то время как достаточно было говорить ровным и почти тихим голосом. Голос его гудел и бухал, как из железной бочки. Кроме того, он спешил, и слова догоняли друг друга, наступали друг другу на хвост, перемешивались и искажались, как у заики. В зале вскоре перестали слушать и заговорили между собой.

— Мадемуазель, вы и в самом деле большевичка? — услышала Жанна шепот позади себя.

Она оглянулась. Спрашивал тот пожилой солдат, дочь которого работала прислугой у ювелира Пижу в Бордо. Он смотрел на Жанну грустно, но доброжелательно.

Жанна заколебалась. Что ответить? Признаваться или не признаваться?

Нет, признаваться Жанна не имела права. Но признание это в пылу разговора уже сорвалось с ее уст. Достойно ли теперь отрекаться от него?

Впрочем, солдат и не стал ждать ответа. Пока Жанна раздумывала, он продолжал шепотом:

— Тогда, мадемуазель, объясните мне вот что. Позавчера наш взвод был командирован в село Анатолиевку; там происходило собрание крестьян по поводу фуража, который требовала от крестьян наша ремонтная команда. И вот...

Но в это время другой солдат, сидевший рядом с Жанной, тоже зашептал:

— Мадемуазель, если вы действительно большевичка, вы, очевидно, сможете мне объяснить. Понимаете, сегодня нас послали на завод мосье Ройхварга. Там рабочие бастуют, и на митинге произошли беспорядки. Так вот...

«Мэр» города все еще ораторствовал, его никто не слушал, каждый делал, что ему вздумается,— и у Жанны было время выслушать все обращенные к ней вопросы и тут же на них ответить.

6

В селе Анатолиевке произошло вот что.

Туда прибыла ремонтная команда Сто семьдесят шестого пехотного полка за фуражом.

Солдаты команды прошли цепью через село, и спустя полчаса на площади перед церковью был собран сельский сход; по приказу офицера на сход были согнаны все деревенские жители. Затем солдаты взяли жителей в каре, а офицер взошел на церковную паперть и обратился к крестьянам с речью. Учитель местной школы исполнял обязанности переводчика.

Офицер сказал, что героические войска свободолюбивой республиканской Франции по желанию, выраженному местным населением, прибыли на Украину, чтобы установить порядок, охранять спокойствие ее граждан и защищать их имущество от преступных большевиков. Офицер особенно подчеркнул, что на имущество граждан Украины покушаются русские большевики. После этого офицер довел до сведения крестьян, что всякая армия есть армия, состоит она из солдат и лошадей, что солдатам нужен хлеб, а лошадям — овес. Село Анатолиевка, как и все прочие села, должно, согласно разверстке, которую офицер получил в одесском градоначальстве, выделить для довольствия французской армии тысячу пудов хлеба и две тысячи пудов овса. Офицер заявил, что у него мало времени, и предложил уважаемым земледельцам здесь же, на собрании, выступить и распределить, сколько какое хозяйство должно сдать хлеба и фуража. Снести хлеб по разверстке офицер предложил сразу после собрания сюда же, на площадь, и погрузить на подводы, которые должны дать опять-таки граждане земледельцы. Затем офицер предоставил слово для предложений. Сельский писарь сидел на паперти за столом, чтобы записывать, сколько хлеба и овса приходится с каждой хаты.

Крестьяне не отказались от предоставленного им слова.

Первым выступил дед и заявил, что он по старости лет давно уже плохо видит и плохо слышит, но память еще никогда не изменяла ему и помнит он даже русско-японскую войну и царствование императора Александра Третьего. Од-

нако дед никак не мог припомнить, чтобы местное население, как о том говорил господин офицер, когда-нибудь изъявляло желание увидеть у себя на Украине французов. Дед выразил удивление по поводу речи господина офицера. Он обращался к дедам еще более старым и призывал их тоже напрячь свою память: не припомнят ли они, как старожилы, не было ли когда-нибудь такого случая, чтобы местное население требовало прихода французов в село Анатолиевку? После этого дед начал плакаться: неужто и вправду ему начинает изменять память? И до того разволновался, что совсем забыл о распределении хлеба и овса по реквизиции, махнул рукой и сошел с трибуны.

Вслед за ним слово взял совсем зеленый паренек. Высоким юношеским голосом, волнуясь и даже заикаясь от волнения, паренек, обращаясь к своим односельчанам, кричал, что уже приходили немцы на Украину — устанавливать порядок, охранять спокойствие и защищать имущество. Отца его немцы убили, мать с тех пор лежит больная, хлеб и утварь у него немцы забрали. А теперь французы опять требуют хлеба и фуража. Паренек закончил вопросом:

— Что же это, люди добрые, на свете делается? — И, не обмолвившись и словом о распределении сдачи хлеба по хатам, сошел с трибуны, утирая слезы рукой.

Третьим взял слово степенный дядько в солдатской шинели и в солдатской же ватной папахе без кокарды.

Он заявил, что впервые слышит, будто Россия зарится на Украину, зато не только слышал, но и на собственной шкуре знает, что паны — русские ли, украинские, все едино — всегда зарятся на труд и свободу трудящегося человека, равно русского или украинца. Что же касается большевиков, то он тоже не только слышал, но и своими глазами видел, еще когда гнил в окопах царской войны, что бывают они тоже и русскими и украинцами, и программа у них известная: мир — народам, земля — крестьянам, фабрики — рабочим, пролетарии всех стран — соединяйтесь... Вот он и не понимает, чего это французский офицер так беспокоится о судьбе Украины и так хочет защитить ее от России. По его мнению, пускай бы французы возвращались к себе во Францию и наводили порядок у себя, а украинский народ оставили бы в покое — он уж распорядится у себя на Украине по своему разумению.

— Верно я говорю, люди добрые? — спросил он громко, обращаясь к сходу.

— Верно! — дружно ответили все, и старые и молодые, а дети, как грачи, облепившие ветки деревьев вокруг площади, подняли отчаянный шум и свист.

— Так вот у меня какое мнение,— прибавил еще степенный дядько в солдатской шинели и надел свою ватную папаху, которую скинул, пока говорил с народом.— Так думаю я,

а вы меня все хорошо знаете. От деда-прадеда сидим мы, Жилы, тут на земле и с тех самых пор, как встала здесь в степи наша Анатолиевка, пахали землю-матушку и поливали ее своим потом. Богатели тут на нашей крови паны помещики. Да теперь конец, миновало: совершил трудовой народ Октябрьскую революцию, встал за большевиков и не отдаст теперь своего кровного, тяжким трудом заработанного ни своим панам, ни заморским. Четыре года проливали мы кровь и гнили в окопах за царей и буржуев, да просветили уже нас, спасибо им, большевики: желаем для устройства жизни своей Советской власти и социализации земли! Это говорю вам я, а вы меня, люди добрые, знаете...

— Правильно сказал Жила! Так и будет, как Жила сказал! Триста лет страдали, хватит! Не хотим панов, ни своих, ни чужих! — кричали люди.

А Жила поклонился на все четыре стороны и пошел на свое место.

Офицер стоял на крыльце сельской управы и, одним ухом слушая учителя, старавшегося успеть перевести то, что говорилось, сердито хлестал себя стеком по элегантным, желтой кожи, крагам.

Выступили еще с полдесятка ораторов, и ни один из них и словом не обмолвился о распределении реквизиции по хатам. Зато каждый непременно упоминал в своей речи о Жиле. Кто говорил, что Жилы в Анатолиевке спокон века хоть и бедные хозяева, но исправные хлеборобы. Кто свидетельствовал, что за свой тяжкий труд Жилы только и получали что панские лайки да казацкие нагайки. Кто вспоминал, что Жилам, как и всем мужикам и хлопцам в Анатолиевке, довелось честно отвоевать всю царскую войну — а что они за это имеют? Только крест на груди да раны в груди. А кое-кто и прямо просил Жилу: раз уж он спознался на фронтах с большевиками, так пусть бы написал к ним прошение, чтоб пришли они в Анатолиевку и установили бы в Анатолиевке тоже Советскую власть.

После этого была принята и резолюция схода крестьян села Анатолиевки.

Она состояла из двух пунктов:

«1. Желаем Советской власти, которая стояла бы на страже свободы и защищала интересы трудового народа.

2. Желаем социализации земли и капиталов, то есть передачи производства в руки производителей».

Резолюция была тут же вручена французскому офицеру. Документ был в двух идентичных экземплярах: на украинском и на французском языках. Французский перевод на скорую руку сварганил тот же переводчик, учитель местной школы, сделав в нем две ошибки грамматические и одну стилистическую.

Проголосовав резолюцию и одобрив ее единогласно — причем голосовали и дети,— крестьяне с собрания разошлись.

Эту резолюцию офицер, командир ремонтной команды Сто семьдесят шестого полка, и привез своему командиру в кармане, вместо хлеба и овса, на подводах поставщиков...

Французский солдат ремонтной команды Сто семьдесят шестого полка просил теперь Жанну объяснить ему — кто же такие большевики? Должно быть, их программа и в самом деле справедливая, если их поддерживает местное население от мала до велика?

7

На одесском заводе Ройхварга дело было другого характера.

В связи с забастовкой и настоятельной необходимостью ее ликвидировать на завод явились представители Центропрофа — меньшевики.

В цехе тяжелых весов был созван митинг, и представитель Центропрофа выступил по поводу требований рабочих.

Требования были: немедленно выплатить задолженность за прошедший месяц, повысить расценки на пятьдесят процентов в связи с дороговизной и вместо десятичасового рабочего дня ввести восьмичасовой.

Представитель Центропрофа призывал рабочих отнестись к этим требованиям со всей гражданской сознательностью и чувством ответственности перед государством. Он целиком поддерживал требования рабочих о выплате им задолженности и заверял, что это можно будет осуществить в самом скором времени,— лишь только рабочие приступят к работе, завод начнет выпускать продукцию, реализует ее на рынке, пополнит свою кассу деньгами — и станет способен выполнить свои финансовые обязательства. Что же касается повышения расценок, то представитель Центропрофа не считал возможным отстаивать его, ссылаясь на то, что собственник завода может на этой финансовой операции обанкротиться, а это не в интересах рабочих, так как они станут безработными. Представитель Центропрофа вообще высказывал сомнение в том, что такое повышение заработной платы необходимо, так как французское командование быстро наведет в стране порядок, и дороговизна, таким образом, вскоре прекратится.

О переходе на восьмичасовой рабочий день представитель Центропрофа не желал и говорить. Он доказывал, что в условиях военного времени требование это является антигосударственным и... вообще большевистским.

В заключение представитель Центропрофа призывал рабочих забастовку немедленно прекратить и встать к станкам.

Рабочий коллектив выслушал представителя Центропрофа в полном молчании.

Председательствующий на митинге — тоже представитель Центропрофа — предложил задавать вопросы.

Поднялось с просьбой дать слово для вопроса не менее двухсот рук.

Вопросы были:

Не из меньшевиков ли Петлюра, который привел немцев на Украину?

Не из меньшевиков ли и Винниченко, который запретил своим казакам-повстанцам воевать против новых, французских интервентов?

Почему меньшевики поддерживают военные формирования белой добрармии генерала Деникина?

Почему меньшевики вообще сотрудничают с любой контрреволюционной властью, а называют себя революционной партией?

И еще много других аналогичных вопросов.

Последний вопрос поставил консультант по сборке тяжелых весов, старый слесарь Никодим Онуфриевич Столяров:

— И зачем собственно вы, лакеи капитала, сюда пришли?

Митинг на том и закончился. Слова для обсуждения не взял никто. Просто вкатили в цех большую тачку, в которой вывозили стружку от токарных станков, посадили в нее обоих представителей Центропрофа и под свист и улюлюканье вывезли вон и выкинули на мусорную кучу...

Французский солдат спрашивал Жанну: кто же такие большевики и какая у них программа, если рабочие не хотят слушать представителей никаких партий, кроме большевистской? А если так и рабочие стоят за большевистскую партию, то почему же эта партия запрещена и объявлена вне закона?

8

Жанна должна была ответить на все эти вопросы: и что по существу произошло в селе Анатолиевке, и в чем смысл инцидента на заводе Ройхварга.

Жанна должна была вообще объяснить своим землякам и новым друзьям — французским пуалю Сто тридцать шестого пехотного полка — суть событий, происходящих в селах Одесщины и на заводах Одессы.

Она должна была рассказать, какую роль играют во всем этом меньшевики и эсеры — партии, именующие себя «революционными», но поддерживающие контрреволюционные режимы, и деникинцы, петлюровцы и белополяки — порождение этих партий, вооруженные наемники иностранных интервентов.

Она должна была растолковать также, какую роль в про-

исходящих событиях играют большевики и почему трудовое крестьянство и рабочие именно их поддерживают.

Жанна ответила на все эти вопросы еще в театре, во время пышного празднества, но еще лучший ответ получили новые друзья Жанны — французские солдаты, когда они все вместе вышли из театра на улицу.

Была уже поздняя ночь. Город утопал во мраке. В центре редкие уличные фонари тускло светились в тумане: в целях экономии топлива фонари зажигали через один. Окраины города и совсем поглотила тьма: в целях экономии топлива фонари на окраинах не зажигались вовсе.

Но над поглощенными мраком окраинами на западе высоко в небо поднималось прозрачное сияние. Похоже было, что сегодня — по случаю празднества — тот край города залит ослепительным светом бесчисленных фонарей и щедро освещенная земля бросает яркий отсвет на небо.

Но это не было отсветом пышного освещения городских окраин. Окраины лежали во тьме. Сияние на горизонте не было зеленовато-желтым и неподвижным, как от яркого электрического света. Оно было красновато-желтое и переливающееся — точно зарево над пылающим на земле огнем.

Это и было зарево пожара.

На запад от города — между Дальником и Татаркой — горело какое-то село.

Анатолиевка не одна отказалась дать хлеб и фураж интервентам. Отказались все, за исключением нескольких немецких колоний, села и хутора приодесского края.

Это был акт массового непослушания, гражданского сопротивления, акт явного протеста против действий интервентов, да и самого их прихода сюда. И французское командование войсками интервентов на одесском «плацдарме» отдало приказ: села и хутора, отказывающиеся поставлять частям оккупационной армии провиант, не выполняющие правил военной реквизиции или оказывающие какое бы то ни было противодействие,— подлежат наказанию.

Отряды офицеров добрармии, отряды петлюровских сечевиков, отряды белопольских легионеров, возглавляемые специальными группами французской полевой жандармерии, врывались в такие села и хутора, забирали хлеб и фураж силой, людей выгоняли из хат, а хаты поджигали.

В эту ночь — в ночь, когда гарнизон оккупантов торжественно праздновал награждение героев Вердена, чествовал победителей в мировой войне,— на одесском «плацдарме» вспыхнуло и костром запылало полтора десятка сел.

Иностранная оккупация пришла с мечом и пыталась утвердиться огнем.

Книга вторая

БУДЕТ НА МОРЕ ПОГОДА



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Рабочий день Николая Ласточкина начинался с восходом солнца. И каждый раз это был трудный и беспокойный, полный тревог и опасностей день революционера-подпольщика в городе с миллионным населением.

Деятельность областного комитета партии распространялась на две губернии, отряд большевиков насчитывал по области более двух тысяч человек, которые руководили десятками подпольных организаций,— и Ласточкин жил как бы одновременно на территории двух губерний и на четырехстах улицах города. Руководитель большевистского подполья был «экстерриториальным», но реальная «география» его рабочего дня была огромна.

Ласточкин никогда не спал две ночи сряду в одном месте, а в течение дня успевал побывать на нескольких конспиративных квартирах.

На сегодня, например, у него было назначено по меньшей мере десяток неотложных встреч.

Был только седьмой час, и первым делом Ласточкин направился на Базарную, 36-А. Здесь он обычно встречался с доктором Скоропостижным. Доктор принимал в вечерние часы и не каждый день. Сегодня как раз не принимал, но дело было неотложное, и Ласточкин решил повидать фельдшера Тимощука, чтобы через него срочно вызвать на явку Григория Ивановича. Влас Власович уже давно осуществлял непосредственную связь между ними, и только ему приблизительно были известны места, где мог в эту пору находиться Котовский.

Ласточкин позвонил, и через минуту за дверью послышалось сердитое ворчанье Власа Власовича, что-то затарахтело,

загрохотало, звякнула щеколда, щелкнул замок: время было тревожное и Влас Власович на ночь старательно баррикадировался. Наконец, дверь приоткрылась, и в щель — цепочка на всякий случай не была снята — Ласточкин увидел недовольное лицо старого фельдшера. Но Влас Власович сразу же узнал гостя и поспешно откинул цепочку.

— Заходите, заходите, товарищ Неизвестный!

Влас Власович узнал, что Ласточкин подпольщик, догадывался, что он крупный деятель подполья, но ни поста Ласточкина в подпольной организации, ни фамилии его не знал и сам придумал для него такую кличку: «товарищ Неизвестный».

Ласточкин вошел. Влас Власович закрыл за ним дверь и, ни о чем не расспрашивая — он уже усвоил элементарные правила конспирации,— пошел впереди, поднимаясь на второй этаж, как делал это всегда, когда Котовский уже сидел в своем «кабинете», ожидая Ласточкина.

— Погодите, Влас Власович! — остановил его Ласточкин.— Я и заходить не буду. Мне надо лишь, чтобы вы любым способом немедленно разыскали и доставили сюда доктора.

Влас Власович давно уже знал, что «доктор Скоропостижный» — совсем не доктор и не Скоропостижный. Больше того, ему точно было известно, что Григорий Иванович — еще «дореволюционный революционер», «легендарный экспроприатор Котовский», голова которого оценена сейчас французской контрразведкой в пятьдесят тысяч рублей, о чем извещают расклеенные по всему городу объявления. Однако в разговоре с «товарищем Неизвестным», как и в разговорах со всеми другими пациентами, Влас Власович называл Котовского только «доктором».

— Это легче всего,— живо откликнулся он на слова Ласточкина,— доктор дома, они ночевали у себя в кабинете.

И верно, дверь на площадке второго этажа отворилась, и на пороге появился Котовский.

— Григорий Иванович! — обрадовался Ласточкин.— Вот удача! Вы мне как раз нужны безотлагательно! — И тут же забеспокоился: — А что случилось? Почему вы сейчас здесь? Квартира провалилась?

Григорий Иванович тоже был лицом «экстерриториальным», и ночевать ему приходилось в разных местах, в зависимости от того, кем он был с вечера — «доктором Скоропостижным», «помещиком Золотаревым», «агрономом Онищуком», «купцом Берковичем» или «грузчиком Григорием». Но были у него два более или менее постоянных места пребывания, которые и считались его «квартирами»: на Большом Фонтане, на даче писателя Тодорова, и на Французском бульваре, в ботаническом саду, в оранжереях профессора Панфилова.

Знаменитому на всю Украину, Россию, да, пожалуй, и на весь ученый мир географу, почвоведу и ботанику профессору

Панфилову Григорий Иванович был известен как агроном из Бессарабии (в далеком прошлом Котовский действительно был агрономом). Географ Панфилов и агроном Онищук сошлись на романтической влюбленности в природу. Их дружба крепла в острых спорах о проблемах научного и практического почвоведения и в радужных мечтаниях о выращивании различных пород деревьев на разнообразных почвах. Гавриле Ивановичу было известно, что Григорий Иванович Онищук живет в Одессе, так сказать, инкогнито, стало быть без паспорта, и что попал он в такое неприятное положение из-за своего нежелания быть мобилизованным, как унтер-офицер царской армии, в белую армию. Гаврилу Ивановича это нежелание нисколько не удивляло, а, наоборот, казалось ему совершенно естественным, потому что Гаврила Иванович вообще не понимал, как это так бывает на свете, что люди могут вступать в какую бы то ни было армию, воевать и убивать друг друга.

Профессор Панфилов был до самозабвения влюблен в людей, животных и растения, полвека изучал условия жизни на земле, условиями этими был не удовлетворен, ибо считал ненормальными, и пришел к окончательному выводу о необходимости их коренного улучшения. Начинать преобразования, по его мнению, следовало с самой земли, именно с почвы, и в первую очередь с почв непригодных — песков и солончаков. Пески и солончаки необходимо превратить в почвы столь же плодородные, как лёсс или чернозем, дабы появилась на них растительность, запестрели цветы, расплодились животные и удобно разместился для мирной жизни человек.

Для Гаврилы Ивановича агроном Григорий Иванович был особенно дорог тем, что он родом из Бессарабии, где солончаков и песков довольно много, и знал ее всю, как собственный двор. Гаврила Иванович сейчас экспериментировал над бессарабскими травами и деревьями на причерноморских — в междуречье Днестра и Днепра — песках и солончаках; кроме того, он писал большую работу под названием «География России и Украины» и как раз теперь приступил к разделу «Бессарабия». Немцами, французами, англичанами и американцами, которые жаждали стать хозяевами земель России и Украины, а в том числе и причерноморских песков и солончаков, Гаврила Иванович не интересовался.

Что касается писателя Тодорова, то он знал Григория Ивановича тем, кем он и был в действительности,— Григорием Ивановичем Котовским.

Тодоров еще в девятьсот пятом году увлекался романтической славой «бессарабского экспроприатора Котовского» и даже собирался написать о нем роман — в стиле своего известного бульварного произведения «Ее глаза»; на гонорар за «Ее глаза» сей писатель приобрел весьма комфортабельную виллу над обрывом в районе дачи Ковалевского.

Об «экспроприаторе Котовском» Тодоров написал несколько фельетонов в благосклонном тоне. Это было в то время, когда одесский суд приговорил Котовского к смертной казни через повешение и Григорий Иванович в камере смертников ожидал исполнения приговора. Но февральская революция семнадцатого года освободила Котовского из тюрьмы, и Тодорову представился случай лично познакомиться с легендарной особой. Писатель моментально набросал план будущего романа.

Что же касается нелегального положения Котовского и необходимости для Тодорова скрывать его от властей, то писатель Тодоров был из числа тех русских интеллигентов, которым всегда импонировало чувствовать себя слегка в оппозиции к существующему режиму — неизвестно, по каким причинам и во имя чего. При царе Тодоров предоставлял убежище разным, независимо от партийной принадлежности, нелегальным деятелям, в дни революции он прятал у себя царских генералов и сановников, в гражданскую войну при власти белых укрывал красных, а при власти красных — белых.

Ласточкин, зная беспринципность Тодорова и его антибольшевистские настроения, известные по публичным выступлениям писателя, особенно беспокоился за эту квартиру Григория Ивановича и советовал Котовскому порвать с Тодоровым. Но Григорий Иванович, посмеиваясь, отвечал, что наилучшая конспирация именно под крылышком у врага.

Вот и сейчас на тревожный вопрос Ласточкина Григорий Иванович ответил шуткой.

— Все в порядке, дорогой Иван Федорович, заходите! — говорил Котовский, ведя Ласточкина в кабинет.— В оранжерее на Французском бульваре цветут бульденежи и эдельвейсы, в квартире на даче Ковалевского навощенные паркеты. Вчера я собрался было ночевать у профессора, но не хотелось ставить под удар его репутацию, да и самому рисковать. Эти ироды контрразведчики после комендантского часа расстреливают на месте — разве успеешь им объяснить, что ты Котовский и за твою голову они могут получить пятьдесят тысяч чистоганом? Вчера на Малом и Среднем Фонтане была облава, могли прочесать и ботанический сад, вот я и остался здесь. Садитесь, Иван Федорович. Что случилось у вас?

Они сели. Влас Власович незаметно исчез. Успокоенный Ласточкин сказал:

— Тоже ничего не случилось. Однако есть дело. Один, знаете, задушевный разговор.

— Задушевные разговоры люблю, Иван Федорович,— с искренним удовольствием ответил Котовский.— А вы завтракали уже? Я, признаться, еще только глаза продрал. Может, Влас Власович сочинит нам что-нибудь? Влас Власович! — крикнул он.— Может, вы нам кофе или чайку из собственных вапасов? А?

— Спасибо, Григорий Иванович. Откровенно говоря, не завтракал; тоже вчера поздно задержался,— улыбнулся Ласточкин,— не хотел рисковать своею персоной, тем более что голова моя не оценена ни в грош. Ночевать пришлось в стружках в столярной мастерской на табачной фабрике Асвадурова; там было у меня заседание фабричного комитета, ну и задержались малость. В страшных условиях там работают. Чихал целую ночь: табачная пыль столбом стоит во всех цехах.

Котовский с любопытством оглядел Ивана Федоровича с ног до головы. Ласточкин был в элегантном черном пальто с каракулевым воротником и элегантной каракулевой шапочке пирожком — как и приличествовало его паспортному купеческому сословию.

— Кому вы очки втираете, Иван Федорович? — хитро прищурил глаз Котовский.— Сдается мне, что вы сюда прямехонько из портняжной мастерской,— одеты с иголочки! У вас на пальто ни единой стружки, и нигде не помято. Не ночевали вы, Иван Федорович, в стружках на фабрике Асвадурова. Признавайтесь, что нарушили конспирацию и, рискуя своей особой, заночевали в своей мастерской.

Ласточкин снял пальто и шапку, повесил их на крючок, потом одернул свою купеческую тройку добротного синего бостона. Пиджак, жилет и брюки действительно были в безукоризненном состоянии — отглажены и без пылинки.

— Верно,— Ласточкин ответил Котовскому таким же хитрющим взглядом с усмешкой.— Верно, как то, что и вы, Григорий Иванович, не ночевали в вашем кабинете,— Ласточкин кивнул на керосиновую лампу, стоявшую на столе, и кучу поломанных спичек на полу.— Притопали вы сюда, Григорий Иванович, заметно, уже после того, как в четвертом часу ночи прекратили подачу электроэнергии, и долго возились, покуда зажгли лампу. Не зажигалась лампочка, черт ее побери, да и спички теперь одесские пройдохи делают отвратительные,— из одной серы, без камеди. Прогуляли ноченьку, Григорий Иванович?

Котовский захохотал. Ласточкин вторил ему заразительным смехом.

Влас Власович стоял на пороге кабинета с крышкой от никелированного хирургического бикса, превращенного на этот случай в столовый поднос, на котором он принес завтрак, и тоже тихонько хихикал, захваченный общим весельем.

Котовский и Ласточкин сели к столу. Влас Власович поставил перед ними две чашки кофе, положил тюбик с таблетками сахарина, два черных сухаря и ломтик маргарина величиной со спичечную коробку. Левым глазом он подмигнул на докторский шкаф, стоявший в углу. Там в уголочке, в личном отделении доктора Скоропостижного, всегда можно было найти спирт на донышке бутылки.

Ласточкин перехватил взгляд Власа Власовича.

— Ни, ни, ни! — решительно покачал он головой.— С утра я ни капли!

Котовский с сожалением сунул ключик от шкафа обратно в карман.

— Ну что ж, тогда и я нет.

Влас Власович покорно вздохнул и исчез.

Они набросились на кофе с сахарином и черные сухари, как голодные волки.

— Так и быть,— сказал Котовский,— приходится признаваться. Притопал я сюда уже перед рассветом: трудновато было пробиться сквозь заставы. Они устроили облаву в три яруса; три линии надо было пройти. А задержался я, Иван Федорович, из-за дорогого моего Гаврилы Ивановича — задушевную беседу вели. Ох, и душевный же человек Гаврила Иванович Панфилов! Как он любит природу! Какие мечты у этого старика! Я перед ним, точно мальчишка, с разинутым ртом сижу. Как начнет он рассказывать о том, что может дать наша земля — и не там, где она родючая, а именно там, где она «несподручная», как говорят мужики, там, где пески, болота или солончаки,— как начнет он это рассказывать, так, ей-богу, дрожь, этакий священный трепет пробирает, дорогой Иван Федорович.

Котовский увлекся, но тотчас же поймал себя на этом, сконфузился и поспешил оправдаться:

— Ведь вы знаете, Иван Федорович, агроном я. Пусть и не настоящий,— вздохнул он сокрушенно,— образование у меня — только низшая агрономическая школа. А все же землица и всякая растительность — это моя стихия, Иван Федорович! — Он снова увлекся и уже не замечал этого.— Понимаете, вчера профессор Панфилов рассказывал мне про Дендрапарк возле станции Долинской, неподалеку от Кривого Рога. Представьте себе: бескрайная степь, в прошлом дикое поле, чудесный, плодородный чернозем, а лес там не растет. Вот не растет — и все! Ученые авторитеты так на этом и успокоились: там, мол, черноземный и лёссовый слой неглубокий, а глубже идут пласты солончаковые. Да вот появился один дотошный человечек, влюбленный в природу и одержимый бредовой, казалось бы, идеей усовершенствования нашей старушенции земли. Ох, какой любопытный человечек, даром что из помещиков! К слову сказать, внук декабриста Давыдова. Так вот, этот чудный внук славного деда и сам теперь не менее славен. Отыскал он в степи возле Долинской лощину, десятин в сто, а может быть, и больше, и засадил ее деревьями. Там у него все породы нашей отчизны — от юга до севера. Да что там отчизны — со всего света! И канадские, и азиатские, и австралийские деревья... И что бы вы думали? На том же самом тонком слое черной земли с подпочвенными солончаками вырос

теперь целый лес, право слово! Вот этакие здоровенные деревья! Корни пошли по слою чернозема, а потом, укрепившись, начали пробивать и солончаковый слой, начали и солончак обогащать ценными продуктами переработки в корневой системе. Понимаете? Вот о чем рассказывал мне вчера душа-профессор. Дело в том, что при посадке молодняк нужно подкармливать и защищать от ветров. Ветер не только расшатывает корневую систему слабого, не окрепшего еще молодняка, не только засыпает его песками; ветер еще и нарушает нормальный обмен веществ в растении — точнехонько как в человеческом организме. Дерево во время ветра испаряет влаги больше, чем следует. В ложбине же дерево защищено от вредных ветров, и у него происходит нормальный обмен веществ. Надо защитить молодое дерево от ветра, и тогда оно, окрепнув, в свою очередь защитит от наших страшных южных суховеев рожь и пшеницу. Вы понимаете, Иван Федорович, что это такое? Это переворот, революция, преобразование земли!..

Ласточкин слушал длинную, горячую речь Котовского внимательно и сосредоточенно, как умеют слушать только подпольщики, стараясь в каждой мысли собеседника, как бы ни была она далека от прямых интересов подпольщика, уловить что-нибудь такое, что стоит намотать на ус. Сейчас Ласточкин действительно кое-что намотал себе на ус, и в глазах его вспыхнули искорки.

Этот живой огонь во взгляде Ласточкина сразу почувствовал Котовский. Он опять поймал себя на том, что несвоевременно увлекся, и совсем смутился.

— Простите, Иван Федорович! Я увлекся, как мальчишка... а ведь у вас ко мне, да и у меня к вам совершенно неотложные дела...

Ласточкин спокойно ответил:

— Что верно, то верно, дела совершенно неотложные, и мы сейчас займемся ими. Однако ваш рассказ, Григорий Иванович, я выслушал с большим интересом, надо будет в конце вернуться к нему. Ну, слушайте мое срочное дело. Впрочем, раньше выкладывайте — что у вас?

Котовский послушно кивнул.

— У меня дело денежное, Иван Федорович. Мне нужно... пятьдесят тысяч.

Брови Ласточкина сначала поползли вверх, потом сразу опустились. Недаром товарищи дразнили Ласточкина «жмотом»: когда речь заходила об извлечениях из партийной кассы, он становился скупым, как настоящий купец-живоглот.

— Зачем вам такие деньги, Григорий Иванович? — недовольно пробурчал Ласточкин.

— Этого я и ожидал от вас, Иван Федорович,— также сердито сказал Котовский.— Из вас не вытянешь ни копейки. Ну и не надо! — сразу разозлился он.— Сегодня же учиню экспро-

приацию в «Лионском кредите» и обойдусь без ваших партийных сбережений.

— Проводить экспроприацию не по поручению Ревкома вам, Григорий Иванович, запрещено,— холодно напомнил Ласточкин.

Котовский раздраженно фыркнул:

— Подумаешь! Буржуйские капиталы!

— Буржуйские капиталы, то есть все банковские ценности,— бесстрастно, но твердо ответил Ласточкин,— мы национализируем первым же декретом нашей власти, когда установим ее здесь, изгнав иноземных оккупантов. А сейчас мы грабить банки не позволим. И хотя никто не сомневается, что бывший легендарный экспроприатор Котовский сумеет средь бела дня залезть в кассу любого банкира,— продолжал он язвительным тоном,— но все-таки молва связала ваше имя с большевистским подпольем, и справедливо. Так что повадки «легендарного экспроприатора» вам следует навсегда оставить...

Котовский сердито передернул плечами.

— Однако вы даже не спросили, зачем мне нужны деньги. Что я, пропивать их собираюсь, что ли?

— А действительно, зачем вам столько денег? — живо спросил Ласточкин.

Котовский снова хитро сверкнул из-под брови одним глазом.

— Приобрести один документик, Иван Федорович...

Ласточкин поморщился:

— Приобрести... Это плохо звучит. Если уж документ ценный, его надо добыть. Разведка не покупает, а добывает...

Котовский недовольно пожал плечами.

— Добывает, добывает! А ежели его уже добыли, но добыли жулики, которые могут продать даже мать родную, то что тогда?

— Мишка Япончик? — догадался Ласточкин.

— Он.

— А что за документ?

Тут уж Котовский не мог отказать себе в удовольствии позлить несговорчивого финансиста:

— Так себе, знаете ли, документик. Разумеется, если он вас не заинтересует, то можно и отказаться — пусть Мишка продает, ну, хоть, скажем, петлюровцам. Жовтоблакитники денежки швыряют куда попало, вон полковнику Фредамберу пять миллионов не пожалели... Все белогвардейские газеты в Екатеринодаре и Новороссийске только об этом и пишут.

— Какой документ, Григорий Иванович? — не понимая шутки, сухо переспросил Ласточкин.

Тогда, скрывая свое торжество, Котовский небрежно бросил:

— Копия договора директории... с французским командованием...

— Какого договора? — насторожился Ласточкин.

— Да там, знаете, пунктов тринадцать или четырнадцать. И все о том, что директория признает единую, неделимую Россию, подчиняется деникинскому руководству, принимает командование добровольческой армией...

— Минутку! — перебил Ласточкин, впиваясь взглядом в притворное безразличное лицо Котовского.— Не торопитесь! Какие именно пункты?

Котовский один за другим пересказал содержание всех четырнадцати пунктов договора между директорией и французским командованием, подписанного генералами Грековым и Гришиным-Алмазовым с генералом д'Ансельмом.

— Где договор? — охрипшим от волнения голосом спросил Ласточкин.

— Договор у полковника Фредамбера, а фотокопия у Мишки Япончика.

— Где он ее достал?

— Напоил американскую контрразведчицу, которая фотографировала этот договор, и...

— Афера?

— Нет, факт. Имеется негатив — текст договора, почти целиком. Я рассматривал в лупу: читается весь.

Ласточкин порывисто поднялся и заходил по комнате из угла в угол.

— Знаете, это документ чрезвычайной важности. Сегодня же размножить и опубликовать! Нет, не надо публиковать, а немедленно в Киев — там ведь начинается петлюровский «трудовой конгресс». Распространить на конгрессе — полное разоблачение директории и всей ее хваленой «самостийности». Сорвать маску с националистских болтунов, раскрыть их истинное лицо — и это неизбежно приведет к расколу самой петлюровщины! — Внезапно он остановился перед Котовским.— Когда? Где?

— Сегодня в кафе Фанкони, от четырех до пяти. Передаст не сам Мишка Япончик, а его человек в форме деникинского прапорщика по фамилии Ройтман, известный аферист, приятель помещика Золотарева. Деньги должны быть в крупных купюрах, в обыкновенной папке для бумаг. Пароль: «Можно присесть к вашему столику, мосье?» «Мосье» — обязательно в конце. Отзыв: «Мосье, очень рад, мне одному скучно». «Мосье» — обязательно в начале.

Ласточкин минуту постоял, сосредоточенно глядя себе под ноги, очевидно повторяя пароль. Потом вдруг умоляюще взглянул на Котовского:

— Григорий Иванович, голубчик! А можно так, без денег? А? Подстеречь этого Ройтмана и... А?

Котовский дернул плечом.

— В кафе будет по меньшей мере десяток его людей, а на

улице целая банда. Идти нужно одному, без охраны, иначе пропал договор. Таковы условия. А нашу охрану они узнают под какой угодно маскировкой.

Ласточкин вздохнул и с отчаяньем махнул рукой.

— Ладно! Пускай сосет нашу кровушку, пускай пропадают денежки! Верно ж? — поглядел он на Котовского, ища в его глазах поддержки.

— Да черт с ними! — с легким сердцем ответил Котовский.— Презренный металл. Даже не металл, а бумажки. Зато какой документик!

— Документ — да! Это действительно документ! — Ласточкин взволнованно зашагал по комнате.— Между четырьмя и пятью? Хорошо, приду точно.

— То есть как это придете? — удивился Котовский.— Куда вы придете? Ваше дело — денежки, а приду туда я.

Ласточкин резко остановился. Хитро посмотрел на Котовского и даже погрозил пальцем перед самым его носом:

— Э нет, Григорий Иванович! Договор получу я в собственные руки. А вы в это время...

— Позвольте! — вскипел Котовский.— Как это так вы?

— Потому что, знаете...— Ласточкин замялся,— рисковать вашей головой мы не можем. Она оценена в пятьдесят тысяч и...

Котовский так возмутился, что даже лицо его налилось кровью.

— Так я же договорился, что пришлю этого самого... как его? — Гершку Берковича...

— А Берковича хоть раз когда-нибудь раньше видели в кафе Фанкони? Скупердяя Берковича, которому надо кормить свою мадам и шестерых детей?

Котовский стукнул кулаком по столу:

— Да, черт побери, я придумаю еще что-нибудь! Пойду сейчас в костюмерную оперы и выйду... выйду... попом, ксендзом, раввином, кем угодно...

— Попы, ксендзы и раввины тоже по ресторанам не ходят,— спокойно возразил Ласточкин. И вдруг твердо добавил: — Товарищ Котовский, я прошу вас подчиняться дисциплине: Ревком объявил в Одессе осадное положение.

Котовский еще раз сердито фыркнул и сел.

— Вас я все равно не пущу! Вы руководитель подполья, вы не имеете права идти на риск,— сказал он решительно.— Пусть тогда идет кто-нибудь еще. Можно кого-нибудь из моих хлопцев, можно из Ревкома... Например, Столярова.

— Батенька мой! — обнял его за плечи Ласточкин.— Для меня никакого риска! Я ж чуть ли не ежедневно обедаю и ужинаю или у Фанкони или у Робина. Меня там все официанты знают как облупленного. Непременно я пойду, душа моя, только я. Никто из наших подпольщиков и близко к этому ресторану не подходит... Там полнехонько контрразведчиков и

шпионов. А я купец, у меня костюм «бостон» и каракулевая шапка на голове,— Ласточкин тихо засмеялся,— и денежки как раз у меня. Так что все в порядке, дорогой Григорий Иванович.

Он снова обнял за плечи и прижал к своей щуплой, жилистой фигурке огромную, медвежью фигуру Котовского.

— Ах, какой документ, какой документ! Спасибо вам, большое спасибо...

Беззвучно и весело смеясь, Ласточкин отпустил Котовского и сразу же оборвал смех.

— А теперь слушайте мое дело, Григорий Иванович.

Они снова сели за стол, на котором еще стояли пустые чашки из-под кофе. Котовский был мрачен и сердит, Ласточкин — радостен и весел. Ласточкин начал немного лукаво:

— Вот вы, знаменитый бессарабец и чудесный разведчик, которому известны все тайны мира, но одной истории, уж никак не тайной, так и не знаете.

— Что же это за история такая? — хмуро поинтересовался Котовский.

— История неплохая. Отряда Голубничего, что после петлюровского провала вышел в партизанский рейд, не забыли?

Котовский молча кивнул.

— Так вот этот отряд в своем партизанском рейде по селам западной части Одесщины, в междуречье Буга и Днестра, сильно пополнился за счет беднейшего крестьянства и насчитывает сегодня четыреста штыков, сто семьдесят пять сабель, четыре орудия и тридцать восемь пулеметов.

— Этот отряд, с нашего, конечно, разрешения, наименовал себя теперь частью Первой Южной Красной Армии.

— Ого! — вырвалось у Котовского, и угрюмость слетела с его лица.

— Хорошее название,— широко улыбнулся Котовский.— Здорово придумано! Это вы придумали?

— Не имеет значения. И, как уведомляет штаб,— Ласточкин намеренно произнес полное название: — «Штаб Военно-революционного комитета Одесщины»...— Котовский насторожился, и Ласточкин кивнул: — Да, да, мы создали уже такой штаб действующей армии... Так вот этот отряд вчера вечером, после жестокого боя с румынскими захватчиками и полком добровольческой армии из дивизии Гришина-Алмазова, занял город Тирасполь на Днестре...

Котовский подскочил на месте.

— Иван Федорович! — вскрикнул он.— Начинаете восстание?

Ласточкин погрозил пальцем и хитро прищурился — точь-в-точь как Котовский, когда тот интриговал своим документом.

— Успокойтесь, Григорий Иванович. На все свое время. Момент для всеобщего восстания еще не наступил, но...—

Ласточкин с минуту помучил Котовского, хитро поглядывая на него,— но наступает.— Он вдруг снова стал серьезным.— К восстанию дело идет, Григорий Иванович. Именно к восстанию. Теперь это наша ближайшая цель. Наши силы еще не могут держать фронт, поэтому мы пока будем деморализовать противника партизанскими налетами. Армия Голубничего, конечно, ушла из Тирасполя, оставив на поле боя вместе с сотней трупов противника перемолотую технику и разгромленные учреждения белых. Теперь отряд продвигается к Балте, которую, разумеется, захватит в скором времени. А на пути между Тирасполем и Балтой он увеличится еще на какую-нибудь сотню-две бойцов, да еще кое-какую технику отобьет у врага. Сидите, сидите спокойно, Григорий Иванович,— перебил себя Ласточкин, заметив, что Котовский готов вскочить с места.

Котовский не мог усидеть. Ведь восстание, боевые действия — это была его мечта, именно в это он больше всего верил. И вот теперь мечта становилась реальностью.

— Сидите и слушайте меня внимательно! Сейчас речь о вашей Бессарабии.

— О Бессарабии? Там же румыны?

— Верно! И пока у нас нет сил бороться с ними. Однако приднестровские села — и по ту, и по эту сторону Днестра, как, например, Маяки, Дубоссары, а также Копанка, Розкаецы...

— Я знаю все эти места,— прошептал Котовский.

— Да, да. Точно так же, как там знают легендарного Котовского. Как вы думаете, может Котовский в этих селах, где, по точным сведениям Ревкома, в людях силен боевой дух, собрать... вторую часть Первой Южной Красной Армии? А потом вывести эту часть на плацдарм под Одессу с запада, перерезав железную дорогу из Румынии, ту самую железную дорогу, по которой французские оккупанты гонят и гонят сюда свои силы и технику?

Котовский стремительно поднялся и вытянулся в струнку.

— Когда разрешите выполнять, товарищ Ласточкин?

— Сегодня,— встал и Ласточкин.— Для того чтобы накопить силы и организовать вооружение из местных ресурсов, то есть собрать оружие, припрятанное крестьянами и захваченное во вражеских арсеналах, я думаю, хватит двух-трех недель?

— Двух! — сказал Котовский.

— И чтобы привести личный состав в боевую готовность — еще две. Значит, за месяц будет сформирован второй полк Первой армии. Так?

— Слушаюсь, товарищ Ласточкин! Будет исполнено.

Ласточкин положил руки на плечи Котовского, принуждая его сесть, и сам опустился на стул.

— Понимаете, Григорий Иванович,— заговорил он так,

словно речь шла о каком-то обыденном деле,— интервенты все накапливали да накапливали силы и вдруг начали наступление. Они сейчас бешено прут на восток — на Николаев, на Херсон. Впереди идут деникинские части, кое-где греки, за ними, подгоняя их, движутся французы. На рейде перед Херсоном и Николаевом — английская и французская эскадры. С севера широкой подковой петлюровская территория. Это вроде прослойки между интервентами и красными войсками за Днепром. Эту подкову нужно сломать и прослойку пробить. Красная Армия еще не накопила достаточных сил для удара на юг. Ее задача сейчас — Киев. Туда, против войск директории, направлены сейчас силы Красной Армии. У меня есть письмо трехдневной давности от командования Южного фронта,— связные из Москвы прибывают, знаете, регулярно. Нам надо принять на себя удар интервентов. Мы, подпольщики, действуем изнутри, но этого уже недостаточно. Необходимы вооруженные воинские силы. Надо ударить оккупантам в левый фланг. Для большого удара у нас пока нет сил, поэтому надо долбить и долбить мелкими ударами. Голубничий начал. Теперь...

— Понятно, Иван Федорович.

— Ну вот! — Ласточкин посмотрел на часы.— Ого, уже восьмой час. Когда вы отправитесь? Ночью, вечером или еще днем?

— Утром, сейчас же.

— Нет, нет! — возразил Ласточкин.— Вечером. К вечеру я пришлю вам связного.

Котовский вопросительно взглянул на Ласточкина.

Тот пояснил:

— С Бессарабией ни телеграфной, ни почтовой связи не будет. А ваши информации мы должны получать по крайней мере... раз в три-четыре дня.

— Понятно. Кто будет со мной?

— Я считаю...— Ласточкин задумался,— лучше всего какую-нибудь девушку. Девушкам, знаете, легче всего пробраться, меньше подозрений...

Котовский взмолился:

— Иван Федорович, если можно, только не девушку! Ну, понимаете...— Он не находил доводов и вдруг выпалил: — Морока с этими юбками в условиях конспиративного передвижения! Ей-богу, лучше, когда оба мужчины, ну, поверьте мне: уж я-то столько скрывался, что на этом зубы съел.

Ласточкин засмеялся:

— Эх вы, женоненавистник! Ну ладно! Кого же тогда? Знаете, что? Паренька! А? Кого-нибудь из наших комсомольцев. Чтобы незаметный был, но, конечно, проворный, бравый паренек. Он и знать не будет, что вы Котовский, однако... Это идея, а?

— Что ж, это неплохо,— согласился Котовский,— только

такого, чтобы через заборы летал, по деревьям лазал, а в случае чего, так и в холодную воду зимой прыгнул.

— Будьте спокойны! — уверил его Ласточкин.— У Коли Столярова есть просто герои, из тех, что, помните, когда стачка была, красные флаги вывесили на всех заводских трубах. Ну вот! — Ласточкин решительно поднялся и подошел к своему пальто.— К вечеру паренек будет тут, придет на прием к доктору Скоропостижному. Ах, да, сегодня приема нет... Тогда... Влас Власович! — позвал он.

Фельдшер появился на пороге.

— Влас Власович, сегодня придет к вам паренек, спросит именно вас и скажет, что от Коли Столярова. Так вы его как следует примите, пусть подождет Григория Ивановича. Они поедут вместе.

Влас Власович перевел взгляд на Котовского.

— Вы надолго едете, Григорий Иванович?

Котовский весело усмехнулся.

— Кто его знает, Влас Власович. Объявите, что у доктора Скоропостижного приема не будет... месяц. Он занят... научной работой.

Влас Власович с тревогой посмотрел на Котовского.

— Далеко, значит, и опасно?

Григорий Иванович обнял фельдшера за плечи.

— Ждите с подарками, Влас Власович. Кстати, за счастливую дорогу...— Котовский вынул ключик, открыл шкаф и достал заветную бутылку.— Вы, Иван Федорович, как хотите, а уж мы с Власом Власовичем за мою дорогу опрокинем по маленькой.

Ласточкин был уже в пальто и шапке.

— Что же,— сказал он,— за дорогу... хотя я с утра ни капли, но по такому случаю наливайте и мне.

— Ура! — крикнул Котовский и налил две «банки». В третью он плеснул немножко.— Разведите, Влас Власович, чистою водичкою, градусов на сорок, для Ивана Федоровича.

Они чокнулись, выпили и поискали глазами, чем бы закусить. Закусить было нечем. Тогда они пожали друг другу руки — это и была вся их закуска.

Влас Власович вышел.

— Григорий Иванович, еще два слова,— сказал Ласточкин Котовскому.— Расскажите мне коротко об этом вашем профессоре.

— О профессоре? — удивился Котовский.— А что вас интересует?

— Интересуют два вопроса. Первый: может ли быть этот парк в степи, возле Долинской, местом тайного сосредоточения партизанского отряда? Знаете, в степи негде сосредоточить партизанский отряд...

— Конечно! — горячо отозвался Котовский.— Огромнейший

старый парк на сотню десятин! — Он неожиданно смолк.— Нет, знаете, Иван Федорович, там такие ценные породы деревьев — карпатский бук, канадский клен, красное дерево...

— Но ведь можно аккуратно,— сказал Ласточкин.— Можно предупредить партизан, запретить рубить на костры... под страхом ответственности перед трибуналом.

— Разве что так...— неуверенно протянул Котовский; ему понравилась эта идея: сосредоточить силы партизанского отряда в лощине среди степи, но было жаль драгоценных деревьев.— Во всяком случае, надо посоветоваться с Гаврилой Ивановичем, без его разрешения... и согласия Давыдова...

— Это уже второй мой вопрос. Можете ли вы дать мне явку к профессору Панфилову? Речь идет не только об этом парке, а вообще — какие у него настроения? — пояснил Ласточкин.— Если только я верно вас понял, он патриот? Как представитель наилучшей части интеллигенции, он должен находиться под нашей бдительной охраной, но возможно, что и помочь нам чем-либо сможет... Нам необходимо укреплять связи с интеллигенцией.

— Какая там явка! — пожал плечами Котовский.— Да этот душевный старикан и понятия не имеет, что такое явка, и эзоповский язык конспирации ему совершенно чужд. Просто скажите, что от меня, расскажите, что я выехал...

— А можно ему сказать, куда и зачем вы поехали?

Котовского удивил этот вопрос.

— Иван Федорович, странно слышать это от вас, такого заядлого конспиратора.

— А все-таки? Знаете, конспирация бывает разная при различных обстоятельствах, а особенно — с различными людьми. На этом мы проверяем людей. Ну, как вы думаете?

С минуту подумав, Котовский сказал:

— Куда я поехал, на всякий случай говорить не стоит, а для чего, сказать можно и даже нужно, я думаю. И проверка будет, и, знаете, хороший это человек. Немцы предлагали ему переехать в Берлин и вести там кафедру географии России — отказался, сказал, что своей родине служить хочет. Ну и что ж...

— Ясно! — сказал Ласточкин.— Симпатичный человечина. Ну, Григорий Иванович, счастливого вам!

Они крепко обнялись и поцеловались. Потом с сожалением разжали руки и посмотрели друг на друга. Жаль расставаться... Да и время такое — кто знает, доведется ли встретиться снова?

Ласточкин надвинул шапку и решительным шагом направился к выходу. Но на пороге он остановился и поднял руку:

— Командиру второго полка Первой Южной Красной Армии привет!

— Привет, товарищ председатель Военно-революционного комитета Юга!

2

На Пересыпь, к «Дому трудолюбия», Ласточкин прибыл с небольшим опозданием — назначили на девять, а теперь было уже пять минут десятого,— и это его расстроило. Ласточкин не терпел опозданий и сам никогда не опаздывал. Подпольщик всегда должен быть абсолютно точен: в условиях конспирации иногда одна минута решает успех или провал задания.

У порога Ласточкина встретил Коля Столяров.

— Все в порядке, товарищ Николай,— четко доложил Коля,— можете быть спокойны. Идите направо по коридору, в клубную комнату. Там оркестр балалаечников репетирует. Так прямо на звук и идите. Это все наши хлопцы, моревинтовцы... комсомольцы то есть,— поправился он.

Ласточкин обрадовался:

— Ну, мне нынче просто везет! Как раз ты-то мне и нужен.

— Я отвечаю сегодня за охрану собрания,— важно ответил Коля,— моя очередь.

«Дом трудолюбия» — инвалидно-трудовая колония — был не только центром общественной жизни большого предместья, но сейчас стал также центром всей подпольной работы Пересыпского района. Оккупанты и деникинцы редко наведывались на Пересыпь, справедливо побаиваясь этой окраины, населенной сплошь рабочими. Поэтому именно здесь, в большом, удобном помещении «Дома трудолюбия», проводились все массовые мероприятия подпольного обкома: совещания, конференции, выборы партийных органов. В такие дни комсомольской дружине поручалось нести охрану. Постепенно охрана эта стала постоянной, повседневной: массовое собрание в подполье могло возникнуть внезапно, и надо было всегда быть наготове.

— Спасибо, Коля,— сказал Ласточкин, увлекая его за угол дома.— Сейчас я пойду туда, но прежде мне надо сказать тебе несколько слов.

Когда они зашли за угол, где их нельзя было увидеть с пустыря, Ласточкин сказал:

— Мне, Коля, нужен один из твоих комсомольцев, верный и надежный парень, для ответственнейшего поручения по связи. Сейчас он должен выехать из города, но потом будет часто наезжать сюда. Причем, ему каждый раз придется пробираться через фронтовые заставы, мимо французских и деникинских либо польских пикетов, а потом снова возвращаться туда. Понял?

— Понял, товарищ Николай,— солидно ответил Коля.— Я готов. Когда выезжать? Где явка?

Ласточкин засмеялся. Готовность выполнить любое трудное задание, серьезность и деловитость, с которыми Коля ответил ему, тронули его, хотелось обнять, прижать к себе этого юного бойца и крепко расцеловать его.

— Нет, Коля,— сказал Ласточкин тепло,— ты нам и здесь до зарезу нужен. Без тебя мы как без рук. Только ты один знаешь всех своих моревинтовцев. Ты останешься и дальше при мне. Давай кого-нибудь еще.

Не скрывая разочарования, Коля с минуту молчал. Пост руководителя дружины связи, безусловно, очень почетный и ответственный, и дел здесь по горло, вздохнуть некогда. Но из-за этих организационных дел всегда получается как-то так, что он остается в стороне от «настоящего», боевого дела. Его не посылают с вооруженными группами дружины, не разрешают принимать участие в диверсионных актах, его и в разведку не направляют, а теперь вот с ответственным поручением тоже отказываются послать...

— Что же,— ответил он, помолчав,— у меня найдется много таких, что подойдут...

— Надо бравого парня: чтобы умел и полем и лесом пробраться незаметно, чтоб, когда надо, и лиман зимою вброд перешел и речку переплыл.

— Тогда Сашка Птаху,— сказал Коля решительно.— Это как раз такой: купается круглый год, плавает от Лузановки аж до гавани. Только он от отца скрывает, что комсомолец. Побаивается, что отец рассердится, не позволит... Отец строгий, и ориентация у него окончательно не выяснена...

Ласточкин усмехнулся себе под нос.

— Что же, если скрывает, пускай скрывает.— Он чуть было не добавил: «Отец от него тоже скрытничает, ориентация сына еще не выяснена»,— но во-время сдержал желание пошутить.— Найди его, пусть уладит дома с отъездом и будет на Базарной, тридцать шесть-А...

В комнате рядом с клубной Ласточкина ждали пятнадцать человек. Когда он вошел, все посмотрели на него, однако продолжали сидеть на своих местах — на табуретках и скамьях, стоявших вдоль стен, или на столиках: раньше в этой комнате во время вечерних развлечений обычно организовывали буфет, когда еще было чем торговать и было на что покупать.

Навстречу Ласточкину со стола соскочил Николай Столяров. Он был ответственным за собрание от Пересыпского райкома.

Николай Столяров отрапортовал по-военному:

— Разрешите доложить, товарищ представитель Военно-революционного комитета! — Услышав эти слова, все остальные тоже поднялись.— Согласно приказу областкома на собрание прибыло десять человек от Пересыпского райкома партии и пятеро от Морского райкома.

Пока он говорил, Ласточкин успел коротко оглядеть присутствующих: кроме Николая Столярова, все были ему незнакомы.

Николай Столяров добавил:

— Все товарищи — люди чистой революционной совести.

Он умолк и стоял вытянувшись, как перед командиром. Другие тоже подтянулись. В соседней комнате оркестр комсомольцев-балалаечников наигрывал вальс «На сопках Маньчжурии». Десять человек из присутствующих были, несомненно, рабочие. Это было сразу видно по их рабочей одежде, по приплюснутым, засаленным кепкам, по загрубелым рукам. Трое были матросами — в бушлатах и бескозырках. Двое — очевидно, из портового персонала: один в потрепанной капитанке, с потрескавшимся козырьком и в двубортной тужурке механика или моториста, другой в выпачканной смолой, нахватанной с чужих плеч одежде рыбака: клеенчатая зюдвестка, брезентовая роба, штаны из грубой дерюги. Он мог быть и грузчиком.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал Ласточкин.— Садитесь. Я — Николай.

По группе собравшихся пробежал шепот, и все продолжали стоять. Они знали, что Николаем называют руководителя организации, однако почти никто из них не видел его раньше. Теперь они смотрели на Ласточкина с нескрываемым любопытством: за эти три месяца имя Николая стало известным по всей организации большевиков.

— Садитесь, садитесь,— предложил Ласточкин,— нам надо серьезно поговорить.

Все сели, и Ласточкин сказал:

— Кто безработный, поднимите руки.

Десять человек подняли руки: шесть рабочих, три матроса и тот, в брезентовой робе, который мог быть рыбаком или грузчиком.

— Десять! — отметил Ласточкин.— Так вот: остальным надо сегодня же взять на работе расчет, а если кто работает по мобилизации, также должен с сегодняшнего дня оставить службу и перейти на нелегальное положение.

Все сидели молча. Пятеро коммунистов, которым необходимо было взять расчет или дезертировать и перейти на нелегальное положение, тоже молчали.

— Все ли готовы, товарищи?

— Люди проверенные, товарищ Николай,— сказал Николай Столяров,— готовы на все. Большевики!

— Разрешите вопрос? — поднял руку один из матросов.

— Давайте.

— Группой будем действовать или каждый отдельно?

— Действовать надо каждому отдельно, на свой страх и риск, и первое время без связи с другими. Возможно, без связи и с нами. Будете действовать согласно инструкциям, которые я вам сейчас передам.

Неуверенно переступая с ноги на ногу и теребя в руках бескозырку, матрос сказал:

— Как коммунист, я должен признаться...— Он замялся, явно не находя слов.— Я, ясное дело, душою и телом... для партии и общепролетарской революции. И в бой пойду и на смерть. Но...— он покраснел и утер со лба пот.— Но, как коммунист, должен признаться...— Он снова замялся.

— Ну? Говорите, говорите,— подбодрил его Ласточкин.

Все сурово смотрели на матроса, и под взглядами товарищей он терялся еще больше. Пот катился у него со лба. Признание давалось ему не легко. Он был коренастый, приземистый, его лицо даже сейчас, на третьем месяце зимы, сохраняло загар. Бывалый и, видно, дошлый человек, лет под тридцать. Высокую грудь его под бушлатом облегала полосатая матросская тельняшка, широкий клеш закрывал ботинки — настоящий «братишка» матрос.

Молчание длилось довольно долго. Балалаечники за стеной играли уже «Вдоль да по реченьке». Матрос махнул рукою и выдавил свое признание:

— В бою я умру. А ежели мне одному действовать, то, как коммунист, предупреждаю: человек я, прямо сказать, ни сюда Микита, ни туда Микита, не раскумекаю сам, что к чему... Политически неграмотный я человек, не разбираюсь в вопросах,— с обидою и отчаянием в голосе едва не выкрикнул он.

— Как ваша фамилия? — мягко спросил Ласточкин.

— Матрос второй статьи Клим Овчарук. Член партии с июля семнадцатого года.

— Садитесь, товарищ Овчарук,— так же мягко сказал Ласточкин.— Очень хорошо, что вы правдивы и требовательны к себе.

— Вы меня понимаете, товарищ из областкома! — обрадовался матрос.— Ей-богу, коммунист я правильный и умереть за революцию — хоть сейчас. А поручите мне придумать что-нибудь самому, хотя бы и на пользу революции,— аминь, шабаш, камень на шею и амба!

Кое-кто усмехнулся, но Ласточкин оставался серьезным.

— Кто-нибудь знает товарища Овчарука по службе? — обратился он к присутствующим.

Все молчали. Ласточкин посмотрел на двух других матросов.

— А вы, товарищи?

— Мы с другой посудины,— ответил один из них. Второй только пожал плечами.

— Ну что ж,— сказал Ласточкин,— хотя задание и неизвестно еще товарищу Овчаруку, однако нужно поверить ему на слово. Хуже будет, если товарищ Овчарук откажется, узнав задание. Идите, товарищ Овчарук. Райком использует вас согласно вашим способностям. Например, в боевой дружине.

— Точно! — обрадовался Овчарук.— Мне как раз в бой надо! Воевать я могу. Среди солдат я всегда себя определю.

С матросами или солдатами, с народом, так сказать, я всегда свое место найду.

Он надел бескозырку, откозырял по-военному и пошел к выходу.

Но когда он взялся за ручку двери, Ласточкин вдруг передумал.

— Товарищ Овчарук, погодите! — окликнул он матроса.— Сядьте, пожалуйста.

Овчарук молча вернулся на свое место. Он не понял, почему товарищ Николай изменил первоначальное решение. Сев на скамью, он недоуменно озирался.

Ласточкин обратился ко всем:

— Кто из товарищей говорит по-украински? Поднимите руки.

Двенадцать рук потянулись вверх. Поднял руку и Овчарук.

— Хорошо! — удовлетворенно сказал Ласточкин.— Лучше, если знаете украинский, а впрочем...— он улыбнулся,— можно и не знать. Речь революции одна: к сердцу и уму человека обращена... Так вот, товарищи, в чем дело. Всем вам придется отправиться на территорию, занятую петлюровцами, и вступить в петлюровскую армию... казаками «батька атамана».

Среди людей пробежал шорох, кто-то приглушил возглас удивления, кто-то засмеялся, матрос Овчарук хлопнул ладонью по столу.

Ласточкин подождал, пока стихнет шум, и стал излагать смысл задания.

Товарищи должны вступить в петлюровскую армию для того, чтобы вести агитацию среди повстанцев из беднейших и средних крестьян, присоединившихся к петлюровщине во время антинемецкого и антигетманского восстания. Люди одурманены провокационной националистической пропагандой, надо открыть им глаза на самую суть происходящего. Надо объяснить, по какую сторону баррикад должны они стоять в гражданскую войну.

Необходимо внести разложение в эту армию наемников, армию прислужников иноземных интервентов. Причем разложение — классовое. Надо пробудить в людях классовое сознание. Оторвать от националистической контрреволюции обманутых честных тружеников, привести их в отряд красных партизан либо просто толкнуть на дорогу домой: бросайте оружие и расходитесь по хатам, возвращайтесь к мирному труду, к обнищавшей, измученной семье!

В этом заключалась первая часть задания для каждого коммуниста, которому предстояло стать казаком армии директории. Но была и другая часть — для тех, кто сможет ее выполнить: было важно возглавить группу сагитированных людей, поднять их на восстание против командования, разоружить всю петлюровскую часть, создать красный партизанский

отряд. Потом, в зависимости от обстановки, двигаться или навстречу наступающей с севера Красной Армии, или на юг — для удара по франко-греческо-деникинскому фронту.

План был трудный, надо было напрячь все силы, чтобы выполнить его,— десятками ударов из разных мест сразу уничтожить значительную часть петлюровского войска, превратив ныне подвластную директории огромную территорию «прослойки» в плацдарм для большевистских вооруженных сил.

Николай Столяров спросил:

— Это план обласкома и нашего Военно-революционного комитета?

— Нет,— ответил Ласточкин,— мы не одни будем выполнять этот план. Группы для раскола петлюровской армии одновременно с нами посылают Харьков и Москва. План разгрома интервентов на севере и на юге — единый план.

— Здорово! — сказал Николай Столяров.

Матрос Овчарук снова хлопнул ладонью по столу.

— Братишки! — воскликнул он.— Так я же для этого годен! Ей-богу, это я могу!

Все засмеялись, и когда смех утих, Ласточкин сделал важное предупреждение.

Коммунисты должны уметь тщательно оценивать обстановку. Отряды крестьянских повстанцев и партизанские группы, которые возникали стихийно против франко-греческо-деникинского фронта, намеревался подчинить себе какой-то атаманчик Григорьев. Этот Григорьев даже пытался «заигрывать» с большевистским подпольем, жонглируя революционными лозунгами и воззваниями, призывающими к войне с иноземными захватчиками и внутренней контрреволюцией, и заявлял, что он «красный» и отстаивает советскую «платформу». Бывший кадровый офицер царской армии, потом один из атаманов националистического «вольного» казачества, Григорьев переметнулся на сторону директории во время антинемецкого восстания Петлюры и Винниченко и претендовал на пост главнокомандующего армии УНР. Однако пост «головного атамана», как известно, занял сам Петлюра, и теперь этот честолюбец Григорьев, спекулируя на антипетлюровских настроениях народных масс, пытается привлечь на свою сторону повстанцев, чтобы на гребне волны антипетлюровского восстания выплыть к власти. Но завтра может оказаться, что он замаскированный провокатор белогвардейской контрреволюции, прямой агент иноземных интервентов, предатель, имеющий задание расколоть широкий фронт восставших рабочих и крестьян юга Украины.

Характерно, что на Григорьева делают ставку кое-какие антипетлюровские группы украинских националистов. Это — так называемые «незалежники-меньшевики» и эсеры-боротьбисты, которые для достижения своих целей прибегают к лю-

бым демагогическим — якобы «демократическим» — лозунгам. Они вдруг начали декларировать свое «согласие» с советским строем на Украине, но при условии отрыва Украины от России: они, дескать, присоединяются к борьбе против белой контрреволюции, однако только против русской. Одновременно они ведут войну... с рабоче-крестьянской Советской Россией.

Поэтому коммунисты, которым надлежит работать на территории «прослойки», то есть те, которые будут организовывать там восстания, возглавят партизанские отряды или станут комиссарами в отрядах, ныне подчиненных Григорьеву, должны действовать и против Петлюры и против Григорьева. Когда партизанские отряды, руководимые большевиками, окрепнут, а с севера приблизится Красная Армия, авантюре Григорьева будет положен конец одним ударом.

Узнать свой маршрут каждый коммунист должен был только в последнюю минуту перед выездом в военном отделе своего райкома. Военные отделы райкомов уже получили дислокации от штаба Военно-революционного комитета.

Когда коммунисты расходились из «Дома трудолюбия», комсомольский оркестр балалаечников громко наигрывал «Реве та стогне Днипр широкий».

3

Третьей из неотложных встреч, намеченных сегодня у Ласточкина, была встреча с рабочими завода Гена — тоже на Пересыпи.

Дело в том, что как раз рабочие завода Гена — этого самого большого в то время индустриального предприятия Одессы — составляли основной контингент бойцов в подпольном боевом отряде Ревкома, дружине имени Старостина. Дружина была хорошо организована: в каждом цехе имелся боевой десяток во главе с командиром — «десятским». Дружинники имели и неплохую боевую подготовку: они проходили военное обучение в Хаджибеевском парке, за Куяльницким лиманом и на полях пригородного села Дофиновки. Рабочих завода Гена — коммунистов, комсомольцев и беспартийных — в дружине насчитывалось несколько десятков, и еще много десятков, да, пожалуй, и сотен рабочих завода, горящих ненавистью к оккупантам, можно было поставить под ружье. Однако стало очевидно, что увеличивать количество дружинников на одном предприятии небезопасно: невозможно было сохранить конспирацию. В профсоюзном руководстве верховодили меньшевистские провокаторы, а в цехах шныряли шпионы контрразведок. Ни в коем случае нельзя было ставить дружину под удар. Как ни парадоксально это звучало, ее рост нужно было приостановить.

Были еще и другие, возможно более важные, соображения относительно вооруженных рабочих дружин. В том, что дру-

жина состояла из рабочих одного предприятия, был большой плюс: это укрепляло дисциплину среди бойцов и создавало хорошие условия для быстрой мобилизации. Однако в этом был и большой минус: сама собой создавалась какая-то «сепаративность» военной силы, на которую в первую голову должен был опереться Ревком во время всеобщего восстания. А ведь идея вооруженной борьбы против интервентов должна была стать массовой идеей, должна была овладеть самыми широкими массами трудящихся — всеми рабочими коллективами города. И, разумеется, на всех предприятиях надо было подготавливать вооруженные группы. Наличие таких групп дало бы возможность по сигналу Ревкома одновременно захватить большинство предприятий города, а во время всеобщего восстания, вооружив большое число рабочих, повести их в бой. В момент всеобщего восстания эти группы-десятки, до того хорошо законспирированные даже друг от друга, должны были быть сведены в межзаводскую вооруженную дружину. Это спасло бы дружину от разгрома в случае провала какой-нибудь отдельной группы-десятка.

Таков был план, выработанный областкомом, и Ревком поручил Ласточкину осуществить его во что бы то ни стало.

Встреча Ласточкина с командиром и десятскими дружины имени Старостина должна была произойти, конечно, не на территории завода. Областком категорически запретил устраивать какие бы то ни было явки на предприятиях, а тем более проводить там массовые собрания, так как все происки многочисленных контрразведок были направлены как раз на промышленные предприятия. Однако место встречи надо было выбрать неподалеку от завода и в рабочее время, потому что только таким способом можно было собрать всех людей одновременно. Поэтому встречу организовали в двенадцать часов — в обеденный перерыв — в чайной Арона Финкельштейна, за углом, наискосок от завода. Десятских предупредили еще накануне, что обедать они должны не у себя в цехе, у станков. Пусть им перед обедом захочется попить чайку у старого Арона: многие рабочие ходили в чайную, чтобы не есть всухомятку, размочить кипяточком свой обед. А чтобы в чайную на этот раз не попал никто из посторонних, рабочие — члены подпольной большевистской организации, которые не были командирами десятков, сразу же после обеденного гудка должны были занять посты на всех подходах к чайной от территории завода и на всех смежных улицах. К каждому, кто направлялся в чайную, а также и к командирам десятков, которых не знали в лицо, немедленно должен был подойти постовой и бросить мимоходом:

— Стой! Не ходи к Арону — там контрразведчики. Поворачивай назад! Готовится облава!

Нарваться на облаву, ясно, никому не захочется, и, услышав

подобное предупреждение, каждый, понятно, даст тягу. А для бойцов отряда эти слова были условленным паролем, означающим: «Все в порядке, спокойно, можно идти в чайную».

Арон Финкельштейн стал собственником чайной только месяц назад — по поручению областкома: через него и его чайную и осуществлялась связь областкома с большевистской организацией завода Гена. Он же — в связи с переходом Александра Столярова на нелегальное положение — временно исполнял обязанности командира дружины имени Старостина. Арон Финкельштейн имел довольно солидный военный опыт, получив георгиевского кавалера за бои под Перемышлем, в которых потерял левую руку.

Арон встретил Ласточкина на пороге чайной.

— Все в порядке, товарищ Николай,— доложил он,— гудок через две минуты. Минут через пять ребята начнут собираться. Присаживайтесь к столу и выпейте пока чайку. С точки зрения конспирации это совершенно необходимо, так как в чайной люди только то и делают, что пьют чай. Не менее важно это и по соображениям охраны здоровья граждан рабоче-крестьянской республики, пусть временно и лишенных права на легальное существование на своей собственной земле, тем более возможности заботиться о своем здоровье. Я уверен, что сегодня вы еще не успели выпить чаю.

Ласточкин улыбнулся.

— Спасибо, Арон! Законов конспирации я придерживаюсь свято, поэтому обязательно побалуюсь кипяточком. К тому же, признаюсь, сегодня еще не завтракал, а настоящий чай последний раз пил еще позавчера вечером.

В чайной никого не было, и Ласточкин направился к столу, стоявшему в глубине комнаты, поближе к задней двери, через которую в случае тревоги можно было выскочить на задний двор, а оттуда — в соседний. Арон остался у порога за небольшой конторкой. В чайной Арона Финкельштейна был установлен оригинальный порядок, удобный для посетителей, спешивших на работу, и для подпольщиков, приходивших на явку. Здесь каждый сам себе наливал чай, пил сколько захочет, а выходя, платил рубль «с пуза». Таким манером хозяин имел возможность обслуживать посетителей чайной без помощи какой-либо прислуги: никому не удавалось увернуться от всевидящего хозяйского ока и выйти из чайной, надувшись чаю нашармака, а каждому подпольщику, давая сдачу, Арон мог сообщить все необходимое.

Чайная занимала довольно просторный, но с низким потолком зал — раньше это был склад одного из контрагентов завода Гена. Поперек зала стояли длинные тесаные некрашеные столы с такими же скамейками, на небольшом столике в глубине пыхтел огромный жестяной самовар, ведер на десять,— в таких самоварах вываривают белье в сиротских домах, де-

шевых прачечных и земских больницах. Вокруг самовара выстроилась целая батарея блестящих кружек, сделанных из консервных банок.

Ласточкин налил из самовара кипятку, плеснул густой заварки из огромнейшего чайника и даже крякнул в предвкушении наслаждения. Затем он бросил в кружку крупинку сахарина и, обжигая пальцы, поставил ее на стол перед собою.

— Возьмите ржаной сухарик! — крикнул Арон от двери.— В ящике, под самоваром.

— Спасибо! — ответил Ласточкин.— Здорово придумано: сухарик хрустит на зубах, и создается полное впечатление, что пьешь вприкуску! Ваша фирма, Арон Финкельштейн, вне всякой конкуренции.

Он с наслаждением отхлебнул кипятку, обжигая язык и губы.

Раздался гудок.

Не успел Ласточкин допить и первую кружку, как в чайной начали появляться люди.

Они входили один за другим, в засаленных рабочих комбинезонах или в фуфайках, с выпачканными лицами,— пришли прямо от станков, торопливо на ходу вытирая ветошью руки. Обеденный перерыв длился только час — надо было успеть поесть, попить чайку, да и вздремнуть с полчасика. Но сегодня вместо обеда придется обойтись одним кипятком с сахарином. Зачем собрали, о чем будут говорить — заранее никто из рабочих не знал.

Каждый входивший бросал на Ласточкина, сидевшего в углу, любопытный и пытливый взгляд. Его лицо было незнакомо им, но если их собрали и Арон-командир — около дверей, значит так надо. Каждый брал кружку, наливал чаю и присаживался к какому-нибудь столу.

— Все? — спросил Арон, когда за столами набралось двенадцать человек.— Приятного аппетита! Можно начинать.

Тогда Ласточкин, не поднимаясь, заговорил из своего угла — негромко, но так, что слышно было всем:

— Товарищи!

На мгновение он остановился. Он волновался. Большевик-подпольщик в Одессе еще не мог открыто выступать перед широкими массами, даже перед рабочим, пролетарским коллективом: в городе, захваченном интервентами, где господствовали социал-угодники, повсюду за спиною стояли шпионы. Конечно, с этими товарищами он мог говорить открыто: перед ним сидели лучшие представители славного одесского пролетариата, партия вобрала их революционную энергию в свое русло, партия вела их — коммунистов и беспартийных. Можно было не сомневаться в преданности каждого из них делу пролетарской борьбы. Но...

Горячие головы были у этих дорогих и преданных товари-

щей. Большинство рабочих были молоды да зелены, без революционного, даже жизненного опыта: восемнадцати — двадцатилетние слесари или даже ученики слесарей. Любовь к родине, ненависть к врагу-оккупанту, к буржую-паразиту и романтика вооруженной борьбы привели их в ряды будущих активных бойцов. И понятно, что их так и подмывает проявить свою доблесть... Как же они отнесутся к тому, что он скажет им сейчас? Ведь он должен передать им не приказ Ревкома взять оружие и идти на баррикады, а призыв к кропотливой повседневной подпольной работе, призыв к выдержке и дисциплине. Он должен послать их на самую ответственную, самую трудную работу — организовывать других людей, возможно даже незнакомых им и, вероятнее всего, значительно старше их возрастом. Как отнесутся к этому горячие головы, эти юнцы со страстным южным темпераментом? Согласятся ли? Сумеют ли?

Ласточкин молчал, и все напряженно ждали. Напряженно ждали, а между тем так дружно отхлебывали чай из своих жестянок, что любо-дорого было смотреть. Они пили с таким усердием не потому, что так надо было по соображениям конспирации, а потому, что после тяжелой работы каждому приятно побаловать себя горячим чайком.

— Я, товарищи, не буду называть своего имени,— сказал, наконец, Ласточкин.— Вы, молодые бойцы временно ушедшей в подполье армии рабочего класса, сами должны понимать — почему: чтобы не услышали стены, чтобы не разнес ветер, чтобы я мог выйти отсюда таким же неизвестным, каким и пришел. Если вы случайно встретите меня на улице, вы не должны узнавать меня.

Шелест прошел по низкой комнате, рабочие оставили чай и, как по команде, отодвинули от себя жестянки.

— Пейте, пейте,— сказал Ласточкин,— это тоже конспирация. Кроме того, вам через час возвращаться к станкам, а вы не обедали.

Он улыбнулся, однако никто не ответил ему улыбкою. Все напряженно ждали, что скажет он дальше.

— Достаточно будет,— продолжал Ласточкин,— если я скажу, что меня прислал к вам центр организации всенародной борьбы против интервентов и все, что я вам буду говорить, это говорит вам центр руководства восстанием в Одессе.

Теперь гомон за столами сделался гуще. Люди заерзали на своих местах, кое-кто зашептал соседу. Ласточкин не мог расслышать слов, однако понял, что шептали, по движению губ, по выражению лиц, вспыхнувших сразу, по самой напряженной тишине, наступившей вслед за коротким шепотом.

— Восстание! Уже восстание!..— горячо шептали друг другу молодые рабочие.

Это еще больше усиливало волнение Ласточкина. Он сказал:

— Восстание — наша главная цель. Все силы революционного подполья направлены на то, чтобы как можно скорее организовать восстание. Народ изнывает под пятой империалистов-оккупантов; издевательства и зверства, чинимые белой и жовто-блакитной контрреволюцией, перешли всякие границы. Только вооруженным восстанием можно разгромить армию интервентов и контрреволюционные банды, только с помощью вооруженного восстания рабочие и крестьяне могут захватить власть в свои руки и снова восстановят в нашем городе и на всем юге нашей страны родную Советскую власть.

Ласточкин остановился, оглядывая молодые лица, вспыхнувшие отвагой, загоревшиеся глаза, светящиеся нетерпением.

— Но вам известно, товарищи, как велики силы интервентов, как хорошо вооружены и дисциплинированы их войска. Восстание может быть успешным только в том случае, если в нем примут участие широчайшие массы трудящихся и если пролетариат Одессы будет организован, хорошо вооружен, научится пользоваться винтовкой и пулеметом, а революционная дисциплина в его рядах станет безупречной.

Ласточкин снова сделал передышку, внимательно следя за выражением лиц, за взглядами горячих глаз. Кажется, кое у кого на лице отразилось разочарование, кое-кто помрачнел: молодые пролетарии — очевидцы великого Октябрьского переворота в героическом городе, очевидцы горячих боев с гайдамаками Центральной рады и восстания против австро-германских оккупантов — горели желанием идти в бой на баррикады... Можно ли ожидать от них революционной выдержки? Можно ли довериться им?.. Или, может быть, надо поискать другой способ, чтобы использовать их энтузиазм,— не открывая карт, не разочаровывая?..

Нет. Он скажет им прямо. С кем же тогда говорить прямо и открыто большевистской партии, авангарду рабочего класса, как не со своим классом?

— И вот,— продолжал Ласточкин,— расширить кадры вооруженных сил пролетариата, безупречно организовать их, научить обращаться с оружием и воспитать у них острое чувство революционной и военной дисциплины должны именно вы, бойцы главного вооруженного отряда Военно-революционного комитета, командиры рабочей дружины имени героя революции, любимца одесского пролетариата, погибшего за дело пролетарской революции, товарища Старостина.

По рядам снова прокатился рокот, на этот раз более громкий и выразительный.

— Понятно ли вам, товарищи, что я хочу сказать?

Рабочие молчали.

— Понятно, конечно...— начал кто-то из более солидных, постарше годами,— но...

— Но,— подхватил Арон, стоявший у двери,— так ли я понял вас, товарищ из центра? Вы призываете бойцов нашего отряда побывать на других заводах и начать там вербовать новых бойцов в наш отряд?

— Нет,— ответил Ласточкин,— вы, командир отряда, не поняли меня. Во-первых, я не призываю, а передаю приказ Ревкома. Дружина — это боевой отряд, военное соединение, а Ревком — это военное командование дружины, и военное командование никогда не призывает свою часть, а приказывает ей выполнить боевое задание. Это боевое задание я и передаю бойцам рабочей дружины имени Старостина.

Все опять заерзали на своих местах, кое-кто поднялся — и трудно было сразу понять, понравилась ли им речь Ласточкина, или, наоборот, вызвала недовольство. Арон крикнул что-то от дверей и тоже сдвинулся с места, но Ласточкин не дал ему заговорить и продолжал дальше:

— Во-вторых, речь идет совсем не о вербовке новых бойцов в вашу дружину, а о создании новых рабочих дружин. Самые надежные товарищи, ваши дружинники,— а я не сомневаюсь, что в вашей дружине все товарищи надежные,— должны выйти из состава вашей дружины и стать организаторами военных групп на других предприятиях.

Теперь уже все сорвались со своих мест и заговорили сразу:

— Это ликвидация дружины!.. За что?.. Почему?.. Вы распускаете отряд!.. Это демобилизация!.. Страх перед контрою!.. Мы не разойдемся... Пусть весь Ревком придет сюда и скажет это нам!

Арон был возбужден больше всех. Он оставил свое место около входа и очутился рядом с Ласточкиным.

— Вы заберете самых лучших бойцов из дружины, а это ее ослабит, сделает немощной.

— Нет! — крикнул Ласточкин.— Это укрепит военные силы пролетариата в городе.

Волнение с новой силой охватило Ласточкина. Случилось то, чего он больше всего боялся. Но волнение его было вызвано не только тем, что он беспокоился, как бы не сорвался план Ревкома; в его волнении было и какое-то отрадное, радостное чувство. Он невольно вспомнил только что происшедший разговор с другими рабочими, точно такими же, которых посылали во вражеские части, чтобы деморализовать там солдат и создать из них боевые большевизированные группы. Он сравнил тот разговор с этим, когда товарищи получали почти аналогичное задание. Те сразу и охотно приняли приказ, а тут — несогласие, протест и возмущение. Но удивительная вещь: людьми владело одно и то же чувство и там и здесь. Там товарищи охотно шли на выполнение ответственнейшего, исключительно опасного задания. Здесь волновались потому, что опасность и ответственность их деятельности на первый

взгляд как будто уменьшались и отдалялись. Люди рвались в в бой, они не хотели безопасности и безответственности.

Преодолевая волнение, стараясь ничем не выказать его, Ласточкин улыбнулся.

— Прекрасно, товарищи! — весело сказал он.— Вот теперь у нас настоящий разговор подпольщиков и конспираторов. Где же это видано, чтобы в рабочей чайной стояла такая гробовая тишина, как было до сих пор? Это сразу же может привлечь внимание шпиков. Хорошо, товарищи, очень хорошо! Кричите, кричите! И нальем себе еще по кружечке чаю!

Он подошел к самовару и стал наливать себе кипятку.

Как часто бывает в таких случаях, его слова произвели обратное впечатление: галдеж в чайной стих. И тогда Ласточкин обратился к Арону:

— А товарища Арона я попрошу снова занять свое место у дверей и в дальнейшем принимать участие в нашем разговоре, не оставляя своего поста, так как на вас, Арон, лежит обязанность предостеречь нас, если с улицы будет подан сигнал об опасности.

Арон Финкельштейн покраснел и бросился к дверям, на свое место. А Ласточкин в это время обратился к присутствующим:

— Вы должны знать, товарищи, что внешнюю охрану нашей с вами встречи сегодня несут только подпольщики-большевики. Мы с вами здесь любезно разговариваем, а ваши товарищи большевики в это время бдительно охраняют нашу с вами безопасность. Из этого вы можете сделать вывод об особой важности и ответственности нашего разговора. И вы, Арон, не подмигивайте мне! — бросил он.— Я понимаю ваши подмигивания: вы хотите напомнить мне, чтобы я, беседуя с товарищами, соблюдал тщательную конспирацию, потому что, дескать, не все присутствующие здесь — члены нашей партии, а, наоборот, большинство беспартийных. Вы хотите сказать мне: «Прикуси язык, товарищ из центра, не разболтай, что под окнами прохаживаются подпольщики-большевики, не расшифровывай их!» Так я вам отвечу на это товарищ Арон: от имени подпольного большевистского центра я говорю сейчас с пролетариатом, а у большевиков от пролетариата нет тайн!

По комнате прошел гул одобрения. А Ласточкин добавил:

— Раз товарищи стали лучшими бойцами подпольного вооруженного отряда, раз они включились в подпольную работу вместе с нами, большевиками, то, значит, они тоже большевики, хотя пока еще и беспартийные. Правильно я говорю, товарищи?

— Правильно! — в один голос подтвердили присутствующие.

— Я надеюсь, товарищи, вы давно уже догадались, что на заводе есть подпольная большевистская организация и что не-

которые большевики — ваши товарищи, рабочие завода Гена — живут и работают среди вас, а кое-кто из них сейчас, возможно, даже пьет вместе с вами чай.

В ответ раздался смех. Ну конечно! Кто же этого не знал? Ведь каждый из беспартийных не раз думал про своего товарища, напарника по станку или соседа по квартире, что тот большевик. Или наверняка знал это: вместе же на заводе работали, вместе в воскресенье ходили на море удить рыбу. Какие же могут быть секреты между товарищами?

— Так вот, товарищи! — быстро продолжал Ласточкин, спеша использовать перемену в настроении, о которой ясно говорил дружный смех.— Самое ответственное и самое опасное задание дают каждому из вас, передовых пролетариев, наш Военно-революционный комитет и подпольный большевистский центр. Разрешите ли, товарищи, передать Ревкому и большевистскому подпольному центру, что все вы с честью выполните это боевое задание?

— Просим!.. Передайте! — крикнули несколько человек, и Ласточкин сразу понял, что это коммунисты.

— Раз надо, так надо,— поддержал еще кто-то.

— Передайте!..— послышалось еще несколько голосов.

— Только вы должны уяснить себе заранее,— сказал Ласточкин,— что рабочему завода Гена невозможно проникнуть на другое предприятие незамеченным, тем более — проводить там подпольную организационную работу: шпики сразу же выявят вас. Поэтому приказ Ревкома таков: тот, кто пойдет на другой завод, должен взять расчет на заводе Гена и поступить туда, где он должен проводить работу как организатор подпольной военной группы.

Снова по столам покатился шум. О такой перспективе никто не подумал, и слова Ласточкина кое-кого ошеломили.

— Вполне естественно,— продолжал Ласточкин, не давая увеличиться шуму,— здесь каждый сам должен выбирать: кому где сподручнее, где у кого есть широкие товарищеские связи, где легче устроиться на работу. Товарищ Арон завтра всех опросит. Каждый пусть скажет, куда ему лучше всего идти, а наши подпольные большевистские организации помогут ему устроиться на работу. Вы же понимаете, товарищи,— снова улыбнулся Ласточкин,— что наши подпольные организации действуют везде и вы не будете одиноки на новом месте. Понятно, товарищи?

— Понятно! — ответили теперь уже почти все.

— А кто по тем или иным причинам все же не сможет пойти, тот, конечно, останется и дальше работать на заводе Гена, в дружине имени Старостина.— Он неожиданно подмигнул.— В дружине имени Старостина сейчас будет ой-ой-ой сколько работы! Ведь в ней не должно уменьшиться количество бойцов, и на место тех, кто выйдет из дружины, немед-

ленно должны быть завербованы новые товарищи. Сейчас в дружине полтораста бойцов — и завтра должно быть полтораста. Ясно, товарищ Арон?

— Ясно...— не сразу и почему-то даже вздохнув, ответил Арон Финкельштейн со своего места.

Ласточкин шутя погрозил ему кулаком.

— Тебе, Арон, действительно будет сейчас много работы. Но не больше, чем любому из товарищей, которые пойдут на другой завод. А теперь, товарищи,— снова обратился он ко всем,— у меня есть важная просьба к каждому из вас. Кое-что из нашего разговора вам необходимо забыть, навсегда забыть, как будто его и не было. Прежде всего необходимо забыть, что Арон — командир дружины имени Старостина, забыть лицо, имя и адрес каждого присутствующего здесь и вообще всех бойцов отряда,— забыть о сегодняшнем нашем разговоре. Это называется — конспирация, товарищи, и каждый из вас — конспиратор. Вот этого не забывайте никогда! А меня... меня тоже забудьте, как будто я и на свет не родился. Понятно, товарищи?

— Понятно!

— Разрешите один вопрос,— послышалось из угла.

Ласточкин взглянул: в углу с поднятой рукой стоял коренастый, жилистый рабочий, в гимнастерке без пояса, задубевшей от масла и гари, с буйной копною русых волос, повязанных узким ремешком, чтобы они не падали во время работы на глаза. Он выглядел немного старше, чем другие, а в его фигуре чувствовалась военная выправка.

«Токарь,— машинально определил его профессию Ласточкин,— и, наверно, из демобилизованных фронтовиков».

— Прошу, давайте ваш вопрос,— сказал Ласточкин, но сердце у него екнуло: неужели это будет тот «сакраментальный» вопрос, который подбрасывают в конце проныры меньшевики?

Нет, лицо рабочего не говорило о скрытом коварстве.

— Скажите, товарищ из подпольного большевистского центра,— сказал токарь с военной выправкой.— Вот мы все тут рабочие, пролетарии, и хотя не члены большевистской партии, которая сейчас в подполье, но пролетарское дело нам дороже всего и ленинскую большевистскую программу мы принимаем всем сердцем, а за революцию готовы в огонь и в воду. Так почему же, разрешите вас спросить, почему большевистский подпольный центр, который правильно доверяет нам, хотя мы люди и беспартийные, присылает к нам на такую важную, политическую, я бы сказал, беседу, по такому большому, я бы сказал, делу... хорошего человека, ничего не скажешь, ну, например, вас,— а вот почему не придет поговорить с нами сам товарищ Николай? — Рабочий ударил себя рукою в грудь.— Мы ведь знаем, что у нас в Одессе сейчас главный

большевик — товарищ Николай. Я не скажу за всю Одессу. А за наших старых старостинцев, то есть бойцов дружины Старостина, могу сказать: они это знают! Знает народ, которому революция дорога: товарища Николая прислал Ленин в Одессу разговаривать с пролетариатом и поднимать его на контру и Антанту. Почему же он сам не придет?

По столам прокатился шум.

— А конспирация? Ты же слышал сейчас! — прозвучал чей-то голос.

— Дурень ты, Кирило! Чтобы его шпики выглядели...— отозвался другой.

— Только и мечтает он о том, чтоб с Кирилом Ващенко побеседовать! — крикнул кто-то еще.

Однако послышались голоса, поддержавшие вопрос:

— А почему бы и не побеседовать? Что он, боится нас?

— Такое дело доверяет, а показаться не может!

— Правильно говорит Кирило... Он нас знает — почему бы и нам его не знать?

Ласточкин внимательно следил за всем происходившим, быстро переводя взгляд туда, где раздавались голоса. Они звучали со всех сторон. Перед ним сидели люди, которым поручалось дело всеобщего восстания. Условия конспирации не позволяли ему открываться даже товарищам по борьбе. А сейчас перед ним были именно они. Однако престиж партии в рабочих кругах — выше всего. Между партией и народом самое дорогое — взаимное доверие. И ничто так не гарантирует преданность, как доверие.

— Ну что ж,— сказал Ласточкин,— если на то пошло, давайте познакомимся: я — Николай.

Кирило Ващенко сразу сел, почему-то покраснев, как рак. Другие, наоборот, в возбуждении повскакивали с мест. Но Ласточкин никому не дал заговорить.

— Сейчас гудок, товарищи, будем расходиться. Вот что еще я вам скажу. До скорого свидания, до встречи в боях с интервентами и контрреволюцией. Да здравствует партия большевиков, готовящая всенародное восстание! Да здравствует восстание! Долой оккупантов и белогвардейцев!

Он быстро вскинул руки, чтобы удержать всех, чтобы сохранить спокойствие, чтобы призвать к тишине, потому что вот-вот могло вырваться громкое «ура», а это с точки зрения конспирации было бы уж слишком.

4

Ласточкин доехал трамваем до центра; ему надо было торопиться на Военный спуск, 8,— на явку Морского райкома.

Остановившись на горе у Сабанеевского моста, в начале спуска, Ласточкин сразу увидел на море знакомые контуры

«Пушкина» в Практической гавани, у Военного мола, и «Платова» в Военной гавани, у Нового мола. Радостно было смотреть на эти корабли: в них свободно и четко бился пульс большевистского подполья. В сравнении с иностранными морскими гигантами эти служебные посудинки выглядели карликами, однако по значению своему это были крупнейшие суда эскадры. Собственно говоря, с этих двух маленьких суденышек и начинал теперь свою биографию большой советский флот на Черном море. «Граф Платов» и «Пушкин» были судами особой важности, и не только потому, что в их трюмах было спрятано вооружение по меньшей мере для двух сотен бойцов и значительное количество огневых боекомплектов. Суда «Граф Платов» и «Пушкин» выполняли еще функции, исключительно важные для подпольной работы и в городе и в области.

Весь личный состав радиотелеграфного судна «Граф Платов», включая командира судна, был большевистским. Таким образом, «Граф Платов» фактически был судном обласкома, и радиостанция белогвардейского гарнизона находилась собственно в руках большевистского подполья.

Информации из Москвы, Харькова и других крупных центров Советской страны подпольный областком партии получал немедленно, и контрразведка оккупантов бесилась, не понимая, откуда в большевистском подполье такая точная информация.

Что касается пловучей бани «Пушкин», то большевистской была вся ее прислуга и технический персонал. Под теплым душем или на лавке подле шайки с кипятком происходили конспиративные свидания матросов-подпольщиков. Здесь же, в бане, под охраной банщиков проводились все собрания большевистской организации моряков. Охрану на борту «Пушкина» и на яликах и фелюгах у берега несла в таких случаях дружина Морского райкома...

Здесь, на краю обрыва, ветер дул не порывами, как в тесных кварталах города, а беспрестанно. Сила его была не менее пяти-шести баллов. Ветер будто бил в спину человека и гнал его вниз, в порт. Но Ласточкин откинул корпус назад, словно опирался спиной о поток ветра, и несколько минут постоял, оглядывая море.

В порту — во всех четырех гаванях: Практической, Военной, Новой и Карантинной — стояло немало русских судов. Здесь были угольщики, танкеры, торговые суда Ропита, пароходы Добровольческого флота с Крымской, Херсонской и Ростовской линий. Зимних рейсов почти не было, суда стояли в тихих заводях или жались к эллингам за Андросовским молом и Арбузной гаванью, поджидая ремонта. Дальше, за волнорезом, на Малом рейде, и дальше в бухте, на Большом рейде, в две линии выстроились суда «Союзной эскадры»: миноносцы, крейсеры, дредноуты. Жерла пушек в чехлах были повернуты

в сторону города. Флот интервентов находился в боевой готовности. Одним залпом он мог обрушить на город столько металла, что от капитальных строений, от огромных заводов осталась бы куча щебня и покореженные железные каркасы.

Таков был и ультиматум союзников: если в городе вспыхнет восстание, войска интервентов отойдут на территорию порта, а эскадра из полусотни боевых кораблей начнет давать по городу залп за залпом...

Ласточкин глубже надвинул шапку и быстро зашагал по спуску вниз. Ветер подгонял его, пока он не спустился с высокого берега. Внизу ветер сразу стих.

В порту было тихо, даже море как будто замерло в штиле: высокий берег защищал территорию порта и зеркало гавани от степных ветров. Лишь там, за волнорезом, под ударами шквального «горового», море бушевало и кипело пенистыми бурунами. Особенно бесновалось оно вокруг стальных кораблей эскадры.

На явке, в доме 8 по Военному спуску, Ласточкина уже ожидал представитель Морского райкома грузчик Птаха и с ним матрос Шурка Понедилок.

Явка на Военном спуске была особенно удобна. Здесь старуха пенсионерка Юзефа содержала ночлежку для бездомных моряков. В двух больших комнатах стояли рядами койки, на которых ночевали матросы и низший портовый персонал. Обычно это были люди, искавшие работу или задержавшиеся в городе проездом, и они редко оставались у Юзефы дольше, чем на две-три ночи. Тут была самая обыкновенная ночлежка, и это давало право приходить сюда любому человеку в какое угодно время.

В третьей комнате, самой маленькой, жила хозяйка, а четвертую, в которой тоже стояли койки, она уступила под явку. Если с улицы грозила какая-нибудь опасность — проходили патрули, шарила контрразведка,— подпольщики по знаку, поданному из кухни, ложились на койки, накрывались одеялами и начинали храпеть на весь дом.

Шурка Понедилок весело приветствовал Ласточкина:

— Салют, товарищ Николай, а в вашем лице областкому и Ревкому!

Петро Васильевич Птаха степенно поклонился, молча пожал руку и сразу изложил суть дела. У союзного командования не хватало собственного тоннажа, чтобы перевезти военное снаряжение и личный состав, необходимый ему для обслуживания десантных кораблей. И союз пароходовладельцев передал в распоряжение англо-французского военного командования двадцать морских транспортов для рейсов в Константинополь и Салоники, где находилась база десанта интервентов. Морской райком запрашивал — что делать?

— Принимайте задание,— сказал Ласточкин, подумав.

Задание Ласточкин дал такое: райкому нужно позабо-

титься о том, чтобы на каждом судне в составе команды был подпольщик-большевик. Подпольщик получит от Иностранной коллегии газету «Коммунист» на французском языке и листовки с обращением к французским солдатам. На обратном рейсе он должен распространить эту литературу среди десантников, которым предстоит высадиться на нашей земле. Таким образом, пропаганда среди французских солдат начнется еще в пути. В Советской стране перед ними сразу встанет жгучий вопрос: куда и для чего они идут?

Однако старый грузчик Птаха принял это задание без особого восторга. Он не мог примириться с тем, что транспорты будут свободно курсировать между Одессой и базой интервентов.

— Что же вы предлагаете, товарищ Птаха?

— Я предлагаю при выходе из гавани — между Потаповским молом и волнорезом и между волнорезом и маяком Рейдового мола — затопить хоть некоторые из этих транспортов.— Птаха говорил степенно, хозяйским тоном, поглаживая усы.— Так мы закупорим для них выходы из гавани в море. И надолго закупорим, потому что и подъемные работы тоже можно... затормозить. Значит, суда в гавани будут заперты.

Ласточкин схватил Птаху за руку.

— Как, как? Погодите! — Он потянул его к окну, из которого была видна почти вся бухта.

— Выходов из гавани только два,— солидно пояснил Птаха,— здесь вот, слева, и вон там, справа. А закупорим мы таким способом все четыре гавани — со всеми судами и транспортами, которые должны пойти за десантом. Закупорим со всеми угольщиками, танкерами, легкими посудинами. Вот тебе и скачи, враже, як пан каже. А паны, выходит, мы.

— Идея! — весело подхватил Ласточкин.— Блестящая идея!

Но Птаха еще не закончил своего предложения. Он не спеша разгладил усы и продолжал:

— В гаванях тоже можно кое-что сделать. Взрывать и топить суда жалко — на что нам свое добро губить? Лучше целыми спускать их на дно, чтоб потом легко было поднять,— сразу двух зайцев убьем.

— Мама ро̀дная! — восторженно вскрикнул Шурка Понедилок.— Очень просто! Срубить несколько заклепок, залить кочегарку...

Но Птаха говорил, не обращая внимания на Шурку:

— ...Лучше всего открыть кингстоны в кормовой части судна. Судно тогда станет, как бы сказать, на дыбы: половина под водой, а нос будет торчать. Эти суда очень легко выровнять потом, когда понадобится. И совсем целые останутся, неповрежденные: неси в магазин и клади на полку...

— Прекрасно! — сказал Ласточкин.— Ваше предложение,

товарищ Птаха, я сегодня же передам областкому и о принятом решении извещу вас немедленно. Большое спасибо вам, товарищ Птаха!

Старый Птаха пожал плечами и снова разгладил усы.

— За что же благодарить? Служим революции, боремся с интервентами...

5

Заседания областкома происходили регулярно два раза в неделю — либо в школе имени Пушкина на Болгарской, 63,— в этой школе ко времени захвата города петлюровцами находился штаб рабочих боевых дружин,— либо на Княжеской, 23, в скульптурной мастерской.

Сегодня заседание было назначено в скульптурной мастерской. Мастерская находилась недалеко от ночлежки, и Ласточкину удалось не опоздать ни на минуту. Это помещение очень подходило для заседаний областкома, потому что в районе Княжеской улицы было много проходных дворов — и в случае тревоги подпольщики могли разойтись из мастерской на все четыре стороны.

Однако сама мастерская была неудобна для заседаний. В большой комнате-студии, всегда влажной, насыщенной запахом сырой глины и гипса, почти не на чем было сидеть. Рассаживались где попало — на полу либо на затвердевших гипсовых моделях, предварительно прикрыв их старыми газетами. В мастерской изготовлялись для школ бюсты Льва Толстого, Пушкина, Гоголя; на рынок — прибыльные маленькие статуэтки на фривольные сюжеты: фавн и пастушка, сатир и нимфа и другие подобные им вещицы. Бюсты и статуэтки были навалены кучами в углах, а посередине, прикрытая давно высохшим, заскорузлым брезентом, высилась начатая скульптором еще в дни революции, в семнадцатом году, и, за отсутствием желающих ее купить, заброшенная статуя Свободы с веточкой мира в одной руке и весами — очевидно, символом справедливости — в другой. На плечах Свободы лежал слой пыли толщиною в палец.

А впрочем, подпольщикам некогда было обращать внимание на эту неуютную обстановку: дел было много, а для решения каждого из них очень мало времени.

Сегодня областком совместно с Военно-революционным комитетом должен был принять ряд чрезвычайно важных решений.

Интервенты начали наступление по всей линии фронта: Херсон — Николаев — Березовка — Раздельная — Тирасполь. Жизнь требовала приблизить час всеобщего восстания в тылу, в Одессе, и на всей захваченной интервентами территории. Поэтому необходимо было еще теснее сплотить партийные ряды

и объединить действия всех партийных организаций области. Областком решил в ближайшее время созвать в подполье партийную конференцию, которой, возможно, и будет суждено провозгласить начало всеобщего восстания. Для того чтобы мобилизовать всех членов партии, привести в состояние боевой готовности все подпольные организации и подготовить конференцию, в наиболее крупные партийные организации — в Николаев, Херсон, Балту, Голту, Алешки, Каховку, Ананьев, Очаков и Аккерман — решено послать членов областкома. Товарищам давалось еще и дополнительное задание: установить тесные связи с «бродячими» партизанскими отрядами и группами, самостоятельно возникшими в разных концах области. Эти отряды должны без устали и всеми способами беспокоить интервентов: устраивать налеты, диверсии, терроризировать белые власти.

Затем были приняты решения по отдельным вопросам городской жизни.

Террор оккупантов усиливался: в городе объявлено осадное положение, каждый день происходят облавы и арестованных расстреливают во время перевозки с места на место под предлогом «попытки к бегству». В связи с этим решено было разбить на пятерки боевые дружины Морского райкома и имени Старостина — общей численностью до двухсот бойцов. Эти пятерки должны тайно патрулировать по всей территории города каждую ночь, с вечера до утра, чтобы оказывать сопротивление группам контрразведок, бесчинствующим по ночам. Одновременно решили усилить работу групп Красного Креста, на которых лежала забота о заключенных в тюрьмах.

Было также принято решение об организации Совета безработных. В городе до тридцати тысяч трудящихся ходили без работы. Они гибли от голода и нужды, и проводить среди них какую бы то ни было работу было невозможно. Организация Совета безработных объединила бы этих разобщенных людей, позволила б лучше организовать борьбу за их прямые интересы и одновременно дала бы возможность в момент всеобщего восстания использовать и этот огромный отряд как организованную силу.

Когда порядок дня был исчерпан, Ласточкин сделал информацию о документе директории.

Сообщение о договоре между директорией и французами произвело сенсацию. Областком разрешил приобрести договор, чтобы немедленно передать его в Москву, киевским подпольщикам и командованию Украинского фронта.

Но предложение старика Птахи вызвало дебаты, и решено было пока суда не топить, чтобы не увеличивать репрессии в порту и в городе, тем более что при данных условиях нельзя было рассчитывать на большой эффект: оккупанты начнут высаживать десант за волнорезом и быстро поднимут затопленные

суда. Однако подобные диверсии готовить и прибегнуть к ним во время всеобщего восстания в том случае, если противник будет уходить морем. Тогда выход из гавани закупорить потопленными кораблями, и таким образом в руках восставшего народа останется техническое оснащение оккупационной армии.

Заседание областкома, продолжавшееся два часа, окончилось в половине четвертого.

6

Ласточкин забежал за деньгами, хранившимися в партийной кассе — под кроватью у тяжело больной подпольщицы на Преображенской улице,— и в четверть пятого уже раздевался в гардеробной кафе Фанкони...

В эту пору в кафе Фанкони бывало особенно людно... За каждым столиком по три-четыре человека сидели офицеры добрармии, контрразведчики, французы, греки, поляки. Здесь кормили дорого, но зато можно было получить все что угодно: николаевскую водку, донское шампанское, коньяк Шустова, вина из подвалов Синадино. Пьяный галдеж висел в воздухе ресторана в этот обеденный час. Возле каждого столика искрились стеклярусом дамские шляпки «русский кокошник» и «шлем русского богатыря», модные в белогвардейских кругах. На эстраде кривлялся «кумир» этого сезона — Убейко, юмор которого заключался в том, что все его куплеты рифмовались с подразумевающимися непристойными словами. Вместо неприличных слов юморист многозначительно произносил: «Гм, гм»,— и это вызывало бурю аплодисментов, гомерический хохот и истерический женский визг.

Ласточкин быстро и внимательно оглядел зал. Его привычный глаз сразу заметил: почти у самой эстрады за столиком сидел только один человек. Это был офицер с безупречным пробором, во френче с погонами прапорщика. Ласточкин направился к нему.

Надо было пробираться между столиками, за которыми орали пьяные компании, под взглядами десятков людей и, бесспорно, под недремлющим оком агентов контрразведки, внимательно встречавших и провожавших каждого посетителя. Но Ласточкин уже натренировался в таких вещах. Он старался как можно чаще появляться в ресторанах и, приняв вид независимого коммерсанта — не то чтоб забулдыги, но любителя ресторанного досуга,— заводить приятельские отношения с заметными здесь людьми. Он уже приобрел приятные знакомства среди офицеров, даже контрразведчиков.

Ласточкин шел уверенной походкой, беззаботно помахивая папкой с деньгами и рассеянно поглядывая по сторонам. Увидев знакомое лицо, он кланялся с приветливой, радостной улыбкой. Но если знакомые не попадались, он раскланивался

просто в пространство,— разве со стороны заметишь, кому из сидящих за столиками адресован этот поклон? Обширные знакомства — наилучшая рекомендация для ресторанного завсегдатая.

Офицер за столиком около эстрады тоже заметил Ласточкина и понял, что тот направляется к нему. Во взгляде офицера Ласточкин прочел растерянность. За документом должен был прийти Гершко Беркович, а вместо дородного негоцианта в долгополом сюртуке к офицеру приближался неизвестный человек — приземистый, щуплый, в элегантной тройке «бостон». Ласточкин подметил, как офицер метнул взглядом вправо и влево. Несомненно, за соседними столиками справа и слева сидели его сообщники, охранявшие его на случай неожиданности.

Собственно только в эту минуту должно было стать окончательно ясным для обеих сторон — будет ли здесь засада и с чьей стороны: со стороны негоцианта Гершки Берковича на Мишку Япончика или со стороны Мишки Япончика на Котовского? Разве не безразлично Гершке Берковичу, чем торговать — картошкой или людьми? А что касается Мишки Япончика, то он был гангстером, профессиональным провокатором.

Девяносто девять шансов против одного было за то, что засаду устроит Мишка Япончик: ведь он не потеряет на этом ни копейки — и документ и голова Котовского стоят по пятьдесят тысяч. Но, продавая документ большевистскому подполью, он получит только пятьдесят тысяч и никакой особой благосклонности со стороны большевиков. Правда, в благосклонности большевиков Мишка не нуждался, потому что не верил в их победу. А продавая контрразведке голову Котовского, он, помимо пятидесяти тысяч, приобретет благоволение контрразведчиков и обеспечит себе поблажки для дальнейших афер.

Пожалуй, Ласточкину действительно не следовало приходить сюда? Поступок был легкомысленный, не продуманный до конца. Но размышлять было уже поздно.

Ласточкин остановился около офицера.

— Можно присесть к вашему столику, мосье?

Офицер смотрел на него внимательно, во взгляде его сквозила растерянность еще большая, чем раньше.

Ласточкин ждал. Краем глаза он видел, что четверо молодчиков за соседним столиком справа насторожились и застыли над своими бокалами. Он чувствовал, что за столиком слева тоже притихли. Там тоже насторожились, тоже, очевидно, пристально рассматривали его.

Нет, разумеется, это было безрассудно! Он мог сейчас провалить свою надежную маску добропорядочного коммерсанта, завсегдатая ресторана, ничем не скомпрометированного владельца фешенебельного ателье «Джентльмен» на Ришельевской, купца Николая Ласточкина.

— Мосье...— медленно проговорил офицер,— очень... рад... мне одному... скучно...

Ласточкин любезно поклонился, отодвинул стул и сел.

Пароль сказан верно. Но разве пароли не перехватывают, не передают, не продают, наконец?

Однако выхода уже не было: разве отговоришься перед контрразведкой, что пароль — только случайное совпадение и такие слова может произнести всякий, прося разрешения занять свободное место?

— Гарсон! — крикнул Ласточкин.— Карту!

Официант положил перед ним меню.

Ласточкин наклонился над меню и сказал:

— Вы ждали Гершку Берковича, но Гершко не может прийти...

Вдруг неожиданно для самого себя он схитрил, разыгрывая доверчивость, за которой не всегда разберешь, где правда, которая звучит как ложь, и где ложь, ничем не отличающаяся от правды.

— Сказать по совести, у меня такое впечатление, что Герш просто побоялся. Знаете, у этого «капцана» старая «мадам» и шестеро малышей, и всем надо по кусочку хлеба с маслом.— Ласточкин шумно вздохнул и отодвинул меню.— Каждому нужно заработать кусочек хлеба с маслом! Я имею от Гершки куртаж, и больше ничего меня не касается. Деньги в папке, крупными купюрами... Бокал шабо, сыру и соленого миндаля!

Он вернул меню официанту.

Офицер молчал. Он колебался.

— Кто вы? — спросил он, наконец, виртуозно сочетая резкость тона с приятельской улыбкой.

Со стороны можно было подумать, что, поздоровавшись со знакомым, он завел дружескую беседу. Но Ласточкин заметил, как насторожились за соседними столиками.

Теперь надо было идти ва-банк.

— Слушайте! — сказал Ласточкин сердито.— Что вы мне голову морочите? Я — коммерсант, и мне нужно заработать. Я делаю свою комиссию. Я — покупатель, вы — продавец. Я принес деньги, вы предлагаете товар. Что вы мне поете оперу «Тоска»? — Тон его стал вдруг дерзким: теперь уже не было времени прикидывать, примерять и колебаться.— Вы меня спрашиваете, кто я? Так я вам скажу, кто вы. Вы — Ройтман! Но меня совершенно не интересует ваша биография. Меня интересует совсем другое. Для меня важен коммерческий интерес — что я буду от вас иметь?

Офицер бросил на него быстрый взгляд. И Ласточкин, немного успокоившись, поскакал дальше — словно на резвом скакуне.

— По совести! От покупателя я имею два процента комиссии. А сколько я буду иметь от вас?

— А сколько вы хотите? — быстро спросил офицер, уставившись в глаза Ласточкину.

Ласточкин с выражением искреннего изумления передернул плечами.

— Разве вы не знаете закона природы? Каждое тело теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость. Тоже два процента! — Он слегка хлопнул ладонью по папке с деньгами.

Офицер не сводил с его лица глаз, но в них уже как будто исчезло колебание.

Ласточкин поднял свой бокал и глотнул вина.

Тогда офицер вынул из кармана френча конверт, положил его перед собой на стол и сразу крепко прижал ладонью папку с деньгами.

Но Ласточкин придержал папку за уголок.

— Слушайте! — сказал он.— Я покупаю кота в мешке. Вы тоже получаете мешок с котом. Посчитайте и покажите мне котика.

Офицер пожал плечами. Он приподнял верх папки, заглянул, убедился, что там деньги, и, не глядя уже на них, беззаботно посматривая кругом, быстро пересчитал купюры проворными пальцами: пятьдесят тысячных думскими. Затем вынул из конверта и показал Ласточкину лист бумаги с аккуратно напечатанными на машинке строчками. Тут уж приходилось идти на риск.

Теперь папка с деньгами лежала на одной стороне стола, конверт — на другой.

— Вира! — сказал офицер.

Они одновременно подались вперед. Ласточкин стремительно схватил конверт, а офицер — папку.

Ласточкин спрятал конверт в карман и поднял бокал.

— Ваше здоровье!

Офицер кивнул.

Ласточкин положил в рот соленую миндалинку и, хрустя ею, спросил:

— Куртаж?

К удивлению, офицер протянул руку к папке, достал тысячерублевку и положил перед Ласточкиным.

Ласточкин этого никак не ожидал. Но он спокойно взял деньги, небрежно сунул их в карман и сказал:

— Прошу иметь меня в виду. Я обедаю либо здесь, либо у Робина. Извините, я спешу...

Он допил вино до последней капли, наскоро прожевал кусочек сыра и, держась попрежнему с достоинством, встал.

— Честь имею!..

Потом, слегка подмигнув, кивнул на свой пустой бокал:

— Накладные расходы — за счет продавца...

Не торопясь, шагом солидного человека, то и дело привет-

ливо кланяясь кому-то за столиками, Ласточкин прошел через весь зал к выходной двери. В ресторане стоял беспорядочный гомон, звенели бокалы, звякали ножи, взвизгивали дамы, кто-то пытался кого-то перекричать.

На улице Ласточкин вздохнул полной грудью. Холодный ветер подхватил полы пальто и окутал ими ноги, шмыгнул за воротник и ожег морозным дыханием. Но Ласточкин не обратил на это внимания, только расправил пальто, чтобы сделать шаг.

Однако, прежде чем идти дальше, он засунул руку за борт и нащупал конверт. Договор был в кармане. Рядом с конвертом под пальцами Ласточкина что-то зашелестело. Ах, да, тысяча рублей куртажа! Ласточкин не выдержал и захохотал. Уже три месяца, как он орудует, имея при себе паспорт купца второй гильдии, но это его первый куртаж.

Он еще раз вздохнул полной грудью — уже совсем легко и свободно. Сердце билось теперь спокойно и ровно, только в голове почему-то немного шумело. Да, ведь он выпил бокал шабо... за счет продавца...

Посмеиваясь, Ласточкин быстро зашагал прочь. Надо спешить. Уже больше пяти, а к шести он должен на несколько минут зайти на Ришельевскую — проинструктировать портных. Потом заседание Иностранной коллегии. Но прежде нужно непременно размножить этот документ...

Ласточкин забежал на Екатерининскую, в машинописное бюро. В случае экстренной необходимости машинистка Ревекка прямо в бюро переписывала подпольные документы.

Ревекка сидела на своем обычном месте. На перепечатку документа потребовалось несколько минут. И вскоре с тремя копиями документа в кармане Ласточкин был в ателье на Ришельевской.

В ателье на Ришельевской портнихи уже ждали главного закройщика. Это были три девушки — «ученицы с курсов кройки и шитья», как свидетельствовали их документы, и в то же время «безработные», как удостоверяли их регистрационные карточки на бирже труда,— Маша, Вера и Катюша. Они «искали работу», и главный закройщик должен был проверить их знания и способности к шитью. Ателье на Ришельевской было одним из наиболее фешенебельных в городе, и принимали сюда не всякого: среди безработных портных и портняжных подмастерьев главный закройщик ателье «Джентльмен» слыл взыскательным знатоком своего дела и жилой.

Девушки сидели вокруг большого стола во второй комнате ателье, перед ними на столе лежали выкройки, ножницы, сантиметры, мел и большой кусок дешевого коленкора, который не жалко было истратить на пробу.

Но Ласточкину было некогда, и поэтому он сразу приступил к делу.

— Так вот, девушки,— сказал Ласточкин,— вы поедете сегодня вечером, самое позднее завтра утром. Маше — Москва, Вере — Киев, а тебе, Катюша, во что бы то ни стало надо найти расположение ставки командования Украинского фронта. Сегодня она находится где-то между Ворожбой и Ромнами. Добираться будете как придется, вам не впервой. Поездом, лошадьми, пешком — в зависимости от обстановки. Повезете, как и в прошлый раз, сводки, но, кроме того, я вам дам еще документ исключительной важности.— Ласточкин остановился и тепло взглянул на девушек.— Понимаете, товарищи: если сводки попадут в руки врага — это провал, но еще не гибель, а если к врагу попадет этот документ, то... Понятно, товарищи?

— Понятно...— прошептали девушки-комсомолки.

Ласточкин сказал тихо, но сурово:

— Отдавать врагу этот документ нельзя.

— Понятно, товарищ Николай,— по очереди проговорили Маша, Вера и Катюша.

Ласточкин открыл дверь в салон, где среди нескольких заказчиков, примеряя готовые вещи или на скорую руку прихватывая белыми нитками полы, рукава и воротники, сновали два-три подмастерья и величаво прохаживался помощник главного закройщика Михаил Иванович.

— Михаил Иваныч! — крикнул Ласточкин.— Можно вас на секундочку? Захватите, пожалуйства, иголку и нитку!

Михаил Иванович, с сантиметром на шее, вошел и плотно прикрыл за собой дверь.

— Михаил,— сказал Ласточкин,— зашей девушкам сводки в подкладку.

Не говоря ни слова, Михаил Иванович стал подпарывать воротники на девичьих кофтах.

— А документ должен быть во рту,— сказал Ласточкин.— Кто знает, что может случиться в дороге. Изо рта не вынимать ни на минуту! Михаил! — Ласточкин подал ему три листочка тонкой японской шелковой бумаги.— Запечатай в три капсулы.

Потом он опять обратился к девушкам:

— Ну, милые-хорошие, не подведите! Явки те же, что и в прошлый раз. Желаю вам счастья!

Он пожал девушкам руки, потом обнял их и поцеловал.

7

Было ровно шесть, когда Ласточкин подходил к кабачку «Открытие Дарданелл».

Этот кабачок находился в подвале на углу Дерибасовской и Преображенской. Прежде здесь был «Гамбринус».

Как и ателье на Ришельевской, кабачок «Открытие Дарда-

нелл» был собственным предприятием Военно-революционного комитета: помещение Ревком арендовал через подставных лиц. Арендатор-буфетчик, мальчики-половые — все здесь были подпольщики. Прославленный Куприным кабачок был расположен не на территории порта, а в центре города, но матросы с иностранных кораблей издавна по традиции посещали его, как достопримечательное место в Одессе.

Матросов французской эскадры, сходивших на берег в отпуск, тоже притягивали двери гостеприимного кабачка, над которыми висел старинный четырехгранный фонарь. Вывеска сияла огнями маяков, щедро расставленных маляром на красочной панораме Дарданелл.

Кабачок «Открытие Дарданелл» был специально выделен для деятельности Иностранной коллегии. Тут среди французских моряков сновали мальчики-половые и девушки с улицы; у них всегда был запас и «Коммуниста» на французском языке и французских листовок обласкома, всегда могло сорваться с их уст и какое-нибудь вольное словечко.

В подсобном помещении позади кухни, где жарили яичницу, резали колбасу и цедили из бочек сквирское вино, происходили летучки коллегии. Для больших заседаний коллегия собиралась в катакомбах на Куяльнике, у Гали.

Когда Ласточкин, минуя зал, вошел со двора в это помещение, он увидел там Жака, Витека, Алексея, Абрама и Славка.

— А Жанна? — спросил Ласточкин, поздоровавшись.

Жак ответил:

— Жанна либо опоздает, либо совсем не придет. У нее сегодня вечером операция в казармах на Фонтане. Она поехала туда с лавочкой.

Французы с давних пор привыкли к маркитанткам, и коллегия сумела это использовать. В вечерние часы, перед перекличкой, когда солдатам давался час отдыха после муштры, к казармам подъезжала бричка с двумя-тремя девушками в белых халатиках и грудой всяческих излюбленных солдатами лакомств. Они предлагали турецкие рожки, финики в картонках, винные ягоды на веревочке, миндаль в фунтиках, маковки. Французы были охотники до сластей. Девушки торговали также папиросами, табаком, спичками. Можно было угоститься и стаканчиком рома.

— Ладно,— сказал Ласточкин,— начнем без нее. Заведите органчик. Кто первый?

Механический органчик в зале всегда заводили, когда за кухней начиналось совещание.

Первым, как всегда, взял слово нетерпеливый Витек.

Он еще не начал говорить, а глаза его уже засветились, на щеках вспыхнул яркий румянец, и он взъерошил непослушные вихры.

Витек был красив. Вдохновенное лицо, нервные, тонкие и подвижные пальцы музыканта. К его стройной фигуре очень шла студенческая тужурка с голубыми петлицами.

— Товарищи! — горячо начал Витек.— Я заверяю всех и особенно вас, товарищ Николай, что они уже готовы к восстанию! Честное слово!

Все улыбнулись. Пылкого Витека любили, но относились к нему снисходительно. Ласточкин тоже улыбнулся и предупреждающе поднял руки.

— Тихо, тихо, Витек, не горячись! Докладывай спокойно и рассудительно.

Витек снова растрепал вихры и расправил борта тужурки. Докладывать спокойно и рассудительно было выше его сил. Он нашел выход в том, что стал говорить шепотом, хотя с той же горячностью.

— Товарищи! Когда я рассказываю им о том, что происходит здесь, в нашей отчизне, какая роль им досталась — роль палачей рабочих и крестьян,— когда говорю, что они слепое орудие захватчиков-капиталистов и завоевателей-генералов, они плачут, потому что им стыдно, товарищи! Они срывают с себя боевые ордена, швыряют их наземь и клянутся воткнуть штыки в землю. Когда я объясняю им, кто такие большевики, они кричат: «Если это так, то и мы большевики!» Они требуют вести их в бой против собственных офицеров и против белогвардейцев, на помощь красной Москве! Я им не подсказывал, товарищи, но они кричат: «Да здравствует коммуна!», «Да здравствует Третий Коммунистический Интернационал!»

— Стоп! — приказал Ласточкин.— Погоди!

Витек осекся на полуслове, непонимающе посмотрел на сердитое лицо Ласточкина и сел.

Ласточкин сказал сурово:

— Товарищи! Я думаю, мы должны освободить Витека от агитационной работы и вывести из Иностранной коллегии.

— Что? — Витек сорвался с места. Его глаза метали искры.

— Сядь! — сурово приказал Ласточкин.— Во-первых, Витек действует вопреки полученным им указаниям. Призывать к восстанию, когда восстание еще не объявлено,— это значит провоцировать несвоевременный подъем, за которым потом может наступить спад и разочарование.

Витек снова вскочил.

— А если они сами, если они требуют, если...

— Спокойно! — остановил его Ласточкин.— Во-вторых, Витек потерял всякую осторожность подпольщика. Он может провалить все дело пропаганды среди широких...— Ласточкин подчеркнул,— широчайших солдатских масс оккупационной армии. Это не кучка пылких юношей, таких, как он сам. А если

среди них есть провокатор? — Ласточкин гневно взглянул на Витека.

— Заверяю вас! — Витек порывисто поднялся, но Жак, сидевший рядом, усадил его на место.

— Какая твоя часть?

— Сто пятьдесят третий пехотный французский полк.

— А в польском легионе?

— Пулеметная рота поручика Думитрашека.

— Каковы твои успехи среди белополяков?

Витек снова вскочил.

— Это шляхта, кулачье! Нельзя обмолвиться ни одним словом о свободе! Это заядлые сепаратисты до мозга костей! Кровожадная белая гвардия! Они ненавидят только Россию, а Украину считают польским владением. Их надо истреблять, склонить на свою сторону невозможно...

— Садись,— сказал Ласточкин.— Решение мы примем в конце. Кто следующий?

Витек умолк. Он теребил волосы, глаза его покраснели, казалось, он вот-вот заплачет.

Вторым докладывал Алексей. Он был прямой противоположностью Витеку. Немолодой, степенный, в старомодном поношенном костюме — аккуратно починенная и выглаженная тройка с тугим стоячим воротничком, подпирающим щеки. По лицу его было видно, что прожил он тяжелую жизнь, он пох дил на добропорядочного учителя из частной гимназии, гл большой семьи, где тяжело больна мать.

В действительности Алексей был старый холостяк, но за плечами лежали годы тюрем, ссылки, эмиграции, не один по и много нелегальных переходов через границы многих го дарств. Это был старый, опытный подпольщик.

— Моя часть,— начал он глухим голосом,— артиллерис... в казармах Пересыпи, за Херсонским спуском...

Он докладывал коротко, но обстоятельно. Впервые он встр тился с французскими артиллеристами на заводе «Кейса», где ремонтировались пушки и другое вооружение. Встречался ними в буфете на Московской, разговаривал за стаканом вина. Потом организовал вечеринку у своего приятеля, слесаря с завода Гена, и пригласил французских механиков и артиллеристов, вместе с которыми его приятель возился у машин. Беседовал с пятнадцатью французами. Среди них особенно под жился с одним, по имени Гастон, он из партии социалист Гастон охотно взялся распространять литературу в своей ча да еще обещал поговорить с друзьями. Можно не сомневат что через два-три дня в артиллерийской части будет созд настоящая подпольная группа, котора не только возьмет себя пропаганду, но и организует неповиновение офицера будет готовить революционно настроенных солдат к участ в восстании.

Голос Алексея звучал глухо, но в нем были какие-то очень теплые, задушевные нотки. Ласточкин с удовольствием слушал его доклад.

— Витек! — сказал он, когда Алексей кончил.— Ты слушал внимательно? Понял ты, как нужно действовать?

Витек хотел было вскочить с места, глаза его загорелись, но он сдержался, опустил глаза и покраснел.

— Но я должен признать, как и товарищ Витек,— прибавил Алексей,— что большинство французских солдат, когда им разъясняешь их позорную роль интервентов-оккупантов и душителей свободы, входят в раж, начинают проклинать и свою судьбу и своих командиров и требуют... немедленного восстания.

— Видите, видите! — вскочил Витек. Но Жак снова усадил его.

— Что же,— подал голос Абрам,— каждому тяжело видеть себя в роли Каина.

— Среди них много социалистов,— сказал Славко.

— У Франции большие революционные традиции,— напомнил Алексей.— Французские трудящиеся — внуки парижских коммунаров, санкюлотов, хоть на них и надели теперь мундиры оккупантов...

— А потом,— улыбнулся Жак,— учтите еще французский темперамент. Разве есть более пылкие, более страстные люди, чем французы?

— А наш Витек? — хитро улыбнувшись, бросил Абрам.

Все засмеялись, засмеялся и Ласточкин, и сам Витек, наконец, не выдержал и захохотал.

Доклад Абрама был еще короче доклада Алексея. Абрам работал среди матросов. Он связался через Морской райком с командой катера «Баламут», который ежедневно развозил рабочих механических мастерских с завода Ропита по французским судам, требующим мелкого ремонта. Абраму удалось попасть в кочегарки нескольких судов — «Жюстис», «Жан Бар», «Эрнест Ренан». Он распространил там листовки и на каждом судне завязал знакомства с кочегарами. На этих кораблях Абрам надеялся в ближайшее время создать группы протеста.

Но и он говорил о нетерпеливости французских матросов, может быть еще более горячих, чем пехотинцы; ведь матросы всегда были самой передовой, революционной частью армии.

Витек не сумел скрыть своего торжества, когда Абрам, улыбаясь, сказал:

— Они готовы хоть сию минуту залить котлы и поднять на мачтах красные флаги... Ей-богу, просто неловко себя чувствуешь, когда приходится доказывать им, что необходимо подождать, пока к восстанию не будет готова основная часть армии.

— Ага, ага! — воскликнул Витек, и все снова рассмеялись, потому что это было совсем уже по-детски.

Славко работал в частях, стоявших на постое в районе Пересыпи. В этих частях было много танкистов — водителей еще невиданных и в деле не испытанных железных чудовищ. Славко доложил, что он решил обратить свое внимание именно на танкистов.

Танкисты были приданы пехоте и должны были взаимодействовать с артиллерией. Славко близко сошелся с некоторыми спортсменами-танкистами. Великан Славко был силач и прекрасный гимнаст; он легко завоевал себе признание среди малорослых и щупленьких французов. Он поднимал наибольший вес, побеждал всех в борьбе, крутил солнце на турнике, а в боксе вообще не имел себе равного — до войны Славко был чемпионом родной Сербии по боксу.

Словом, покоренные его достоинствами спортсмены-танкисты уже организовались в распропагандированный кружок, который, по мнению Славка, во время восстания мог стать и опорной группой. Как бы то ни было, Славко ручался, что его друзья из спортивного кружка, если придется им выехать со смертоносными чудовищами на фронт, будут выпускать снаряды в черную землю и в голубое небо через головы красноармейцев и при первом удобном случае выкинут белый флаг.

— Вот, учись, кипяток! — сказал Витеку Ласточкин.— Товарищи! — обратился он ко всем.— Я думаю, что Витек уже понял, в чем его ошибка. На всякий случай мы перебросим его в другую французскую часть, потому что в Сто пятьдесят третьем полку, может быть, его уже взяли на заметку. Но что касается поляков, то найти дорогу к их сердцам ты обязан непременно. Там не все шляхтичи и беляки, там больше обманутых и спровоцированных. Узнай их! Верно, товарищи?

Все согласились.

Витек встал. Лицо его пылало, но он потупил глаза и неожиданно тихо сказал:

— Я оправдаю ваше доверие, товарищи, я возьму себя в руки...

Информация Жака была наиболее значительной. Жак крепко подружился с группой матросов с линкора «Франс»; матросы уже читали и «Коммунист» и листовки. Почва была подготовлена. В одежде французского моряка Жаку удалось пробраться на судно, и в кубрике он провел с матросами беседу. Он раскрывал захватническую политику интервентов, рассказывал о революционном настроении одесского пролетариата, о партии большевиков, красной Москве, борьбе трудящихся России — от Черного и Белого морей до Тихого океана — за освобождение от социального гнета. В результате на судне создан из матросов, объявивших себя большевиками, подпольный военно-революционный комитет во главе с комендором Мишелем. Комитет выделил для связи с одесским

революционным подпольем специального товарища, курьера капитана, который ежедневно бывает на берегу.

Выступление Жака было принято с воодушевлением.

Итак, французским матросам была не безразлична судьба русской революции: они плыли в Россию с сердцами, полными протеста и гнева, горевшими желанием бороться вместе с русскими братьями-пролетариями.

С информациями, таким образом, было покончено, и собрание перешло к определению дальнейших задач. Каждый получал различные указания, в зависимости от обстановки, но цель у всех была одна: используя агитационное воздействие большевистских листовок и газет, создать подпольные группы в частях и на кораблях и готовить эти группы как опору для всеобщего восстания. Располагая поддержкой всей солдатской и матросской массы оккупационных войск, можно будет поднять восстание.

Вдруг Ласточкин попросил всех замолчать и прислушался. Механический органчик в зале уже умолк, оттуда лились теперь другие звуки. Это была песня. Ее пели, сидя за столиками, французские матросы и солдаты, посетители кабачка «Открытие Дарданелл». Ласточкин напряженно вслушивался в слова песни. Он почти не знал французского языка.

— Что за черт! Мотив как будто знакомый, а слова...

— Это популярная песенка французских матросов, они ее всюду поют,— сказал Абрам.— Я слышал ее еще в Марселе.

— Я тоже слышал где-то тут, в Одессе,— сказал Ласточкин.— Но слова... какие-то не такие...

Жак улыбнулся.

— Они назвали эту песню «Одесский вальс», только вместо «Море спит в тишине, чуть вздыхая во сне», они поют теперь...

— Верно, верно! — припомнил Ласточкин: — «Ля мэр э куше...» А ну, переведи, Жак...

Жак, смущенно улыбаясь, перевел:

— Они поют: «Реки вин дорогих вечно только для них, горы яств дорогих вечно только для них, и палаты-дворцы тоже только для них. Нужда, горе для нас, слезы тоже для нас, ну, а кровь проливать — это мы, мы опять...»

8

Жанна так и не пришла на летучку коллегии.

Но она не могла прийти по серьезным причинам. Час тому назад вместе с двумя девушками-комсомолками из союза поваров и официантов она подъехала на бричке к казармам Сто семьдесят шестого пехотного полка, расположенным на Среднем Фонтане. Маркитанток сразу пропустили во двор, на плац, и бричку немедленно окружила толпа пуалю.

— Мне рожков! Мне фиников! Папирос! А мне, красотка, нацеди потихоньку стаканчик!

Жанна и обе девушки, улыбаясь всем сразу, отвечая шутками на шутки и безобидной бранью на недвусмысленные заигрывания, еле успевали удовлетворять все требования.

Сегодня они прихватили с собой много соблазнительного товара: сахар-рафинад — десять кусочков на франк, конфеты, черные египетские сигареты, даже «настоящий ямайский» ром. Конфеты, сахар, винные ягоды и другие лакомства — девушки быстро заворачивали в бумагу; с одной стороны бумага была чистая, с другой же была напечатана очередная прокламация. Прокламации были засунуты также в картонки с финиками и в коробочки с монпансье. Тем, кто глотал ром, на закуску подавался кусочек сыра, завернутый в прокламацию.

Офицеры покинули плац и разошлись по своим квартирам; сержанты, брезгая дешевыми лакомствами, собрались группой поодаль, возле крыльца.

За полчаса товар был распродан. Жанна видела, как многие солдаты, покончив с едой, мяли бумагу и бросали прочь, не обратив внимания на то, что было напечатано на обороте. И тогда ее сердце сжималось от огорчения. Но некоторые пуалю замечали на бумажках текст на родном языке, приглядывались и постепенно углублялись в чтение.

Жанна стояла на бричке — она была выше всех — и, пока солдаты заигрывали с девушками-маркитантками, внимательно осматривала все вокруг. Это уже в третий раз — после Седьмого саперного полка и Пятьдесят восьмого пехотного — Жанна проверяла таким способом общее настроение солдат. Если никто из читавших прокламацию не бежал тотчас к унтеру или офицеру, Жанна смело завязывала беседу — и не с одним солдатом, а с целым кружком. Начинала шутками да прибаутками, а потом переходила к серьезным, более соленым шуткам, которые так любят французы, и к недвусмысленным остротам по адресу офицеров и генералитета. После этого, слово за слово, можно было разговориться начистоту. Если Жанна замечала, что кто-нибудь, только начав читать прокламацию, бросался искать офицера или сержанта, она немедленно свертывала торговлю и вытягивала лошадей кнутом. В таком случае их посещение полка было как налет, напоминало действие пулеметной тачанки: подскочили, выпустили ленту и опять понеслись галопом.

В Седьмом саперном все обошлось хорошо: бумажки прочитали и спрятали за обшлага мундиров. А вот из Пятьдесят восьмого пехотного пришлось гнать лошадей во весь опор. В Третьем батальоне, который стоял постоем возле железнодорожных мастерских, — очевидно, имея в виду рабочий район, сюда подбирали наиболее отсталых солдат, — Жанну чуть не задержали офицеры. Как пройдет сегодня в Сто шестьдесят

шестом? Жанна внимательными и настороженными взглядами обводила плац. Кажется, все в порядке. Жанна заметила уже пять или шесть пуалю, которые, не садясь, погрузились в чтение прокламации. Человек десять, озираясь, рассовали прокламации по карманам.

Вдруг Жанна увидела: невзрачный приземистый пуалю,— наверно из запасных третьего разряда, какой-нибудь мелкий чиновник из конторы в Бордо,— разгладил бумажку и начал было ее читать, но внезапно подпрыгнул на месте и что есть духу побежал к крыльцу, где играли в домино сержанты.

Сомнений не оставалось: это был доносчик.

— Девочки! — крикнула Жанна по-русски.— Держитесь крепче, удираем!

Она подхватила вожжи и зажала в руке кнут.

Но не хлестнула лошадей. Ведь жалко было просто так бросить этих веселых, добрых пуалю, уйти от этих десяти — пятнадцати, которые спрятали прокламации; завтра-послезавтра из них наверняка уже можно было бы организовать кружок.

Жанна вскочила на сиденье брички и подняла кнут вверх. У нее был горячий характер, и ей уже не раз попадало от сурового Ласточкина.

— Пуалю! — крикнула Жанна, и ее звонкий голос, словно созданный для оратора, перекрыл гомон на плацу перед казармой.— Сыновья Франции, слушайте меня!

Она видела, как оглянулся шпион, бежавший к сержантам. Он остановился на мгновение, но потом побежал еще быстрее. До крыльца оставалось шагов пятьдесят. Вокруг тачанки стало совсем тихо, солдатские головы в кепи, заломленных набекрень, повернулись к Жанне.

Жанна стояла, а кнут так и застыл в ее высоко поднятой руке.

— Вы французы, и я француженка!

Живая французская речь звенела на устах женщины. Ни один солдат не сомневался, что перед ним на тачанке землячка. Толпа зашумела, все придвинулись ближе к Жанне.

— Я из Бордо! — крикнула Жанна.— А ты, Жюль, откуда?

Она взмахнула кнутом и ткнула им прямо в грудь ближайшего солдата. Может быть, его и в самом деле звали Жюль, потому что он покраснел, смутился и стал переминаться с ноги на ногу. Шпиону оставалось пробежать шагов двадцать. Жанна быстро заговорила:

— А ты, Антуан, из Марселя? Ты, Гийом, из Парижа? Ты, Жан, из-под Руана? Братья французы, слушайте вашу сестру! Вас обманывают, вас провоцируют, вас привезли сюда про-

ливать кровь своих братьев по классу, русских рабочих и крестьян!

Доносчик уже добежал до крыльца, вытянулся перед сержантами и стал докладывать. Но он задыхался от быстрого бега, и его не сразу поняли.

— Пуалю, штыки в землю! Не проливайте крови братьев! Обнимите своего брата русского! Не верьте, что большевики разбойники. Большевики проливают кровь за счастье своих детей и жен, за счастье народа и страны. Долой офицеров, которые неволят вас! Да здравствует свобода и революция!

Доносчик отрапортовал. Его поняли. Один из сержантов поднес к губам свисток, и над пуалю, сгрудившимися вокруг брички, раздалась пронзительная трель.

Жанна опять взмахнула кнутом и на этот раз хлестнула лошадей. Лошади рванулись, толпа раскололась пополам, давая дорогу. Жанна ударила по лошадям второй раз, и они пустились галопом.

Сержанты бежали от крыльца, размахивая руками и что-то крича. Но тачанка уже проскочила ворота, часовые отпрянули, чтобы не попасть под колеса. Еще минута, и, крепко натянув вожжи, Жанна завернула на полном ходу и направила бричку вдоль улицы.

Однако когда бричка поровнялась с углом забора, окружавшего плац, Жанна не вытерпела — голова ее была выше забора, и она видела, как к воротам, выхватывая из кобур пистолеты, бегут сержанты, а за ними несколько солдат с карабинами на изготовку,— и крикнула во двор:

— Вив ля Франс! Вив ля революсьон! Домой, во Францию! Да здравствует Ленин!

Это услышали пуалю даже в самом дальнем конце двора. Кричала не одна Жанна, девушки-комсомолки кричали вместе с ней.

Жанна опустила вожжи и снова хлестнула лошадей.

Лошади летели карьером, бричка подпрыгивала и чуть не опрокидывалась, все трое — и Жанна и ее подруги — давно уже упали на дно брички, а на улице вслед им все еще трещали пистолетные выстрелы, потом грохнуло несколько винтовок.

За седьмой станцией Фонтана Жанна слегка придержала лошадей и повернула направо, к трамвайной линии на Люстдорф. Теперь к городу надо было добираться в объезд, петляя по предместьям. Но пока успеют снарядить конную погоню, бричка Жанны будет громыхать уже далеко...

Жанна села на козлы, девушки примостились по обе стороны от нее.

Жанна махнула рукой.

— Жаль! Но что поделаешь...— Потом она прибавила: — Товарищ Николай, конечно, будет сердиться, но не уезжать же

было просто так... Пусть задумаются, что к чему, подумают над тем, что слышали и видели. Слово напрасно не пропадет, слово останется в душе... Вот только товарищ Николай...

Предчувствуя нагоняй от Ласточкина, Жанна опечалилась.

9

А Ласточкин в это время уже закончил совещание Иностранной коллегии. Теперь — с приближением комендантского часа — надо было подумать о ночлеге. Сегодня Ласточкин решил ночевать на Молдаванке, у железнодорожного телеграфиста с Одессы-Товарной.

Но до комендатского часа оставалось минут тридцать, это время можно было использовать. Ласточкину надо было забежать еще на одну явку, последнюю сегодня, на Базарную, 93.

На Базарной, 93, находилась личная явка Ласточкина, и это была особенная явка: здесь Ласточкин ни с кем не встречался — совершенно засекреченная квартира.

В этой конспиративной квартире Ласточкин прятал небольшую записную книжку со страничками, разлинованными, как в приходо-расходной книге. Ласточкин шутя называл свою книжку «гроссбух». Со скрупулезностью скряги бухгалтера он записывал в нее всякий расход из сумм подполья.

Ласточкин отпер дверь своим ключом и тихонько проскользнул в комнатку в конце коридора. В квартире жили люди, которые ничем не были запятнаны перед контрразведкой и не поддерживали никаких подпольных связей.

В своей комнатке Ласточкин разрыл в печке пепел, вынул колосники и достал из-под кирпича заветную книжечку. Потом, плотно закрыв ставни, он зажег коптилку, сел к столу и обмакнул перо в чернила.

На страничке расходов он записал стоимость трамвайных билетов за сегодняшний день, это были копейки; затем, вздохнув и печально покачав головой, четко вывел: «50 000 рублей думскими — за договор директории с французским командованием. Получатель — Ройтман».

Еще раз вздохнул, неодобрительно покачал головой, аккуратно обмакнул перо и перевернул страничку.

На страничке приходов он вписал одну тысячу рублей.

Плательщик — Ройтман, получатель — Ласточкин.

Потом закрыл книжку и спрятал ее на старое место — в печку, под колосники.

Теперь можно было идти на ночлег и что-нибудь перекусить.

Комендантский час, правда, уже начался, но Ласточкин никогда не оставался ночевать в этой квартире: он не хотел рисковать «гроссбухом».

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Миссия Риггса разместилась на Николаевском бульваре, 16.

Американская миссия по количеству своих сотрудников оказалась самой большой среди прочих иностранных миссий в Одессе. Она была значительно больше английской, которая, базируясь на свои военные корабли, стоявшие на рейде, лишь представляла главную миссию англичан, находившуюся в Екатеринодаре, с филиалами в Новороссийске и на Кавказе, и заботилась только о вооружении западно-приморской группы войск добровольческой армии. Американская миссия была больше даже французского консульства, которое, базируясь на свою эскадру на Черном море, было обременено не только хлопотами о снабжении военным снаряжением петлюровских, белопольских и других контрреволюционных войск и вопросами управления на оккупированных приморских территориях, но и обеспечивало тылы пятидесятитысячной десантной франко-греческой армии в Одессе, Севастополе, Херсоне и Николаеве.

Миссия Соединенных Штатов Америки была больше всех других миссий, вместе взятых, несмотря на то, что в это время военное командование США не имело еще в Одессе ни эскадры, ни армии, даже ни одного полисмена для охраны своей собственной миссии.

Аппарат миссии Риггса состоял из семидесяти сотрудников и имел целую сеть секторов и секций, отделов и подотделов, подобно солидной конторе на Бродвее в Нью-Йорке. В помещении на Николаевском бульваре, 16, комнаты были расположены по обе стороны широкого коридора, и на каждой двери висела лаконичная табличка: «Отдел «А», «Отдел «В», «Отдел «С»... и так далее,— чуть ли не на все буквы латинской азбуки. Миссия Риггса была военной миссией, и поэтому названия отделов были строго зашифрованы. Однако в первой по коридору комнате, на дверях которой было написано «Оффис» и где помещалась, так сказать, общая часть миссии, на стене, как раз у дверей, висел большой указатель, и в нем против каждой буквы, что зашифровывала отдел, было обозначено его полное название. Хотя миссия была военная, но это была американская миссия, значит прежде всего деловая — и посетители должны были точно знать, в какой сектор направиться им со своим делом.

В американской военной миссии был отдел военного снаряжения, поставок амуниции, общего снабжения; информации общей, информации промышленной, информации сельскохозяйственной, информации культурной; а также отделы связи, транспорта, банков, промышленности, торговли, строительства, эксплуатации. Были еще особые отделы нефти, угля, руды. На

втором этаже, в конце коридора, сразу же около приемной самого начальника миссии, под литерой «W» помещался отдел под названием «Почта президента».

В каждом отделе миссии сидели референт, секретарь и машинистка-стенографистка. Не менее двадцати пишущих машинок с утра до ночи стрекотали во всех двадцати комнатах обоих этажей, и им бешено вторил десяток электрических счетных аппаратов системы «Эдисон».

У подъезда особняка день и ночь дежурили две автомашины для срочных надобностей и два мотоцикла для курьерской связи.

И все-таки просторное помещение на Николаевском бульваре оказалось недостаточным для нужд миссии США, и Риггс на второй же день по прибытии в Одессу поручил оформить в собственность дома, в которых раньше помещались различные американские учреждения. Это был дом Агеевой в Казарменном переулке — с 1894 года здесь располагалось консульство США; дом Санца на углу Екатерининской и Дерибасовской, в котором когда-то торговало «Товарищество русско-американской резиновой промышленности», фирма Густав Рингель; а также дом палаты торговли и промышленности,— несмотря на то, что в этом доме, кроме русско-американской торговой палаты, находились и торговые палаты — русско-английская, русско-французская, русско-итальянская и все прочие.

Но Риггс и этим не был удовлетворен и на третий день своего пребывания в Одессе заявил в Коммунальном банке и в Комитете недвижимого имущества, что просит разыскать владельцев или поручителей владельцев дворца Фальцфейнов на Гоголевской, 5, и дворца шаха персидского на Гоголевской, 2, так как желает приобрести эти роскошные особняки. Больше всего Риггс настаивал на дворце персидского шаха — огромном здании, построенном в стиле средневековых замков, с круглыми башнями и острозубчатыми стенами; этот дворец особенно полюбился ему.

Заодно Риггс покупал дом № 4 по Гоголевской, в котором когда-то была квартира американского консула.

Дома на Гоголевской прельщали Риггса тем, что стояли на неприступной круче у обрыва над бухтой за прочными каменными стенами с величественными башнями и господствовали над всей территорией порта.

Стоимость всех этих строений определялась в несколько миллионов долларов.

На вопрос ошеломленного корреспондента «Одесских новостей», почему американская миссия идет на такие огромные затраты, приобретает дома в частную собственность, в то время как все другие иностранные миссии и корпорации занимают помещения, реквизированные или предоставленные им

городской управой во временное пользование, Риггс ответил коротко:

— Соединенные Штаты Америки хотят чувствовать себя в этой стране как дома, то есть, я хотел сказать, как домовладельцы.

Подумав немного, он добавил:

— Я не знаю, что, как и почему делают мои французские и английские коллеги. Они прибыли сюда с войсками и, может быть, поэтому чувствуют себя как на походном бивуаке. А меня правительство Соединенных Штатов Америки отправило хотя и во главе военной миссии, однако без войска, стало быть исключительно с мирными целями. Я приехал в Россию по особому поручению президента Вильсона, и задача моя заключается в том, чтобы собрать широкую и исчерпывающую информацию об экономической жизни юга России и Украины и тем самым подготовить еще в обстановке военного времени, когда нормальные, деловые взаимоотношения между державами затруднены, почву для плодотворной и конструктивной деятельности не военной, а именно торговой миссии. Возглавляемая мною военная миссия будет превращена в торговую в тот самый день, когда отзвучит последний выстрел на этой залитой невинной кровью земле. А это не за горами.

Подождав, пока корреспондент запишет в блокнот его слова, Риггс сказал в заключение:

— Я считаю, что все сказанное мною является исчерпывающим ответом на все ваши вопросы. Мы приехали сюда навсегда, для налаживания конструктивных взаимоотношений между деловыми кругами Соединенных Штатов и деловыми кругами России и Украины! Гуд-бай!

Заявление это произвело фурор в деловых кругах Одессы и среди всех одесских обывателей. Курс доллара на бирже немедленно повысился в два раза, а на черном рынке — в четыре. «Союз торговли и промышленности» совместно с «Объединением приказчиков» на скорую руку организовал манифестацию. Манифестанты прошли по Ришельевской и Дерибасовской, неся в руках американские флаги и выкрикивая: «Да здравствуют Соединенные Штаты Америки и миротворец президент Вильсон!» Перед домом номер шестнадцать по Николаевскому бульвару «Союз мелких торговцев и комиссионеров» водрузил транспарант с золотой надписью: «Привет мистеру Риггсу и президенту Вильсону!» Лично мистер Риггс получил отпечатанные на веленевой бумаге с золотым обрезом приглашения почтить своим присутствием банкеты и балы, которые многие коммерсанты устраивали в честь знаменательного события.

В тот же день по распоряжению Риггса в большом зале биржи состоялась лекция профессора Шацкого — ученого-экономиста при миссии США, прибывшего в Одессу вместе со всем составом миссии. Шацкий по происхождению был русским

и состоял в русском подданстве, но уже несколько лет жил в Америке, занимая пост консультанта русского посольства в Соединенных Штатах.

Лекция профессора Шацкого называлась «Проблемы экономического сотрудничества Соединенных Штатов Америки и России, а также ее южных областей» и была посвящена ресурсам, которыми располагает каждая страна для развития торговли и кооперирования, то есть объединения трестов и синдикатов промышленных предприятий обоих этих государств.

Лекция собрала сотни слушателей — финансистов и промышленников — и имела у них большой успех. По справедливости ее можно было назвать не только образцом ораторского искусства, но и образцом, так сказать, «чистой науки»: тезисы лекции совершенно не отражали сегодняшнее военное положение.

Профессор Шацкий ни одним словом не упомянул об интервенции США и Англии на севере России, об интервенции на Кавказе, не вспомнил даже про интервенцию на юге Украины и в самой Одессе. Профессор полностью игнорировал тот факт, что значительная часть территории России и других советских земель была охвачена сейчас пламенем отечественной войны против интервентов и внутренней контрреволюции. Он говорил так, будто вообще не было никакой войны, а на всем свете господствовали и мир и спокойствие.

В заключение своей лекции Шацкий сказал:

«Из неоднократных бесед с наиболее авторитетными представителями американских финансовых кругов, а именно: с Джоном Пирпонт Морганом, Мак Робертсом, Вандербильдом, Рокфеллером, Дюпоном и другими напрашивается абсолютно точный вывод относительно огромной заинтересованности американского капитала в русском рынке. Американцам нужна Россия как рынок для сбыта своей продукции и как арена для размещения накопленного на протяжении прошедшей войны колоссального финансового капитала. Финансовые круги Уолл-стрита имеют возможность и чувствуют необходимость экспортировать за границу и инвестировать в экономическую жизнь России хоть сегодня по меньшей мере десять миллиардов долларов. А исторический опыт свидетельствует, что американская нация, поставив перед собой любую задачу, не склонна отказываться от ее выполнения».

И профессор воскликнул, заканчивая свою лекцию:

— Производители России и Украины! Подумайте: что могли бы вы предложить деловым кругам США?

Финансовые и торговые тузы Одессы, земельные магнаты юга Украины и промышленники всей России, собравшиеся в «Южном Вавилоне» под эгидою и защитой государственных штандартов Франции, Англии и Америки и вымпелов

их военно-морских флотов, бурно аплодировали профессору, разошлись по домам взволнованные и всю ночь не могли заснуть.

А на другой день в утренних газетах они прочли фельетон американской журналистки, прибывшей с миссией Соединенных Штатов, Евы Блюм.

Вначале Ева Блюм в лирических тонах описывала очаровательные ландшафты России, которую она именовала «географическим понятием». Журналистка восхищалась природными и экономическими богатствами России, в цветистых образах и звучных метафорах превознося безбрежные поля пшеницы и неисчерпаемые залежи всевозможных минералов в недрах русской земли.

Потом в столь же ярких красках Ева Блюм живописала выгоду, которую приносит каждой державе экономическое сотрудничество со всякой иной державой. Такое сотрудничество содействует развертыванию инициативы в деловых кругах и благотворным образом влияет на развитие природных ресурсов. Ева Блюм сообщала читателям, что президент Вильсон, выражая заинтересованность и стремление деловых кругов США, пришел к выводу, что начинать выгодное для обоих государств сотрудничество необходимо с оказания России всесторонней помощи, в которой эта страна в ее нынешнем положении, безусловно, нуждается. Для выяснения характера этой помощи и ее размеров президент полагает наиболее целесообразным создать в ближайшее время специальную «Комиссию помощи России», возглавить которую, по его мнению, должен помощник президента по экономическим вопросам, широко известный своей деятельностью по разработкам полезных ископаемых мистер Гувер.

Для того чтобы читатели прониклись должным уважением к персоне помощника американского президента мистера Гувера, редакция в особом примечании сообщала, что мистер Гувер — давний «благодетель» России, владеющий одиннадцатью компаниями по разработке нефтяных источников на Кавказе — в Баку, Майкопе и Грозном.

Ева Блюм заканчивала свой фельетон блестящим пассажем о том, что если спросить персонально ее, какую власть в России признали бы Штаты, то она, будучи в курсе настроений деловых кругов США, которые — что греха таить — определяют и политику правительства, ответила бы так: «Соединенные Штаты Америки посчитают наиболее приемлемой ту власть в России, которую найдут для себя лучшей и сами деловые круги России... Ибо — что такое власть? — вопрошала журналистка и саркастически ответствовала: — Символ власти — это полисмен на посту. Но полисмен охраняет того, кто ему платит деньги. Поэтому наивысшая власть — деньги, и наилучшая система власти — деньги к деньгам».

Фельетон имел философский заголовок: «В чем смысл жизни на земле и, в частности, на Украине?»

В этом же номере газеты было напечатано и уведомление о том, что ряд городских фирм уже получает кредит на ввоз американских товаров.

В конце номера сообщалось, что в скором времени ожидается прибытие американских пароходов с американскими товарами, указывались даже названия кораблей.

Не приходится говорить, что этот номер газеты был раскуплен в пять минут, а через десять минут его можно было приобрести только у перекупщиков за огромную сумму — десять, двадцать пять, а позднее и пятьдесят рублей, хотя по номиналу он стоил всего полтора рубля. По такой же цене, двадцать пять — пятьдесят рублей, продавалась и вечерняя газета «Одесская почта», которая напечатала развернутое сообщение о том, что хорошо известное одесситам еще в довоенное время американо-русское товарищество «Г. Лебен» (Пушкинская, 32) в самое ближайшее время — буквально этими днями — начнет в Одессе ускоренными, американскими темпами строительство колоссальных холодильников, которым надлежит обеспечить нужды американских импортеров.

Вечером того же дня в Земельном банке состоялось объединенное заседание правления банка совместно с «контрольной комиссией» американской миссии. «Контрольную комиссию» возглавлял заместитель полковника Риггса молодой полковник Гейк Шеркижен. Полковник Гейк Шеркижен, несмотря на то, что занимал высокий военный пост, в своем выступлении на заседании не коснулся вопросов войны или каких-либо специфических вопросов военной экономики. Полковник Гейк Шеркижен, как извещали в своих отчетах репортеры, интересовался только довоенными операциями банка, его оборотами, его связями с местными и всероссийскими предпринимателями. Он получил данные по всем интересовавшим его вопросам и заверил присутствующих, что банку очень скоро будет предоставлен долларовый заем.

Лишь в конце своей речи полковник Гейк Шеркижен как бы между прочим упомянул о том, что всякое плодотворное сотрудничество, разумеется, может быть гарантировано только твердой властью, которая, с помощью США и союзников, безусловно, будет установлена в России.

На следующий день утренние газеты сообщили, что первый американский корабль, как и было обещано, прибыл в Россию. Правда, корабль стал на якорь не в одесском, а в новороссийском порту и гружен он шестью тысячами тонн... военных материалов: винтовками, снарядами и взрывчатыми веществами. Адресат — генерал Лукомский, начальник штаба армии генерала Деникина.

Это сообщение представляло особый интерес еще и потому,

что ниже, в хронике, было напечатано: «Сего дня в миссии у полковника Риггса состоится совещание представителей иностранных миссий, пребывающих в Одессе. Совещание посвящается вопросам местной жизни».

И действительно, к одиннадцати часам дня к дому шестнадцать на Николаевском бульваре подкатила машина консула Энно, а через минуту — машина адмирала Болларда.

2

Полковник Риггс был в своем кабинете, когда клерк доложил ему о прибытии высоких гостей. У ног Риггса лежал огромный — величиной с теленка — черный дог американской породы.

Кабинет главы миссии полковника Риггса помещался на втором этаже, в конце коридора, и, чтобы дойти до него, нужно было миновать двери всех отделов. Таким образом, посетитель, направляясь к полковнику Риггсу, получал по пути психологическую подготовку и успевал проникнуться уважением к столь солидному учреждению. За каждой дверью, мимо которой проходил посетитель, стрекотала пишущая машинка или ритмично щелкал счетный аппарат. Посетитель должен был по достоинству оценить то, что он попал в настоящий американский департамент. С душевным трепетом открывал он последнюю дверь и оказывался в святилище, в кабинете шефа.

Вполне понятно, что кабинет шефа должен был соответствовать масштабам и стилю всего учреждения. Посетитель имел основание ждать исключительной роскоши.

Но он останавливался на пороге, пораженный.

Кабинета не было. Это была просто большая комната и притом почти пустая.

На стенах не было ни одного украшения, никаких портретов или картин, ни одной карты, схемы или плана, не было даже календаря. С потолка свисала огромная люстра с бесчисленным количеством электрических лампочек, похожая на виноградную гроздь; под люстрой стоял круглый стол красного дерева, подобный тем, какие встречаются в больших ресторанах в малых банкетных залах, но этот стол был без скатерти и совсем пустой. На его полированной поверхности вечерами, как в зеркале, отражалась люстра, а днем — свет, падавший тусклыми полосами из четырех высоких окон. Вокруг стола в беспорядке стояло с десяток стульев; позади них — тоже как попало — три-четыре небольших стеклянных передвижных столика на колесиках, напоминающие те, на которых в зубо497лечебных кабинетах дантисты раскладывают свои инструменты. Здесь на столиках, вместо инструментов, стояли сифоны с содовой, бутылки виски и вермута и хрустальные бокалы.

И это было все. Не было даже телефонного аппарата. Комната ничем не походила на кабинет — ни приемный, ни рабочий; если бы на столе разложить старые газеты, она могла бы сойти за приемную перед кабинетом какого-нибудь знаменитого эскулапа, популярного среди больных, находящегося в зените славы и потому невнимательного к своим пациентам. Если бы положить на стол прошлогодние журналы мод, комната с таким же успехом могла сойти и за салон при ателье мод.

Единственно, что давало комнате тепло,— в прямом и в фигуральном смысле слова,— это большой камин в задней стене. С утра до ночи в нем горел огонь, а на большой мраморной доске кучами были набросаны сигары, сигареты, пачки табаку, мундштуки и трубки.

Однако даже при тщательном исследовании в кабинете нельзя было обнаружить ни клочка бумаги, ни чернил, ни пера.

Сейчас в кабинете Риггса сидели девять человек. Здесь были французы — консул Энно, полковник Фредамбер и капитан Ланжерон, англичане — адмирал Боллард, коммерции секретарь Багге, мистер Джордж У. Пирсли и американцы — Ева Блюм, Гейк Шеркижен, полковник Риггс.

Шло совещание представителей трех держав.

Совещание было неофициальное: без секретарей и стенографисток. Присутствующие могли высказывать свои мысли совершенно свободно: ни одно слово никем не записывалось.

Но для Риггса — только для Риггса! — вел запись фонограф системы «Эдисон», раструб которого был хитро запрятан между множеством лампочек люстры.

Глава миссии Соединенных Штатов Америки в Одессе полковник Риггс обязан был каждые три дня дипломатической почтой посылать сводки президенту мистеру Вудро Вильсону. Обыкновенно это был пакет с несколькими страничками шифрованного текста, но иногда — вместительный ящичек с валиками фонографа.

Аналогичные информации президент Вильсон систематически получал от всех американских миссий в России — с Кавказа, с Дальнего Востока, из Мурманска и в первую очередь от посла в Москве. Ибо на Парижской конференции, которой предстояло выработать текст мирного, послевоенного договора между странами-победительницами — США, Англией, Францией и Италией — и странами побежденными — Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией,— центральным вопросом должен был стать именно «русский вопрос», и от разрешения этого вопроса зависел самый характер мирного договора, да и вообще решение всех вопросов послевоенного мира...

Когда все девять представителей, приглашенных на совещание, собрались вокруг стола, Риггс сказал:

— Что ж, начнем, джентльмены?

И любезным жестом он предложил мосье Энно занять место председательствующего.

Мосье Энно — французский консул с особыми полномочиями, представляющий не только Францию, но в некоторой мере и все прочие страны Антанты,— был молчаливо признан «дуайеном» — главою дипломатического корпуса держав, осуществлявших интервенцию на юге Украины и России.

Дипломаты разместились вокруг стола, и мосье Энно открыл совещание. В его голосе звучали торжественные нотки.

— Господа! Ныне, когда здесь, на берегах далекой России, собрались мы, представители держав, ведущих священную войну против большевистского варварства, когда каждый из нас уже вооружился точной информацией и приобрел ориентацию в местных событиях,— ныне наступило время сконтактировать действия наших представительств согласно тем указаниям, которые каждый из нас имеет от своего правительства, и на основании стратегических реляций, которые все мы, то есть, я хочу сказать, в равной мере каждый из нас, имеем от объединенного командования вооруженных сил, а также на основании общих инструкций от руководства Мирной конференции, которая начинается в Париже...— Мосье Энно передохнул.— Я имею в виду большую четверку премьера Клемансо, премьера Ллойд-Джорджа, премьера Орландо и президента Вильсона.

Мосье Энно пригладил усики и обвел всех присутствующих торжественным и одновременно учтивым и доброжелательным взглядом.

Все сидели неподвижно, положив перед собой на стол руки и склонив головы. Подобная поза, несомненно, должна была свидетельствовать о торжественном душевном состоянии каждого из присутствующих, о его безграничном уважении ко всем другим и о полной готовности внимательно выслушать все, что скажет председательствующий. Но эта поза свидетельствовала также и о том, что каждый из присутствующих рассчитывал не задерживаться здесь слишком долго и покончить с совещанием как можно скорее.

Один только полковник Риггс сидел, вопреки всему, откинувшись на спинку своего кресла, скрестив руки на груди и вперив взгляд в потолок. Поза полковника Риггса тоже свидетельствовала о его торжественном душевном состоянии, его глубоком уважении к своим коллегам, о полном внимании к тому, что он должен услышать. Однако свидетельствовала она и о его полной готовности задержаться тут, каким бы долгим ни было совещание.

— Я думаю, господа,— продолжал мосье Энно, одарив всех своей кроткой улыбкой,— что важнейший вопрос, в котором нам необходимо прежде всего полностью разобраться,—

это вопрос точного определения сфер влияния здесь каждой из стран, которые мы имеем честь представлять, то есть я имею в виду те прерогативы, которыми должен быть наделен каждый из нас в разрешении тех или иных вопросов, касающихся управления местной жизнью — политикой, экономикой и всем тем, что будет развиваться на этих территориях вслед за победами в вооруженной борьбе французской, простите, я хотел сказать — объединенной франко-англо-американской армии, а также местных сил, которые в этой борьбе будут действовать под нашим руководством и согласно стратегическим планам объединенного командования...

Мосье Энно снова остановился и перевел дух. Он не умел говорить конкретно и изъясняться короткими фразами, не мог вообще пресечь поток своего красноречия, если рядом не было его жены, мадам Энно, которая была одарена бесценным талантом в случае необходимости надавливать своим каблучком на носок его башмака. Когда жены не было поблизости, с уст мосье Энно неудержимо лилась дипломатически-округленная речь, без начала и без конца. Такая манера говорить весьма удобна для дипломата, чтобы завуалировать истинный смысл своих слов, но очень утомительна для легких и сердца живого человека, которым все-таки является и дипломат.

Мосье Энно снова пригладил усики и еще раз учтиво и приветливо улыбнулся всем. Однако на этот раз в его улыбке и в его взгляде промелькнула тревога: чем же закончить речь, как перейти к главному вопросу беседы и каким образом конкретно его высказать?

Душевное состояние консула тонко почувствовал полковник Риггс и сразу же пришел ему на помощь.

— Мы понимаем вас, консул,— кивнул Риггс, не меняя позы.— Дело в том, чтобы точно определить — какие вопросы реконструкции местной жизни возьмет на себя Франция, какие Англия и какие США? А также — какие привилегии в использовании местных ресурсов будут предоставлены каждой из названных стран?

— Совершенно точно, мосье полковник,— мило улыбнулся Энно,— вы перехватили мою мысль.

Мосье Энно решил, что его вступительную речь можно считать оконченной, и смолк. Наступило молчание... Каждый был погружен в собственные мысли и ожидал, что скажет сосед.

— Пожалуйста, господа,— сказал мосье Энно, когда дальше молчать стало неудобно,— прошу вас, начинайте.

— Вы и начинайте, консул,— предложил полковник Риггс.

Мосье Энно покрутил усики и заерзал в своем кресле.

— Прошу прощения, но я...— Он улыбнулся учтиво и сдержанно.— Но я полагаю, что мне будет неудобно говорить первым, поскольку... поскольку прерогативы страны, которую я имею честь представлять, бесспорно должны быть наиболь-

шими... Поэтому законное чувство скромности вынуждает меня сказать свое слово последним...

— Позвольте! — сердито оборвал его адмирал Боллард.— Почему вы считаете, что прерогативы Франции самые большие? Мне кажется, все страны, представителями которых мы тут являемся, в одинаковой мере заинтересованы в уничтожении большевиков.

Мосье Энно развел руками, и его усики снова поползли в учтивую улыбку.

— Прошу прощения, адмирал, но я имею в виду тот бесспорный факт, что непосредственные интересы Франции на этой территории выражаются в цифрах, больших в сравнении с аналогичными цифрами любой другой страны, имеющей здесь свои интересы. Французскому капиталу принадлежат на территориях юга России и Украины Екатеринославские копи, Южнорусские копи, Донецкие рудники, Макеевские рудники...

— Осмелюсь перебить вас,— подал голос бывший консул Великобритании в Одессе, а ныне коммерции секретарь британской миссии мистер Багге,— и напомнить, что если французский капитал на юге России действительно преобладает в промышленности добывающей, то в промышленности обрабатывающей доминирующим является капитал английский. Я прошу вас иметь в виду, что завод сельскохозяйственных машин в Елизаветграде «Акционерного товарищества Эльворти», завод «Товарищества Гельферих-Саде» в Харькове, а также «Александровская машиностроительная компания» и «Акционерное товарищество Николаевских судостроительных заводов» принадлежат английскому капиталу.

— Совершенно верно! — загремел адмирал Боллард и сердито заворочался в своем кресле, отыскивая глазами ближайший столик со спиртными напитками.

— Но позвольте! — искренне удивился мосье Энно.— Ведь всей мировой бирже известно, что французские капиталовложения в русскую экономику самые большие по сравнению с капиталовложениями любой другой страны.— Он заволновался.— Вам прекрасно известно, что общая сумма наших вкладов доходит в круглых цифрах до семисот пятидесяти миллионов русских золотых рублей. В то время как английские вложения соответствуют только пятистам десяти миллионам, бельгийские — трехстам двадцати пяти, Соединенных Штатов — ста двадцати...

— До войны! — спокойно заметил полковник Риггс и зевнул.

Полковник Гейк Шеркижен немедленно добавил:

— До тысяча девятьсот тринадцатого года США действительно экспортировали в Россию лишь сто двадцать миллионов. Однако за время войны экспорт американского капитала

в Россию вырос до семисот миллионов долларов, что в переводе на русские золотые рубли составит сумму, близкую к полутора миллиардам, то есть столько, сколько вложили все другие страны, вместе взятые. Я не напутал в цифрах, Ева?

— Нет, верно,— подтвердила Ева Блюм.

Американская журналистка не была ни дипломатом, ни военным представителем и поэтому не сидела за столом в кругу полномочных представителей. Она примостилась у окна и с любопытством поглядывала на улицу, лениво потягивая содовую.

Мосье Энно пожал плечами.

— Господа! — несколько раздраженно произнес он.— Не будем делить шкуру не убитого медведя.— Он заставил себя сделать милую улыбку.— Есть такая русская пословица на этот счет. Я думаю, что степень участия вооруженных сил каждой страны в походе против большевиков — я имею в виду именно поход на юг Украины и России — также определяет прерогативы той или иной державы в смысле ее претензий к захваченным территориям. Интервенция на юге осуществляется в основном силами французского оружия...

— Простите! — снова сердито загремел адмирал Боллард. Он, наконец, высмотрел ближайший столик со спиртным, придвинул его к себе ногой, налил виски и, нажав клапан сифона, с шумом пустил в стакан струю содовой.— Тысяча дьяволов! Но ведь тоннаж английской эскадры в одесском, николаевском, херсонском и севастопольском портах больше по сравнению с общим тоннажем французских судов в Одессе! Кроме того, на Кавказе полно английских сухопутных войск, и черт меня побери, если я видел там хотя бы одного французского солдата.

— Осмелюсь заметить...— начал было своим елейным голосом Багге, но капитан Ланжерон, до сих пор молчавший, резко перебил его:

— Учитывать надо не только наши национальные силы, принимающие участие в войне против большевиков, но и те местные силы, которые наши страны вооружают и подчиняют своему командованию. Французской армии подчинены греческие и румынские войска, она также взяла на себя экипировку и вооружение войск украинской директории...

— Да, но английская армия,— перебил его адмирал Боллард, осушив единым духом свой бокал,— снаряжает и вооружает русскую добровольческую армию!

— Осмелюсь внести предложение,— прорвался, наконец, Багге.— Удельный вес участия каждой страны в военном походе надо определять соответственно ее денежным затратам на ведение боевых действий. Финансовые затраты Британской империи несравненно больше, чем Французской республики. Следовательно...

— Господа! — вдруг громко сказал полковник Риггс, бес-

церемонно перебивая речь благочестивого Багге. Риггс да изменил свою позу, всем корпусом вместе со стулом наклон шись к столу.— Мосье консул весьма справедливо начал с т что каждый из нас обязан действовать согласно указан своих правительств...

— Совершенно верно! — сразу же откликнулся мосье Э обрадовавшись неожиданной поддержке.

— Не перебивайте меня, консул! — оборвал его Риггс. Так вот, чтобы разрешить ваши споры, я позволю себе на мнить вам договор, который на этот случай существует ме правительствами обеих сторон. Он называется...— Риггс по глаза к потолку.— Он называется нгло-французский от двадцать третьего декабря тысяча девятьсот семн года, определяющий французские и английские зоны действи. Я ничего не перепутал, Ева? — обернулся он к Еве Блюм.

— Нет,— лениво ответила журналистка.— Точно: «Англо-французский договор от двадцать третьего декабря тысяча девятьсот семнадцатого года, определяющий французские английские зоны действий».

Мосье Энно, капитан Ланжерон, адмирал Боллард смотрели на Риггса и Еву Блюм с изумлением. В глазах коммерческого секретаря Багге мелькнул ужас. У полковника Фредамбера задергалась не только правая, но и левая щека. Только мистер Джордж У. Пирсли не проявил особого волнения. Он недоуменно поглядывал на присутствующих: его удивила растерянность, охватившая всех после слов полковника Риггса и журналистки. Повидимому, он не понял, в чем тут соль.

Тем временем Риггс, не замечая или делая вид, что не замечает эффекта, который произвели на присутствующих его слова, продолжал так же спокойно:

— Согласно этому договору «Англия получает зону влияния, которая дает ей кавказскую нефть, и обеспечивает контроль над Прибалтикою; Франция — зону, дающую ей железо и уголь Донбасса, и контролирует Крым». Я точно процитировал, Ева?

— Да.

Адмирал Боллард плеснул виски в стакан, нацедил содовой и осушил его единым духом.

— Но как же... но каким образом...— почти прохрипел консул Энно,— откуда... вам известен этот... договор, мосье?..

— А что? — удивленно поднял брови Риггс.

— Это ж... это ж... секретный договор, мосье! Тайный договор между правительствами Англии и Франции!

Риггс пожал плечами.

— Боже мой! В школе нас всех учили, что существует тайна непорочного зачатия. Однако я абсолютно уверен, что никто из присутствующих давно уже не верит, что дети появляются на свет из капустного кочана.

— Да-а! — процедил сквозь зубы капитан Ланжерон, о усмехаясь.— Все это, конечно, делает честь американ- разведке...

- Пустое! — отмахнулся Риггс.— Вы еще начнете уверять что вашей разведке неизвестны секретные договоры пра- льства Соединенных Штатов!

Капитан Ланжерон пожал плечами и промолчал.

Багге прошептал набожно и наставительно:

— И все же кое-что лучше держать при себе, даже когда о знаешь. Говорить во всеуслышание, если...

Мы тут все свои! — ...резал Риггс.— Итак,— он хлоп- нью по столу, да... понять, что считает излияние по поводу оглашения секретного договора окончен- ...и.— Итак, вполне очевидно, что каждая сторона должна ...ствовать сообразно выводам, которые совершенно недву- ...ысленно вытекают из цитированного только что документа. ...анспонируем же эти указания для подведомственных нам ...рриторий...— Он повернулся всем корпусом к адмиралу ...лларду.— Кавказская нефть за вами, адмирал! — Затем, об- ...щаясь к мосье Энно: — Уголь и железо Донбасса за вами, ...нсул.— И, снова откинувшись на спинку своего кресла, ...иггс посмотрел на всех ясными, невинными глазами.— Вполне ...онятно, что это и разрешит вопрос относительно определения ...рерогатив.

Тогда, наконец, заговорил мистер Джордж У. Пирсли. Тон ...го речи был вкрадчивым.

— Как человек, представляющий здесь интересы сэра Де- ...рдинга — главы нефтяной империи «Роял детч шелл», моего ...атрона, я, естественно, вполне удовлетворен тем, что при- ...наны справедливыми претензии английских компаний в отно- ...ении кавказской нефти... Однако должен все же констатиро- ...ать, что в силу этого Соединенные Штаты Америки остаются ...ишенными каких бы то ни было прерогатив при распределе- ...ии зон влияния, не имея никаких интересов на территориях, ...де развивает свою плодотворную деятельность английский ...... гм, гм... французский капитал!

Риггс проглотил эту пилюлю, не сморгнув глазом, и спо- койно произнес:

— Для Соединенных Штатов Америки, сэр, существует единственный священный принцип: равные возможности и свободная конкуренция, сэр! — Он хотел еще что-то сказать, но сдержался, очевидно считая свое заявление исчерпывающим, и сразу же, чтобы подчеркнуть безапелляционность своих слов, перевел разговор на другое.— Однако мы уклонились, господа. Нам необходимо на сегодняшнем совещании определить, так сказать, удельный вес каждой из стран, которые мы имеем честь представлять, в деле вооружения местных антибольше- вистских сил: русской добровольческой армии, украинской

директории, польских легионов. Мы должны предоставить соответственные рекомендации нашим правительствам, джентльмены. Давайте же перейдем прямо к этому вопросу. Возражений нет?

Все молчаливо изъявили свое согласие.

Коммерции секретарь Багге возвел свой набожный взор к небу.

— Я полагаю, следует предложить, чтобы доля каждой страны в поставке вооружения и амуниции русским, украинским и польским антибольшевистским армиям была определена согласно довоенным долгам Российской империи этим державам. По-моему, такой принцип будет наиболее справедливым.

Все посмотрели на благочестивого Багге, не понимая еще, чего он добивается.

— То есть? — поинтересовался за всех полковник Фредамбер.— Что вы хотите этим сказать?

Благочестивый Багге мягко сложил на животе свои пухлые руки и начал, будто читая проповедь с амвона:

— Как мы знаем, поставка вооружения, кроме своего прямого, желательного и выгодного эффекта — усиления борьбы с большевистскими армиями,— имеет еще и другой эффект сугубо экономический: местные антибольшевистские правительства за вооружение будут расплачиваться частично наличными, а в большинстве случаев предоставлением бесспорных экономических выгод продавцу оружия. Я полагаю, что право на таковые выгоды должно быть разделено среди стран-поставщиц по справедливости, то есть сообразно тем убыткам которые они потерпели на России. Поскольку сегодня мы еще не имеем гарантий, что довоенные царские долги будут полностью выплачены кредиторам, то есть английским, французским и американским предпринимателям, то во имя справедливости следует всю прибыль, которая будет поступать непосредственно от продажи вооружения антибольшевистским воинским формированиям, поделить в соответствии с размером довоенных долгов царского правительства. Например, Британия имеет за Россией пять миллиардов девятьсот миллионов рублей. Поэтому самая большая доля в поставке вооружения и амуниции южным антибольшевистским армиям должна принадлежать британским промышленникам. Франции Россия должна около пяти миллиардов — следовательно, доля французских промышленников в поставке вооружения и амуниции соответственно будет меньше...

Мосье Энно сердито фыркнул. Багге ласково взглянул на него.

— Иного принципа распределения я не могу себе представить.

— Абсолютно справедливо! — горячо поддержал его мистер Джордж У. Пирсли.

Адмирал Боллард молчал. Он был занят приготовлением коктейля из виски, вермута и содовой.

Капитан Ланжерон, не скрывая своего возмущения, крикнул:

— А не думаете ли вы, сэр, что наиболее справедливым был бы принцип обратно пропорциональный: кому причитается больше старых долгов, тот должен получить меньшую долю в новых прибылях?

Энно сразу же поддержал его:

— Мы рекомендуем именно обратно пропорциональный принцип.

Риггс взглянул на присутствующих.

— Другие предложения будут, господа?

Все молча пожали плечами. Вопрос ясен: или — или,— какой же может быть третий вариант?

Риггс сказал:

— Итак, мы будем рекомендовать нашим правительствам распределять военные поставки прямо пропорционально сумме военных долгов.

Энно заерзал в своем кресле.

— Не понимаю вас, полковник! — фыркнул он.— Доля Соединенных Штатов в довоенных долгах так мизерна, что для вас прямая выгода подать свой голос за обратно пропорциональный принцип.

Полковник Риггс поглядел на люстру над своей головой, в которой был хитро спрятан раструб фонографа.

— Напрасно вы так думаете, консул. Действительно, царская Россия до войны почти ничего не была должна Штатам. До войны мы задолжали Франции и Англии шесть миллиардов долларов. Но за время войны Соединенные Штаты, как вам известно, выплатили свой долг английским и французским банкам, и теперь уже мы имеем за Англией и Францией десять миллиардов долларов долгу! Нет сомнения, что этот долг будет расти и дальше, ибо сейчас Штаты вкладывают свой капитал в разоренную войною, возрождающуюся английскую и французскую промышленность. Таким образом, прибыль, на которую рассчитываете вы, мосье,— Риггс взглянул на консула Энно,— и вы, сэр,— бросил он коммерции секретарю Багге,— независимо от принципа ее распределения, можно считать чистой прибылью банков Соединенных Штатов Америки.

Мосье Энно прикусил язык, лицо коммерции секретаря Багге налилось кровью. Но Риггс уже повернулся к мистеру Джорджу У. Пирсли.

— К слову сказать, сэр, кавказской нефтью весьма интересуется мистер Гувер, владеющий кое-какими майкопскими, грозненскими и бакинскими нефтяными промыслами,— это, конечно, не является для вас секретом.— Не вставая с кресла,

Риггс сделал что-то наподобие реверанса.— Мистер Гувер свято придерживается американского принципа свободной конкуренции в борьбе за овладение иностранными рынками сбыта и источниками сырья. Известно, однако, что этот принцип эффективен лишь при одном условии: при наличии капиталов, которыми можно одолеть своего партнера... Я далеко не уверен, что у сэра Детердинга и мистера Гувера будут равные возможности в соперничестве за кавказскую нефть. Ведь сэр Детердинг — глава английской «нефтяной империи» — вряд ли сможет в обремененной долгами Британии организовать капитал, способный противостоять капиталу, который в состоянии организовать мистер Гувер в финансовых кругах Уолл-стрита. Ведь банки США уже сегодня не знают, что им делать с десятками миллиардов свободных долларов, накопленных за годы войны, и ищут, куда их экспортировать.— Щедро отплатив за давешнюю пилюлю сэру Джорджу У. Пирсли, Риггс эффектно замолчал.

Сэр Джордж У. Пирсли хихикнул:

— Вы забываете, сэр, что нефть есть еще и в Прикарпатье, на территории, из-за которой идет сейчас спор между Украиной и Польшей. Сэр Детердинг имеет в виду...

— Совершенно верно! — немедленно согласился Риггс.— Гейк! Вы не знаете, куда девалась наша депеша? Ах, да! — Он полез во внутренний карман и вынул телеграфный бланк.— Я только сегодня утром получил депешу из Нью-Йорка, от банкирского дома Рокфеллера.— Риггс одним глазом заглянул в бланк, чтобы восстановить в памяти содержание депеши.— Банкирский дом Рокфеллера уведомляет меня, что «Вакуум-ойл компани»,— он обвел глазами всех присутствующих и пояснил: — которая, как вам, очевидно, известно, является дочерней организацией рокфеллеровской «Стандарт-ойл компани», то есть американской нефтяной империи... Так вот, Рокфеллеры только что приобрели в собственность эти самые нефтяные промыслы в Бориславе... за пятьдесят пять миллионов польских злотых. Расчет произведен через Международный банк. Мистер Рокфеллер Джон-старший просит меня...

Полковник Риггс вынужден был оборвать свою речь, так как сэр Джордж У. Пирсли, к которому он обращался, высокий и прямой, как палка, встал, вытянулся и молча, с окаменевшим лицом, на котором не дрогнул ни один мускул, с достоинством удалился из комнаты.

Все опустили глаза. Молчаливый протест сэра Джорджа У. Пирсли был достаточно красноречив. Впрочем ни на что другое, как величественно покинуть заседание, на котором его шефу был нанесен удар, сэр Джордж У. Пирсли не был способен.

Удар был сильный, и еще неизвестно было, выдержит ли

некоронованный король нефти на Среднем Востоке сэр Детердинг такой удар. Не могло быть сомнений, что завтра же акции нефтяной компании Нобеля и Детердинга в России, а быть может, и акции всех прочих детердинговских компаний, в том числе и в районе Мосула, стремительно полетят вниз.

Риггс спокойно сунул в карман телеграфный бланк, на котором ничего не было написано, и нажал кнопку звонка.

— Сэр Джордж здесь впервые и не знает, где что расположено,— сказал он вошедшему клерку.— Покажите, пожалуйста, сэру Джорджу, где помещается туалет.

Клерк поклонился и поспешил к двери. Риггс бросил ему вдогонку:

— А если сэр Джордж будет искать не туалет, а комнату с телеграфным аппаратом для международной связи, не забудьте любезно предупредить его, что наш аппарат испортился и с утра не работает.

Клерк вышел.

— Простите, господа,— сказал Риггс,— сэр Джордж отвлек наше внимание от общих дел к своим личным. Итак, мы слушаем вас, консул!

Все молчали, потупив глаза; кто рассматривал ковер на полу, кто созерцал свои ботинки.

Побледневший мосье Энно неуверенно коснулся своих усиков и пролепетал:

— М-м-м... Мы сегодня же сообщим своим правительствам наши предложения... в соответствии с принятым решением... Так или иначе, основываясь на соглашении, достигнутом между представителем военного командования французской армии,— он коротко поклонился в сторону полковника Фредамбера,— и руководством украинской директории, мы приступим к снабжению армии директории оружием и амуницией. Время, знаете, не ждет, война, так сказать, продолжается... Согласно предварительной договоренности, выплата за полученные материалы будет проводиться в сложных расчетах, включая и концессионные обязательства, на протяжении длительного времени. Однако я получил от моего правительства указания, что основная часть выплат должна быть произведена если не наличными, то хотя бы срочными переводами через Международный банк. Правительство украинской директории дало на это свое согласие, но...— мосье Энно чуть пожал плечами,— мы все знаем, что сейчас военное положение директории... незавидное: к Киеву приближаются большевистские войска.— Мосье Энно развел руками.— Кто же сегодня может гарантировать реальность подобных банковских операций?

Мосье Энно вопросительно поглядел на всех, словно надеялся, что кто-нибудь из присутствующих тут же вынет из кармана несколько миллионов и положит их перед ним на стол. Но этого не произошло, все попрежнему молча разгля-

дывали ковер и свои ботинки. Мосье Энно снова пожал плечами.

— Вполне понятно, что без гарантий ни одна из французских фирм, которые снабжают армию вооружением, не согласится... гм... гм... выполнять правительственные заказы. Гарантии Национального французского банка не будут убедительными для предпринимателей, пока сам Национальный французский банк не получит гарантий от плательщика, то есть...

— Понятно! — пришел Риггс на помощь мосье Энно, никогда не умевшему поставить точку.— Понятно, консул. Чтобы успокоить вас, позволю себе сообщить, что правительство США уже договорилось с банкирскими дòмами на Уолл-стрите о предоставлении украинской директории займа на сумму в двадцать миллионов долларов. Каковы будут условия займа — это выясняется в Париже, в кулуарах Мирной конференции, между представителями банкирских домов Америки и украинскими дипломатами, прибывшими в Париж и ожидающими приема у президента Вильсона. Однако гарантии на половину суммы, то есть на десять миллионов, будут не позднее чем завтра-послезавтра. Нам с вами не придется здесь морочить себе голову с этим делом: вопрос будет разрешен в Париже и Нью-Йорке, а мы — и я и вы — получим соответствующие указания. Вас удовлетворяет моя информация?

Мосье Энно еще раз пожал плечами и молча поклонился. Легкий шорох пробежал вокруг стола, все переменили позы. Десять миллионов долларов действительно были вынуты из кармана и положены на стол.

Коммерции секретарь Багге тихо и смиренно, но все же с ноткой обиды в голосе прошептал:

— Я хотел бы услышать подобное же заявление и относительно выплат, которые должно произвести британским фирмам представительство добровольческой армии за полученное им военное снаряжение...

Риггс развел руками:

— Простите, сэр, но чтобы получить об этом точную справку, вам надо съездить в Екатеринодар, в ставку генерала Деникина. Вооружение деникинской армии осуществляется не через французское командование, которое находится в Одессе, а через английское, находящееся в Екатеринодаре. Доставка материалов происходит также главным образом не через одесский, а через новороссийский порт. По-дружески, впрочем, могу сообщить и вам: для того чтобы английские фирмы смогли выполнить заказы по военным поставкам добровольческой армии, американские банки предоставили им заем в сумме пятнадцати миллионов долларов. Надо полагать, английские банки сдерут с русского потребителя солидный процент за эту ссуду, однако думаю, что не малый процент возьмут и американские банкиры с английских банков.

Коммерции секретарь Багге покрутил головой — ему, видимо, жал воротничок — и сложил руки на животе; на более сильную реакцию у него не хватило сил.

Мосье Энно произнес дрожащим голосом:

— Я уведомлю командование в Константинополе, посла в Яссах и сегодня же специально свяжусь с Парижем, с Национальным банком.

— И прекрасно сделаете, консул,— кивнул Риггс.— Кстати, окажите мне услугу. Когда будете говорить с банком, пожалуйста, спросите: не согласятся ли бельгийские и французские компании продать американским фирмам одесский трамвай?

Энно с завистью поглядел на Риггса и послушно кивнул.

Между тем адмирал Боллард уже целиком завладел столиком с бутылками и сифонами, и его лицо постепенно приобретало вместо красного синий оттенок.

— Тысяча чертей! — прохрипел адмирал.— Важно, что пушка стреляет, и мне наплевать, сколько стоит выпущенный снаряд!.. Если я не ошибаюсь, здесь сейчас кто-то кому-то наступил на мозоль? Плевать мне на это! Уинстон прислал меня сюда воевать, а во всем остальном он разберется сам. Кажется, мы приехали сюда сражаться. Или мне это только приснилось? Силы мы накопили, наши войска развивают наступление, не сегодня-завтра мы захватим Херсон и Николаев. На большевиков наступают уже и румыны, и греки, и польские легионы, и директория, и добровольческая армия. Второй линией двигаемся справа мы, слева французы. Надо обеспечить войска ресурсами, и наступление должно быть единодушным. Однако тут происходит какая-то непонятная грызня между всеми этими петлюровцами и деникинцами, и черт ногу сломит — кто из них прав, чего собственно они хотят и из-за чего грызутся, как собаки? А?

Он задохнулся от длинной тирады и посмотрел на всех налитыми кровью глазами.

— Вполне справедливо! — сказал капитан Ланжерон.— Необходимо положить конец грызне между местными антибольшевистскими формированиями, их раздоры срывают наступление! Тем более что и здесь, не на линии фронта, а в тылу, в самой Одессе, существуют всякие разногласия между отдельными группами населения: эсеры, меньшевики, большевики... Этому надо положить конец, господа!

Полковник Фредамбер проскрипел со своего места:

— С директорией я уже договорился: конечная цель — совместная с деникинцами борьба против большевиков...

— Какого дьявола вы там договорились! — грубо оборвал его адмирал Боллард.— Деникинцы разоружают петлюровцев, петлюровцы — деникинцев! Они дерутся между собой, вместо того чтобы дружно воевать против большевиков!

Фредамбер обиженно задергал щекой.

Риггс сказал:

— Меня удивляет, адмирал, что вас беспокоят настроения солдат. Солдаты всегда против офицеров. Но офицеры имеют полную возможность держать в повиновении своих солдат: приказ, дисциплинарные наказания, полевой суд, наконец расстрел на месте за невыполнение приказа! Важно настроение офицеров. А настроение офицеров в деникинской и в петлюровской армиях ничем не отличается. Офицеры рвутся в бой против большевиков. С нас этого достаточно.

В этот момент к Риггсу подошел дог и положил ему на колени морду. Риггс потрепал его по голове.

— Этот дог,— сказал Риггс,—которого я выкормил и выдрессировал, выполнит любой мой приказ: укусит всякого, на кого я укажу, бросится по моему приказу даже на целую свору псов.— Он почесал дога за ухом. Дог завилял хвостом.— Но если я наступлю ему на хвост, он бросится на меня и разорвет на куски, можете быть уверены.— Риггс оттолкнул дога ногой.— Меня удивляет, что вы этого не понимаете, адмирал! — сказал он раздраженно.— Не в наших интересах, чтобы офицерская масса была монолитна. Русские офицеры сейчас под разными знаменами, и это очень хорошо. Это не ослабляет, а усиливает нас, хозяев! — Помолчав, он миролюбиво добавил: — Нам, конечно, придется наступить им всем на хвост, но каждому дураку ясно, что лучше прищемить хвост трем шавкам, чем одному догу. Дог бросится на того, кто наступит ему на хвост, а три шавки заведут грызню между собой и перегрызут друг другу горло.— Риггс снова заговорил резко и сердито: — Наше дело — всегда иметь припасенную кость и в нужный момент кинуть ее шавкам, чтобы они начали грызться, чтобы вся эта офицерня перессорилась между собой. Надо только знать, какие у них противоречия, и уметь играть на этих противоречиях.— Он пожал плечами и закончил почти мягко: — Поверьте мне, я не знаю, что такое украинцы и что такое русские, какая между ними разница; но мне доподлинно известно, что между украинскими белогвардейцами и русскими белогвардейцами существует национальная вражда. И это прекрасно, адмирал, отлично. А вы, капитан, не согласны со мной?

Адмирал Боллард опрокинул очередную рюмку и что-то бешено прорычал.

Капитан Ланжерон ответил коротко:

— Вы убедили меня, полковник.

— О'кей!

Благочестивый Багге, который во время длинных монологов Болларда и Риггса сидел зажмурившись и посапывая носом, словно он задремал, неожиданно встрепенулся и набожно возвел очи горе́.

— Вы правы, сэр!

— Рад слышать.

Багге немного помолчал, прикрыв глаза, а потом прибавил:

— Я предлагаю применять такой принцип не только к местным воинским формированиям, но и в наших отношениях с различными местными общественными и партийными группами.

Риггс хлопнул ладонью по столу и весело поглядел на него.

— Чудесно, сэр! Ваш солидный опыт дипломата ведет вас по правильному пути. У вас око орла и разум змия!

Коммерции секретарь Багге был польщен. Кончики его ушей зарделись.

— Благодарю вас, сэр,— поклонился он Риггсу.

— Я полностью согласен с полковником Риггсом,— проскрипел полковник Фредамбер.

Энно пожал плечами.

— Какие тут могут быть дебаты? Это ясно и ребенку.

Мосье Энно было досадно, что не ему были адресованы комплименты Риггса. И он поспешил похвастать:

— Именно из этих соображений французское командование и решило любыми средствами поддерживать против России украинскую директорию со всеми ее сепаратистскими настроениями.

Риггс фыркнул. Как известно, поддерживать директорию предложил французскому командованию через полковника Фредамбера он, Риггс, выполняя указания президента.

— Дальше!..— зло взглянув на Риггса, сказал адмирал Боллард.

Риггс в это время внимательно приглядывался к коммерции секретарю Багге. Он рассматривал Багге с таким интересом, будто сейчас только впервые увидел его. Кроме того, во взгляде Риггса чувствовалась явная симпатия,— словно он собирался сделать благочестивому секретарю ценный презент, только не решил еще, какой именно.

— Дальше? — заговорил вместо Риггса полковник Фредамбер.— Дальше, в развитие этого же принципа, необходимо самым категорическим образом повлиять на генерала Гришина-Алмазова, чтобы он прекратил дискриминацию разных, гм... демократических кругов среди местной общественности. Я имею в виду всякие там партии — анархистов, эсеров, меньшевиков, сионистов и тому подобное. Ведь это антибольшевистские силы, и нет никаких оснований их притеснять. Даже наоборот, их надо всячески поддерживать. Этого требуют не только тактические, но и стратегические соображения. Если эти партии и группировки еще больше расширят свою деятельность против большевиков, то это будет только способствовать расколу подспудных большевистских сил и усилит наши позиции.

Риггс, наконец, оторвал свой взгляд от Багге и с удовлетворением поглядел на Фредамбера. Впрочем, его взгляд был с хитрецой.

— Вы подсказываете нам оригинальные и весьма ценные мысли, полковник.

Риггс имел основания быть довольным: полковник Фредамбер, представитель французской стороны, пересказывал мысли, которые совсем недавно внушил ему он сам, американский полковник Риггс.

— Правда, правда...— ласково промурлыкал коммерции секретарь Багге, не открывая глаз,— демократия, свобода, независимость... ваши и наши священные идеалы...

— Ну, это уж ваша забота, консул,— сказал Риггс.— Вы представляете здесь общественное мнение, печетесь о делах общественных, несете знамя Французской республики с ее лозунгами, гм... эгалитэ, фратернитэ, либертэ — кажется, так?.. Поэтому вы имеете большие возможности применять в дальнейшей вашей политике в отношении широких общественных кругов принципы толерантности, демократизма и тому подобное... Однако советую вам, консул, учесть при этом кое-какой опыт международной политики Соединенных Штатов. Например, в странах Южной Америки. Этот опыт поучителен для дела укрепления нашего руководства местной жизнью. Ведь за годы мировой войны США при помощи своих вооруженных сил ликвидировали смуты в Гаити, восстания в Мексике. В Перу, Чили, Аргентине и Боливии мы тоже осуществили кое-какие полицейские операции. Но наряду с ними, в связи с необходимостью защитить от туземцев интересы США в этих странах, американские политики практиковали в этих странах и эти самые методы толерантности, демократизма и тому подобное. Все это, бесспорно, способствовало налаживанию деловой жизни.

— Правда, правда! — открывая глаза, одобрительно закивал головой секретарь Багге.— До войны Соединенные Штаты не имели в странах Южной Америки ни одного банковского представительства. А за четыре года войны открыли там, если не ошибаюсь, сорок пять банковских филиалов.

Риггс насторожился и пристально посмотрел на Багге.

— Это в какой-то мере ущемило ваши интересы в странах Южной Америки, сэр?

Секретарь Багге лениво вертел большими пальцами пухлых рук, сложенных на животе.

— Мои — нет, интересы Британской империи — да!

Риггс еще раз окинул Багге быстрым и внимательным взглядом. Затем он повернулся к консулу Энно.

— Простите, консул. Мы слушаем вас! Какие еще вопросы считаете вы целесообразным поставить на обсуждение?

Консул Энно развел руками.

— Все. Я думаю, каждый из нас может сейчас послать своему правительству вполне конкретные рекомендации на основе нашего обмена мнениями.

— Тогда — сода-виски, джентльмены?

Риггс широким жестом указал коллегам на столики с напитками.

Но его приглашением поспешил воспользоваться только адмирал Боллард.

Все поднялись.

Риггс спросил у Евы Блюм, все еще сидевшей у окна:

— Ева, вы собираетесь давать сообщение в прессу о нашем совещании?

— Я уже подготовила,— ответила журналистка, отрывая взгляд от морского простора за окном, которым она любовалась.— «На совещании представителей трех держав, состоявшемся сегодня, представители Соединенных Штатов, Англии и Франции пришли к полному согласию и единомыслию по всем вопросам, касающимся развития наступления против большевиков и организации экономики и общественной жизни на освобожденных от большевиков территориях Украины, Крыма и юга России».

Риггс поглядел на присутствующих. Те молчали.

— У меня будет поправка, Ева,— сказал Риггс.— Надо написать не «представители Соединенных Штатов, Англии и Франции», а наоборот — «Франции, Англии и Соединенных Штатов».

Все вежливо улыбнулись. Мосье Энно отвесил Риггсу поклон. Прощаясь с гостями, Риггс каждому по очереди жал руку, и любезная улыбка не сходила с его лица.

Последним уходил коммерции секретарь Багге. Риггс задержал его руку в своей.

— Вы окажете мне честь, сэр, если останетесь еще на две минуты.

Секретарь Багге удивленно поднял свои кроткие глаза. Риггс встретил его взгляд учтивым, но настойчивым взглядом. Багге опустил глаза и шагнул обратно в комнату.

— Ева, Гейк! — сказал Риггс.— Мистер Багге хочет сказать мне несколько слов...

Помощник Риггса и журналистка поднялись и вышли.

Поддерживая Багге под локоть, Риггс подвел его к окну.

Окно выходило на бульвар. В этот час дня на бульваре всегда было шумно. По тротуару и аллейкам между золотистыми платанами сновали французы, англичане, греки, румыны, поляки, офицеры белой добровольческой армии. По мостовой промаршировала группа черных сенегальцев. Рысью промчался лихач; в коляске сидели деникинский офицер и дама в модной шляпке с огромными полями и пучком страусовых перьев, похожим на веник. Вдали, за тихими голубыми гаванями, искрилось синими волнами море.

Риггс с интересом разглядывал оживленную толпу и неспокойное море. Секретарь Багге, прищурив глаза, смотрел на эту картину без особого интереса, но кротко и добродушно.

— Интересы Британской империи и Соединенных Штатов,— заговорил Риггс как будто между прочим,— сталкиваются и переплетаются не только в странах Южной Америки, где до войны приоритет имела Британская империя, а сейчас приобрели Соединенные Штаты...

Секретарь Багге любезно кивнул.

— И не только в Азии — на просторах Китая или Индии...

Багге снова кивнул, подавив легкий вздох.

— И не только в средиземноморских странах или на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке...

Багге смиренно поднял взгляд вверх. Это движение, несомненно, должно было означать: все в руце божией.

— Интересы Британской империи и Соединенных Штатов,— продолжал Риггс,— постоянно сталкиваются и на территориях бывшей Российской империи. Я имею в виду прежде всего нефть... Затем уголь и руду, которыми до сих пор распоряжаются французские компании...

Багге стоял, зажмурив глаза, и вертел большими пальцами рук, сложенных на животе. Утвердительно, но сокрушенно он закивал головой.

Риггс снова взял его за локоть.

— Американские компании, которые и дальше будут развивать свою деятельность на Кавказе и Кубани, в Донбассе и Кривом Роге, а также — имейте это в виду — и в Прикарпатье, могут заинтересовать вас пакетом акций, сэр...

Багге вертел пальцами. Наступила небольшая пауза.

— Или одним процентом с годового оборота.

Пальцы Багге на минуту остановились, потом снова завертелись — в обратную сторону — один вокруг другого.

— Или двумя процентами куртажа с каждой отдельной операции, которая будет нарушать интересы британских компаний.

Секретарь Багге перестал вертеть пальцами, постоял минутку не двигаясь, затем кивнул:

— Ол райт!

— О'кей!

— Доброго здоровья, сэр!

— Доброго здоровья, мистер!

Риггс проводил Багге до порога, поддерживая его под локоть.

3

Когда дверь за Багге закрылась, Риггс начал тихо насвистывать «Типерери» — популярную английскую песенку. Затем выключил люстру с фонографом, щелкнув у дверей выключателем, и нажал кнопку звонка.

Но вместо клерка вошли Гейк Шеркижен и Ева Блюм.

Журналистка присела к столу, вынула блокнот, карандаши и приготовилась стенографировать. Шеркижен расположился рядом, разложив перед собой бумаги и какие-то записки. Это были ключи шифра.

— Прежде всего почта президента,— сказал Риггс.

Он шагал по комнате — то вдоль окон, рассеянно поглядывая на море и на бульвар, то вокруг стола, сосредоточенно глядя себе под ноги. Дог лежал в углу возле камина и спал. Когда Риггс проходил мимо него, дог настораживался, поднимал одно ухо и открывал один глаз.

Риггс медленно диктовал, журналистка стенографировала. Шеркижен молча выписывал столбиками цифры шифра на бумаге, поглядывая в стенограмму.

Отчет президенту был краток, но конкретен.

Благодаря стараниям миссии указание президента было выполнено — отношение французского командования к сепаратистским новообразованиям на юге России изменилось. Склонное раньше поддерживать только прямую борьбу за восстановление единой и неделимой России, французское командование теперь в одинаковой мере поддерживает и войска украинской националистической директории и националистические польские легионы. Действиями американской агентуры через французское командование установлено согласие между директорией и добровольческой армией на время борьбы против большевиков. Отныне войска директории и польские легионы будут экипироваться из арсенала французской армии, а деникинцы — из арсенала английской армии.

Во второй части письма, адресованной уже мистеру Вильсону не как главе правительства, а как главному представителю деловых кругов США, Риггс сообщал, что деловая жизнь в городе Одессе и ее промышленных пригородах совсем замерла. Заводы и фабрики вынуждены прекратить работу или максимально уменьшить выпуск продукции ввиду недостатка сырья и отсутствия топлива — угля и нефти. Причина была в том, что львиную долю топлива, которое доставлялось морем из Батума и через Новороссийск и Ростов, забирала оккупационная эскадра на свои нужды, а подвоз сырья почти совершенно прекратился в силу того, что Одесса была окружена фронтами, через которые не могли пробиться транспорты с материалами для производства. Поэтому фабрики и заводы стоят; в городе, естественно, растут безработица и голод.

В особых примечаниях на полях письма Риггс, однако, пояснял и другую причину. Та, пусть незначительная, часть сырья, которая все-таки прорывается по железной дороге или морем через фронты и заставы, все равно не попадает на предприятия: специально созданные при миссии США отделы связи, транспорта и поставок через подставных лиц немед-

ленно же закупают все прибывающие материалы, чтобы не пропустить их в адрес предприятий.

Задерживать доставку сырья и топлива на заводы и фабрики — в этом, собственно говоря, и была главная задача сложнейшей системы различных отделов при экономическом секторе миссии. Глава миссии Риггс рассчитывал довести одесских предпринимателей до отчаяния и поставить их в конце концов перед необходимостью ликвидации своих предприятий и продажи их за бесценок.

Риггс высказывал уверенность, что американские фирмы, безусловно, заинтересуются такими блестящими перспективами, и на отдельном листе прилагал полный список одесских фабрик и заводов, которые, по его твердому убеждению, должны окончательно прогореть и приобрести которые можно будет почти задаром в самое ближайшее время.

Риггс просил в связи с этим ответить на два вопроса. Во-первых: на какие предприятия заблаговременно заготовить купчие? Во-вторых: что делать с приобретенными материалами? Выкинуть в море, перепродать французским и английским интендантствам или сохранить для будущих американских владельцев на специально созданных базисных складах? В таком случае, миссия нуждалась в соответствующих ассигнованиях от фирм-покупателей, чтобы немедленно развернуть строительство складского хозяйства — дворов, пакгаузов и хранилищ.

В конце письма шеф американской миссии на юге Украины снова возвращался к официальной части письма и почтительно спрашивал у президента Вильсона: какие будут дальнейшие указания миссии, в частности и особенно — касательно предполагаемых форм власти в России после ликвидации большевистского режима?

Когда письмо было застенографировано и зашифровано, Риггс позвал клерка:

— Немедленно передать президенту искровым телеграфом, в Париж, на Мирную конференцию... Теперь, Гейк, помощнику президента в Вашингтон.

Письмо помощнику президента Вильсона мистеру Гуверу было несколько длиннее, но столь же конкретно и содержало главным образом деловые предложения.

Правда, в первых строках глава миссии США на юге Украины полковник Риггс высказывал помощнику президента свое искреннее восхищение по поводу его назначения теперь шефом «Комиссии помощи России» и особо уполномоченным президента в разрешении «русского вопроса» на практике, пока теоретически этот вопрос будет разрешаться на Мирной конференции в Париже. Свой восторг выражал Риггс и по поводу «проектной записки» мистера Гувера, которую мистер Гувер позаботился разослать — разумеется, «совершенно сек-

ретно» — руководителям всех американских миссий во всех частях бывшей Российской империи для джентльменской консультации, как специалистам в русских делах и знатокам российской практики. Идею мистера Гувера создать при «Комиссии помощи России» специальные организации «помощи голодающим в России» Риггс квалифицировал как безусловно гениальную. Во-первых, помогут там или не помогут эти организации голодающим и в какой мере будут содействовать ликвидации голода,— это, по мнению Риггса, не имело практического значения, но, независимо от этого, подобная афера даст американским фирмам возможность спихнуть со своих складов все залежалое, заготовленное для войны продовольствие, которое, несмотря на всю высокую технику холодильного дела в США, уже, как известно, начинает портиться. Таким образом будет разморожен ряд американских фирм, производящих продовольствие, осуществится дополнительный оборот капиталов, а это будет способствовать дальнейшему оживлению общеамериканской деловой жизни. Словом, это будет настоящий бизнес! Во-вторых, Риггс восхвалял идею «помощи голодающим» и за тот политический эффект, который она даст, будучи осуществлена и даже если не будет осуществлена, а только опубликована в проекте. «Забота» деловых кругов США о страданиях голодающего населения российских провинций не может не вызвать восхищения широких общественных кругов во всем мире и привлечет симпатии широкой мировой общественности к американцам. А сие особенно важно именно сейчас, когда США, в результате победы в мировой войне и роста своего могущества и престижа, претендуют, и должны претендовать, на мировое господство. Более того, подобный благородный поступок США должен породить симпатии к ним со стороны самого населения России и ее провинций. У Риггса, как «знатока» русской психологии и русского быта, не было никакого сомнения, что после подобного акта популярность США среди народов России гигантски возрастет и сведет на нет подмоченный престиж английский и французский. И, наконец, мистер Риггс был абсолютно уверен, что лучшей маскировки, как благотворительная деятельность, нельзя и придумать для выполнения заданий разведки...

Именно это имея в виду при всевозможных политических комбинациях на территории Украины, Риггс рекомендовал помощнику президента обратить сугубое внимание на всяческие националистические, шовинистические и сепаратистские элементы.

Инвестирование капитала американскими компаниями в предприятия по разработке местных источников сырья, сочетаемое с потворством всевозможной сепаратистской фразеологии,— вся эта широко охватывающая деятельность создаст широчайшие и совершенно реальные перспективы и для раз-

вертывания шпионажа в интересах военных и для деятельности капитала американских компаний. Таким образом, бизнес будет и деловой и государственный.

Что касается личных интересов мистера Гувера на территории России, то Риггс подавал мистеру Гуверу мысль объединиться на первых порах с английским финансовым деятелем Уркквартом, который, как известно, владел на Кавказе лесными массивами. Однако Риггс советовал объединиться как раз не по линии прямого интереса — нефти, а по линии эксплуатации лесного хозяйства. Например: можно учредить компанию по овладению и разработке уральских лесных массивов. Эти массивы, правда, пока еще не принадлежат ни мистеру Гуверу, ни сэру Уркварту, но, по мнению Риггса, могут принадлежать и мистеру Гуверу и сэру Уркварту в недалеком будущем — как только правое крыло южной антибольшевистской армии генерала Деникина соединится с левым крылом волжских белых армий, а потом, через Вологду, и с северным англо-американским фронтом наступления. Риггс полагал, что мистеру Гуверу нетрудно будет заинтересовать американские деловые круги таким соблазнительным предложением, а следовательно, и гарантировать себе пятьдесят один процент акций в компании Гувер — Уркварт. Это даст возможность в недалеком будущем полностью прибрать к своим рукам сэра Уркварта по линии лесоразработок и тогда сделать скачок и на кавказские нефтяные источники сэра Детердинга.

Третье письмо было продиктовано банкирскому дому Рокфеллеров в Нью-Йорк, Уолл-стрит.

Риггс уведомлял банкирский дом Рокфеллеров, что позволил себе заявить представителю сэра Детердинга, якобы банкирский дом Рокфеллеров уже приобрел в собственность нефтяные источники в Прикарпатье. Риггс объяснял, что он вынужден был так поступить, ибо, по его агентурным сведениям, Детердинг как раз рассчитывал осуществить эту операцию. Риггс убедительно советовал дому Рокфеллеров приобрести все же прикарпатские нефтяные источники — безотлагательно и за любую цену, которая, к слову сказать, ввиду нынешней ситуации в Прикарпатье (шаткое положение немецких промышленников и беспомощность польских), будет, безусловно, невысока.

Чтобы обеспечить невысокую цену промыслов для приобретения их сейчас и позднее их полную безопасность от большевиков, у Риггса тоже была идея. Во-первых: немедленно надо нажать на Национальный банк Франции, чтобы были закрыты ассигнования белым польским легионам, которые уже действуют сейчас на территории Украины, развива[я] наступление к Карпатам. Это для польских владельцев со[з]даст угрозу вторжения большевистских армий в Прикарпать[е] и сделает их более сговорчивыми в смысле продажи. Во-вт[о]

рых: тоже немедленно необходимо перебросить эти финансы на широкое субсидирование польской армии, которая сейчас еще только формируется на территории Франции под командованием генерала Галлера. Это даст возможность снарядить ее как можно лучше и в нужное время, когда уже будет осуществлено приобретение промыслов, отправить ее в Галицию для ведения боевых операций и ликвидации большевистского наступления... Одновременно Риггс настаивал на всемерном усилении американского влияния в польской армии Галлера, формируемой сейчас на территории Франции. Во имя этого он советовал в американском городе Питтсбурге (штат Пенсильвания) и в других, где скопилось большое количество польских эмигрантов, безотлагательно начать формирование патриотического, во имя освобождения Польши, добровольческого польского корпуса, который и влить в армию Галлера. От себя Риггс рекомендовал младший и средний офицерский состав для польского корпуса подготавливать ускоренным выпуском в военной школе «Кембриджспрингс» (штат Массачузетс), как известно, славной своими американскими традициями. Высший командный состав Риггс рекомендовал назначать исключительно из коренных американцев.

Для полной гарантии бизнеса Риггс подавал идею содействовать и организации интервенции в Закарпатье силами американских войск, что не может вызвать возражений со стороны правительств Англии и Франции в связи с тем, что необходимо оказывать сопротивление революции в Венгрии.

Риггс просил директора банкирского дома Рокфеллеров самым срочным образом уведомить его о принятых решениях, ибо в зависимости от этих решений он будет проводить и соответствующую политику в отношении белых польских легионов, которые, действуя здесь, причиняют немало лишних хлопот.

В постпостскриптуме Риггс уведомлял также, что английский секретарь коммерции Багге, который выполняет сейчас функции английского представителя, с сегодняшнего дня стал агентом американских компаний.

4

— О'кей! На сегодня все,— сказал Риггс, потягиваясь.— Эту музыку,— он кивнул на люстру вверху, где был запрятан фонограф,— мы послушаем потом. И вы, Гейк, запакуете валики собственноручно, чтобы не побились.

Он снова потянулся.

— Сегодня мы здорово поработали, ребята! — Дог приветливо постучал хвостом.— Теперь можно и хорошенько отдохнуть.— Он сладко зевнул. Дог поднялся и тоже зевнул.— Что

касается меня, то, пользуясь правом своего почтенного возраста, я прежде всего думаю поспать... Вам, Гейк, как человеку молодому, могу порекомендовать кафе «Пале-рояль» — там есть роскошные блондинки. Каро, иси! — Дог застыл, точно вылитый из бронзы, у ног Риггса.— А тебе, Ева, рекомендую кабаре «Трокадеро», Кондратенко, 37...

Ева налила себе виски и немного прыснула в бокал содовой из сифона.

— Сегодня я занята,— ответила она, единым духом осушив полбокала.

— Что такое?

— Я должна быть в кафе, которое называется «Открытие Дарданелл».

— Забавное название! Договорилась уже с каким-нибудь лоботрясом?

— Договорилась.— Ева опрокинула вторую половину бокала.— В кафе «Открытие Дарданелл» собираются подпольщики-большевики.

— О! — Риггс и Шеркижен с любопытством поглядели на Еву.— Откуда ты это знаешь?

Ева пожала плечами.

— Мне сообщил лоботряс, с которым я договорилась,— некий Ройтман.

— Кто этот Ройтман?

— Увивается за мной...

— Но кто он такой?

— Прапорщик Ройтман. По национальности — немец, из остзейских баронов. В период Временного правительства был адъютантом градоначальника. Теперь связан с контрразведкой Гришина-Алмазова и, кажется, с Мишкой Япончиком одновременно. Прекрасно танцует тустеп и аргентинское танго...

— Почему же он сказал это тебе, а не своей контрразведке?

Ева усмехнулась.

— А почему доллар котируется выше николаевского рубля?

Риггс сразу стал деловито-серьезным:

— Нужна контрразведка? Деникинская или французская?

Ева снова потянулась своим длинным телом. Встряхнув рыжими кудрями, она зевнула.

— Нет, сегодня я пойду еще одна. Надо проверить, не врет ли.

Она снова придвинула к себе флакон с виски. Но Риггс грубо оттолкнул ее руку от столика с напитками. Затем бесцеремонно выдернул Еву из кресла и толкнул к двери.

— Марш!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Наконец-то Сашко Птаха чувствовал себя настоящим революционером. Он выполнял боевое поручение и шел на явку.

Сашко шел теперь не на пост связи, да еще второй линии, как это было раньше. Раньше его ставили на пост второй линии, и он должен был направлять незнакомого подпольщика на пост первой линии, где тот и получал точный адрес явки. Теперь же он сам шел на явку, и революционер-подпольщик этот и был он — Сашко Птаха.

И встретиться на этой явке должен был он не с кем-нибудь, а именно с самым главным подпольщиком, руководителем всего подполья, товарищем Николаем.

Так и сказал ему грузчик Григорий, отсылая его в первый рейс по связи,— грузчик Григорий, с которым они вдвоем и выполняют сейчас ответственное поручение Военно-революционного комитета.

Сашко должен был тайно прибыть на явку, передать товарищу Николаю все, что поручил ему передать грузчик Григорий, затем получить от товарища Николая новые указания и с ними вернуться обратно к грузчику Григорию — в тайное, то есть конспиративное, место, грузчиком Григорием ему заранее назначенное, как и ведется среди настоящих подпольщиков.

А поручение Военно-революционного комитета, которое получил грузчик Григорий, а следовательно, вместе с ним и Сашко Птаха, было не пустячное: организовывать в приднестровских селах бедняцкий и середняцкий актив, то есть патриотические и революционные силы народа, для того чтобы создать из них впоследствии партизанские отряды. Эти отряды должны действовать с запада в помощь Одессе и всему югу Украины, захваченному интервентами и белогвардейцами.

Все это выложил Сашку прямо начистоту сам грузчик Григорий; он обращался с Сашком как равный с равным, а не как с каким-нибудь малышом. И этим грузчик Григорий завоевал любовь Сашка Птахи навеки.

Правда, в первую минуту — еще тогда, на Базарной, 36-А, в кухне у старого фельдшера Власа Власовича,— грузчик Григорий, увидав, кого прислали ему в качестве помощника, не смог скрыть своего удивления.

— Мама ро́дная! — воскликнул он.— Да тебя, должно быть, зовут Сашко и ты сын старого рыбака Птахи?

Сашко и сам был крайне удивлен. Оказывается, руководитель комсомольской группы связи Коля Столяров прислал его, комсомольца Сашка Птаху, к человеку, которого он замечал

иногда около своего отца, в прямой связи с какими-то подозрительными контрабандистскими делами.

Помрачнев, Сашко сразу же предупредил, что его отец ни о революционной деятельности Сашка, ни о самой его принадлежности к большевистскому подполью, да и вообще обо всей его биографии старого моревинтовца ничегошеньки не знает. Тут же, смутившись и проклиная себя за застенчивость, которую считал признаком своей малолетней неполноценности, Сашко вынужден был попросить грузчика Григория и в дальнейшем держать все это в тайне от отца, потому что, как подпольщику-комсомольцу и большевику, Сашку хорошо известно, что такое партийная тайна, и он умеет не доверять даже родному отцу, когда вопрос касается революции. И тут же признался, что у него нет оснований верить отцу до конца, потому что отец — рыбак и грузчик, потомственный пролетарий, да еще принимавший во время немецкой оккупации некоторое участие даже в партизанских делах самого Котовского,— вдруг теперь, во время новой, еще более страшной оккупации, путается, как это ему, Сашку, стало доподлинно известно, с контрабандистами, а может быть, и с шайкой беспринципного бандита Мишки Япончика.

Сообщая обо всем этом грузчику Григорию, Сашко чувствовал себя вначале неловко, но понемногу под влиянием собственных слов осмелел, а потом и вовсе расхрабрился, стал даже несколько задирчив и под конец выложил все как есть, без обиняков. Он, по правде говоря, и грузчика Григория до сих пор подозревал в связях с контрабандистами, и если бы поручение к нему, переданное Сашку через Колю Столярова, было не от самого товарища Николая, то, возможно, и Григорию он не поверил бы до конца. Впрочем, именно для того, чтобы выяснить все сразу и до конца, Сашко и решил выложить все начистоту, прямо в глаза.

Григорий Иванович внимательно выслушал Сашка. Улыбка, которая сначала мелькнула было на его губах при упоминании о том, что Сашко скрывает от отца свою принадлежность к подполью,— эта улыбка сразу исчезла, и Григорий Иванович стал совершенно серьезен.

— Хорошо,— сказал он,— коли так, пусть так. Буду держать это в секрете. Хотя и хорошо знаю твоего батька, хороший он человек.

— Хороший, конечно,— согласился Сашко,— вот только если бы не со шпаною Мишки Япончика...

— Шпану Мишки Япончика, значит, не одобряешь?

— Революцию,— произнес Сашко серьезно,— хотя и приходится делать среди нечисти из разного материала, но делать надо чистыми руками...

— От кого ты это слышал?

Сашко выпалил единым духом:

— Это сказал нам, моревинтовцам, когда мы давали присягу на верность Октябрьской революции, старый большевик, ссыльный каторжанин, петроградский токарь, а на флоте — кочегар второго класса, руководитель одесской Красной гвардии Петр Иванович Старостин. Позже его зверски замучили наемники немецкого империализма — петлюровские гайдамаки Центральной рады!

Григорий Иванович минутку постоял, задумчиво и внимательно глядя на вытянувшегося перед ним подростка.

— Правильно он это сказал. Так и держи руля!

Григорий Иванович еще минутку ласково смотрел на Сашка.

— А о Котовском,— спросил он, наконец,— ты, значит, не плохого мнения?

— Герой революции! — сразу же откликнулся Сашко.

— Так-с...— Григорий Иванович почесал затылок, а потом сказал: — Мы с тобой оба, стало быть, подпольщики и конспирации, разумеется, будем придерживаться самой суровой. Даже друг перед другом. Понятно? Таков уж закон подполья. Мало ли что может случиться: провалится, не дай бог, один, а проваливать другого он не имеет права. Верно? Так вот, для людей я — грузчик Григорий Мадюдя, молдаванин, и ты мой племянник. А для меня будешь просто Сашко. Мне даже, скажем, неизвестно, сын ли ты старого Птахи. А я для тебя только Григорий Иванович — и квит. Договорились?

Григорий Иванович протянул Сашку свою огромную, могучую руку. Сашко взял ее и пожал изо всех сил.

— Ого! — заметил Григорий Иванович.— Есть чем жить на свете! Как подрастешь, попробуем с тобой на пояски или партерную... Приемы французской борьбы знаешь?

Сашко покраснел.

— И французскую, и бокс, и джиу-джитсу.

— Ого! И французскую, значит, и английскую, и японскую?

Он вдруг засмеялся.

— Против нас сейчас действительно и французы, и англичане, и японцы. Но здесь, на юге, нам с тобою, брат, начинать придется с антифранцузской борьбы. Верно?

— Верно, Григорий Иванович,— засмеялся и Сашко. Григорий Иванович ему здорово понравился.

Тогда, при первом знакомстве, Григорий Иванович не сообщил Сашку ни смысла поручения, ни цели его. Уже позднее, через несколько дней, когда они побывали в Беляевке, в Маяках, Яськах и Граденицах, убедившись, что Сашко не пустой хлопец, а хороший помощник во всяком деле, Григорий Иванович начистоту выложил ему и содержание задания и его цель: связываться с крестьянами и подготавливать кадры для партизанских отрядов.

Григорий Иванович сам был бессарабцем и легко заводил беседы с солидными мужиками, с молдаванами где-нибудь на колодах подле церкви, а до молодежи на гулянках был у него путь простой и веселый: хотя в разговоре Григорий Иванович и заикался, но певец он был чудесный; хотя и был несколько грузен, но в пляске порхал мотыльком, а на флояре играл такие дойны, что на их звуки сбегалось все село и даже на другом берегу Днестра, на румынской теперь стороне, собирались послушать люди.

В селе Слободзее, неподалеку от Тирасполя, Григорий Иванович решил на некоторое время задержаться, потому что село было довольно большое, к тому же отсюда можно было разведать и самый Тирасполь. Сашку же он приказал отправиться из Слободзеи в Одессу, на явку, указанную товарищем Николаем, сделать ему доклад, получить указания, вернуться назад и искать Григория Ивановича в Слободзее, на базаре,— ежедневно от шести до семи утра...

И вот остановился теперь Сашко Птаха на Ришельевской, возле молочной «Неаполь», перед табачной лавочкой «Самойла Солодия и Самуила Сосиса» — остановился для того, чтобы придержать ускоренное биение сердца: сейчас он переступит порог явки как настоящий революционер.

Впрочем, даже самому Сашку казалось странным, почему это он вдруг так разволновался. Впервинку ли ему это? Разве не он давал адрес поста первой линии, стоя на посту второй линии? Разве не он забирался на высоченные — тридцать сажен от земли — трубы мельницы братьев Анатра, сахарного завода Бродского и джутовой фабрики Родоконаки, чтобы водрузить там на страх классовым врагам красные знамена? Разве это не он, каждую минуту рискуя быть пойманным с поличным и погореть, ежедневно доставлял с самого Куяльника на Старый Базар газету «Коммунист» и листовки на французском языке? И, наконец, разве не он, Сашко Птаха, прибыл только что из Слободзеи, пройдя сквозь пикеты французских, польских и деникинских заслонов? И разве не ему пришлось не далее как сегодня утром пробиваться через село Беляевку под гром пушек, под пулеметным огнем, среди трупов черных сенегальцев, мимо виселицы с телами беляевских повстанцев?

Все это было. Но на явку для встречи с руководителем подполья Сашко шел впервые в жизни и впервые в жизни должен был сказать пароль и услышать предназначенный именно для него отзыв...

Он решительно открыл дверь, звякнул колокольчик на пружине вверху двери, и Сашко остановился перед прилавком.

В лавочке, к счастью, не было никого, а за прилавком, пересчитывая деньги в кассе, сидел сам — не то Самойло Соло-

дий, не то Самуил Сосис. Он прервал свои подсчеты и бросил на Сашка безразличный взгляд: событие было не великой важности для истории человечества — подросток зашел в лавочку купить папирос на украденные у отца деньги.

— Ну? — буркнул Самойло Солодий или Самуил Сосис.

Если бы в лавочке находился посторонний человек, то Сашко, действуя по инструкции, должен был бы купить каких угодно папирос и поскорее убраться восвояси. Но в лавочке не было никого, и поэтому Сашко имел право начать прямо с пароля.

Он сказал, и голос его задрожал от волнения, за что он тут же проклял себя на всю жизнь.

— Дайте мне «Сальве» братьев Поповых, только не в желтых обертках и не в зеленых, а в белых.

Как известно, легкие папиросы «Сальве» братьев Поповых были в желтых, крепкие — в зеленых, а самые крепкие, на коробочках которых так и было напечатано «крп. крп.», что обозначало «крепче крепкого»,— в белых. Впрочем, в этот момент крепость табака не имела никакого значения. В эту минуту имело значение только то, что был произнесен индивидуальный подпольный пароль и произносил его не кто иной, как Сашко Птаха, молодой подпольщик.

Сашку казалось, что Самойло Солодий или Самуил Сосис сорвется после этого со своего места, восторженно посмотрит на Сашка, протянет к нему руки и обнимет. Во всяком случае, каким-нибудь бурным излиянием чувств обнаружит свое восхищение тем, что перед ним стоит такой неказистый и совсем еще молодой парнишка, а, гляди-ка, уже подпольщик! Что должно было произойти после этого, Сашко не представлял себе. Очевидно, они начнут трясти друг-другу руки и хлопать друг друга по плечам.

Ничего подобного не произошло. Самойло Солодий или Самуил Сосис даже не оторвался от своих засаленных «керенок», рублей и франков, даже глаз не поднял, как будто и услышанные слова пропустил мимо ушей. Он только кивнул головой через левое плечо в сторону маленькой дверцы позади прилавка, которая вела, должно быть, на склад с товаром, и при этом произнес скороговоркой, почти невнятно:

— В белых коробках под рукой нет, попросите на складе у приказчика.

Это и был отзыв на пароль.

Сашко машинально двинулся туда, куда ему указали, но пошел, надо признаться, сильно разочарованный.

Но если бы Сашко оглянулся, то увидел бы, что лавочник Солодий или Сосис, который был таким же Солодием или Сосисом, как и лавочником, лишь только Сашко протиснулся мимо него за прилавок, быстро и внимательно оглядел его с ног до головы и бросил настороженный взгляд сквозь витрину на

улицу. После этого он успокоился, и на его лице и вправду мелькнула добрая улыбка, почти полная восхищения, которую действительно можно было прочитать так: «Молодой парнишка, а, гляди-ка, уже подпольщик».

2

Сашко вошел в заднюю каморку, всю заваленную фанерными ящиками с папиросами и табаком, и сразу остолбенел: с ящика с папиросами навстречу ему поднялась... Галя.

— Товарищ Галя? — одновременно и обрадовался и разочаровался Сашко.— А где же... этот... товарищ Николай?

Он окончательно смешался и умолк. Увидеть Галю ему было очень приятно, даже более чем приятно, потому что каждый раз, как он ее видел, у него всегда сладко замирало сердце, заливалось румянцем лицо и слегка деревенели пальцы рук. Но ведь сейчас он встретился с Галей уже не так, как раньше,— как разносчик газет и прокламаций для передачи в город,— а как... с товарищем-подпольщиком на явке, и... сейчас она, наверно, будет очень удивлена и восхищена тем, что Сашко такой же подпольщик, как и она...

— Здравствуй, Саша! — приветливо сказала Галя.— Что ж ты, даже поздороваться забыл?

Зардевшись, Сашко торопливо и неуклюже поздоровался.

— Ну, садись и докладывай.

— О чем... докладывать? — растерялся Сашко. Он не догадывался, что именно Галя, руководитель Иностранной коллегии — член подпольного Военно-революционного комитета, который сегодня дежурил на явке в табачной лавочке и должен принять от него рапорт.

— Как о чем? — засмеялась Галя.— О том, что поручил тебе пересказать Военно-революционному комитету Григорий Иванович.

Сашку понадобилась добрая минута для того, чтобы понять все, чего он еще не понял, и собраться с мыслями, которые он, как только увидал Галю, сразу растерял неизвестно почему...

Галя терпеливо ждала. Она была сегодня неразговорчива, как будто взволнована чем-то и опечалена, и смех ее тоже был какой-то горький.

Дело в том, что только сегодня утром стало известно, что французы и греки захватили Херсон. Греческие и французские войска уже давно стояли под Херсоном, но не отваживались брать его штурмом. В городе была сильная группа вооруженного пролетариата, сгруппировались и партизанские отряды, образовавшиеся после антигетманского и антинемецкого восстания из повстанцев Чаплинской волости, был и немецкий

гарнизон, который выбрал свой совет солдатских депутатов и хотя провозгласил только нейтралитет, однако, под влиянием группы спартаковцев, мог в любую минуту выступить на стороне восставшего народа против англо-французского десанта. А у немцев была дальнобойная артиллерия, угрожавшая речной флотилии союзной эскадры. Но в группу спартаковцев проникла измена, немецкий гарнизон оставил город и отошел в сторону Николаева, партизанские отряды попали под франко-греческий перекрестный огонь с берега и с воды, а рабочая дружина из трехсот бойцов во главе с руководителем херсонского подполья, только что присланным из Харькова коммунистом, была окружена и разоружена. Судьба херсонских красногвардейцев вызывала большую тревогу, потому что, ворвавшись в Херсон, интервенты учинили дикую расправу: город горел, а на улицах лежали трупы погибших в бою и расстрелянных. Оккупанты хватали и убивали каждого, у кого были мозоли на руках,— мозоли считались признаком принадлежности к большевизму. Особенно неистовствовали греки. «Иисусова кавалерия», как прозвали в Одессе греков,— «конница» которых гарцевала на ослах, а артиллерийские повозки тянули мулы,— вызывала у одесситов только презрение и насмешки. Греческие офицеры все поголовно были «пижонами», заботились только о блестяще начищенных сапогах, ходили в дамских корсетах, выщипывали брови и красили губы. Греческие солдаты, сплошь безграмотные, выглядели темной, забитой массой, религиозной до фанатизма. Пробиться к ним подпольщикам не удавалось: не было товарищей, владевших греческим языком. И вот в ходе боев греки оказались самыми жестокими карателями. Греческие офицеры были проникнуты контрреволюционным духом, солдаты одурманены кулацкой пропагандой против «коммуны», которая, мол, является семенем антихриста, богохульствует, землю и имущество отбирает, женщин национализирует, а детей пожирает... Греческие башибузуки чинили дикие насилия и злодеяния. Вооружены они были автоматическим американским оружием новейших образцов.

Заливая Херсон кровью, французы и греки вместе с деникинскими отрядами двинулись к Николаеву и уже сегодня утром взяли его в кольцо.

С падением Херсона и после захвата железной дороги Херсон — Николаев порвалась и связь с мощным большевистским подпольем в Каховке, Алешках и Бериславе.

Теперь территория, захваченная интервентами, значительно расширилась: были заняты Крым, Херсонщина, Одесщина, Бессарабия — и делу борьбы против захватчиков был нанесен чувствительный удар.

Галя действительно была расстроена, когда прибыл к ней посыльный от Котовского, комсомолец Птаха Сашко...

— Ну, что же ты? Докладывай...— поторопила Галя Сашка.

Сашко уже овладел собою, но не знал, с чего же собственно начинать. Докладывать ему приходилось первый раз в жизни, и готовился он докладывать товарищу Николаю, а не... Гале. Григорий Иванович точно объяснил ему, как и о чем нужно докладывать от самого начала их путешествия и вплоть до минуты отбытия Сашка в связь. Но сейчас все это казалось не столь уже значительным, да и неинтересным в сравнении с теми событиями, свидетелем которых Сашку привелось стать на обратном пути, после того как он простился с Григорием Ивановичем. Пробираясь в Одессу, Сашко попал в бой, и это его более всего взволновало — вот это собственно он и считал наиболее значительным. Про это и надо было немедленно же рассказать, тем более... Гале. Но когда Сашко уже открыл было рот, чтобы заговорить, он сразу же понял, что не умеет пересказать того, что видел сам. И действительно — как же это рассказать? Просто так, как было: «Иду это я, значит, по большаку, приближаюсь, значит, к селу Беляевке, как вдруг над селом как поднимется дым, как загремят пушки, да как затрещит пулемет!..» Нет, так, пожалуй, можно было бы рассказывать среди приятелей на улице. Но Гале... Да еще не просто рассказывать, а докладывать...

— А... с чего начинать? — теряясь и краснея, задохнулся Сашко.— С... этого... с начала или сразу с конца?

Галя улыбнулась.

— Нет, Сашко, ты давай уж с начала, а потом дойдем и до конца. Только коротко, самое главное. Все, что велел передать Григорий Иванович.

Память у Сашка была превосходная. Григорий Иванович заставил повторить поручение два раза, и Сашко мог пересказать его точно — слово в слово.

Первую остановку они с Григорием Ивановичем сделали, пройдя сорок километров, в Беляевке. Отсюда начинался водопровод в Одессу; тут, на Днестровском лимане, была насосная водопроводная станция. Ее охранял сейчас французский гарнизон, состоящий из черных сенегальцев. Григорий Иванович поручал Сашку передать, что работники станции превосходно понимают, каково значение водопровода для Одессы. Они в любую минуту могут вывести станцию из строя и лишить город воды. Настроение сельского населения было тоже боевое: крестьяне еле сдерживают свою ненависть к оккупантам. Станция и село могут хоть завтра выставить сотню бойцов, вооружив их гранатами, обрезами, пистолетами.

— А когда я возвращался обратно один, тоже через Беляевку...— сразу увлекаясь, начал было Сашко, но Галя остановила его:

— Ты уж сначала заканчивай, что передал Григорий Иванович, а затем расскажешь и о том, что было, когда ты возвращался обратно.

Галя оборвала Сашка на самом важном, как он считал, месте, но он послушно умолк и вернулся к тому, что передавал Григорий Иванович.

Следующее село, которое они посетили, были Маяки. В Маяках тоже можно рассчитывать на три десятка человек, но оружия там нет совсем. В Яськах чувствуется влияние кулаков; там надо быть осторожным, и в партизаны можно завербовать только единицы, из числа батрацкой молодежи. В Троицком людей наберется еще меньше, но там есть группа бывших фронтовиков — человек пять, а главное, оружия они припрятали человек на двадцать. Зато село Граденицы может стать опорным пунктом для формирования Днестровского отряда: здесь и людей наберется немало, потому что есть беженцы с того берега, от румын, и остатки еще антигетманского повстанческого отряда. Оружие тоже найдется — после того как Григорий Иванович свяжется в Слободзее с местными партизанскими вожаками, распространяющими свое влияние и на Граденицы. В Тирасполе же Григорий Иванович надеется повидаться и с молдаванином Чебаном, который, говорят, создает сейчас партизанский отряд в самой Бессарабии.

Это собственно было и все. Запрашивал Григорий Иванович о следующем: поднимать ли людей сейчас и выводить группами в плавни, что было бы очень удобно летом, а в зимнее время трудно, или же сначала выявить силы по всему побережью, а затем поднять всех сразу для формирования большого партизанского отряда, примерно на двести штыков и полсотни сабель? Григорию Ивановичу надо было также знать — начинать ли немедленно отдельные диверсионные акты, чтобы не давать покоя оккупантам, или же, наоборот, держаться тихо и скрытно до самой минуты организации большого отряда, чтобы не распылять сил?

Галю сообщения Сашка заинтересовали чрезвычайно. Она аккуратно записала все цифры, поглядывая на карту, которую разостлала тут же на ящике с папиросами.

Сашко вспомнил еще одно,— чуть было не забыл. За Беляевкой на дороге они с Григорием Ивановичем встретили крестьянина по фамилии Жила. Он был не приднестровский, а из степи, из большого села Анатольевки. Хотел пробраться в Одессу, чтобы разыскать комитет большевиков, но не смог обойти пикеты и повернул к Днестру, так как слышал, что в Бессарабии большевики тоже организуют партизанские отряды. Сейчас этот Жила вместе с Григорием Ивановичем находился в Тирасполе.

Григорий Иванович запрашивал, как лучше поступить: пусть идет Жила через Днестр, на румынскую сторону, или

лучше оставить его в отряде, формируемом Григорием Ивановичем? Дело в том, что Жилу хорошо знают и любят в селе. Собственно анатольевские крестьяне и послали его разыскать большевистских руководителей и сообщить им, что они хотят организовать у себя в селе отряд Красной гвардии или Красной Армии и бить Антанту.

— Превосходно! — сказала Галя.— Передай Григорию Ивановичу, чтобы мелких диверсий не производил, сил не обнаруживал. Тайно организуя группы в каждом пункте, пусть проводит с людьми военные занятия, накапливает силы для создания в этом районе отряда штыков в пятьсот и сабель по возможности. Крестьянина Жилу надо пока задержать. Я запрошу Ревком о селе Анатольевке, и мы передадим специальные указания, когда ты придешь в другой раз. А пока пусть Григорий Иванович присмотрится к Жиле. Если он окажется надежным, то ему надо будет возвратиться в свое село и вывести из него боевую группу, чтобы влить ее в отряд Григория Ивановича... Вот так! Ну, а что случилось с тобой в Беляевке, когда ты возвращался?

— Понимаете! — сразу же загорелся Сашко, наконец, дождавшись, когда можно будет заговорить о «самом главном».— Иду это я, значит, по дороге, приближаюсь уже к Беляевке, вдруг как поднимется над селом дым, как загремят вдруг пушки, как затрещат пулеметы...

— Погоди, погоди! — перебила его Галя.— Какой дым? Какие пушки? Какие пулеметы? Разве там бой?

— Да бой же, бой! — У Сашка даже глаза засверкали, и он соскочил с ящика, на котором сидел.— Огромный бой! Они бьют из пушек, а наши выставили пулемет, а они бросили одну цепь, потом другую, а наши...

— Погоди! — опять перебила Галя встревоженно.— Я ничего не понимаю. Кто «они»? Кто «наши»?

— Ну, «они» — французы! — Сашка брала досада, что Галя такая недогадливая.— А «наши», конечно, наши: беляевские, рабочие станции и крестьяне — те самые, про которых Григорий Иванович говорил, что они хоть завтра готовы. Так они уже сегодня...

— Боже, какой ужас! — Галя даже схватилась за голову.— Ну, и их, конечно, французы разгромили... и...

— Погромили...— горько признал Сашко.— Ой, как погромили! Хаты попалили, а улицы просто завалены трупами... Там и дети, и женщины... Плач стоит над селом! Но рабочие станции и крестьяне из села, которые уцелели, отошли вдоль лимана на Тирасполь... Говорят, что будут искать отряд матроса Ивана Голубничего...

Галя сидела совсем расстроенная, сжав голову руками, и Сашко замолчал на полуслове. Он ожидал совсем другой реакции: восхищение Гали беляевскими героическими событиями,

радости по поводу того, как народ пылает ненавистью к оккупантам. А Галя... Сашко молчал, хотя о своих собственных переживаниях — о том, как он пробивался во время боя через село, как несколько раз чуть не погиб от шальных пуль и как еле удрал от черных солдат, которые даже погнались было за ним,— он так еще и не рассказал.

А произошло в Беляевке следующее. Григорий Иванович после бесед с рабочими водопроводной станции вынес справедливое суждение, что настроение здесь боевое и трудно сдержать желание рабочих броситься в бой против оккупантов. Во время беседы ему — а у него и у самого чесались руки скорее начать боевые дела — пришлось долго уговаривать их не выступать преждевременно, пока он не получил заверения беляевцев в том, что они будут ожидать сигнала из Одессы. С тем он и двинулся дальше, на Маяки. Но через два-три дня, после того как Котовский навестил Беляевку, в село приехал отряд деникинцев-фуражиров и начал отбирать у крестьян хлеб и овес. Крестьяне фуража не дали, а фуражиров убили. Французы немедленно выступили, чтобы усмирить бунтовщиков. Но крестьяне, вооружившись чем попало, встретили их в боевом строю и окружили. Офицеров повстанцы перебили, а черных солдат отпустили, еще и угостили их — кто чаркою самогона, а кто и закускою после чарки. Сенегальцы ушли, распевая свои непонятные, негритянские песни, но через час или два по селу внезапно ударили пушки: из Одессы подкатило несколько броневиков, а за ними — отряды французов, белополяков и деникинцев. От артиллерийских снарядов село загорелось с четырех концов, а крестьян карательные отряды сжали тесным кольцом и начали расстреливать из пулеметов. Тогда не выдержали и рабочие на станции и выкатили свой припрятанный пулемет. Начался настоящий бой. Он был жестокий, но короткий; под натиском значительно превосходящих сил вооруженная часть крестьян и рабочих отступила к реке, остервеневшие каратели ворвались в село, подожгли хаты, а женщин и детей, оставшихся в селе, согнали на площадь, вешали и расстреливали из пулеметов...

Галя слушала Сашка и тихо плакала. Гале давно хотелось заплакать — еще после сообщения о падении Херсона и о зверствах французов и греков на улицах города. А теперь еще Беляевка! Галя не выдержала. Столько народу гибнет!..

Сашку тоже было жалко людей. Он не плакал, конечно, потому что он был мужчиной, но у него сжимались кулаки, и хотелось ему схватить винтовку, пулемет, гранату и идти в бой на изверга-врага! Но, по мнению Сашка, и Гале не следовало плакать: ведь она была революционеркой, большевичкой, подпольщицей, готовой к бою и к гибели товарищей в бою. Кроме того, в этих кровавых ужасах было, по мнению Сашка, и такое, чему надо было радоваться: народ не хотел покоряться

оккупантам, народ восставал — значит дело революции двигалось вперед и вперед.

Он не удержался и так и сказал Гале.

Галя вытерла слезы и пристально посмотрела на Сашка. Сейчас, после слез, когда глаза у нее были красные, а на щеках засохли слезинки, она была и вправду похожа на совсем маленькую девочку, куда меньше даже Сашка. Но смотрела она на Сашка сурово, и под ее взглядом он смутился.

— Сашко,— строго сказала Галя,— я вижу, ты ни черта не понимаешь, и, наверно, придется отозвать тебя от Григория Ивановича, чтобы ты не наделал еще какой-нибудь беды...

— Как отозвать? — растерялся Сашко.— Чего я не понимаю?

— Ты просто еще мал! — сказала Галя.

И это было так жестоко, так обидно, что у Сашка тоже чуть не брызнули слезы. Опять по его больному месту — о его молодости!

Сашко сорвался с места и швырнул шапку в угол.

— Тогда... тогда... сами можете...

Он чуть не сказал черт знает что, совсем по-мальчишески, вроде: «Сами можете играть»,— только гораздо более серьезное, возможно совершенно непоправимое. Но во-время опомнился: у него только скрипнули зубы и гневно заблестели глаза. Мрачный и оскорбленный стоял он перед Галей.

— Сядь! — холодно, но тоже грозно приказала Галя.— Нет, сначала подними шапку, а потом садись и слушай.

Это было сказано так, что Сашко невольно подчинился.

Когда он сел, Галя сказала сухо, но в ее голосе был дружеский упрек:

— Ты — комсомолец, молодой еще подпольщик, молодой большевик, но должен уже понимать и навсегда запомнить: в революции побеждает не горячность, а выдержка. Так учит нас наша партия. Надо накопить силы — и тогда удар! Дорогие наши люди в Беляевке не сдержали своей ненависти — и погибли. Они стали жертвами интервентов. И от их несвоевременного восстания мало пользы для общего дела. Наоборот, на некоторое время, возможно, оно даже ухудшает дело: погибли силы, которые нужны были для борьбы и победы. В нашем народе великие силы, но они еще распылены, еще не сплочены, не везде еще готовы к бою. Силы эти надо выявить, сплотить, подготовить и лишь тогда ударить по врагу общим, всенародным восстанием, сразу со всех сторон. Для этого и поехал Григорий Иванович по Днестру, для этого десятки наших коммунистов разошлись теперь по городам и селам оккупированной территории, для этого работаем и мы здесь, в подполье. Это обеспечит нам победу, предотвратит бесцельную трату наших сил. Начинаешь ты понимать, Сашко?

Сашко уже понимал. Действительно, это было именно так.

Так говорит на комсомольских собраниях и Коля Столяров. Именно это слышал Сашко и от многих большевиков, которых ему приходилось слушать на митингах еще тогда, когда в Одессе была советская власть, да и позднее, во время немецкой оккупации, когда подготавливалось антигетманское и антинемецкое восстание...

Сашко понурился.

— Правда...

И Сашку сделалось очень досадно, даже горько, что он еще такой непонятливый; что греха таить — действительно от горшка три вершка, молоко на губах не обсохло...

В эту минуту дверца скрипнула; в каморку вошел Сосис или Солодий и сразу прикрыл за собою дверцу.

— Товарищ Галя,— сказал он,— там пришел еще один, матрос, пароль верный, и я его знаю... Заходить ему теперь же или пусть подождет, пока вы...

— Матрос? Наверно, Шурка? — обрадовалась Галя.— С радионовостями! — Она колебалась мгновение, поглядывая на Сашка, но вдруг решилась: — Ничего, пусть заходит!

Солодий или Сосис вышел, и в каморку действительно вошел Шурка Понедилок из Морского райкома партии.

— О! — весело удивился он.— Да тут какой-то пацан! — Он радостно поздоровался с Галей. Веселье и радость так и струились из каждой черточки Шуркиного юношеского лица.— Это что еще за шпингалет?

Сашко глядел исподлобья. Опять — «пацан»! Да еще и «шпингалет»!.. И кто?.. Да Сашко Птаха с Ланжерона знает этого шкета с Молдаванки как облупленного. Это же Шурка Понедилок, которого хлопцы на берегу дразнят: «Скривись, середа, на пятницу»,— сам только в позапрошлом году пошел во флот, да и то в досрочный призыв военного времени. Тоже мне старый революционер!..

— У тебя какие-нибудь необыкновенные новости? — нетерпеливо спросила Галя.

— А разве у меня когда-нибудь бывают обыкновенные новости?

Шурка сдвинул бескозырку на затылок.

— Новости — во!

— Ну, ну? — Гале хотелось скорее узнать новости. Она махнула рукою на Сашка.— Ничего, Шурка, это свой. Если новости хорошие — говори: хорошие новости можно всем знать.

Гале не терпелось, и именно поэтому Шурке хотелось ее подразнить. Он сел на ящик, вытянул ноги, снял бескозырку, сдул с нее пылинки, опять надел. Он намеревался долго так канителиться, чтобы еще сильнее разжечь Галино нетерпение. Но вдруг сам не утерпел и выпалил:

— Восстал Пятьдесят восьмой французский полк!

— Что ты говоришь?!

Новость, которую только что приняли искровики с радиотелеграфа судна «Граф Платов», действительно была не какая-нибудь. Пятьдесят восьмой французский пехотный полк, дислоцированный в Румынии против Тирасполя, действительно отказался выполнить приказ командования выступить на боевые позиции.

Обстоятельства были такие.

Тирасполь был захвачен внезапным налетом партизанского отряда Ивана Голубничего, и Пятьдесят восьмой французский полк, дислоцированный на той стороне Днестра, в Бендерах, получил приказ перейти мост, выбить партизан из города и восстановить в нем власть оккупантов. Батальоны вышли на позиции, стали против города, но идти в бой... отказались. Солдаты сказали: «Мы уже отвоевались за четыре года, в Париже подписывается мир, войны Советской России никто не объявлял — и мы не пойдем на территорию Советской России...» Как раз в это время артиллерийский дивизион, расположенный в глубине румынской территории, уже открыл огонь по Тирасполю. Но пехотинцы перерезали провода, связывавшие наблюдательный артиллерийский пункт с батареями, и сорвали огонь. Они заявили: «Русский народ нам не враг. Зачем убивать русских и разрушать их дома?» — «Это же большевики,— объясняли им офицеры.— Мы должны идти в бой не против русских, а против большевиков».— «Если русским нравятся большевики,— отвечали солдаты,— то это их дело; пусть живут себе и с большевиками...» Полк снялся с позиций и вернулся в казармы вопреки приказам офицеров. Казармы немедленно же были окружены частями французской полевой жандармерии. Командование угрожало солдатам репрессиями и полевым судом и требовало немедленно выступить на позиции. Но солдаты категорически ответили, что воевать с Россией не будут. Они пойдут в Тирасполь на постой, но без оружия — пусть их отвезут туда поездом, и они расквартируются как резервная часть. Командование вынуждено было дать на это свое согласие. Тем более что партизаны Ивана Голубничего к этому времени уже сами оставили город и отошли на территорию Украины. В город вступили белополяки и деникинцы. Полк погрузился в эшелон, и солдаты прибыли в Тирасполь без оружия. Командование сразу приказало передислоцировать бунтовщический полк дальше — в Раздельную...

Сообщение чрезвычайно взволновало Галю. Это еще не было восстанием, но это было неповиновение — неповиновение, оказанное не отдельными бойцами, а целым полком: массовый организованный акт неповиновения. Такой факт случился впервые за время оккупации. Разложение армии оккупантов было очевидно.

Галя особенно торжествовала: Иностранная коллегия засы-

лала в Тирасполь и в Бендеры и газету «Коммунист» на французском языке и листовки,— не было сомнения, что пропаганда Иностранной коллегии была одною из причин отказа французских солдат идти в бой против большевиков и Советской страны.

Но Сашко Птаха отнесся к радости Гали и Шурки несколько скептически.

— Что ж тут такого? — сказал он, стараясь говорить как можно солиднее.— Если бы они действительно восстали и ударили по своей жандармерии или перекинулись с оружием к партизанам! А то что же такое... только не захотели воевать, а потом... все-таки подчинились командованию: перешли на нашу территорию...

Галя радостно засмеялась.

— Это и хорошо,— воскликнула она,— что перешли! Хуже было бы, если бы они там и остались!

Сашко не понял.

— Как же ты не понимаешь этого? Эх, ты! — Галя не сердилась, она смотрела на Сашка сияющими глазами.— Да пойми же, наконец: французские солдаты перешли на нашу территорию... вместе со своим неповиновением! Теперь от них это неповиновение распространится и по другим частям. Ведь солдаты Пятьдесят восьмого полка будут встречаться с солдатами других частей. Понял? Молва об этом полетит, как пожар, ее ветром понесет от одной французской части к другой. Ну? Понял?

— Эх ты, пацан! — сияя всем своим веселым лицом, сказал и Шурка Понедилок, хлопнув Сашка по спине, и вдруг провел косточками пальцев по Сашкиному темени против волос, сделал ему «грушки».

Сашко, разумеется, из Галиных слов все уже прекрасно понял, но «грушки» — это было в самом деле больно, да и этот выскочка Шурка опять поразил его в самое сердце. Слезы, наконец, выступили у Сашка на глазах.

Он сорвался с места и стал перед матросом Шуркой Понедилком.

— А ну, полегче! — грозно сказал Сашко Птаха, выпятив грудь. Сашко был парень крепкий, пожалуй не слабее щуплого Шурки, хоть и был моложе его лет на пять.— А то как дам!

Шурка, весело смеясь, слегка оттолкнул Сашка плечом.

— А раньше ты мне давал?

— А скривись-ка, середа, на пятницу! Мамалыга с Молдаванки!..

— Да тише вы! Ребята! — рассердилась Галя.— Вы что, одурели?

Сашко и Шурка разошлись. Сашко волком поглядывал исподлобья. Шурка, смеясь, протянул руку:

— Ну, давай «пять», товарищ комсомолец!

На этом и закончилось первое конспиративное свидание комсомольца Сашка Птахи. Еще раз повторив указания Григорию Ивановичу, Галя спровадила Сашка и приказала ему сегодня же возвращаться в Слободзею.

Про случай с Пятьдесят восьмым полком Григорий Иванович уже, конечно, должен был узнать в Тирасполе. Галя передавала, чтобы он использовал этот факт как можно шире: в беседах с крестьянами нужно непременно рассказывать о нежелании французских солдат идти в бой против большевиков.

Шурка Понедилок тоже сейчас же ушел. Его дело было сообщить новости областкому; теперь он должен был спешить в порт, к себе на корабль, а до того ему надо было еще забежать на Молдаванку, домой,— наколоть маме дров, принести воды, да и козу следовало бы подоить...

Галя тоже не осталась на явке. Она спешила на заседание Иностранной коллегии в «Открытие Дарданелл».

Галя ушла сегодня из своих катакомб на Куяльнике не только потому, что дежурила с утра на явке, а еще и потому, что Иностранная коллегия сегодня вечером должна была решить очень важный вопрос: организацию встречи подпольных групп, созданных на кораблях и в частях оккупационной армии. Но теперь, после Шуркиного сообщения, Галя решила до этого повидаться еще с Ласточкиным, чтобы немедленно же передать ему новость о восстании Пятьдесят восьмого пехотного полка.

Галя знала, где сейчас искать Ласточкина. Ласточкин подготавливал областную конференцию — конференция должна была состояться на Пересыпи, в «Доме трудолюбия», и Ласточкин должен быть там: уже прибывали делегаты издалека — из Елизаветграда, из Вознесенска, Николаева, Березовки.

Однако в «Доме трудолюбия» Галя Ласточкина не застала. Это ее расстроило. Кроме Шуркиной, были у нее и другие важные новости, приятные Ласточкину. Из Киева прибыла новая группа товарищей; искала связи группа большевиков-грузин, которая действовала в частях добровольческой армии и прибыла с деникинским полком из Новороссийска; на мелких заводах Вальтуха, Спивака и Спиванова, Ройхварга, где до сих пор не было большевистских организаций, потому что там среди рабочих, бывших кустарей и мелких собственников, действовали меньшевики, наконец создались пусть и небольшие, но большевистские подпольные группы. Большевистские силы и в городе и в области росли день ото дня.

Были новости и неприятные. Морем на транспортах Ропита под охраной французских миноносцев прибыли свежие контингенты французских и греческих войск: пехота, артиллерия, танки. Интервенты разворачивали наступление, расширяли плацдарм и увеличивали на нем вооруженные силы.

Обо всем этом следовало уведомить Ласточкина безотлагательно.

Однако ничего не поделаешь, приходилось ждать до вечера: встреча с Ласточкиным для отчета за день была назначена Гале уже после совещания Иностранной коллегии. Раз Ласточкин ушел, то теперь его не найти, да и не любил он, когда его искали, идя по его следам. В таких случаях он всякий раз констатировал недостаточность конспирации и начинал конспирироваться еще тщательнее.

3

Ласточкина действительно нельзя было разыскать на Пересыпи, потому что он в это время был совсем в другом конце города — на Малом Фонтане, в Ботаническом саду.

Ласточкин решил навестить профессора Панфилова.

Когда Ласточкин подошел к Ботаническому саду, привратник, старый дед в заношенном мундире николаевского солдата и в такой же древней матросской бескозырке, долго не хотел его пропускать. Привратник, как понял Ласточкин, не столько охранял самый сад — потому что в сад легко было перелезть через забор или зайти с моря, с обрыва, где вообще не было забора,— сколько оберегал покой и труд самого профессора.

— Гаврила Иванович,— твердил старый привратник, недружелюбно поглядывая на незнакомого ему человека,— очень заняты. Они в кабинете изучают науку, времени у них мало, и хотя они сами к людям очень приветливы, но надо же и людям иметь до них совесть и не мешать им в их научной деятельности.

Наконец, когда Ласточкин, потеряв уже надежду пробиться к профессору, сказал, что он имеет дело к Гавриле Ивановичу от его хорошего знакомого, агронома из Бессарабии Онищука, привратник вдруг сменил гнев на милость.

— От Онищука,— переспросил старый привратник,— то есть от Григория Ивановича? Так бы сразу и сказали. От Григория Ивановича — это совсем другое дело; от Григория Ивановича всегда можно. Заходите, коли так. Вот так и пойдете по главной аллее, а потом заверните налево, к оранжереям, а там сразу в пристройке и кабинетик Гаврилы Ивановича. Идите, идите свободно, тут всем можно ходить, а ежели от Григория Ивановича, то профессор всегда будут рады.

Ласточкин нашел оранжерею и постучал в низенькую дверь.

За дверью стояла тишина. Ласточкин постучал еще раз и прислушался. Потом постучал в третий раз громче и подумал

о том, что, очевидно, профессор вышел, а привратник этого не заметил.

Ласточкин уже собирался было отойти от двери и где-нибудь подождать, как вдруг дверь отворилась и на пороге появился человек.

Сомнения не было, это и был профессор Панфилов.

На пороге стоял небольшого роста, худощавый, даже щуплый и в то же время изящный человек с седыми усиками и белою бородкой. Здоровья он был, несомненно, слабого. Его серые глубокие глаза светились, может быть, и не скорбью, однако какою-то умиротворенной печалью. Во взгляде его была большая сосредоточенность, но вместе с тем и как будто жадность ко всему вокруг. Он смотрел пристально, но взгляд его сразу же уходил куда-то в скрытые и, возможно, совершенно далекие мысли. Чувствовалась большая сдержанность этого человека, его желание остаться незамеченным, в стороне и в одиночестве; и одновременно не только глаза, но все его лицо, вся фигура профессора излучали приветливость, искреннее желание пойти вам навстречу и подать руку, чтобы вы не споткнулись.

Одет был профессор в черный сюртук, на нем был галстук «бабочка», и хотя на плечи было накинуто теплое пальто с каракулевым воротником, полы которого он придерживал одной рукою, как халат,— вся одежда сидела на щуплом старичке как-то очень складно и была чрезвычайно аккуратна, чиста, даже элегантна.

Профессор смотрел на незнакомца, который постучал к нему и прервал его работу, ясными глазами — без тени раздражения или неудовольствия. Он сухо покашливал коротеньким, тихим кашлем человека, страдающего сердечной болезнью или туберкулезом.

— Вы, очевидно, плохо слышите? — первым нарушил молчание профессор, приветливо глядя на незнакомого ему человека.— Вы постучали в первый раз очень тихо, очевидно боялись меня испугать; потом громче и, наконец, совсем громко. Я ответил вам все три раза, а вы так и не вошли. У вас что-нибудь не в порядке со слухом?

Профессор говорил тихо, но очень внятно; таким тихим и отчетливым голосом он, очевидно, читал лекции студентам в университете.

Ласточкин, сам не зная отчего, вдруг сконфузился. Этого он никогда за собою не знал. Ему приходилось встречаться и разговаривать с десятками и сотнями людей разного общественного положения и разнообразнейших профессий, приходилось постоянно, изо дня в день, работать среди людей и с людьми — вся его жизнь проходила на людях,— и он всегда чувствовал себя спокойно и уверенно, зная, что ему нужно и чего можно ожидать от каждого нового человека. И вот

сейчас, может быть впервые в жизни, Ласточкин вдруг ощутил, что чувствует себя так, как робеющий студент перед профессором — грозою университета.

— Извините, профессор...— промямлил «студент» Ласточкин,— что побеспокоил вас... но...

Профессор отступил от порога и гостеприимно пригласил Ласточкина:

— Пожалуйста, входите.

«Кабинет» был обыкновенной небольшой комнаткой при оранжерее, очевидно частью самой оранжереи,— об этом свидетельствовали и широкое, разделенное на мелкие квадраты окно во всю стену и наклонный потолок, тоже застекленный. В уголке на большом простом, дощатом столе стояло несколько горшочков с какими-то растениями; на другом, поменьше и пониже, лежало много больших конторских книг, аккуратно сложенных в стопки. Стоял еще небольшой столик, застланный газетами, и на нем — чернильница и развернутая рукопись. Страница рукописи была наполовину исписана, и строчка обрывалась: профессор писал, когда Ласточкин потревожил его.

— Я помешал вам, профессор,— с искренним сожалением промолвил Ласточкин.— Вы как раз работали. Обещаю вам, что не задержу вас.

Профессор коротко кашлянул и просто сказал:

— Раз вы пришли, значит у вас ко мне дело.— Профессор был естествен с людьми и именно такой же естественности ожидал и по отношению к себе.— Садитесь, пожалуйста. Извините, с кем имею честь?

И вдруг, неизвестно почему,— возможно, под влиянием ощущения простоты и естественности профессора — Ласточкин назвался не каким-нибудь выдуманным именем, даже не партийной подпольной кличкой «Ласточкин», а своим собственным, так редко употребляемым, как будто забытым даже для самого себя именем:

— Смирнов Иван Федорович...

Имя это — имя закройщика с киевской швейной фабрики, которое после девятьсот пятого года фигурировало, пожалуй, только в сводках жандармского управления, на военно-полевом суде в обвинительном акте по процессу большевистского подполья и в списке каторжан на далеком Севере, а после революции было именем председателя Киевского профессионального союза работников иглы, одного из большевистских руководителей, заместителя председателя Киевского Совета рабочих и солдатских депутатов — одесскому профессору Панфилову, конечно, не могло быть знакомым.

Профессор и не скрыл своего незнания за учтивыми фразами или любезной улыбкой. Он внимательно повторил:

— Смирнов Иван Федорович,— будто прислушиваясь к

самому звучанию или заставляя память вызвать какие-то ассоциации, и сразу просто признался: — Не имею чести быть с вами знакомым. Смирнова Николая Кондратьевича знал, Смирнова Леонида Васильевича припоминаю. Смирнова Геннадия Ферапонтовича — тоже. Знал и Смирнова Ивана Федоровича, но это не вы: Смирнов Иван Федорович ведет сейчас кафедру в Казанском университете.

— Да, это не я...— невольно усмехнулся Ласточкин и сразу почувствовал себя с профессором несколько проще.

— Нуте-с? — сказал профессор Панфилов.— Я слушаю вас.

У Ласточкина была приготовлена беседа с ботаником и почвоведом профессором Панфиловым. Он должен был рассказать, что он — житель Центральной полосы России,— будучи заброшен сюда, на юг, невзгодами современной жизни, решил, однако, тут и поселиться, приобрести где-нибудь под Одессой домик и небольшой клочок земли, на котором собирался разбить садик, потому что давно является страстным садоводом-любителем. Вот и пришел он попросить у профессора почвоведа и ботаника совета: где тут, на юге, лучше приобрести землю, чтобы почва была плодородной? Таким способом рассчитывал Ласточкин подойти и к разговору о Дендропарке возле станции Долинской. С вечера Ласточкин на всякий случай зашел в публичную библиотеку на Херсонской улице и просмотрел справочник по растениям по разделу плодовых деревьев, а также несколько из ста опубликованных доселе научных трудов профессора Панфилова.

Узнав из библиографического указателя работ профессора, что он является также и самым выдающимся специалистом в вопросах растительности и почв северных сибирских болот и тайги, Ласточкин про запас приготовил и разговор о своих собственных наблюдениях в северной тундре и тайге, где отбыл несколько лет в ссылке. Разумеется, Ласточкин не собирался говорить о своей ссылке, а подготовился предстать в роли купца-пионера на стойбищах ненцев и эскимосов, что, естественно, и объяснило бы причину его пребывания на Севере. Это было в полном соответствии с паспортом Ласточкина — по паспорту Ласточкин, как известно, был купцом.

И вот, когда профессор сказал свое «нуте-с, я слушаю вас», Ласточкин вдруг, тоже, вероятно, впервые в жизни, почувствовал, что язык его прилип к гортани и он не знает, с чего же начать. Это было глупое чувство, и Ласточкину хотелось яростно накричать на самого себя. И с чего это он так конфузится перед обыкновенным профессором? Что это? Робость перед его авторитетом? Но ведь не студент же он! С чего ему краснеть?.. Или это потому, что всю свою жизнь Ласточкин жил и действовал среди рабочих и крестьян либо среди профессионалов-революционеров, а в специфическом кругу интеллигентов-ученых ему не приходилось бывать?

Ласточкин прокашлялся, словно отвечая на постоянное покашливание профессора, и сказал, указав рукой на развернутую на столе рукопись:

— Извините, профессор, вы, очевидно, готовите новый научный труд?

Профессор Панфилов бросил ласковый взгляд на недописанную страницу, на прерванную на полуслове фразу.

— Я пишу сейчас книгу на основе материалов наших предшественников в этой области и по моим собственным прежним работам.— Профессор отвечал на вопрос точно, не считая нужным что-либо скрывать даже перед незнакомым человеком. Из своей работы он не делал секрета и не строил из себя жреца науки, окутывая свою деятельность флером неизвестности и таинственности.— Я называю эту книгу «География России и Украины»; первая ее часть опубликована еще в четырнадцатом году, вторая — в шестнадцатом, сейчас я работаю над очерком климата и растительности юга Украины, что войдет, очевидно, в третью часть...

— Как это важно, профессор!

Панфилов сказал:

— Вы, Иван Федорович, не говорите так часто «профессор». Меня зовут Гаврила Иванович.

— Извините, проф... Гаврила Иванович...

Ласточкин опять почувствовал, что растерялся и не знает, что говорить, несмотря на то, что сейчас как раз выпадал весьма резонный случай — от книги, которую писал профессор, перейти именно на тот самый разговор, который подготовил Ласточкин: об этой самой растительности юга Украины... Но, быть может, именно потому, что подготовленный разговор так непосредственно увязывался с работой профессора, рукопись которой лежала перед Ласточкиным на столе, у него не поворачивался язык сразу перейти к уже подготовленному, такому близкому к теме работы профессора разговору.

Панфилов посмотрел Ласточкину прямо в лицо.

— Вы извините меня, Иван Федорович, но мне кажется, что вы чувствуете себя неловко и не знаете, как начать о том, с чем вы ко мне пришли. Так, пожалуйста, не смущайтесь и начинайте. Я слушаю вас. Нуте-с?

— Совершенно справедливо, Гаврила Иванович,— признался Ласточкин,— я чувствую неловкость, оттого что оторвал вас от большой работы своим маленьким делом. Это, знаете, очень неловко — отрывать от деятельности, имеющей общественное значение, незначительными личными делами. Но мне посоветовал обратиться к вам и уверил, что вы не обидитесь, мой большой приятель, бессарабский агроном Григорий Иванович Онищук.

— А! — искренне обрадовался Панфилов.— Григорий Иванович и ваш друг? Очень рад! Чудесный приятнейший чело-

век Григорий Иванович! Беззаветный энтузиаст человеческого будущего, чистейшим образом влюбленный, да, да, самою первою юношескою любовью влюбленный в жизнь, природу и в совершеннейшее ее творение — в человека!

Лицо Гаврилы Ивановича даже засияло при воспоминании о его друге агрономе Онищуке. К тому ж Гаврила Иванович тоже, несомненно, был первой юношеской любовью влюблен в жизнь, в природу и в ее наисовершеннейшее творение — в человека, влюблен в людей вообще, а в хороших людей в особенности.

Как легко и приятно говорить с таким человеком, как Гаврила Иванович! И как трудно было Ласточкину разговориться с ним сейчас...

И Ласточкин уже понял, почему. Потому что с таким человеком, искреннего и чистого сердца, человеком душевной простоты и прямого характера, говорить можно только прямо и просто, а Ласточкину нужно было заниматься искусственными подходами, выкрутасами и околичностями. А окольными путями, подходами и выкрутасами с такими простыми и естественными людьми разговориться невозможно. Но имел ли Ласточкин право заговорить прямо — на это он не мог еще себе ответить.

— Нуте-с, так с чем же послал вас ко мне дорогой мой Григорий Иванович?

Профессор Панфилов пощипывал свои седые усики, свою совершенно белую бородку, и глаза его были задумчиво-спокойны и приветливы: он вспоминал что-то приятное про агронома Григория Ивановича Онищука.

Ничего не поделаешь, надо было начинать.

Ласточкин начал:

— Гаврила Иванович! Григорий Иванович рекомендовал мне посоветоваться с вами относительно моей идеи. Дело в том, что, будучи вынужден переселиться из Центральной полосы России сюда, на юг Украины, я принял решение остаться и доживать свой век здесь...

Ласточкин добросовестно изложил все приготовленное им фантастическое повествование о своей мечте приобрести землицы и вырастить на ней сад. Гаврила Иванович слушал его внимательно, покашливая и поглаживая усики и бородку, утвердительно кивая головою и иногда присматриваясь к выражению лица собеседника. Когда Ласточкин закончил вопросом, где искать землю и какие деревья следует сажать в северной полосе южной степи, Гаврила Иванович минутку помолчал, а потом сказал, спокойно поглядывая Ласточкину в глаза:

— Уважаемый Иван Федорович! Ваша дружба с весьма симпатичным мне Григорием Ивановичем Онищуком дает мне право сказать вам прямо: вас интересует нечто совершенно другое, но, не отваживаясь изложить это прямо, вы начи-

наете... гм... издалека. Вы сделаете мне большое удовольствие, если оставите околичности и изложите свое дело прямо.

Ласточкин почувствовал, что его бросает в жар, что он окончательно погорел, и внезапно, точнехонько так, как назвал только что свою настоящую фамилию, он выпалил:

— А известно ли вам настоящее занятие Григория Ивановича Онищука?

Панфилов бросил на Ласточкина короткий взгляд и склонил голову к плечу.

— Правду сказать, я отчасти догадывался... кроме того, он говорил, что укрывается от мобилизации в добровольческую армию, к которой не лежит сердце Григория Ивановича...

Но Ласточкину приходилось уже идти напролом.

— Григорий Иванович скрывается не только потому, что уклоняется от мобилизации в белую армию,— сказал он.

Панфилов кашлянул.

— Тоже возможно. Григорий Иванович человек с очень широким мировоззрением и свободомыслящий.

— Григорий Иванович,— твердо сказал Ласточкин,— в подполье, в котором борется против иностранных оккупантов.

Панфилов опять кашлянул.

— Скажите пожалуйста! Это... похоже на Григория Ивановича. Он такой горячий, неудержимый, непримиримый...

Вдруг Панфилов прервал себя и посмотрел на Ласточкина. Взгляд его был пытливый, но дружелюбный.

— Скажите, пожалуйста, я, насколько научился разбираться в людях, понимаю, что вы не из... как это называется... словом, не из жандармерии. Так кто же вы тогда, что так говорите со мною, с человеком, который не имеет ничего общего с тем, что вы называете... гм... подпольем?

Теперь Ласточкин должен был уже идти прямой дорогой до конца.

— Разве вы, профессор, не против иностранных захватчиков?

Панфилов кашлянул.

— Я люблю Россию...

— А я тоже из подполья, в котором мы вместе с Григорием Ивановичем боремся против иностранных захватчиков.

Панфилов пригладил усы и бородку.

— Нуте-с?

Ласточкин сказал:

— И я пришел к вам потому, что Григорий Иванович...

— С ним случилось что-нибудь? — встревожился Гаврила Иванович.

Ласточкин улыбнулся — на душе у него стало легко, радостно и светло — и положил свою ладонь на руку профессора, которая задрожала на ручке кресла при тревожном вопросе о Котовском.

— Нет, дорогой наш Гаврила Иванович! С ним ничего не случилось. Наоборот! Григория Ивановича нет в Одессе, потому что он должен был выехать для организации широкой, всенародной борьбы против иностранных захватчиков, которые потоптали нашу родную землю, заливают ее кровью нашего родного народа и с которыми все мы, вместе с вами, будем бороться беспощадно, до полной победы.

Гаврила Иванович сидел, прикрыв глаза веками. Лицо его оставалось таким же, как и раньше, ни одна черточка в нем не изменилась — он не побледнел и не покраснел, только как будто какие-то тени легли во впадинах под глазами.

— Скажите, Иван Федорович,— тихо спросил он,— вы вот упоминали, что ездили по северной тайге купцом... Это неправда?

— Правда! — ответил Ласточкин.— То есть неправда только то, что ездил купцом...

— Вы были там в ссылке? Вы были политическим ссыльным?

— Да, я был на каторге, потом в ссылке.

— Следовательно, вы не только против иностранных захватчиков, но и против... против...

Ласточкин помог ему:

— Против их наемников: деникинцев или петлюровцев, все равно, как они называются, но против контрреволюционеров...

Ласточкин сказал это резко и теперь смотрел, какое впечатление произвел его ответ на профессора Панфилова. Собственно именно теперь наступал решающий момент. Против иностранных захватчиков, англо-французских оккупантов, были настроены широкие, широчайшие круги русской интеллигенции, против них был каждый патриот. А что профессор Панфилов был патриотом, сомнения в этом не было. Но ведь многие из патриотически настроенной части старой интеллигенции не умели еще разобраться в событиях и даже выявить свое отношение к белогвардейщине. Расслоение в рядах интеллигенции собственно только начиналось на меже восемнадцатого и девятнадцатого годов. И расслаивали ее именно события, которые происходили на нашей земле после Октябрьской революции. Ведь и Деникин вопил о своем «патриотизме», ведь и петлюровцы орали о своей любви «до рідної неньки», ведь и те и другие отрицали свою прямую службу интервентам и объясняли свое сотрудничество с ними тяжелым стечением обстоятельств, ведь распространялась еще коварная и лицемерная пропаганда меньшевистских и других соглашательских идеек, тоже скрывавшихся за фразами об «отечестве», о «патриотизме», о «народе», даже «революции» и «социализме»... Как в этом вопросе самоопределяется профессор Панфилов — это и был решающий пункт.

Профессор Панфилов сказал:

— Я не разбираюсь до конца во всей этой... межпартийной борьбе...— Он опять прикрыл глаза веками.— У меня просто болит сердце за нашу родину и ее... будущее.

— Я не собираюсь агитировать вас, дорогой Гаврила Иванович,— возразил Ласточкин,— хотя прямо должен сказать вам, что я большевик.

— Скажите! — оживился Панфилов. Он открыл глаза и прямо взглянул на Ласточкина.— Следовательно, большевики тут есть... в подполье? Следовательно, правда то, что пишут в местных газетах о большевиках...

— Нет,— сказал Ласточкин,— то, что пишут в местных газетах, неправда. Правда только то, что большевики тут есть, их много, они сильны, организованны и борются против оккупантов и их наемников.

Панфилов долго молчал.

— А что же поручил передать мне Григорий Иванович? — наконец, спросил он.

Ласточкин сказал:

— И Григорий Иванович и я — мы выполняем то, что поручает нам руководство всей борьбою против иностранных захватчиков.

— Вот как! — Панфилов поднял брови и посмотрел снова прямо в глаза Ласточкину.— Не могу понять: какое же дело может иметь ко мне... человеку, который стоит в стороне от этой борьбы... большевистское руководство?

— Вы, Гаврила Иванович, не стоите в стороне. Одесса знает вас как общественного деятеля, который не может быть равнодушным к судьбе родной страны, знает как патриота, который не может не ненавидеть захватчиков и не может сочувствовать контрреволюции.

Гаврила Иванович кашлянул; было очевидно, что эти слова чувствительно действовали на его скромность.

— Нуте-с?

— Гаврила Иванович,— спросил Ласточкин,— вы ведь понимаете, что против интервентов бороться надо не только словом, но и делом?

— Нуте-с?

— Армии, как регулярной, так и партизанской, трудно проводить боевые операции в степи, особенно трудно сосредоточивать свои силы на степной равнине.

— Нуте-с?

— Руководство борьбою и хочет спросить вас: где, в каких именно пунктах южной степи наиболее удобно будет сосредоточить силы армии для удара по войскам интервентов и их наемников?

Гаврила Иванович сидел, прикрыв глаза веками. Он долго молчал.

Ласточкин ждал с волнением. Он волновался не столько по

поводу прямого ответа на вопрос, где есть такие места, в которых можно сосредоточить большие партизанские отряды, готовя их к всеобщему удару,— в конце концов понимающий человек мог это установить и по хорошей полевой карте. Ласточкин волновался за этого человека, сидевшего перед ним: как поведет себя профессор Панфилов, старый русский интеллигент?.. Горячим, самым горячим желанием Ласточкина было, чтобы Гаврила Иванович Панфилов пошел с народом, помог ему в борьбе. Ласточкин видел: не профессор Гаврила Иванович Панфилов — милый, приятный и искренний человек — сидит перед ним; сидит, прикрыв глаза веками, и размышляет — с большевиками или против большевиков — передовая интеллигенция нашего народа...

Гаврила Иванович вдруг встал, подошел к дощатому столу в углу, покопался там в книгах и опять вернулся к столику. В руках у него был атлас. Он развернул его на странице «Юг России».

— Это очень просто,— тихо проговорил Гаврила Иванович и взял тонко отточенный карандаш.— Взглянем на рельеф местности...

Стоя у карты и водя по ней карандашом, как указкою, он начал, словно лекцию для студентов:

— Юг нашей родины имеет своеобразный и очень характерный рельеф. Это степь, которая начинается от отрогов Карпат на западе и тянется до Донецкого кряжа на северо-востоке. С северо-запада и северо-востока направляют свое течение к морям Черному и Азовскому все реки бассейнов Дона, Днепра и Южного Буга. Границею на западе будут Днестр и Прут. Но в данном случае эти реки интересуют вас меньше...

Гаврила Иванович на миг остановился и вопросительно взглянул на Ласточкина.

— Насколько я понимаю, войска, находящиеся в южной степи, то есть англо-французская армия, не имеют больших воздушных сил? — Ласточкин кивнул, искренне удивляясь специфически военной прозорливости этого глубоко штатского человека. И Гаврила Иванович закончил свою мысль: — Поскольку наблюдение с воздуха не представляет большой опасности, путями скрытного передвижения людских... скажем армейских, масс с севера на юг могут быть не только леса, но и долины рек. Прежде всего больших — Днепра и Буга с их поймами,— но и меньших, как вот эти — Ингулец, Ингул, Громоклея, даже еще меньших, они не обозначены на этой карте малого масштаба. На специальных военных картах все они обозначены, вы их там найдете. Но следует иметь в виду также и сезонные водостоки, которые не всегда заводнены, однако издавна создали потоками весенних вод широкие и глубокие овраги. На подступах к Одессе, например, эти овраги тянутся иногда на десятки и сотни километров — радиально с севера на

юг. Любая масса людей, которая будет передвигаться по такому оврагу, может быть обнаружена с уровня степи только за сотню сажен от края самого оврага. Я думаю, что и на эти скрытые подступы стоит обратить внимание тому, кто имеет намерение передвигать... весьма большие массы людей и... гм... обозов с севера на юг. Эти овраги, поросшие кустами и бурьянами, иногда чащами кустов и бурьянов, а иногда целыми перелесками, тоже могут быть местом... скрытого накопления людей, не хуже облесенных мест, которых...— Гаврила Иванович с досадою развел руками,— к сожалению, здесь совсем мало. Большой Анадоль остается на востоке, вне интересующей вас территории. А Савранские леса, ближайшие к Одессе с запада — вот они на карте,— слишком далеко: более чем в полутораста километрах.

Он кашлянул и с минутку помолчал.

— Я лелею эту мечту, я твердо надеюсь, что позднее, после окончания различных боевых действий, когда настанет мирное время, Советская республика, радея об интересах народа, одним из главнейших заданий поставит себе именно облесение степного юга, создание таких, знаете, дубрав. Они, знаете, будут иметь исключительное значение для увлажнения климата и для обогащения самой почвы,— словом, обеспечат благосостояние трудового населения.— Он снова кашлянул, как бы обозначая этими двумя покашливаниями, как двумя звездочками в рукописи, абзац — переход к новой теме.— Разумеется, местами накапливания больших людских масс могут быть и населенные пункты, но я превосходно понимаю, что вас они интересуют в наименьшей степени, потому что... потому что совершенно очевидно, что при тайном накоплении те силы, которые будут накапливаться, должны будут избегать населенных пунктов.

Ласточкин схватил руку профессора — карандаш выпал из нее, и оба они сразу наклонились, чтобы его поднять,— и крепко-крепко пожал.

— Спасибо! — прошептал он, взволнованный до глубины души.— Вы думаете, Гаврила Иванович, что эти ваши соображения стоит передать и... ну, и командованию Красной Армии, которая... передвигается из Советской России, с севера на юг, степными просторами?

Гаврила Иванович скромно кашлянул.

— Я думаю, что в командовании армии есть стратеги и специалисты, которые и без моих соображений специалиста-географа принимают во внимание рельеф местности, учитывая всю своеобразную, не повторимую нигде в мире специфику южной украинской степи.

— Гаврила Иванович! — Ласточкин всматривался в карту.— А скажите: нет ли в самом деле где-нибудь пунктов облесения? Понимаете, в зимнее время чащи кустарника и

бурьяна в поймах рек и в этих самых... оврагах весенних потоков совсем не то, что густой лес или, скажем, большой парк. Что вы, например, думаете о Дендропарке возле станции Долинской? — Ласточкин скорее ощутил, чем перехватил, какое-то движение в лице Гаврилы Ивановича и поспешил добавить: — Можете быть совершенно спокойны, Гаврила Иванович! Нам известна научная ценность долинского Дендропарка, гарантирую вам революционной совестью, что ни одно дерево в нем не будет срублено! Под страхом ответственности перед революционным трибуналом — ни одна веточка не упадет на землю в Дендропарке!..

Панфилову было очень приятно слышать горячую речь Ласточкина. Он спокойно улыбнулся и кивнул.

— Да, это очень удобное место для... скрытого накопления больших людских масс. Однако это ведь километрах в ста двадцати от моря...— Он помолчал одну секунду и прибавил: — Я, впрочем, могу порекомендовать вам хозяина этого парка...

— Давыдова? — спросил Ласточкин.— Внука декабриста Давыдова?

Гавриле Ивановичу было еще приятнее, что Ласточкин знает и о Давыдове. Он сказал:

— Очень, очень порядочный и достойный человек. Всю свою жизнь отдал природе родного края. Человек широких и свободных взглядов, большой демократ, хоть и дворянского происхождения. Вы можете сказать ему прямо, что Гаврила Иванович Панфилов передает привет и просит его содействовать вам во всех ваших начинаниях. Вообще у меня имеются довольно широкие связи с садоводами-любителями в селах украинского юга.— Гаврила Иванович заговорил с жаром.— Это — самородки! Обыкновенные украинские хлеборобы-труженики, но беззаветно, искренне и, я бы сказал, разумно влюбленные в свою землю-кормилицу. Очень достойные люди, патриоты и враги несправедливости и эксплуатации человека человеком! Я мог бы порекомендовать вас многим из них...

Ласточкин почувствовал, что какой-то клубок подкатывается у него к горлу — так внезапно хочется заплакать людям, которые никогда не плачут. Он молча пожал руку профессора...

Когда через некоторое время, расспросив подробно о садовниках-любителях, рекомендованных профессором, Ласточкин прощался с Гаврилой Ивановичем, он, еще раз пожимая ему руку, сказал:

— Спасибо вам от... большевистского подполья, профессор...

— Ну что вы! — махнул рукой Панфилов.— За что же спасибо? Передайте привет Григорию Ивановичу, когда увидитесь с ним.

…тельно. Но, я думаю, он и сам скоро заглянет

— Да? — искренне обрадовался Гаврила Иванович.— Буду очень, очень рад...— Он помолчал и прибавил: — Теперь особенно буду рад.

А когда Ласточкин переступал порог, Гаврила Иванович сказал еще:

— Если и вам будет нужно... ночью... знаете... где-нибудь приклонить голову, а будет негде... то...

— Нет, нет! — тотчас возразил Ласточкин.— Вы слишком дороги родине для ее будущего, чтобы теперь рисковать вашей безопасностью.

Но Панфилов еще на минутку задержал Ласточкина на пороге и спросил:

— А Крым? Знаете, Крым — это как раз очередной раздел моей книги. Он тоже занят англо-французами и этими... деникинцами... Там тоже происходит... борьба?

— Борьба происходит везде, Гаврила Иванович, а в Крыму в особенности: он непосредственно связан с югом Украины.

— Да,— согласился профессор,— хотя и геологически и климатически, да и по самому характеру почв юг Крыма представляет собою своеобразную, обособленную от Таврийских степей структуру. Но там у меня есть много знакомых, близких мне людей, хороших и честных патриотов: в Никитском саду, в урочище Массандра, в самом Симферополе — среди профессуры и научных работников...

— Большое вам спасибо, хороший вы человек! — сказал Ласточкин, сняв шапку, которую уже надел было, выходя во двор.— Если только возникнет такая необходимость, я позволю себе еще раз вас побеспокоить...

— Пожалуйста, пожалуйста! — сказал Гаврила Иванович.— Желаю вам доброго здоровья и успехов, Иван Федорович...

Ласточкин шел по парку, словно выпив немного вина; он был в приподнятом настроении, но какое-то ясное спокойствие вошло в его душу. Хорошо было на сердце, хорошо было и кругом, в природе.

Высокие, могучие, стройные деревья парка стояли по обе стороны живою стеною. Были это преимущественно сосны, пихты, ели, а среди них и вечнозеленые южные породы деревьев с твердыми, как будто жирными листьями, жадно устремленными к солнцу и теплу, но и стойкими против осенних бурь и зимнего холода. Жаль, что Ласточкин не спросил, как же они называются. Снег лежал только по краям аллеи парка. Под деревьями его не было. То ли он растаял в оттепель, то ли ветви деревьев укрывали свои корни от метели. Тихо и торжественно было в парке, и был он пустынным, но жила в нем душа природы и душа человека — человека, кото-

рый жил и работал с единственным желанием: об… роду на пользу человечества, обогатить человека дарам… …роды, помогать ему на его трудном пути к счастью. Чудесны… был Ботанический сад!

С моря дул сильный ветер не менее чем в пять-шесть баллов. Но он только гнул вершины деревьев, только шумел в кронах, шелестел ветвями, а здесь, внизу, под деревьями, было спокойно и безветренно, как в тихую погоду.

«Прекрасен наш народ в своих трудовых и творческих силах! — сам себе сказал Ласточкин.— Конечно, мы победим!» Он почему-то вспомнил отзыв партийного пароля на явках для новоприбывающих в одесское подполье:

— «Будет на море погода!»

— А как же? Будет, будет! — вдруг услыхал он и вздрогнул от неожиданности.

Ласточкин уже подошел к воротам, но, задумавшись, проговорил последние слова вслух, и дед-привратник откликнулся на них. Дед сидел на скамеечке возле калитки и поглядывал на Ласточкина.

«Черт! — выругал себя Ласточкин.— Да я одурел и забыл, что я конспиратор».

Привратник приветливо сказал:

— Непременно будет погода. Моряна — она до вечера уляжется, подует западный, и будет оттепель. Недели через две, полагаю, и быть весне. В этом уж можете быть уверены. Ну как? Повидались с профессором, передали привет?..

На углу, где Французский бульвар поворачивал к Аркадии, как раз загремел трамвай аркадийской линии, и Ласточкин вспрыгнул на площадку последнего вагона. День кончался, заседание Иностранной коллегии уже, должно быть, подходило к концу, и вскоре надо было повидаться с Галей, которая дежурила сегодня на явке областкома и должна была вечером сделать отчет о новостях за день. Ласточкин посмотрел на часы. Была половина шестого.

4

Заседание Иностранной коллегии, происходившее в подсобной комнате за кухней кабачка «Открытие Дарданелл», уже окончилось.

Кроме Гали, Жанны, Жака, Витека, Абрама, Алексея, Максима и Славка, в этом совещании принимали участие французские матросы Бусье, Гастон и пехотинец Шамбор, артиллерист Пинэ и танкист Бургасон, проскользнувшие сюда из общего зала.

Эти французские матросы и солдаты представляли созданные уже на некоторых судах и в отдельных частях группы,

именовавшие себя «подпольными комитетами». Они организовывали такие же группы на других судах и в других частях. Гастон, Бусье, Шамбор, Пинэ и Бургасон чувствовали себя на совещании Иностранной коллегии как-то неловко: они встретились здесь впервые, потому что подпольные французские «комитеты» еще не были связаны между собой. Они исподлобья и недоверчиво поглядывали друг на друга, но эта взаимная настороженность исчезала, когда они слушали выступления членов Иностранной коллегии. Каждый из них, встав на путь активной борьбы, чувствовал себя сейчас ближе к русским подпольщикам-большевикам, организовавшим их, чем друг к другу.

Французы проинформировали коллегию, что на десяти судах и в двадцати батальонах организовались уже подобные группы — от пяти до десяти человек в каждой,— группы эти проводят разъяснительную пропаганду среди матросов и солдат. Группы распространяют листовки Ревкома и газету «Коммунист», им удается иногда выпускать и распространять и собственные воззвания, написанные от руки; пишут лозунги мелом на стенах казарм и в кубриках кораблей. Газета «Коммунист» почти на всех французских судах и в частях имела уже своих корреспондентов, которые на страницах подпольной газеты Одесского ревкома разъясняли всем солдатам и матросам оккупационной армии, что они пришли сюда как захватчики — душители свободы русского и украинского народов, и призывали французов бросить оружие и возвратиться домой. Некоторые из корреспондентов формулировали свои мысли иначе: они призывали солдат и матросов оккупационной армии не бросать оружие, а повернуть его против своего командования — восстать вместе с русскими и украинскими трудящимися и идти навстречу Красной Армии, наступавшей с севера Украины на юг.

Иностранная коллегия приняла решение созвать делегатское совещание всех подпольных групп, чтобы на нем избрать «центр руководства восстанием» в оккупационной армии и в эскадре интервентов. «Центр руководства» должен был создать подпольные группы и в тех частях, где их еще не было. На делегатское совещание для избрания «центра руководства» каждая существующая группа должна была выделить двух товарищей. День делегатского совещания должен был быть определен совместно с председателем Военно-революционного комитета Ласточкиным и командором Мишелем с корабля «Франс», которого и предполагалось избрать председателем «центра руководства».

Когда заседание коллегии на этом закончилось, все французы не вернулись в зал ресторана, а вышли черным ходом. За ними пошли и большинство членов коллегии. Только Жанна и Галя решили войти в зал, к столикам, под видом «веселых

девушек» и использовать случай для свободных разговоров с солдатами и матросами, которые зашли в ресторан перехватить кружку вина или рюмку коньяку.

Жанна Лябурб никогда не пропускала такого случая. Пылкая, страстная, нетерпеливая, она совершенно игнорировала опасность и часто пренебрегала требованиями конспирации, за что уже не раз получала нагоняй от Ласточкина, да и от других товарищей.

Что касается Гали, то она особенно порывалась к живому разговору. Ее постоянное пребывание в стороне от живых связей — под землей, в далеких катакомбах, над рукописями листовок и гранками газеты — угнетало ее. Сегодня, собственно говоря, впервые пришла она в кабачок, где сидели французские солдаты и матросы, а «веселой девушке» можно было свободно подойти к любому, сесть к каждому хоть бы и на колени, а то и обнять и нашептывать ему на ухо все, что тебе заблагорассудится.

Они с Жанной появились из-за стойки, и в этом не было ничего неконспиративного: две девушки «веселой жизни» забегали на кухню по своим женским делам — привести себя в порядок, а может быть, и договориться с хозяином о процентах, которые они должны уплатить за право оставаться в кабачке у столиков. Но когда Галя с Жанной вошли и Галя очутилась перед двумя десятками столиков и полсотнею бравых моряков и солдат за ними, она оторопела.

Она схватила за руку Жанну, которая спокойно приглядывалась, к какой бы компании подсесть — матросов или пуалю?

— Погоди минуточку, Жанна...— прошептала Галя.— Сядем сначала здесь, я немного растерялась...

Они сели возле стойки за свободный столик.

Галя огляделась вокруг. В зале стоял гомон. Солдаты и матросы небольшими группами сидели за столиками перед кружками с вином. Все были шумны и веселы, но пьяных в зале не было; французы умеют пить именно так — быть навеселе, но не напиваться. В трех или четырех компаниях были и девушки.

— Я что-то не знаю их,— прошептала Галя.— Хотя нет, вон та, с черными косами,— это Роза...

Жанна ответила:

— Верно. Из наших сейчас здесь только одна Роза. А те действительно уличные.— И Жанна сразу же горячо заговорила: — Их надо собрать, всех этих уличных, неважно, что они уличные; очень легко научить их закинуть разомлевшему от вина и присутствия девушки солдату два-три слова и про...

Но Галя уже взяла себя в руки, и прежде всего вернулась к ней ее осмотрительность подпольщика...

— Нет, Жанна, неверно. Во-первых, это хорошо конспирирует каждую из нас, когда мы действуем здесь среди

других девушек, которые с нами ничего общего не имеют, а просто так... веселятся. Во-вторых, каждого, кого мы привлекаем, надо прежде всего хорошо изучить. Кто их знает, этих уличных девушек, что у них на душе...

— Ну, поехала!..— отмахнулась Жанна.— Оккупантов ненавидят все. Мы чересчур уж конспирируемся.

Жанна всегда занимала самые рискованные и нетерпеливые позиции. Она настаивала в Ревкоме на том, чтобы вообще не ожидать приближения Красной Армии, не терять зря времени на предварительное создание цепочки партизанских отрядов по линии фронта, а прямо, полагаясь только на силы подполья, на поддержку трудового населения, на революционные элементы во французском гарнизоне,— немедленно же поднять восстание и ударить по франко-греческому фронту с тыла.

Галя сказала с упреком:

— Жанна, я тебя умоляю, сдерживай себя! Так непременно провалишься! Я просто приказываю тебе: ежеминутно помни об указаниях комитета, действуй только так, как требует того комитет.

— Я помню... и действую...— нехотя отозвалась Жанна.— Ты же видишь, какая я паинька! Ну, пойдем, а то мы что-то замешкались здесь. Это тоже неконспиративно! — уколола она Галю.

Они поднялись, и Галя еще раз оглядела зал.

Не все бочонки-столики были заняты. Французы сидели в большинстве компаниями; они любили, чтобы и приятелей было достаточно и чтобы шуму хватало. Несколько столиков у самого входа оставались свободными или почти свободными. За двумя-тремя сидели по двое — должно быть, друзья вели задушевные разговоры. За одним из столиков сидела одинокая девушка, и это было странно, что девушка сидит одна. Девушка молча цедила из бокала вино, озиралась вокруг с нескрываемой скукой. Одета она была не так, как другие девушки в кабачке: одежда на ней была лучше, дороже. Это была, совершенно очевидно, кокотка «высшего пошиба», попавшая сюда случайно или пришедшая на свидание. Была она тонка и худощава. Яркорыжие волосы стояли на ее голове огненной копной.

Это была Ева Блюм.

Жанна и Галя пошли среди столиков. Им кричали не совсем пристойные фразы. Их недвусмысленно приглашали, за спиною у них отпускали игривые шутки по их адресу. Но они миновали все шумные компании — Жанна живо отвечала на шутки, остро на соленые намеки — и направились к столикам в глубине зала, где сидели по двое и по трое. Таково было предложение Гали: подсесть именно к этим одиноким людям. По ее мнению, тихие и одинокие люди более склонны к откровенному разговору.

Они наметили себе столик, где сидели двое: матрос и пуалю с нашивками капрала. Матрос и капрал ели брынзу, запивая ее красным вином. Это вино с овечьим сыром как-то сразу обнаруживало в них французских крестьян или пастухов.

Галя с Жанной уже подходили к матросу и пуалю, когда вдруг к Жанне подскочил один из французских пуалю от столика, который они только что миновали и где Жанна ответила острым словечком на соленый намек.

— Мадемуазель! — пуалю бесцеремонно схватил Жанну за талию.— Мы побились об заклад. Так ответить, как ответили вы, может только настоящая парижанка. Вы француженка, мадемуазель, или нет?

Компания за столом подняла уже громкий крик, а пуалю потянул Жанну к себе.

Галя осталась одна и опять несколько растерялась. Но в этот момент кто-то взял и Галю за руку. Она оглянулась и с удивлением увидела, что ее тянет рыжая девица, которая сразу бросилась ей в глаза своим необычным здесь нарядом. Незнакомка ласково притянула Галю и посадила ее на стул рядом с собой.

— Вы говорите по-французски, девушка? — спросила она на ломаном французском языке.

Галя плохо поняла ломаный французский язык и вопросительно посмотрела на нее.

Тогда рыжая повторила свой вопрос на русском языке, еще сильнее коверкая его.

— Нет.

— Может быть, по-английски?

— Нет. А разве вы англичанка?

— Американка. А ваша подруга действительно француженка? — незнакомка слышала, что сказал Жанне пуалю.

Галя отрицательно покачала головой: нет, она не француженка...

Рыжая женщина внимательно посмотрела на Галю, но поспешила отвести свой чересчур пристальный взгляд. Для нее уже не было сомнения в том, что Жанна француженка: она слышала теперь выкрики из-за столика, где Жанну-соотечественницу обнимали парижане,— Ева Блюм совсем не так плохо знала французский язык, как притворялась в разговоре с Галей. И она сразу же отметила для себя, что Гале тоже известно, что Жанна француженка, и что она... скрывает это.

Ева Блюм уже отметила мысленно и то, что пятеро французских матросов и солдат зашли час тому назад за стойку, откуда появились теперь вот эти две девушки, но так и не вернулись в зал до сих пор...

Похоже, что пташки сами летели в сети! Семнадцать контрразведок, существовавшие в это время в Одессе, разыскивали по городу француженку, которая свободно разговаривает с

французскими солдатами — сегодня тут, а завтра там,— распространяет листовки, собирает солдатские митинги, появляется даже в воинских частях и повсюду призывает солдат к неповиновению, к разоружению, даже к восстанию...

Галя хотела отойти прочь, но незнакомка схватила ее за руку и быстро заговорила:

— Я работаю в американской миссии стенографисткой и секретаршей... в торговом отделе. Знаете, всякие фирмы, балансы, контокорренто? Это очень скучно! — она сделала капризную гримасу.— И так хочется развлечься! Вот я и зашла сюда... Вы работаете здесь, в ресторане?

Галя пропустила вопрос мимо ушей.

— В Одессе,— сказала она,— мало американцев. Американские войска еще не прибыли...

— И не прибудут! — убедительно сказала Ева Блюм.

Галя подняла глаза. Ее удивил решительный тон отрицания. Он свидетельствовал как будто об информированности этой девицы. Но свое удивление Галя еще и преувеличила, чтобы подчеркнуть свое совершенное невежество во всех делах, которые касаются армии, войны и тому подобного.

Ева Блюм повторила категорически:

— Американцы сюда не прибудут. Америка демократическая страна, и война в Америке непопулярна. Зачем лить кровь этих несчастных русских? — Она опять брезгливо поморщилась.— Пусть уж марают себя эти достойные сожаления французы и нахалы англичане. Мы, американцы, против войны.

Американка хотела расположить к себе русскую девушку — это Галя сразу поняла. Но американка хотела также продемонстрировать девушке, которая скрыла от нее, что ее подруга француженка, свою приверженность к демократическим идеям и свое отрицательное отношение к кровопролитию, к интервенции. Но только того не знала Галя, что незнакомка уже не поверила ее словам...

Ева Блюм продолжала:

— Мы, американцы, удивляемся — как вы, русские, миритесь с этими нахалами оккупантами? Нам, американцам, это просто непонятно. Мы люди мирные и приехали сюда только для того, чтобы завязать деловые отношения.

Она говорила слишком прямолинейно. У Гали не было основания подозревать ее в провокации — прямолинейность, возможно, была свойственна американцам,— но Галя-подпольщица насторожилась, ей не нужно было это знакомство, даже если эта девица была только хвастливой и недалекой болтушкой.

Галя решительно встала и сказала:

— Извините, я здесь работаю. Мне нужно к клиентам, а то... хозяин... выгонит меня...

Она поклонилась и отошла прочь.

И вдруг, осмелев, а может быть, по интуиции конспиратора, она сразу подсела к столику, где тихо разговаривали матрос и капрал пехоты.

Матрос и капрал скользнули по ней взглядами и продолжали разговаривать.

Матрос говорил:

— И вот, капитан собрал нас всех на палубе и говорит нам: «Друзья мои, вам известны самые святые идеалы нашего свободного французского флота! Наше место там, куда зовет нас справедливость, где нужно помочь несчастным, где нужно облегчить страдания людей».

Капрал с досадою махнул рукой.

— Точнехонько как и нам. Еще в Салониках с нами вдруг начали ласково разговаривать и вроде как бы подлизываться... Вдруг выдали двойные порции вина и объявили, что в Россию мы идем только для мирной оккупации. И тут же выдали нам боевой комплект патронов, даже по две гранаты сверх комплекта...— Он опять сердито махнул рукой.

Матрос вдруг внимательно посмотрел на Галю.

— А тебе чего надо, девочка?

— Оставь ее! — отмахнулся капрал.— Разве ты не видишь, что это за девушка? Заговоришь с нею, она и не отстанет. Лучше молчать, сама уйдет.

Галя молчала. Она ведь притворялась, что не понимает как следует по-французски.

Но матрос был жалостливым парнем.

— Ты хочешь заработать? — спросил он.

Галя молчала и глуповато улыбалась.

— Боже! — сказал и капрал.— Такая молоденькая, совсем девчонка! Несчастные люди, они тут с голоду на все готовы...

— Ты голодна, девочка? — спросил матрос. Он пододвинул Гале брынзу и хлеб, потом, подумав, пододвинул и недопитый стакан вина.— Ешь. Ты не понимаешь по-французски?

Галя улыбнулась. На этот раз ее улыбка получилась скорее жалкой, чем притворно-глуповатой. Она понимала все, что говорили между собою эти два хороших французских парня. Они сочувствовали ее несчастному положению. И Гале было стыдно притворяться перед этими добрыми ребятами. Но ей было интересно послушать, о чем же они будут дальше разговаривать друг с другом. И она решила не признаваться, что понимает. Галя взяла брынзу и хлеб и начала есть. Она и вправду была голодна, не ела с самого утра — у нее не было времени перекусить. Она откусила хлеба, брынзы, пододвинула к себе стакан с вином и сделала хороший глоток.

— Бедняжка! — пробормотал капрал.— Она и вправду голодна. Ну и проклятая наша жизнь!

Матрос, сочувственно поглядывая на Галю, заканчивал свой рассказ товарищу-капралу:

— Ну, говорил он очень долго, и все про свободу, правду, справедливость, высокие идеалы французской демократии и всякое такое...

— Точнехонько как у нас,— уныло отозвался капрал, пододвигая Гале новую порцию брынзы.

— Ну, ясное дело,— злобно сказал матрос,— подошли мы к Новороссийску, а на берегу пальба; кто в кого — нам неизвестно. Приказ — снять с пушек чехлы. Сняли. «Приготовиться!» Приготовились. «Огонь!» Ну, и огонь...

— Точнехонько как у нас,— опять уныло отозвался капрал.— Высадили здесь, сразу на марш, какая-то станция. Кто противник? Разбойники, говорят, большевики, едят людей и все такое прочее. Ну, мы и пошли... А тут еще предупреждение: офицерам дано право стрелять в каждого, кто повернет назад. Знаешь, под пистолетом офицера всякий дурак полезет вперед. Свою жизнь тоже во второй раз не найдешь...

Матрос кивнул головою и налил Гале еще вина.

— Вот-вот! А потом оказывается — большевики! Что за большевики, кто они — мы тогда еще не знали. Но видим: кровь, люди, трупы. А потом эти, как их, белые пригнали на набережную арестованных, выстроили рядами над пирсом — и в затылки из пистолетов. Так и полетели в море — кто убитый, а кто раненый,— все под воду пошли. Большевики... А поглядеть — обыкновенные рабочие или крестьяне, такие, как, скажем, ты или я...

Он внезапно прервал свой горький рассказ и опять спросил Галю:

— Ты, девочка, совсем не понимаешь по-французски?

Галя молчала, потом сказала:

— Эн пе [1].

Матрос оживился. Капрал с упреком прошептал ему:

— Вот видишь, я тебе говорил... Они же тут, возле наших ребят, научились немного понимать... Помолчи лучше, не рассказывай...

— Милые друзья! — вдруг сказала Галя и подняла на них свои глаза, в эту минуту полные слез: ее взволновал рассказ матроса, она была растрогана и уже не могла больше притворяться.— Милые друзья! — сказала она.— Я поняла все. Но не бойтесь меня: я русская девушка, и мой народ убивают наши контрреволюционеры и ваши командиры. Это они вынуждают и вас идти на преступление, провоцируют вас... Не бойтесь меня! Я только глубоко благодарна вам за ваше сострадание и ваши правдивые горькие слова...

Галя наклонила лицо, и из ее глаз капнули на грязную скатерть столика слезы. Она уже не сдерживала их.

---

[1] Немного *(франц.)*.

Оба француза умолкли и окаменели. Прошла добрая минута, прежде чем они кое-как оправились.

— Фу ты черт! — сказал матрос.

— Да-а...— протянул и капрал.

Они замолчали опять, и опять надолго.

— Проклятая жизнь! — скрипнул зубами матрос.

Капрал повернулся к Гале:

— Ты неплохо говоришь по-французски. Ты не теперь научилась. Видно, знала французский язык раньше?

— Раньше,— призналась Галя. Ей нужно было как-то оправдаться перед этими хорошими людьми.— Но если бы я сразу призналась, вы прогнали бы меня, опасаясь, что я шпионка. Не сердитесь на меня. Теперь такая трудная жизнь...

— Значит, ты училась? — полюбопытствовал капрал, не обратив внимания на Галины извинения: он сразу поверил ей.

— Я училась в гимназии,— призналась Галя.

— В гимназии? — ужаснулись оба.— И... и... И стала проституткой?

Галя снова опустила глаза. Ей очень не хотелось врать, и она была большевичка, хорошо чувствующая землю, в которую бросают зерно.

— Я не проститутка,— прошептала она.

— Ну конечно, мы понимаем! — спохватился капрал.— Ты не сердись, что он так сказал... Мы понимаем — нужда, бедность, голод...

Тогда Галя посмотрела прямо в глаза обоим и сказала:

— Это правда: нужда, бедность, голод, к тому же притеснения, террор — для всего нашего народа! Но я пришла сюда не для того, чтобы торговать собою, а для того, чтобы просто так поговорить с вами, с французскими матросами и солдатами. Рассказать вам о нужде, бедности, одинаковых и для вас и для нас... И о терроре, который проводят здесь ваше командование, ваши офицеры, ваши жандармы. Мы идем к вам с открытой душой и просим: не убивайте нас, наших старых отцов и наших маленьких детей, не бросайте нас в рабство! Дайте нам возможность самим строить свою жизнь, чтобы она стала прекрасной для всех... трудящихся. Не воюйте против нашей революции. Большевики не разбойники, как учат ваши офицеры. Большевики — это мы все, трудовой народ, рабочие, крестьяне, такие же, как и вы...

Она остановилась, взволнованная собственными словами.

Матрос опять сказал:

— Фу ты черт!

Капрал молчал.

Потом он глухо промолвил:

— Слушай, девушка! Я поверил каждому твоему слову. Так врать нельзя... Ты не притворяешься... Ты не шпионка...

Ты... Я не знаю, кто ты, но, хочешь, я передам твои слова... моим товарищам, у нас там, в батальоне?

Галя вскинула на него радостные глаза.

— Передайте!

Вдруг матрос сказал:

— Слушай, девочка, ты извини, но сядь сейчас ко мне на колени, обними меня как-нибудь так... знаешь... а то... тут могут быть и ваши и наши шпики...

Галя живо вскочила со стула и весело вспрыгнула на колени матросу. Она обняла его одной рукой за шею, припала к его широкой груди, а голову положила на плечо. В зале стоял крик и шум. За столом, где сидела Жанна, пили тосты и уже запевали какую-то французскую песню. Все это, правда, было весело, и на сердце у Гали было действительно радостно. Она прижалась к матросу и крепко поцеловала его в грубую, колючую щеку.

— Это... не нарочно, не для шпиков,— прошептала она ему на ухо,— а по-настоящему, за то, что вы такие хорошие, за то, что вы не хотите нам зла, за то, что вы бросите оружие и протянете нам руку дружбы... Штык в землю!

— Штык в землю! — повторил капрал.— Вчера такая надпись появилась и у нас, в батальоне, на стене.— Он хитро подмигнул то ли Гале, то ли матросу, и выглядело это вправду так, как будто он подмигивает своему удачливому товарищу, у которого на коленях пристроилась хорошенькая девушка, и завидует ему, и благословляет на любовные приключения.

5

Галя с Жанной выходили, когда уже смеркалось, когда приближался комендантский час, и нужно было спешить, чтобы не столкнуться с патрулями.

Жанна все-таки выдержала характер — не призналась перед веселой компанией, что она француженка. Она только сказала, что долго жила в Париже, служила горничной у русского богача, который пропивал свое имение в парижских кабачках. С двумя пуалю-артиллеристами она договорилась встретиться и завтра. Один из них был членом партии социалистов и уверял, что в их батальоне хотят создать социалистический кружок.

Галя тоже договорилась. Она договорилась о том, что завтра в расположение пехотного батальона, из которого был ее капрал, мальчик-газетчик принесет листовки и газеты, а дня через два капрал приведет сюда же, в «Дарданеллы», товарищей, которые особенно интересуются местными событиями и вообще политической жизнью. Капрал высказал мысль, что в их батальоне можно создать группу, которая сама поведет

агитацию среди солдат. Матрос заверил, что у них на корабле все матросы желают только одного — плыть домой, во Францию, и есть немало горячих парней, которые уже не раз закидывали насчет того, что надо бы устроить революцию, как это сделали у себя русские матросы и солдаты, и покончить с этой грязной войной. Он тоже высказывал мысль, что среди ребят можно создать подпольный комитет...

Жанна и Галя вышли вместе. Идти вместе им предстояло целый квартал, потом Жанне надо было поворачивать направо, на Пушкинскую, где она теперь жила, а Гале — налево, на Военный спуск, на конспиративную квартиру Морского райкома. Она должна была сдать Ласточкину отчет за сегодняшний день и там же ночевать. Там же должен был остаться на ночь и Ласточкин. В портовую ночлежку попадают разные случайные люди. Купец Николай Ласточкин — для жандармерии — целый день просидел в порту, ожидая прибытия парохода «Ропита» с товаром из Новороссийска, и не успел вернуться домой из-за позднего часа. А Галя на эту ночь в случае нужды могла назваться племянницей старой Юзефы. На ночь у Ласточкина и Гали было немало работы... Подпольная областная конференция должна была принять решения по многим вопросам, и нужно было подготовить материалы. Конференция должна была объявить на военном положении большевистские организации всей области. Партизанские отряды по линии фронта должны были начать активные боевые действия, направленные не только на расшатывание власти оккупантов, но и на захват власти. Кроме того, конференция должна была дать общепартийные директивы всем подпольным большевистским организациям...

Сверх всего этого у Ласточкина к Гале был и «личный» вопрос. Подпольный областком поручал Гале организацию работы среди женщин. Программа работы среди женщин намечалась на первых порах такая. Женские комитеты помощи забастовщикам на заводах, где возникали забастовки; саботаж работниц и служащих по учреждениям; группы Красного Креста, которые заботились бы о судьбе заключенных в тюрьмах,— среди курсисток Высших женских курсов и гимназисток старших классов; индивидуальная агитация в очередях за продовольственными товарами, подле магазинов на улицах, и, наконец, массовые уличные демонстрации женщин с требованием работы мужьям и хлеба — детям. Женщина — великая сила в семье, но не меньшая, а быть может, именно потому и еще большая сила в массовой демонстрации на улице.

Галя и Ласточкин должны были этой ночью конкретизировать намеченную областкомом программу.

Словом, Гале необходимо было спешить, и она подгоняла Жанну.

Ева Блюм вышла следом за Жанной и Галей. Она отстала

на полквартала и продвигалась вдоль стен зданий, в тени, так, чтобы остаться незамеченной, если бы Жанна или Галя неожиданно оглянулись назад.

Когда Жанна и Галя распрощались на углу Екатерининской и разошлись — одна направо, другая налево,— Ева Блюм быстро перебежала дорогу. Она увидела Жанну, удалявшуюся направо. И Галю, переходившую улицу на левую сторону.

Одну секунду Ева Блюм колебалась.

Потом повернула направо.

Она решила пойти за той, которая, несомненно, была француженкой, но тщательно скрывала это.

Идти пришлось недалеко — до Пушкинской, а по Пушкинской — три квартала по правой стороне.

Жанна остановилась перед зданием на углу четвертого квартала, быстро огляделась — не следит ли за нею кто-нибудь, затем исчезла в подъезде.

Жанна не могла заметить Евы Блюм. Ева Блюм прижалась к соседнему зданию и спряталась за широкой колонной подъезда.

Ева Блюм постояла там минутку, потом приблизилась к зданию. «Пушкинская, 24»,— разобрала она в слепеньком свете фонаря над подъездом. Жанна Лябурб проживала на Пушкинской, 24.

Ева Блюм отметила в памяти номер и название улицы и быстро пошла прочь. Вот-вот должен был наступить комендантский час, и кабачок закроет свои двери...

Но она не опоздала. Французские моряки и пуалю как раз толпою валили из подвала. Американка сразу узнала матроса и капрала, которые сидели с маленькой девушкой. Они как раз прощались на углу. Матрос пошел прямо, капрал повернул налево, вниз по Гаванной.

Ева Блюм заколебалась на миг, потом двинулась за капралом. Матрос, очевидно, еще будет добираться до корабля и может затеряться в толпе возле перевоза, а капрал направлялся к казармам.

Когда под Сабанеевским мостом капрал нырнул в темноту, он вдруг услышал позади себя игривый женский голос:

— Минуточку, капрал!

Он оглянулся. «Снова эти проститутки!.. А может быть, это опять не проститутка, а...»

В трех шагах от него стояла женщина. В тусклом сиянии снега пистолет поблескивал в ее руке. Дуло пистолета было как раз на уровне глаз капрала...

— В карман вам лезть незачем! — сказала женщина насмешливо.— Руки вверх! Все равно пистолета у вас в кармане нет. Капралам пехоты не разрешается носить пистолеты, а пулею я достану вас скорее, чем вы меня вашим ножом...— Потом она нагло прибавила: — Я не гангстер, ваши деньги меня

не интересуют, да и сколько их там у вас есть!.. Мы с вами заглянем только сюда, недалеко за угол, для разговора по душам. Марш!.. Что? Куда? Кто же не знает адреса контрразведки? Екатерининская площадь, восемь... Марш!..

6

В эту же самую ночь войска французов и греков ворвались в Николаев. Оккупанты заливали кровью дружинников рабочие кварталы, вешали защитников города на фонарях, бросали гранаты в окна домов.

Пятнадцатитысячный немецкий гарнизон, который через спартаковский комитет обещал помощь рабочим дружинам, в последнюю минуту решил соблюдать нейтралитет.

Немецкое командование получило с Парижской мирной конференции — от Клемансо, Ллойд-Джорджа и президента Вильсона — телеграмму с предупреждением, что те немецкие солдаты и офицеры, которые чем бы то ни было поддерживают борьбу местных сил против франко-англо-американского десанта на Украине либо против союзных интервентам сил русской добрармии, украинской директории и белопольских легионов — будут лишены права вернуться на родину, объявлены вне закона и будут безжалостно уничтожаться наравне с большевиками.

* * *

В эту же ночь к Ласточкину и Гале в матросскую ночлежку на Военном спуске, 8, прибежал матрос Шурка Понедилок с очередным неотложным сообщением с радиотелеграфа судна «Граф Платов». Красная Армия заняла населенный пункт Бровары под Киевом. Наступление частей Красной Армии на столицу Украины, где еще гуляли петлюровские банды, развивается.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Генерал д'Ансельм рвал и метал.

Перед генералом стоял начальник его штаба Фредамбер — полковник французского генерального штаба, сам, собственно говоря, «без пяти минут» генерал, и именно в него генерал д'Ансельм метал сейчас громы и молнии.

— Мелкота! Сброд! Трусливые бандиты! Дизентерики! Позор для Французской республики...

— Генерал! — пытался прервать поток проклятий полков-

ник Фредамбер, все сильнее и сильнее дергая щекою.— Военная наука предусматривает, что планы командования, особенно в случае необходимости использовать силы союзников местного происхождения, не всегда могут быть осуществлены так точно, как это наперед намечает стратегический план разгрома врага. Временные неудачи и поражения, которые...

— К черту с вашей военной наукой! — заорал генерал.— На войне надо побеждать! Я не желаю слушать о неудачах или поражениях, пусть даже временных!.. Немедленно соедините меня с адмиралом Боллардом!..

Адъютант опрометью бросился к аппарату.

Сегодня командующий войсками Антанты на юге России и Украины был взбешен, как никогда.

Впрочем, у генерала были довольно основательные причины беситься. Перед ним лежала телеграфная лента — только что с аппарата прямого провода: Киев заняла Красная Армия. Под могучим ударом красных войск петлюровцы оставили столицу Украины и, преследуемые полками Щорса и Боженко, откатывались в направлении Винницы. И катились они с удивительной быстротой: Пост Волынский, Васильков, Мотовиловка, Фастов...

Столько оружия — карабинов, пулеметов, орудий, миллионы патронов и тысячи снарядов — из арсеналов разгромленной оккупационной немецкой армии по приказу англо-французского командования передано уже этому сброду! А они, вместо того чтобы победоносно наступать и стремительно продвигаться на север, угрожая самому сердцу большевиков — красной столице Москве, прошляпили свою собственную столицу и теперь, сверкая пятками, удирают сюда, на юг, и снова вопят о помощи...

Кому оказывать помощь? Этим трусливым бандитам, которые хотя и достигли виртуозности в поджигании сел, в насиловании девушек, расстрелах и вешании мирных жителей, однако сразу же что есть духу улепетывают в кусты, как только завидят красноармейца?

Кто должен помогать? Французские вооруженные силы? Как бы не так! Не хотят ли они, чтобы и сам генерал д'Ансельм со всем своим штабом отправился на передовые позиции и подставил свою голову под большевистскую саблю? Достаточно с них будет и того, что, кроме немецкого оружия, он послал им сто тысяч французских шинелей, сто тысяч пар английских ботинок, полмиллиона пар американских носков и двести тысяч пар кальсон из трофейных немецких цейхгаузов.

Эти опереточные шуты из двух добротных французских шинелей мастерят один идиотский средневековый жупан, третью перешивают на еще более дурацкие казацкие шаровары, ботинки продают на базарах, а носки обменивают на портянки...

— Адмирала Болларда! — орал генерал д'Ансельм.

— Адмирала нет в его ставке,— доложил перепуганный насмерть адъютант,— и в штабе не знают, где он в эту минуту находится...

— Не знают! — взревел генерал д'Ансельм.— Глушит виски в отдельном кабинете ресторана Штени!.. Полковника Риггса!

Риггс, как всегда, был на месте, в своей резиденции. Адъютант, дрожа так, что у него даже шпоры позвякивали, подал трубку генералу.

— Полковник! — закричал генерал д'Ансельм.— Слышали ли вы новость?.. Что? Какое доброе утро? Ах, вы желаете мне доброго утра! Вы очень любезны, но пожелайте такого доброго утра вашей теще... Да, да, я имею в виду Киев... Да, да, мы в Одессе, а не в Нью-Йорке! Но что касается меня, то я бы предпочел быть в Париже и, пожалуй, любоваться, как Щорс и Боженко, размахивая своими саблями, переплывают Атлантический океан подле Нью-Йорка!.. Что? Вы понимаете мое положение и поэтому не обижаетесь? А я вот не понимаю вашего положения и как раз поэтому обижаюсь!..

Словом, генерал д'Ансельм сразу же выпалил полковнику Риггсу, какие он принимает решения: этим петлюровцам больше ни единого снаряда, ни единого ящика патронов — пусть большевистские солдаты берут их голыми руками и варят из них салтисон. Генералу д'Ансельму до них отныне нет никакого дела — он не даст им больше шинелей и уверен, что адмирал Боллард, проспавшись, тоже не пошлет им даже пары драных башмаков. Разумеется, полковник Риггс может сам распоряжаться своими носками, однако немецкие кальсоны генерал д'Ансельм предпочитает отдавать деникинским офицерам, которые все же имеют кое-какие успехи. Добровольческая армия все ж таки забралась в этот черный угольный Донбасс! Правда, партизанские отряды шахтеров ее там порядком беспокоят, и лишняя смена белья доблестному деникинскому офицерству, безусловно, понадобится... Отныне никакой помощи УНР! Договор с петлюровцами генерал рвет, директорию разгоняет и провозглашает диктатором над всеми местными антибольшевистскими силами деникинского генерала Гришина-Алмазова... Что? Перемена политики? Необходимо поддерживать все антибольшевистские формирования и особенно формирования сепаратистские? Политика — политикой, а война — войной! В войне надо побеждать, и войну надо выиграть! Генерал отвечает за военные действия, а за политику пусть отвечают политиканы. Все.

После этого генерал, правда, не замолчал, а продолжал орать в телефонную трубку еще минут пять.

— Вы же понимаете, полковник, что петлюровские войска — это был наш заслон против большевиков? Этот заслон

оказался гнилым, и по нему пошли трещины. Пока он еще не развалился пополам, я должен под его ненадежным прикрытием молниеносно осуществить перегруппировку сил прочих наших наемников. Деникинцы займут всю территорию, которой владели петлюровцы, и примут на себя роль антибольшевистского заслона. Наступление в Донбассе мы немного затормозим. Я уверен, что адмирал Боллард согласится передвинуть влево свой правый фланг... Добровольческая армия будет продвигаться по Днепру вверх, на северо-запад. Словом, Петлюру и Винниченко вон!

Когда генерал д'Ансельм, наконец, остановился, чтобы передохнуть, из трубки послышался спокойный голос полковника Риггса:

— Доброе утро, генерал! Рад слышать ваш бодрый голос. Как ваше самочувствие сегодня? Раздобыли ли вчера новые скульптурные шедевры?.. Вы очень метко высказались о петлюровцах как о заслоне. В этом-то и все дело: это действительно наш заслон. И только как заслон вся эта петлюровская мишура нам надобна. Я всегда был уверен, что вы знаете настоящую цену войскам украинских националистов, даже тогда, когда они отступают и терпят поражения. С нас хватит и того, что они своими блошиными укусами допекают войскам большевистской Красной Армии. Только для этого они нам и надобны. Разве вы, генерал, возлагали на них большие надежды? — искренне удивлялся полковник Риггс.

Почувствовав шпильку, которая должна уколоть его авторитет и престиж, генерал д'Ансельм немного сбавил тон.

— Конечно,— прорычал он,— я больше ни на что и не рассчитывал с самого начала. Однакоже, полковник, они бегут из-под Киева сюда, на Одессу, а следом за ними несется галопом с шашками наголо большевистская конница!..

— О,— послышалось из трубки,— от Киева до Одессы полтысячи километров!.. Я думаю, вы, генерал, можете быть спокойны. Еще рано паковать чемоданы со статуэтками...

Поняв из этих слов, что шпилька вырастает уже до размера копья, генерал д'Ансельм и совсем остыл. Надо было спасать престиж, и поэтому он холодно, но решительно, с металлическими нотками в голосе изрек:

— Я начинаю генеральное наступление всем фронтом: от Тирасполя до Херсона и, опираясь на Крым, от Херсона до Мариуполя. Уверен, что от Ростова и Екатеринодара генералы Нокс и Деникин поддержат меня. Французские и английские войска пойдут вторым эшелоном, и если греки, деникинцы, поляки и всякая другая шушера попробуют сделать хоть шаг назад — они полягут под французскими и английскими пулеметами. С петлюровцами расправимся точно так же! Однако во фронтальном наступлении я отныне уже не принимаю их силы во внимание... Вы согласны со мной?

— Нет,— спокойно ответил Риггс,— и уверен, что, успокоившись, вы тоже поступите совсем иначе.

— Ну, знаете!..— вскипел генерал д'Ансельм, но сразу же сдержал себя, чтобы не подорвать окончательно свой престиж командующего. Холодно он спросил: — А каково ваше личное мнение?

— Вот уж никак не личное,— дружески откликнулся Риггс,— это наше общее с вами мнение. Я имел уже беседу с начальником вашего штаба полковником Фредамбером. Он вам доложит наше общее мнение. Позовите его, если только сейчас он не около вас.

— И все-таки? — буркнул генерал.— Полковник Фредамбер возле меня. Что вы предлагаете?

Риггс спокойно сказал:

— Петлюровцам — подбросить оружия и снаряжения, особенно автоматического оружия и бронеавтомобилей. Это необходимо для развития наступательных действий, то есть изматывания большевиков. Договора с петлюровцами не рвать, а, наоборот, немедленно дать ему полный ход. Директорию не разгонять, а, наоборот, усилить. Гришин-Алмазов пусть еще малость подождет с диктаторством: большевики все равно перемелют петлюровский заслон, и тогда наступит черед и деникинскому заслону. Потрещат еще кости и у вашего Гришина-Алмазова.

Генерал д'Ансельм что-то буркнул, но Риггс не расслышал, да и не очень-то старался расслышать. Он произнес целую тираду, поучая не весьма опытного в вопросах политики, как, впрочем, и в стратегии и в других военных науках, генерала:

— Если, генерал, ваши французские арсеналы пусты, то я немедленно затребую американское вооружение с наших баз в Италии и на Балканах и передам по телеграфу заказы нашим фирмам в Нью-Йорке. Что касается директории, то из ее состава надо вывести всяких там социалистов, услуги которых мы уже полностью использовали и которые уже нам не нужны. В директорию надо влить представителей деловых кругов — помещиков и фабрикантов, сторонников образования правительства твердой руки. Можно для демократического, так сказать, резонанса взять, ну хотя бы этих, как их там, социал-федералистов, что ли? Петлюру, как особу популярную главным образом в кругах гайдамацких головорезов, надо поставить во главе директории. Он охотно на это пойдет, потому что страдает манией величия, а этим-то он как раз нам сейчас и подходит: он влюблен в свой грошовый полководческий гений, рвется к военным лаврам и во имя ореола наполеоновской славы, пусть и на острове Святой Елены, пойдет на какую угодно авантюру... Что касается драматурга Винниченко, то его, безусловно, настало время убрать с поста. Пусть это выглядит как уступка антисоциалистическим кругам украинских

националистов. Впрочем, там возле вас полковник Фредамбер, он вам все разъяснит...

— Я имел в виду...— начал было примирительно генерал д'Ансельм.

Но Риггс бесцеремонно перебил его:

— Вы, конечно, имеете в виду, генерал, Мирную конференцию в Париже? Точнее — ее руководителей: вашего премьера мосье Клемансо, сэра Ллойд-Джорджа и президента Вильсона? Ке фер, мэ се вре, женераль! [1] Все мы здесь — вы, адмирал Боллард и я — только застрельщики на поле боя и солдаты, выполняющие волю нашего верховного командования. Мне тоже известно, что между мосье Клемансо, сэром Ллойд-Джорджем и президентом Вильсоном еще не достигнуто окончательного соглашения в вопросе определения основной силы среди антибольшевистских формирований. Однако мы имеем указание поддерживать все антибольшевистские силы. Н-эс-па, женераль?

Генерал д'Ансельм уже окончательно остыл. Генералу уже давно стало скучно. Он уже понял, что погорячился, что, пожалуй, время бы и успокоиться, и только для того, чтобы не подрывать своего престижа, он еще ворчливо огрызнулся:

— Все это, разумеется, так, я и сам такого же мнения. Но хорошо вам, когда ваших солдат здесь, на фронте, нет и весь позор должны принимать на себя французские вооруженные силы. Неделю назад под Бендерами отказался идти в бой Пятьдесят восьмой полк. Вчера не захотел выступить из Одессы на позиции Сто тридцать шестой. Из других частей я тоже получаю рапорты командиров о том, что среди солдат растут демобилизационные настроения — нежелание воевать «за чужие», как говорят они, интересы... Посидели бы вы в моей шкуре, полковник...

Риггс снова перебил:

— На севере, около Мурманска и Архангельска, а также на Дальнем Востоке и в Сибири нет ни одного французского солдата, там действуют исключительно американские полки, генерал. Однако я до сих пор что-то не слышал, чтобы хоть один американский солдат отказался стрелять в большевистских разбойников...

Генерал д'Ансельм проглотил и эту пилюлю и пока раздумывал, как же ему теперь подштопать свой престиж, Риггс еще добавил:

— А бунтовщиков надо расстреливать, генерал! Вы, генерал, чересчур мягкосердечны и гуманны. Расстреливайте, расстреливайте — патронов хватит! А если патронов вам не хватит, то я могу подбросить с наших баз, с Балкан и из Италии...

Собственно на этом разговор и закончился. Генерал сделал

---

[1] Что поделаешь, но это правда, генерал! *(франц.)*

потугу на какую-то не особенно удачную, хотя и вполне аристократическую остроту и вынужден был положить трубку.

Риггс тоже положил трубку и сказал Гейку Шеркижену, сидевшему рядом:

— Поет мне о позоре для французских вооруженных сил! Плевать нам на его вооруженные силы! Этому олуху, как, впрочем, и всем ему подобным, конечно, не разобраться во всей этой катавасии. Его, видите ли, задевает, что тут нет американской армии и в Западной Европе бьют баклуши два миллиона американских солдат, вооруженных не его французскими пищалями времен Франко-прусской войны, а новейшим автоматическим оружием. Скажите пожалуйста! Так они для него и приготовлены! Большевики, разумеется, угроза первостепенная, но пусть наши солдаты подождут: им придется еще прибирать к рукам и французских и английских голодранцев...

У генерала д'Ансельма были, однако, основания рвать и метать и не только потому, что Киев взяли большевики, а Красная Армия успешно наступала по всей линии большевистско-петлюровского фронта.

Дела командующего объединенными силами Антанты на юге России были плохи не только на петлюровском фронте, который откатывался на западе до Винницы, а в центре до Днепра. Дела были плохи и по всей территории, на которой юридически существовала еще власть директории,— от западных границ Украины до Донбасса и Харьковщины и от берега Днепра до берегов Буга и Днестра.

На всей этой территории, охватывающей полдесятка бывших губерний, во многих районах, разрастаясь подчас на целые уезды, возникали крестьянские восстания против Петлюры. В городах, особенно в крупных индустриальных центрах, создавались уже и Советы рабочих и солдатских депутатов, которые существовали пока что наряду с петлюровскими «трудовыми радами», но требовали передачи им всей полноты власти и держали в готовности свои вооруженные рабочие дружины. Вооруженные силы УНР были бессильны что-либо предпринять против этих советских островков на «своей» территории, так как не встречали поддержки населения. Кроме того, в самом руководстве петлюровской армии разгоралась борьба различных течений, появились десятки больших и малых атаманов и атаманчиков, которые враждовали между собой, ориентируясь на разные националистические партии или просто соперничая друг с другом. В воинских частях возникали бунты, некоторые части и совсем выходили из подчинения петлюровского командования, оголяли линию фронта и разбегались. Трудовое крестьянство, насильно мобилизованное после антинемецкого и антигетманского восстания в части петлюровских войск, уже разбиралось, куда вовлекли его петлюровские провокаторы. Крестьяне уже понимали, что директория отстаи-

вает интересы помещиков и кулаков, а беднейшему крестьянству земли не даст. И трудовое крестьянство поворачивало оружие против контрреволюции и наемников международного империализма — украинских буржуазных националистов.

Таков был тот «заслон» против наступления Красной Армии, в котором только теперь разочаровался генерал д'Ансельм.

Однако и по внутреннему кольцу этого «заслона», на одесско-николаево-херсонском плацдарме, по линии разграничения петлюровских войск и франко-греческой армии, творилось что-то непонятное. Из рабочих дружин и крестьянских повстанцев здесь формировались партизанские отряды, которые от Днестра до Буга и до днепровских плавней создавали почти беспрерывную цепь, отделяя интервентов от петлюровского «заслона». Эти отряды в большинстве случаев именовали себя или Красной гвардией, или Красной Армией, и командирами или комиссарами во всех этих отрядах были большевики. Французская и американская разведки уведомляли, что большевистские комиссары в большинстве случаев направлены из Москвы, Харькова и даже из... Одессы. Одесское большевистское подполье тоже создавало сейчас так называемую «внешнюю» армию, имевшую задание наступать непосредственно на Николаев, Херсон и Одессу.

Это уже было черт знает что такое! И командующий объединенными силами союзных армий в Одессе, Николаеве и Херсоне имел все основания жаловаться на свое плохое настроение. Тем более что и на самом одесско-николаево-херсонском плацдарме — в самой зоне своего собственного «господства» — каждая часть оккупационной армии чувствовала себя точно в окружении и вынуждена была постоянно держать круговую оборону. Весь одесско-николаево-херсонский плацдарм бурлил, словно море в двенадцатибалльный шторм. Ни в одно село французские и греческие отряды не могли просто войти; они должны были сперва высылать разведку, а потом занимать село с боем. Ни в одном городе оккупационный гарнизон не мог спокойно расположиться на ночной бивуак, так как чуть ли не каждую ночь если не вспыхивало восстание, то неизвестными группами из местного населения производились диверсионные акты, а караульных, выставленных на ночь, приходилось утром хоронить в братских могилах... Некоторые районы в «зоне» и вообще не были подвластны и почти не контролировались оккупационной армией; они оставались непокоренными островками, на территории которых действовала советская власть.

А в некоторых селах, зажатых в клещах французских, белогвардейских и петлюровских частей, случалось и так, что в одну из темных ночей из села неожиданно исчезала группа людей. Так, скажем, в степном селе Анатольевке какой-то местный крестьянин Жила вывел группу человек в двадцать из села. По све-

дениям разведки, эта группа, вооруженная оружием, которое было припрятано крестьянами еще со времен немецкой оккупации, ушла на юг — по направлению к Днестру...

И самым страшным для оккупационного командования в Одессе было то, что все эти направленные против оккупационных войск в оккупированной зоне боевые группы действовали не стихийно, а — как точно информировала разведка — выполняли директивы не только из Москвы и Харькова, но и большевистского подполья... из самой Одессы!

Командующего оккупационной армией это приводило в бешенство. Из Одессы — из-под самого носа семнадцати контрразведок!

А что творилось под носом у этих семнадцати контрразведок — в самой Одессе, цитадели пятидесятитысячной десантной армии?

Заводы бастовали, а безработные создавали «комитеты протеста и действия». Разведка уверяла, что на каждом предприятии уже существует подпольный повстанческий ревком. Разведка клялась, что большевики подготавливают всеобщее восстание.

Город засыпали прокламациями, на стенах домов и заборах появлялись большевистские лозунги. В городе выходила и распространялась среди населения подпольная большевистская газета.

Фу ты черт! Генералу д'Ансельму было отчего рвать и метать! Вот тут, в городе, возможно в соседнем доме, черт побери, существует большевистская подпольная типография, которая работает не хуже газетного комбината «Пари суар» на Елисейских полях в Париже,— и он не может ее найти... Генерал собственными глазами видел французскую газету местных большевиков, в которой, скрывая свои фамилии, печатали большевистские статейки французские солдаты и матросы... Контрразведка предполагала, что в некоторых французских частях, вне сомнения, созданы и подпольные комитеты. Контрразведка предупреждала, что — сохрани боже! — можно ожидать восстания даже в самой оккупационной армии...

— Парбле! Сапристи! Анатем! [1]

Генерал д'Ансельм, который было немного успокоился после утешительной беседы с полковником Риггсом, снова впал в бешенство. Он заорал:

— Расстреливать! Вешать!

Полковник Фредамбер опять попался ему на глаза и снова стал объектом для извержения генеральских громов и молний.

— Полковник! — решительно заявил генерал.— Вы излишне гуманны. Разве у вас не хватает патронов? Прикажите контрразведке быть более беспощадной и более деятельной!

---

[1] Черт возьми! Проклятие! Анафема! *(франц.)*

Требуйте ежедневного отчета о количестве репрессии и вообще...

Полковник Фредамбер вынул записную книжечку и почтительно доложил генералу:

— Сводки контрразведки я получаю ежедневно к девяти утра. Сегодня расстреляно при попытке к бегству шесть человек, вчера — пять, позавчера — четыре, позапозавчера — семь человек...

— Мало! — закричал генерал.— Дайте им контрольные цифры: не менее десяти человек ежедневно! Чтоб бежали и... были расстреляны при попытке к бегству! На войне как на войне!

— Слушаю, генерал! — щелкнул каблуками полковник Фредамбер и спрятал записную книжечку.

Но у генерала еще не совсем отлегло. Он вращал глазами, ища, что бы еще такое придумать на страх врагам.

— И еще,— сказал он наконец, немного остывая,— пусть контрразведка сообщит, когда будет пойман... какой-либо настоящий большевик, я сам приду его допрашивать! Я научу их, как надо добывать признания, я...

Он брезгливо поморщился и, наконец, совсем успокоился.

— И, пожалуйста, полковник, очень вас прошу. У этого Риггса голова на плечах. У него, знаете, всякие бывают эти... идейки. Пригласите его, поговорите с ним, посоветуйтесь... Хотя нет! — Генерал на минуту задумался, затем закончил рассудительно, совершенно светским тоном: — Пожалуй, лучше будет, если вы сами его посетите. Все-таки, знаете, представитель Соединенных Штатов! Докладывает непосредственно президенту Вильсону. А Вильсон, знаете, первая скрипка на Парижской конференции. Выберите сегодня минутку, загляните к нему — только так, знаете, между прочим, чтобы нам не уронить своего престижа. Ну, там, понимаете, в отношении того, что мы, мол, начинаем наступление, активные боевые действия; на правом фланге дела идут хорошо — Херсон, Николаев, а вот левый... левый, ну, вообще... А? Поговорите, обсудите и доложите мне... нам с адмиралом Боллардом. Мы примем решение. Не откладывайте, полковник, отправляйтесь немедленно!

Генерал уже устал, и его снова потянуло к статуэткам. Вчера он все-таки раздобыл шедевр: пастушка с козликом, глина — пятьсот франков. Он поднялся и направился к выходу.

— Идите, идите! А я займусь этим самым... детализацией стратегического плана. О ревуар, полковник!.. Ах, да! Имеете ли вы уже сведения о передвижении на север для сдерживания большевистского наступления этого самого, как его,— «Осадного корпуса» этих самых, как их там,— атамана Якиева и полковника Змиенко?..

2

Полковник Змиенко в это время ехал на белом коне и жевал свой длинный ус.

Широкая украинская степь привольно раскинулась вокруг — ровная и спокойная до самого горизонта. Ранняя южная весна уже вступила в свои права. Снег белел только кое-где по глубоким оврагам, а на широком просторе степи от него уже не осталось и следа. Простор полей, побуревших от прошлогодней перепрелой стерни, серел просыхающими парами и начинал чернеть там и сям первыми бороздами пахоты.

Сильный степной ветер дул порывами, вздымая пыль по дороге, а над шеренгами всадников на шляху играл золотящимися в лучах солнца алыми шлыками на гайдамацких папахах.

Но радужное трепыхание гайдамацких шлыков не веселило сердца полковника. Он все глубже и глубже засасывал в рот свои усы. Белый конь его трусил рысцой.

Тоскливо было на душе у полковника Змиенко, кошки скребли на сердце.

«Осадный корпус» петлюровского атамана Якиева, который победоносно вклинился было в Одессу, а потом по требованию союзного командования и по приказу главы директории Винниченко отошел от города километров на двадцать и выполнял в дальнейшем полицейские функции в ближайших селах,— получил сейчас два приказа одновременно: от «головного атамана войск УНР» Симона Петлюры и от командующего оккупационной армией генерала д'Ансельма.

Киевом овладели красные полки. Потрепанные войска украинских националистов стремительно отступали, и директории необходима была срочная помощь. Двадцатитысячный «Осадный корпус» атамана Якиева и был той силой, которая, по расчетам Петлюры и генерала д'Ансельма, должна была теперь поправить дела: остановить наступление Красной Армии, восстановить положение на фронте и вернуть петлюровцам потерянную столицу. Атаман Якиев еще вчера вылетел французским самолетом в штаб «головного атамана», чтобы принять участок фронта где-то под Фастовом или Казатином, а может быть, уже и под Винницей. А полковник Змиенко, обходя железную дорогу, так как ее перерезали уже в нескольких местах антипетлюровские повстанцы, должен был привести маршем на указанные позиции двадцать тысяч петлюровских вояк.

Но исходило тоской сердце у петлюровского полковника Змиенко. Двадцати тысяч казаков в «Осадном корпусе» уже давно не было. Мобилизованные крестьяне разбежались кто куда или целыми частями перешли на сторону антипетлюровских повстанцев. Под командованием полковника остались

только отряды гайдамаков да горсточка сечевых стрельцов — всего две тысячи сабель.

Однако приказ «головного атамана» надо было выполнять «аллюр три креста», и гайдамаки с сечевиками трусили рысцой, развевая шлыками, потряхивая оселедцами и побрякивая «клейнодами».

Гайдамацкая маршевая колонна извивалась цветистой змеей по шоссе, а за несколько километров вперед была выслана конная разведка, тщательно осматривавшая и обнюхивавшая каждое село. Повстанцы теперь господствовали в степи, и приходилось быть начеку: в каждом селе могли встретить гайдамаков и сечевиков пулеметные очереди и винтовочные залпы повстанцев.

К полудню за степным крутогором в лощине показалось село. Это было большое степное село с широкими улицами и множеством переулков. По окраинам раздольно рассыпались хаты под желтыми и бурыми соломенными крышами, ближе к центру кучились дома, крытые красной черепицей или замшелым зеленоватым тесом. В центре села виднелась большая площадь с четырехугольником торговых рядов под крашеным железом. Это была, безусловно, волость.

Пока полковник Змиенко рассматривал в бинокль, а бунчужный сверялся по карте, устанавливая название этого населенного пункта, прискакал на вороном жеребце и командир конной разведки.

Командир разведки — гайдамацкий старшина с длиннющим алым шлыком, чуть не до пояса, с волнистым оселедцем, выбивавшимся из-под шапки и свисавшим почти до подбородка, путаясь в усах,— прохрипел:

— Рапортую, пан атаман! В погребах, в лавках обнаружено несколько евреев и дряхлых стариков.

— Значит, путь безопасен, пан сотник?

— Так точно, пан атаман! Можно свободно въезжать.

Но полковник Змиенко еще с минуту раздумывал. Бывали уже и такие сюрпризы в дороге: встречало село оставленными хатами и пустыми хлевами, а как только втягивалась гайдамацкая колонна в деревенские улицы, с окраин сразу же начинали стрекотать пулеметы, устилая гайдамацкими трупами все околицы.

Полковник Змиенко еще раз окинул взглядом всю местность вокруг. Шлях вел прямо в село, на площадь, два пыльных проселка огибали его с обеих сторон, через овраги и лощины уходя, видимо, к ближним селам. Соседних деревень не было видно до самого горизонта — здесь, в степи, люди жили просторно, и от села до села обычно было по нескольку километров. Но кто его знает, чего можно ожидать из тех оврагов и лощин? Может, там, в степных низинках, притаились отряды повстанцев?

Полковник Змиенко передал бунчужному приказ — разделить колонну на две части. Одной двигаться левым флангом в обход села, другой — правым, тоже в обход. Каждой колонне выслать впереди себя разведку, поручив ей тщательно осматривать лощины и овраги и двигаться к соседним селам. Полковник Змиенко ткнул пальцем в карту, на которой влево и вправо километров за семь обозначены были ближайшие села:

— Сюда!

После этого он тронул шпорами своего белого коня и поехал прямо по дороге. Направив колонну двумя потоками в обход, предохраняя этим отряд от внезапного нападения повстанцев, полковник мог спокойно въезжать в село. В нем он решил расположиться на отдых.

— Какой будет приказ насчет захваченных? — спросил сотник.

— Саблями порубить. Чтобы не было шума.

Во главе штаба и охранного взвода полковник поскакал галопом в село.

— Размещаться в центре, на площади, в торговых рядах! — приказал он бунчужному.

До села было не более километра, и гайдамацкие офицеры проскакали это расстояние за несколько минут. Полковник Змиенко въехал в село молодецки подбоченясь, но это было ни к чему: из окон опустевших домов некому было поглядеть на его удалую казацкую стать.

Тревожные мысли не покидали полковника:

«Что будет дальше? Как дальше быть?»

Скакать вот так степными дорогами надо было еще добрых две сотни верст, пока дотянешь до фронта. Сколько на этих верстах попадется еще сел, в которых не знаешь, чего ожидать, сколько еще будет перелесков, лощин и оврагов, в которых, быть может, подстерегает тебя засада повстанцев? Доведет ли полковник Змиенко свои последние две тысячи гайдамаков под руку и пред ясные очи «головного атамана»? Не прикажут ли высокие атаманы спустить полковнику шаровары да всыпать шомполов за то, что растерял он в степи восемнадцать тысяч доверенного ему войска?

Да и там, на фронте, разве пампушки с чесноком да блины с медом поджидают прославленных лыцарей? Ожидают их там сабли щорсовцев да пулеметы Боженко. Кто знает, будет ли славной эта сечь? И не доведется ли умыться собственной кровью?

Гнетущие мысли терзали петлюровского полковника.

Может, благоразумнее будет свернуть за Жмеринкой на Литинский шлях, да и махнуть на запад, в Галицию? Снял же свои гайдамацкие «курени» с фронта под Житомиром атаман Оскилко, да и махнул на польский кордон. Нацепил, говорят,

на шапку вместо трезубца белого орла, закинул рукава жупана за спину, словно в кунтуше, и стал под высокую руку Пилсудского. Разве не один черт? Лишь бы против большевиков...

Да и подходящее ли время сейчас для битвы? За большевиками теперь пошел чуть ли не весь народ... А там, за Галицией и Польшей, и венгры, и чехи, и даже немцы: открытый путь в Европу! Вон, рассказывают, сам Винниченко скрылся и очутился чуть ли не во Франции. Не пора ли и полковнику Змиенко позаботиться о своей собственной судьбе?

Черт с ней, с этой военной заварухой! Разве не смог бы он переждать некоторое время на службе в немецкой, итальянской или в английской полиции — пусть и не в чине полковника, пусть хотя бы вахмистром? А там будет видно — может, Соединенные Штаты Америки и впрямь организуют интервенцию на весь широкий фронт — от Черного и до Белого моря. Тогда под американским командованием возвратится под родную кровлю и полковник Змиенко во главе лыцарей «самостийной Украины»... С такими мыслями — то обнадеживающими, то еще более гнетущими — полковник Змиенко пригарцевал на своем белом коне на центральную площадь степного села, лихо соскочил с коня и бросил повод подбежавшему «джуре».

— На отдых! — приказал он величественно.

Но как только соскочил полковник Змиенко на землю и отдал повод джуре, как только сошла с коней вся его свита, вдруг словно небо разверзлось и весь мир полетел вверх тормашками. В мертвой тишине покинутого села загремело сразу несколько пулеметов; пули засвистели со всех сторон, и пустые улицы мигом наполнились людьми. Отовсюду — из погребов, лавок, из-за заборов, из-под стогов соломы — в кожушках и зипунах, в потрепанных солдатских шинелях и кожухах, с винтовками в руках появились люди и с громким криком «ура» ринулись лавиной на площадь.

Не все покинули село, как показалось гайдамацкой разведке с первого взгляда. Вначале люди действительно собирались уйти из села на время, пока не пройдут гайдамаки. Но случилось так, что как раз в эту пору через село проходил небольшой отряд,— собственно и не отряд, а просто человек двадцать вооруженных крестьян, которых Жила вел к Днестру. Когда Жила и его товарищи узнали, что в село направляются петлюровские гайдамаки, а люди собираются покинуть село, они уговорили мужиков укрыть в оврагах за селом женщин и детей, упрятать там скот и скарб, и самим остаться, вооружиться всем, чем только можно, и дать гайдамацким разбойникам хорошую взбучку. Над замечанием старших и более осторожных людей, что хотя в село направляется только небольшая группа гайдамаков и управиться с ней, безусловно, можно, но гайдамацкие колонны, которые пошли в обход села, услыша сзади себя

стрельбу, возвратятся и пустят все по ветру,— младшие, более отчаянные, к тому же еще и бывшие фронтовики, только посмеялись. Они заявили, что подобная операция не новость и хорошо известна каждому солдату еще с германской войны. Во-первых, всякая войсковая часть, если внезапно потеряет свое командование и штаб, сразу же становится небоеспособной и впадает в панику. Во-вторых, если часть на марше вдруг услышит позади себя частую стрельбу, она тоже впадает в панику и, как слепая, бросается вперед или врассыпную. Главное — поднять с тыла стрельбу как можно сильнее и громче. «Нет ничего более страшного на войне, как паника,— утверждали старые фронтовики.— Кто сумеет посеять среди врагов панику, тот и победитель, даже если силы в десять раз меньше, чем у противника». Старые фронтовики сразу же и загорелись этой идеей — посеять панику среди врага — и бросились в погреба вытаскивать припрятанные винтовки и обрезы. Особенно обрезы, из обрезов громче выстрелы.

Ко всему этому Жила добавил еще от себя: гайдамаки торопятся вовсю, боятся каждого кустика и каждого оврага в степи, зная, что вся степь полна повстанцами и партизанами, да и вообще всем хорошо известно это трусливое племя грабителей и убийц; услыша позади себя перестрелку, они бросятся куда глаза глядят и ни за что не повернут назад...

Словом, так и получилось, что люди впустили зверя в свое гнездо, а потом вышли из укрытий и зажали в кольцо хищную стаю.

Боя почти не было. Загремело два-три карабина в руках ошалевших гайдамаков из охранного взвода, щелкнули три-четыре пистолетных выстрела из рук перепуганной «старши́ны» — и с «операцией» в несколько минут было покончено: петлюровские гайдамаки устлали своими трупами сельскую площадь.

Полковника Змиенко подвели к единственному в селе фонарю, стоявшему у конторы банка немецких колонистов. Шапку со шлыком полковник потерял, оселедец прилип ко лбу, жупан был растерзан, печальную картину являли и широкие шаровары...

Люди сдвинулись плотным кольцом, и двое наиболее уважаемых крестьян из села, а с ними и Жила, учинили над петлюровским разбойником допрос и суд.

Жила поправил на голове свою старую солдатскую папаху с красным бумажным цветком на том месте, где когда-то была кокарда солдата царской армии, а сейчас должна была бы быть красная звездочка, и сурово спросил:

— Фамилия?

— З-змиенко,— пролепетал, запинаясь, побледневший полковник.

— Змиенко! Змея и вправду! — загудели люди вокруг.

— Змеиное семя!..
— Тише! — прикрикнул один из крестьян-судей.
— Откуда? — спросил другой.
— С... Подолья... Село Томашевка под Ярмолинцами...
— Кто был отец? — угрюмо вставил вопрос Жила.
— К-крестьянин...
— Сколько имел десятин?
— С-сорок... Собственно не сорок, а...
— А за что старика моего порубили, убийцы! — вырвался гневный стон у какой-то подоспевшей к толпе женщины.
— У-у, кровопийца! Бандит! — послышалось отовсюду.
— Тише, люди! — снова успокоил народ один из судей.
Полковник Змиенко залепетал, запинаясь, умоляюще прижимая руки к груди:
— Христом-богом, святой землей клянусь...
— Про землю — цыц! — сердито загремел Жила.— Не про тебя земля святая! В петлюровцы пошел по мобилизации или по собственной воле?
Толпа снова загудела:
— Ясно! Гайдамак ведь, из «охочекомонников». Да еще и офицер! Гвардия «батька» Петлюры! Змея, как есть змея!..
Жила обратился к народу:
— Решайте, люди. На вашей земле гадину поймали. Вам и судить. Душегуб... одна ему дорога...
Жила махнул рукой, подтянул ремень шинели и отошел к своим ребятам, которых вел в партизанский отряд Григория Ивановича.
Дядько в порванной свитке зачитал приговор:
— Жовто-блакитного палача, кровавого лакея международного капитала — долой с земли украинского народа!

3

Риггс не из пустой прихоти возражал против назначения генерала Гришина-Алмазова командующим над всеми — и русскими и украинскими — контрреволюционными вооруженными соединениями.
Кроме того, что это шло бы вразрез с прямыми указаниями президента Вильсона о контрреволюционных группировках на территории бывшей Российской империи — с установкой на расчленение ее в будущем,— это нанесло бы прямой удар интересам США на Украине сегодня. Все снабжение добровольческой армии пока что осуществляли английские фирмы, а поставки войскам директории хотя и проводились из французских арсеналов и французскими фирмами, но полностью контролировались американскими банками; франк был окончательно обесценен. Однако соревнование доллара и фунта в странах

Ближнего Востока — следовательно, и в борьбе за Кавказ, юг России и Украину — только начиналось. Передача войск директории под командование Деникина, то есть фактическое введение их в систему английского, а не французского подчинения и снабжения, на данном этапе означала бы поражение американской внешней экономической политики и значительно усилила бы английский фунт.

Понятно, размышлял сейчас Риггс, прогнать директорию можно в любую минуту. Однако американский финансовый, да и промышленный капитал, для того чтобы окончательно укрепить свои позиции на юге России, должен проглотить и французскую концессионную систему в Донбассе и в Кривом Роге, и концессии английских предпринимателей на Кавказе. Следовательно, содействовать этому — отнюдь не второстепенная задача американского и политического и финансового представителя на Украине и юге России, каким и являлся он, глава американской миссии, полковник Риггс.

Для укрепления американских позиций необходимо не только отвоевать нефтяные промыслы в Баку и Майкопе у сэра Детердинга в пользу мистера Гувера, но заодно прихватить для мистера Рокфеллера и прикарпатскую нефть, наставив рога и польским великодержавникам и украинским самостийникам в Галиции. А именно этот бизнес и осуществлял сейчас по совету Риггса банкирский дом Рокфеллеров, прибирая к рукам нефть Борислава и Дрогобыча через «Вакуум-ойл компани».

Таким образом, украинская директория нужна сейчас не только французским воякам или английским политикам, но и американским банкам,— и усиливать в настоящее время генерала Деникина с его креатурой в противовес Петлюре преждевременно. Пусть петлюровские лоботрясы расстреливают еще свой двадцатимиллионный долларовый заем во имя победы над большевиками, вертя тем самым колесо американской деловой жизни. Опасность распространения социалистической революции в Европу слишком велика, и против большевиков должны быть использованы все силы местной контрреволюции. Это должно ускорить уничтожение большевизма. Президент Вильсон и проводил настойчиво именно такую политику.

Риггс недаром десять лет подвизался на поприще американской дипломатии и военной разведки одновременно! Ведь не случайно, будучи во время войны держав Антанты против австро-немецкого блока два с половиной года американским военным атташе в столице бывшей Российской империи Петрограде, в самом центре закулисных интриг, он выполнял специальные поручения американских фирм. Риггс прекрасно понимал, что американскую политику надо осуществлять где мечом, где долларом: и войною и бизнесом. Первейшая задача сейчас, конечно, война против большевиков. Мировая война

США и Антанты с австро-немецким блоком закончилась. Но теперь начиналась схватка между членами самой Антанты и США: Уолл-стрит начинал генеральное сражение против Сити. Доллар воевал теперь против фунта...

Итак, по всем соображениям, воевать против большевиков должны и петлюровцы и деникинцы. Генерал Гришин-Алмазов может оставаться и дальше на своем высоком, но бессмысленном в условиях оккупации посту генерал-губернатора. Неограниченной военной власти над всеми вооруженными антибольшевистскими формированиями ему давать ни в коем случае еще нельзя. Если же он заартачится, то и вообще можно оставить генерала-душку только командиром его воинственной в операциях против мирного населения дивизии...

С генерала Гришина-Алмазова и началась беседа между Риггсом и Фредамбером, когда начальник штаба союзного десанта пришел засвидетельствовать свое почтение главе американской военной миссии.

— Ну, рассказывайте, Фредамбер,— сразу же предложил Риггс, пододвигая столик с коньяком, виски и содовой,— что там слышно о нашем галантном генерале?

Сведения о Гришине-Алмазове Фредамбер имел не из первых рук. Консул Энно — вроде как главный представитель гражданской политики Антанты на юге России — полагал совершенно необходимым вытягивать эти сведения у актрисы Веры Холодной и немедленно же передавать их полковнику Фредамберу, который фактически и возглавлял вооруженные силы Антанты на юге России. Ибо генерал д'Ансельм в своем пристрастии к скульптурным миниатюрам и в своем пренебрежительно-аристократическом отношении к мизерным делам войны и мира целиком полагался на своего начальника штаба, старого офицера французского оружия и лицо, заслуживающее полного доверия Франции. А Фредамбер информировал уже и полковника Риггса.

Натурально, что, блюдя собственные интересы, консул Энно не все передавал Фредамберу или не всегда давал верное освещение фактам. На сей случай, для дополнения и контроля, на арену выступала вторая вертикаль разведки. Мадам Энно выпытывала необходимые сведения у своего мужа и за сходную цену передавала их английскому коммерческому секретарю, благочестивому Багге. А благочестивый Багге — за те же два процента от каждой операции — передавал свои информации также мистеру Риггсу, поскольку эти сведения имели непосредственное отношение к англо-американским финансовым операциям, которыми оба они были в это время озабочены больше всего.

Новости, которые сегодня принес Фредамбер шефу, были весьма многозначительны.

Херсоно-николаево-одесский плацдарм давно уже не был

пределом мечтаний честолюбивого генерала; такие провинциальные масштабы отнюдь его не устраивали. А перспектива и в дальнейшем оставаться только в роли мелкой сошки при генерале д'Ансельме его просто-таки оскорбляла. Гришину-Алмазову уже осточертели боевые операции по вылавливанию запоздавших прохожих, появлявшихся после комендантского часа на темных улицах Одессы, и доставка их на французские баржи-тюрьмы или расстрел их по дороге «при попытке к бегству». Из молодых, да ранний, генерал мечтал о широких горизонтах деятельности и залетал в своих мечтаниях значительно дальше Люстдорфа, Заставы или Дофиновки. Имея секретную, но недвусмысленную договоренность со своим главнокомандующим генералом Деникиным, молодой деникинский «полководец» претендовал на пост командующего всей украино-крымской группой добровольческой армии. Генерал Деникин пообещал ему полную автономию под своим черным крылом, тень от которого надеялся бросить не только на Кубань и Дон, но и на Кавказ — на юге, Донбасс и Волгу — на севере. А потом — потом должен был быть осуществлен и поход на Москву. Взять Москву в клещи, от Волги и с Украины выйдя правым флангом на соединение с армиями Колчака, а левым с армией Юденича,— таков был стратегический план русской белогвардейщины. Именно в Москве и была запроектирована торжественная встреча Юденича, Чайковского, Гришина-Алмазова, Деникина, Бичерахова и других белогвардейских «командующих» с «верховным правителем Руси», сухопутным сибирским адмиралом Колчаком.

Таков был генеральный план русской белогвардейщины. И для успешной реализации этого плана на генерала Гришина-Алмазова возлагалось всосать в свои белые части и украинские жовто-блакитные отряды петлюровщины.

— План великолепный! — констатировал Риггс задумчиво.— Очевидно, подобный военный план и придется осуществлять для разгрома большевиков, как только Морган, Рокфеллер и Дюпон усилят свои позиции в осуществлении своего «мирного» плана завоевания британской стерлинговой империи. Такой план может выполнить любой генерал, которому это будет поручено, хотя бы и тот же Гришин-Алмазов, это не имеет значения...

Полковнику Фредамберу не по сердцу пришлось такое терпимое и даже благосклонное отношение шефа к генералу-выскочке, и он напомнил Риггсу:

— А не забыли ли вы о горячей англомании генерала? Генерал презирает легкомысленную Францию, пренебрегает всем французским и мечтает о лондонских туманах. Генерал Деникин, как вам известно, охладел к Франции и занял теперь открыто проанглийскую позицию. Он верит, что солнце восходит с Запада — с Британских островов.

— А вас, как полковника генерального штаба Франции, это задевает за живое, оскорбляя ваши патриотические чувства? — ехидно спросил Риггс.

Фредамбер обиженно фыркнул.

Главнокомандующий добровольческой армии генерал Деникин и в самом деле ориентировался теперь исключительно на Англию. Англии надо было самым спешным образом ориентировать всю свою политику против США, поскольку США в перспективе намеревались вторгнуться в сферы английского влияния с расчетом прибрать к своим рукам английские рынки сбыта и источники сырья. Алчный взор американских монополистов и острие американской политики направлены были на слишком дорогой для кармана английских монополистов Восток — Ближний, Средний и Дальний. Таким образом, Англии для проведения своей политики приходилось сейчас подбирать, кого бы противопоставить США,— хотя бы и эту самую разгромленную в своих империалистических стремлениях Германию, да, пожалуй, и Россию. Теперь для Англии более выгодна была бы сильная Россия — как противовес США хотя бы в азиатских странах.

Генералу Деникину вполне импонировала такая смена политики, и он занял теперь явно проанглийскую позицию — особенно после совершенно конкретных, деловых бесед с английским военным министром Уинстоном Черчиллем.

— Ну, не обижайтесь, Фредамбер! Я пошутил! — примирительно сказал Риггс.— Только запомните, что в отношении перемены английской и французской политики я вам открыл глаза. Прошу вас, докладывайте дальше. Что еще слышно?

Фредамбер сообщил:

— Генерал Гришин-Алмазов в своих сокровенных мечтах рассчитывает после уничтожения большевизма, восстановления монархии в России и расцвета проанглийской политики в русской дипломатии получить пост русского наместника где-нибудь в Афганистане, Синь-Цзяне или Персии, где как раз и будут сталкиваться русские и английские интересы...

— Заманчивые перспективы,— не мог не согласиться Риггс.— Я думаю, Фредамбер, что будет не по-товарищески, если мы не доведем все это до сведения генерала д'Ансельма, который, безусловно, кретин, как и думает о нем Гришин-Алмазов, и к тому же, несомненно, страдает гипертрофией грошового аристократического гонора,— если не доведем до его сведения все, что о нем, о дорогой для него Франции и французской политике думает русский генерал-англоман. Вы меня поняли, Фредамбер?

— Именно такое указание я и надеялся услышать от вас, сэр,— радостно захлопал глазом Фредамбер.— Мой генерал уберет генерала Гришина-Алмазова, не ожидая даже санкции

верховного главнокомандующего вооруженных сил Антанты на Востоке генерала Франшэ д'Эспрэ. Кого, думаете вы, следует рекомендовать на место Гришина-Алмазова?

— Генерала Шварца.

— Почему?

— Это ярый немецкий патриот.

— Позволю себе спросить: а на кой черт нам немецкий патриотизм?

— Позволю себе ответить: а на кой черт нам российская великодержавность? Германия нужна США как цепной пес, которого всегда можно натравить на Россию.

— Справедливо! — не мог не согласиться полковник Фредамбер.— Итак, я буду рекомендовать командующему генерала Шварца.

Генерала Шварца полковник Риггс давно уже имел на примете. Этот русский генерал-немец стоял за американскую ориентацию.

Генерал Шварц происходил из обрусевших остзейских баронов и не страдал чрезмерным русским патриотизмом. К идее восстановления сильной, неделимой России — какой бы политический режим в ней ни господствовал — он относился с недвусмысленным холодком. Во всяком случае, он предпочитал, чтобы сила России при любых обстоятельствах не превосходила сил восстановленной Германии. Немецкий патриотизм давал себя знать в русском генерале Шварце.

Именно подобные деятели, по мнению Риггса,— а он имел основания надеяться, что таково и мнение президента,— были наиболее ценны на ответственных постах в движении, ратующем за единую и неделимую Россию. «Русские» немецкой ориентации всегда охотно пойдут на то, чтобы оторвать от тела Российской державы любую ее часть, особенно если эта часть является объектом экспансионистских расчетов их подлинной отчизны — империалистической Германии.

Фредамбер спросил:

— Я думаю, отстранение Гришина-Алмазова и назначение на его место Шварца следует не откладывать, сделать завтра-послезавтра?

— Раз не стоит откладывать,— резонно заметил Риггс,— то лучше сделать это сегодня же. Ну, скажем, вечером, когда будете докладывать генералу вечернюю сводку.

— Слушаюсь, мистер Риггс.

— И заодно,— задумчиво произнес Риггс,— подбросьте генералу и идейку относительно поляков.

— Относительно поляков? — не понял Фредамбер.— Что вы имеете в виду, сэр? Ах! — догадался он.— Вместо деморализованной петлюровской армии бросить белопольский легион маршала Дзяволтовского на центральный участок антибольшевистского фронта?

— Наоборот! Совсем снять легион Дзяволтовского с этого участка фронта.

Фредамбер захлопал глазами, не понимая.

— Но...— растерянно сказал он,— это еще больше ослабит сопротивление большевистскому наступлению.

Риггс небрежно отмахнулся:

— Деникинцы, греки, да и ваши пуалю сами справятся на этом участке. Во всяком случае, мы с вами здесь, за спиной пятидесятитысячной французской армии, в полной безопасности. Словом, идея такова: польский легион Дзяволтовского пропустить левым флангом, вдоль румынской границы, а то и просто через Румынию, в Галицию.

Фредамбер подергал с минуту обеими щеками, потом признался:

— Не понимаю, сэр. Почему в Галицию?

— Ах, Фредамбер, Фредамбер! — укоризненно покачал головой Риггс.— И когда вы, наконец, научитесь мыслить поамерикански? Поляков нужно передислоцировать к границам Галиции. Можно осуществить это просто через Тирасполь, а потом через Черновицы — на Стрый. Можно, чтобы отход через Тирасполь не был истолкован как отступление,— маршем до Волочиска. Это будет походить на обходный маневр, в обхват правому большевистскому флангу — на случай, если от Киева большевики двинутся не на Жмеринку, а на Житомир.— Риггс оживился, сам увлекаясь своими стратегическими идеями.— А? Ведь это идея! В Европе истолкуют этот маневр только так и будут восхищаться прозорливостью командования, генерала д'Ансельма и вашей, Фредамбер, как начальника штаба и, разумеется, автора диспозиции. Лавры прозорливого полководца вам гарантированы, Фредамбер! По крайней мере для непосвященных... Вы слушаете меня, Фредамбер?

— Я слушаю вас, сэр,— выходя из задумчивости, ответил Фредамбер,— но, простите, я так и не могу сообразить — зачем снимать поляков с фронта и перебрасывать в Галицию?

Риггс сокрушенно покачал головой.

— Ну, тогда слушайте. Я вам растолкую. У петлюровцев сейчас в Галиции назревает конфликт с поляками. И между ними возможны военные столкновения. Это вам известно или нет?

— Известно, сэр.

Риггс грустно поглядел на Фредамбера.

— Было бы просто бессердечно не подать руку помощи полякам в такую тяжелую для них минуту. Прибытие легиона Дзяволтовского в Галицию может в корне изменить положение.

— И все же не понимаю, сэр,— осмелился признаться Фредамбер,— почему вы так заинтересованы в победе поляков?

— А кто вам сказал, что я заинтересован в том, чтобы победа была на стороне поляков?

Фредамбер оторопело поглядел на Риггса.

— Как же тогда... понимать оказание им помощи?

— Очень просто: чтобы уравновесить силы поляков и петлюровцев в этом их возможном конфликте, но и попугать каждого из них другим.

Фредамбер пожал плечами.

— Простите, сэр, но я опять не понимаю. Если я не ошибаюсь, президент Вильсон оповестил, что собирается вмешаться в польско-петлюровский конфликт и даже посылает своего представителя, чтобы провести польско-петлюровские мирные переговоры.

— Вы не ошибаетесь, Фредамбер. Американский представитель едет мирить поляков и петлюровцев, для того чтобы бросить их совместно против большевиков. Поляки обязаны не драться с петлюровцами, а идти маршем на Брест-Литовск — для нанесения удара по правому флангу большевистского наступления на Украину. Следовательно, в интересах войны против большевиков легион маршала Дзяволтовского будет там особенно необходим. Общественное мнение в Европе тоже будет вполне удовлетворено подобным толкованием.

Риггс снова оборвал сам себя.

— Поймите, Фредамбер, что война против большевиков — это наше первое дело. Но, кроме указания президента, мы имеем совершенно точные указания и через банк Рокфеллеров. «Вакуум-ойл компани» приобретает сейчас нефтяные промыслы в Галиции. Однако еще неизвестно, кто же будет продавцом — поляки или петлюровцы? Поэтому, чтобы будущий неизвестный продавец был сговорчивее, надо сейчас обхаживать обоих. Это и собьет цену по крайней мере на половину, а то и на две трети. Некоторая доля от куртажа перепадет, конечно, и вам за передислокацию польского легиона... Теперь вам понятно, Фредамбер?

— Вполне, сэр!

Впрочем, с минутку Фредамбер еще колебался.

— Но... как объяснить все это генералу д'Ансельму? Снять с фронта белополяков, в то время как на фронте и без того неудачи и петлюровцы отступают?..

— Ах, господи! — отмахнулся Риггс.— Ну, купите ему какую-либо скульптурку, какого-нибудь там фавна с нимфой или еще что! В конце концов растолкуйте ему прямой расчет такого стратегического маневра: удар во фланг по большевистскому наступлению силами польского легиона должен ослабить силу большевистского удара на центральном участке фронта, который вынуждены принять на себя французские части. Это же маневр, Фредамбер! Да генерал за подобную идею признает вас гением дальновидной стратегии! Идет?

Фредамбер попытался улыбнуться.

— Пожалуй, подойдет, сэр.

— Ну и прекрасно!

Риггс налил себе виски с содовой и грустно вздохнул:

— Боже мой, боже мой, какие, однако, все на свете жулики...

Фредамбер не совсем понял, о ком речь, и поэтому на всякий случай промолчал.

Но Риггса охватило уже лирическое настроение. Он глотнул виски и сказал:

— Что касается всех этих петлюр в шароварах или галантных генералов, то, по-моему, единственная их ценность заключается в том, что цена каждому из них отдельно — два цента и один цент сдачи.— Риггс хлопнул ладонью по столику и в приступе отчаянной откровенности признался: — Черт меня побери, но если по правде сказать, то думаю, что единственной реальной силой цивилизации здесь, на одесском плацдарме, является только Мишка Япончик. По крайней мере он точно знает, чего он хочет, и требования его вполне реальны: кошелек — или жизнь! А этим балбесам захотелось, видите ли, и кошелька, и жизни, да еще усесться на царский престол или в президентское кресло и подрыгать ногами. Фанфароны, черт их побери! Ни одного из них я не решился бы сделать прямым агентом в моей разведывательной сети — ненадежный элемент, подведут...

При воспоминании о Мишке Япончике Фредамбер заволновался. Он еще раз пережил то отвратительное чувство пустоты в кармане после того, как оттуда вытащат миллион. Помолчав немного и дав Риггсу допить стакан до дна, он сказал:

— Кстати о Мишке Япончике. Он мне вчера вечером звонил...

Риггс был приятно удивлен.

— Браво, Фредамбер! У вас завязываются тут знакомства в самых высоких сферах! Что же вы мне раньше не рассказывали о вашем новом приятеле? Давно ли вы с ним познакомились? При каких обстоятельствах?

Конвульсия перекосила лицо Фредамбера — воспоминание о знакомстве с Мишкой Япончиком никогда не проходило бесследно для его нервной системы.

Он проворчал:

— Он сам навязался со своим знакомством...

— Чудесно! — констатировал Риггс.— Его желание завести с нами более тесное знакомство может свидетельствовать только о безусловном росте здесь нашего престижа среди самых широких слоев населения. Чего же хочет от нас король одесских гангстеров?

— Он набивается с продажей.

— Что он продает?

— Ласточкина.

— Кто этот Ласточкин?

— Купец второй гильдии.

— На кой черт он нам?

— Его зовут Николай.

— А что из этого? Моего двоюродного брата в Филадельфии тоже зовут Николас. Но я и не предполагал, что его можно выгодно продать.

Фредамбер неодобрительно, а вместе с тем и ехидно поглядел на своего шефа.

— Но купец второй гильдии Николай Ласточкин связан с большевистским подпольем.

Риггс насторожился.

— Что вы хотите этим сказать, мистер?

— «Николай» — это кличка главного руководителя одесского большевистского подполья.

Риггс свистнул.

Минуту он с искренним восхищением глядел на своего агента. Потом сквозь восхищение промелькнула искра зависти. Наконец, все эти переживания сменило выражение недоверия.

— Разве мало Николаев на свете?

— Да будет вам известно, сэр, что, по сведениям контрразведки, полное имя руководителя большевистского подполья — Николай Ласточкин. Судите сами — может ли быть такое совпадение, чтобы в большевистском подполье было два Николая Ласточкина?

— Нет,— авторитетно подтвердил Риггс,— в подполье это невозможно, подпольщики никогда не дублируют кличек. Это, безусловно, настоящий Ласточкин.

После этого наступила пауза. Фредамбер тоже налил себе сода-виски, несмотря на то, что сода и была вредна для его желудка. Риггс чокнулся с ним. Оба они были в эту минуту взволнованы.

Выпив и несколько успокоившись, Риггс спросил:

— Сколько?

— Двести тысяч.

Риггс ворчливо огрызнулся:

— Голову Котовского мы оценили только в пятьдесят тысяч.

Риггс был скуп.

Фредамбер возразил:

— Но Котовский — только один из большевистских вожаков, а Ласточкин — главный руководитель.

Это было существенное замечание.

Риггс молчал. Он раздумывал, конечно, не о деньгах; деньги были не его собственные, а из кассы Эф-Би-Ай. К тому же, как настоящий американский бизнесмен, Риггс хорошо понимал, что деньги в кассе ржавеют, а в обороте начинают блестеть, принося дивиденды. Дивиденды для агента американской разведки неплохие: сам руководитель большевистского

подполья! Риггс раздумывал над другим: как бы оттереть от этого дела Фредамбера, чтобы все дивиденды — и слава разведчика и денежное вознаграждение за удачную операцию — достались только ему?

Фредамбер тоже молчал. Он молчал потому, что сам испугался своего предложения. Ведь Мишка Япончик требовал за помощь в поимке Ласточкина только сто тысяч, а двести — это уж Фредамбер сам набил цену перед Риггсом, чтобы компенсировать хотя бы частично свои потери на Мишке Япончике.

— Что ж,— наконец, провозгласил Риггс,— я согласен.

В счет за поимку Николая Ласточкина он уже решил поставить четыреста тысяч, а Фредамбера с помощью генерала д'Ансельма убрать ко всем чертям! Можно, скажем, довести до сведения французского генерала кое-какое... неодобрительное отношение его начальника штаба к французской политике. Контроль над французской политикой он, Риггс, сможет осуществить теперь, когда позиции его укрепились, и без Фредамбера. Английскую политику он сумеет контролировать через коммерческого секретаря Багге. А за деникинцами он будет присматривать через агентов консула Энно. А Ласточкина... Ласточкина пусть добудет Ева с помощью своего Ройтмана, который тоже связан с Мишкой Япончиком,— раз теперь уж точно известно, что добывать надо именно Ласточкина.

На всякий случай Риггс счел необходимым заметить, так, будто между прочим:

— Кстати сказать, я получил извещение, что к нам прибывает подкрепление. Моим заместителем в миссию едет полковник Багман, а также персонал: капитан Штейнберг, лейтенанты Уатгауз, Аллен и Джекс. В скором времени прибудет и состав консульства США. Его должен возглавить консул Дженкинс, вице-консулами едут Дулитл и Бури, ну, и консультанты Полярд и Олсон.

Не было никакого сомнения, что и среди новых сотрудников военной миссии США и в аппарате консульства будет не один парень из Эф-Би-Ай. Риггс имел основания предполагать, что агентуре может стать тесно.

— Опасаюсь,— сказал он, считая необходимым заранее посеять в душе Фредамбера тревогу,— что надо ожидать коекаких изменений и в нашей разведывательной сети... Словом, надо поторопиться! Ни на минуту не будем откладывать поимку этого самого «товарища Николая». Тем более что и Ева напала уже на кое-какие следы...

Это было сказано для того, чтобы Фредамбер намотал себе на ус: если Ласточкина действительно «купят» через Мишку Япончика или того же самого Ройтмана, можно будет сослаться, что дело не в Япончике и не в помощи Фредамбера, а Риггс с Евой постарались здесь собственными силами.

В это время в кабинет Риггса вошел Гейк Шеркижен. Он был взволнован.

— Вы видите? — закричал он с порога.

— Что такое? Что нужно видеть? И чего ты так перепуган, точно за тобой гонятся кредиторы?

— Как, вы ничего не видели? Смотрите же!

Шеркижен подошел к окну, указывая рукой на бульвар.

Риггс, а за ним и Фредамбер тоже подошли к окну.

То, что они увидели, действительно могло и поразить и взволновать. Весь бульвар — от конца до конца, сколько хватал глаз, ограниченный в поле зрения рамой окна справа и слева,— был заполнен женщинами. Но это была не просто толпа. Женщины стояли стройными шеренгами в несколько рядов, плечо к плечу, как солдаты на параде. Их лица были обращены сюда — к окнам миссии Риггса.

— Что за чертовщина! — выругался Риггс.— Демонстрация, что ли? Чего они хотят? Что они кричат?

Двойные рамы изолировали от уличного шума, и с бульвара ничего не было слышно.

Риггс распахнул окно настежь.

Холод зимнего утра влился в комнату сильной струей, ветер зашелестел бумагой на столе, и легкий туман заклубился по комнате. За холодом, ветром и туманом вползли и звуки с улицы. То был звук сирены с какого-то далекого катера, свистки паровозов с подъездных путей в порту, гудок парохода на рейде. Слышны были даже удары прибоя за Карантинным молом. Но не слышно было ни одного звука с бульвара. Женщины ничего не кричали. Они стояли молча.

Риггс высунулся в окно и поглядел в обе стороны вдоль бульвара. Шеренги женщин, казалось, были бесконечны. Вправо от Риггса голова женской колонны упиралась в ступеньки здания думы. Влево колонна тянулась через весь длиннющий Николаевский бульвар за памятник дюку, очевидно до самого Воронцовского дворца. Тысячи, много тысяч женщин, выстроившись четырьмя шеренгами, стояли на бульваре спиной к морю и лицом к зданиям городской думы, американской миссии Риггса, помещения английского адмирала Болларда в «Лондонской» гостинице и резиденции французского консула Энно и командующего оккупационной армией генерала д'Ансельма в Воронцовском дворце — и молчали.

— Черт! — процедил сквозь зубы Риггс.— Они стоят так, словно каждый десяток или каждая сотня имеет своего командира! Чего они хотят? Что написано у них на плакатах?

Женщины стояли молча, и приблизительно каждая десятая держала в руках лист картона с надписью.

Фредамбер прочел:

«Хлеба!» Все плакаты были одинаковы. На всех написано только это единственное слово: «Хлеба!»

Тысячи одесских женщин стояли перед представителями власти, которая господствовала в городе, и требовали хлеба!

Женщины были разные. Большинство из них были одеты бедно — поношенная одежда, простые платки на головах. Это были работницы с заводов и фабрик, жены и матери рабочих или безработных. Немало было женщин, одетых хоть и скромно, но с претензией на элегантность. Это был мелкослужилый женский люд: служанки, мастерицы, рукодельницы, телефонистки или курсистки. Но были и женщины, одежда которых свидетельствовала о их былых достатках: хорошая, добротная одежда. Это были женщины-труженицы так называемых интеллигентных профессий, очевидно врачи, актрисы, бухгалтеры, или матери и дочери из этих семей. Они тоже требовали: «Хлеба!» Они объединились в этом требовании со всем женским населением родного города...

Женщины стояли без единого звука. К ним за их молчаливое требование не могла придраться даже полиция.

Это была молчаливая, но могучая демонстрация протеста.

— Где же мы возьмем для них хлеба? — кисло скривился Фредамбер.— И разве это наша забота — доставлять местному населению хлеб?

— Ах, дьявол! — прорычал Риггс.— Разве в хлебе дело? Да будь я проклят, если тут не обошлось без большевиков! На такую безупречную организацию способны только они! Собрать и организовать тысячи женщин! Вы, Фредамбер, старый холостяк, и вам не понять этого, но у меня — жена, теща и взрослая дочь, и, пожалуй, даже этих трех женщин я бы не сумел организовать так блестяще...

Риггс сердито захлопнул окно.

В это время в комнате секретаря зазвонил телефон.

Секретарь доложил через порог:

— Генерал д'Ансельм просит полковника Фредамбера.

Фредамбер взял трубку:

— Я слушаю вас, генерал!

Он услышал раздраженный и капризный голос генерала:

— Полковник! Где это вы пропадаете? Я ищу вас повсюду уже полчаса! Что вас занесло в американскую миссию?

Генерал нервничал и забыл, что час тому назад сам же велел своему начальнику штаба немедленно отбыть к главе американской миссии.

— Неужели вы ничего не знаете? Возмутительный случай неповиновения в армии! И не где-нибудь в Тирасполе или под Колосовкой, а здесь, под вашим носом, в самой Одессе! Солдаты не выполняют распоряжения офицеров! Ваша армия отказывается выполнять приказы командования!

Генерал был так взволнован, что забыл даже о том, что армией здесь командует он.

— Я прошу вас немедленно прибыть в штаб! Необходимы экстраординарные меры. Я жду вас!

Фредамбер извинился перед Риггсом и поспешил к своему разгневанному генералу.

4

Вопиющий случай неповиновения произошел на пробковом заводе Арнса.

Завод Арнса был специализирован на производстве товаров из коры пробкового дерева. Он выпускал изоляцию для судов, спасательные принадлежности, линолеум и обыкновенные пробки для бутылок.

Около двух недель завод бастовал. Требования забастовщиков были обычные — единственно возможные в условиях политического террора и оккупации: выплата задолженности рабочим и служащим, повышение расценок в связи с дороговизной, восьмичасовой рабочий день.

Владелец завода отказался удовлетворить требования рабочих и объявил локаут.

Рабочие были уволены, а завод был продан через миссию Риггса американской винодельческой компании.

Новый владелец — американская винодельческая компания решила совсем ликвидировать завод в Одессе и перевезти его оборудование в Румынию: там пробка была нужна для закупоривания бутылок с румынским вином, которое компания теперь экспортировала из Румынии в страны Западной Европы.

И как раз сегодня утром компания прислала на завод бригады слесарей, чтобы начать демонтаж оборудования.

Но бригады демонтажников не смогли войти в цехи. Все рабочие, уволенные в результате локаута, явились на завод. Пикеты заняли входы в цехи, остальные рабочие заполнили тесный заводский двор. Рабочий коллектив не давал своего согласия разорять завод и вывозить его за границу.

На заводских воротах шелестел на ветру широкий транспарант — белое полотнище с красными буквами:

«Имущество страны принадлежит народу».

Демонтажники — безработные одесские слесари с городской биржи труда — стояли с разводными ключами и ломиками на плечах перед заводскими воротами и перебрасывались шутками с пикетчиками.

— Жора! — кричали рабочие из-за ворот.— Иди домой спать!

— Шура! — откликались слесари с улицы.— Пойдем рыбку удить! На Ланжероне косяк скумбрии.

— Юра! — дразнили пикетчики.— А много тебе заплатили? Керенку за работу или две за душу?

— Заработаешь на пробку от бутылки! — с веселой иронией к самим себе отшучивались из толпы слесарей.

Представитель владельца завода направился к конторе, чтобы позвонить по телефону. Но на пороге конторы путь ему преградили пикетчики.

— Завод продан! — сказали они.— Твоя контора в Америке. Ну-ка, проваливай, пока цел!

Представитель владельца вынужден был бежать в ближайшую аптеку. Оттуда он позвонил и в полицейский участок, и в управление градоначальника, и в контрразведку. Из полиции ответили, что сейчас нет свободного наряда полицейских, из градоначальства — что дело надо изучить, в контрразведке — что эти события относятся к компетенции полиции и градоначальства. И полиция, и градоначальство, и контрразведка не осмеливались вступить в открытый конфликт с целым рабочим коллективом. Завод помещался в рабочем районе, и можно было ожидать поддержки рабочих и с других заводов. Контрразведка посоветовала представителю владельца обратиться непосредственно к французам: французам принадлежала наивысшая власть, они и должны отвечать за порядок в городе.

Представитель владельцев завода позвонил в штаб французского гарнизона.

В штабе французского гарнизона сразу же переполошились.

Ведь налицо был беспрецедентный акт общественного неповиновения! Ведь попирались священные устои частной собственности! Ведь происходила явная демонстрация против существующего режима: самоуправство, бесспорное проявление революционного своеволия!

В условиях военного времени инцидент надо было квалифицировать как антигосударственный акт.

И начальник французского гарнизона спешно отправил взвод стрелков для наведения порядка. Офицер, командир взвода, получил приказ: очистить заводское помещение и территорию завода от «посторонних лиц», которыми считались теперь рабочие, уволенные с завода, и обеспечить нормальные условия тем «рабочим», которыми теперь признаны были демонтажники.

Офицер получил также приказ — зачинщиков, призывающих «посторонних лиц» к неподчинению, а также «посторонних лиц», не желающих очистить территорию завода, арестовать.

Рекомендовалось прибегнуть к угрозе оружием, если будет оказано сопротивление; если же сопротивление будет организованное и массовое — применить оружие.

Через полчаса полсотни французских стрелков окружили территорию завода.

Большевики из заводского рабочего комитета еще ночью уведомили подпольный областком о событиях на заводе. За-

меститель председателя областкома Александр Столяров еще на рассвете прибыл на завод Арнса. Вместе с комитетчиками Столяров и принялся организовывать пикеты.

Когда французские стрелки окружили территорию завода и офицер подошел к воротам, навстречу к нему вышли председатель заводского комитета с девушкой-бухгалтером из конторы за переводчика и Александр Столяров.

Между ними произошел такой разговор.

Председатель комитета:

— Что вам угодно, господин офицер?

Офицер:

— Кто вы такой?

Председатель комитета:

— Я председатель заводского комитета.

Офицер:

— Мне не о чем с вами говорить: вы постороннее лицо. Будьте добры, освободите территорию завода. Впрочем, а кто вы такой?

Столяров:

— Я «постороннее лицо».

Офицер:

— Прошу вас удалиться!

Тогда председатель комитета заявил:

— Рабочие завода, которых вы называете «посторонними лицами», считают, что хозяева завода — они, а посторонним лицом является представитель американской компании, которая состоит в заговоре с бывшим собственником завода. Если вы пришли защищать их интересы, то мы считаем «посторонним лицом» и вас, господин офицер. Советуем вам уходить отсюда подобру-поздорову и заниматься своими делами. Рабочие завода уполномочили нас уведомить всякого, кто будет чинить препятствия нашему решению: на этом заводе мы зарабатываем себе на хлеб, и он является собственностью нашей страны,— демонтировать завод и вывозить его оборудование рабочие не позволят. Рабочие останутся в цехах и будут находиться там, охраняя завод до тех пор, пока не будет отменено распоряжение о демонтаже.

Александр Столяров добавил:

— Имейте в виду, господин офицер, что рабочие всех заводов города уведомлены о решении рабочего коллектива этого завода, и мы уверены, что все рабочие города поддержат нас в случае, если над нами будет учинено насилие. Советую вам, господин офицер, снять ваши караулы, возвратиться к себе в казармы и доложить вашему начальству о том, что услышали от нас.

Офицер слушал председателя комитета и Столярова, хмуро озираясь вокруг. Около ворот стоял пикет — человек десять рабочих. За открытыми воротами во дворе он видел толпу из

сотен людей. И пикетчики у ворот и рабочие во дворе были безоружны.

Офицер хмурился, ему, видимо, не по душе была вся эта «боевая» операция; был это обычный офицер-строевик, не привыкший к полицейской службе и безо всякого рвения относившийся к ней. Но он получил приказ и должен был его выполнять.

С минуту он колебался. Еще раз взглянул на пикетчиков и рабочих во дворе, бросил взгляд и на слесарей-демонтажников, толпившихся на улице у ворот завода. Лица у пикетчиков и рабочих были решительные и грозные. Демонтажники смущенно переминались с ноги на ногу и открыто подсмеивались: разумеется, они тоже были на стороне рабочих и уж во всяком случае искренне им сочувствовали.

Но офицер получил приказ и за невыполнение его должен был предстать перед дисциплинарным судом. В условиях военного положения в городе это будет полевой суд.

Офицер обернулся к группе солдат, стоявших позади него.

— Пройдите во двор и выгоните оттуда всех на улицу! — приказал он сержанту.

Два десятка солдат во главе с сержантом двинулись к воротам.

Пикетчики стояли неподвижно. Толпа со двора тоже двинулась к воротам, приблизилась к линии пикета и остановилась позади пикетчиков плотной массой.

Солдаты подошли к пикетчикам вплотную, но вынуждены были остановиться: перед ними была живая стена. Она колыхнулась, но не сдвинулась с места. Наоборот, люди на заводском дворе сомкнулись еще теснее.

На минуту тишина повисла над толпой. Молча стояли рабочие. Понуро молчали и солдаты.

Вдруг из толпы кто-то крикнул:

— Не посмеете!

С другого конца откликнулся другой голос:

— Долой оккупантов!

И тогда крики раздались со всех сторон:

— Убирайтесь во Францию!.. Наемники капитала!.. Христопродавцы!.. Душегубы!.. Палачи!..

Солдаты, держа карабины на изготовку, попробовали нажать просто грудью на стену толпы.

Но их было два десятка, а против них, крепко упершись ногами в землю, стояло несколько сотен тесно сомкнутых людей. Толпа даже не колыхнулась.

— Хамса подле американской акулы — долетел откуда-то веселый, задиристый юношеский голос.— Акула сделает «гам» — и «ваших нет»!

Момент был напряженный, но из толпы рабочих раздался взрыв хохота.

Солдаты подались на шаг и растерянно оглянулись на офицера. Они не понимали слов, но смысл выкриков был им понятен: вначале это были угрозы, а теперь над ними просто смеялись. Солдаты смущенно затоптались на месте, не зная, что делать.

Сержант подбежал к офицеру. Он что-то говорил ему, приложив к кепи два пальца, и эти два пальца дрожали. Офицер кусал губы, хмурился и нервно одергивал свой френч.

Столяров сказал что-то девушке-переводчице, и она, передавая его слова, обратилась по-французски к солдатам звонким девичьим голосом, прорываясь сквозь выкрики, смех и насмешки толпы:

— Солдаты! Мы не имеем к вам зла, но не делайте зла и нам. Ступайте восвояси, оставьте нас в покое. Мы хотим сами распоряжаться в нашей стране, а вы идите и наводите порядок у себя, во Франции!

Слесари-демонтажники тоже придвигались к воротам. Постепенно они присоединились к толпе заводских рабочих.

Офицер, нервничая, приказал сержанту:

— Арестовать зачинщиков! Тех двоих, которые подходили, и девушку.

Сержант откозырял дрожащими пальцами и подбежал к солдатам. Он взял четверых и направился к Столярову, председателю комитета и переводчице.

Но тут без команды, без призыва на помощь, без какого-либо знака несколько слесарей-демонтажников, а за ними и вся группа их товарищей с разводными ключами и ломиками в руках двинулись им навстречу и заслонили собой Столярова, председателя комитета и девушку-переводчицу.

— Не надо, ребята! — крикнул Столяров.— Не надо драки!

Но слесари-демонтажники уже стали плотной стеной между ним и солдатами, зажав в руках ломики и ключи.

Снова тишина нависла над толпой. Сержант, побелевший как мел, и такие же побледневшие четверо солдат остановились, беспомощно озираясь на офицера.

Офицер закричал:

— Если вы не прекратите сопротивления, я вынужден буду применить оружие!

Девушка перевела его слова, и толпа ответила грозным рокотом. Снова послышались выкрики со всех сторон:

— Убийцы!.. Бандиты!.. Кровопийцы!.. Стрелял уже царь Николай, пока его самого не расстреляли!.. Не посмеете, гады! Мокрого места от вас не останется!..

— Я буду стрелять! — закричал офицер.

И снова задорный юношеский голос перекрыл шум:

— Пойди-ка стрельни своей Клемансе в...

И снова смех покрыл голос юноши.

Тогда офицер подал команду:

— Кругом, ко мне!

Немедленно и охотно выполняя эту команду, солдаты мигом повернули кругом и четким шагом подошли к своему командиру.

— Кру-гом! — снова скомандовал офицер.

Не так охотно, но солдаты выполнили и эту команду. Теперь они снова стояли лицом к рабочей массе. Глаза их смущенно забегали в разные стороны, они не знали, куда девать их, мялись, не в силах выдержать взгляда нескольких сотен глаз людей, которые смотрели на них с презрением и ненавистью. Не более двух десятков шагов отделяли теперь их от рабочих...

— В последний раз приказываю,— крикнул офицер,— освободите территорию завода и разойдитесь!

Он был такой же бледный, как и его сержант, лицо его судорожно передергивалось.

Председатель комитета крикнул в ответ:

— Вы не посмеете! Французский народ вас накажет!

Тогда офицера охватило бешенство. Он взвизгнул: «К бою!»

— К бою! — взвизгнул он во второй раз, так как солдаты не спешили выполнять приказание: из полусотни стрелков по первой команде только пять или шесть — да и те не сразу — взяли карабины на изготовку.

Но команда прозвучала дважды, и двадцать стрелков подняли карабины и приготовились к стрельбе. Толпа застыла.

И в эту минуту Столяров, оттолкнув своих добровольных защитников, вышел вперед. Он быстро пошел прямо к солдатам, подняв руки вверх, будто желая остановить шквал огня,— и застыл перед шеренгой.

Это было настолько неожиданно, что офицер так и остался с открытым ртом — он как раз собирался подать команду «огонь».

Солдаты, держа карабины на изготовку, глядели на Столярова.

Какое-то внутреннее чувство бросило Столярова вперед — остановить огонь или принять его на себя. Но он даже до конца не продумал свой порыв и теперь собственно не знал, что ему делать. Он стоял с поднятыми руками, точно призывая выслушать его, и солдаты ждали, что же он скажет.

И действительно, надо было что-то сказать.

Но что сказать и как? Надо сказать что-то краткое, сильное и такое, что тронуло бы солдатские сердца сразу и до глубины. Но ведь Столяров не знал ни единого французского слова.

На одно мгновение руки Столярова — могучие, большие руки с широкими ладонями, покрытыми мозолями,— замерли поднятыми вверх.

И вдруг Столяров схватил руку сержанта и повернул ее

ладонями вверх. Это тоже была мозолистая рабочая ладонь. Столяров указал французу на свою и его ладонь.

— Рабочий! — крикнул Столяров французу громко, точно глухому. Он ткнул пальцем в мозоли на своей ладони, потом в мозоли на ладони сержанта.— Рабочий! Рабочий! — крикнул он.— Мозоли!

Сержант понял. Белый как мел, он пробормотал:

— Уй! Уй! Уврие... Рабочий... же сюи оси ен уврие... [1]

Столяров в это время уже схватил руку солдата, стоявшего в конце шеренги. Он тыкал пальцем в мозоли на его ладони и на своей.

— Рабочий!.. Уврие!..— прокричал он громко.

Он тыкал пальцем себя в грудь и в грудь солдата.

Все это произошло быстро, а дальше события пошли еще быстрее.

Вслед за Столяровым толпа от ворот тоже двинулась вперед. Люди вышли на улицу и побежали к шеренгам солдат — и рабочие со двора завода и демонтажники, стоявшие по эту сторону ворот. Люди окружили солдат, стоявших с карабинами на изготовку и готовых выполнить команду «огонь», хватали их за руки, отрывали их ладони от винтовок и поворачивали вверх. Они показывали пальцами на мозоли солдат, показывали и свои загрубелые, мозолистые ладони.

И все это были совершенно одинаковые — мозолистые, потрескавшиеся ладони — ладони тружеников.

И мозоли заговорили. Они держали речь! И это была как будто невразумительная, но на самом деле убедительная интернациональная речь — разговор трудящихся различных стран. Вначале он был без слов, потом обогатился и словами.

— Рабочий!..— кричали одесские рабочие.— Мозоли!

— Уврие! — отвечали солдаты французской армии.— Калю!

— Уврие! Калю! [2] — подхватывали одесские рабочие.

— Рабочие! Мозоли! — повторяли французские солдаты.

— Рабочий, крестьянин... Уврие, пейзан... Большевик!

Шеренга солдат сломалась, рассыпалась.

Каждого солдата окружили десятки рабочих, солдаты уже не держали карабины на изготовку: один опустил его к ноге, другой держал подмышкой, третий закинул на плечо, иной воткнул его штыком в землю.

— Штыки в землю! — крикнул Столяров.

— Штыки в землю! — подхватила толпа.

— А терр ле байоннет! [3]

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

---

[1] Я тоже рабочий *(франц.)*.

[2] Мозоли *(франц.)*.

[3] Штыки в землю! *(франц.)*

— Пролетэр де ту ле пеи, юнисе ву! [1]
— Да здравствует революция!
— Большевики! Большевики! Вив!..
«Ура» гремело на заводском дворе и в соседних кварталах.
Отовсюду сходился народ. Люди выходили из соседних домов, бежали из смежных улиц.
Мозолистые руки одесских трудящихся жали мозолистые руки французских тружеников — рабочих Парижа и Марселя, крестьян Шартра и Бретани. Их обнимали, их целовали, их подхватывали на руки и качали...
В Одессе на заводе происходило братание рабочих и крестьян всех стран...
Офицер был вынужден рапортовать начальнику гарнизона:
— Имел место акт неповиновения!
Солдаты не выполнили команды офицера.
Армия оккупантов не выполняла приказа своего командования...
Генерал д'Ансельм, командующий оккупационной армией, имел все основания рвать и метать.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Областком пришел к выводу, что днем всеобщего восстания в Одессе и на одесском плацдарме может быть намечено седьмое марта тысяча девятьсот девятнадцатого года. Участие в восстании должны были принять рабочие дружины города, крестьянские повстанцы и действующие в области партизанские группы.
Общая обстановка за неделю до назначенного срока складывалась так.
Николай Щорс, приняв командование Первой Украинской дивизией, которая получила задание освободить Правобережье от петлюровщины, шел форсированным маршем, взял станцию Казатин и с жестокими боями продвигался к Виннице. Директория из Винницы спешно перебазировалась на станцию Жмеринка. Таким образом, авангарды Красной Армии были от Одессы в четырехстах километрах.
Но на двухсотом километре довольно большой соединенный отряд подольских и бессарабских партизан во взаимодействии с местными повстанцами, железнодорожными рабочими и крестьянами окрестных сел внезапным ударом захватил станцию Вапнярку, разрубив пополам железнодорожную линию

---

[1] Пролетарии всех стран, соединяйтесь! *(франц.)*

Одесса — Киев. Территория, занятая войсками директории, таким образом, по линии железной дороги простиралась теперь лишь на полтораста километров.

Итак, Красная Армия с севера и партизаны с повстанцами с юга взяли в клещи лучшие петлюровские войска — гайдамацкие курени и полки сечевиков,— сжимали их и неустанно продвигались на соединение, вытесняя петлюровские тылы на Проскуров, Могилев и Каменец.

Одновременно мелкие партизанские группы местного значения беспрерывно беспокоили железнодорожную линию на участке Вапнярка — Одесса и стремились захватить железнодорожный узел Бирзулу, а за ним и Раздельную — в восьмидесяти километрах от Одессы.

А из Слободзеи, близ которой скрытно сгруппировались партизаны днестровских плавней, прибыл связной Котовского и сообщил, что надднестровский партизанский отряд готов к выступлению.

Такова была обстановка на левом фланге.

В центре, на севере, объединенные партизанские группы, созданные большевиками, прибывшие из Харькова и из одесского подполья, только что взяли станцию и город Вознесенск на Бахмачской железнодорожной линии. Рассеивая остатки петлюровцев, долинами рек они продвигались к станции Колосовка — в ста километрах от Одессы. Эта довольно значительная вооруженная часть именовала себя Украинской Красной Армией. В ее тылы через усеянную еще по городам петлюровскими и григорьевскими гарнизонами Елизаветградщину выходила уже и Красная Армия от Харькова и Екатеринослава.

А в направлении на Херсон — в семидесяти — восьмидесяти километрах от Одессы — из Каховки, Берислава и Олешек в постоянных стычках с деникинскими частями двигались и херсонские партизаны. Здесь активность партизан была особенно высока, но и сопротивление деникинцев, поддержанных греками и французами, было исключительно упорным; местечко Олешки за десять дней пять раз переходило из рук в руки. От Никополя и Каменки сюда спешили повстанцы на помощь.

Такова была обстановка на правом фланге.

Стремительное движение боевых красных колонн со всех сторон на юг и было претворением единого плана верховного командования Красной Армии.

Условия для восстания на одесско-николаево-херсонском плацдарме были благоприятны.

Но Одесский подпольный областком назначал днем всеобщего восстания седьмое марта не только потому, что положение на фронтах было благоприятным.

Второго марта в Москве должен был начать и седьмого марта закончить работу Первый Конгресс III Коммунистического Интернационала.

Подпольные партийные организации по всей области еще на областной партийной конференции, которая происходила в условиях подполья в конце января, уже получили указание подготавливать свои силы к началу всеобщего восстания именно в этот день.

Однако окончательно день восстания мог быть определен лишь после того, как Военно-революционный комитет до конца выявит готовность сухопутных частей союзнического десанта и особенно экипажей кораблей французской эскадры поддержать восстание. Повернуть оружие против своего командования надо было хотя бы в небольшом количестве французских батальонов. В остальных действующих частях достаточно было массового неповиновения и отказа выступить на позиции. Это гарантировало бы деморализацию армии интервентов и провозглашение «невмешательства» всеми другими частями франко-греческого десанта. Армия интервентов на одесском плацдарме насчитывала уже к этому времени в своем составе до семидесяти тысяч бойцов, а вместе с деникинцами и остатками белополяков — около ста тысяч. На вооружении у сил контрреволюции были сотни орудий, тысячи пулеметов, бронемашины, а также невиданные еще боевые чудовища — танки. Эскадра из шестидесяти боевых кораблей угрожала с моря Одессе, Николаеву, Херсону более чем тысячью жерл дальнобойной артиллерии.

Парализовать угрозу с моря, заставить корабельную артиллерию остаться немой в момент восстания — в этом и была сейчас основная задача большевистского подполья.

Экипажи кораблей французской эскадры должны были изолировать офицерский состав и снять замки с орудий.

Красные флаги на мачтах французских кораблей и должны были стать сигналом к началу всеобщего восстания.

Поэтому особо важным было решение, которое примет делегатское совещание представителей подпольных комитетов на судах эскадры с представителями подпольных комитетов в готовых уже к неповиновению сухопутных французских частях. Таким образом, Иностранная коллегия должна была провести это совещание безотлагательно.

Одновременно председатель Военно-революционного комитета должен был встретиться с представителем центра организации восстания в англо-французском флоте.

2

Встреча Ласточкина с руководителем центра осложнялась тем, что миноносец, на котором находился этот французский моряк, был сейчас в распоряжении генерала Бартелло — глав-

нокомандующего всеми оккупационными войсками Антанты на юге России.

А генерал Бартелло предпочитал руководить действиями армии интервентов издалека — из столицы Румынии Бухареста. Поэтому миноносец большей частью отстаивался в румынском порту Галац, поджидая, пока генералу понадобится лично наведаться в какой-нибудь из русских черноморских портов — Новороссийск, Севастополь или Одессу.

Поэтому центр организации восстания на флоте поручил встретиться с председателем Ревкома члену центра — комендору с линкора «Франс» Мишелю.

Однако Мишель мог пробыть на берегу всего несколько минут — пока линкор «Франс» будет заливать пресную воду у пирса Военного мола.

Ласточкин, выйдя из конспиративной квартиры Морского райкома на Военном спуске — как раз против начала Военного мола — должен был пройти к кабачку «Не рыдай» на углу Приморской улицы.

Мишель, сойдя с палубы линкора «Франс», должен был Военным молом выйти на угол Приморской улицы с другой стороны и тоже пройти к кабачку.

Встретившись у стойки и попивая вино, они получали возможность обменяться несколькими фразами. После этого Мишель должен был сразу же возвратиться на свой корабль.

Охрану встречи несла дружина Морского райкома под командой Шурки Понедилка. В состав дружины входили обслуживающий персонал мола, вахтеры при выходе с территории мола, «хозяин» кабачка «Не рыдай» и его «судомойка» — пересыпская комсомолка из дружины Коли Столярова. «Виночерпием», наливавшим из бочки вино, на этот раз должна была быть Галя: она выполняла роль переводчицы при беседе Ласточкина с Мишелем.

«Мишель сходит по трапу!» — этот сигнал был подан обычным морским способом: флажком с кормы «Франса». Сигнальщик был из числа французских подпольщиков. Только сигнал был необычный — не по азбуке Морзе, а флажок просто выпал из рук, и сигнальщик нагнулся, чтобы его поднять.

В ту же минуту Шурка Понедилок вбежал в кабачок.

— Полундра! Все в порядке, товарищ Николай. Идет...

«Хозяин» кабачка сразу же метнулся к черному ходу — на стражу, «судомойка» расположилась у входа, протирая засиженное еще прошлогодними мухами окно; «виночерпий» оправила на себе передничек и принялась перемывать кружки подле своего бочонка.

Ласточкин стоял у второго окна.

Отсюда, из этого окна, не было видно начала мола, но конец его, где стоял линкор «Франс», был виден как на ладони.

Ласточкин видел стального цвета борт, легкий, ажурный бортовой трап. Вверху, у трапа, появилась фигура. Быстро, по-матросски, перебирая ногами, человек спустился вниз.

Пройдет еще минут пять, покуда Мишель не спеша, как на прогулке, пройдет мол, выйдет на улицу и откроет дверь кабачка.

Напрягая зрение, Ласточкин всматривался в фигуру моряка в синем кителе. Волнение переполняло сердце Ласточкина. Сейчас можно будет окончательно уточнить время всеобщего восстания. И сейчас он, представитель революционного народа Украины, встретится с представителем революционного народа Франции.

Человек в синем кителе быстро сбежал по трапу и не спеша направился вдоль пирса к воротам мола.

Вот он прошел уже половину расстояния, и сейчас его фигура, теперь уже отчетливо видимая, должна была исчезнуть из поля зрения Ласточкина, скрывшись за портовыми строениями. Теперь Ласточкин видел и лицо Мишеля и узнал его — по рассказам Жака оно было хорошо ему знакомо. Лицо Мишеля, опаленное солеными морскими ветрами, было смуглое, загорелое, несмотря на то, что стояла только предвесенняя пора. Мишель небрежно сдвинул берет на затылок; ему было так приятно пройтись по свежему воздуху, разминая ноги, вдыхая ароматы земли, которые приносил легкий ветерок с берега. Мишель шел не спеша, подставляя лицо первым теплым лучам раннего весеннего солнца. Вот он широко улыбнулся и что-то крикнул матросу, идущему навстречу ему от ворот. Ну, известное дело, он спрашивал у товарища, есть ли тут поблизости кабачок, где можно пропустить стаканчик-другой. Матрос улыбнулся в ответ и, обернувшись к берегу, указал рукой по направлению к «Не рыдай».

«Хороший конспиратор! — сразу же определил Ласточкин.— Место встречи и без того ему хорошо известно, но он позаботился подчеркнуть тот факт, что придет случайно в кабачок «Не рыдай», на угол Приморской улицы».

Ласточкин отошел от окна и остановился у двери.

Дверь широко растворилась, и на пороге с улыбкой на лице, сверкая белыми зубами под острым с горбинкой носом, остановился стройный, сухощавый моряк.

— Бонжур! — сказал он, как будто и взаправду вошел сюда только для того, чтобы опрокинуть стаканчик вина.

Он галантно откозырял Гале, стоявшей возле бочки с вином, и девушке у окна, но глаза его смотрели на Ласточкина просто, весело и приветливо.

— Николя́? — спросил он.

Они подошли близко один к другому и крепко пожали друг другу руки.

Горбоносый Мишель широким размахом, по-дружески по-

дал руку Ласточкину, как старому приятелю, и, потряхивая, крепко пожимал ее. Глаза его искрились улыбкой.

С минуту русский и француз глядели друг на друга.

Ласточкин почувствовал, что и Мишель, так же как и он, в эту минуту исполнен чувства глубокого волнения, и в глазах его прочел те же мысли, какие волновали и его, Ласточкина. Вот и встретились два народа, вот и пожали руки, вот и закрепили дружбу на верность, на совместную борьбу.

Мишель что-то сказал, но Ласточкин не понял, а Галя еще не начала переводить.

Она подняла глаза от своего бочонка, обращаясь к Мишелю:

— Николя не знает французского языка, я буду переводить. Привет, товарищ Мишель!

— Привет, неизвестная прекрасная девушка! — сразу откликнулся матрос.— Привет, первая революционерка великого народа, с которой я говорю!

Но Галя была сурова, как часовой на посту.

— Сколько у вас времени для беседы? — быстро спросила она.

— О! — Лицо Мишеля на мгновение помрачнело.— Только пять — десять минут.— Однако улыбка снова расцвела на его лице.— Вив ля Рюсси! Вив л'Украин!

Два стакана с вином уже стояли на прилавке, и Галя, пододвинув их к краю, сказала:

— Отпейте на всякий случай.

— Зачем же на всякий случай? Мы выпьем от чистого сердца!

Мишель поднял стакан — времени действительно было в обрез — и, чокнувшись со стаканом Ласточкина, который тот еще не успел поднять, кивнув Гале, девушке у окна и отхлебнул зараз добрую половину.

— За международную солидарность рабочего класса! — сказал он, и Галя перевела это добросовестно.

Ласточкин быстро произнес:

— Я поставлю вам только один вопрос, и вы дадите мне на него ответ. Но прежде всего: что вы хотите сказать мне? Имейте в виду, что у нас лишь пять — десять минут,— с сожалением добавил он и тоже улыбнулся. Разговаривая с горбоносым Мишелем, нельзя было не ответить улыбкой на его улыбку, как бы серьезна и важна ни была тема беседы.

Мишель сказал:

— В сердцах французского народа не угасает любовь к светлой памяти парижских коммунаров и ненависть к версальцам прошлых времен и настоящих.

Он тоже говорил торопливо, стараясь изложить свои мысли

в эти краткие пять — десять минут. Галя едва успевала за ним.

— Но во Франции нет еще партии, которая бы имела непоколебимый авторитет среди рабочих и крестьян и способна была возглавить борьбу пролетариата, как это у вас, в прекрасной России.

Он внимательно вслушивался в слова Гали, когда она переводила, словно зачарованный звуком чужой, незнакомой ему, но милой для его слуха речи. Когда Галя закончила и подняла на него глаза, подгоняя нетерпеливым взглядом, Мишель снова улыбнулся — на девичий взгляд он не мог отвечать без улыбки — и сказал:

— Но тут, на великой русской земле, на родине пролетарской революции, мы докажем, что и французский пролетариат способен создать партию интернациональной солидарности трудящихся — коммунистическую партию!

Галя бросила тревожный взгляд на окно, потом на ходики на стене: минуты бежали с удивительной и неумолимой быстротой, а запальчивый француз не умел говорить кратко и невозвышенно.

Ласточкин перехватил ее взгляд и сказал:

— Вы подвели меня к моему вопросу. Какова ваша цель и что намерены вы сделать, чтобы помочь нашему народу освободиться от интервенции?

Мишель ответил неожиданно коротко и лаконично, словно излагал боевое задание:

— Поднять на восстание французскую оккупационную армию и флот!

Подождав, пока переведут, он нетерпеливо добавил:

— Мы считаем, что самое справедливое — это передать эскадру интервентов российскому советскому правительству.

— Спасибо,— сказал Ласточкин.— Готовы ли вы в день седьмого марта изолировать офицеров, снять замки с орудий и поднять красный флаг?

Мишель подумал с минуту и сказал:

— Пусть будет седьмого марта! Но внесите поправку, если на совещании представителей всех наших судов с вашей Иностранной коллегией станет очевидным и неотвратимым какое-нибудь препятствие. Наш связист тогда уведомит наш центр. За точность уведомления не беспокойтесь.— Он улыбнулся.— Сообщение будет со скоростью искрового телеграфа: радиорубка на флагманском судне — наша.— Он снова улыбнулся.— Как, кстати сказать, радиотелеграфная рубка местного командования — ваша.

— Однако вы проинформированы...— начал было Ласточкин, но Галя сурово взглянула на него: ходики на стене показывали, что беседа длилась уже двенадцать минут.

— Вам нужно идти, товарищ Мишель! — строго сказала она французу.

— О, суровая, неумолимая, но поэтому еще более прекрасная девушка!..

Мишель быстро схватил Галину руку и пожал ее коротко, но так, что Галя невольно вскрикнула.

Потом он протянул руку Ласточкину:

— До свидания, Николя! До встречи под красным знаменем!

На мгновение, на одно только мгновение они посмотрели друг другу в глаза — и каждый увидел в глазах собеседника твердую решимость и радость от сознания этой решимости. Однако ходики отметили еще одну минуту, и Мишель рванулся было к двери. Но вдруг повернулся к стойке, схватил недопитый стакан, быстро поднял его высоко, громко засмеялся и выпил до дна.

— Пусть живет Ленин в сердцах у всех людей!

Почти бегом он кинулся к порогу и, блеснув улыбкой, исчез за дверями.

Ласточкин снова подошел к окну.

— Настоящий революционер! — сказала Галя.— Я верю ему... Я верю в него,— поправилась она.— Верю в них.

— Да... хороший человек...— с теплотой промолвил Ласточкин.

Он все глядел в окно и ждал, когда Мишель появится из-за пакгауза на территории мола. Он видел, как четверо дружинников, дежуривших у кабачка, сошли на мостовую, прикидываясь, что затеяли ссору между собой, однако не отрывали пристального взгляда от ворот мола. Они были готовы в любую минуту в случае необходимости броситься на помощь, в бой и отдать, если надо было, жизнь. Каждый держал руку в правом кармане, сжимая гранату. Дальше, у ворот, стояли два вахтера. Они держали в руках винтовки: они несли охрану у входа к молу. Их служебной обязанностью было не пропускать туда никого из горожан. Их задачей, как подпольщиков-дружинников, было: в случае необходимости защитить француза в синем кителе, хотя бы и ценой собственной жизни. Таков был приказ партии... А вон прошел и Шурка Понедилок. Матрос Шурка Понедилок, несомненно, гулял и наслаждался своим отпуском, он даже грыз семечки, но зорко поглядывал вокруг из-под надвинутой на самые брови бескозырки.

Но почему же так долго не появляется из-за пакгауза Мишель?

Сердце Ласточкина уже начинало тревожно биться.

Но вот он облегченно вздохнул: фигура в синем кителе появилась из-за пакгауза. Мишель шел не спеша, лениво переваливаясь с ноги на ногу — такой характерной для всех моряков мира походкой. Только, пожалуй, походка его была еще медленнее обычной. Мишель отнюдь не торопился. Ему, конечно, надо было спешно явиться на свое судно, но ведь он

забегал в кабачок и, как свидетельствовала его походка, опрокинул наспех не меньше чем стаканчиков пять-шесть. Он, безусловно, в эту минуту наслаждался жизнью: ему приятен был солоноватый морской ветер и теплые лучи солнца в первый весенний день.

Мишель останавливался, заговаривал с каждым встречным, и те оглядывались с улыбкой, смотрели ему вслед: комендор с линкора «Франс» здорово-таки клюкнул...

Наконец, Мишель полез по трапу вверх. Он взбирался по трапу быстро и четко, по-морскому, но с явной тенденцией оттолкнуться от серого, стального борта корабля, который — и почему бы это? — так и надвигался на него, так и кренился к нему, так и силился столкнуть подгулявшего матроса с трапа в холодные волны.

Итак, на седьмое марта.

Теперь только договориться конкретно с французскими подпольными комитетами про роль в восстании подчиненных им подразделений или частей.

Таким образом, делегатское совещание Иностранной коллегии совместно с представителями судовых комитетов и комитетов сухопутных частей оккупационной армии для создания «центра руководства восстанием» можно было назначать хотя бы и на завтра — второе марта.

3

Но делегатское совещание не состоялось.

Первого марта вечером, после заседания Иностранной коллегии, на котором были окончательно разработаны и уточнены все детали по охране делегатского совещания, назначенного на завтра, Жанна Лябурб возвратилась в свою городскую квартиру по Пушкинской, 24. Она пришла вместе со Славком, который на эту ночь должен был получить убежище у нее, чтобы с утра поспеть на место назначения.

Но как только Жанна со Славком вошли, к дому подкатил грузовой автомобиль. С него соскочили десятка полтора вооруженных людей. Они заняли все ходы и выходы в доме по Пушкинской, 24.

В квартиру Жанны ворвались десять человек: пять деникинских офицеров и пять французских контрразведчиков. Их вела, размахивая пистолетом «кольт», рыжая контрразведчица с ярко накрашенными губами и густо подмалеванными ресницами. Жанна сразу же узнала ее: это была та рыжая девица, которую они с Галей видели в «Открытии Дарданелл» за столиком у входа. Рыжая ударила Жанну рукояткой кольта в лицо, потом подумала минутку и ударила также и Славка.

Контрразведчики тем временем уже шныряли всюду: открывали шкафы, выдвигали ящики, переворачивали мебель, вспарывали диваны и матрацы, срывали обои со стен.

Никаких партийных документов на квартире у Жанны не было. Десять контрразведчиков нашли лишь один-единственный номер подпольной газеты «Ле коммюнист». Это был последний номер, только вчера отредактированный Галей, только прошлой ночью отпечатанный подпольщиками-печатниками Яковлева в катакомбах на Куяльнике, только сегодня утром доставленный в город комсомольцами Коли Столярова,— и сейчас, в эту минуту, эту газету уже читали сотни и тысячи французских солдат и матросов в корабельных кубриках, в дортуарах казарм при мигании ночников.

В этом номере было помещено письмо группы французских солдат. Письмо начиналось так:

«Когда мы прибыли в Одессу, мы еще не знали обстановки в городе. Слепо подчиняясь офицерам, слугам капитализма, мы учинили надругательство над теми, о ком мы еще не знали, что они являются лучшими сынами первой, действительно социалистической республики.

Простите нас, братья и товарищи! Не считайте нас убийцами. Восемнадцатого декабря мы еще не знали, в кого и зачем мы стреляем!»

Заканчивалось письмо так:

«Наш выбор сделан. С нетерпением ожидаем того дня, когда сможем рассказать о том, что происходит здесь, и снять пелену с глаз французских трудящихся, обманутых лживой капиталистической прессой.

Мы горим желанием как можно скорее прийти на помощь Советской республике, единственной истинно демократической и социалистической республике!

Братский вам привет!!»

Ева Блюм прочитала письмо и еще раз ударила Жанну в лицо.

Руки у Жанны были скручены за спиной. Она плюнула рыжей девице прямо в ее подкрашенные глаза.

На столе контрразведчики нашли написанное, но неотправленное письмо. Жанна писала это письмо друзьям и товарищам — русским коммунистам — в Москву. Завтра это письмо должно было пойти подпольной почтой — через девушек-связисток.

Ни одним словом письмо не открывало работы одесского подполья. Это было письмо к сердечному другу. Оно заканчивалось следующими словами:

«Самое трудное — впереди. Путь наш тернист. Может статься, что это мое последнее письмо. Обнимаю. Твоя...»

Контрразведчики торопились и нервничали. Они бросили связанных Жанну и Славка в грузовик, затолкав туда и

хозяйку квартиры с ее дочками — мастерицами из ателье на Ришельевской...

Машина остановилась на Екатерининской площади, 7,— у здания французской контрразведки.

— Раз контрразведка, значит будут пытать,— шепотом сказала Жанна Славку.— Мужайся, серб!

Она не могла пожать ему руку — руки у них были крепко связаны,— но прижалась плечом к его плечу. Серб ответил таким же сильным и продолжительным прикосновением.

В эту минуту к подъезду здания контрразведки подкатила и вторая автомашина. Жанна и Славко увидели окруженных белогвардейскими офицерами и французскими контрразведчиками Жака, Максима и Абрама.

— Боже мой...— прошептала Жанна,— не только мы... Провалилась чуть ли не вся коллегия!

Но их в это время вытолкнули из машины и потащили по ступенькам наверх.

Жак, Максим и Абрам были взяты в кабачке «Дарданеллы», где они после совещания коллегии задержались, беседуя с французскими моряками и солдатами.

Подкатила и третья машина. Из нее были выброшены прямо через борт со скрученными за спиной руками французы, арестованные в «Дарданеллах». Облава захватила всех находившихся в кабачке, и французов и местных.

Когда притащили всех в большой зал наверху, товарищи с ужасом убедились, что действительно провалилась вся Иностранная коллегия. В комнате ожидали уже и Алексей и Витек. Их захватили еще раньше — когда они выходили из кабачка после заседания. Можно было предполагать, что удалось спастись только Гале: она ушла с заседания, чтобы своевременно разослать очередной номер «Ле коммюнист» с письмом французских товарищей, раньше, очевидно до начала облавы.

4

Допрос был учинен немедленно и поспешно.

Для допроса даже не вызывали в другое помещение; палачи пришли прямо в зал, где сидели арестованные — со связанными руками, каждый между двумя белыми офицерами или французскими контрразведчиками.

И допрос проводился при всех.

Первым появился французский офицер, подвижной и юркий, с длинным утиным носом. На его мундире были знаки различия полковника полевой жандармерии. Глаза офицера подолгу не останавливались ни на ком, они все время так и шныряли по сторонам, лишь иногда всверливались в допрашиваемого острым и пронизывающим, но каким-то будто отсутствую-

щим, мертвым взглядом. Полковник жандармерии счел необходимым отрекомендоваться:

— Андре Бенуа, начальник тайной полиции Восточной армии.

За ним, не удостоив арестованных ни словом, ни взглядом, вошел высокий, статный, холеный, с аристократической внешностью генерал. На его лице застыла гримаса презрительно-высокомерного отвращения. Это явился сам, своей собственной персоной, командующий армией интервентов на одесском плацдарме генерал д'Ансельм.

За ним спешил полковник Фредамбер.

Потом появился генерал Гришин-Алмазов со своим адъютантом, корнетом-кавалергардом.

Два русских белогвардейских офицера внесли стол и кресла для высокопоставленных лиц и, отойдя в сторону, закаменели, вытянув руки по швам, готовые мигом выполнить любое приказание: сбегать за папиросами, замучить до смерти человека, поджечь целый город с женщинами, стариками и детьми.

В том, только в том и состояла их роль, чтобы по визгливому приказанию полковника жандармерии Андре Бенуа броситься к группе арестованных, схватить очередную жертву и притащить ее к столу, пред светлые очи вершителей судеб.

Когда вершители судеб расселись, в комнату ввалился еще и адмирал Боллард, услужливо поддерживаемый под локоть своим адъютантом. Адмирал Боллард петлял ногами: он постоянно был пьян не в меру, а в позднюю ночную пору всякие мерила и вообще переставали для него существовать.

Адмирал Боллард сел и попросил содовой без виски. Адъютант мигом отвинтил колпачок у одной из двух фляг, висевших у него на боку, и налил адмиралу безалкогольного напитка.

Обстановка, в которой проходил допрос, была необычна. В зале было полно людей — арестованных, охраны, ведущих допрос и их свиты. Дверь в соседнюю комнату была прикрыта неплотно, оттуда доносился пьяный галдеж и смех: там веселились французские и белогвардейские офицеры. Видимо, контрразведчики, доставившие арестованных, накачивались сейчас вином в честь своей «победоносной операции». Дверь в другую комнату была открыта настежь. В ней под охраной белогвардейских офицеров лежали на полу связанные французские матросы и солдаты, которых только что арестовали в «Дарданеллах» и доставили сюда.

Генерал д'Ансельм, заняв место председательствующего, брезгливо поморщился и ленивым движением глаз указал на дверь, за которой пили свою «победоносную» чару контрразведчики. Все адъютанты, опережая один другого, бросились к двери и плотно прикрыли ее. Пьяный галдеж стал менее слышным.

Лениво приподняв веки, генерал-аристократ безразличным взглядом окинул арестованных. Брошенные со скрученными за спиной руками, они валялись прямо на полу.

— Поднять! — коротко и чуть слышно приказал он.

Ударами прикладов и сапог арестованных подняли на ноги. По обе стороны каждого стояла охрана. Когда в ожидании конца длительного допроса товарищей кто-нибудь из арестованных не выдерживал и клонился к земле, охранники немедленно выпрямляли его ударами с обеих сторон.

Генерал снова утомленно смежил веки.

— Начинайте, офицер,— промямлил он, обращаясь к полковнику Бенуа.

Полковник Бенуа указал на Жака Эллина:

— Этого русского во французском мундире!

Два офицера, стоявшие наготове выполнить все что угодно, со всех ног бросились к Жаку. Но генерал остановил их жестом руки.

— Нет, нет! Эту...— он кивнул на Жанну.

Генерал-аристократ был галантным: первой, естественно, должна была быть женщина.

— Жанна Лябурб! — визгливо объявила Ева Блюм.— Француженка! Та самая, о деятельности которой во французских частях столько рапортов от всех контрразведок!

Она выкрикнула это с торжеством. Семнадцать контрразведок охотились за коммунисткой-француженкой два месяца, а вот она, американская контрразведчица, пошла сама и сразу же поймала.

Генерал с нескрываемым интересом поглядел на Жанну.

— Вы действительно француженка? — поинтересовался он.

Жанну поставили перед столом, и она ответила громко:

— Да, я француженка!

Генерал долго разглядывал Жанну. Он оглядел ее с ног до головы. Ее молодое живое и красивое лицо с синяком под глазом от рукоятки пистолета Евы Блюм, ее черные кудрявые коротко подстриженные волосы с небольшим серебряным клоком у правого виска, ее поношенное, старенькое драповое пальто, высокие ботинки на каблуках «контэсс».

— Вы коммунистка? — недоумевающе спросил генерал.

— Да, я коммунистка! — ответила Жанна.

Генерал опять, еще пристальнее, с еще большим любопытством, оглядел Жанну. Коммунистку, да еще и француженку-коммунистку, ему приходилось видеть впервые в жизни. Так вот какие они!

Генерал вежливо, даже галантно, но с искренним удивлением в голосе сказал:

— Но ведь во Франции нет коммунистической партии и... никогда не было. Если не считать тех... давно истлевших под стеной Пер Ляшез, парижских коммунаров. Как же вы —

французская коммунистка, когда нет французской коммунистической партии?

Жанна ответила:

— Я — член русской партии коммунистов, но француженка — и горда этим! Но партия коммунистов во Франции тоже будет. Можете считать, что она уже есть.

Генерал с интересом выслушал слова Жанны и иронически спросил:

— Можно полюбопытствовать, откуда же она возьмется?

— Ее создадут солдаты вашей армии здесь, на русской земле! И создадут ее еще до того, как вы, генерал, истлеете под... стеной версальцев!..

Генерал д'Ансельм поморщился. Конечно, он сам француз и знает, что французы горячие головы, а речь у них непременно патетична. Но генерал был аристократ и знал, что патетичность — не «комильфо»: язык плебса, язык черни. Для него не было сомнения в том, что перед ним какая-нибудь швея, прачка, служанка...

Успокоившись на этом, он, однако, еще поинтересовался:

— Кем вы были там, во Франции, что делали, ваша профессия?

Жанна ответила и на это:

— Я была швеей, прачкой, потом прислугой.

Генерал усмехнулся, довольный своей прозорливостью.

— А здесь, в этой... в России? — поинтересовался он еще.

Жанна и на этот раз удовлетворила его любопытство:

— В России я также была служанкой, потом гувернанткой. Потом пошла на баррикады и боролась против буржуазии за пролетарскую революцию!..

С генерала было достаточно, и, откинувшись в кресле, он кивнул полковнику Бенуа:

— Продолжайте, офицер.

Полковник Бенуа, которому давно уже осточертели неуместные вопросы генерала, грубо закричал:

— Вы большевичка! Вы деморализовали французских солдат, подбивали их на непослушание, неподчинение, сеяли антигосударственные настроения! Вы призывали их к восстанию против существующей власти! Какова цель всей этой вашей деятельности?

Жанна сказала:

— Я считаю, что уже полностью удовлетворила ваше любопытство. Больше ни на один вопрос я отвечать не стану. Заявляю только, что вы понапрасну наделали шуму. Все люди, которых вы притащили сюда, неизвестны мне, и они не являются членами подполья, за которым вы охотитесь. Для вас же самих будет лучше, если вы закончите на мне всю эту комедию и отпустите всех по домам.

— Даже если эта «комедия» закончится для вас, Лябурб,

трагически? — снова, как бы просыпаясь, открыл глаза генерал д'Ансельм.

Жанна ответила твердо:

— Я не сомневаюсь, что для меня она окончится трагически. Но все эти люди оказались совершенно случайно в тех местах, где вы охотились за мной и другими большевиками-подпольщиками.

Генерал Гришин-Алмазов быстро спросил:

— А где же тогда действительные подпольщики-большевики? Кто они? Вы знаете их? Назовите!

Жанна смотрела на генерала-душку одну секунду, затем, отвернувшись, сказала по-русски:

— С тобой, предателем, лакеем, я вообще разговаривать не собираюсь. С тобой, бандит, поговорит твой народ...

Гришин-Алмазов побледнел. Ева Блюм хихикнула.

Полковник Бенуа стукнул кулаком об стол:

— Отвечайте на вопросы! Кто из присутствующих здесь ваши единомышленники?

Жанна молчала.

— Приведите того! — крикнул он.

Однако офицеры особых поручений не поняли, о ком идет речь.

— Ну, того! — обернулся Бенуа к Еве Блюм.— Вашего капрала!

Ева Блюм и оба офицера для особых поручений направились в комнату, в которой находились французские солдаты. Через минуту они возвратились, толкая впереди себя капрала, недавно захваченного Евой Блюм после его разговора с Галей.

Вид у капрала был страшный. Мундир свисал с его плеч лохмотьями, лицо было все в ссадинах, волосы сожжены с одной стороны головы. Капрал остановился, зашатавшись, между столом и Жанной. Жанна сразу же узнала его, несмотря на то, что палачи так изуродовали его лицо. Жанна поглядела капралу в глаза. Страдание застыло в глазах француза. Однако и он узнал Жанну. Страх промелькнул в его глазах. Но одновременно как будто зажглась в них и радость.

Что за радость зажглась в них? Радость оттого, что вот перед ним та неизвестная женщина, о которой его допрашивали и за которую его истязали,— вдруг появилась нежданно, и, следовательно, вместе с ней пришла и возможность избавиться от своих мучений? Вот же она. Это она...

— Кто это? — спросил Жанну Бенуа.

Жанна молчала.

— Кто эта женщина? — спросил Бенуа капрала.

Капрал... молчал.

— Ударьте его! — не открывая глаз, сказал генерал д'Ансельм.

Ева Блюм подскочила к капралу и ударила его.

Капрал зашатался, тут же выровнялся, но молчал.

— Дайте и этой! — прохрипел адмирал Боллард.

Ева выполнила и его приказ.

Жанна и капрал молчали.

За столом ведущих допрос тоже наступило молчание.

Неожиданно генерал д'Ансельм нарушил его. Ему уже наскучило. Возможно, он уже сожалел, что решил сам взяться за допрос и показать всем им, этим бездельникам контрразведчикам, как надо «вытягивать» признания из преступников. А может быть, его просто потянуло к его статуэткам. Он вернется сейчас к себе, в апартаменты Воронцовского дворца, и еще раз на сон грядущий вдоволь налюбуется этими милыми безделушками. Надо скорее кончать...

— Давайте следующего! — пробормотал он, не раскрывая глаз.

Вторым допрашивали Жака Эллина.

— Ваша фамилия?

Жак не ответил.

— Почему вы, русский, в форме французского моряка?

Жак не ответил и на этот вопрос.

— О чем вы говорили с французскими матросами и солдатами в подвальчике «Дарданеллы»? Не вы ли проникали на французские корабли в порту и восстанавливали матросов против командования? Какая цель всей этой вашей подпольной деятельности?

Жак оставил без внимания и эти вопросы.

Он стоял, глядя себе под ноги.

Он поднял взгляд только тогда, когда перед ним поставили капрала.

— Кто это?

Жак молчал, но пожал плечами. Он и вправду впервые видел этого французского солдата. А впрочем, он не мог ручаться за себя: сотни французских матросов и солдат видел он, со многими вел задушевные беседы, был связан самое меньшее с десятком французских подпольных групп.

Тогда спросили капрала о Жаке — кто он такой?

Капрал ничего не ответил.

Они оба не произнесли ни слова и тогда, когда Ева Блюм била их рукояткой своего пистолета.

Только когда генерал д'Ансельм утомленно махнул рукой, подавая знак, что с этим покончено — все ясно! — и время уже приниматься за следующего, а полковник Бенуа, сатанея, закричал: «Собака, ты будешь еще отрицать, что большевик?» — Жак усмехнулся и вдруг заговорил:

— Нет. Я большевик. А ты хуже собаки. Собака — полезное животное, а ты — вредный зверь, бесполезный даже для своих хищников хозяев.

Но после этого, что с ним ни делали, Жак не произнес ни слова и не застонал.

Затем допрашивали одного за другим остальных: одного короче, другого дольше, но каждого более зверски, чем предыдущего. Товарищи выдерживали истязания, мало кто стонал. Им грозили и расстрелом и виселицей, им обещали свободу и неприкосновенность, даже предлагали выезд в Западное полушарие, на легкое и беспечное существование — во Францию, Англию, Соединенные Штаты Америки. Их ставили к стенке и стреляли из пистолета, целя вокруг головы. Им напоминали о родных — матерях, женах, невестах, детях. Их спрашивали о последнем предсмертном желании.

Товарищи молчали, а если и говорили, то речь их была одна: отказ отвечать на вопросы.

Когда юного Витека спросили о последнем, предсмертном желании, он попросил закурить. Гришин-Алмазов галантно раскрыл свой серебряный с бесконечным количеством золотых монограмм портсигар и предложил «Посольские» — по специальному заказу фирмы Месаксуди в Симферополе. Полковник Фредамбер услужливо чиркнул спичкой.

Витек выкурил папироску, однако не стал разговорчивее. Он только сказал:

— Ну, прощайте! Нам не увидеться и на том свете: вы же попадете в рай, а мне дорога — в ад...

А капрал молчал и молчал. Его подводили к каждому и спрашивали, и каждого спрашивали о нем. Он уже не мог держаться на ногах, зверски истязуемый все время,— его поддерживали под руки два офицера для особых поручений. Но капрал молчал.

Когда генерал д'Ансельм, вконец заскучав, поднялся, чтобы идти, рыжая американка, держась за живот, спросила у капрала:

— Кто была та девушка, с которой ты разговаривал в кабаке? Где она сейчас? Ты знаешь ее?

И тогда капрал вдруг заговорил.

— Да,— простонал он, так как говорить уже не мог,— я знаю ее. Это — человек! Это — человек из тех, кого вы, животные, истязаете. Это самая лучшая на свете девушка, и я люблю ее! Люблю так, как люблю всех этих моих братьев...

К нему сразу бросились все. Капрал, наконец, заговорил! Даже генерал д'Ансельм вернулся с порога.

— Ты знаешь их всех, мерзавец! — закричал он, наконец, дав волю своему голосу.— Говори: кто они, эти люди здесь? Ты знаешь их?

Капрал покачал головой.

— Нет,— прошептал он в гробовой тишине, наступившей в комнате.— Я действительно, клянусь моей матерью, не знаю никого из них...— Он тяжело вздохнул — у него страшно за-

хрипело в груди — и закончил: — Но если бы я знал кого-либо из них или вообще кого-нибудь из этих настоящих людей, большевиков, я все равно не сказал бы вам ни слова ни о ком. Будьте вы прокляты вашими народами, породившими вас — насильников и убийц!

Затем всех потащили по лестнице вниз, снова на улицу и бросили обратно в машину. Арестованные французские солдаты и матросы остались наверху — ожидать своей участи.

5

Машина тронулась, сразу набрала скорость, и свежий соленый ветер овеял тела измученных людей.

Ночь была темная, безлунная, тучи громоздились на небосклоне, одинокие звезды там и сям проглядывали среди облаков и снова исчезали, проглоченные черными космами туч.

С площади машина повернула на Екатерининскую и понеслась по ней полным ходом. Промелькнул Театральный переулок, Дерибасовская, Греческая, Полицейская. Машина все увеличивала скорость — кварталы мелькали один за другим.

Измученные арестованные не в силах были стоять на ногах, они повалились на дно кузова и, когда машина подскакивала на ухабах, накатывались один на другого, причиняя друг другу мучительную боль. Охрана — деникинские офицеры и французские контрразведчики — плотным кольцом облепили борта машины. У каждого из охранников в руках был пистолет.

Машина мчалась, и темный, заснувший город мелькал с обеих сторон; быстрыми, пугливыми тенями пробегали контуры знакомых домов. За Рыбной грузовик, чуть не опрокинувшись на крутом повороте, завернул возле Привоза. Слева встало уже очертание массивного здания вокзала.

За вокзалом, вдоль железнодорожной линии, светились шеренги ярких фонарей. Там, за вокзальными корпусами, на пригородных линиях, жизнь не замирала ни днем, ни ночью — даже после комендантского часа. Пронзительно засвистела «кукушка», и сквозь грохот мотора грузовика было слышно, как грохотал буферами из конца в конец, останавливаясь, железнодорожный состав.

— Нас, кажется, везут в тюрьму...— прошептала Жанна.

Действительно, это была дорога в тюрьму: миновать станцию, Чумку, и за предместьем Сахалинчик — тюрьма. Жанна шептала совсем тихо, но ее шепот услышали остальные товарищи. Надежда затеплилась в сердце каждого: стало быть, не на расстрел, а пока в тюрьму. А в тюрьме...

А в тюрьме была надежда: товарищи не оставят, они сделают все, чтобы освободить, поднимут рабочие дружины, произведут налет, наконец — восстание...

Однако машина круто повернула влево.

Нет, не в тюрьму...

Внезапно сильный почти штормовой ветер налетел с моря. Холодный и пронизывающий. Весна уже шла, но и зима еще не хотела отступать.

Жанна полулежала, прислонившись спиной к кабине. Позади она видела черные контуры города. Они удалялись. Маячил лишь шпиль какого-то высокого, многоэтажного здания. Удивительная вещь: в этом доме, высоко вверху, может быть на седьмом или восьмом этаже, под самым шпилем, кто-то еще не спал, а может, проснулся рано и встречал наступающий день труда и борьбы. В темном очертании высокого дома в верхнем этаже светилось одно окно. Ярко освещенный прямоугольник как будто повис в воздухе — черное очертание дома сливалось с темным, покрытым тучами небом.

Машина пролетала квартал за кварталом, уже контуры города исчезли давно, а яркий прямоугольник освещенного окна все висел и висел между небом и землей — словно город смотрел единственным своим окном и не мог оторвать своего взгляда от черной машины, летевшей во мраке ночи неведомо куда.

Кто жил в комнате за этим окном?

И вдруг Жанне припомнилось другое окно — тоже вот так ярко освещенный прямоугольник высоко, на шестом этаже, в Москве, на Чистых прудах. За этим окном была комната ее друга. И Жанна, простившись с другом, когда выезжала сюда, на Украину, в одесское подполье, вышла на улицу ночью. Она попросила не провожать ее. Она шла и все оглядывалась на дом. И окно все светилось и светилось — будто посылало ей прощальный дружеский привет, желая счастливого пути.

Комната друга вспыхнула ярким фейерверком в сознании Жанны — каждая мелочь, каждая деталь. Большой литографированный портрет Ленина на стене, над письменным столом — фотография пожилой женщины, матери жениха, карточки невесты — Жанны... а вот и черты любимого друга...

Машина снова повернула, и прямоугольник между небом и землей — уже маленький, но все еще яркий — вдруг сразу исчез.

Может быть, это было последнее освещенное окно, которое видела в своей жизни Жанна.

Жак шепотом сказал ей:

— Жанна, нас все же везут на расстрел...

— Возможно,—прошептала Жанна.—Прощай, милый Жак...

— Прощай, Жанна... Хороша твоя страна — Франция, хороша и наша Россия...

Он придвинулся плечом к плечу Жанны, и Жанна ответила ему так же, как совсем недавно,— нет, это было уже очень, очень давно,— когда она прижалась плечом к плечу серба Славка.

Машина неожиданно остановилась. Товарищи снова накатились друг на друга. Абрам застонал — ему в контрразведке сломали ногу.

— Мужайтесь, товарищи!..— послышался шепот юного Витека.

Охранники один за другим стали прыгать через борт кузова.

— Гаси фары! — приказал старший офицер, выскакивая из кабины.

Фары потухли. Светлая полоса впереди машины исчезла. Наступила черная темень, только вспыхивали и гасли карманные фонарики конвойных.

— Поднимайсь! — прозвучала команда.

Товарищи стали подниматься.

Глаза понемногу привыкали к темноте, и стала чуть видной местность вблизи. Машина остановилась под высокой каменной оградой. С противоположной стороны, дальше, за трамвайной линией, тоже поднималась высокая каменная стена.

Алексей узнал:

— За стеной — еврейское кладбище.

Витек звонким молодым голосом крикнул:

— Господа убийцы! Вы недогадливы: ведь все мы — атеисты...

Несколько белогвардейских офицеров и французских контрразведчиков набросились на него.

Тогда великан Славко ударил одного палача головой в грудь, другого ногой в живот. Охранники набросились и на него, но он скинул их со своих могучих плеч и рванулся в сторону.

— Стой! Держи!..

Но Славко прыгнул в темноту — прочь от стены.

Загремели пистолетные выстрелы, вспыхнули фонарики, но слабый их свет вырывал из тьмы расстояние не более чем на пять шагов, а дальше темнота становилась еще чернее.

Славко сразу исчез в темноте.

Алексей и Максим тоже рванулись было бежать, но охранники уже сомкнули кольцо, и сразу несколько человек схватили каждого из них.

Звонкий голос Витека снова прозвенел в ночи:

— Смерть оккупантам! Да здравств...

Охранники кучей навалились на него и заткнули ему рот.

Разозленные тем, что один бежал, охранники начали озверело избивать всех. Втроем-вчетвером они бросались на каждого из беззащитных, связанных людей, били их кулаками, рукоятками пистолетов, прикладами винтовок. Когда кто-нибудь падал, его не поднимали, а просто топтали и кололи штыками.

В темноте ночи раздавались выкрики:

— Народ отомстит!.. Будьте прокляты!.. Да здравствует восстание! Ленин бессмертен!

Голос Жанны был последним:

— Да здравствует революция!

Потом в ночной темноте один за другим прогремело несколько выстрелов: растерзанных людей пристреливали на земле...

На рассвете, спеша из Сахалинчика на работу, рабочие консервного завода увидели на пустыре перед кладбищем трупы. Убитые были страшно изуродованы — опознать их можно было только по остаткам одежды.

Жанну Лябурб узнали по ее черным кудрявым волосам с белым клоком у правого виска...

6

Утром четвертого марта около морга, где лежали тела замученных, собралась толпа.

Рабочие с заводов на Пересыпи пришли колоннами. Каждая колонна несла десять венков.

Организованно прибыли студенты университета. Они тоже принесли десять венков.

Народ стекался со всех улиц.

И снова венки, венки, венки...

Конная и пешая полиция окружила толпу. На грузовиках прибыли французские и белогвардейские контрразведчики. В кузовах машин поблескивали пулеметы.

Перед многотысячной толпой появился начальник морга. Он сообщил, что морг пуст. Трупы ночью украдены...

Ночью к моргу подкатила машина контрразведки. Сторожа, не желавшего выдать тела, белые офицеры тяжко избили. Забрав трупы, контрразведчики скрылись.

Но в толпе уже появились люди, которые проживали поблизости от кладбища, и рассказали, что контрразведчики тайно ночью зарыли трупы в братской могиле на православном кладбище.

И толпа двинулась к кладбищу.

Тысячи людей двигались медленно, молча и торжественно, как на похоронах. Гробов не несли, но несли цветы и венки. Покойников не было, но люди шли убитые горем, как на похоронах. Это были действительно похороны, хотя и никого не хоронили.

Процессия растянулась на несколько кварталов. На тротуарах с обеих сторон ее эскортировала полиция — пешая и конная. Сзади с глухим грохотом двигались грузовики, и дула пулеметов были направлены людям в спины. Из пулеметов в любую минуту могли открыть огонь.

Люди несли цветы и венки в честь тех, кто погиб за народ. Люди болели сердцем за безвременную трагическую гибель других людей. И в этой сердечной боли, в этом глубоком чувстве проявлялось прежде всего единомыслие живых с погибшими. Многие даже не знали фамилий убитых; людям не были известны имена, но люди знали, за что погибли и кто погиб.

Встречные на перекрестках останавливались и обнажали головы. Тревожная тишина нависла над кварталами города. Невероятно было, что в многотысячной толпе может быть так тихо.

Не играл похоронный оркестр, не слышно было и похоронного напева.

Это была процессия народной скорби, но это была и демонстрация народного протеста — могучая и грозная.

Гале областком запретил идти с процессией. Славко уже сообщил все подробности ареста, допроса, пыток и расстрела. Не было сомнения, что Галю хорошо запомнила в лицо рыжая контрразведчица. Она, видимо, уже шныряла среди толпы.

Однако Галя не выполнила приказа. Она надела коротенькое платьице, детскую курточку со смушковым воротником, «пирожок» гимназистки с серебряным гербом и смешалась с толпой.

Впереди Гали шла группа интеллигентов, с виду — профессора университета или врачи. Галя слышала, как старичок с белой бородкой, покашливая, спросил у своего соседа:

— Скажите, пожалуйста, может быть вы знаете, это, очевидно, большевики?

Тот, к кому обращались, пожал плечами и ответил так же тихо:

— Не знаю, наверное.

— А вы не слышали, как фамилии убитых?

В голосе старичка было столько тревоги, что Галя пригляделась внимательнее. Старичок профессор ничем не был примечателен, в руках он держал букет цветов, редких для этого времени даже в оранжереях: белая сирень и красные пионы. Он тоже хотел положить этот скромный дар в знак своего уважения и своего сочувствия на могилу павших в борьбе.

Галя хотела приглядеться к нему еще внимательнее, чтобы запомнить навсегда этого старичка, с такой тревогой в голосе спрашивавшего фамилии погибших. Но слезы застилали ей глаза, и она не могла рассмотреть его как следует.

Галя тоже несла цветок, единственный цветок, который она отщипнула от большого венка рабочих завода Гена на Пересыпи. Кончики лепестков цветка были снежно-белые, а к середине чашечки зеленоватые. Это был предвестник весны — бульденеж. Точно такой же, как и те, которые по просьбе Жака ей приносили тайком комсомолки с Пересыпи в Куяльницкие

катакомбы. Галя хотела положить этот цветок на могилу Жака.

Над ее ухом кто-то прошептал:

— Ты все-таки пришла?

Галя оглянулась. Рядом, наклонившись к ней, говоря только одним движением губ, шел Ласточкин.

— Ты будешь отвечать перед областкомом! — прошептал он с угрозой. Потом добавил еще тише: — Ну уж ладно, иди... я предупрежу кое-кого из ребят, чтобы не спускали с тебя глаз...

Вдруг впереди себя Ласточкин тоже заметил старичка с цветами. В глазах Ласточкина — в эту тяжелую, в эту горестную минуту — засветилась радость. Он сразу же двинулся было к старичку. Но тут же отпрянул назад, втискиваясь в ряды идущих сзади людей. Галя удивленно оглянулась, но Ласточкина уже не было.

Когда Ласточкин увидел профессора Панфилова с цветами в руках, его первым движением было — подойти к профессору, пожать ему руку, обнять или просто ласково поглядеть в глаза. Но профессор, пожалуй, не имел понятия о конспирации и мог своей непосредственной реакцией выдать Ласточкина. В толпе было полно шпиков. Ласточкин решил, что будет благоразумнее отойти прочь...

На кладбище народ увидел свежий холм. Это был холм над большой могилой: десять человек лежали в ней. Это был не холм, а целая гора — большая братская могила.

Венки один за другим в торжественно-скорбном молчании ложились на могилу.

Один, десять, двадцать, тридцать...

Кинутый издалека — близко было невозможно протиснуться,— упал среди венков и букет из белой сирени и красных пионов. Упал и зеленоватый бульденеж...

Венки уже покрыли могилу снизу доверху, уже земли не стало видно из-под груды цветов, а гора цветов росла и росла... венки, венки, венки...

И тут народ не выдержал.

Люди не плакали, но из толпы чистыми девичьими голосами тихо полилась песня:

Над миром наше знамя реет...
Оно горит и ярко рдеет,
То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем!..

И тогда сразу сильные мужские голоса подхватили дружно с нескольких мест:

Долой тиранов, прочь оковы,
Не нужно старых рабских пут!
Мы путь земле укажем новый,
Владыкой мира будет труд...

Конные и пешие городовые бросились в толпу. Но в другом конце хор студентов университета неожиданно грянул мощно и организованно:

Вічний революціонер —
Дух, що тіло рве до бою...

Вдруг в эту минуту, возвышаясь над морем голов, появился матрос. Он точно вынырнул из толпы, словно людская волна выплеснула его. Бушлат его расстегнут, высокую грудь плотно облегала полосатая тельняшка. Матрос сорвал бескозырку с головы и потрясал ею — длинные гвардейские ленты вились и трепыхали. Матрос стоял на плечах товарищей и был выше толпы.

— Товарищи! — закричал Шурка Понедилок, и голос его зазвенел над многотысячной толпой.— Сегодня в Москве, на конгрессе коммунистических партий, создан Третий Коммунистический Интернационал — для борьбы против мировой буржуазии и контрреволюции. Товарищи! Смерть паразитам и контре! Долой Антанту! Да здравствует Третий Коммунистический Интернационал!

Полицейские, пробиваясь сквозь толпу, добирались уже к могиле, но Шурка Понедилок исчез. Он растворился в людском море, из которого и возник.

Затрещали пистолетные выстрелы. Кто-то закричал. Песня оборвалась. Но уже звучало в другом конце:

На баррикады!
Буржуям нет пощады!..

И над головами людей с визгом просвистели пули: контрразведчики со своих автомашин дали над безоружной толпой несколько пулеметных очередей.

В это время ветер донес грохочущими перекатами звук далекого, но мощного взрыва.

Это не был салют над могилами.

Но это был и салют: машинист Куропатенко с железнодорожниками пустили под откос за Второй Заставой французский эшелон с боеприпасами, который двигался на фронт под Колосовку.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Отряды Николая Столярова и Клима Овчарука встретились близ станции Долинской в Дендропарке.

Здесь, за двести пятьдесят километров от Одессы и километров за полтораста от Херсона и Николаева, Военно-револю-

ционный комитет назначил им место для сосредоточения сил и исходные позиции. Отсюда, развивая наступление на юг, объединенный отряд партизан должен был нанести удар по правому, восточному флангу «зоны» Антанты.

Партизанские отряды Столярова и Овчарука создавались на территории «прослойки», «семивластья», где «властей», однако, было значительно больше семи. Здесь, собственно говоря, каждый, кто, взяв оружие, ухитрялся сколотить вокруг себя небольшую группу единомышленников или подчиненных, немедленно же объявлял себя новой властью — «самостийной» и «независимой». Это как раз и была та территория «заслона» армии интервентов, на которой развивалось сейчас фронтальное наступление Красной Армии с севера — одновременно против всех контрреволюционных формирований и франко-греческих полчищ интервентов. Петлюровцы контролировали эту территорию с запада, деникинцы — с востока, и собственно здесь-то и проходил воображаемый рубеж между «сферами влияния» петлюровской директории и белой добровольческой армии. Однако ни у украинских националистов, ни у русских белогвардейцев так и не хватило сил установить на этой территории свою постоянную власть. Отдельные жовто-блакитные «атаманчики» и белые «генеральчики» носились тут взад и вперед по степным просторам, и их «власть» обычно кончалась за линией боевых дозоров, которые они выставляли вокруг своих временных, только на эту ночь, «столиц».

Слесарь Столяров и матрос Овчарук объявили себя представителями Советской власти, а свой объединенный отряд наименовали отдельным полком Красной Армии.

Столяров набрал свой отряд главным образом из бывших фронтовиков и горняков Криворожья, Овчарук — из бедняков хлеборобов и чабанов ингуло-днепровских степей.

Отряд Столярова в основном состоял из пехоты, к которой была придана батарея полевой трехдюймовой артиллерии. Овчарук посадил своих чабанов на коней, а для хлеборобов раздобыл тачанки. На каждой тачанке был пулемет. Кроме того, в отряде матроса Овчарука подобралось десятка полтора «флотских» — это были черноморские и азовские моряки, а также лоцманы Днепровской флотилии. Из них Овчарук создал особую ударную группу прорыва, которой было присвоено специальное наименование — «Полундра»...

У Столярова насчитывалось три сотни штыков, четыре орудия и пятнадцать пулеметов. У Овчарука было до ста сабель и тринадцать пулеметных тачанок.

В целом это действительно был полк.

При объединении отрядов командиром полка был выбран матрос второй статьи Овчарук, а слесарь Столяров принял на себя обязанности комиссара.

По случаю объединения партизанских групп и оформления

их в отдельный полк Красной Армии был устроен летучий митинг, который состоялся в парке, на широкой поляне близ большого пруда.

Стояла ранняя весна. Снег давно уже растаял под лучами южного солнца. Правда, земля и на поляне и под деревьями была белая, словно присыпанная снегом. Но это щедро вызвездило первым весенним цветом: буйно расцвел подснежник. Вокруг высились еще безлистные деревья, однако и они уже не были по-зимнему оголены: кое-где замелькала прозелень, набухали почки. Неожиданно и удивительно выглядел парк: каждое дерево здесь встречало весну по своему собственному календарю.

На огромной территории парка, что раскинулся в ложбине, среди безлесной степи, росло много различных пород деревьев. Были здесь деревья с далекого севера нашей отчизны, были деревья и из южных заморских стран. Здесь росли кедры — сибирский и ливанский, под сенью северной ели хоронилась южная маслина; рядом с черным африканским орехом тянулась к голубому небу стройная русская береза. Еще не сбросив сухой прошлогодней листвы, стоял дуб рядом с австралийским кленом, ветки которого были еще совершенно голыми; на ветвях вяза только-только появились твердые и холодные почки, но почки на конском каштане были уже теплые и клейкие; на вербе распускалась завязь, тополи обвесились сережками, а японская вишня расцвела нежным розовым цветом. В этой волшебной долине, средь бескрайной голой степи, сотни различных пород деревьев словно объединялись в своеобразный всемирный лес. Склоны оврагов, окаймлявших долину, местами круто обрывались, образуя нечто вроде ущелий, местами плавно спадали вниз.

Партизаны отдельного полка Красной Армии выстроились в каре. Посредине каре на тачанке стояли только что избранный командир полка, комиссар, знаменосец и пулеметчик. Старейший среди партизан, седой чабан Ковинько, держал знамя полка — красный стяг с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и с золотой эмблемой серпа и молота. Древко знамени было сделано из длинного чабанского посоха. Самый младший из партизан — юный рудокоп из Криворожской шахты «Нина» — сидел у пулемета «Гочкис», упертого треногой в сиденье тачанки.

Первым держал речь командир, матрос второй статьи Клим Овчарук. Он застегнул бушлат на все пуговицы, снял бескозырку и поклонился красным партизанам.

— Товарищи! — крикнул Клим Овчарук, и хриплый голос его разнесся по всей поляне, покатился над многочисленными породами деревьев степного леса.— Поднимем гордо наши седые и юные головы. Всем нам, и бородачам и таким, у которых нечего над губой ущипнуть, выпала большая радость и великая

честь — разрушить старый, эксплуататорский мир до основания и затем построить новый, в котором кто был ничем, тот станет всем! Правильно я говорю, товарищи флотские?

— Правильно! — в один голос гаркнул отряд «Полундра».

— Правильно! — прокатилось по каре.

Все здесь — и пехотинцы, и кавалеристы, и пулеметчики на тачанках — прекрасно понимали, что командир говорит сейчас со всем полком, хотя и обращается, по флотской привычке, к морякам. Бойцы отряда — шахтеры, чабаны и хлеборобы — каждый любил свое дело и понимал, что людям всякой профессии свойственны свои привычки.

Клим Овчарук одобрительно кивнул.

— Я говорю — правильно, вы говорите — правильно, да и весь трудовой народ говорит — правильно! Выходит, что и в самом деле правильно, товарищи?

— Правильно! — еще раз единодушно подтвердил полк.

Клим Овчарук вдруг что было силы хлопнул своей бескозыркой о днище тачанки и крикнул так, что эхо покатилось за поляну, за край огромного парка, далеко-далеко в бескрайнюю степь, ко второй линии дозоров, выставленных боевой охраной в степи:

— Так нет же, братишки! Есть такие мазурики на свете, что говорят наперекор трудовому народу: неправильно.

Мертвая тишина сковала ряды партизан. Бойцы насторожились, а полундровцы даже схватились за маузеры.

— Кто это говорит? Давай его сюда! Сразу же ему будет амба!

Овчарук обвел ряды грозным, но торжествующим взглядом.

— Кто, спрашиваете вы, говорит, что мы не по правде поступаем? Кто брешет, что мы неправильно делаем, разрушая старый мир рабства и эксплуатации и строя новый — без панов, помещиков и паразитов буржуев?

Он помолчал, обводя шеренги бойцов своим острым взглядом, а потом крикнул, точно выстрелил в ряды партизан, стоявших перед ним:

— Пес Петлюра говорит, что не по правде мы действуем!

— Врет, собака! — раздался чей-то голос.

— Поганый щенок!

— Панский лакей!

— Труба ему! Накрутим ему хвост! Дай только срок!

На голову пана Петлюры и петлюровцев отовсюду сыпались далеко не двусмысленные пожелания.

Овчарук тем временем шарил по карманам бушлата. Наконец, он нашел сложенный вчетверо листок и не спеша стал его разворачивать.

Снова наступила тишина. Командир собирался что-то огласить, и все взгляды были прикованы к его рукам.

Овчарук развернул и расправил листок.

— Вот, товарищи, прочту я вам сейчас, что здесь написано...

Он сказал это негромко — обычным, домашним голосом, сказал так, как обращается человек к своим приятелям за дружеской чаркой, собираясь поделиться с ними задушевными строчками из письма, адресованного только ему, но, несомненно, интересного и значительного для всех. Он даже хитро подмигнул и с заговорщицким видом постучал пальцами по бумаге.

Бойцы даже подались вперед, чтобы лучше расслышать, чтобы не проронить ни слова.

Но Овчарук еще на минутку оторвался от листка и скороговоркой, будто между прочим, так, только для информации, сказал:

— Наши товарищи таращанцы и богунцы, славные красные бойцы Николая Щорса, лупят сейчас петлюровских гайдамаков с запада, как вот, скажем, и мы с вами отсюда, с востока, будем лупить французов с греками, и всякую белогвардейскую контру, и этих же самых петлюровцев. Рубятся наши братья украинцы плечом к плечу с товарищами красноармейцами из русской Красной Армии. А вот этот пес Петлюра написал им, сынам украинского трудового народа, такую, значит, писульку: объединяйтесь, дескать, с нами, бандюгами, врагами трудового народа,— и айда совместно резать русских рабочих и крестьян!.. Ну, не сукины ли сыны петлюры эти, спрашиваю я вас, а?

— Сукины сыны! — дружно загремел полк.

— И я скажу: сукины сыны! — повторил Овчарук.— Так вот, зачитаю я вам, товарищи, что же ответили ему, этому псу Петлюре, наши дорогие братья, щорсовские герои пролетарской революции.

Он поднялся на сиденье тачанки и начал читать листовку — громко и отчетливо, чеканя каждое слово:

— «Мы — братья русским рабочим и крестьянам, как братья всем, кто борется за освобождение трудящихся...»

— Верно! — прокатилось по шеренгам.— Правильно!

— «Твои же братья,— читал Овчарук,— польские шляхтичи, украинские живоглоты кулаки, царские генералы да французские буржуи...»

— Правильно! — загремело снова.— Не в бровь, а в глаз! Панский блюдолиз он!

— «А сам ты — брехливый и блудливый, как и польские шляхтичи...»

— Верно!

В разных концах поляны раздался смех. Кто-то крикнул:

— Брехлив, как пес, а блудлив, как сучка!

Хохот прокатился по шеренгам бойцов.

— «Пошел ты прочь, пес проклятый! Подавись, собака!..»

Хохот звенел по всей поляне.

— Олух царя небесного! — крикнул кто-то.— Шкура барабанная!.. Молодцы таращанцы!.. Прямо как запорожцы турецкому султану отписали...

— Верно! — крикнул Овчарук.— Вот так же и запорожские казаки отвечали султану на его подлые хитрости!.. Ну, как, товарищи? Подпишем это письмо наших братьев, таращанцев и богунцев, к шелудивому псу Петлюре?

— Подпишем! Все подпишем! Пускай и от нас там слово будет! Подписывай за всех, командир!

Овчарук достал из кармана огромный карандаш. Такими свинцовыми карандашами — плоскими, сантиметра в два толщиной и не менее четверти метра длиной — плотники расчерчивают доски для распиловки.

Пулеметчик — молодой шахтер из шахты «Нина» — нагнулся, и Овчарук, расправив бумагу на его спине, начал водить карандашом. Полк затих. Овчарук писал, произнося громко каждое слово:

— «Присоединяемся и подписываемся... украинские партизаны... херсонского направления... как отдельный полк... Красной Армии... Поцелуй, пан Петлюра, ось куды нас...»

Как взрыв, гулкий и раскатистый, загремел хохот, и эхо несколько раз повторило его. Бойцы хватались за животы и едва не катались по земле.

Овчарук тем временем продолжал:

— «А от лица всех грамотных и неграмотных... с полного их согласия... подписался командир полка... матрос второй статьи коммунист Клим Овчарук...»

Хохот и веселый гомон еще долго не стихали на поляне парка.

Когда же удалось кое-как восстановить тишину, Овчарук, надев бескозырку и подтянув свою амуницию — маузер, гранаты и огромный, висевший на поясе походный офицерский порттабак с махоркой, из которого мог закуривать каждый боец,— так закончил свою речь к бойцам отдельного полка Красной Армии:

— В царской России, товарищи, не было нам житья: угнетали нас, рабочих и крестьян, одинаково как русских, так и украинцев, русские и украинские паны-паразиты. Но с русскими пролетариями мы кровные братья и друзья неразлучные: общие у нас интересы в жизни, общая у нас борьба. Никаким петлюрам не разбить нашего трудового единства! Не разъединить нас кулацким националистам, к каким бы провокациям они ни прибегали! В нерушимом единении трудящихся — победа революции и социализма! Гидра контрреволюции и акулы мирового капитализма — все эти петлюры,

деникины, махны с французской, английской и американской Антантой — объединились в борьбе против нас, трудового народа, в свой буржуйский интернационал тунеядцев! Но у нас, рабочих и крестьян, есть наши мозолистые руки и свой интернационал — международной солидарности трудящихся! Товарищ Ленин дал нам, трудовому народу, программу борьбы за новую, прекрасную жизнь, чтоб каждому было по его потребностям и от каждого по его способностям. Да здравствует наш Третий Коммунистический Интернационал! Правильно я говорю, товарищи?

— Ура! — загремел полк.

— Буржуям амба! Даешь Антанту!

В ответ раздалось могучее «даешь», всколыхнувшее даже ветви ближайших деревьев.

Старый чабан Ковинько взмахнул знаменем, потом еще и еще раз, а пулеметчик — молодой криворожский шахтер с шахты «Нина» — не удержался и дал над вершинами деревьев в ясное небо длинную пулеметную очередь.

Затем взял слово комиссар партизанского полка Николай Столяров.

Он поднялся на скамью тачанки, где все еще стоял командир, одернул свою кожанку, опоясанную крест-накрест пулеметными лентами, снял кепку-блин и тоже поклонился на все четыре стороны.

— Товарищи! — начал он медленно, негромко, но так, что слышно было в последних рядах бойцов.— Еще и деревья не распустились, не зазеленела еще трава после того, как изгнали мы с нашей земли немецких захватчиков кайзера Вильгельма. Но мировая буржуазия послала на Советскую землю новых хищных и жадных иноземных оккупантов. В Сибири свирепствуют американские и японские интервенты. На Белом море проливают кровь рабочих и крестьян интервенты американские и английские. На западных границах Советской земли зашевелились под командованием американцев, англичан и французов белые легионы прибалтийских баронов, польских панов и румынских бояр. С Черного моря на южный Кавказ лезут опять же американские и английские захватчики. Украину терзают петлюровцы и деникинцы — контрреволюционные наемники Антанты. Я волгарь, товарищи. Моя родная Волга — в самом центре большой Советской земли, однакож и к Волге рвется белый адмирал Колчак, главный бандит Антанты, наемник помещиков и фабрикантов. Но не согнуть им наш советский трудовой народ, не подставят свою шею под господское ярмо рабочие и крестьяне! Большевики призывают трудящихся к освободительной борьбе! Красная Армия могучим потоком уже движется с севера. Нам надо помочь ей с юга, чтобы зажать врага,— пусть лопнет он в наших клещах, как гнилой орех! К оружию, товарищи!

— К оружию! — ответил полк, точно приносил присягу.

Столяров подождал, пока затихло над поляной, и продолжал:

— Командование Красной Армии дает нам задание: нанести удар на Херсон, Николаев, Одессу — оказать помощь нашим товарищам, которые гибнут под пятой оккупантов, проливающих народную кровь. Наша задача — сбросить в море иноземную интервенцию, пусть захлебнутся в соленой воде!

— В море! — ответил полк.

— Так выполним же, товарищи, боевое задание, которое поручает нам большевистская партия и стратег освободительной борьбы Ленин! Да здравствует Советская власть! Да здравствует Красная Армия! Смерть интервентам!

— Смерть! — подтвердил полк.

Столяров опустился на одно колено и поцеловал красное знамя — отныне знамя полка. За ним поцеловал знамя командир полка. Потом — знаменосец, старый чабан Ковинько. Тогда решился оставить свой пулемет и тоже поцеловать знамя молодой шахтер-пулеметчик с шахты «Нина».

Партизаны перебросили винтовки на левую руку и обнажили головы.

Здесь можно было увидеть самые разные головные уборы: и солдатские «ватянки», и смушковые островерхие крестьянские шапки, и лохматые чабанские папахи, и синие с огромными полями и маленькими козырьками праздничные шахтерские картузы, и замусоленные рабочие кепи, и черные морские капитанки с белой окантовкой. Полк не был экипирован по-военному; люди встали в партизанский строй кто в чем был — в кожушках, шинелях, пальто, кожанках.

— Под присягу к знамени пролетарской революции! — подал команду Николай Столяров.

Бойцы развернулись полуоборотом «направо» и длинной шеренгой двинулись в середину каре, к тачанке. Чабан Ковинько наклонил знамя, командир и комиссар торжественно склонили головы, пулеметчик вытянулся, приложив руку к козырьку, а бойцы один за другим подходили к тачанке, преклоняли колени и целовали угол красного знамени.

Потом полк снова выстроился в каре, а командир с комиссаром стали рядом на тачанке.

Овчарук сказал:

— На время формирования полка каждое подразделение занимает тут, в парке, отведенную ему делянку, маскируясь под деревьями. Командирам подразделений — развести своих людей на отведенные делянки.

Он уже хотел было подать знак, чтобы выполняли команду, но передумал и крикнул через головы бойцов, обращаясь к кому-то под деревьями. Все бойцы повернулись туда.

В стороне под деревьями, сразу же за каре, стоял велича-

вый старик в длинном драповом пальто и высоких сапогах; на голове у него была фуражка с летним белым верхом.

— А вы, товарищ ботаник,— крикнул командир,— будьте покойны! Приказ доведен до каждого бойца: ни с одного деревца не упадет ни одна веточка, не осыплется ни один листочек. Пролетариат уважает вашу науку и всем сердцем понимает, какая польза будет ему на его земле от вашей науки, когда после победы революции зацветут степи и поднимутся в них леса на благо трудящимся. Можете быть спокойны! А ежели обнаружится несознательный элемент, пусть знает, что, нарушая приказ, он льет воду на мельницу контрреволюции: за каждый листок — под трибунал, и амба!

Командир подал знак, и подразделения отдельного полка Красной Армии разошлись по назначенным для постоя делянкам.

2

Полк выступал после трехдневной стоянки.

К этому времени его основной состав с пятисот бойцов увеличился до шестисот: присоединились батраки и беднейшие крестьяне из окрестных сел. Командир с комиссаром сначала предполагали растянуть период формирования полка еще на неделю, чтобы довести состав до тысячи человек и подучить бойцов. Но с юга полковая разведка донесла, что другой партизанский отряд, тоже сформированный на территории «семивластья», где-то на стыке Днепра и Ингульца, уже вышел на подступы к Херсону. Как раз в это время от Ласточкина прибыла связная, выехавшая из Одессы еще до трагических событий второго марта. Полк до сих пор не имел непосредственной связи с командованием Красной Армии и получал дислокации от командования через Одесский Военно-революционный комитет. Ласточкин сообщал, что всеобщее восстание назначено на седьмое марта, и подчеркивал, что в связи с этим необходимо усилить действия внешних вооруженных сил. Все партизанские отряды, организованные вдоль фронта «зоны» войск интервентов, должны были начать активные действия — каждый на указанном ему направлении. Объединенному отряду Столярова и Овчарука было приказано форсированным маршем идти на Херсон.

Столяров и Овчарук решили продвигаться не левым, а правым берегом поймы Ингульца, чтобы ударить по железной дороге Херсон — Николаев и расчленить оборону противника на отрезке Николаев — Херсон. Справа от них, как сообщал Ласточкин, будет идти на Николаев другой партизанский отряд, имеющий задание перерезать железную дорогу Николаев — Одесса и, форсировав Буг, перейти на одесское направление.

Комиссаром этого отряда был тоже один из тех коммунистов, которым Военно-революционный комитет поручил вести в войсках директории революционную пропаганду с целью разложения их.

Полк под командованием Овчарука выступал на рассвете. Солнце еще не поднялось над степью, и в парке под деревьями лежали синие предрассветные тени. Из молодого сосняка, из кленовой рощицы, уже покрытой, словно зеленым пушком, молодыми почками, из зарослей ивняка и чернотала у пруда, из дубравы на южном конце поляны, где дубы стояли еще под желтой прошлогодней листвой, потянулись подразделения.

Полк был пехотный, однако не пешеходный. За кавалерийской сотней мягко шуршали по влажной весенней земле колеса пулеметных тачанок, за тачанками на бричках, повозках и гарбах рысью двигались пехотные подразделения, позади битюги тащили полевые орудия.

Командир и комиссар ехали каждый на собственной двуколке. Овчарук вместе со своим связным-юнгой ехал на легкой, «поссессорской» тележке с плетеным соломенным сиденьем, в авангарде отряда «Полундра», впереди полка. Столяров с двумя вестовыми, старыми пехотинцами царской армии, ехал позади, в арьергарде, на тяжелой, кованной железом повозке почтового ведомства. До войны на этой повозке развозили почту по степным селам и хуторам.

При выходе из парка — там, где меж двумя старинными каменными «бабами» на самом краю оврага степной лес внезапно обрывается и дорога сразу выбегает на равнину,— столпились провожающие. Это был персонал Дендропарка: несколько объездчиков — теперь пеших, так как они отдали своих коней кавалерии полка,— два старика садовника, шесть девушек — их помощницы, кучер хозяина парка, расставшийся со своим кабриолетом, который он отдал под пулеметную тачанку, и сам Давыдов — владелец волшебного лесного хозяйства в южной голой степи.

Командир Овчарук лихо промчался мимо провожающих. Ленточки бескозырки трепетали за его спиной.

— Пролетарский привет внуку декабриста! — крикнул он старику Давыдову, скрываясь в облаке степной пыли.

— Ви-ира-а! — гаркнули вслед за ним со своих линеек флотские из особого отряда «Полундра».

Бойцы, минуя провожающих, махали фуражками, одни — приветствуя Давыдова, другие — прощаясь с девушками-садовницами.

Когда прошел весь полк и работники парка стали серыми от степной пыли, покрывшей их одежду и лица, из оврага показалась тяжелая «беда» комиссара Столярова.

Увидев провожающих, Столяров сразу остановил лошадей

и, соскочив с повозки, подошел к Давыдову. Он отдал честь по-военному и произнес, словно рапортуя:

— Товарищ ботаник! Чудо природы и богатство народа — заповедный Дендропарк мы оставляем вам в целости и сохранности, чтобы процветала рабоче-крестьянская наука.

Он резко оторвал ладонь от фуражки, четко, как будто стоял навытяжку перед генералом, вышел из положения «смирно» и протянул руку старому ботанику.

— Спасибо вам, отец родной, за гостеприимство и доброе сердце. Теперь делайте свое дело, а мы будем делать свое. Считайте, что мы пошли довершать дело вашего славного предка. Большевистский привет! — Он минуту подумал, затем обнял старика и трижды с ним поцеловался. Потом Столяров подбежал к «беде», стал в ней во весь рост, подхватил вожжи и крикнул, обращаясь ко всем:

— До счастливой встречи, товарищи!

Степная дорога запылила за тяжелою «бедою» почтового ведомства.

3

Снегиревку брали с налету — и это была первая боевая операция полка.

Собственно захватывать Снегиревку не входило в планы Столярова и Овчарука. Полк должен был нанести удар по Херсону. Поэтому распылять силы, оставляя гарнизон в Снегиревке, несмотря на то, что эта станция контролировала железную дорогу и на Николаев и на Херсон,— не было никакого смысла.

Франко-греческие оккупанты, захватившие Херсон и Николаев, понимали, какое значение имеет эта узловая станция, и после того, как из Снегиревки ушел штаб атамана Григорьева, держали здесь порядочный вооруженный отряд, состоявший из деникинских офицерских дружин, смешанных с немногочисленными греками. Командование было сосредоточено в руках французских офицеров, которые, безусловно, должны были оказать серьезное сопротивление. Поэтому Овчарук и Столяров приняли было решение: пересечь на марше железную дорогу где-нибудь между Снегиревкой и ближайшей на Николаевской железнодорожной линии станцией Новопетровкой и, оставив Снегиревку позади, продвигаться Бурхановским шляхом на Херсон. Для охраны левого фланга со стороны Снегиревки был выделен специальный подвижной заслон, который потом мог легко догнать полк на марше. В заслон вошло полсотни конников, с полдесятка тачанок и одна «гитара» с полундровцами. Командование заслоном принял на себя Овчарук.

Но когда заслон, растянувшись цепочкой — десять всадников, пулеметная тачанка, снова десять всадников и снова та-

чанка,— на втором километре от станции пересекал на переезде железнодорожную линию, с хутора, расположенного неподалеку, деникинцы внезапно открыли стрельбу.

Тачанки сразу же взяли хутор под перекрестный огонь. Из-за какой-то хаты на краю хутора им ответил пулемет. Тогда конники не выдержали и без команды с шашками наголо бросились на хутор.

Овчарук в этой операции ехал не на тележке, а верхом,— матросы обычно прекрасные наездники. Он пришпорил своего скакуна, но остановить разгоряченных кавалеристов было уже поздно. В руке Овчарука тоже блеснул клинок.

Конники мчались прямо по железнодорожному полотну. Не прошло и нескольких минут, как они достигли пристанционной зоны. Несколько деникинских офицеров, удиравших по перрону вокзала, были изрублены с ходу, и клинки партизан сверкнули на улицах пристанционного поселка.

Налет был внезапный — еще пять минут назад белые не ждали никакой опасности. Офицеры кинулись огородами кто куда, бросая оружие и огневые припасы. Рачительные конники Овчарука тотчас же принялись грузить все это на неведомо где раздобытые подводы.

Овчарук верхом влетел на перрон вокзала. Его ординарец уже открыл дверь в кабинет начальника станции. Начальник станции — бледный и дрожащий — стоял у стола, а за столом, крича что-то в телефонную трубку, сидел офицер. Ординарец выстрелом пригвоздил его к креслу.

Овчарук кубарем скатился с коня и, вбегая в комнату, крикнул:

— С кем он говорил?

— На проводе Херсон...— пролепетал начальник станции, еле живой от страха.— Комендатуру гарнизона... Он просил помощи... броневик...

В это время в станционное помещение ворвались полундровцы. Они пустили свою «гитару» карьером и догнали конников.

— Братишки! — крикнул кто-то из флотских.— На проводе Херсон! А ну, командир, скажи «здрасте» какой-нибудь Клемансе или Лорду Жоржу!

— Или покрой по-нашински президента Вильсона! — подхватил другой под дружный хохот.

Предложения были заманчивые, и Овчарук взял трубку, которая тихо похрюкивала на столе. Начальнику станции, все еще стоявшему навытяжку, он добродушно бросил:

— Вольно, папаша! Можно без церемоний. Мы люди свои.

С минуту Овчарук прислушивался. Издалека, за пятьдесят километров, из Херсона, кто-то вопил надсадным голосом:

— Алё, алё, алё! Снегиревка?! У аппарата!.. Алё! Алё!

Овчарук откашлялся и солидно ответил:

— Алло?

— Капитан? — послышалось из трубки.— Куда же вы пропали? Что там случилось? Как будто выстрел прогремел? Отвечайте же быстрее — что это за банда налетела на станцию?

Тогда Овчарук послал в трубку длинный, сложный и виртуозный «большой матросский закрут».

На секунду трубка перестала урчать. Полундровцы столпились вокруг командира, с нетерпением ожидая разговора. Затем из трубки долетел вопрос, заданный не совсем уверенным тоном:

— Кто у аппарата?

— Клим Овчарук, матрос второй статьи, командир отдельного полка Красной Армии, член партии большевиков с семнадцатого года!

Полундровцы так и присели с открытыми ртами, замахали друг на друга руками, чтоб ненароком кто-нибудь не прыснул и не помешал разговору. Они замахали даже на окно, за которым в это время раздавались выстрелы.

В трубке снова некоторое время не отвечали, потом заговорили более твердым тоном:

— Бросьте валять дурака! Кто там хулиганит? Где капитан? Какова обстановка на станции Снегиревка?

Овчарук ответил:

— На станции порядок! Станцию занял я силами отдельного полка Красной Армии. Твоего капитана только что ликвидировали. А за дурака я еще сверну тебе твою умную голову, чтоб ты мог сам себя целовать в пятки. И вообще я с тобой, белой сволочью, разговаривать не желаю! Если есть там около тебя какой-нибудь француз, давай его сюда, я ему выложу все, что надо...

В трубке долго молчали. Затем послышался другой голос. Кто-то говорил с сильным акцентом:

— Кто ести? Говори комендант Херсон... Я ожидай, отвечайте...

— А ты кто? — спросил Овчарук.— Француз или англичанка будешь?

— Я ести полковник греческа армия.

— А-а,— разочарованно протянул Овчарук.— Греческий булочник!.. Так вот ты скажи, Юра, какого черта вы, жоржики, приперлись к нам на Украину? Тебе что, Афин мало?

Из трубки ответили.

— Я прошение разговоры серьезно.

— Серьезно и говорю,— ответил Овчарук.— Слышишь, ты, прислужник мировой буржуазии: чтобы и духу вашего не было сегодня же к вечеру! Завтра я беру Херсон, а ежели застану тебя еще там, то мои хлопцы спустят тебе штаны и всыплют... Понял?

Неожиданно из трубки донесся почти спокойный ответ. То

ли греческий полковник не до конца понял трудноватую для разумения иностранца речь матроса, то ли счел за лучшее поискать путь к примирению,— во всяком случае он заговорил другим тоном:

— Слушайте, большевик! Ми ести армия, ми получай приказ, и мой военный долг его выполняй.

— Вы не ести армия, вы ести банда акул капитализма,— солидно возразил Овчарук, тоже начиная ломать речь, уверенный, что теперь грек наверняка его поймет.— И ести бесчинствуете здесь вместе с гидрой контрреволюции.— Но после этих грозных слов Овчарук решил тоже сменить гнев на милость.— Если же ты ести такой уж сговорчивый, то я могу пойти с тобой на мировую... Бросай оружие и топай! Ести? Мне проливать кровь твоих обманутых солдат не с руки. Мы лучше отпустим их домой. Так вот, ести тебе ультиматум восставшего трудового народа: сдавай мне завтра утром город. Ежели помирному, я тебя пальцем не трону — слово флотского! Договорились? Ести?

В трубке помолчали. Затем греческий полковник спросил:

— Позволите передать ваш предложений мое командование?

— А почему же? Ести! — согласился Овчарук.— Валяй передавай. Мы субординацию понимаем.

Овчарук положил трубку и торжественно поглядел на притихших полундровцев. Никто не смеялся. Дело было не шуточное: состоялся немаловажный международный акт — был передан ультиматум греческому командованию в Херсон.

В это время на пороге появился чабан из конников.

— Так что, товарищ командир,— отрапортовал он,— все оружие и прочее имущество погружено на четыре гарбы. Какой будет приказ: удерживать станцию или подадимся за нашими? Думка такая, что лучше за нашими вдогонку, чтобы не оторваться, да и беляки приходят до памяти и за огородами прилаживаются к обороне.

— По ко-о-ня-ам! — подал команду Овчарук. Он уже стал заправским конником и даже перешел с флотской на кавалерийскую команду.— Ма-а-рш!.. До свидания, папаша! — кивнул он начальнику станции.— Мы в скором времени установим здесь Советскую власть. Так чтоб полный порядок! Смотрите у меня!

Кавалерийский заслон Овчарука догнал полк уже километров за десять железнодорожного полотна, на шляху за Бухановкой. Столяров теперь ехал впереди, в голове колонны, и Овчарук не стал его догонять. Он только отправил к нему конника и приказал передать: «Трепанули станцию. Убитых и раненых нет. Один пропал без вести. Везем четыре гарбы всякого оружия. Антанте в Херсон телефонировал ультиматум: сдавать Херсон завтра утром без боя».

Овчарук приказал конному отряду пристроиться в хвост колонны, а сам с «гитарой» полундровцев, прикрывая марш, остался в арьергарде, на километровой дистанции от колонны.

4

Ординарец подал Овчаруку советскую газету,— ее захватили в кабинете, на столе у начальника станции. Очевидно, комендант Снегиревского гарнизона читал ее как раз перед налетом Овчарука. Это была совсем свежая харьковская газета, датированная двумя днями раньше,— видимо, ее добыла белогвардейская разведка.

На первой странице была напечатана нота Совета Народных Комиссаров Украины французскому министру иностранных дел Пишону; копия — президенту Соединенных Штатов Америки Вильсону, Нью-Йорк; копия — министру иностранных дел Британской империи Ллойд-Джорджу, Лондон; копия — Мирной конференции, Париж.

Советское правительство Украины заявляло категорический протест против зверств, которые чинили франко-англо-американские захватчики и их греко-румынские и петлюровско-деникинские наемники на юге Украины. Нота требовала немедленно вывести с территории южных губерний все вооруженные силы Антанты и ее ландскнехтов, а из портов Черного и Азовского морей — эскадру интервентов. Нота заканчивалась так:

«В случае, если не будет положен конец белому террору, не будут устранены препятствия для возвращения украинских военнопленных и других граждан на их родину, Советское правительство Украины вынуждено будет прибегнуть к тем репрессивным мерам, о которых сказано в предыдущей ноте».

То, что Советское правительство Украины обращалось к Антанте в таком решительном тоне, что оно вообще обращалось к ней с такой штукой, как дипломатическая нота,— а эта нота, как видно, была уже не первая,— матросу Овчаруку пришлось по сердцу. Было ясно, что Советское правительство на Украине чувствует себя крепко, раз таким языком говорит с Антантой, победившей всех на свете и теперь кичащейся своими победами.

Вот какие мысли возникли в голове Овчарука, как только он прочел заголовок ноты и ее последний абзац. Овчарук начал читать с последнего абзаца, потому что ему не терпелось узнать, какое требование выдвинуто в ноте.

Потом он принялся с самого начала внимательнее изучать всю ноту, довольно-таки длинную.

Вдруг сердце матроса сковал ледяной холод. В ноте приводились примеры зверств, учиненных франко-англо-американ-

скими интервентами за последнюю неделю. Десятки кровавых фактов, и за каждым из них — сотни замученных людей. Тут же были помещены поименные списки советских граждан, расстрелянных и замученных, повешенных и потопленных антантовскими контрразведчиками.

В этом ужасном списке Овчарук нашел и сообщение об аресте, пытках и зверской расправе с членами одесской Иностранной коллегии.

Белый как мел, страшный в своем горе и ненависти, поднялся матрос Овчарук на стременах. Потрясая скомканной в кулаке газетой, он закричал:

— Полундра!

Отряд обернулся, и полундровцы бросились к своему командиру. Они поняли, что произошло что-то необычайное.

— Братишки! — выкрикнул Овчарук, и голос его разнесся далеко над черной весенней степью, над прошлогодним сухим ковылем у края дороги, долетел до песчаных барханов, что белыми волнами вставали впереди, у залива близкого уже Днепра.— Нет уже наших друзей-товарищей, наших братишек дорогих! Замучила, поубивала их, наших большевиков чудесных, черная, буржуйская Антанта. Выклевали им ясные, честные очи коммунистов, выпили их благородную пролетарскую кровь! Расстреляли нашу Иностранную коллегию, которая со светлым советским словом обращалась к одурманенным французским сердцам...

Он соскочил на землю и, припав лицом к потной, горячей шее коня, зарыдал.

Он рыдал тяжко, как рыдают сильные люди, что никогда не знали слез, но которых горе сломило внезапно. Он плакал громко, всхлипывая и сотрясаясь от рыданий всем телом.

Полундровцы окружили командира и понуро стояли, опустив чубатые головы, утирая слезы.

Один из матросов положил на плечо Овчаруку руку.

— Успокойся, Клим! — сказал он.— Уйми сердце, командир. Мы им, гадам, устроим спектакль на поминках... Вот жив не буду, если положу оружие, пока последнего интервента в море не сброшу!

Овчарук сразу затих. Он утер лицо рукавом бушлата, глубоко вздохнул и надвинул на лоб бескозырку. Не говоря ни слова, он вдел ногу в стремя, вскочил на коня и выпрямился в седле. Глаза его, сухие и горячие, с припухшими и покрасневшими от слез веками, смотрели вперед — туда, где за песчаными барханами над холодным днепровским лиманом поднималось от теплых волн Черного моря синее марево.

— Смерть мировой буржуазии! Даешь Антанту! — сказал он со злобою и негромко, словно и не рыдал еще недавно; только голос его звучал хрипло.

Это был приказ. Полундровцы вскочили на свою «гитару».

Но в это время матрос, сидевший позади у пулемета, крикнул:

— Полундра! Погоня!

Сзади, на расстоянии не более километра, из лощины на дорогу выскочила конница. Это был большой кавалерийский отряд — человек в пятьдесят. Всадники мчались галопом; черные бурки, будто крылья воронов, разлетались по ветру, оголенные клинки сверкали в лучах солнца.

— Беляки! Деникинская казачня!

Еще две-три минуты — и они будут здесь.

Овчарук быстро взглянул вперед: колонны не было видно, пять минут назад исчезли вдали последние конники. Он соскочил на землю.

— Скачи! Догони! Предупреди! Пусть шлют помощь. А мы здесь задержим! — крикнул он какому-то полундровцу и толкнул его к коню.

До отряда Овчарука оставалось еще метров триста, когда из лощины появилась вторая группа всадников, на рысях спешившая за первым летучим отрядом. Кони под ними были какие-то низкорослые и прядали длинными острыми ушами.

— Иисусова кавалерия!

Это трусили греки на своих мулах. Их тоже было не менее полусотни.

— К бою! — приказал Овчарук.

Связной на коне Овчарука мчался галопом, припав к гриве коня. Несколько выстрелов прогремело ему вдогонку.

Но то были бесцельные выстрелы: стреляли на скаку по мчавшемуся всаднику. Через пять минут посыльный догонит хвост колонны, а еще через десять пулеметные тачанки будут здесь.

Казаки были уже метрах в двухстах.

— Ложись! Огонь! — скомандовал Овчарук.

Пулемет с «гитары» сыпанул свинцом.

Полундровцы попа̀дали на дорогу. Один пулемет и десяток маузеров встретили два отряда конницы — каждый по полсотни сабель.

Услышав визг пуль, передний отряд сразу расчленился. Казаки поскакали вправо и влево от дороги в степь. Они намеревались двумя крыльями обхватить тот участок дороги, где залегли матросы со своим командиром.

Второй отряд тоже остановился, и греки начали соскакивать на землю. Стегая мулов, они принуждали их ложиться и сами быстро прятались за животных. Оттуда, из-за мулов, как из-за бруствера, они сразу же открыли шквальный огонь. К счастью, пулемета у них не было, стреляли из карабинов.

Так начался этот бой: десяток маузеров и один пулемет — против полусотни карабинов и полусотни сабель. Всадники, огибая фланги, скакали во всю мочь, зажимая стрелков в кольцо.

Некоторые всадники падали, сраженные пулями матросов. Но упало два, три, пять человек, а остальные летели дальше, поблескивая клинками и посылая проклятия и угрозы.

Когда кольцо всадников сузилось метров до пятидесяти, пулемет дал длинную очередь, и на земле осталось не меньше десяти тел. Казаки сдержали коней, метнулись в стороны и, повернув назад, рассыпались по степи.

Шквальный огонь греческих стрелков был сосредоточен на неподвижной и точной цели — полундровцы лежали прямо на дороге, ничем не прикрытые, даже бугорка не было перед ними. Пять матросов были убиты в первую же минуту.

В это время всадники опять повернули коней и бросились во вторую атаку. Но когда они были уже на расстоянии двадцати метров, пулемет уложил еще пятерых, и казаки снова поскакали в степь.

И все же их оставалось еще не менее сорока. Матросам приходилось защищаться и по фронту — от греческих стрелков, и по флангам — от атак конников. В живых осталось только три матроса, Овчарук был четвертый.

Теперь матросы отползли за трупы коней и стали стрелять из маузеров на выбор по всадникам. Пулемет на «гитаре» смолк: пулеметчик был убит, а проскочить открытое расстояние от коней к «гитаре» — значило погибнуть под шквальным огнем.

Овчарук посмотрел на дорогу, ведущую к морю. Гонца уже не было видно, он скрылся за барханами, но не видно было и помощи. Казалось, время длится бесконечно долго. Но, взглянув на часы, Овчарук увидел, что прошло всего пять минут,— значит, гонец мог только-только догнать хвост колонны, а может быть, еще и не догнал...

Казаки бросились в третью атаку. Враг торопился, зная, что где-то впереди движется большая часть. Казаки спешили уничтожить этот маленький отряд, сломить его сопротивление, чтобы быть готовыми к бою с другим, более сильным противником.

Третья атака была последней. Выстрелы со стороны греческих стрелков прекратились, и кольцо конницы сомкнулось на дороге.

Казаки сразу же с шашками наголо бросились на матросов, но офицер остановил их.

В живых остались двое: Овчарук, у которого было отсечено ухо, и еще один матрос — с разрубленным плечом. Их обезоружили, связали и поволокли по земле.

В это время на мулах подъехали несколько греков. Офицер кричал что-то, обращаясь к Овчаруку, но кровь заливала матросу лицо, в ушах стоял грохот боя и звуки выстрелов. Гнев душил его, и он не мог понять, что ему кричат.

Офицер кричал по-гречески. Почерневший от злости, с пе-

ной у рта, он брызгал слюной и чего-то добивался, тыча стеком в грудь Овчаруку.

— Цыц, зараза...— наконец, прохрипел Овчарук.

Подъехали другие греки. Один из них — дородный и немолодой уже человек — обратился к Овчаруку по-русски. Это был переводчик.

Только теперь Овчарук понял, чего добивался от него греческий офицер. Он хотел знать, какая часть впереди, сколько у нее штыков, сабель и пулеметов.

— Чудак ты, Юра! — спокойно сказал Овчарук, вытирая с лица кровь.— Ну, где же такое видано, чтобы предавать своих? Да разве я скажу!

Он говорил это офицеру, исходившему пеной от злости и подпрыгивавшему на своем муле, однако глядел в лицо переводчику. Что-то знакомое было в лице этого толстого, пожилого грека; тесное кепи еле держалось на макушке его бритой головы, а военная форма — добротный американский зеленый френч — прямо трещал по швам, не вмещая дебелого вояку. Вид у этого грека был сугубо штатский. В руках у него не было оружия, лишь кобура с пистолетом болталась на поясе, хлопая его по животу.

И вдруг Овчарук узнал. Да это же парикмахер Серж с Ришельевской — Костис Христовасилис Афанасопуло! Овчарук был моряк, и, как всякого флотского щеголя, его никогда не удовлетворяла бесплатная стрижка наголо в экипаже. С последним полтинником в кармане он шел подстричься «под польку» и освежиться одеколоном в парикмахерскую на Ришельевской — к мастеру Костису Христовасилису Афанасопуло.

Парикмахер тоже узнал Овчарука, одного из своих постоянных клиентов, и прятал глаза, чтоб не встретиться с его взглядом.

Жизнь уже решила за Костиса Христовасилиса, какую вывеску ему вывешивать при смене власти.

Овчарук с презрением поглядел на одесского цирюльника: дочикался ножницами, доправился бритвой, добрызгался одеколончиком «Букет моей бабушки» — в услужение к мировой буржуазии пошел...

— Эх, ты...— сплюнул кровью Овчарук,— пульверизатор!..

— Черноморский он, а я — балтийский...— еле прохрипел второй матрос.— Нет у нас с вами, сволочи, разговора... Не состоится...

Костис Христовасилис перевел офицеру, что пленные отказываются отвечать на вопросы.

Офицер осатанел. Он подал команду, и пятеро греческих солдат вскинули винтовки и щелкнули затворами. Овчарука и второго матроса толкнули к обочине.

Тогда Овчарук разорвал на себе тельняшку. Женская головка, сердце, пронзенное стрелой, и славянской вязью слово

«Витязь» — название судна, на котором плавал когда-то матрос второй статьи Овчарук,— были вытатуированы у него на груди.

— Стреляй, контра, я угощаю!

Офицер подал команду. Овчарук успел крикнуть:

— Да здравствует революция!..— Слова «Смерть буржуям!» заглушил залп.

Черноморец Овчарук упал рядом с товарищем-балтийцем. Рука его легла на плечо друга, словно он хотел обнять его в последнюю минуту...

В это время из-за барханов появились конники Столярова. За ними летели тачанки.

Бой был короткий и яростный. Отряд белогвардейцев и оккупантов был разгромлен.

Когда отгремел бой, Овчарука с десятью товарищами-полундровцами положили под барханом, у края свежевырытой могилы.

Николай Столяров поднялся на свою повозку.

Вдоль шляха выстроился полк. Пехоты в полку теперь было меньше, зато конницы стало больше: пехотинцы сели на казачьих коней, мулов впрягли в повозки, а обозных лошадей — пусть и без седел — тоже отдали под кавалерию.

Полк стал более подвижным, а значит, и путь до Херсона сократился. Но десять матросов и командир полка навсегда лягут в сырую землю, и сыпучие херсонские пески наметут над ними бархан. И нет поблизости даже деревца, чтобы пересадить его на братскую могилу красных воинов...

Столяров обнажил голову и несколько минут стоял в тяжелой задумчивости. Вот и начались ожесточенные бои. Вот и первые потери... А сколько еще людей отдадут свою жизнь за победу?.. Но победа придет. Она не может не прийти, если сражается за нее трудовой народ, если ведет его народная партия большевиков. Победа придет, но придет не сама,— ее нужно добыть. И в борьбе надо быть не только беспредельно храбрым, но надо быть гибким, осторожным и бдительным.

— Вечная память тебе, дорогой товарищ, командир, коммунист и матрос второй статьи Клим Овчарук! Вечная память твоим боевым товарищам-побратимам! — сказал Столяров, обращаясь к погибшим бойцам.— Память о вас, сыновьях трудового народа, отдавших свою молодую жизнь в бою за его счастье, никогда не угаснет в наших сердцах. На вашей могиле в степи мы вырастим зеленый сад, и густая дубрава зашумит на этих политых трудовой кровью сыпучих барханах. Клянемся вам: жестокую битву против империалистов и контры мы доведем до победного конца! Вечная память вам, товарищи, и спасибо за службу.

Бойцов опустили в могилу, и под барханом у дороги вырос свежий холм.

Столяров взял знамя из рук чабана Ковинько и склонил его к песчаному холму. Бойцы обнажили головы.

Столяров выпрямился и обернулся к полку:

— Пускай, товарищи, этот первый бой будет нам наукою на всю нашу боевую жизнь. Воевать надо не так. Наш дорогой командир сделал промах. Он подпустил врага слишком близко и не заметил его во-время. Мы уничтожили врагов, добыли большие трофеи, но ведь нет на свете ничего дороже, чем человек, нет на свете ничего дороже, чем жизнь бойца. Никакими трофеями не окупить жизнь солдата. Славна смерть в бою, но народу нужна победа. Боец должен быть не только отважным, но и осмотрительным. Солдат должен победить и выйти из боя живым. К победе, товарищи!

— Ура! — ответил полк.

И пока гремело «ура», Столяров не надевал шапки. Он стоял на «беде» выпрямившись и глядел вперед — на юг, где за голубыми барханами над лиманом и морем поднимался сиреневый туман.

«Ура» отзвучало, но из-за голубых барханов, от лимана и моря, ответило долгое, раскатистое эхо: за песчаными дюнами, над лиманом и морем, гулко гремело и грохотало.

Столяров прислушался, прислушались и бойцы. В степи наступила тишина, но с моря доносился гул орудийных залпов.

Сомнений не было: там грохотала артиллерийская канонада. До города оставалось уже не больше пятнадцати километров, и ветер с моря доносил звуки пушечных выстрелов.

— По ко-о-ням и повозкам! — скомандовал Столяров.

Конники сели на коней, пехота забралась на тачанки и повозки.

Три отделения конных разведчиков рванулись с места в карьер по большаку — прямо к городу, влево и вправо от дороги, по сыпучим пескам. Через минуту топот копыт мягко растаял в степном просторе, а справа и слева от дороги заклубился песок.

Столяров подал команду на марш. Сердце его закипало кровью, и он произнес слова, которые так часто повторял погибший командир:

— Даешь Антанту!

Полк тронулся на рысях.

Николай Столяров пропустил полк мимо себя. Затем, нахлестывая коней, он обогнал его и поехал впереди колонны. Он думал о том, что бой надо вести так, чтобы щадить жизнь каждого бойца, но чтобы врагу нельзя было спастись, чтобы он остался мертвым на поле брани. Как добыть победу большою кровью врага и малой кровью своих?

Николай Столяров двигался по направлению к Херсону и должен был взять город. Он еще никогда не был в Херсоне.

Перед его глазами невольно вставал другой город, который давно уже стал для него, волгаря, родным,— Одесса. Перед его глазами возникали берега Одессы, порт, Пересыпь, заводы. Что сейчас там — на родных заводах, в родном городе Одессе?

5

Одесса в этот день выполняла ответственный общественный акт в жизни пусть оккупированного, но непокоренного советского города. Одесский пролетариат тайно, в подполье, выбирал высший орган Советской власти: Совет рабочих, матросских и солдатских депутатов.

Старый состав Совета год назад — во время первой австро-немецкой оккупации — ушел в подполье. Многие большевики — депутаты первого Совета погибли в борьбе против оккупантов, гетманщины и петлюровщины; оставшиеся ушли из города на фронты. Бывшие депутаты — меньшевики, эсеры и националисты различных партий — действовали сейчас в контакте с новыми интервентами. Они сами себя поставили вне Совета.

Выбрать новый Совет стало необходимостью. В городе свирепствовали семнадцать контрразведок, на территории одесского плацдарма стояло семидесятитысячное оккупационное войско, в порту, на рейде, бросила якоря эскадра интервентов, направив на город и его окрестности тысячи жерл дальнобойной морской артиллерии, но выборы Совета были организованы в полном соответствии с действующей конституцией: депутаты избирались согласно утвержденному модусу — от предприятий и профсоюзных организаций города.

Труднее всего было провести выборы депутатов среди моряков на судах русского флота, которые были приписаны к одесскому порту. Избиратели-моряки были разбросаны небольшими группами по разным кораблям, пришвартованным к различным причалам, и жили изолированно от других кораблей, каждый своей самостоятельной жизнью.

Поэтому избиратели Морского района выбирали... на судне-бане «Пушкин».

В субботу избиратель-моряк, чтобы помыться, прибывал на судно-баню с увольнительной запиской. Он раздевался, сдавал одежду на номерок, получал шайку, мочалку и мыло и входил в купальный зал. Президиум сидел в зале на трибуне, сооруженной из нескольких скамеек для мытья.

Персонал «Пушкина» был весь большевистский, ему поручили организацию выборов, он нес и внутреннюю охрану. Внешнюю охрану на воде — в яликах, шлюпках и на шаландах — несли дружинники Морского райкома. Среди депутатов, выбранных в Совет от Морского района, были и матрос Понедилок и грузчик Птаха.

В числе депутатов, избранных от Пересыпского района, были и Александр Столяров и Никодим Онуфриевич Столяров.

Первая подпольная сессия вновь избранного Совета была созвана на второй день после выборов в помещении Союза деревообделочников, на улице Разумовской, угол Срединной площади. На сессии избрали Исполком Совета и утвердили аппараты всех секций — вплоть до секции коммунального хозяйства, просвещения и охраны здоровья. Сессия постановила: направить все силы на организацию общего восстания трудящихся города против интервентов во взаимодействии с повстанцами и партизанскими отрядами на всем одесско-николаевохерсонском плацдарме.

На заседании подпольного Исполкома, состоявшемся на Нарышкинском спуске, был выбран и председатель Совета: Николай Ласточкин...

6

Отряд Николая Столярова вышел на правый берег Днепра под грохот все усиливающейся канонады.

Разведка доставила исключительно важные сведения. Берегом Днепра к городу подошли чаплынские партизаны, и партизанская артиллерия начала обстрел французских кораблей и греческих транспортеров, которые как раз подвезли из Салоник свежие резервы. Партизан сразу же поддержали повстанцы окрестных сел и херсонские рабочие дружины. На штурм города пошли все одновременно. Две роты Сто семьдесят шестого французского пехотного полка, прибывшие недавно из Одессы для усиления Херсонского гарнизона, отказались взять оружие и идти в бой: солдаты Сто семьдесят шестого полка были в Одессе распропагандированы Иностранной коллегией. Бунтовщиков тут же погрузили на транспорт и под охраной жандармерии отправили назад в Одессу. Но другие французские, греческие и небольшие немецкие части — общей численностью до трех тысяч штыков — встретили партизан, идущих на штурм, в боевом порядке и — первый штурм города захлебнулся. Канонада гремела: это оккупанты накрыли артиллерийским огнем партизан, повстанцев и рабочие дружины.

Николай Столяров выслушал донесение разведки и приказал выстроить полк.

Он стал перед шеренгами бойцов и сказал:

— Поздравляю вас, товарищи бойцы рабоче-крестьянской армии Советской Украины, с началом боевых действий против интервентов и контрреволюции! Да здравствует отечественная война советского народа! Долой мировую буржуазию и гидру контрреволюции! Даешь Херсон!

Бои за Херсон продолжались несколько дней.

Удерживая территорию порта, франко-греческие части взяли под обстрел морской артиллерии рабочее предместье —

Военный форштадт. Прорываясь в отдельные кварталы города, греки хватали мирное население и угоняли его на территорию порта. Они заперли захваченных в большой амбар как заложников. За дни боев интервенты согнали туда до двух тысяч стариков, женщин и детей. Новый транспорт греческих войск, вызванный на помощь из Одессы, сошел на берег и сразу вступил в бой. Но в это же время греческое командование начало грузить на транспорты свое имущество, амуницию, продовольствие и все то, что можно было награбить в порту. Вслед за этим начали грузиться на транспорты и греческие части: партизаны прижали их к самому берегу, и семьсот трупов интервентов уже густо усеяли территорию между руинами многострадального города. Тогда англо-французское командование учинило акт неслыханного зверства: судовая артиллерия расстреляла амбар с заложниками — стариками, женщинами и детьми. Людей, которые, спасаясь, выбегали из амбара, немедленно уничтожали греческие пулеметы с транспортов: греки отплывали от города... Греческие транспорты были уже далеко, скрывшись за горизонтом, они, пожалуй, входили уже в одесский порт, а пять кораблей эскадры стояли еще двадцать часов на рейде и поквартально громили город, над которым развевался красный флаг.

Большой, значительно превышающий силами и прекрасно вооруженный отряд армии интервентов позорно бежал, но дорогу своего бегства залил кровью рабочих и крестьян, усеял пеплом пожарищ.

Херсон стал советским. Вооруженное восстание на плацдарме Херсон — Одесса — Николаев началось.

Положение в Николаеве сложилось иначе, чем в Херсоне. Боевые рабочие дружины фактически контролировали власть в городе, где существовало несколько «юридических» властей. В Николаеве были: «городская дума» — петлюровской ориентации, «правительственный комиссар» — деникинской, немецкий генерал-губернатор с дивизией, командование англо-французской эскадры, Рабочий комитет и особо уполномоченный представитель Советского правительства, который действовал подпольно, проводя переговоры с командованием немецкой дивизии об эвакуации немцев через советскую территорию на родину.

Большевистский Рабочий комитет к этому времени расширил свои связи с немецкими солдатами и усилил свое влияние на группу спартаковцев. В немецкой дивизии был создан Совет солдатских депутатов — и пятнадцатитысячный немецкий гарнизон отказался выступить в бой за интересы Антанты. Оставив себе только личное оружие, сотню пулеметов и несколько десятков пушек, немецкие солдаты передали остальное вооружение представителю Советского правительства. Четыре сотни спартаковцев — артиллеристы дивизии — стали

к орудиям для поддержки рабочих дружин. Греческий отряд в две тысячи штыков, сунувшийся было в город, был отогнан рабочими дружинами, а подоспевшие партизаны уничтожили под Николаевом несколько сот интервентов. На угрозу командования англо-французской эскадры открыть огонь по городу из своей морской артиллерии Рабочий комитет ответил, что в ту же минуту будет открыт ответный огонь по эскадре из тяжелых немецких гаубиц, которые теперь находились в руках восставшего народа. Партизанские отряды в это время тоже подходили с разных сторон к Николаеву.

Англо-французская эскадра вынуждена была дать сигнал к отступлению и оставила николаевский порт.

Над городом был поднят советский красный флаг.

Представитель украинского Советского правительства в Николаеве послал в Харьков правительству УССР телеграмму: «Сегодня французская эскадра и союзный десант оставляют город и порт. Сегодня городской Совет объявил себя властью».

Но телеграмма не застала правительство УССР в Харькове. Правительство УССР в этот день переехало в столицу УССР — Киев.

Тем временем партизанский отряд Одесского областкома под командованием матроса Ивана Голубничего, наименованный Первым полком Южной Красной Армии, ориентируясь на выход Красной Армии на линию Умань — Гайсин с севера и на предполагаемый подход щорсовских полков от Жмеринки по железной дороге на Вапнярку и Бирзулу с запада, повернул от Балты через Ананьев и двинулся на юг. Третьего марта он разгромил петлюровский «Черноморский кош», пятого смел передовой офицерский отряд добровольческой армии, девятого рассеял деникинский казачий полк, одиннадцатого потрепал и вынудил отойти французские пикеты. Теперь он двигался на прямой удар по Одессе.

Таким образом, боевые действия частей, которыми руководило командование Украинского фронта Красной Армии, начались одновременно с трех направлений — с востока, запада и севера — в направлении на Одессу.

7

Боевые операции вышли в зону одесского плацдарма кольцевым обхватом — и Одесса стала под удар.

Командующий оккупационной армией Антанты на Украине генерал д'Ансельм объявил город на осадном положении и провозгласил себя «верховным правителем Юга».

Председатель одесского подпольного Совета рабочих, матросских и солдатских депутатов Николай Ласточкин созвал экстренное заседание исполкома Совета.

Впервые после многих дней напряженной работы Ласточкин снова увидел Галю. Галя организовывала теперь новый отряд пропагандистов для работы среди французских войск — на смену погибшим членам Иностранной коллегии. Связь с французскими повстанкомами после разгрома Иностранной коллегии и провала делегатов французских частей не была еще восстановлена, но комсомольцы и комсомолки из группы распространения продолжали регулярно распространять листовки и газету «Ле коммюнист» на французском языке. Ласточкин сказал Гале:

— Твоей подпольной типографии, а заодно и подпольной редакции придется взять еще одно небольшое поручение.

— Какое именно? — спросила Галя.— Листовка? Текст у тебя есть?

— Нет,— ответил Ласточкин,— текста у меня нет. И это будет не листовка. Это будет регулярный, желательно — ежедневный, орган периодической прессы.

Галя озабоченно подняла брови.

— Но товарищей, знающих французский язык, ты мне не присылаешь! Как же делать сразу две газеты? И зачем тебе две французские газеты?

— Товарищи со знанием французского языка не понадобятся,— усмехнулся Ласточкин.— Эта газета будет не на французском языке...

— На греческом? — ужаснулась Галя.— Но у нас же нет товарищей, знающих греческий язык, и я не знаю...

Ласточкин громко рассмеялся.

— Это будет не на греческом языке, Галя.

— На каком же тогда? — совсем растерялась Галя.— На английском? Разве они перебрасывают сюда английские части?

— Эх, Галя, Галя! — укоризненно покачал головой Ласточкин, хитро поблескивая глазами.— Ты совсем забыла, где ты живешь и какой язык у тебя родной. Нам необходима газета на русском и украинском языках. Готовить надо оба издания.

— Ты хочешь сказать...— начала было Галя.

Но Ласточкин уже серьезно, без шуток, оборвал ее:

— Да, именно, это я и хочу сказать. Совет рабочих депутатов существует, и, как высший орган Советской власти на местах, он, естественно, должен иметь свой орган печати. Готовь первый номер «Известий Совета рабочих депутатов».

— Нелегальный, конечно? — спросила Галя.

Ласточкин пожал плечами.

— Готовить его начнем нелегально, а каким доведется ему выходить в свет — это покажет жизнь.

Когда собрались все члены исполнительного комитета, Ласточкин открыл заседание.

— Товарищи! Среди нас есть люди, которые и до сих пор придерживаются мнения, будто нашу победу решает только

разложение армии интервентов,— начал он свою речь.— Это ошибочная мысль, товарищи, и ошибочность ее подтверждает сама жизнь. Разложение армии интервентов — дело исключительной важности, но оно лишь тогда может сыграть свою роль в разгроме интервенции, коль скоро будет сочетаться с ростом всех наших боевых сил, коль скоро наши боевые силы будут точно выполнять ту роль, которая им отведена в ленинском плане разгрома интервентов. Выполняя этот план разгрома интервенции, Красная Армия развивает наступление с севера по всему Украинскому фронту. Партизанские отряды, подчиняющиеся командованию Украинского советского фронта, по трем направлениям двигаются на юг, к Одессе. Десятки восстаний в городах и селах вспыхивают навстречу Красной Армии и партизанам по всей территории, захваченной франко-англо-американскими интервентами и их наемниками. Наступает время для всеобщего восстания в Одессе — городе славы нашего народа, городе революционных традиций, в городе, который, в течение года находясь под разными иностранными оккупациями, ни на минуту не переставал жить своей, советской жизнью.

Всеобщее восстание навстречу освободительному движению Красной Армии — теперь для нас нет другой цели. Исходя из этой цели, должны мы сейчас разрешать каждое стоящее перед нами задание. Время восстания назначит командование Красной Армии...

Ласточкин говорил долго. Необходимо было взвесить и оценить все реальные силы восстания и предусмотреть все возможные препятствия. Члены исполкома долго обсуждали доклад и разошлись поздно.

Ласточкин ушел последним.

Через Срединную площадь — заседание происходило в Союзе деревообделочников — он вышел на Разумовскую улицу.

И больше его никто не видел.

Товарищи, которые должны были встретиться с Ласточкиным на следующий день, чтобы обсудить вопросы организации всеобщего восстания, ушли с явок ни с чем.

Ласточкин исчез.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Шторм крепчал, казалось, с каждым порывом ветра.

Казалось, что ветер не просто дул над поверхностью моря, в бешеном полете проносясь над водным пространством, а будто скакал галопом по гребням волн. Казалось, что воздух

в своем могучем движении становился плотным — таким же плотным, как и морская вода внизу.

И это стремительное движение воздуха тянуло за собою верхний слой воды; валы катились высокие и мощные, вихрь срывал гребни волн и уносил их, перемешивая воду с воздухом. Стояла весна, давно уже не было снега, но буря словно волокла над морем снежные буруны — пену и брызги.

Ураган гудел, выл, свистел, и этот рев покрывал все звуки. Не слышно было ревунов у маяка, не слышно было визга сирен на кораблях, даже пушечный выстрел не в силах был протаранить грохочущий рев урагана.

Шторм усилился до одиннадцати баллов — это был максимально возможный шторм в этих широтах,— и все же казалось, что ветер крепчает с каждой минутой и шторм и дальше будет нарастать.

Подобные штормы бывают не каждый год, и то лишь поздней осенью и весной — в период равноденствия.

Огромные океанские транспорты на рейде лежали на боку, и их швыряло, как утлые челны. Тяжелые линкоры и дредноуты будто совсем ушли под воду своими стальными корпусами, и волны свирепо вскипали, вихрились, пенились, перекатываясь через палубу, облизывая надпалубные башни. Мелкие посудины, которые попрятались под защиту мола, в обычно тихие заводи, даже здесь — за волнорезом — бросало с борта на борт и с носа на корму. Чтобы не разбило их в щепы о пирсы, суда вынуждены были отшвартоваться и покинуть причалы. Теперь они беспомощно барахтались посреди бухты, как котята в воде.

Огромный транспорт, стоявший за молом, но под защитой волнореза, заякоренный на два конца, лег на борт; каждую минуту его могло сорвать с якорей и разбить о мол. Спасало транспорт только то, что он имел глубокую посадку и совершенно плоскую палубу, без палубных надстроек. Ветер свободно перелетал через палубу, волна за волной перекатывалась через нее и, ниспадая каскадами, уходила дальше. В трюмы транспорта вода просачивалась сквозь наглухо задраенные люки и иллюминаторы. Внутри транспорта устоять на ногах было невозможно: пол в каюте стоял почти вертикально, одна боковая переборка ушла вниз, другая нависла над головой. Только на ребре, где бортовая переборка соединялась с днищем, можно было удержаться на одном месте, хватаясь то за днище, то за переборку.

Ласточкин так и стоял. Все, что было в каюте — табурет, выполнявший роль стола, соломенный матрац, заменявший постель, а также вся необходимая утварь одиночной камеры в этой пловучей тюрьме — алюминиевые кружка, тарелка и кувшин,— все это валялось тут же в углу, между днищем и пере-

боркой. Под ударами волн все это перелетало от одной переборки к другой, звенело и тарахтело.

Ласточкин был мокрый с ног до головы. При каждом ударе волны вода брызгала через задраенный иллюминатор, хлестала из-под медной окантовки плотно закрытых дверей, сбегала по стенам, просачиваясь неведомо в какие щели. Впечатление было такое, будто судно уже залито водой и идет ко дну.

Ласточкин не был моряком, и плавать ему приходилось разве только на катерах, курсирующих в Киеве по Днепру между Подолом и Слободкой. Он ни на минуту не сомневался, что это конец.

Хуже всего было то, что шторм налетел внезапно. Правда, ветер и волны были и раньше — утром и днем, с той поры, как его привезли сюда,— но тогда судно только сильно покачивало, а по палубе даже ходили люди: он слышал тяжелые размеренные шаги часовых. Шторм налетел полчаса назад — уже после того, как он услышал, что к транспорту причалил катерок. Из катерка вышли какие-то начальники. Он понял это по суете, поднявшейся наверху, и громкому ответу команды на приветствие прибывших.

Что ж, значит, и начальники эти теперь обречены на гибель вместе с ним, раз не успели своевременно убраться восвояси...

Однако это нисколько не утешало Ласточкина. Он не хотел погибать ни от шторма, ни от глупой пули тюремщиков. Он не имел права умереть: на берегу осталось подполье, в городе готовилось восстание, и он нужен был там, на своем месте руководителя.

На минуту шквал будто притих. Ласточкин даже отпустил переборку, за которую держался. Но это было всего лишь затишье перед еще более сильным ударом. Судно содрогнулось так, что затрещала каждая дощечка обшивки, заскрипели и застонали крепкие подпорки. Транспорт накренило на другой борт, Ласточкина швырнуло в сторону, и он больно ушибся об иллюминатор.

В эту минуту в воспаленном мозгу Ласточкина, все время думавшего только о том, как бы убежать из этой тюрьмы, блеснула совсем безумная мысль: судно сейчас расколется, он очутится в воде, поплывет и достигнет берега. Плавать Ласточкин не умел. Если бы он умел плавать, то знал бы, что в такой шторм не выплывет ни один пловец.

Но транспорт остался цел и даже выровнялся. Ласточкину удалось подняться на ноги, и он стоял, держась за переборку. Может быть, шторм начинает утихать?

В это время он услышал, что кто-то пробирается коридором к его двери, падая, ударяясь о стенки и чертыхаясь. Потом зазвенели ключи, щелкнул замок, кто-то, все еще продолжая чертыхаться, очевидно навалился что было силы на дверь,— переборка стояла наклонно, дверь заело и открывать

ее было трудно. Наконец, она с грохотом распахнулась, и, держась за косяк, на пороге остановился часовой.

— Иди! — расслышал Ласточкин сквозь вой бури, скрип дерева и тарахтенье всего, что перекатывалось с места на место в каюте и во всех соседних помещениях.

Куда идти? Очевидно, не на смерть. Ведь должен же быть еще допрос. Неужели в такой шторм его снова швырнут в катер и повезут на берег? Опять безумная надежда пронизала разгоряченное воображение Ласточкина: он сможет выброситься за борт, и волна понесет его прямо к берегу...

Ласточкин сделал шаг, упал, поднялся, снова упал, но, схватившись за порог, все-таки перекатился в коридор. Часовой подхватил его под локти и прислонил к стене.

— Куда мы пойдем? — крикнул Ласточкин часовому.

Часовой-белогвардеец с нашивками унтера, грузин, не ответил и толкнул его в спину.

Ласточкин пошел. В коридоре двигаться было легче, чем в каюте: коридор был узкий, не более метра в ширину, и можно было держаться одновременно за обе стены.

В конце коридора была дверь, тоже плотно прикрытая. Грузин постучал в нее, внутри загремел засов. Дверь открыл второй часовой. Вид у него был страшный. Отпирая дверь, он зажал широкий тесак в зубах: в тесноте кают, да еще при такой качке пистолет не был надежным оружием — чернокожая стража стояла на посту с короткими и широкими тесаками.

Второй часовой был черный мальгаш, и вступить с ним в разговор не было никакой надежды. Кроме своего языка, негры и мальгаши знали только несколько французских слов — слова команды.

Теперь около Ласточкина стояло двое: жилистый, подвижной грузин и широкоплечий, на две головы выше низенького Ласточкина, негр,— не стоило и пытаться броситься на них, чтобы оттолкнуть и, пробежав палубу, прыгнуть за борт.

Они пошли вторым коридором, здесь качало несравненно меньше; каюта-камера находилась на корме, а сейчас они передвигались в центральной части судна.

У одной из дверей, очевидно в самом центре судна, потому что здесь качало еще меньше, грузин остановился и сильно постучал. Затем толкнул дверь. Она приоткрылась, и Ласточкин сразу же, еще не переступив порога, увидел перед собой четырех человек. Они были так близко, что Ласточкин даже отшатнулся: каюта была небольшая, и эти четверо сидели тут же, у порога. Они сидели в креслах близко друг от друга, и когда судно подбрасывало, каждый, чтобы не упасть, хватался за спинку кресла соседа. Кресла стояли так тесно, что резкие встряски судна не опрокидывали их и почти не сдвигали с места.

— Заходите! — приветливо, даже обрадованно крикнул один из этих четверых.

Удары волн и здесь заглушали все другие звуки, но деревянные части судна скрипели тут не так отчаянно, и можно было расслышать человеческий голос. Чернявый плотный человек, обратившийся к Ласточкину, был, видимо, иностранцем, но говорил по-русски.

Ласточкин, шатаясь, переступил порог и огляделся вокруг. Он тоже хотел бы присесть, но сесть было не на что, больше кресел в каюте не было, и он продолжал стоять, прислонившись к стенке, хватаясь за ручку двери после каждого удара волны.

Черноволосый плотный человек был в штатском — теплая охотничья куртка, серый шерстяной свитер с выпущенным наружу воротником, желтые краги и клетчатое кепи. Второй — высокий, стройный, седой, с холеным лицом и застывшим на нем высокомерным выражением легкого омерзения ко всему окружающему, словно в каюте разило чем-то вонючим,— был в кителе с погонами французского генерала. Третий, сидевший рядом с ним — багровый, налитой кровью и будто сонный,— был тоже с генеральскими знаками различия, только в английском френче. Четвертый был французский полковник с серебряным штабным аксельбантом.

Этого четвертого Ласточкин знал. Это полковник Фредамбер — фактический вершитель судеб на всем одесском плацдарме. Остальных трех он никогда не видел. Однако он сразу догадался, что седой высокомерный — это д'Ансельм: ему точно известна внешность генерала. Английский адмирал — очевидно, Боллард. Но кто же первый, штатский?

Штатский заговорил снова. С его лица не сходила приветливая улыбка.

— Халлоу! — крикнул он точно в телефонную трубку.— Халлоу! Чертова какофония! Нам придется в нашей интимной беседе перекликаться, как на базаре,— он улыбнулся.— Вы не сердитесь, что вас потревожили так поздно и в такую непогоду?

Неизвестный хорошо владел русским языком, не затрудняясь в подборе слов, но в речи его чувствовался акцент. Ласточкин не знал ни французского языка, ни английского и не мог понять, кто же этот неизвестный — англичанин или француз?

На вопрос он не ответил.

Но это нисколько не обескуражило незнакомца. Он улыбнулся и весело пошутил:

— Понимаете, когда мы собрались сюда, шторма еще не было. Он грянул, как только мы вступили на палубу этой утлой посудины. Уверяю вас, если бы мы знали, то не приехали бы сюда, рассчитывая на вашу снисходительность. Как джентльмен, вы бы простили нам нашу задержку, не правда

ли? Однако я должен сказать, что природа, безусловно, с вами в союзе, силы стихии против нас — ветер и море хотят проглотить нас тут вместе с вами!

Он захохотал.

Ласточкин услышал, как полковник Фредамбер шепотом переводит генералу д'Ансельму речь незнакомца. Значит, генерал д'Ансельм русского языка не знает, а Фредамбер владеет им в совершенстве. Адмирал Боллард тоже слушает перевод одним ухом. Ласточкин сообразил, что полковник переводит не на французский язык, а на английский — очевидно, специально для Болларда, который французского языка, видно, не знает.

Неизвестный снова заговорил:

— Нам очень жаль, что не можем предложить вам стул, но для пяти кресел не хватает места в этом курятнике. Может быть, мы прикажем открыть дверь в коридор и вы присядете на порог? Пороги здесь, видите, какие высокие.

Ласточкина раздражало кепи на голове незнакомца. Почему он в кепи? Другие, и полковник и генералы, сидят без головных уборов. Почему же этот держится по-хамски — не только с арестованным, но даже со своим начальством? Или он тоже начальник, и еще выше, чем они? Тогда кто же он такой?

Вверху через палубу, грохоча, словно переворачивая тонны камней, перекатывалась волна. Судно накренилось, рука Ласточкина скользнула по стене, четверо допрашивающих ухватились друг за друга. Генералы с опаской посмотрели вверх, но неизвестный в штатском спокойно усмехнулся. Подождав, пока немного утихнет, он заговорил снова:

— У нас к вам всего несколько вопросов, товарищ Ласточкин.— Он так и сказал: «товарищ Ласточкин», даже не повысив тона на слове «товарищ», как делают это все контрреволюционеры, когда хотят поиздеваться.— Собственно это даже не вопросы, а некоторые предложения. Даже не предложения, а...— улыбаясь, он поискал слово и нашел его,— приглашение. Мы приглашаем вас к себе в гости. В гости, товарищ Ласточкин. Правда! Мы предлагаем вам интересное путешествие, которое будет иметь и познавательный и увеселительный характер. Мы предлагаем вам совершить путешествие по разным странам Западного полушария — посмотреть, как там живут люди, познакомиться с их образом жизни, так сказать — с жизненным уровнем человека в странах Запада, ну, естественно, отдохнуть после всех треволнений, которые вам пришлось пережить здесь, у себя на родине, после всех бурь, которые пришлось вам испытать. Эти бури и треволнения, конечно, очень утомили вас, а в вашем возрасте...— вам же перевалило на пятый десяток, не правда ли? — в вашем возрасте можно уже пожить и для себя, не только для других... Эх, черт!

С минуту он молчал, пережидая, пока затихнет гул от удара волны, а Ласточкин поднимется на ноги после падения. Он с усмешкой и интересом разглядывал Ласточкина. Потом сказал:

— Понимаете? Я буду говорить прямо. Мы знаем, с кем имеем дело. Вы побываете везде, увидите, как живут люди при другом государственном строе — не таком, какой был в царской России, а при строе демократическом. Присмотритесь, взвесите, рассудите — и сможете правильно определить, в чем вы, большевики, правы, а в чем...— он улыбнулся и развел руками, словно желая сказать, что это от него не зависит,— а в чем ошибаетесь. Людям свойственно ошибаться. Скажу откровенно: ваших взглядов мы не разделяем.— Улыбка неожиданно исчезла с его лица, и совсем другим тоном он сказал: — Скажу прямо: нам необходимо, чтобы вас — Николая Ласточкина — сейчас здесь не было. Вот поэтому-то,— пояснил он любезным тоном,— нам и пришлось прибегнуть к такой пренеприятной штуке, как... принудительное задержание и изоляция...

Он остановился, наконец, ожидая ответа.

— Снимите кепи,— сказал Ласточкин.

Незнакомец молчал, недоуменно глядя на него, но Ласточкин больше ничего не сказал. Тогда незнакомец громко захохотал. Он сорвал с головы кепи и швырнул его в угол каюты.

— Тысяча извинений, товарищ Ласточкин! Я просто забыл. Знаете, армейская привычка: всегда в головном уборе. Я совсем забыл, что сегодня нарядился в штатские тряпки. Тысячи извинений! Однако вы не ответили на мое предложение. Скажем прямо: у вас выбор ограниченный. Или вы принимаете наше предложение, или... остаетесь здесь, на судне. Это же, знаете, тюремное судно. И его путь, если не ошибаюсь, лежит во Французскую Гвиану. Полковник! Ваши пловучие тюрьмы вы направляете прямо в места заключения или куда-нибудь еще?

— Гвиана...— прохрипел Фредамбер.— Каторжная тюрьма святой Терезы.

— Вот-вот, я так и думал! Брр! Тропики, жарища, удушье, москиты, желтая лихорадка... «Графа Монте-Кристо» Дюма читали? Ужас! Во всем мире, наверно, нет ничего хуже французских тюрем... Ах, да! Я еще вам забыл сказать, что если вы решите остаться на воле, то выбор места, где вы захотите жить, целиком будет зависеть от вас самого.— Он развел руками.— Ничего особенного мы предложить не можем, вы должны нас понять... Но генерал д'Ансельм,—он указал рукою в сторону генерала,— может предложить вам небольшое шале и приличный виноградник в Савойе. Адмирал Боллард,— он сделал такой же жест в сторону Болларда,— может предоставить в Южной Шотландии охотничий домик на зеленой лужайке с белыми овечками — очаровательный уголок. Что ка-

сается меня, то я уполномочен предложить вам ферму с пятьюдесятью акрами земли в том уголке Соединенных Штатов, который больше всего придется вам по сердцу.

Вот оно что! Так это американец, полковник Риггс. Так вот он каков, посланец президента Соединенных Штатов, миротворца Вильсона! А где же его левая рука — рыжая Ева?

Ласточкин с любопытством разглядывал Риггса. Мысли вихрем проносились в его голове. Взяли его одного или захвачен еще кто-нибудь из товарищей? Что делается сейчас на берегу, в Одессе? Как дела в подполье? Как идет подготовка к восстанию? Где партизаны и Красная Армия? Знают ли товарищи, где он? Готовятся ли его освобождать?

Он с интересом разглядывал Риггса, но не отвечал на его предложение.

— Вы молчите,— грустно вздохнул Риггс.— Я понимаю: вам надо время, чтобы обдумать все. Ну что ж, время для обдумывания есть. Мы все равно не можем выбраться отсюда, пока не утихнет шторм. Как вы считаете, это долго протянется?

— Долго,— сказал Ласточкин.— Если будете медлить, то выбраться отсюда вам не посчастливится...

Все выслушали его внимательно. Фредамбер быстро перевел, а Риггс, усмехнувшись, сказал:

— Вы меня не поняли. Я говорю о шторме на море. Если же вы выражаетесь аллегорически, имея в виду шторм большевистской революции, то...— он развел руками и не спешил с ответом, подбирая подходящие слова,— то сам факт, что вы тут... свидетельствует, что наш ветер вырвал с корнем могучий дуб... в ваших лесах большевизма.

Ласточкин тоже улыбнулся.

— Я выражался не аллегорически. Но если вы любите аллегории, то извольте. Народный шторм против иноземных захватчиков и контрреволюции усиливается.

— Галантная беседа...— пренебрежительно усмехнулся и генерал д'Ансельм.— Скажите, а ваш друг экспроприатор Котовский — простите, я хотел сказать: доктор Скоропостижный,— что, он способен усилить этот ваш народный шторм самим фактом своей гибели?

Фредамбер быстро перевел слова генерала, но Ласточкин, не знавший ни французского, ни английского, понял самое главное и без перевода. Котовский! Неужели и Григорий Иванович в этой пловучей тюрьме, за дощатыми переборками кают? Доктор Скоропостижный... Сомнения нет, эта маска раскрыта. Предательство? Или хитрость разведки?

Тревога охватила Ласточкина. Этот удар так потряс его, что чуть было не свалил с ног. Однако он нашел в себе силу воли, чтобы внешне остаться спокойным и ничем не выказать своего потрясения.

Боль за судьбу Григория Ивановича сжала его сердце, но

тревога за подполье, за успех восстания была так велика, что не расслабила Ласточкина, а, наоборот, придала ему сил. Теперь он был готов ко всему. Ничем не удастся сломить его стойкость.

И вдруг, воспользовавшись минутной тишиной между двумя ударами волн, Ласточкин крикнул во всю силу своих легких:

— Григо-о-рий Ива-а-нович!

Это было так неожиданно, и крик Ласточкина был такой громкий, что генералы зажали уши, а Риггс испуганно вытаращил глаза. В это время волна ударила в борт и, каскадом перекатываясь через палубу, загрохотала наверху. Все опомнились. Ласточкин схватился за ручку двери и выпрямился. Он снова, как и раньше, был спокоен, будто и кричал это не он. Волна отгрохотала, в каюте опять стало тихо. И тогда внезапно издалека, из самых недр утлой деревянной посудины, раздалось далекое: «Григо-о-рий Ива-а-нович!..»

Это было не просто эхо. Кто-то действительно кричал с другого конца судна. Но это не был голос Котовского.

Значит, в пловучей тюрьме находился еще кто-то, еще один человек — только один, потому что больше не откликнулся никто, а голос Ласточкина узнал бы каждый.

Но Ласточкин голоса не узнал. Кто же это такой? Кто же из товарищей вместе с ним попал сюда, в эту пловучую могилу?

Ласточкин овладел собой.

— Извините...— улыбнулся Ласточкин,— просто захотелось прочистить горло... Здесь, знаете, сырость, холод, а у меня, знаете, больные гланды...

Он вызывающе смотрел на своих мучителей, не скрывая насмешки. И чтобы покончить со всем этим и скорее перейти дальше, Ласточкин сказал:

— Знаете, что? Не треплите себе нервы, да и мне дайте покой. Я считаю нашу беседу законченной.

А думал он в это время только одно: на воле Котовский или, может быть, заключен в другой застенок?

2

Нет, Котовский не был арестован.

В Маяках, на краю села, в ветхой кузнице, прилепившейся к крутому берегу Днестра, они сидели с Жилой и мирно беседовали.

Здесь, в старой кузнице, и жил Григорий Иванович вместе с Сашком Птахой. Позавчера Сашко пошел в очередной рейс по связи с Одессой, и его возвращения надо было ожидать сегодня утром с минуты на минуту. Только что рассвело. Солнце еще не вставало, но восток за лиманом уже густо за-

алел; похоже было на то, что день будет теплый, солнечный, хороший. В темную кузню сквозь широко раскрытую дверь и небольшое оконце под потолком, покрытое толстым слоем копоти, пробивался свет ранней зари. В кузне, собственно говоря, и был штаб создаваемого отряда. Только-только рассвело, а Степан Жила явился, как обычно являлся каждое утро, спросить, какие будут приказания. Будет ли Григорий Иванович проводить конные занятия — вольтижировку и рубку лозы, или прикажет вывести бойцов в плавни на учебную стрельбу? Или, быть может, выделит сегодня время на «словесность» — заслушать и обсудить доклад о международном положении, который обещал сделать лично сам Григорий Иванович?

Котовский выслушал все три возможных варианта дневного обучения бойцов отряда, но не отвечал. Мысли его, видимо, были далеко. Он задумчиво смотрел поверх головы Жилы в раскрытую дверь: сразу же за склоном крутого берега начиналась лужайка; расположенная на солнечной стороне и защищенная от холодных ветров, она уже зеленела. Здесь, на юге, март давал себя знать. Над сухим, прошлогодним камышом стояла синяя дымка: белый утренний туман поднялся, но воздух над водой, еще не пронизанный солнечными лучами, не был легок и прозрачен. С юга, с бессарабской стороны, веял нежный, теплый ветерок.

Жила, подождав некоторое время, слегка кашлянул, напоминая о себе: когда Григорий Иванович задумывался, он словно оставался один-одинешенек на всем свете и забывал о человеке, с которым беседовал до этого.

Но деликатное покашливание Жилы, правда довольно-таки громкое, сразу же возвратило Григория Ивановича к действительности.

Котовский вздохнул и с удовольствием поглядел на коренастого мужика в солдатской шинели и в серой папахе, стоявшего перед ним.

— Ты хороший солдат, Жила! — сказал Григорий Иванович и еще раз с завистью поглядел на Жилу.— Все у тебя исправно, все ладно, по-военному: раз день начинается, а войны нет, значит надо обучать солдат. А вот мне...— он запнулся было, но потом сознался: — Воевать — руки горят, а от муштры — душу воротит.— Он с надеждой глядел на Жилу.— Вот бы нам какого-нибудь офицерика, а? Пускай бы военному делу обучал, ведь без муштры и вправду армии не сделаешь. А я бы...— он махнул рукой, мечтательно глядя на необозримый, широкий степной простор, расстилавшийся сразу же за дверями кузницы.— Эх, завидую я тебе, что ты солдат, Жила!

Жила снова громко, но деликатно откашлялся.

— Офицерика, как специалиста по военному делу, и вправду стоило бы найти. Сказать прямо, есть у меня один

такой на примете: из наших, из простых людей, с нашей же Анатольевки, сынок учителя, прапорщиком воевал, а сам из себя студент. Хороший хлопец, любит простой народ. Если прикажете, снова пойду в Анатольевку и мигом приведу его сюда. Прошлый раз в селе его не было: прятался от петлюровцев... Только насчет солдата — это ты, Григор, зря. Какой же из меня солдат? Такой же, как и из тебя. Раз надо воевать — значит надо. Только и всего. Ну, фронты, известное дело, как и все люди, прошел, отвоевал свое, усвоил муштру, до ефрейтора малость не дотянул, лычку не дали: старик уже я, какой из старика в армии толк, лычки молодым, ретивым нашивают. Да и солдатская специальность не по душе мне, Григор. Нет, не солдат я.

— А кто же ты?

— От землицы я. Хлебороб. Гречкосей, мужик стало быть...

Котовский одобрительно кивнул. Жила продолжал:

— И признаюсь тебе: тянет меня к земле, страх как тянет! Сердце по ней, земельке-матушке, так истосковалось!.. Руки к ней мечтаю приложить как следует, в полную силу: пахать, сеять, косить, ну любое в хозяйстве дело могу. Чтобы, значит, сытым быть и мне и детям моим, ну, и для интересу, для души, значит...

Григорий Иванович понимающе и с любопытством глядел на Жилу, а Жила грустно поглядывал сквозь мутное от сажи оконце на весеннюю степь. Широкая и ровная, раскинулась она далеко-далеко, до самого горизонта. Земля лежала невспаханная, оскорбительно запущенная, рыжая от прошлогоднего бурьяна. Бои проходили здесь и осенью и прошлой весной, и крестьяне уже давно не поднимали ее плугом. И теперь снова не видно было в степи землепашцев: снова народ ожидал войны и, не зная, кому суждено будет собрать посеянное, не хотел сеять. Люди копались только на огородах около хат.

— Люблю землю,— еще раз повторил Жила,— хочу земли. Нет для меня ничего лучше, чем землица-матушка. Но погляжу на тебя, Григор, и завидую тебе, честное слово, завидую...

— Мне завидуешь? — удивился Котовский.

— Тебе. Потому как рабочий ты человек, Григор Мадюдя. С понятием человек. Грамотный очень, свету повидал, по тебе видно: везде, знать, побывал. Специальность всякую знаешь,— подчеркнул Жила и вздохнул.— Грузчик ты по профессии, и силища у тебя какая, я приметил: два чувала с зерном сразу на плечи берешь, молотом здесь в кузнице, как саблей, легко играешь. Пригляделся я к тебе, так вижу: ты и кузнец, и по слесарному, и ко всякой машине сноровку имеешь; нет для тебя секрета в механизме, и в винтовке, и в пулемете, и в пушке, да и во всяких машинах крестьянских тоже. А примечал я, что ты еще и до медицины горазд: кому какие лекарства посоветуешь, а что до коней — так просто ветеринар!.. Завидно даже мне ста-

новится, когда погляжу на всякую твою умелость: вот коли бы мне, мужику, такое — пригодилось бы все это в хозяйстве, около земельки, куда лучше хозяйничал бы на своем клочке.— Жила смущенно улыбнулся.— Думка у меня такая: может, даст Советская власть, кроме земли, еще и рабочую сноровку мужику?

Григорий Иванович весело засмеялся и даже хлопнул Жилу тяжелою рукою по колену.

— Красивые у тебя мысли, Степан! А я, знаешь, о чем мечтаю? Знаешь, какая у меня мечта живет? Сказать?

— Ну, скажи! — ближе придвинулся Жила к Котовскому.

Котовский тоже наклонился к нему.

— Правду ты говоришь, Степан: воевать потому нам хочется, что надо воевать. Сил нет жить в буржуйском мире, издевательства буржуев над народом терпеть. Паразитов и контру всю надо уничтожить! Горит даже все у меня — так воевать с ними, гадами, хочется! Но разве это мечта? Это мечта временная. А вот уничтожим паразитов и контру, повалим буржуйский капитализм, построим народную пролетарскую жизнь,— знаешь, какое у меня тогда мечтание есть, сокровенное, живет оно во мне, наверное, с детства... Сказать?

— Ну, ну, говори!

Котовский наклонился к Жиле совсем близко и почти зашептал ему на ухо:

— К земле хочу, Степан! К земле, как и ты. Мужик я, Степан, мужицкая моя и мечта.

Григорий Иванович отодвинулся от Жилы и смотрел на него, радостно сияя глазами.

— Скажи на милость! — удивился Жила.— И тебя, значит, тянет к земле?

— Тянет, Жила! Ох, как тянет! — Григорий Иванович снова наклонился близко к Жиле и зашептал, застенчиво улыбаясь:— Только я бы со скотиною, Степан, возился. И чтобы скотины много-много было: овец отары, коров стада, коней — коней больше всего на свете я люблю, Степан,— коней чтобы табуны были. Я бы, Степан, новые породы коней разводил. И под седло и битюгов тоже. У вас в Анатольевке какая порода коней?

— Кони у нас обыкновенные, крестьянские, в упряжку. А скакунов тоже разводят, только это не мы — богатеи...

Котовский замахал руками.

— Нет, нет! Ты не подумай! Не из-за богатства я коней люблю, а для души. О большом хозяйстве мечтаю не для себя, а для народа. В большом хозяйстве и размахнуться легче и дело лучше пойдет! А я бы вот в таком большом хозяйстве хоть бы маленьким человечком был, ну так, вроде за старшего конюха, или на ветеринара бы выучился. Понимаешь? Чтобы около дела быть, по душе которое.

— Понимаю...— сказал Жила.— Это я понимаю: душа просит, а не мошна, не карман. Это всякому понятно. Планы у тебя большие, а копейка тебе без интересу. Людей ты любишь — так хочешь, чтобы для людей на пользу твоя работа пошла. Как же не понимать? Хороший ты человек, Григор. Вот я и опять завидую тебе...

— Сколько у тебя детей, Степан? — спросил вдруг Котовский, меняя тему разговора.

— Детей? Детей двое у меня: Василько — четырнадцати и Вивдя — на десятый годок пошло.

Григорий Иванович помрачнел.

— А у тебя сколько, Григор?

— Нет у меня детей,— хмуро пробурчал Котовский,—не женат я.— Он сердито поскреб макушку.— Вот так прозябаю бобылем, всю жизнь таскался, как пес, по ярмаркам, и вот холостяком до седых волос. Это мое горе, Степан,— грустно признался Котовский.— Ну, посуди ты сам: закончим войну, порубаем паразитов, для всего народа счастье сделаем на земле, тогда каждого к своей семье потянет,— а я тогда куда же? Где голову приклоню? — Григорий Иванович вдруг рассердился.— Да и строить тогда будем много, новую жизнь строить на земле. А с кем я начну строить, кто мое дело дальше будет вести? Где мои сыновья? Где моя дочка, которая родила бы мне маленького Григорчука? А?..

Котовский неожиданно оборвал и резко поднялся.

— Ну, хватит! Заболтались мы здесь с тобой... Отряд на учение уже выведен?

Жила полез в карман и вынул огромные стальные часы на огромной стальной цепочке; такие часы, австрийской фирмы «Дукс», образца тысяча восемьсот девяностого года, Юго-западная железная дорога Российской империи выдавала своим служащим — кондукторам, машинистам, дежурным по станции. За огромный размер и толщину эти часы в народе прозвали «цыбулей» [1].

— Через минуту семь,— сказал Жила, солидно щелкнув крышкой. Потом вытянулся и приложил руку к фуражке.— Разрешите доложить: в отряде днестровских партизан произведена утренняя перекличка. Через минуту отряд будет выстроен на плацу и ждать распоряжений от своего командира.

— Пошли! — сказал Григорий Иванович, направляясь к выходу.

Жила медленно последовал за ним.

— Какое настроение у бойцов?

— Невеселое настроение, Григор...— сокрушенно ответил Жила и запнулся.

— Что?

---

[1] Цыбуля — луковица *(украинск.)*.

Григорий Иванович остановился на пороге и через плечо испытующе глянул на своего заместителя.

— Невеселое, говоришь? Объясни.

Жила развел руками.

— В бой рвутся хлопцы, Григор. Воевать хотят — паразитов и контру уничтожать, опять-таки ж и интервентов... Второй месяц без дела толкутся: муштра и муштра. Говорят: «Что это мы, действительную отбываем, что ли? Партизаны мы или солдаты царя небесного? — говорят.— Нам что? Нам давай гадов стрелять, а не по мишеням. По мишеням, говорят, мы уже свое отстреляли, еще как в царской армии были, опять-таки у Керенского или по гетманской мобилизации. А теперь, говорят, мы оружие своей охотой взяли — чтоб революцию, значит, расширять и углублять. За землю, стало быть, и против гидры».

Котовский, не перебивая, выслушал Жилу до конца. Он так и продолжал стоять на пороге, спиной к солнцу, а лицом в кузню. Стоял, широко расставив ноги, стоял твердо и тяжело, уперев руки в бока и опустив голову, точно рассматривал что-то там у себя под ногами.

— Та-ак...— промолвил он, подождав, не добавит ли еще чего Жила.— Паршивое, выходит, настроение, Степан.— Неожиданно улыбка, веселая и добрая, но с оттенком иронии, пробежала по его лицу.— Настроение это знакомо мне, Степан.— Он хитро, но как-то немного смутившись, искоса взглянул на Жилу.— Знал как-то я одного партизанского командира, еще неопытного: только-только взялся он организовывать свой отряд. Вот точнехонько так же: подавай ему сразу коня и саблю, сейчас он поскачет паразитов рубить. Похвалялся с одним эскадроном храбрецов революцию совершить и всю землю вверх ногами перевернуть. Уж очень он, знаешь ли, учения недолюбливал — точнехонько так же... Ну, нашлись добрые товарищи, большевики стало быть, особенно один среди них,— на вид, казалось, такой невзрачный, а по силе партийной великан,— так в два счета вправили они этому сорви-голове мозги, по-партийному мыслить его научили...

Григорий Иванович весело засмеялся. Жила взглянул на него, не понимая еще настоящего смысла и соли иронии, не понимая, конечно, и причины буйной веселости. Он поучающе сказал:

— Дело, Григор, здесь такое. Наилучшее настроение для бойца — это желание рваться в бой. Только настроение это в себе одну заковыку имеет: не пустишь такого в бой, придержишь его — сразу же настроение у бойца и упадет, дисциплина тоже, и боевая часть при этом может утерять свою боеспособность...

— Верно, Жила! — подтвердил Котовский.— Очень серьезное это дело, имей в виду. Избави боже расхолодить бойца!

Его нужно подогреть, зажечь, однако запалу этому правильную линию дать — поднять, так сказать, на высшую ступень. Пошли, Жила!

Григорий Иванович решительно переступил порог и быстро зашагал прочь от кузни. Жила еле поспевал за ним.

Они спустились с холма, но направились не к реке, а свернули в сторону, к селу. Не доходя до села, они опять свернули и пошли вдоль реки под высоким берегом. Сразу же за косогором, у залива, перед ними открылась широкая пустынная отмель. Это и был «плац», на котором собирались партизаны на утреннюю перекличку или при какой-нибудь другой необходимости, когда надо было выстраиваться всему отряду.

Часовой, увидев приближающегося командира, подал команду:

— Стройся!

И мигом на пустынной до этого отмели стало людно: партизаны вскакивали с песка, где лежали, отдыхая, выбегали из прибрежных зарослей, спрыгивали сверху, с круч. Некоторые торопились, на бегу подтягивая амуницию, другие шли не спеша, волоча за собой верхнюю одежду. Понемногу шеренга выстраивалась вдоль обрыва. Сейчас партизаны строились без оружия.

Когда Котовский с Жилой были уже шагах в двадцати от шеренги, раздалась команда:

— Смирно!

Некоторых особенно неповоротливых эта команда застала еще не в строю, и, подходя, они пристраивались с левого фланга. Котовский, искоса поглядывая на шеренгу, ожидал, пока подойдут опоздавшие.

Теперь уже в строю было человек полтораста, и шеренга с первого взгляда представляла собой довольно-таки пеструю картину. В глазах даже рябило от разнообразной одежды. Больше всего было солдатских гимнастерок — за четыре года мировой войны в солдатские гимнастерки оделась добрая половина бывшей Российской империи. Однако среди гимнастерок защитного цвета выделялись длинные белые рубашки бессарабских чабанов, поверх которых были надеты короткие бараньи кожушки-безрукавки, штатские пиджаки городского покроя, свитки подольских хлеборобов. Довольно много было и потрепанных военных мундиров: серо-голубых — немецких и серо-зеленых — австрийских; попадались и зеленые румынские кители. Долговязый правофланговый красовался в синем с красными отворотами доломане венгерского гусара. Весь этот пестрый гардероб состоял из трофеев, добытых в мировую войну.

Когда последний из отставших партизан пристроился на левый фланг, правофланговый в венгерском доломане отрапортовал:

— Сто сорок пять бойцов, отряд в полном составе, больных нет.

— Здравствуйте, товарищи красные партизаны! — негромко, но отчетливо и весело поздоровался Котовский.

— Здравствуйте, товарищ красный командир! — откликнулась шеренга. Ответ прозвучал громко и стройно: командира любили и на его приветствие отвечали с радостью. За веселый характер Котовскому прощали даже то, что завел он в отряде «строй», команду «смирно», ответ командиру по форме — военные традиции, о которых теперь, после революции, в партизанских отрядах в большинстве случаев и помину не было.

Котовский помолчал с минуту, потом сказал, обращаясь к Жиле, опять негромко, но так, что услышать его должен был каждый боец от правого и до левого фланга:

— Семнадцати с левого фланга, которые опоздали и пристроились после команды «смирно», объявить выговор и послать вне очереди на кухню чистить картошку.

Шеренга молчала, бойцы стояли не шевелясь.

— Вольно! — скомандовал Котовский. — Разойдись!

Партизаны приняли положение «вольно», но оставались в строю. По шеренге прокатился ропот: приказ командира неприятно поразил партизан. Наказания в отряде практиковались редко, тем более за такие мелкие нарушения. Особенно шумели семнадцать наказанных. Они не скрывали своего неудовольствия, протестовали, били себя в грудь кулаками и божились, доказывая свою невиновность.

Но Котовский как будто ничего не слышал. Он пригласил жестом всех подойти к нему. Партизаны, бойко переговариваясь между собой, мигом сомкнули кольцо вокруг командира.

— Так вот, товаришочки,— заговорил Котовский, перебегая взглядом по лицам,— слушок такой пошел над Днестром, ветерком мне из плавней в ухо надуло, что появилось среди днестровских партизан недовольствие нашим житьем-бытьем. А? — Он хитро подмигнул сперва одному в толпе, затем другому.— Проклинают вроде Григора Мадюдю за то, что воли хлопцам не дает и вроде старый режим заводит в отряде: ни тебе в село на гулянку пойти, ни тебе кухоль самогону-первача добыть, ни тебе...

В толпе прыснули. Однако большинство оставались бесстрастными. В отряде больше всего было молодежи, но не зеленой, а молодежи с довольно солидным опытом прошлой войны; это были, главным образом, бывшие фронтовики, им было лет по двадцати пяти. Несколько более солидных мужиков, постарше, в крестьянской одежде, и здесь, в толпе партизан, держались в сторонке. Они и сейчас стояли замкнутые, сурово-спокойные.

— Ну, так как же, хлопцы? — спросил Котовский, снова хитровато прищуриваясь.— Какой же наказ от вас будет

командиру? Девчат на танцы пригласим, ремонтеров за первачом на сахарный завод пошлем или в очко сядем перекинуться, чтоб, значит, все были довольны? Ведь сами понимаете, недовольство среди бойцов — плохое дело. Недовольство надо непременно ликвидировать! Верно ли я говорю?

Смех снова вспыхнул тут и там. Однако правофланговый в синем доломане — долговязый, горбоносый степовик — угрюмо сказал:

— Брось, командир, смеяться! Не до шуток теперь народу!

— А что такое? — делая простоватый вид, удивился Котовский.— Животы, что ли, со смеху заболели? Да и не шутя я говорю, а серьезно.

Правофланговый угрюмо ответил:

— Недовольство и вправду промежду людей пошло. Только не туда шутками ведешь. Не по этой причине забирает людей злость.

— Так-то! — послышалось из толпы старших, солидных партизан.

— Верно! — крикнул кто-то из молодых.

— Микола Горб правду говорит! — раздалось запальчиво сзади.— Потому как терпения у народа нет!

— Да командир с умыслом не туда заворачивает! Он ведь хитрит! — послышалось в чьем-то голосе желание оправдать насмешливый тон Котовского.

Но Котовский уже не шутил. Он сразу стал серьезным, даже суровым.

— Хорошо,— сказал он.— Ежели злость забирает, давайте без шуток. Выкладывайте претензии начистоту. По какой такой причине недовольство в отряде?

— А ежели начистоту, так я тебе, Григор, скажу,— сразу откликнулся солидный усатый дядько в чабанском кожушке.— Народ тебя любит, доверяет народ тебе, и врать тебе никто не станет. Неверную линию ведешь, командир, вот в чем причина. Сменить надо линию — вот какой вопрос.

— Говори! — подбодрил его Котовский.— Какая линия неверная и какая нужна, верная-то?

— Воевать надо! Вот верная линия,— раздался сзади звонкий, молодой голос.

И сразу со всех сторон послышались выкрики:

— Воевать, а не на печке сидеть!.. На беляков и Антанту нас веди! Мы партизанить пришли, а не военную муштру проходить! Чему надо — в боях научимся! В бой, командир, веди! Военную линию веди, Григор!

— Слышал, что народ говорит? — укоризненно промолвил дядько в чабанском кожушке.

Но долговязый правофланговый отстранил его и вплотную придвинулся к Котовскому.

— Дошло, Григорий Иванович? Вот как хлопцы говорят: воевать давай, революцию давай делать — вот в чем причина! А про девчат или там самогон,— так это, право, обидно. В бой давай, а то ты муштры всякой завел очень много! — Последние слова он почти выкрикнул.

— Дошло! — крикнул и Котовский. И шум, поднявшийся было после слов правофлангового, сразу утих: партизаны ожидали от командира ответа.— Слишком много, говоришь, муштры? — Котовский бросил хитрый взгляд на правофлангового, потом на всех.— Вот то-то и думка у меня была...— Он умышленно помолчал, а затем насмешливо бросил: — Думка была и теперь есть: еще увеличить муштру.

По толпе партизан покатился гул, кто-то обидно хихикнул, кто-то начал говорить, что командир снова шутит, но Котовский оборвал разговоры:

— И нисколько я не шучу, хлопцы. Вот только что мы с Жилою решили муштру поднять до высшего класса! До сегодняшнего дня только конники лозу рубили, а пехота перебежки делала. Так вот, с сегодняшнего дня перебежки делать всем, потому как и конникам доведется воевать в пешем строю. А верхом скакать и лозу рубить и пехоту начнем обучать, потому что и пешему на войне доведется на коня садиться. А что касается словесности, то с сегодняшнего дня будет она для всех, и не только после ужина, а и днем.

Партизаны притихли, удивленно и недоверчиво поглядывая на командира, а Котовский говорил дальше, не обращая внимания на впечатление, которое произвели его слова:

— Через два дня прибудет в отряд военспец; офицер, прапорщик Николая Второго. Занятия будет проводить в отряде по старому, царскому уставу, пока своего, революционного, еще не имеем: устав внутренней службы, полевой устав, словесность, стрельба, маршировка и так далее. А чтобы вам, хлопцы, не завидовать командирам, то командиры, стало быть и я и мой заместитель Степан Жила, будут проходить все виды обучения вместе со всем отрядом под руководством военспеца, как рядовые бойцы. Вот так будет изменена линия, хлопцы. А кому не нравится, сразу говори, Степан Жила запишет такого в кашевары.

Кто-то попробовал засмеяться, но сразу поперхнулся — его никто не поддержал. Партизаны стояли молчаливые, ошеломленные. Великан-правофланговый хмуро и с угрозой спросил:

— Солдат из нас сделать задумал, Григор?

— Нет! — отрубил Котовский.— Офицеров!

— Ха! — удивленно вскрикнул дядько в кожушке и, хлопнув себя руками, даже присел от неожиданности.

— Золотопогонников! — завопил кто-то сзади.— Глядите, люди добрые!

— Не золотопогонников,— спокойно ответил Котовский,— а красных командиров. Красных командиров, офицеров армии восставшего народа.

— А ты будешь генерал? — вызывающе спросил правофланговый.

— А я буду красный генерал,— согласился Котовский. Улыбка снова осветила его лицо, и он насмешливо пожал своими могучими плечами.— А что, может, я фигурой в генералы не вышел?

Многие поглядывали на командира с интересом, ожидая, что будет дальше.

Но усмешка уже сошла с лица Григория Ивановича. Обняв за плечи трех или четырех, которые стояли поближе, он обратился сразу ко всем просто и задушевно:

— А вы что думаете, хлопцы? Думаете, оккупанта и беляка голыми руками возьмешь? У них стотысячная армия, а нас — горсточка. У них техника, а у нас сабля и винтовка. Да и к тому же у них полно боеприпасов, а у нас по обойме патронов на брата. У них железная дисциплина, а у нас...— Он кивнул на правофлангового.— Ишь ты, муштры испугался.— И вдруг, ухватив правофлангового за красные отвороты доломана, встряхнул его так, что у того голова закачалась от одного к другому плечу.— Ты думаешь, Микола Горб, что? Вот так, как в польской пословице говорится: «То не штука — забиць крука, а то штука...» — помнишь, как там дальше?

Из сотен глоток вырвался громовой хохот. Такой мощный хохот, что из прибрежных зарослей с шумом взвились в небо стаи птиц. Хохот покатился по отмели, над плесом, эхом отозвался из ущелья и загремел снова и снова. Партизаны хохотали, бросая шапки оземь, притопывая ногами, хлопая друг друга по спине. Сильнее всех смеялся солидный дядько в чабанском кожушке. Он так зашелся от хохота, что сел прямо в песок.

Хохотал и сам Григорий Иванович. Хохотал от всей души, утирая кулаком слезы.

Потом он протянул руку усатому чабану, выдернул его из песка и так хлопнул по плечу правофлангового, что тот даже согнулся. Среди внезапно наступившей гробовой тишины Котовский сказал:

— Вот какое дело, товарищи! Гидре одну голову срубишь, у нее другая вырастает. На Антанту и беляков весь народ надо поднять. Поднять и в бой повести. Ты говоришь, солдатами я вас сделать собираюсь? А кто же, если не мы, солдаты революции, должны стать офицерами армии восставшего народа? Да ведь каждый из вас, партизан-борцов, должен быть готов стать командиром отряда — красным командиром во главе повстанческого отряда. И каждый из нас должен не только уметь рубить и стрелять, а повести в бой взвод, роту,

эскадрон. Вот для чего нам необходима муштра — эта чертова военная наука. Разве от радостной жизни? От горя и нищеты, от неугасимой ненависти нашей к буржуям! Разве я не правду говорю, Микола Горб?

— Так я что? Разве я что?..— смущенно переступал с ноги на ногу долговязый вояка в доломане.— Я, я...

— Правильно! — снова хлопнул его по плечу Котовский.— И ты воевать с гидрой хочешь, и я хочу, и весь народ хочет. Вот и будем воевать так, чтобы не просто головы сложить, а чтобы победить в нашей народной войне.

Гомон одобрения раздался в толпе партизан, а усатый дядько протянул руки к Григорию Ивановичу.

— Эх, командир! Дай я тебя поцелую, дай я тебя поцелую, командир! И до чего ж правильная твоя линия, Григорий Иванович!

Котовский обнял и трижды поцеловал его.

— Не моя это линия, Иван Максимович! Ленинская это линия, большевистская.

— Правильно! Верно! — кричали партизаны.— По-большевистски надо! Пусть командир в Москву отпишет, чтобы нас из партизан в Красную Армию произвели!

— Эх! — сердито крикнул правофланговый.— Что там на болтовню время тратить! Полчаса уже на одну словесность пошло! Давай, командир, приказ.

— Ишь ты! — крикнул кто-то весело и насмешливо.— Микола Горб тоже в генералы прет!

Хохот снова покатился по толпе, но партизаны уже без приказа выстраивались в шеренгу, подгоняя друг друга, покрикивая на тех, кто замешкался. Ведь надо было еще дослушать распоряжение командира по распорядку занятий на целый день.

Отдав приказ, Котовский с Жилою возвратились в кузню.

— Ну, Степан,— заговорил Котовский, садясь на наковальню и приглашая Жилу сесть рядом,— попотел я-таки немного, но... Эх, если б был здесь сейчас с нами Ласточкин...

В это время дневной свет, проникающий сквозь двери кузни, заслонила фигура, появившаяся на пороге.

На пороге стоял Сашко Птаха.

— Дядя Григорий!

Котовский и Жила сразу вскочили.

— О! Сашко! Прибыл? Ну, что там?

Сашко стоял бледный, губы у него дрожали.

— Что с тобой, Сашко?

— Дядя Григорий,— почти прошептал Сашко,— можно вас... на минуточку?

— Срочное донесение,— догадался Жила.— Мне идти?

Отчеты после своих путешествий в Одессу Сашко всегда делал Котовскому только наедине.

— Подожди, Жила!

Котовский остановил его и сам переступил порог. Они пошли за кузню. Сашко впереди, угрюмый и растерянный, Григорий Иванович вслед за ним, встревоженный, но как будто спокойный.

— Ну, говори — что такое?

Сашко стоял перед Григорием Ивановичем, губы у него запеклись (он очень спешил и бежал, видимо, полдороги) и дрожали, из глаз катились слезы.

Связной Сашко Птаха из очередного путешествия от днестровских плавней до Одессы принес грузчику Григорию наказ Военно-революционного комитета: собрать отряд в ближайшем к Одессе пункте и ждать в скором времени вызова на удар. Одновременно Сашко Птаха принес и страшное известие: Ласточкин исчез, и до сих пор не удалось установить, где он находится.

Григорий Иванович выслушал это известие молча. Сашко Птаха, верный связной, стоял перед ним, дрожа, как в лихорадке, и по щекам его одна за другой катились слезы.

Славу Ласточкина, товарища Николая, руководителя подполья, Сашко мог сравнить разве только со славой легендарного, еще неведомого ему, но так же горячо любимого Котовского. Сашко плакал и не скрывал слез. В эту минуту Сашко впервые не стыдился того, что он только мальчик.

Григорий Иванович долго молча глядел на хлопца. Горе потрясло и его: Иван Федорович, друг, большевик, главнокомандующий восстанием — в когтях у коршунов! Нет! Этого допустить нельзя! Николай Ласточкин должен быть спасен, он должен вернуться на свое место руководителя восстания!

— Замолчи! — сказал Григорий Иванович и быстро пошел прочь.

Он пересек небольшой двор, перепрыгнул через плетень и сразу очутился на лужке; лужок в плавнях уже зеленел, первые одуванчики уже раскрыли свои солнечные венчики. Григорий Иванович пошел тропинкой, нырнул в заросли кустарника, пробрался сквозь чащу сухого прошлогоднего камыша и вышел на другой лужок. Вода кое-где хлюпала под сапогами: заводи были уже совсем близко. На этом лужке, пощипывая первые травинки, паслось десятка три лошадей из отряда днестровских партизан. Григорий Иванович присмотрелся, выбрал коня и направился к нему. Конь поглядел искоса, навострил уши, но продолжал хрустеть молодой, сочной травой. Григорий Иванович подошел вплотную — конь отступил, снова взглянул искоса, но не поднял головы. Григорий Иванович свистнул. Тогда конь сразу вскинул голову, вытянул шею и заржал.

— Федь! — крикнул Котовский.— Седло!

Из зарослей ивняка выбежал парень в черной смушковой

шапке и длинной белой рубахе, едва не доходившей ему до колен под короткой камизелькою [1]. Так одеваются бессарабские чабаны. Парень держал в руках седло, уздечка висела у него через плечо.

Котовский стоял, опустив голову на грудь, в тяжелой задумчивости. Чабан Федь торопливо седлал коня, крепко затягивая подпругу. Конь не давался, норовил ударить задом, отворачивал голову, вздувал живот.

— Ну, ну! — крикнул на него Григорий Иванович и слегка ткнул коня носком сапога в живот. Потом потрепал его по шее и двумя пальцами слегка зажал ноздри. Конь вобрал живот — подпруга затянулась.

Через лужок уже бежал Сашко. Из ивняка появился Жила.

Сашко подбежал и остановился перед Григорием Ивановичем, вопросительно глядя на него; он ждал указаний.

Жила тоже подошел и внимательно посмотрел на Котовского из-под густых бровей.

— Жила! — сказал Григорий Иванович.— Пока я не вернусь, будешь за меня. Сашко передаст тебе приказ Ревкома. Все ясно...

Григорий Иванович вдел ногу в стремя и взялся за гриву коня. Конь крутился, храпел и поглядывал искоса.

— Надолго, Григор? — спросил Жила.

Григорий Иванович помолчал.

— Не знаю, Жила. Если вдруг будет приказ выступать, примешь командование и... трогай. Я догоню.

Жила молчал, молчали и остальные. Котовский понуро глядел в землю. Вдруг он ударил себя кулаком по голове.

— Эх, Жила! — вырвался из его груди стон.— Первого нашего дружка захватили эти гады... Эх!

Он подпрыгнул на одной ноге и птицей взлетел в седло.

— Освобождать? — спросил Жила.

Григорий Иванович не ответил — это было понятно само собой. Он подобрал и натянул поводья.

Жила сказал:

— Если в Одессу, Григор, так это не дело. Кто ты есть? Партизан. Тебя убьют еще на заставе.

— Я ж без оружия...— тихо ответил Григорий Иванович. На ресницах у него дрожала слеза.

— Все равно! — упрямо повторил Жила.

— Все равно! — вскрикнул Сашко и даже прижал руки к груди.— Дядя Григорий! Поверьте мне! Не пробьетесь вы так. Я уже десять раз из Одессы бегал. Так я ж маленький, а вы... Дядя Григорий! Нельзя!

---

[1] Камизелька — меховая безрукавка.

Котовский думал, опустив голову на грудь. Все ждали.

— Дело! — сказал он, наконец.— Сашко, принеси мне френч. Тот, с погонами.

Сашко сорвался с места, и его босые пятки, смоченные росяной травой, засверкали по лужку.

— Кого забрали, Григор? — тихо спросил Жила.

— Взяли, Жила, Ласточкина Николая — руководителя восстания.

— Мать моя родная!..— Жила сбил свою солдатскую шапку на затылок.

Котовский перегнулся через шею коня и схватил Жилу за плечо. Он приблизил лицо вплотную к лицу Жилы, и глаза его вспыхнули.

— Нет, ты понимаешь, кого они взяли? Человека, которого партия поставила осуществлять ее программу! — Котовский еще крепче сжал плечо Жилы, так что могучий партизан даже пошатнулся.— И какой это человек, Жила! Великан! Посмотришь — из себя щупленький такой, а силы непобедимой! Потому что это — сила партии! Это он из меня человека сделал. Глаза мне открыл, мир показал, коммуниста начал из меня делать! — Котовский выпустил плечо Жилы и выпрямился в седле.— Должен я освободить его — пусть меня в партию рекомендует!

— Надо освободить...— сказал Жила.

— Освобожу! — решительно сказал Котовский.— А не освобожу — лягу костьми.

— Не годится,— сказал Жила.— Нужно освободить! А погибать не надо. Не имеешь права. Ты — наш командир.

Котовский с минуту помолчал.

— Хорошо,— сказал он.— Не пропаду, возвращусь.

Оба они долго молчали, погруженные в свои думы. Но дума, пожалуй, была у них одна.

Затем Котовский сказал:

— Не погибну, Жила! И такие справим им похороны, этим шелудивым псам, что детям своим закажут соваться сюда! Жила, сколько у нас сабель? Сотня?

— Сотня.

— По сто голов захватчиков кладу на каждую саблю. Справимся?

Жила пожал плечами.

Григорий Иванович крикнул сердито:

— Не мнись! Чего мнешься? По сто голов на каждую саблю. Так и хлопцам скажи: не имеет права никто погибнуть, пока не срубит сто интервентских голов. А погибнет один — на другого будет двести. Таков мой приказ. И, клянусь, сам триста срублю. Веришь?

— Верю, Григор.

— У-у-у! Дай только мне до них добраться!..

Подбежал Сашко, держа в руках офицерский френч с погонами ротмистра и офицерскую фуражку.

Не слезая с коня, Котовский снял тужурку и надел френч. Френч был черный с шевроном корниловского полка «черных гусар». Галифе на Котовском были малиновые, фуражка на бритой голове сдвинута набок. Сашко подал маузер, Жила — две гранаты-лимонки. Гранаты Григорий Иванович рассовал по одной в карманы.

И сразу же дал шпоры коню.

Конь сделал огромный прыжок, точно хотел сбросить седока. Все отпрянули.

— Не балуй! — крикнул Григорий Иванович, укорачивая поводья и сжимая коня шенкелями. Конь сразу смирился и стал как вкопанный. Григорий Иванович нежно потрепал его по шее: — Го-ля, го-ля! — и тихо тронул поводом. Конь побежал рысью по тропинке.

Очень ладно сидел в седле Григорий Иванович — ровно, крепко, даже на рысях, казалось, был слит с конем воедино.

Еще минута, и всадник исчез за ивняком. Несколько мгновений слышался мягкий топот по грунту луга, хлюпнула вода под копытом, и все затихло.

Котовский пришпорил коня, взлетел на бугор, оглянулся назад, увидел синюю ленту Днестра в плавнях, а дальше бескрайный плес лимана, крепче надвинул фуражку на лоб, пригнулся к луке и снова дал шпоры коню. Конь полетел галопом.

Котовский мчался во весь карьер и уже минут через сорок в правой стороне, за степью, увидел сине-черный простор бушующего моря. Шторм уже стих, однако волны еще вздымались. Но отсюда, за много километров от берега, они казались неподвижными, словно отлитыми из каленой стали.

3

Шторм стих еще утром. Генералы сели в катер и отплыли к берегу, но полковник Риггс и полковник Фредамбер до сих пор не закончили допрос Ласточкина.

Когда генералы ушли, полковник Риггс — черный, обросший за эту бессонную ночь густою синею щетиной — утомленно сказал:

— Ну вот, теперь мы с вами начнем настоящую беседу. Вы выдержите еще часок-другой?

— Пожалуйста,— ответил Ласточкин,— я выдержу сколько угодно.— И иронически добавил: — Согласитесь, что я в лучшем положении, чем вы. Вы все время говорите, а я молчу. Молчать ведь легче...

Риггс слушал, понуро глядя на Ласточкина. Лишь иногда

его толстые губы кривила злая усмешка. Он отыскал в углу свое кепи и снова надвинул себе почти на нос: может быть, под тенью козырька он рассчитывал спрятать выражение глаз — утомленных и злобных. Галстук Риггс снял, воротник расстегнул и теперь — в этом кепи, в рубашке с расстегнутым воротом, в охотничьей тужурке, бриджах и крагах — был очень похож на гангстера из американского кинофильма.

— Так вот,— сказал Риггс,— вопросов будет три. Задавать все подряд или по очереди?

— Давайте уж подряд,— ответил Ласточкин.

— Первый: фамилии членов областкома и Военно-революционного комитета. Второй: их адреса и вообще адреса всех коммунистов, какие только можете припомнить. Третий: явки. Их вы, безусловно, помните все: адреса явок никогда не записываются, а заучиваются наизусть. Вот! Для начала все.

Фредамбер бросил из своего угла:

— У меня тоже есть три вопроса.

— Давайте! — согласился Риггс.

— На какой день назначено восстание? Каковы вооруженные силы подполья? Как осуществляется связь с наступающими частями Красной Армии и с партизанами?

Ласточкин удовлетворенно улыбнулся: значит, им ничего не известно!

Риггс искоса взглянул на Фредамбера.

— А фамилии французских матросов и солдат, имеющих связь с повстанкомом, вас не интересуют, полковник?

— Еще бы! Я приготовил это для другой серии вопросов.

— Валяйте сразу,— предложил Риггс.

— Тогда еще три: фамилии французов, имеющих связь с подпольем; на какие команды французских моряков вы больше всего рассчитываете; предусматривается ли по плану восстания использование и французских солдат?

Ласточкин недоуменно смотрел на своих следователей. «Что они, действительно дураки,— думал он,— или только прикидываются и все это только трюк? Перед началом допроса расписываются в том, что ничего не знают! И неужели они такие идиоты, что рассчитывают получить ответ?»

Ласточкин все еще был на ногах. Он простоял целую ночь, ноги у него гудели, ныла поясница, перед глазами мелькали темные круги.

Риггс сказал:

— Ну вот, три раза по три: три раза по три вопроса. В конце концов это все, что нам нужно от вас. Вы хорошо запомнили вопросы?

Ласточкин кивнул.

— Тогда отвечайте.

— Я сяду,— сказал Ласточкин. Он пододвинул к себе ногой кресло, в котором раньше сидел генерал д'Ансельм, и сел

между Риггсом и Фредамбером. Как приятно было вытянуть занемевшие ноги!

Риггс исподлобья посмотрел на Ласточкина, вынул пачку сигарет и начал закуривать.

— Отвечайте!

— Я тоже закурю,— сказал Ласточкин и взял сигарету из пачки Риггса.

Риггс промолчал, но спички не подал. Он закурил и положил спички в карман. Ласточкин протянул руку.

— Дайте спички.

— Идите вы к черту! — огрызнулся Риггс, однако вынул и подал коробок.

Ласточкин не спеша достал спичку, зажег ее и прикурил. Потом поискал глазами пепельницу. Пепельницы не было, и он аккуратно засунул обгорелую спичку назад в коробок, затем подал его Риггсу. Но когда Риггс протянул руку, он вдруг опять открыл коробок. Рука Риггса повисла в воздухе, а Ласточкин разделил спички на две равные части: одну часть оставил в коробке́, другую сунул себе в жилетный карман. От коробка он отломил бочок и тоже неторопливо спрятал туда же. Риггс хмуро следил за руками Ласточкина.

Ласточкин глубоко затянулся, закашлялся, так как почти никогда не курил, и пустил струю дыма в низкий потолок каюты.

— Ну? — поторопил его Риггс.

Но Ласточкина вдруг заинтересовало лицо Фредамбера, которое стало нервно вздрагивать.

— Скажите, полковник,— обратился он к нему,— это у вас еще во Франции началось или уже тут, из-за всех этих хлопот с нами, приобрели?

Фредамбера передернуло. Риггс осатанел.

— Слушайте! — заорал он.— Будете вы отвечать?!

Ласточкин поморщился и прикрыл ухо ладонью.

— Тише, пожалуйста. Я не выношу крика...

— Я тоже, может быть, кое-чего не выношу! — крикнул Риггс, однако немного понизил голос.— И мое терпение может лопнуть...

Ласточкин пожал плечами.

— Я не напрашивался к вам. Приходится меня терпеть.

Риггс уставился на него бессмысленным, свирепым взглядом.

А Ласточкиным владела одна мысль: «Они не знают ничего и всеми средствами будут вымучивать ответы на эти вопросы. Они не убьют меня сразу, о нет! Они будут вытягивать из меня жилы в надежде любой ценой добыть эти сведения. Но я не скажу. Они ничего не узнают. И надо тянуть все это как можно дольше. Восстание должно начаться через неделю, но, может быть, уже через пять дней партизаны и Красная

Армия подойдут к городу. Надо тянуть! Выдержу ли я пять дней или неделю? Должен выдержать. Это единственное, что осталось у меня из всех способов борьбы».

Риггс прорычал, через силу сдерживая злобу:

— Вы решили издеваться над нами?

Ласточкин поднял на него ясные, невинные глаза.

— О, что вы! В таком положении, как мое...

— Отвечайте на вопросы!

— На все сразу или на каждый в отдельности?

Риггс заскрипел зубами.

— Фамилии членов Ревкома?

Ласточкин подумал минуту. Затем не спеша произнес:

— Николай Ласточкин...

И остановился. Риггс и Фредамбер смотрели на него. Снова проползла минута. Риггс барабанил пальцами по подлокотнику своего кресла.

— Ну? Ласточкин — это мы знаем. Дальше...

Ласточкин сосредоточенно курил.

— Дальше! Григорий Котовский?

Ласточкин всплеснул руками:

— Ну что вы! Котовский даже не большевик. Так себе, какой-то легендарный экспроприатор... Вы сами прекрасно знаете, что он не член партии большевиков. Ваша разведка работает чудесно,— любезно улыбнулся он Риггсу.

Риггс кашлянул. На всякий случай он решил сделать вид, что разведка действительно работает чудесно и о том, что Котовский не принадлежит к партии большевиков, он тоже знает.

— Ну, хорошо,— сказал он нетерпеливо.— Котовский. Дальше?

— Нет,— возразил Ласточкин.— Я же сказал: Котовский — нет. Да сейчас он и вообще отсутствует...

Фредамбер насторожился. Риггс переспросил:

— Отсутствует? Где же он?

Ласточкин развел руками.

— Не знаю. Вот, поверьте, не знаю. Легендарный экспроприатор — разве за ним уследишь? — Ласточкин заговорил горячо, с явным намерением завязать длинную беседу.— Поверите? Это страшная морока — иметь дело с такими недисциплинированными людьми. Вот потому я и не имею с Котовским ничего общего.

— Где Котовский? — прорычал Риггс.— Он поехал организовывать партизанский отряд?

Ласточкин опять развел руками.

— Кто его знает. Категорически возразить вам не могу. Знаете, теперь везде организуются партизанские отряды. Каждый, кто любит свою родину и ненавидит оккупантов, организует партизанский отряд. Даже если мне скажут, что парти-

занских отрядов сейчас тысяча и в них миллион бойцов, я поверю. Народ так ненавидит оккупантов, что бросить спичку,— Ласточкин даже выхватил одну спичку из кармана и помахал ею перед глазами Риггса,— бросить только одну спичку, вот такую маленькую,— и...

Риггс вскочил. Но он еще раз сдержал себя и снова сел.

— Довольно! — крикнул он.— Сейчас есть только один вопрос. Отвечайте!

— Как один вопрос? — удивился Ласточкин.— Вы же сказали — три раза по три. Девять вопросов.

Риггс положил свою тяжелую руку на сухую небольшую руку Ласточкина, лежавшую на подлокотнике кресла, и произнес зловеще:

— Слушайте, Ласточкин! Всему есть границы. Вы храбрый человек, даже отчаянный. Я понимаю вас: вы тянете и дразните. Однако не преувеличивайте своих сил. Вы хотите выиграть время, но можете проиграть жизнь.— Риггс перебил себя: — Я понимаю, вы согласны отдать жизнь. Вы, большевики, удивительные люди, и вам не жалко собственной жизни. Но не надейтесь, что мы пожалеем вашу жизнь.

— А я и не надеюсь,— просто сказал Ласточкин.

Впрочем, Ласточкин тоже решил покончить эту «игру». В самом деле, дразнить можно только до определенной границы. Враг взбесится, и тогда он, Ласточкин, действительно ничего не выиграет: не затянет дело, а, наоборот, ускорит. Надо найти другой способ, чтобы оттянуть развязку.

— Итак, будете вы отвечать или нет? — снова спросил Риггс.— Первый вопрос: фамилии членов Ревкома?

Ласточкин молчал. Но когда Риггс, сатанея, произнес свое «ну?» — Ласточкин начал говорить:

— Фамилии? Пожалуйста: Жанна Лябурб, Жак Эллин...

— Ласточкин! — закричал Риггс.— Вы опять! Нам не нужны мертвые!

Ласточкин с нескрываемой грустью сказал:

— Вы убили их, но они действительно были членами Военно-революционного комитета.

— Имена живых вы нам скажете? — спросил Риггс тихо, и в его приглушенном голосе прозвучала угроза — страшная и реальная.

Ласточкин подумал, вздохнул — это был искренний вздох — и сказал:

— Неужели вы, опытные разведчики, не понимаете, что нельзя нападать на человека сразу? Вы столько наговорили мне, столько задали вопросов, а...— Он помолчал.— А собраться с мыслями, взвесить все... всю прожитую жизнь и то время, которое еще суждено жить, вы не даете возможности. Поймите же, что так мы будем тянуть без конца. Или... или... вы можете взбеситься и убьете меня...

— Нет! — сдерживая бешенство, прохрипел Риггс.— Мы не убьем вас так просто. Мы еще... Словом, не рассчитывайте на наше мягкосердечие, Ласточкин.

— Вот видите! — грустно промолвил Ласточкин.— А взвесить все это, сосредоточиться... Неужели вы думаете, что мы, большевики, не живые люди?

Риггс долго молчал, глядя на Ласточкина из-под козырька своего кепи. Он взвешивал. У маленького человека, сидевшего перед ним, был могучий дух — такой могучий, что Риггсу еще не доводилось встречать подобных людей. Уничтожить большевистского руководителя было очень легко — один выстрел! Но что будет от этого иметь Риггс? Перед Риггсом сидел живой узел, связывавший в себе всё — все нити. Разве это бизнес — взять и просто уничтожить узел? А нити? Разве выпадет в другой раз такая удача? И если даже ему в руки попадется сам Котовский, то можно ли надеяться, что этот узел будет развязать легче? Нет, эти большевики поистине удивительные, невиданные, необычайные для Риггса люди! Неужели же он, матерый агент Эф-Би-Ай, не в силах распутать этот узел и разобрать его по ниточке? На кой черт тогда вообще разведка? Стрелять из пулеметов — и все? Но куда стрелять, в кого, когда? Невозможно же уничтожить здесь все население и остаться со своими пулеметчиками одним на голой, выжженной земле! Кому это нужно? Какую выгоду извлечет из этого Риггс и та сила, которую он здесь представляет?

— Хорошо, Ласточкин,— тихо сказал Риггс,— я согласен. Мы дадим вам время на размышление.

Риггс давно уже решил дать Ласточкину время на размышление — не только для того, чтобы Ласточкин подумал, а и потому, что сам он, Риггс, уже еле держался. Он ведь приехал сюда еще вчера, еще до этого чертова шторма. С тех пор у него не было во рту ни росинки, а в голове прямо гудело. Ведь он тоже — хоть разведчик — живой человек.

— Сколько вам надо на размышление? — спросил он.

— А сколько бы вы могли дать?

Риггс снова вспыхнул:

— Ласточкин, мы с вами не купцы, чтобы затевать здесь торг...

Ласточкин искренне удивился:

— Ну что вы! Я как раз купец второй гильдии. Да и про вас знаю, что вы представитель банкирского дома Рокфеллеров...

Мгновение казалось, что Риггс схватится за пистолет. Он даже побелел. Но сразу же отошел и захохотал. Он хохотал долго. Ласточкин, тоже посмеиваясь, наблюдал, как он раскатисто хохочет.

Риггс утер слезы, выступившие у него на глазах.

— Нет, Ласточкин, правда,— сказал он, еле переводя

дух,— идите ко мне на службу. Не в банкирский дом Рокфеллеров, а, знаете, в американское Эф-Би-Ай. Идея? А?

— Эф-Би-Ай? — переспросил Ласточкин.

— Вот именно. Это наша разведка.— Риггс хлопнул Ласточкина по руке.— Это — предложение! А?

Ласточкин покачал головой и хитро прищурился.

— Это... тоже надо... обдумать...

Но Риггс уже перестал смеяться и решительно поднялся. Он спросил сурово:

— Так вот, сколько времени вам понадобится?

Ласточкин сказал:

— Вы предлагали длительное путешествие по странам Запада...

— Это отпало! — отрубил Риггс. Затем добавил: — Об этом и речи быть не может до тех пор, пока вы не дадите ответа на наши вопросы.

— Я так и подумал сразу,— кивнул Ласточкин.— Как только вы заговорили о путешествии, я понял, что это связано с вопросами...

— Вот и хорошо. Так сколько?

Ласточкин покосился на Риггса.

— Неделя не будет много?

Риггс топнул ногой:

— Ласточкин, бросьте издеваться!

— А пять дней?

Риггс снова топнул.

— Переведите счет на часы, Ласточкин.

Тогда Ласточкин сказал решительно:

— Три дня, и ни минуты меньше!

Риггс не взбесился, только внимательно поглядел на него.

— Почему именно три? Что должно произойти за эти три дня?

Ласточкин пожал плечами.

— Я дам ответ.

— Один день! — заревел Риггс.— Один день, и ни минуты больше!

— Слушайте, Риггс,— спокойно сказал Ласточкин,— давайте, правда, не будем торговаться.

Он сказал это так, что Риггс понял: дальнейшие разговоры ни к чему. Риггс стоял, глядя себе под ноги, упершись руками в бока. Что предпринять? Позвать мальгашей и начать пытку? Но у этого большевика такой характер... Риггс имел жизненный опыт и чувствовал: если начнешь пытать, то наверняка не вырвешь ни слова. Нет, таких надо сначала помучить, вытянуть из них всю душу, все жилы, а тогда...

Риггс сказал:

— Думайте, Ласточкин, думайте. Я предоставлю вам эту возможность. Но каждую минуту будьте готовы дать ответ на

мои вопросы. Думайте скорее, Ласточкин,— в этом ваше спасение.

Он приоткрыл дверь и крикнул что-то в коридор.

Вошел мальгаш. Тесак он держал в руке. За ним появился грузин в форме унтер-офицера русской армии.

— Отведите арестованного,— приказал Фредамбер.— Пол-литра воды и двести граммов хлеба на день.

— О! — сказал Ласточкин.— Вы очень заботливы. На мой аппетит этого хватит.

— Тогда сто пятьдесят граммов,— сказал Риггс.

Когда Ласточкин уже переступал порог, Риггс позвал:

— Минутку, Ласточкин!

Ласточкин остановился. Риггс спросил почти по-приятельски:

— Скажите, Ласточкин: почему вы так самоуверенны и почему вам все-таки многое удается, а...

— А вам нет — хотите вы спросить? — подсказал Ласточкин.

Риггс дернул плечом.

— Я не то хотел сказать, я хотел...

Но Ласточкин перебил его:

— Это потому, Риггс, что я — дома и меня поддерживает мой народ; а вы, как вор, залезли в чужую хату — и, значит, не можете рассчитывать на гостеприимство.

Риггс махнул рукой.

— Ну, довольно! Уведите его!

Ласточкин шел по коридору, меж двумя переборками, стоявшими близко одна к другой. Сейчас идти было легко — транспорт чуть-чуть качало. Но Ласточкин двигался с трудом, ноги подкашивались, он был почти без сил. Не менее двенадцати часов тянулась эта первая «беседа»... Как затянуть допрос? Ведь восстание намечено через неделю...

Пока солдат-грузин возился с заржавевшим замком, Ласточкин, стоя перед дверью своей каюты, напряженно прислушивался. Кто здесь еще, кто, кроме него, попал в эту пловучую тюрьму? Кто отозвался на его крик?..

Ласточкин вошел в каюту, за ним скрипнула дверь, но солдат не уходил. Он стоял в коридоре и глядел на Ласточкина сквозь щель. Вдруг он сказал:

— Ты сильный человек, Ласточкин... Замечательный!

И закрыл дверь. Снаружи загремел засов.

4

Все подполье было поставлено на ноги.

Где Ласточкин? Жив ли он?

В ночь, когда Ласточкин исчез, в морг привезли двадцать

семь трупов. Подпольщики проникли в морг и осмотрели все трупы: Ласточкина среди убитых не было. По дороге к Большому Фонтану разведчики Ревкома обнаружили еще восемнадцать трупов расстрелянных людей. Они были забросаны свежей землею. Могилу раскопали. Это были рабочие с разных заводов и какие-то неизвестные, очевидно нездешние, люди. Ласточкина среди них не было.

Наконец, через связь разведки с некоторыми офицерами деникинской контрразведки стало известно: Ласточкина не убили, он арестован. Но о судьбе его деникинская контрразведка ничего не знала.

Итак, Ласточкин был в руках французской контрразведки.

Подпольщики, томившиеся в подвалах французской контрразведки, через подпольный Красный Крест сумели передать, что там Ласточкина тоже нет.

Тогда стало ясно, что Ласточкина отвезли на французское судно. Но на какое именно? Который из кораблей эскадры интервентов стал плoвучей тюрьмой для руководителя восстания?

Добыть сведения с французских кораблей было теперь невозможно: после расстрела Иностранной коллегии и ареста многих руководителей судовых комитетов связь с кораблями эскадры оборвалась. Среди других был арестован и представитель центра восстания на французском флоте комендор Мишель с линкора «Франс», встречавшийся с Ласточкиным. Вероятно, Мишеля предал кто-то из арестованных французских матросов или его выследили во время встречи с Ласточкиным в кабачке «Не рыдай». Разведка Ревкома установила, что комендор линкора «Франс» находится под арестом на линкоре «Жан Бар», флагманском корабле эскадры. В связи с неудачами на фронте и наступлением на Одессу партизанских отрядов и частей Красной Армии на этом линкоре недавно прибыл из Константинополя в Одессу сам главнокомандующий армий Антанты на Востоке, генерал Франшэ д'Эсперэ.

Александр Столяров созвал Ревком в задней комнате ателье на Ришельевской.

Что делать?

В эту минуту над дверью в кабинет главного закройщика звякнул колокольчик. Это означало, что в ателье зашел с улицы неизвестный человек — и надо быть начеку.

Все замолчали, глядя на дверь.

В салоне ателье стоял солдат. На плечах у него были погоны с нашивками унтер-офицера.

— Что вам? — поинтересовался старший мастер.

Солдат с минуту осматривался. В салоне был старший мастер и три девушки-«закройщицы». Это была линия охранения.

— Ателье закрыто на ремонт,— поспешил сообщить старший мастер.— Приема заказов нет.

Солдат глубоко вздохнул, словно собирался с силами для решительного поступка, и сказал:

— У меня записка...

— От кого записка? — равнодушно спросил старший мастер. Было ясно, что солдат пришел с запиской от офицера, чтобы получить готовый заказ.

Солдат — он был грузин — испытующе посмотрел на мастера из-под густых черных бровей своими живыми и горячими глазами.

— Записка от... Ласточкина.

Несколько секунд в салоне стояла тишина — такая глубокая и напряженная, что эти короткие секунды показались всем долгим часом. Сомнений не было: конспиративная квартира провалилась, с фиктивной запиской от Ласточкина пришел шпик контрразведки.

Старший мастер стоял прямо перед солдатом, девушки продвигались к двери, чтобы подойти к нему сзади и...

Солдат бросил записку на стол.

— Вы проверьте почерк... Вы знаете его почерк?

Девушки бросились на солдата, быстро скрутили ему назад руки. Старший мастер засунул в рот ему кляп.

В записке, написанной действительно рукой Ласточкина, сообщалось, что он находится на транспорте № 4, который стоит против Андросовского мола под волнорезом. Ласточкин писал, что освободить его можно с помощью солдата, который передаст эту записку...

В задней комнате ателье солдату немедленно был учинен допрос под дулами пистолетов.

Солдат сказал:

— Я — Вано. Я — конвойный на тюремном транспорте. В конвое мальгаши, которые не знают ни слова ни на каком языке, кроме своего, и несколько белых унтер-офицеров. Я тоже белый унтер-офицер. Меня мобилизовали. На вахте сейчас мой напарник. А обо мне думают, что я сплю на транспорте в кубрике. Однако со сменою мальгашей, за рюмку водки, я незаметно вышел на шлюпке к молу. Ласточкин дал мне записку и велел принести ее в ателье «Джентльмен» и отдать старшему мастеру.

— Вы знаете, что в записке?

— Знаю: освободить Ласточкина и что я в этом помогу.

— Почему вы хотите помочь освободить Ласточкина?

— Это сильный человек, замечательный! — ответил солдат.— И все вы сильные люди, замечательные. Вы — большевики. Я — не большевик. А может, я и большевик. Мою Грузию терзают. Вашу Украину терзают. Буржуи терзают все народы. Я не буржуй. Я пролетарий. Я работаю на вино-

граднике князя Микладзе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Солдат вдруг схватился за погоны и содрал их одним рывком. Потом швырнул на землю и стал топтать.

— Можете расстрелять меня, если не верите! — крикнул он в бешенстве.

Но так же быстро, как вспыхнул, он и успокоился.

— Ласточкин так и сказал мне: «Вано, тебе не поверят сразу, тебя начнут проверять, но так надо, Вано. Никому нельзя доверяться без оглядки».

Солдат-грузин был горячего характера, и искренность звучала в его словах. Однако... можно ли ему верить?

Солдата спросили, кого из грузин, имеющих связь с подпольем, он знает. Он не знал никого. Не знал вообще, что в подполье есть грузины, не знал даже, что такое подполье.

Вдруг Вано обратился к Гале:

— Тебя, девушка, зовут Галя. Ласточкин мне сказал: «Вано, может быть, ты встретишь там девушку по имени Галя. Она поверит тебе, если ты скажешь ей: «Галя, поверь Вано во имя памяти погибшего Жака...»

— Господи! — вскрикнула Галя.— Товарищи! Я ему верю...

В это время в комнату вошел старший мастер. Вид у него был растерянный.

— Товарищи, в салоне... Григорий Иванович. Он не должен быть сейчас в Одессе.

Но дверь уже открылась, и, легко отстранив девушек с пистолетами в руках, в комнату вошел Котовский в форме французского офицера.

— Григорий?

Но Котовский смотрел только на солдата с сорванными погонами, стоявшего под дулами пистолетов:

— Кто это?

Вано сорвался с места и, побледнев, вытянулся перед французским офицером.

— Григорий Иванович! — воскликнула Галя.— Почему вы здесь?

— Что случилось, Григорий? — спросил и Александр Столяров.

— Нашли? Жив? Освободили? — одним духом выпалил Котовский.

Лицо его как-то заострилось, весь он был собранный, сосредоточенный. Для него в эту минуту существовало только одно, и это руководило всеми его поступками.

Вдруг Вано широко улыбнулся.

— Ты не французский офицер! Ты Григорий Иванович! Ты беспокоишься о Ласточкине. А Ласточкин беспокоится о тебе; он кричит на всю тюрьму: «Григорий Иванович!» — чтобы проверить, нет ли и тебя в какой-нибудь каюте.

Вано пришлось еще раз рассказать все сначала.

Котовский внимательно его выслушал, прочитал записку Ласточкина и повеселел.

— Кацо! Все правильно! Ты тоже замечательный человек! — Он хлопнул Вано по плечу.

Затем Котовский сказал девушкам:

— Пришейте ему погоны. Мы пойдем с ним сейчас на транспорт номер четыре.

Но Александр Столяров прежде всего хотел получить от Котовского объяснения — почему он не на месте, в партизанском отряде, где должен ждать приказа о выступлении, а здесь?

— Можете меня судить и расстрелять,— сказал Котовский,— но Николай в беде, и я прискакал его выручать. Командиром отряда остался Жила — прекрасный командир; отряд выступит через пять минут после получения приказа.

— Почему ты во французской форме?

На этот вопрос Котовский сначала только отмахнулся, но по требованию Столярова вынужден был дать объяснение.

От Маяков до Одессы Котовский в форме ротмистра полка «черных гусар» проскакал беспрепятственно — сквозь все заставы, между всеми пикетами. В Одессе он решил не останавливаться на даче Тодорова, так как дача эта находилась далеко от центра города, а ему дорогá была каждая минута. И он прискакал прямо на Базарную — на свою явку к доктору Скоропостижному. Он хотел прежде всего узнать у Власа Власовича, не передавали ли для него какие-либо указания от Ревкома.

На Базарной, 36-А, Котовский соскочил со своего вороного, накинул повод на штакет и позвонил. Дверь долго не открывалась. Не слышно было и старческого шлепанья опорками по ступенькам. И вдруг дверь широко распахнулась, но вместо Власа Власовича стояли перед ним с пистолетами в руках два контрразведчика.

Раздумывать было некогда. Обеими руками наотмашь ударил их Котовский по лицу. Контрразведчики полетели в разные стороны, а Котовский, захлопнув дверь, вскочил на коня и помчался по улице прочь. Он уже заворачивал за угол, когда от дома номер тридцать шесть А прогремело несколько выстрелов.

Он промчался квартал, снова повернул, еще квартал, еще раз повернул — контрразведчики остались далеко позади. Но на углу Александровской какой-то человек — то ли патруль, то ли просто случайно проходивший здесь офицер — поднял стрельбу. Котовский помчался по Полицейской. На углу Греческой его снова встретили выстрелы. Тогда он понял, что по городу на коне не прорваться. На Греческой площади он оставил коня и проскользнул проходными дворами через Красный

переулок на Екатерининскую. Его малиновые галифе и черный френч «черного гусара», видимо обратили на себя внимание, и первое, что надо было сейчас сделать, — это изменить внешний вид. Внешний вид Котовский всегда менял в костюмерной оперного театра: костюмер и гример оперы были его верными людьми. С Екатерининской на Ришельевскую — и Григорий Иванович был перед театром.

В оперном театре, несмотря на то, что был день, шел спектакль: в связи с тем, что город находился в блокаде, спектакли начинались утром и кончались к обеду.

Котовский вошел в театр прямо через центральный вход. Контролер потребовал билет, но ротмистр полка «черных гусар», видно, порядочно выпил. Он обругал контролера, оттолкнул его и сразу затерялся в толпе.

Из вестибюля Котовский прошел за кулисы, в костюмерную.

Костюмеру, который давно уже не видел Григория Ивановича и обрадовался его появлению, он сказал коротко: «Полундра! Немедленно прятаться!»

В это время раздался звонок — антракт кончился, должно было начаться действие.

Прозвонил второй звонок, и занятые в действии артисты и статисты собрались за кулисами, ожидая своего выхода на сцену. Среди статистов — в балахоне, напоминающем греческий хитон, с длинной белой бородой — стоял и Григорий Иванович Котовский. Под балахоном в каждом кармане малиновых галифе лежали гранаты-лимонки...

Когда ударил гонг и статисты по знаку сценариуса шумной толпой двинулись на сцену, за ними вышел и старик с седой бородой и в балахоне. Старик делал то же самое, что и все: переходил с места на место, вздымал вверх руки, посылал на чью-то голову проклятья, а потом подтягивал партии теноров.

Посреди действия в зал неожиданно дали свет. Занавес опустили, и между рядами кресел замелькали контрразведчики. Контрразведчики искали офицера в черном френче и малиновых галифе. Они сразу обнаружили четырех «черных гусар» в черных френчах и малиновых галифе и, вполне довольные таким успехом, покинули театр. Занавес снова подняли, и действие продолжалось. Григорию Ивановичу пришлось еще два раза петь в хоре, а потом, стараясь производить как можно больше шуму, мчаться за кулисы, так как на сцену выбежали какие-то другие статисты с копьями и мечами и от них все бросились врассыпную.

В костюмерной для старика в хитоне был уже приготовлен костюм французского офицера — не оперный, а вполне современный, тот самый, который и сейчас был на Котовском. Гранаты-лимонки тоже были при нем, на всякий случай он переложил их из карманов малиновых галифе.

Вот и все. Не утруждаясь получением гонорара за участие в спектакле, Григорий Иванович вышел из театра и поспешил в ателье на Ришельевскую, рассчитывая встретить там кого-нибудь из товарищей. Эта явка была ему давно известна от самого Ласточкина...

Григорий Иванович окинул всех взглядом и сказал:

— Отряд выступит, как только получит приказ, и командовать им буду я. А сейчас, товарищи, не будем терять время. Я верю Вано! Давайте разработаем план освобождения Николая.

— Что ж,— сказал Столяров,— давайте. Но с этой минуты явка в «Джентльмене» закрывается, ее надо считать проваленной.

5

Через час с тральщика «Васильев», стоявшего у Потаповского мола, спустили на воду шлюпку. В шлюпке отправлялась на прогулку веселая компания морячков. Наигрывала гармоника, тарахтел бубен, пробовали даже танцевать на вогнутом днище шлюпки. Весла легли на воду, и шлюпка начала пьяно вихлять по Практической гавани.

Морячки справляли свадьбу своего братана.

Жених — матрос Шурка Понедилок — был пьян «в дым». Он все порывался выпрыгнуть за борт, скандалил, кричал, что не хочет жениться и оженили его насильно родители. Матросы — и русские и французы, что шатались по Андросовскому и Потаповскому молам,— собрались у причалов и надрывали животы от смеха. В шлюпке сидела и молодая — в свадебной фате с восковым флердоранжем. Она тоже подвыпила и все обнимала своего суженого, повизгивая тоненьким, пьяным голоском. «Молодая» была Галя. Посаженый отец — старый рыбак в широкополой зюдвестке на голове. Он, очевидно, тоже опрокинул не одну чарку, но держался крепче других и, успокаивая жениха с невестой, внимательно поглядывал по сторонам.

Шлюпка описала несколько кругов по Практической гавани, наталкиваясь на баркасы и боты, и чуть не опрокинулась, попав под катер. Затем свадебной компании стало тесно в гавани, и, огибая Потаповский мол, шлюпка двинулась вдоль Военного мола к волнорезу.

Огромный речной транспорт, стоявший под волнорезом, привлек внимание пьяной компании. Сначала шлюпка сделала около транспорта круг, словно отдавала морской салют судну, с которым повстречалась в открытом море, на далеких морских путях. Потом рулевой спьяну упустил руль, и шлюпка ткнулась носом в транспорт. Черные французские солдаты столпились на палубе и покатывались со смеху, наблюдая ве-

селую компанию на воде. Но из люков появились деникинские солдаты и начали гнать шлюпку прочь.

Между матросами на шлюпке и деникинскими солдатами на борту транспорта сразу же возникла язвительная перебранка, как всегда между моряками и пехтурой. Пехотинцы кричали матросам: «Гнилая снасть!», «Шаланда с кашей!» Морячки дружно отвечали: «Пехтура несчастная!», «Сухопутная вошь!» — и уснащали свою речь крепкими трехэтажными матросскими словечками, не забывая напомнить о боге Саваофе и сорока бочках апостолов.

Шлюпка болталась у борта транспорта — пьяненькие гребцы никак не могли оторваться от посудины. Они чертыхались и орали, что их затягивает волной под эту пловучую могилу. А посаженый отец, старый рыбак в зюдвестке, наигрывал на скрипке молдаванскую «дойну».

Звали посаженого отца, очевидно, Николаем, потому что все гуляки раз за разом кричали ему на всю бухту:

— А ну, вшкварь, Николай! А ну, Николай, дай себя знать!..

И вот за толстым стеклом одного из иллюминаторов появилось лицо.

Галя первая заметила его и схватила за руку Григория Ивановича, посаженого отца.

Да, это был, бесспорно, Ласточкин!

Шлюпка снова ткнулась носом в борт транспорта под самым иллюминатором — чертова волна затягивала утлую посудину под высокий борт,— и, проклиная всю плоскодонную «посуду» на всех морях, матросы долго втолковывали безмозглой пехтуре на борту, что именно потому и тянет шлюпку под борт, что у речного транспорта дно плоское и волна засасывает под него. Григорий Иванович тем временем внимательно присматривался к расположению трапов и сходней, прикидывал на глаз расстояние между палубными надстройками с точки зрения возможности проникновения незаметным образом с воды. А Ласточкин — сначала при помощи мимики, а затем сигнализируя рукой по азбуке Морзе — успел сообщить: «Учиняют допрос... Буду тянуть... На транспорте еще фельдшер... держится... Освобождайте обоих... Когда восстание?»

«Невеста» затянула: «У середу вранци конопельки брала...»

Ласточкин радостно закивал. Среда приходилась на третье апреля. Оставалось еще пять дней.

Однако часовым на транспорте уже надоело потешаться над пьяными моряками, и они начали стрелять по воде вокруг шлюпки.

Тогда, обещая пустить им из носа кровь, как только они, пехтура несчастная, сойдут на берег, матросы оторвались всетаки от транспорта и загребли прочь.

Их пьяные песни еще долго долетали до транспорта. Репертуар свадебных гуляк был неисчерпаем. Пели: «Солнце нызенько, вечир блызенько, выйды до мене, мое серденько...» — Ласточкин должен был понять, что освобождать его будут после захода солнца, вечером. Пели: «Нич яка, господы, мисячна, зоряна, выдно, хоч голки збирай»,— ночи стояли лунные, и выбраться из порта надо было обязательно до того, как взойдет луна.

6

Счастливый сидел Ласточкин в своей тюремной каюте — счастливый, несмотря на жуткую боль, пронизывающую все его тело.

Итак, все хорошо: восстание не откладывается, товарищи действуют активно, в работе принимает участие Григорий Иванович — и даже сам помогает освобождать его и Власа Власовича... Тут Ласточкин неодобрительно покачал головой: Котовскому-то следовало бы находиться со своим отрядом, а не здесь. Зачем его вызвали сюда товарищи?..

Ласточкин сидел на табуретке, заменявшей ему стол, подобрав под себя ноги, так как старый, гнилой транспорт, видно, после шторма дал течь в корме: в каюте вода стояла почти по колено. В центральной части корабля, в каюте, где его допрашивали, воды не было. По крайней мере во время второго допроса.

На второй допрос — прошлой ночью — генералы уже не явились. Вполне понятно: разве самим генералам заниматься черным делом? Для этого есть специальные палачи. И, кроме того, как узнал Ласточкин от Вано,— в Одессу снова прибыл главнокомандующий вооруженных сил Антанты на Востоке генерал Франшэ д'Эсперэ — и генералы, разумеется, получают сейчас нахлобучку от высшего командования за позорное положение на одесском участке фронта. Бои идут теперь за семьдесят, а то и за пятьдесят километров от Одессы. Где уж тут генералам допрашивать заключенных...

Второй допрос производил специалист, полковник французской полиции Бенуа. Присутствовал при допросе только американский дипломат Риггс. На этот раз Риггс был в форме американского полковника.

Допрос был учинен со знанием дела.

Когда Ласточкина ввели в каюту, Риггс сидел в кресле, а полковник Бенуа, заложив за спину руки, в которых мелко дрожал тонкий стек, ходил по тесной каюте от стенки к стенке. В каюте стояло еще только одно кресло — для полковника Бенуа. Остальные были вынесены. В углу стояла табуретка, и на ней что-то лежало, но что именно — различить было невозможно, потому что сверху был наброшен старый джутовый мешок.

Когда Ласточкин переступил порог, полковник Бенуа остановился. Он повел своим утиным носом навстречу Ласточкину, словно вынюхивал, какова будет пожива, сверкнул своими бесцветными, но пронизывающими глазами и сказал:

— Итак, вы все обдумали, и мы не будем задерживаться? Стенографистку!

Конвойный вышел. Ласточкин стоял у порога. Риггс поглядывал на него, молча попыхивая сигареткой.

Дверь снова открылась, и в каюту вошла рыжая девица с блокнотом в руке. Ласточкин никогда раньше не видел Евы Блюм, но по рассказам Гали и Славка сразу узнал контрразведчицу. Так вот она какая!

Ева села в свободное кресло, положила блокнот на колени и вынула из кармана тужурки карандаш. Она тоже была в полной форме американского офицера.

Бенуа сказал так, словно это он проводил первый допрос Ласточкина:

— Итак, первым был поставлен вопрос о фамилиях членов большевистского областкома и Ревкома. Записывайте, мисс Ева. Прошу!

В общем молчании прошла минута. Бенуа ходил взад и вперед от стенки к стенке. Он ходил быстро, а каюта в ширину была не более пяти шагов — и полковник полиции был похож на хищника в клетке.

Ласточкин сказал:

— Не мелькайте перед глазами, вы мешаете мне сосредоточиться.

Бенуа с удивлением взглянул на него, но ходить не перестал.

Ева усмехнулась уголком рта.

Риггс хмыкнул себе под нос.

— Полковник,— лениво промолвил он,— действительно не мелькайте. Вы еще не знаете, с кем имеете дело. Нет никакого резона затягивать!

— О! О! — воскликнул Бенуа.— Я и не собираюсь затягивать.

Он резко остановился перед Ласточкиным, быстро выдернул из-за спины руку и стегнул Ласточкина по лицу своим тонким стеком.

На одно мгновение Ласточкину показалось, что он уже мертв. Он не почувствовал даже боли — все вспыхнуло в нем, все завихрилось вокруг: Бенуа, Риггс, Ева, каюта. Он расслышал голос Бенуа, который визгливо прокричал:

— А теперь, мисс, прошу вас, пишите.

Ласточкин весь сжался, собрался в комок и вдруг выпрямился, сделав бросок вперед, и изо всех сил кулаком снизу ударил полковника Бенуа в подбородок. Ласточкин еще в молодости овладел в совершенстве приемами бокса.

Полковник Бенуа звонко щелкнул зубами, взвизгнул, как поросенок, и шлепнулся навзничь. Удар был таким сильным и неожиданным, что полковник полиции, безусловно, отдал бы душу своему католическому богу, если б ударился затылком о пол. Но на его счастье каюта была тесная, и он упал головой как раз на колени Евы.

Ева ахнула. Риггс что-то крикнул. Двое мальгашей вбежали в каюту и схватили Ласточкина.

— Связать! — приказал Риггс.

Ласточкину немедленно скрутили руки за спиной.

Полковник Бенуа, дико и бессмысленно вращая глазами, сидел на полу. Он склонил голову к Евиным коленям, из уголка его рта стекала струйка крови — он прикусил себе язык и был, очевидно, не совсем в сознании. А Риггс в своем кресле захлебывался от хохота.

— Блестящий удар! — вопил он.— На ринг! Ласточкин, в весе мухи вы будете чемпионом! Нет, правда, меняйте профессию революционера на славу чемпиона! Я согласен быть вашим импрессарио...

Ева брезгливо отодвинула со своих колен голову жандарма и опустила Бенуа на пол.

— Воды! — крикнула она.

Черный мальгаш, растерянно хлопая глазами, прибежал с огромным конической формы корабельным ведром.

Ева подняла ведро и опрокинула на голову распростертого полковника полиции. Полковник захныкал, захлебываясь.

Ласточкин стоял пошатываясь, весь напряженный, подавшись всем корпусом вперед,— как будто и сейчас, со скрученными за спиной руками, готовился к прыжку.

Ева взглянула на него искоса и вдруг забеспокоилась:

— Ноги! Свяжите ему ноги!

Ласточкина бросили на пол и связали ноги.

Под Ласточкина текла вода, весь пол каюты был залит. У другой стены лежал полковник Бенуа, и Ева делала ему искусственное дыхание.

Риггс позвал мальгашей и приказал им отнести полковника в другую каюту, чтобы он отлежался, и вызвать с берега врача.

Затем Риггс обратился к Ласточкину:

— Что ж, и в самом деле не будем терять времени. Полковник Бенуа вышел из строя, но, я думаю, мы договоримся и без него. Итак, Ласточкин, ваш ответ?

Ласточкин молчал.

Подождав, Риггс спросил:

— Говорите сразу — будете отвечать или нет? И пойдем дальше.

Тогда Ласточкин сказал:

— В таком положении я говорить не буду.

— Ева,— вздохнул Риггс,— придется тебе...

Рыжая девица буркнула что-то и поднялась. Она подошла к табуретке и сбросила мешок, который ее прикрывал. Взглянув туда, Ласточкин увидел спиртовку, щипцы для завивки волос и длинные шпильки, которыми дамы-модницы прикалывают шляпки. Это было похоже на дамский туалетный столик. Риггс тоже кинул взгляд на табурет и поморщился.

— Ты не могла подобрать что-нибудь путное?

Она сердито проворчала:

— Вы потащили меня сюда неожиданно. Я захватила, что было под рукой.— Она усмехнулась уголком рта.— А к тому же это ничем не хуже всего другого...

Она чиркнула спичку и зажгла спиртовку.

Риггс обернулся к Ласточкину.

— Ну, Ласточкин,— спросил он, улыбаясь,— так будете отвечать?

— Нет!

7

Для освобождения Ласточкина и фельдшера Власа Власовича был принят план, предложенный Александром Столяровым.

Только сгустятся сумерки, перед тем как для очередного ночного допроса причалит к транспорту катер с Риггсом и Бенуа, Вано убьет мальгаша, стоящего на часах во втором коридоре, выведет Ласточкина с фельдшером и незаметно спустится с ними в заранее приготовленный ялик у борта транспорта. Пулеметы дружины Морского райкома, установленные на причале Потаповского мола, должны все время держать транспорт на прицеле; их можно незаметно установить между ящиками, приготовленными для погрузки, в том участке мола, который загибает к эллингам. Огонь открывать лишь в том случае, если на транспорте поднимут тревогу: тогда взять палубу под обстрел. Ялик тем временем пристанет к эллингам, где его будут поджидать дружинники.

Командовать пулеметчиками брался Шурка Понедилок, охрану на эллингах с частью дружины Старостина обеспечивал Котовский.

Остальные дружинники этого отряда должны были расположиться на противоположной стороне — на причалах Карантинной гавани. Если пулеметы с Потаповского мола откроют огонь, с причалов Карантинной гавани тоже надо открыть огонь — вслепую, только для виду, чтобы отвлечь внимание на себя. Отходить дружинникам — за Карантинный мол, на Ланжероновские причалы, в сторону Отрадненского входа в катакомбы. Группа бойцов, залегших на высоком берегу за оградой санатория, прикроет отход дружинников, забросав берег гранатами.

Охрану на эллингах организовать было проще: в нее во-

шли дружинники, на эллингах и работавшие. После окончания рабочего дня они просто спрячутся на своих рабочих местах, где у них заранее припасено оружие.

Когда начнет темнеть, часовой у ворот, тоже дружинник отряда, впустит на территорию порта Котовского, которому поручено руководство всей операцией...

Григорий Иванович пробыл день в Ботаническом парке, скрываясь в оранжереях профессора Панфилова, и двинулся в путь еще засветло. Идти с Малого Фонтана было довольно далеко, а добраться к порту нужно было до комендантского часа.

На этот раз Григорий Иванович был не загримирован. Маски помещика Золотарева, грузчика Григория, негоцианта Берковича могли быть уже раскрыты, как и доктора Скоропостижного. Чем принимать еще какую-нибудь новую внешность, не лучше ли замаскироваться... под самого себя? Котовский рассуждал так: таким, какой он есть в действительности, Одесса периода французской оккупации его не видела; с прошлого года, со времени немецкой оккупации, он ни разу не появлялся на улице без маскарада.

Людей на улицах было немного: еще полчаса, и пробьет семь, после семи по каждому, кто выйдет из дома, патруль откроет огонь,— и люди уже заранее прятались по своим углам. Только отдельные прохожие или французские и деникинские офицеры, имеющие в карманах ночные пропуска, ходили спокойно, не спеша.

Григорий Иванович не пошел Николаевским бульваром — здесь проживало все начальство,— а свернул в Театральный переулок. По Екатерининской, проходным двором за зданием контрразведки, Сабанеевским переулком и Военным спуском он рассчитывал выйти на Приморскую, к эллингам.

В Театральном переулке из подъезда «Театральных номеров» вышла какая-то дама. Спрятав ключ в ридикюль, она, о чем-то задумавшись, постояла минутку на ступеньках, потом, глядя себе под ноги, медленно пошла навстречу Григорию Ивановичу. Григорий Иванович шагнул в сторону, чтобы разминуться. Дама подняла глаза и окинула безразличным взглядом того, кто давал ей дорогу. Григорий Иванович торопился и даже не взглянул на даму. Но дама неожиданно вскрикнула и как раз в ту секунду, когда Григорий Иванович поровнялся с ней, схватила его за руку. Григорий Иванович остановился и посмотрел на женщину. Память у него на лица была чудесная. Он сразу узнал: перед ним стояла с расширенными от удивления и ужаса глазами актриса Вера Холодная.

О том, что Вера Холодная — бывает у Энно, Котовский догадывался, хотя наверняка не знал этого. Да, он видел ее — своею среди присутствующих, когда под маской помещика Золотарева был на рауте у генерала д'Ансельма...

«Кто она — сознательная, продажная прислужница контрреволюции или заблудшая, неискушенная в политике, но честная интеллигентка, очутившаяся в стане врагов?»

В эту минуту актриса взволнованно воскликнула:

— Вы — Котовский... Я вас сразу... узнала...

Узнала! Да, она могла узнать. На даче у писателя Тодорова на станции Ковалевского в семнадцатом году они встречались не раз, даже катались как-то на лодке и купались в море: был организован пикник в честь экспроприатора Котовского, освобожденного революцией из тюрьмы после осуждения его на смертную казнь. Котовский уезжал добровольцем на фронт, и либеральная интеллигенция устраивала ему проводы...

Котовский даже не повернул головы, не взглянул на актрису, не ответил на ее вопрос — и продолжал идти дальше. Он даже не выдернул руку: Вера Холодная сама выпустила руку Котовского, но продолжала идти рядом с ним.

Котовский глядел перед собой: до Екатерининской оставалось шагов сорок, а там — либо влево в проходной двор, либо... вправо за угол — прямо к зданию контрразведки...

Вера Холодная шла рядом, нога в ногу с Котовским и, запинаясь, быстро говорила:

— Котовский!.. Вы можете верить или не верить мне... Но вас ищут все контрразведки... Все ваши маски известны...— Вдруг она взволнованно рассмеялась.— Какой вы чудесный актер! Даже я не узнала вас под видом помещика Золотарева на рауте.— Она снова заговорила быстро, еще быстрее, чем раньше: — Бегите... Немедленно! Куда вы... За углом контрразведка...

Котовский шел молча, не поворачивая к ней головы, не глядя на нее.

Собственно говоря, он и сам еще не знал, как быть дальше, что делать? Может, это провокация? Может — искренне? У него не было времени над этим раздумывать. Он просто шел туда, куда ему надо было идти. Одна мысль владела им: нужно спасать Ласточкина, и он должен быть на месте, за любую цену — на месте!

До угла оставалось несколько шагов. На углу уже стоял ночной патруль, а правее — шагах в тридцати — была контрразведка. Около контрразведки, наверное, собралось сейчас немало офицерни...

Вера Холодная вдруг заплакала.

Закусив губу, она прошептала:

— Бегите! Глупый! Проклятый, назад...

Котовский взял ее под руку и сказал:

— Сейчас же перестаньте плакать! С веселым лицом вы проведете меня мимо всех офицеров и контрразведчиков. Ну, мужайтесь!...

В это время они вышли на угол Екатерининской. Котовский,

близко склонясь к своей даме и что-то шепча ей на ухо, завихлял какой-то танцующей походкой подгулявшего ловеласа.

Дама была одета с парижским шиком, шляпка на ней — по последней моде — огромные поля ее свисали чуть ли не до плеч, и лицо кавалера пряталось под роскошным головным убором его дамы.

Офицеры, стоявшие на углу, расступились: кто в Одессе не знал звезды экрана — Веры Холодной?

Актриса хотела повернуть влево — подальше от страшного здания контрразведки, но Котовский крепко прижал ее руку и повернул вправо — прямо к контрразведке.

Кавалер еще ближе склонился к даме — он почти весь нырнул под ее шикарную шляпу и рассказывал, видно, что-то чрезвычайно интересное, смешное, так как дама прямо заходилась от смеха.

Они поровнялись со зданием деникинской контрразведки — здесь у подъезда столпилось не менее полсотни офицеров-контрразведчиков: спускалась ночь, наступал комендантский час, и офицеры-контрразведчики готовились в ночные пикеты — ловить большевиков, хватать в темноте кого попало и тут же расстреливать «при попытке к бегству». Звезду экрана, актрису Веру Холодную, узнали и здесь. Даже шепот пробежал: «Вера Холодная»... «Вера Холодная»...— Офицеры вежливо посторонились, пропуская актрису и с завистью поглядывая на ее кавалера: не каждому выпадет счастье вот так прогуливаться с известной красавицей под ручку, так близко склоняясь к ее роскошному плечу... Нашелся и знакомый. Рад похвастаться своим высоким знакомством перед товарищами, он лихо откозырял и, звякнув шпорами, посоветовал:

— Торопитесь, Вера Викентьевна! Еще десять минут — и комендантский обход! А впрочем,— любезно улыбнулся он,— вас, конечно, это не касается...

Актриса помахала ему перчаткой, не останавливаясь. Она была занята: в это время ее кавалер как раз рассказывал что-то такое пикантное, что она даже закашлялась от смеха.

Затем они миновали и французскую контрразведку. Перед зданием также стояли офицеры, а на мостовой выстроился взвод черных зуавов. Офицеры галантно посторонились: актрису Веру Холодную знали и они; разве это не ее они то и дело встречали среди чинов французской армии, у консула Энно, даже у самого генерала д'Ансельма?

Они молча вышли к Сабанеевскому переулку. Котовский остановился и опустил руку актрисы.

— Спасибо...— поблагодарил Котовский.

Он взглянул на Веру Холодную. Та глядела на него — слезы бежали по ее лицу, смывая пудру со щек и черную сурьму с ресниц.

— Я уезжаю, Котовский... Во Францию...— быстро прошептала она.— Я не могу здесь... Потому, что — трусиха и... наверно...— она всхлипнула совсем по-детски и быстро добавила: — Но вот сейчас я увидела вас, такого смелого, такого... целеустремленного, и поняла, что это не просто ваша личная храбрость. Это... это сила служения какой-то великой идее. Мне эта идея неизвестна. Прощайте, Котовский! Я выезжаю через два-три дня, виза будет завтра. Больше не могу здесь!.. Ласточкина выследили и продали Ройтман и Япончик...

— Уезжайте! — сказал Котовский. Потом добавил: — Но если не поедете, не беспокойтесь... разберемся... Спасибо вам...

Когда Котовский вышел на территорию эллингов Ропита, все были уже на своих местах. Уже совсем стемнело, через полчаса-час надо было начинать операцию. На море ложился туман, и это было очень кстати: под покровом тумана ялику легче будет незаметно пройти расстояние от волнореза до угла Потаповского мола, за которым начинается гавань верфи.

Котовский поднялся на какую-то высокую постройку над стапелями, на верхнюю площадку. Отсюда — через мол — был виден волнорез и вблизи него транспорт номер четыре. Туман уже окутал морскую даль, но здесь, в бухте, он был негустой. Сквозь легкую кисею тумана, сквозь ночной сумрак, который сгущался каждую минуту, Котовский еще ясно различал над водой темный контур транспорта. На носу и на корме судна горели огни сигнальных фонарей.

Что там, на транспорте? Как Вано? Посчастливится ли ему? Успеет ли Вано вывести заключенных, спустить их в ялик и отплыть хотя бы на сто — двести метров до того, как прибудут на катер палачи для очередного допроса?..

8

Очередной допрос начался еще днем.

Ласточкина приволокли в каюту и бросили на пол перед Риггсом, Евой и Бенуа.

Бенуа уже пришел в себя, у него только все еще болела челюсть. Ласточкин метким ударом вывихнул челюсть полковнику полиции, и ее пришлось вправлять с помощью хирурга. Кроме того, у Бенуа изменился голос — удар раскрошил вставные зубы, и теперь полковник шамкал беззубым ртом.

— Огня! — зловеще прошамкал он, как только Ласточкина швырнули в каюту.

В помощь Еве встали два мальгаша. Они притащили жаровню и железо.

Ласточкин лежал в луже на полу. Все тело его горело, все тело пронизывала нестерпимая боль, как от тысячи ран. Все

его тело с ног до головы десятки, а может, и сотни раз, было проколото раскаленными на огне острыми шпильками Евы.

— Ну,— поинтересовался Риггс,— как ваше самочувствие?

Ласточкин не ответил.

— Фамилии и адреса?

Ласточкин молчал.

Риггс вздохнул.

Бенуа ткнул Ласточкина сапогом.

— Начинайте! — зашипел он.

9

К девяти наступила черная ночь — в двух шагах ничего не было видно. Только два огонька — на носу и на корме транспорта — едва просвечивали сквозь туман. Над заснувшим темным морем стояла тишина, раздавались лишь легкие всплески прибоя о камни мола да слышно было, как на Большом рейде отбивают склянки на французских и английских кораблях. Но в гаванях ничто не подавало признаков жизни: с наступлением темноты гавани замирали до рассвета.

Котовский спустился со своего наблюдательного пункта и пробрался в конец мола, прикрывавшего вход в Ропитовскую гавань. Он все прислушивался; он хотел, он должен был услышать всплеск весел или поскрипывание уключин.

За кучами железного лома на откосах эллинга всюду лежали бойцы, сжимая в руках маузеры, наганы, гранаты. За стеной Потаповского мола среди мешков под брезентами притаились пулеметчики. Все были готовы встретить врага, если враг сунется сюда и завяжет бой.

Однако прежде всего надо было, чтоб плеснула вода под веслами или заскрипели уключины...

Но на море было тихо.

Тихо было в девять часов и в десять...

Далеко — за четырьмя гаванями, у изгиба Карантинного мола, за камнями и у железнодорожного полотна — также лежали бойцы. Они тоже напряженно вслушивались и вглядывались вдаль. Им не видно было транспорта, стоявшего у волнореза, и они не могли услышать отсюда ни всплеска весел, ни скрипа уключин. Но они и хотели ничего не услышать. Они хотели, чтоб было все тихо до той поры, как взойдет луна... Но если бы там, за тремя молами и четырьмя гаванями, неожиданно возникла перестрелка, они готовы были немедленно же поднять отчаянную стрельбу здесь, чтобы отвлечь внимание на себя.

Но тихо было за тремя молами и четырьмя гаванями.

Тихо было и в десять и в одиннадцать часов.

Итак, все проходит благополучно?

Дальше, за Ланжероном, на высоком обрыве, под кирпичной стеной санатория, лежала еще одна группа бойцов. Отсюда, с горы, туман казался еще гуще, а море еще чернее, чем это было на самом деле. Бойцы вообще ничего не видели; перед ними была лишь черная пелена моря, темная завеса тумана над ним, и вверху чуть светлел ночной небосвод.

Бойцы были бы рады ничего не увидеть и не услышать, потому что это означало бы, что операция проходит хорошо и все кончится благополучно.

И они радовались, что стояла тишина в Карантинной гавани, что тихо было и дальше, за молами и гаванями, до самой верфи за Андросовским молом. Потому что это свидетельствовало об успехе операции...

Но бойцы под стеною санатория попрежнему были наготове. И они готовы были лежать здесь до рассвета: лишь утром узнают они, действительно ли все закончилось благополучно и Николай Ласточкин освобожден из пловучей тюрьмы...

После одиннадцати туман над морем на востоке посветлел, светлое пятно увеличивалось и становилось более четким: из-за горизонта приближался свет.

Свет приближался, и приближался так быстро, что казалось — луна бежит с другой стороны земного шара, спеша во всю мочь, глотая расстояние и пробиваясь сквозь туман. Не прошло и трех минут с тех пор, как светлое пятно в тумане над морем было чуть приметным и казалось призрачным, а уже рассеянный свет обнял чуть ли не четверть небосвода, серебря туман. С моря повеял ветерок, набежала на берег первая длинная волна, и туман сразу заметно поредел, будто таял. Светлое пятно уменьшилось, но засветилось ярче, а там, над самым морем, откуда должна была появиться луна, горизонт заалел. Еще несколько секунд — и словно заполыхали за горизонтом всплески далекого огромного костра. Туман таял на глазах. Еще мгновение — и над горизонтом, в самом центре зарева, блеснул огонь, но волнение моря на горизонте сразу же как бы проглотило яркую огневую вспышку...

— Сейчас... взойдет... луна...— прошептал Григорий Иванович, обращаясь к Гале. Она ждала рядом с одеждою для Ласточкина и фельдшера.— Что же это... а ялика... нет...

В голосе Григория Ивановича звучало нескрываемое отчаяние.

Луна показалась наполовину, потом всплыла вся — огненно-красная, огромная, слегка выщербленная слева. Она как будто подпрыгнула на волне и тотчас словно замерла над горизонтом.

Туман совсем исчез. Мрак еще не поредел, луна не светила. Но пройдет еще минута-две — и побежит морем яркая дорожка: сначала огненно-желтая, потом фиолетовая, затем желтовато-зеленоватая, потом бледносеребристая — и тогда

разольется над морем тусклое сияние и станет видно до самого Большого рейда, и в трепетанье лунной дорожки, которая протянется между месяцем и каждым, кто взглянет на море, будет видно как на ладони за два километра, за три и за четыре. Будет виден не только ялик, а каждая щепка...

Луна взошла и залила все своим серебристо-зеленым таинственным сиянием...

10

Луна взошла, и это было сигналом для начала атаки под станцией Березовкой.

Еще два-три часа назад, как только упали вечерние сумерки в степи, отряды Красной Армии уже начали незаметно приближаться к станции. Прячась за кустами в каждой выемке, используя непроглядную темень весенней ночи, бойцы подкрадывались к железной дороге.

Генеральный бой за Березовку уже отгремел. К вечеру Пятнадцатый авангардный полк Южной группы вошел в соприкосновение с противником на западных подступах к станции в степи. Железная дорога делает здесь, под Березовкой, крутую, почти замкнутую петлю — и оборона станции в горловине петли имела большие преимущества. Оборону держали десять франко-греческих батальонов: два полка греков и четыре батальона французов. Три тысячи франко-греческих стрелков и пулеметчиков тремя цепями лежали в горловине оборонной цепи.

О лобовом ударе и думать было нечего: Пятнадцатый полк имел три батальона при двух пушках.

Красноармейцы нагрузили порожний состав камнями, бомбами и динамитом, облили его нефтью и подожгли. Пылающий поезд, грохоча взрывами бомб и динамита, сея панику, влетел на территорию станции — в тыл оборонным цепям. Тогда бойцы Пятнадцатого полка поднялись и пошли в атаку. Бой был жестокий, принес победу, но ценой большой крови. Две цепи греческих стрелков были сметены; две с половиной тысячи трупов остались на поле боя. Третья французская цепь поспешно отошла к самой станции. Тысячу пулеметов оставил противник на поле боя — как раз по два пулемета на бойца: в трех батальонах Пятнадцатого полка осталось только пятьсот человек.

Но победу надо было закрепить. Успех надо было развить: взять станцию Березовку, пока противник не опомнился и не подошла к нему помощь. Было решено провести ночную атаку.

В темноте тихо ползли бойцы среди сухого прошлогоднего ковыля, по черной весенней пахоте, по молодой, чуть зеленеющей мураве и росистой озими. За два-три часа до восхода луны первая цепь бойцов незаметно пробралась почти до при-

вокзальных путей, в тридцати — сорока метрах от линии вражеской обороны. За первой цепью незаметно двигалась вторая, за ней — третья, последняя. Резерва не было, орудия молчали. Штурм должен был быть внезапный,— в штыки.

Взошла луна, дальше подкрадываться было невозможно: цепи красноармейцев стали видны как на ладони. В небо взлетела ракета — бойцы поднялись и бросились в атаку.

Но навстречу штыковому удару раздалось только несколько выстрелов. Вражеская цепь встала, подняв вверх руки.

— А ба ля гер! [1] — кричали французы.

Со станции в этот момент затрещали пулеметы, но теперь уже красноармейцы были под защитой железнодорожной насыпи.

Прискакал командир полка.

— Комбата ко мне! — приказал он.

— Краскома Столярова! Краскома Столярова! — полетело по цепи первого батальона.

Краском комбат Федор Столяров вел первый батальон в атаку. Это его батальон, насчитывающий всего полторы сотни бойцов, без единой капли крови заставил французскую цепь поднять руки. Теперь Федор Столяров перестраивал батальон, чтобы, наступая на станцию в лоб, сковать противника, пока второй и третий батальоны, загибая фланги, перережут с востока и запада петлю железнодорожной линии.

— Докладывайте! — сказал командир полка, когда подбежал Федор Столяров.

— Товарищ комполка! Задание выполнено. Первый батальон готов к удару в лоб. Но что делать с пленными? Их триста человек, а резерва для конвоя нет.

— Отобрать оружие! — приказал комполка.— И пусть идут себе ко всем чертям, на все четыре стороны.

— Есть!

Но пулеметы противника не умолкали, они поливали степь свинцом, простреливая каждый сантиметр между станцией и крыльями петли. Как обезвредить французские пулеметы?

Федор стал перед толпою пленных французов — в сиянии месяца он виден был всем — и обратился к ним.

— Вив ля Франс! — крикнул он.— Вив ля революсьон!

Это было все, что он умел говорить по-французски.

С минуту французы молчали. Потом кто-то из пленных крикнул:

— Жанна Лябурб!

— Большевик! — сразу же откликнулся Федор.

Тогда из рядов пленных с разных концов раздались выкрики:

---

[1] Долой войну! *(франц.)*

— Больсевик!.. Революсьон!.. Ленин!..

— А ба ля гер! Вив революсьон! Вив больсевик! Вив Ленин! — подхватил Федор.

— Вив! — закричали французы.— Вив Ленин! Вив больсевик! Вив ля революсьон!

— Вот и поговорили! — расправил свои густые усы комполка.— Ты, комбат Столяров, здорово жаришь по-французски! А ну, растолкуй им: пускай идут назад к своим и сделают там «а ба ля гер». Передай им... как это будет по-французски?

Федор Столяров выхватил наган, потряс им перед французами и швырнул на землю. Затем махнул рукой в сторону станции, откуда неумолчно стрекотали и стрекотали пулеметы, и поднял руки вверх.

— А ба ля гер! — крикнул он.

— Правильно! — одобрил комполка и добавил от себя, тоже махнув рукой в сторону станции: — Марш-марш!

И французы поняли.

Они взобрались на насыпь — два человека упали, сраженные пулями, но остальные подняли руки вверх; в сиянии месяца было видно, что с поднятыми руками стоят французы. Один пулемет закашлялся и умолк; смолк и другой, остальные свистом пуль полоснули воздух в вышине; французы с поднятыми руками двинулись с насыпи вниз, в поле, к станции, к своим.

— А ба ля гер! — кричали они и шли вперед.— Революсьон! Вив больсевик! Вив Ленин! А ба ля гер!

Когда они прошли половину пути, пулеметы замолчали совсем.

Еще минута, и французы исчезли среди пристанционных построек, среди своих.

В это время от второго и третьего батальонов прибыли связные. Батальоны вышли на обхват правого и левого крыла железнодорожной линии и готовы к атаке.

— Минуту! — сказал комполка.— Вроде что-то ползет от станции?

Действительно, из пристанционного поселка выехала на шоссе автомашина. На ней трепетал белый флаг. Машина медленно продвигалась к переезду через линию.

— А ну, Столяров! — приказал комполка.— Поговори с парламентером. Что ж это ты, братец, сразу не признавался, что умеешь по-французски?

Парламентер — французский офицер — вышел из машины с белым флагом в руке. Он сломал свой палаш на колене, затем вытянулся перед бойцами, отдал честь и заявил, что еще пятьсот французских солдат — остаток гарнизона станции — складывают оружие...

Весенняя ночь подходила к концу, луна еще была, но со

степи уже поднимался предрассветный туман и на востоке чуть розовело. Занимался новый день.

В это время прискакала конная разведка и доложила, что со стороны Одессы, от Сербки, по дороге из Рауховки спешат сюда во всю мочь какие-то огромные грохочущие машины.

И действительно, через несколько минут, только батальон Федора Столярова успел залечь вдоль дороги, появились никогда ранее не виданные стальные чудовища.

Шли танки. Их было семь.

Не доходя с километр до станции, танки сошли на пахоту, развернулись полукругом и, поливая во все стороны свинцом, поползли к железной дороге, где лежали заставы.

Это были первые танки — вообще первые, которые доводилось видеть красным бойцам. О танках — новом оружии — до этого времени лишь шла молва, и молва эта сеяла страх: стальные чудовища, их не берут ни пули, ни гранаты, они прут и прут вперед, давя своими широкими стальными гусеницами все живое и мертвое, что попадется на пути...

Несколько минут бойцы смотрели настороженно, со страхом, но и с любопытством на невиданных стальных великанов. Но когда один из танков, встретив на марше какую-то хибарку, не остановился и не обошел ее, а прошел прямо сквозь глиняные стены, бойцы не выдержали: то один, то другой вскакивал и бежал прочь. Слепой ужас охватил их и гнал назад от непонятного и всемогущего стального чудовища.

Пулеметы заставы сыпанули по танкам ливнем пуль. Танки были уже совсем близко, и даже можно было слышать, как пули ударялись о броню и с хлюпаньем расплющивались. А железные чудовища все шли и беспрерывно поливали огнем.

Но наступать дальше танки уже не могли: перед ними была хоть и невысокая, но крутая железнодорожная насыпь, она оказалась для них непреодолимым препятствием. Танки остановились, два передних повернули вправо по шоссе и направились к переезду через железнодорожную линию, остальные начали медленно разворачиваться, чтобы тоже двинуться через переезд.

В это время к Федору подошел французский солдат, из тех, что сложили оружие и теперь были лишь свидетелями боя. Он горячо и взволнованно что-то говорил, указывая на танки. Но Федор его не понимал, да и не до него было ему сейчас, когда свои солдаты бежали, когда всей части угрожало неминуемое поражение. Федор уже хотел было отойти от француза, но француз схватил его за руку и начал, торопясь, объяснять ему жестами. Он кивнул на танк, потом рукою показал предполагаемый полет пуль из пулемета танка, затем быстро присел и сделал такое же движение над головой.

Федор понял. Если подбежать близко к танку и присесть, то для пулеметов танка ты будешь недосягаем. И сразу же

Федор сообразил и другое: пулеметы танка действуют только в одном направлении, сквозь амбразуры в броне; сектор обстрела ограничен — каких-нибудь сорок, пятьдесят градусов, а все остальное пространство перед танком совершенно безопасно. Чтобы обстрелять и это пространство, танк должен развернуться и изменить направление. А в этом случае безопасным становилось ранее обстреливаемое пространство.

Раздумывать не было времени, надо было использовать эти минуты, пока танки развернутся и выберутся из-под насыпи.

Федор схватил гранаты и побежал к танку, стоявшему сейчас к нему боком.

Он подбежал, присел на корточки перед стальным чудовищем — пулеметы оказались над ним. Один из пулеметов как раз застрочил, но пули пронеслись над головой Федора.

Федор дернул кольцо и кинул гранату под днище танка.

Раздался гулкий взрыв, танк даже подскочил. Тогда Федор кинул еще одну гранату. Раздался второй взрыв. Танк залязгал, затарахтел всем своим железом, дернулся и стал.

Федор застучал наганом в стальную стенку.

— Вылазь! — крикнул он.

Но танк молчал: или от взрыва гранат погибли танкисты в чреве стального чудовища, или попортился механизм.

Федор влез на танк и застучал по нему ногами. Он грохал сапогами по гулкому металлу и кричал что есть духу:

— Хлопцы! Сюда! На корточки, и совайте им в пасть гранаты!

Бойцы видели победу своего командира в поединке со страшным и, казалось, непобедимым чудовищем. Уже несколько смельчаков бросились к другим танкам. Один или два упали под ливнем пуль из соседнего танка, но другие добежали.

Когда таким же способом был выведен из строя второй танк, из амбразуры третьего вдруг появился белый лоскут: танк сдавался! В четвертом, который был значительно дальше, метров за сто, открылись дверцы и из них выскочил французский солдат. Он тащил за ворот французского офицера. Этот танк не сдался, он восстал.

Гулкое «ура» загремело от края до края вдоль железнодорожного полотна и шоссе. Все бойцы были уже здесь, и те, которые недавно удирали, сверкая пятками, первыми бежали к танкам с гранатами в руках.

Два танка уже перевалили через переезд и развернулись. Один стрелял, другой молчал. Из амбразуры его показался белый лоскут, а первый весь облепили бойцы. Они били в броню прикладами и кричали:

— А ну, вылазь, а то сейчас натолкаем тебе в глотку каши!

Семь танков были взяты.

Это были первые танки иностранных захватчиков, сунувшиеся своими стальными гусеницами на Советскую землю.

Комполка подскакал к первому танку, на котором все еще стоял краском Федор Столяров, соскочил на землю, бросив повод кому-то из бойцов, поплевал на руки и тоже полез на броню.

Взобравшись на башню танка, он встал во весь рост, расправил свои огромные усы и оглядел бойцов, толпившихся вокруг. Бойцы кричали «ура» и тоже лезли на башню. Комполка хотел что-то сказать, может быть произнести речь, но, махнув рукой, грохнул сапогами так, что даже эхо загудело, и ударил вприсядку:

По дорозі жук, жук, по дорозі чорний —
Подивися, дівчинонько, який я моторний...

Через минуту все башни танков были превращены в «танцевальные площадки».

Когда общее веселье несколько утихло, комполка, не слезая с танка, произнес-таки речь со своей импровизированной трибуны. Речь была совсем короткая.

— Товарищи красные бойцы,— сказал он,— сегодня мы победили победителей мира! Буржуйская Антанта придумала на нашу голову стальные танки, но стальная воля революционного народа разбила и эти чудовища. Вы думаете, что мы с вами отплясываем сейчас на страшных буржуйских машинах смерти? Нет, товарищи, мы с вами пляшем на сердце самого мирового капитализма! Мы отплясываем на президентских креслах Клемансо, Ллойд-Джорджа и Вильсона. Долой интервентов!

— Долой! — грянул полк.

— А эти невиданные заморские чудовища, которые мы добыли в смертельном бою, мы сейчас погрузим на платформы и пошлем в подарок нашей красной столице Москве, нашей партии и вождю революции товарищу Ленину!

— Ура! — загремел полк.

— Так потопим же в море Антанту! Вперед, на Одессу!

— Вперед!

Полк двинулся на Сербку — на Одессу.

Восемьсот пленных французов потолкались сюда и туда: их никто не охранял, не конвоировал, их бросили на произвол судьбы, они никому не были нужны, они могли идти кто куда хотел.

Потихоньку они поплелись пешком — тоже по направлению к Одессе, к морю...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Первый номер газеты «Известия Совета рабочих депутатов» города Одессы приветствовал трудящихся с началом деятельности нового, только что выбранного Совета.

Этот первый номер правительственной газеты ничем не отличался от всех других первых номеров правительственных газет.

В передовой статье освещалось политическое положение ко времени выхода газеты.

Потом давалась информация из местной жизни, в которой, безусловно, самым важным было уведомление о том, что в результате переизбрания профсоюзным активом Совета профессиональных союзов в состав его вошли в основном большевики.

Первым актом деятельности нового Совета профессиональных союзов был меморандум, предъявленный командующему союзными войсками генералу д'Ансельму. В нем требовалось немедленно ликвидировать в городе голод и обеспечить всех трудящихся продовольствием, а безработных — работой; меморандум требовал также положить конец всяким бесчинствам на территории «зоны», прекратить насилие над трудящимися и покончить с террором, арестами, истязаниями и расстрелами. Меморандум заканчивался предупреждением, что, в случае если командование оккупационных вооруженных сил не в состоянии удовлетворить потребности трудящихся и не выполнит их законных требований, трудящиеся, организованные в профессиональные союзы, немедленно возьмутся за восстановление порядка собственными силами.

В газете также были помещены разные постановления, решения и распоряжения Совета рабочих, матросских и солдатских депутатов и призыв к населению выполнять распоряжения только этой законной власти, а не какой-либо другой.

Не было в номере лишь адреса редакции газеты и адреса типографии: редакция и типография находились все еще в подполье, и газета печаталась в подземелье Куяльницких катакомб.

Объединенный пленум Совета депутатов и Совета профессиональных союзов состоялся в помещении Союза поваров — на улице Кондратенко, между Канатной и Карантинной. Работу пленума охраняли рабочая дружина имени Старостина и дружина Морского райкома. Несколько сот бойцов, вооруженных гранатами и пистолетами, небольшими группами, но густо, в три линии, прячась в домах, подъездах и подворотнях, окружили прилегающие к Александровскому парку и Польской улице кварталы. Широкие красные повязки были у каж-

дого дружинника на левой руке. Большой красный флаг развевался над входом в помещение союза. Объединенный пленум проходил нелегально и вопреки запрещению оккупационной власти, но власть трудящихся из подполья уже вышла...

Обращение командующего вооруженными силами и «верховного правителя Юга» генерала д'Ансельма призывало население города сохранять спокойствие и заверяло, что Одесса ни в коем случае не будет отдана большевикам.

И город видел: для усиления обороны прибыли и продолжали прибывать свежие войсковые резервы и новое военное снаряжение. Прибыли французские национальные авиационные части, британский колониальный полк бенгальских стрелков, два греческих полка; к причалам порта пришвартовались и стали под разгрузку два огромных парохода с артиллерийскими снарядами. Эскадра, пополненная кораблями, которые вышли из Херсона, Николаева и Очакова, выстроилась на рейде, и днем и ночью не надевались чехлы на тысячи орудийных жерл.

Фронт с севера приблизился к городу на двадцать — тридцать километров; части Красной Армии подошли к станции Сербка, и их остановило только то, что был взорван мост через ручей Тилигулку. В правый фланг французским предмостным укреплениям уже выходил тилигуло-березанский отряд партизан; на подкрепление к нему спешили визерские партизаны; от Очакова, ближе к морю, отрезая Сербку, шел к Одессе полк Николая Столярова. Одновременно с севера партизаны Ивана Голубничего не давали покоя левому флангу интервентов, а на соединение с Голубничим, уничтожая петлюровские заслоны, должны были двинуться от Жмеринки и авангарды таращанцев, которые оседлали Киево-Одесскую железную дорогу.

На небольшом теперь одесском плацдарме, который остался интервентам от недавно еще огромного херсоно-николаево-одесского плацдарма, сгрудилась, стало быть, вся армия интервентов вместе с отрядами белой добровольческой армии.

На объединенном пленуме Совета депутатов и Совета профессиональных союзов председательствовал вместо отсутствующего Ласточкина его заместитель, пересыпский слесарь Александр Столяров.

Пленум заслушал информацию представителя Совета профсоюзов об ответе генерала д'Ансельма на меморандум, переданный через начальника штаба французского полковника Фредамбера.

Генерал, прочитав меморандум, только развел руками по поводу снабжения продовольствием города и высказал свое полное удивление относительно террора, чинимого контрразведками; он пообещал выяснить, имеют ли место подобные явления в действительности, расследовать факты, если таковые

будут установлены, выявить виновных, если они найдутся, и соответственно их наказать — в том случае, если они заслуживают наказания...

Шутовской ответ генерала вызвал всеобщее возмущение.

Решено было немедленно же послать к генералу делегацию, которая в самой категорической форме прямо поставит перед «верховным правителем» требования трудящихся города.

Требования Совета профессиональных союзов решено было между тем пополнить еще одним.

Суть его заключалась в следующем: все вооруженные силы интервентов вместе с наемниками — любыми контрреволюционными вооруженными формированиями — должны немедленно оставить город и вообще всю территорию Украинской Советской Социалистической Республики.

В состав делегации были избраны: заместитель председателя Совета рабочих, матросских и солдатских депутатов слесарь Александр Столяров, член исполкома Совета матрос Александр Понедилок, представитель Морского райкома партии грузчик Петр Птаха, секретарь Военно-революционного комитета Галина Мирошниченко и заместитель председателя Совета профессиональных союзов Столяров Никодим Онуфриевич.

Делегация должна была отправиться немедленно, прямо с пленума.

2

Была поздняя ночь. Минул двенадцатый час, а движение по улицам города было запрещено еще с семи часов.

Делегация вышла, и ее сразу же поглотил мрак неосвещенных улиц. Тяжелые весенние тучи заволокли весь небосвод, не было видно звезд, не пробивались и лучи позднего месяца. С моря порывами налетал теплый ветерок. Тихо было вокруг. Лишь иногда там и сям в каменных кварталах города раздавался одиночный выстрел или вспыхивала короткая перестрелка. Это франко-греческие и деникинские патрули расстреливали «при попытке к бегству» или, отгоняя собственный страх, просто постреливали в темных углах.

Делегаты шли прямо посреди улицы, намеренно гулко стуча сапогами, чтобы дать знать о себе издалека, продемонстрировать, что люди идут не прячась, и не привлечь на себя случайный выстрел перепуганных патрулей. Шли в ряд, плечо к плечу — так хотелось в этой мертвой, напряженной и зловещей тишине притихшего города постоянно чувствовать близость локтя соседа. Александр Столяров нес белый флаг — Галин платочек на рыбацком бамбуковом удилище. Флажка в темноте не было видно, но если бы патруль посветил карманным фонариком, в полосе света он должен был увидеть белый платочек.

На углу Дерибасовской они услышали первый оклик:

— Стой! Кто идет?

Кричали издалека, шагов за пятьдесят, и того, кто окликал, не было видно, он прятался где-то в подворотне.

— Парламентеры! — громко ответил Александр Столяров, и голос его прозвучал меж каменных стен гулко, будто в горном ущелье.

Но делегация не остановилась и продолжала идти посреди улицы, еще громче топоча подошвами о мостовую.

— Какие парламентеры? — снова прозвучал перепуганный голос, и было слышно, как щелкнул затвор винтовки.— Стой!

Делегаты остановились.

В темноте подворотни слышен был приглушенный гомон голосов: патруль состоял из нескольких человек.

Александр Столяров крикнул:

— Мы парламентеры! И мы безоружны! Подходите к нам спокойно.

Минуту из подворотни не было слышно ни единого звука — очевидно, патрульные переговаривались шепотом. Затем тихо была подана какая-то команда; разобрать ее было невозможно, но одно слово — «гранаты» — долетело совсем ясно.

— Оставьте гранаты! — сразу же крикнул Столяров.— Мы — мирная делегация! Подойдите, осветите, мы идем с белым флагом!

В подворотне совсем затихло.

Делегаты тоже стояли тихо, не переговариваясь, и ждали. В пятидесяти шагах сзади вдоль стен домов скрытно двигалась охрана из дружинников.

Условились так. Если первый патруль встретит делегацию огнем, товарищи должны сразу же упасть на землю, а охрана немедленно выбросится вперед, прикроет делегацию и забросает патруль гранатами. Если первый патруль пропустит, делегация должна была идти дальше одна, продвигаясь от патруля к патрулю, а охрана останется за первой линией вражеских пикетов. Если возникнет стрельба впереди — охране надо бросаться на прорыв линии пикетов и спешить товарищам на помощь.

Но в подворотне уже приняли решение, по плитам тротуара заскрипели шаги. Шло человек шесть или семь. Они тоже стучали сапогами, чтоб подбодрить себя и устрашить врага.

Когда шаги были уже совсем близко, вспыхнул свет сразу трех или четырех карманных фонариков.

Александр Столяров поймал луч света белым флажком.

— Белый флаг! — снова крикнул Столяров.— Мы — мирные представители!

Еще минута, и делегаты были в кольце вооруженных людей.

— Руки вверх! — раздалась команда.

Все послушно подняли руки.

Патрули подошли вплотную и приставили дула винтовок к груди каждого. На плечах у патрулей при тусклом свете карманных фонариков поблескивали золотые погоны. Это был патруль деникинских офицеров. В первую линию всегда выставлялись деникинцы, за ними шла линия греков, французы стояли третьей линией.

— Что за парламентеры? — спросил хрипловатый молодой голос.— К кому? Чья делегация?

Александр Столяров ответил:

— Лично к генералу д'Ансельму.

Ответ произвел впечатление. Делегация к командующему и «верховному правителю» — до сих пор такого еще не слыхали! Офицеры переглянулись.

— А от кого? — настороженно поинтересовался тот, который, видимо, был старшим.

— От Совета рабочих, матросских и солдатских депутатов города Одессы.

Офицеры растерянно молчали. Вот она и заявила о себе, подпольная, нелегальная власть народа!

Офицеры растерялись и даже забыли проверить, нет ли у делегатов с собой оружия. Командир патруля, запинаясь, спросил:

— А... пароль?

— Какой может быть пароль? — улыбнулся Столяров.— Если бы мы знали пароль, мы бы не пошли под белым флагом, ваше благородие!

Офицер смутился — даже в слабом свете электрического фонарика было видно, как густо он покраснел. Это был совсем молоденький прапорщик, вчерашний гимназист, и покраснел он, видимо, потому, что в словах парламентера почувствовал намек на свою военную малограмотность: и действительно, какой же может быть пароль для парламентеров вражеской стороны?

Чтобы спрятать свое замешательство, прапорщик выхватил свисток и пронзительно засвистел: он вызывал караульного начальника.

Караульный начальник — представительный капитан — появился сразу же в сопровождении еще нескольких офицеров, вооруженных винтовками, гранатами, даже ручным пулеметом. Заявление о том, что перед ним парламентеры от Совета, произвело на солидного капитана еще большее впечатление; он засуетился, стал неожиданно вежливым и предупредительным и приказал, выделив делегации охрану из четырех конвоиров во главе с безусым прапорщиком, пропустить ее по Ришельевской, мимо Оперного театра, мимо Думы на Николаевский бульвар.

Делегаты двинулись, свободно прошли мимо греческих патрулей, стоявших у оперного театра, и мимо французских — на углу бульвара. Они вышли к памятнику Пушкину, и соленый морской ветер ударил им в лицо. Далеко на рейде мигали бесчисленные огоньки на кораблях эскадры, ближе в порту светился только маяк в конце Рейдового мола. Все гавани лежали в абсолютной темноте; ни молов, ни кораблей у причалов не было видно, будто порта совершенно не существовало на свете.

Но острые глаза старого рыбака Птахи видели и сквозь эту кромешную тьму.

— А транспорт стоит...— тихо пробубнил он, обращаясь не столько к товарищам, сколько к самому себе.

Он видел у волнореза на черной поверхности воды мрачные очертания тюремного транспорта номер четыре.

Транспорт действительно стоял.

Он стоял сегодня днем, стоял вчера, стоял и позавчера, заякоренный на том же месте, что и три дня тому назад, когда была сделана неудачная попытка освободить Ласточкина. Транспорт стоял, только Ласточкина на нем уже не было. Ласточкин исчез с транспорта в тот же вечер, и узнать о новом месте его пребывания так и не удалось. Исчез с баржи и конвойный Вано, но вести о нем были. Грузин Вано был расстрелян в тот же вечер. Вероятно, его схватили в ту минуту, когда он хотел вывести Ласточкина к ялику. И это было все, что удалось установить в следующую ночь, при второй попытке проникнуть на баржу.

Григорий Иванович Котовский по приказу Военно-революционного комитета возвратился к своему отряду, в днестровские плавни...

У подъезда Воронцовского дворца конвоиры остановились. Остановилась и делегация. У входа, скрестив штыки, стояли темнокожие бенгальцы из английских колониальных войск. Еще вчера охрану несли черные зуавы, третьего дня — французские стрелки.

Никодим Онуфриевич Столяров сердито фыркнул в усы.

— Что-то генерал уже не доверяет не только французам, но и черным зуавам! Гляди-ка, уже, должно быть, малайцы оберегают его высокую персону!

Безусый прапорщик крикнул через ограду по-французски.

Из ворот появился французский офицер с большим ацетиленовым фонарем. Безусый прапорщик, мобилизуя все свои гимназические познания французского языка, мыча и запинаясь на каждом слове, что-то долго шептал офицеру. Выслушав его, французский офицер приблизился к делегатам. Он каждого осветил своим ослепляющим фонарем. Особенно долго он освещал Галю. Маленькая девушка в расстегнутой кожанке, из-под которой виднелась белая девичья матроска с синим во-

ротником, обратила на себя его особое внимание. Большой круг от сияния фонаря освещал и лицо офицера — широкое, скуластое, с седой щетиной на подбородке и коротко подстриженными седыми усами, лицо старого провинциального учителя или чиновника почтового ведомства, призванного из запаса второй очереди на войну. Во взгляде, которым он внимательно оглядывал маленькую девичью фигурку, было, пожалуй, больше печали, чем любопытства. Возможно, где-то во Франции престарелый офицер оставил дочь такого же возраста — и неожиданное появление неизвестной девушки среди глухой ночи, в обстановке, уж никак не подходящей для прогулок молодых девушек, вызвало у старого отца тоску и тревогу за судьбу собственного дитяти.

Наконец, офицер погасил свой фонарь и спросил по-французски:

— Кто вы и чего вы хотите?

Галя ответила за всех:

— Мы — делегация Совета и желаем немедленно разговаривать с командующим.

Старый офицер помолчал некоторое время, словно ожидал, не скажет ли чего-нибудь еще девушка, которая напоминала ему его собственную дочь; быть может, и голос Гали напомнил ему родной и очень далекий сейчас голосок дочки. Затем старый офицер, тяжело вздохнув, неодобрительно покачал головой, еще раз с укоризной поглядел на девушку, которая так поздно ходит по улицам города, и пошел по аллее к дворцу, потом по лестнице, в подъезд.

Он долго не возвращался. Здесь, у дворца, темнота не была так густа: окна резиденции оккупационного командования были плотно закрыты ставнями, но около стражи при входе тускло светил большой керосиновый фонарь; такие же фонари бросали свет и на тротуар и дальше — каждые десять шагов; часовые вокруг дворца стояли плотным кольцом, охрану несло одновременно не меньше роты.

— Генерал-то, видно, не из храбрых,— снова пробурчал старик Столяров.

— Знает волк в лесе толк! — так же угрюмо, но язвительно откликнулся старый Птаха.

И снова все надолго замолчали.

Два бенгальца в чалмах стояли, скрестив штыки, у входа. Они застыли совершенно неподвижно, ни одна черточка не вздрагивала на их лицах. Они были похожи на музейные муляжи.

Шурка Понедилок стоял рядом с Галей и чувствовал, как дрожит она, и понимал, что дрожит не от холода — ночь была теплая, весенняя,— это была непреоборимая дрожь напряженного ожидания. Шурка отстранился от Галиного локтя, чтобы не смутить ее тем, что ощущает ее дрожь.

Наконец, офицер возвратился.

Он сошел по ступенькам, не спеша прошел аллею и так же не спеша сообщил, что генерал отказывается принять делегацию.

Тогда Столяров начал говорить. Галя быстро переводила.

— Мы просим вас, господин офицер, еще раз доложить генералу, что мы категорически настаиваем на том, чтобы он нас принял. Мы не просим, а требуем. Наше требование идет от всех трудящихся города, и это последняя возможность найти общий язык. Если генерал нас не примет, трудящиеся города завтра же заговорят, только своим языком — и тогда уже будет безразлично, поймет ли его генерал.

Офицер внимательно выслушал, пристально глядя на Галю, снова печально вздохнул, снова неодобрительно покачал головой и снова молча пошел во дворец.

На этот раз он возвратился быстро и сообщил, что генерал согласен принять делегацию.

Все сразу двинулись с места. Но офицер остановил Галю.

— Вы оставайтесь! — сказал он.— Переводчиков не надо, у генерала есть свои.

— Я не переводчик,— ответила Галя.— Я член делегации.

— Вы член делегации? — недоверчиво переспросил офицер.— От какой же вы организации?

Галя ответила:

— Я — секретарь Военно-революционного комитета.

Офицер заморгал глазами, громко вздохнул, но посторонился и молча пропустил Галю.

3

Бенгальцы развели штыки, и делегаты один за другим прошли. Офицер шел сзади, последним, по-старчески шаркая подошвами. Так взошли все по внутренним лестницам — широким, просторным, устланным дорогими пушистыми персидскими коврами. Затем пошли анфиладой покоев — по вылощенным паркетам, среди мраморных скульптур, под огромными картинами в тяжелых позолоченных рамах. Двери по очереди бесшумно открывались навстречу, у каждой двери стояло два часовых, и все это были бенгальцы в чалмах, все будто на одно лицо — очевидно, подобранные для английской колониальной гвардии из какого-то одного племени великанов.

Залы дворца были залиты ярким светом; ставка командующего освещалась электричеством от походной динамомашины.

В большом зале, приспособленном сейчас под столовую, офицер вышел вперед и предложил делегатам подождать.

Посреди зала стоял тяжелый ореховый стол, покрытый бе-

лой накрахмаленной скатертью. На столе, сервированном лишь на четыре персоны, были расставлены различные закуски и много бутылок с вином — генерал, вероятно, как раз собирался ужинать.

Офицер прошел в дверь, находившуюся в глубине, делегаты остались в столовой одни.

Шурка Понедилок шутливо вздохнул.

— С утра крошки во рту не было! — Он озорно поглядел на стол с закусками и выпивкой.— Может, генерал компанейского характера и предложит по рюмочке? Какой будет ему наш ответ, товарищи?

— Не гуди! — угрюмо отозвался старик Птаха, однако и сам, взглянув на бутылки, заметил: — А наклейки какие чудные, и золотые все! — Он пригляделся к высоким тонким и низеньким пузатым бутылкам с ликерами и винами.

— Не гуди, Петр Васильевич! — теперь уже его оборвал Никодим Онуфриевич и тяжело вздохнул, не отрывая глаз от бутылок.

Александр Столяров тихо засмеялся. Он тоже хотел что-то сказать, но в эту минуту дверь отворилась и вошел офицер.

— Генерал просит войти парламентеров.

Делегаты вошли.

Это был кабинет. Генерала в кабинете не было. Два офицера — один во французской форме, другой в американской — сидели по эту сторону большого кабинетного стола в глубоких кожаных креслах. На втором, большом столе, стоявшем в стороне, у окон, покрывая всю его поверхность, лежала развернутая огромная карта.

Александр Столяров взглянул на нее. Это была не карта, это был план Одессы. Синими и красными линиями и стрелками были обозначены кварталы города. Очевидно, красные линии обозначали позиции рабочих дружин.

Шурка прошептал, обращаясь к товарищам:

— Вот этот — Фредамбер, а тот, черный и толстый, американец Риггс...

Дверь в глубине кабинета открылась, и в комнату вошел высокий, осанистый, с седой шевелюрой человек в форме французского генерала. Это был д'Ансельм.

Генерал сразу же подошел к столу, остановился и, опершись о него обеими руками, немного подался корпусом вперед.

— Здравствуйте! — промолвил он, окидывая всех быстрым и высокомерным взглядом.

Александр Столяров ответил:

— Здравия желаю!

Шурка Понедилок:

— Мое почтение!

— С кем имею честь? — спросил генерал.

Александр Столяров вышел вперед и сказал:

— Мы делегация от Совета рабочих, матросских и солдатских депутатов города Одессы.

Генерал поднял одну бровь и стоял молча, опершись обеими руками на стол. Фредамбер и Риггс сидели. Выдержав паузу, генерал опустил бровь и сказал:

— Прошу прощения, но мне не было известно, что в городе существует Совет.

— Жаль!..— выскочил было Шурка, но сразу же смолк под взглядом старого Птахи.

Александр Столяров улыбнулся и сказал:

— Это не делает чести вашей разведке, генерал. Совет рабочих депутатов существует в городе Одессе с марта месяца тысяча девятьсот семнадцатого года. Две недели тому назад трудящиеся Одессы его переизбрали, как и положено по конституции...— Александр Столяров снова улыбнулся и добавил: — Под вашим высоким покровительством... но нелегально.

Никодим Онуфриевич с восхищением поглядел на сына: черт побери, он никогда и не думал, что его Сашунька такой тонкий дипломат, так свободно держит себя с аристократами и может так врезать самому французскому генералу!

Полковник Фредамбер быстро произнес:

— Генерал, конечно, шутит. Нам хорошо известно все, что делается в вашем Совете.

Галя быстро перевела.

Генерал выслушал ее внимательно, словно проверяя точность перевода и пристально разглядывая ее миниатюрную фигурку.

— Сколько вам лет, мадемуазель? — спросил он вдруг с улыбкою.

Галя пожала плечами и ответила:

— Двадцать три.

— Скажите! — удивился генерал.— А я бы не дал вам больше семнадцати. Ну, восемнадцати...

Галя не перевела этих его слов, и товарищи вопросительно смотрели на нее.

— Он спрашивает, сколько мне лет,— сказала Галя и покраснела.

Генерал добавил изысканным тоном:

— Вы так молоды, так хрупки, но— уже секретарь Военно-революционного комитета! Удивительно! Нет, правда,— обратился он к Фредамберу и Риггсу,— русские — это удивительные люди!

Фредамбер тоже задал вопрос:

— Разве в вашем Военно-революционном комитете не нашлось... революционеров из военных, которые бы взяли на себя такие, гм... специфически мужские обязанности? Наша разведка...

Галя стала переводить, но Столяров перебил ее, не дослушав:

— А наша разведка, господин Фредамбер, информировала нас, что вы чудесно владеете русским языком, потому что родились на Старопортофранковской или Базарной в городе Одессе... Поэтому, мне кажется, вы бы могли не задерживать нас и говорить по-русски.

Пока полковник Фредамбер переваривал пилюлю, а полковник Риггс что-то ворчал, гневно поглядывая на Фредамбера, Столяров добавил:

— Мы, генерал, пришли сюда не для пустых разговоров, и было бы хорошо сразу перейти к делу.

Никодим Онуфриевич снова с удовольствием поглядел на сына.

— Прошу! — холодно сказал генерал.— В чем же ваше дело?

— Перед вами, генерал,— начал Столяров,— представители трудящихся города, представители руководящих городских организаций: Совета рабочих депутатов, Совета профессиональных союзов, Революционного комитета и партии большевиков. Мы пришли, чтобы передать вам требование трудящихся.

На лице генерала появилась еле уловимая гримаса.

— Вы имеете в виду просьбу, изложенную в том меморандуме, что...

— Нет,— сказал Столяров.— Меморандум подавал только Совет профессиональных союзов и получил на него ваш ответ. Ответ этот по существу отклонил меморандум. Совет депутатов — высший орган власти в городе — обсудил ваш ответ вместе с Советом профессиональных союзов и уполномочил нас передать вам на этот раз наши требования.

Он сделал ударение на слове «требования», и по лицу генерала снова пробежала тень.

— Прошу извинить! — сказал генерал.— Вы говорите: Совет как самый высший орган власти в городе? Насколько мне известно, высшая власть в городе — это я, верховный правитель.

— Трудящиеся города вашу власть не признают,— ответил Столяров.— Трудящиеся признают единственно законную власть — власть Совета депутатов.

Генерал помолчал, потом усмехнулся и сел. Подчеркнуто вежливо он спросил:

— Вы имеете полномочия и на это — заявить мне, что не признаете моей власти?

— Имею. И надеюсь, что это не новость для вас, генерал.

— Стало быть,— генерал повысил голос,— вы сознаете, что такое заявление фактически означает... восстание против моей власти?

Столяров тоже улыбнулся.

— Какое же это восстание, генерал? Мы заявляем это, придя под белым флагом и безоружными.

С минуту генерал глядел на него молча, вероятно подыскивал ответ. Потом он спохватился:

— Так, так! Под белым флагом. Что означает этот белый флаг?

— То, что всегда означает белый флаг. Без белого флага мы бы не смогли пройти сквозь ваши пикеты.

Генерал побарабанил пальцами по столу.

— Любопытно... какие же ваши требования? — Он произнес слово «требования» с легкой иронией.

Тогда Столяров выложил все, что поручил заявить генералу объединенный пленум. Пленум требовал передать власть в городе Совету, а всем вооруженным силам интервенции оставить территорию Украинской Советской Социалистической Республики.

В полном молчании прошла минута. Генерал тихо постукивал по столу острием карандаша, случайно попавшегося ему под руку, и смотрел вниз, не поднимая глаз. Риггс с нескрываемым любопытством разглядывал каждого члена делегации. Фредамбер злобно сверлил взглядом Столярова, придерживая пальцем щеку.

Молчание прервал раскатистый бас Никодима Онуфриевича:

— Мой сын... то есть, я хотел сказать, председатель нашей делегации, забыл еще сказать: мы требуем, чтобы, уходя отсюда, вы не прихватили с собой что-нибудь из нашего добра: всякие там банковские ценности, валюту или еще что, а также и оборудование заводов или какие-либо корабли русского флота и так далее. Потому что есть у нас такие сведения, что вы начали уже сборы и имеете намерение...

Он остановился, не зная, как закончить речь, однако решил, что сказал все, и поэтому смолк, вытирая пот со лба и разглаживая усы.

Генерал поднял глаза и с любопытством поглядел на высокого коренастого старика.

— Это... ваш сын? — поинтересовался он, как будто не слышал всего, что говорил старик.

— А что ж такого? Мой сын! — с достоинством ответил Никодим Онуфриевич.

Галя перевела так: «Да, это мой сын».

Генерал сказал любезно, но иронически:

— Вы можете... гордиться вашим сыном.

Риггс с Фредамбером одновременно пожали плечами.

Галя с улыбкой перевела слова генерала.

Старик Столяров еще раз расправил усы и пробурчал:

— Это уже особ статья.

Вдруг прозвучал молодой, задорный голос Шурки Понедилка:

— Генерал! А вы не заметили, что мы до сих пор стоим? Может быть, из уважения к людям почтенного возраста, пригласите нас сесть? В нашей стране, знаете, люди вежливые и воспитанные...

Галя вопросительно поглядела на Столярова — переводить или нет? Но полковник Фредамбер сам быстро перевел генералу слова Шурки.

Генерал густо покраснел. Он снова опустил глаза, помолчал, затем произнес:

— Прошу извинить. В пылу беседы я не подумал об этом. Прошу садиться, господа.

Тогда неожиданно вмешалась и переводчица. Покраснев чуть ли не до слез, она быстро сказала что-то генералу, и слова ее, произнесенные по-французски, остались непонятными для товарищей. Пользуясь своим правом «дамы» в разговоре с «джентльменом», кто бы он ни был, она сказала д'Ансельму, сидевшему перед нею:

— Вы, генерал, были так же галантны и тогда, когда допрашивали и истязали наших товарищей?

Товарищи не знали, что сказала Галя, но они видели, как побледнел генерал д'Ансельм, как вскочил с кресла Фредамбер, как передернулось лицо ко всему равнодушного Риггса.

— Галя! — взял девушку за руку Столяров.— Спокойно!

Но Галя успела еще сказать:

— К нашим требованиям мы добавляем еще одно: немедленно освободить в городе всех политических заключенных из всех тюрем и, в частности, освободить Николая Ласточкина!

Теперь товарищи поняли Галю и без перевода. Старик Столяров, старый Птаха и Шурка Понедилок откликнулись сразу:

— Немедленно освободите Николая Ласточкина!

Долго длилось молчание. Генерал барабанил карандашом по столу.

После длинной паузы генерал д'Ансельм спросил:

— А в случае, если мы не примем ваших... гм... требований, чем вы угрожаете нам?

Александр Столяров ответил спокойно:

— Ничем. Мы уверены, что вы удовлетворите наши законные требования.

— Хо! — фыркнул Риггс.

Фредамбер злобно и насмешливо отозвался:

— Ну как же! У вас вооруженные силы! Наступление Красной Армии! Действие партизанских отрядов! Рабочие дружины в городе! Сколько полков Красной Армии наступает с запада?

— Это военная тайна Красной Армии,— спокойно ответил Столяров.

— А сколько бойцов в ваших рабочих дружинах?

— А это уже... наша военная тайна,— проговорил он так же спокойно.

Фредамбер злобно фыркнул, но не успокоился и начал подсчитывать, загибая пальцы:

— В партизанском отряде Тилигуло-Березанского района — семьсот штыков, в Визерском партизанском отряде — триста штыков и пятьдесят сабель, в отряде Столярова... Кстати сказать, это тоже ваш родственник?

Александр Столяров обратился к генералу д'Ансельму:

— Генерал! Ваш начальник штаба использует разговор с мирной делегацией для того, чтобы выведать, сколько у противника вооруженных сил. Я солдат и знаю, что это нарушает правила ведения мирных переговоров. Я заявляю протест!

Генерал недовольно взглянул на Фредамбера:

— Полковник! — поморщился он.— Оставьте это! Не об этом речь!

Задергав обеими щеками, Фредамбер смолк.

Генерал заговорил:

— Вы действительно разложили половину моей армии. Было бы смешно скрывать, вы прекрасно знаете, что мне это известно... Но вы забываете, господа, что другая половина армии попрежнему мне верна. Кроме того, на рейде стоит эскадра, ее артиллерия сметет город с лица земли за два-три часа, если возникнут беспорядки. Вам это понятно?

Он остановился, ожидая ответа, и по очереди поглядывал на делегатов. Все члены делегации ответили по очереди.

— Мы пришли к вам с мирными предложениями,— сказал Столяров,— так как не хотим кровопролития ни с нашей, ни с вашей стороны.

— Береговая артиллерия тоже умеет стрелять, генерал,— проговорил Шурка Понедилок.— Или вы этого не знаете?

Старый Птаха:

— Неизвестно еще, станут ли стрелять ваши матросы.

Старик Столяров:

— Не дойдет до этого!

Галя:

— Если вы это сделаете, то будете отвечать перед революционным пролетариатом Франции!

— Ну, это уж мое дело,— ответил генерал только Гале.

Он решительно поднялся. Делегаты тоже встали. Было ясно: разговор окончен. Сейчас генерал скажет свое последнее слово.

И генерал сказал:

— Я не могу принять вашего ультиматума, господа. Я имею приказ высшего командования не оставлять Одессу и должен его выполнять.

— Это ваше последнее слово, генерал?

Генерал не ответил.

— Можете идти спокойно,— продолжал он.— Вашу личную безопасность, как парламентеров, я гарантирую. Прощайте!

Делегаты повернулись и пошли к двери. Кабинет был огромный, и каждый из них чувствовал на своей спине пронзительные взгляды трех пар глаз. Все трое — генерал, Риггс и Фредамбер — молчали.

Только когда последний делегат скрылся за дверью, Риггс пробурчал, обращаясь к генералу д'Ансельму:

— Что касается ваших скульптурок, генерал, то советовал бы вам хорошенько их запаковать и своевременно перевезти на броненосец, например на дредноут «Эрнест Ренан». Кажется, это самая мощная посудина во всей вашей эскадре?..

4

Чемоданов было двадцать два — двенадцать больших кофров и десяток саквояжей,— и надо было решить, что с ними делать.

Мосье Энно потеребил усики, которые сегодня почему-то никак не хотели торчать вверх, а все обвисали книзу, и предложил:

— Мон ами! Неудобно везти все это на машине консульства: еще чего доброго подумают, что мы удираем!.. Это будет совсем недипломатично... Я думаю, лучше нам обойтись собственными силами. В нашем распоряжении Мими, Жюль и Андре. Им охотно за сотню франков помогут Жора, мадемуазель Фанни, мосье Жорж, мадам Мурзиди и папаша Володарь-Курбский. Н-эс-па?

Мими — это была камеристка мадам Энно, Жюль — лакей, Андре — шофер; они прибыли с мосье и мадам Энно из Франции в составе технического персонала консульства. Все остальные были одесситы, так сказать вольнонаемный персонал. Мадемуазель Фанни работала теперь у мадам Энно штатной маникюршей, мосье Жорж — штатным парикмахером. Мадам Энно пообещала взять их с собой в центр европейской цивилизации — Париж, и это определило судьбу бывших киевских куаферов. Собственница меблированных комнат мадам Мурзиди, предвидя неминуемые метаморфозы в общественной жизни и лелея надежду получить место бандерши в каком-нибудь парижском лупанарии, заблаговременно устроилась к госпоже Энно кастеляншей. Жора — бывший буфетчик ресторана «Лондонского» отеля — по таким же соображениям и с такими же расчетами, к тому же и по поручению неких высших инстанций по рекомендации ресторатора Штени, воцарился на посту метрдотеля при французском консульстве. Что касается

отставного полковника князя Володарь-Курбского, то он тоже расстался с профессией чистильщика сапог, которую избрал было в знак протеста против нового социального режима в России, и — с расчетом обрести возможность перебазироваться за пределы неуютной для него родины — принял на себя обязанности шефа консульской кухни, пустив в оборот свои обширные знания в области гастрономии и свою дореволюционную славу непревзойденного гурмана.

Итак, все поименованные лица составляли корпус слуг консула с особыми полномочиями и, ясное дело, были всей душой преданы мосье и мадам Энно.

И все же предложение мосье Энно не вызвало энтузиазма у мадам.

— Ну, и что же? — спросила мадам Энно.

В ее всегда капризном голосе звучали сейчас нотки неприкрытого воинствующего сарказма. Ясно было одно: что бы ни предложил сейчас мосье Энно, она все равно будет против.

Они стояли — мосье и мадам Энно — посредине большого салона резиденции, во внутренних покоях Воронцовского дворца, и все вокруг них представляло собой картину живописного беспорядка. Штофные портьеры свисали с одного крюка, шелковые маркизы были и совсем сорваны, тюлевые шторы скомканные валялись на диванах. Мадам Энно собиралась было все это тряпье тоже запаковать. Но чтобы запаковать все убранство и все украшения — все эти персидские ковры, брюссельские кружева, украинские вышивки, уральские самоцветы и палехский лак,— необходимо было по меньшей мере десятка четыре больших сундуков. В двенадцать кофров и десяток саквояжей вместилось только столовое серебро, чайный фарфор, золото, драгоценные камни и валюта. Мадам Энно рыдала с самого утра, три раза с ней была истерика, и два раза она падала в обморок. И все же к вечеру пришлось примириться с фактом, что из всего «нажитого» здесь за пять месяцев добра посчастливится захватить с собой только самое ценное и наиболее портативное. Брать разрешалось только то, что могло поместиться в двухместную каюту.

— Я думаю, мон анж,— вкрадчиво и нежно, предчувствуя новый порыв семейной бури и всеми силами стараясь его предупредить, пролепетал мосье Энно,— они просто возьмут эти чемоданы и прямо понесут в порт, а потом на дредноут...

— Дурак! — взвизгнула мадам Энно и затопала ногами.

Мосье Энно грустно поник головой и стал искать нашатырь. Но мадам швырнула флакон с нашатырем в дальний угол и грозно двинулась на мосье.

— Просто возьмут и прямо понесут? — Она надвигалась на мужа, загоняя его за канапе.— И этакого идиота назначили консулом с особыми полномочиями! Да что ты, бабник, понимаешь в дипломатии?

Вопрос был уместен, но мосье Энно не сразу сообразил, какая же прямая связь между этим вопросом и самой темой беседы.

— Ах! — наконец, догадался он, отгораживаясь на всякий случай тяжелым ореховым креслом.— Ты думаешь, что для семерых человек это будет слишком тяжело? Ты думаешь, они не осилят?

— Идиот! — заверещала мадам.— В каждом чемодане миллион! Они украдут их по дороге!

— Ну! — солидно возразил мосье Энно, найдя себе, наконец, безопасное место за дубовым секретером.— Что ты, мон анж люминье! [1] Зачем им миллионы, когда для каждого из них самое дорогое — это то, что мы их возьмем с собой во Францию? Они наичестнейшие люди!

Аргумент был убедительный. Мадам Энно примолкла, но заметила довольно резонно:

— Но ведь мы не собираемся брать их с собой во Францию!

— Ах, мон анж люминье э клер [2], это ты ничего не понимаешь в дипломатии! Мы же им скажем об этом только после того, как они перенесут наши чемоданы на дредноут.

Против этого совсем уже ничего нельзя было возразить: консул Франции действительно был дипломатом и в полной мере оправдывал свои высокие полномочия.

Впрочем, у мадам Энно все-таки нашлось, что сказать:

— А эта... как ее... актриса?

Консул Энно развел руками.

— Но, мон анж, ведь неудобно просить королеву экрана помочь поднести нам чемоданы? И к тому же ее физических сил будет мало, чтобы поднять такой груз. Ведь каждый из этих чемоданов весит самое меньшее...

— Я не об этом! — заорала мадам.— Я о том, что ты все-таки ухитрился сунуть ей заграничный паспорт!

Консул Франции придвинул к секретеру еще и небольшой сервант из-под фарфора.

— Но, мон ами, ты же знаешь, она не соглашалась больше выполнять наши поручения... Она не хотела... пока у нее не будет визы на руках.

Мадам Энно швырнула диванной подушкой, но промахнулась. Подушка только сбила со стенки бра, и мосье Энно обсыпало плечи мелкой стеклянной крошкой от разбитого китайского абажурчика.

— Но,— поспешил заявить мосье Энно,— я, безусловно, дам распоряжение, чтобы ее не пустили на наш дредноут.

— Кретин! — даже задохнулась мадам.— Плевала она на твой дредноут! С паспортом на руках она может устроиться на

---

[1] Мой сияющий ангел *(франц.)*.

[2] Мой ангел, сияющий и ясный *(франц.)*.

какой угодно корабль... Она не поедет во Францию! — завизжала мадам.

Мосье Энно поник за своей баррикадой. Он тоже не хотел бы, чтобы Вера Холодная попала во Францию. У мадам, конечно, говорила глупая женская ревность. Но у мосье были более веские причины. Попав в Париж, актриса может найти дорожку не только в артистический круг, но и в министерства... Знаменитая киноактриса весьма подробно ознакомилась со сценарием всей эпопеи Антанты в Одессе. Разве ей трудно будет воспроизвести перед мировой общественностью широкую картину американо-англо-французской оккупации? Консулу Франции не только перед мировой общественностью, но и перед Сюрте женераль, трудно будет опровергнуть кое-какие факты, которые могут легко сорваться с ее язычка... Ясное дело, было бы куда лучше, если бы актриса действительно не поехала в Париж. Нет, нет! Она не должна ехать ни в коем случае!..

— Как же это сделать, мон анж? — вкрадчиво спросил мосье Энно.— Вот если бы ты могла что-нибудь придумать...

— Я уже придумала! — решительно заявила мадам Энно и так же решительно поднялась с дивана.— На войне как на войне — так, кажется, говорит этот остолоп ваш генерал!

Она вынула ладонку из-за декольте.

Мосье Энно побледнел и задрожал.

— Ты... ты думаешь... Муся, что...

Мадам Энно отстегнула ладонку от золотой цепочки и протянула ее мосье Энно.

Мосье Энно попятился. Но позади была уже стена.

— Немедленно! — прикрикнула на него мадам.— Ведь она может сегодня же ночью пробраться в каюту!

В ладонке был кураре. Два кристалла — мгновенная смерть. Один кристалл — смерть не позже как через полтора-два часа от паралича миокарда. Мадам Энно надела на себя эту ладонку еще в Париже, на случай если бы в далеком путешествии встретилась непреодолимая опасность для ее чести и жизни. Эта ладонка в декольте на золотой цепочке дала ей немало утешения в парижских салонах перед выездом: мадам Энно показывала ее каждому, хвастаясь, на какой риск она идет, пускаясь с мужем в небезопасное — во имя высокой миссии! — плавание в страшную страну большевиков. Кроме того, во время ссор с мужем она грозила ему, что отравится, и таким дипломатическим способом всегда добивалась своего.

— Но... как же это... сделать? — прошептал, запинаясь, бледный консул.

Мадам Энно небрежно пожала плечами.

— Я пошлю сейчас Мими. Мы попросим актрису забежать к нам на минутку, выпить бокал цимлянского на дорогу. В бокал ты бросишь один кристалл. И она сразу уйдет. А потом... Какое нам дело, что будет потом?..

Вера Холодная пришла за полчаса до отъезда, как раз в ту минуту, когда семеро верных людей консула Франции в их фантастической надежде попасть за границу тащили двадцать два его чемодана. Актриса тоже торопилась: оставить берега отчизны она собиралась не позднее утра, а вещи у нее еще не были уложены. Прощальный бокал — «посошок на дорогу» — они выпили вместе, стоя и мило улыбаясь, посреди опустошенного салона резиденции.

Умерла актриса через полтора часа — у себя в номере отеля. Вскрытие тела не установило причины внезапного паралича миокарда: кураре, яд американских индейцев, был мало известен одесским прозекторам.

5

Утром очередной номер единственной теперь в Одессе газеты — «Известий Совета рабочих депутатов» — вышел с аншлагом:

«С восьми часов вечера объявлена всеобщая забастовка. Грозной, дисциплинированной силой должен показать себя одесский пролетариат в этот ответственнейший момент. Полное подчинение Совету рабочих депутатов и его полноправному исполнительному органу — президиуму Исполкома!»

В номере было помещено также несколько приказов.

Приказ № 2:

«Оперативный штаб военного отдела Совета рабочих депутатов предлагает всем морякам, железнодорожникам, грузчикам и другим работникам, обслуживающим контрреволюционные — добровольческую и союзную — армии, немедленно после опубликования этого приказа прекратить работу».

Приказ № 3:

«Всем работающим на оборону, рабочим артиллерийских мастерских, рабочим, изготовляющим вооружение, всем работающим на ремонте железнодорожного транспорта, рабочим автомастерских, работникам, занятым на доставке врагу продовольствия, фуража и т. п., предлагается немедленно прекратить работу вплоть до специального распоряжения».

Приказы были изданы на основании решений Военно-революционного комитета при Совете рабочих депутатов...

Прогудел долгий и тревожный гудок авиазавода Анатры — и трансмиссии в его цехах сразу замерли. Десятками тревожных гудков откликнулись со всех концов города, с территории железной дороги — паровозы,— и всякое движение на всей пригородной сети немедленно прекратилось. Захрипели гудки пароходов, пронзительно завизжали сирены катеров — и поверхность всех пяти гаваней вдруг сделалась зеркальной: ни одно судно не бороздило ее своим винтом.

Город бастовал по призыву Совета рабочих депутатов —

единственного органа власти, который признавали одесские пролетарии.

Это еще не было восстание. Это был ультиматум в действии.

Совет рабочих депутатов — все еще нелегальный — тем временем перебазировался в рабочий район: на Старопортофранковскую, в помещение Народной аудитории. Охрану его несли отряды имени Старостина и Морского райкома — теперь уже в полном боевом порядке, тремя цепями, по улице и в переулках. Из расщелин окрестных улиц, из лабиринта приморских переулков, из проходных дворов по одному, по двое и целыми группами появлялись вооруженные люди, проходили сквозь цепи и немедленно тут же на месте группировались во взводы, сотни и батальоны. С собственным оружием, с собственным боеприпасом, добытым неведомо где и когда, со всех концов города — от железной дороги, с Чумки, с Ближних и Дальних Мельниц, с Фонтанов, рыбацких причалов, портовых эллингов, из пересыпских заводов — отовсюду стекались, пробиваясь сквозь французские и белые пикеты, одесские рабочие. К вечеру рабочая дружина имени Старостина была переформирована в рабочий полк имени Старостина; дружина Морского райкома стала Морским батальоном, а общая численность бойцов в батальонах Совета составляла уже две тысячи штыков.

Заседание пленума Совета вместе с делегатами от всех заводов проходило беспрерывно днем и ночью.

С каждого предприятия прибывал представитель, информировал о ходе забастовки и заканчивал сообщением о готовности его коллектива получить оружие и принять участие в вооруженном восстании. Совет сразу же выносил решение по каждому предприятию.

Вечером отчитывались представитель железной дороги, представитель грузчиков порта и представитель матросов кораблей русского торгового флота.

Представитель железнодорожного узла машинист Куропатенко доложил: бастуют все железнодорожники, стоят все паровозы, остановились все мастерские. Эшелон с воинским снаряжением, который французы грузили сами и отправили со своим обслуживающим персоналом на станцию Сербка, на пятом километре пущен под откос вместе со всем снаряжением. Солдаты обезоружены.

Пленум одобрил действие железнодорожников дружными аплодисментами.

От имени грузчиков порта отчитывался Петро Васильевич Птаха.

Грузчики забастовали все как один человек. Однако как раз в ту минуту, когда масса грузчиков двигалась к выходу с территории порта, прибыл приказ генерала д'Ансельма — немед-

ленно разгрузить два американских парохода с артиллерийскими снарядами. Пароходы стояли у причала Военного мола. Бои на фронте под Сербкой, на Бахмачской железнодорожной линии, и под Раздельной, на линии Киевской, нарастали с каждой минутою, и фронтовая артиллерия нуждалась в пополнении огневого довольствия. Грузовые машины, присланные за снарядами, уже длинной вереницей выстроились вдоль порта. Грузчикам приказывалось немедленно возвратиться к разгрузочным механизмам, за отказ грозили расстрелом. Но грузчики отказались.

Зал Народной аудитории снова загремел аплодисментами.

Но старый Птаха еще не закончил.

Приказ генерала д'Ансельма имел и вторую часть: если докеры все-таки откажутся разгружать пароходы, то французским солдатам портовой охраны предписывалось немедленно встать к машинам, а докеров взять в пулеметное кольцо... Докеры не стали слушать приказ до конца. Они бросились назад к причалам и тут же на глазах растерявшейся французской охраны попортили разгрузочные механизмы. Пулеметчиков, намеревавшихся окружить их, докеры разогнали, а пулеметы у них отобрали. После этого с пением «Врагу не сдается наш гордый «Варяг» докеры тысячной толпой двинулись из порта. Многие из них с оружием, добытым у французской охраны, идут теперь сюда, к штабу восстания, пробивая себе путь сквозь французские пикеты.

Дружное «ура» встретило сообщение представителя героических одесских докеров.

Теперь фронтовая французская артиллерия оставалась без огневого довольствия. Пусть французские пуалю потаскают двенадцатипудовые ящики со снарядами на собственных плечах, если, конечно, у них будет охота.

О матросах судов Русского торгового флота информировал Александр Понедилок.

Матросы тоже бастовали. Они сошли на берег и разбежались кто куда. Пароходы, на которые грузилась, удирая из города, буржуазия, были оставлены командами. Французское командование спешно перебросило на транспорты «Кронштадт» и «Кавказ», на которых должны были эвакуироваться авиационный парк, кадетский корпус, институт благородных девиц, штабы и учреждения белой армии,— матросов с деникинских военных кораблей. Тогда по распоряжению штаба Морского райкома специальные группы матросов-большевиков возвратились на некоторые пароходы, открыли кингстоны и затопили трюмы и кочегарки. В результате этого пароход «Вече», предназначенный французским командованием для эвакуации одесской буржуазии, затонул под волнорезом. Пароход «Великая княжна Ксения», а за ним и еще несколько вздыбились посреди гавани, корма пошла под воду, а нос поднялся вверх

перпендикулярно. Морской райком решил затапливать суда именно таким способом — наполовину, чтобы немедленно, как только власть перейдет в руки Совета, поднять корабли и поставить их на службу советским морским силам.

— Ура! — приветствовали участники пленума и сообщение представителя красных матросов.

Однако у Шурки Понедилка было еще одно сообщение. Он попросил разрешения зачитать последние известия с искрового телеграфа корабля «Граф Платов».

Вот какие это были новости.

Докеры Франции — в портах Гавре, Шервуде и Марселе, докеры Англии — в портах Портсмуте, Лондоне, Ливерпуле, откуда шло снабжение вооружением и военным снаряжением интервентских армий Антанты на севере, востоке и юге России, отказываются грузить оружие для «грязной» войны. Мужественные докеры Франции и Англии бастуют во имя международной солидарности пролетариата и выступают с протестами против контрреволюционной интервенции. Рабочие организации Франции, Англии и Соединенных Штатов Америки создают «комитеты действия» под лозунгом «Руки прочь от России!»

Члены пленума поднялись, и в зале Народной аудитории загремел «Интернационал».

Была ночь. Пленум заседал нелегально. Вокруг — на улице и в переулках — тремя цепями лежали чуткие бойцы. Настороженная тишина нависла над предместьем. Но окна зала Народной аудитории были по-весеннему широко открыты, и мелодия пролетарского гимна полилась в темноту ночи. Ее подхватила охрана у здания, потом пение волною покатилось от третьей цепи ко второй, от второй к первой. Бойцы лежали в кюветах вдоль тротуаров, за каменными оградами, прямо на мостовой, пристально всматриваясь в ночной мрак, и пели «Интернационал».

Город тонул во мгле. Над городом нависла тревожная тишина. Но город слышал: издалека, с рабочих окраин, доносилось могучее пение «Интернационала»...

Французские и белые патрули испуганно озирались, прятались в темноту, за стены строений, и понемногу, пятясь назад, отступали все дальше от таинственных и грозных окраин, ближе к центру города, к кварталам ставки командования, к порту, к морю — к огням эскадры, мерцавшим на Большом рейде.

Пленум постановил: послать к генералу д'Ансельму вторую делегацию, которая поставила бы точки над «i».

Делегация села в машину — в собственную машину генерала д'Ансельма, которую, захватив в гараже вместе с шофером, только что пригнали бойцы из дружины имени Старостина — и поехала не спеша через весь город. Фары освещали

сбитых с толку, перепуганных патрульных: по городу ехала машина генерала д'Ансельма, а на радиаторе ее в свете фар трепетал большой красный флаг...

В составе делегации на этот раз были Александр Столяров, Александр Понедилок и Галина Мирошниченко.

6

Машина беспрепятственно миновала все пикеты и заставы и остановилась перед подъездом особняка. Шурка Понедилок гулко и протяжно протрубил в клаксон.

В ту же минуту в подъезде показался офицер. Это уже был не вчерашний старик капитан, а юркий молоденький лейтенантик. Не ожидая заявлений от прибывших, он поспешно сообщил, что генерал готов немедленно принять делегацию от Рабочего Совета.

Бенгальцы развели штыки, вытянулись и взяли на караул, и офицер побежал вверх по лестнице впереди делегатов.

Когда делегаты вошли в кабинет, из-за стола поднялся им навстречу генерал д'Ансельм. Риггс, как и вчера, сидел в кресле перед столом. Полковник Фредамбер стоял в стороне, у телефонного аппарата.

— Добрый вечер, друзья! — учтиво улыбаясь, приветствовал генерал делегацию.— Вот мы и встретились снова. Мы с вами ведем совсем нездоровую жизнь: ночью надо спать, а мы, — он развел руками и еще раз галантно улыбнулся,— как видите, утомляем себя по ночам... Прошу садиться.

С учтивой улыбкой, стоя, он ждал пока делегаты сядут.

Когда все сели, генерал сказал:

— Итак, вы прибыли, чтобы продолжить вчерашнюю беседу?

Столяров ответил:

— Нет, генерал. Вчерашнюю беседу мы считаем исчерпанной. Мы поставили вам требования, вы их не приняли. Теперь каждый из нас делает то, что считает необходимым делать. Вы воюете на фронтах. Мы проводим всеобщую забастовку. События, надо полагать, пойдут своим чередом. Сегодня мы прибыли к вам, надеюсь — в последний раз, чтобы договориться о некоторых деталях в ходе дальнейших событий, имеющих значение не столько для нас, сколько для вас. Прежде всего мы хотим выяснить — сколько вам необходимо времени для эвакуации?

— Для эвакуации? — почти вскрикнул генерал.— Сколько времени? Стало быть, вы думаете, что я действительно решил... эвакуироваться отсюда?

Столяров спокойно ответил:

— Это решил за вас наш народ.

Генерал глядел на Столярова, наливаясь кровью. Но Столяров закончил так же спокойно, как и начал.

— Мы считаем излишним снова возвращаться к дискуссии по поводу этого вопроса. Мы сейчас интересуемся не вашим решением, а сроками эвакуации. Дело в том, что пребывание здесь частей вашей армии тормозит развертывание нормальной работы Совета и его деловых учреждений: снабжения населения продовольствием, налаживания работы предприятий, ликвидации безработицы, бандитизма... Поэтому мы прежде всего и заинтересованы в том, чтобы эвакуация армии интервентов осуществилась как можно быстрее.

Генерал молчал. Он уже не был багровым. За время длинной речи Столярова все оттенки красок успели смениться на его лице. Сейчас он сидел совершенно желтый, будто окаменев. Столяров ожидал ответа, но генерал молчал. Он глядел поверх головы Столярова куда-то в стену, упершись застывшим взглядом в какое-то пятнышко на барельефе под потолком, и молчал.

Молчание нарушил Риггс.

Он сказал, не скрывая ненависти во взгляде и злобного шипения в голосе:

— И... и сколько бы вы определили на эту... процедуру? Эвакуацию?

— Двое суток.

— Хо!

Риггс фыркнул, хотел было что-то сказать, но сдержался, только сжал подлокотники кресла так, что побелели пальцы.

Генерал д'Ансельм молчал.

— А вы думали, сколько? — отозвался со своего места Шурка Понедилок.

Риггс передернул плечами, буркнул что-то себе под нос, перекинул ногу на ногу, расправил складки бриджей на коленях, снова переменил ногу, наконец овладел собою и заговорил почти спокойно:

— Во-первых, практически: мы вовсе не собираемся выезжать отсюда. Во-вторых, теоретически: если бы зашел разговор об эвакуации армии такого размера, с сотнями артиллерийских орудий, танков, автомашин и другого снаряжения, то понадобилось бы... понадобилось бы... не менее месяца, чтобы осуществить такую сложную операцию.

— Двое суток! — отрубил Столяров.

Генерал вспыхнул:

— Похоже на то, что вы... выгоняете нас отсюда?

— Генерал,— спокойно сказал Столяров,— мы не приглашали вас сюда.

Генерал взмахнул рукой, видимо от душившей его злобы у него появилась необходимость сделать резкое движение, и собирался грохнуть кулаком по столу; но в эту минуту пол-

ковник Фредамбер, оставив телефонный аппарат, подошел сзади и склонился к генералу через плечо. Рука генерала так и повисла в воздухе, он слушал, что говорил ему начальник штаба. Руку генерал, правда, сразу же опустил, но глаза его теперь впились в телефонный аппарат, находившийся на столике в углу,— трубка лежала не на аппарате, а подле него. Фредамбер не окончил разговора по телефону, и трубка, видимо, ожидала генерала.

Вначале генерал слушал рассеянно, потом взгляд его сосредоточился, а лицо напряглось, затем глаза его тревожно забегали, и, наконец, генерал поднялся с кресла.

Он сделал движение к телефонному аппарату, но остановился и обратился к делегатам:

— Э... э... э... Прошу прощенья, господа! Я должен взять трубку аппарата...— Он добавил сухо, но учтиво: — Разговор оперативный... Вы окажете мне любезность, если на минутку выйдете и подождете в соседней комнате.

Он нажал кнопку звонка. Вошел капитан Ланжерон, и генерал сказал:

— Проведите господ делегатов в салон. Я скажу вам, когда можно будет возвратиться.

7

На проводе был командующий участка фронта, находившегося против станции Сербка,— последнего, ключевого узла перед Одессой. Этот участок решал теперь судьбу города, а вместе с ним и тех территорий Юга, где сейчас сгрудилась семидесятитысячная армия интервентов.

Станцию Сербку французское командование решило не сдавать ни в коем случае, и туда были брошены все основные силы боевых частей и боевой техники. Сербку штурмовали уже не партизанские отряды, а регулярные части Красной Армии. Но взять Сербку с севера было невозможно. Силам обороны благоприятствовал здесь ландшафт местности: каждая пядь земли, по которой наступали красные части, простреливалась перекрестным огнем пулеметов и орудий интервентов.

Генерал был совершенно спокоен за Сербку. И вдруг...

Не дожидаясь, пока делегаты скроются за дверью, генерал поспешил к аппарату.

У генерала сегодня и без Сербки было чертовски много хлопот. Забастовка парализовала весь город и остановила подвоз к фронту снарядов и людских резервов, в то время как Красная Армия стремительно наступала и находилась уже в тридцати — сорока километрах от города. Партизаны — так те просто обнаглели: Тилигуло-березанский и Визерский отряды объединились с береговым отрядом Столярова и вышли на

северный берег Дофиновского лимана. Они разгромили батальон мальгашей; батальон только что прибывших бенгальцев они тоже разгромили, а батальон черных сенегальцев сдался на милость победителя. Чего доброго, эти партизанские головорезы ворвутся завтра в Одессу! А тут еще эта Сербка...

Генерал схватил трубку и закричал:

— Я, командующий, слушаю вас!

Отступая от Березовки к Сербке, французские арьергарды разрушали за собою железнодорожную линию. Это не давало возможности действовать красным броневикам, затрудняло подвоз резервов, снарядов и снаряжения для большевистских частей. Разрушение железнодорожной линии проводилось самым тщательным образом: рельсы рубили специальными рельсорубными машинами каждые пять метров; насыпь взрывали в двух местах на каждом километре. И все-таки, как только закрепились французские части на новых позициях, под Сербкой, красные бронепоезда неожиданно появились на изрубленной и уничтоженной, казалось навсегда, железнодорожной линии и начали планомерный обстрел французских позиций... Французская авиационная разведка установила: население всех сел, расположенных вдоль железнодорожной линии, сошлось к железной дороге — по нескольку тысяч людей на каждый километр. И с самолетов железнодорожное полотно выглядело как беспрерывная живая цепь: люди работали на восстановлении железной дороги дружно, плечо к плечу. А вокруг — на полях и угодьях — копошилось народу еще в два раза больше: это подвозили балласт и готовили другие материалы. За трое суток была проложена новая железнодорожная линия протяжением самое меньшее в тридцать километров.

И красные батальоны пошли на штурм станции Сербка.

Шквальный огонь артиллерии остановил наступление. Наступлению красных частей препятствовало еще и то, что мост через бурливый в весеннее половодье поток Тилигулку французы тоже взорвали,— ни броневики, ни пехота, ни кавалерия не могли переправиться с северного на южный берег.

Теперь, за взорванным мостом, французы и греки чувствовали себя как у Христа за пазухой. Наступление красных частей было остановлено по меньшей мере до конца половодья, то есть недели на две, а за это время можно было осуществить другие обходные операции. Итак, дело обороны Одессы от фронтального наступления красных частей — как пришло к выводу французское командование — было разрешено окончательно. Теперь оставалось покончить с отдельными партизанскими отрядами, которые действовали по эту сторону Буга, общей численностью в каких-нибудь четыре-пять тысяч бойцов. Для армии в семьдесят тысяч штыков, оснащенной могучей техникой, это было делом не слишком сложным. После этого

генерал д'Ансельм собирался осуществить внезапный прыжок на север: возвратить себе весь утраченный одесско-николаево-херсонский плацдарм, закрепиться на нем и, систематически получая свежие подкрепления, развивать наступление дальше на север — кто его знает, быть может, до самой Москвы...

Вот что значила в эту минуту станция Сербка!

И вот что услышал генерал д'Ансельм по прямому проводу со станции Сербка.

Говорил с генералом не командующий этим участком фронта полковник Жанвье: полковник Жанвье был только что убит. Рапорт исходил и не из штаба командования фронтового участка. Штаб участка этого фронта был только что взят в плен большевиками. Докладывал генералу саперный капитан Бургасон — единственный офицер из офицерского состава роты 15/2 Седьмого саперного полка, оставшийся по эту сторону.

Станцию Сербка только что захватили красные полки.

Остановившись перед взорванным мостом, командование бригады Красной Армии решило мост отстроить. Без необходимой мостостроительной техники, да еще в половодье, это была задача технически невыполнимая. Но командование снова бросило клич по окрестным селам — и все села, только что закончившие восстановление железнодорожной линии Березовка — Сербка, немедленно откликнулись. Десятки сел до последнего человека вышли на строительство. Вышли мужики, бабы, старики, вышли даже женщины с младенцами на руках. Крестьяне шли пешком за двадцать и тридцать километров, а за пешеходами тянулись кони и волы, собранные по селам. Они тащили тяжелые подводы, груженные досками, бревнами — теми «колодами», которые найдутся в каждом украинском селе, где-нибудь на площади, около церкви или у школы, и на которых отсиживаются старики, ведя свои бесконечные беседы, или поют песни, собравшись веселой группой, девчата и парубки. Этого строительного материала хватило бы настлать мосты не только через Тилигулку, но даже через Буг и Днепр. Топор и пила были единственными инструментами на строительстве. Но топоров и пил были тысячи. Старики тесали, бабы подносили, мужики забивали сваи, парни ловкими верхолазами перебрасывались со стояка на стояк, с арки на арку и настилали толстые дубовые помосты. Французская артиллерия быстро пристрелялась по строительству. Снаряды падали в воду, снаряды сбивали с арок смельчаков, снаряды превращали в щепы только что настланный помост, но на место одного смельчака сразу же появлялось десять других, на месте разбитого пролета вырастало два новых. Несмолкаемая канонада грохотала точно гром в тропический ливень, и беспрерывные вспышки от выстрелов и разрывов заливали все дрожащим сиянием. Но строители стучали топорами

и гукали долбнями, забивая сваи в илистое дно потока и затопленный половодьем прибрежный луг.

За два дня и три ночи мост был наведен.

Но напрасно французы приготовили десятки пушек и сотни пулеметов, чтобы встретить свинцовой завесой новую атаку красных частей.

Атаки не было.

Командование Красной Армии пошло на хитрость. Небольшой ударный отряд, состоящий из двух десятков бойцов, под покровом ночи, прижимаясь к настилу моста и замирая на месте при каждой вспышке орудийного выстрела, переправился на французский берег и обошел станцию с тыла. Пластуны перерезали все телеграфные и телефонные провода — вот потому-то в течение десяти часов и не было связи между Сербкой и Одессой; капитан Бургасон и сейчас говорил по телефону из Буялика — за пять километров от Сербки. После этого восемнадцать смельчаков — потому что двое уже пали в бою — бросились в самый центр размещения вражеских сил, на станцию, где стоял штаб участка фронта. Командующий был убит выстрелом из нагана, половина штабистов полегла от разрывов ручных гранат, остальные подняли руки. Стрельба в самом центре вражеского расположения породила панику на всем участке. Франко-греческие части, бросая оружие, заметались; не видя противника, они не знали, кому сдаваться в плен. Вся артиллерия участка внезапно замолчала.

Вот тогда-то красная конница, а за ней и красные пехотинцы бросились в атаку. Вслед за красноармейцами побежала через мост и вся многотысячная толпа крестьян-строителей с топорами и долбнями.

Конники и пехотинцы смяли первую цепь, пытавшуюся еще оказать сопротивление. И тогда многотысячный франко-греческий заслон с криками: «Же сюи больсевик!», «Вив ля революсьон!» [1] — поднял руки...

Командир роты капитан Бургасон во-время бежал и имел возможность рапортовать теперь генералу д'Ансельму о полном разгроме многотысячного заслона и о взятии красными станции Сербка.

Генерал упал в кресло, подставленное ему Фредамбером, и простонал в трубку:

— Полковник Жанвье, я разжалую вас в рядовые...

Генерал говорил с капитаном Бургасоном, но ему почудилось, что разговор происходит с полковником Жанвье, на которого он возложил ответственность за операцию под станцией Сербка...

Тонкий голосок, всхлипывая, ответил генералу из телефонной трубки:

---

[1] Я большевик! Да здравствует революция! *(франц.)*

— Полковник Жанвье убит, генерал... Докладывает капитан Бургасон... Я остался один...

— А!..— простонал генерал д'Ансельм.— Капитан Бургасон... я произвожу вас в чин полковника...

Капитан, а теперь уже полковник Бургасон, не ответил генералу ничего...

8

Делегации пришлось долго ожидать в соседней комнате. Прошло не менее часа, пока, наконец, на пороге появился капитан Ланжерон и пригласил делегацию в генеральский кабинет.

К удивлению, в кабинете теперь было не три, а пять человек. Кроме генерала д'Ансельма, полковника Фредамбера и полковника Риггса, сидели еще двое в штатском. Один из них был знаком членам делегации — это был председатель городской думы инженер Брайкевич. Второй — в смокинге и мягкой черной шляпе, которую он нервно мял в руках,— был неизвестен.

Генерал сидел за своим столом в глубокой задумчивости. Он даже не пошевелился, когда вошли Столяров, Понедилок и Галя.

— Садитесь, господа! — предупредительно пригласил Фредамбер.

Галя и Понедилок сели.

Столяров спросил, глядя на неизвестного в смокинге и черной шляпе, которая шевелилась под его нервными пальцами, как будто внутри, в тулье, спрятался котенок и никак не мог выбраться оттуда из-под широких полей.

— Извините, я бы хотел знать — кто будет присутствовать при нашем дальнейшем разговоре?

— Это,— указал Фредамбер на Брайкевича,— мэр города, председатель думы мосье Брайкевич...

— Мы знакомы,— буркнул Брайкевич.

Столяров кивнул. Он действительно знал Брайкевича. Когда-то, по возвращении Александра Столярова с фронта в родной город, сразу же после бегства немецких оккупантов, еще до того, как большевики снова ушли в подполье, Александру Столярову пришлось выступать на одном митинге против кадета Брайкевича.

— А это,— представил Фредамбер,— генерал Шварц, генерал-губернатор Одессы, принявший командование частями добровольческой армии от генерала Гришина-Алмазова.

— Очень приятно! — поднялся со своего кресла генерал и слегка пристукнул каблуками.

Шурка Понедилок фыркнул:

— Где же это видано, чтобы генералы ходили во фраках и черных шляпах?..

Галя строго взглянула на Шурку. Шурка прикусил язык. Но был он все-таки из матросской вольницы, озорной по натуре, и не мог сразу угомониться. Он замурлыкал себе под нос еле слышно:

Надену я черную шляпу,
Поеду я в город Анапу,
И всю-то я жизнь просижу
На соленом, как слезы, пляжу...

Генерал д'Ансельм молчал, и полковник Фредамбер попытался взять на себя инициативу в дальнейшем ведении переговоров.

— Итак,— прохрипел он, силясь изобразить на лице вежливую улыбку,— мы остановились на том, что... м-м-м... на том, что...

Он тянул, не находя слов, и с нескрываемой надеждой посматривал на Столярова, надеясь, что тот сам продолжит беседу.

Но Столяров тоже не торопился. Он глядел на примолкшего, подавленного генерала, на растерявшегося начальника штаба, на совершенно бледного Брайкевича и багрового Риггса и силился понять: что же произошло здесь за минувший час, что передали по телефону генералу, что так пришибло его и всех присутствующих?

Наконец, Риггс не выдержал долгого молчания:

— Мы остановились на том, что вы... предлагаете двое суток, да, двое суток на всю эвакуацию союзных войск.

— И союзных дипломатических и прочих миссий,— сразу же добавил Столяров.— Мы надеемся, мистер Риггс, что и вы воспользуетесь нашим приглашением.

Одно мгновение казалось, что Риггс вскочит и бросится на Столярова. Его лицо покрылось лиловыми пятнами, подбородок задрожал, как в лихорадке, Риггс даже скрипнул зубами. Но под спокойным взглядом Столярова он снова сдержал себя и снова крепко вцепился пальцами в подлокотники кресла.

Полковник Фредамбер сделал попытку разрядить напряженную атмосферу.

— Генерал просит вас обстоятельно изложить все ваши... предложения.

Столяров, не глядя на Фредамбера, не спеша обратился к генералу д'Ансельму:

— Прежде всего — вся полнота власти в городе без каких-либо боевых действий передается нам...

Генерал сразу вышел из состояния прострации. Он задвигался в кресле и поднял глаза на Столярова.

— Мосье! — сказал он.— Вы должны понимать, что власть в городе может принадлежать или мне, как главе военного

командования, или... или по гражданской линии — местному муниципалитету...

— Мы и являемся муниципалитетом: Совет рабочих депутатов.

— Однако мне известно,— грустно промолвил генерал,— что до того, как, в связи с положением на фронте, я должен был принять всю полноту власти на себя, городское самоуправление возглавляла дума?

Столяров сказал:

— Пролетариат не доверяет думе и не признает ее власть в городе.

Председатель думы, Брайкевич, заерзал на своем месте, но генерал продолжал миролюбиво:

— Ведь в городе живет не только пролетариат. Есть еще и другие слои населения: служащие, э-э-э... торговцы, э-э-э... буржуа... э-э-э...

Столяров ответил:

— Совет представляет интересы всех трудовых слоев населения. Что касается буржуазии, то она после Октябрьской революции не имеет ни власти в нашей стране... Мы действуем на основании нашей народной, советской конституции.— И, чтобы покончить с этим ненужным, пустым спором, он добавил: — К слову сказать, это станет вам понятно из второго пункта наших требований. Второй пункт: буржуазии предоставляется свобода действий — она может отправиться вслед за вами, но все свое имущество должна оставить здесь. Все ценности, банковские вклады и тому подобное, являются достоянием народа и государства; мы не можем позволить ограбить наш народ еще раз...

— Это что же? Экспроприация! — воскликнул Риггс.

— Это — социалистическая революция,— ответил Столяров.— Третий пункт: все белые, контрреволюционные вооруженные формирования, какого бы они ни были толка и цвета, должны быть немедленно разоружены, а оружие передано нам, то есть законной Советской власти. Что касается контрреволюции, поднявшей оружие против народа, то она...— генерала Шварца передернуло, и он еще больше скомкал свою элегантную черную шляпу,— предстанет перед судом народа.

Генерал д'Ансельм снова заговорил миролюбиво:

— Вы должны понимать, что я солдат — и, как солдат, не могу покинуть на произвол судьбы моих союзников, тем паче отдать вам прямо в руки русских офицеров, которые находятся под покровительством французского флага.

— А мы разве просили вас брать под защиту вашего флага всяких паразитов? — вмешался было Шурка, но Столяров оборвал его и продолжал излагать дальше требования Совета:

— Четвертое: все продовольствие — и то, что вы реквизировали, и то, что вы привезли для снабжения армий с собой,—

остается здесь, на берегу, для ликвидации голода, который возник в городе в результате вашей беззаконной интервенции. Весь русский морской тоннаж остается у причалов порта. Все политические заключенные немедленно освобождаются из тюрем. В частности, вы гарантируете жизнь Николаю Ласточкину. Все!

Столяров поднялся, давая этим понять, что разговор собственно окончен. Точка над «і» поставлена.

Риггс, Фредамбер, Брайкевич и Шварц сидели молча. Они были уничтожены.

Генерал д'Ансельм заговорил совсем тихо, с интонациями задушевности:

— Все, что вы сказали сейчас... это позор для меня, старого солдата. Я не могу разоружить и отдать вам в руки моих союзников, раз они защищали здесь интересы Франции...

— Какие это тут интересы Франции? — снова выскочил Шурка Понедилок, но Галя придержала его за руку.

Генерал продолжал:

— Оставить вам флот я также... не могу... Если бы... встал вопрос об... эвакуации отсюда французской армии и... ее союзников, то... то... для перевозки войск мне и так не хватает тоннажа.

— А не нужно было привозить столько всякой контры! — снова начал Шурка Понедилок, но теперь уже Столяров взглянул на него так, что Шурка прикусил язык.

— Что касается продовольствия, то, естественно... морского тоннажа для его эвакуации нет, и вообще...

В это время пронзительно зазвенел телефон. Это был не зуммер полевого телефона, по которому перед этим говорил генерал. Звонил аппарат городской телефонной сети.

Фредамбер снял трубку. Он долго слушал, потом прикрыл трубку ладонью и наклонился к генералу.

Генерал выслушал его шепот и поглядел вопросительно, словно спрашивая совета. Фредамбер пожал плечами и зашептал снова. Генерал кивнул.

— Хорошо, прикажите.— Потом изменил свое решение: — Подождите, я сам.

Отдельные слова, произнесенные Фредамбером шепотом, были слышны, и Галя перевела их товарищам. Речь, видимо, шла о том, что где-то в районе железной дороги в связи с отказом машинистов вести поезд произошла стычка и рабочие оказали вооруженное сопротивление.

Фредамбер подал трубку генералу, и тот распорядился:

— Капитан! Я сейчас дам приказ, и в ваше распоряжение прибудет батальон английских колониальных стрелков... да... Выполняйте!

Он положил трубку.

Столяров сказал:

— Простите, генерал! Дела отрывают вас от нашей беседы.

Дела есть и у нас. С вашего позволения я тоже воспользуюсь телефоном...

Не ожидая согласия генерала, которое прозвучало уже вдогонку ему, Столяров подошел к столику с телефонными аппаратами и снял трубку.

— Центральная! Алло?.. Центральная? Барышня, дайте, пожалуйста, Народную аудиторию на Старопортофранковской... Да, угол Старорезничной. Это кто? А!.. Говорит Столяров... Да, я говорю из кабинета генерала. Он любезно разрешил нам поговорить... Об этом потом. А сейчас вот что: отправьте немедленно два батальона из полка имени Старостина, при двадцати пулеметах, в район Товарной станции. Там небольшая стычка. Так вот, если прибудут туда колониальные английские войска — окружить и уничтожить! Ясно! Мы сейчас заканчиваем.

Столяров положил трубку, аккуратно дал отбой, возвратился на свое место и сел.

Генерал д'Ансельм, генерал Шварц, полковник Фредамбер и мосье Брайкевич молчали.

После длительной паузы генерал д'Ансельм грустно сказал:

— Очевидно, и на этот раз мы с вами... м-м-м... не договоримся... по всем пунктам.

Столяров поднялся. Поднялись и Шурка с Галей.

— Конечно! — быстро добавил генерал, тоже поднимаясь.— Я немедленно же искровым телеграфом передам ваши... гм... предложения высшему командованию в Яссах, Константинополе и Париже и... немедленно же, безусловно, уведомлю вас, какое будет решение высшего командования.— Он заставил себя улыбнуться.— Оказывается, между нами и вами есть даже телефонная связь. Я этого, знаете, не представлял себе, гм... гм...

Столяров, Шурка Понедилок и Галя молча поклонились и направились к двери.

Но генерал крикнул еще им вдогонку:

— Вы... гм... захватили мою машину! Конечно, законы военного времени, но... это ведь моя собственная машина и...

Столяров остановился и ответил с порога:

— С вашего разрешения, генерал, машина доставит нас в Совет. После этого ваш шофер немедленно же приведет ее сюда.

Когда делегация вышла, в кабинете д'Ансельма еще добрых две-три минуты царило полное молчание. Генерал печально глядел перед собою в стол, Шварц все еще мял свою шляпу, лицо Фредамбера перекосилось от конвульсий.

Наконец, гнетущее молчание прервал Риггс.

С выражением любезности на лице он обратился к генералу д'Ансельму:

— Могу порекомендовать вам прекрасный способ упаковки

ваших статуэток, генерал. Смятая бумага или стружка не убережет скульптурки от деформации: при толчках статуэтки в ящике будут стукаться одна о другую. Ящики надо делать металлические, заливать их жидким желатином и опускать статуэтки в желатиновую массу. Потом желатин легко растворяется в теплой воде — и вы вынимаете статуэтки совершенно неповрежденными. Очень рекомендую вам именно этот способ, генерал.

Генерал д'Ансельм молчал, стиснув зубы, бледный, даже будто прозрачный от злости. Риггс, наоборот, постепенно наливался синей кровью. Даже уши сделались у него фиолетовыми. Он выхватил из кармана пачку сигарет, сунул сигарету в рот — это была последняя в пачке — и с сердцем швырнул на стол пустую обертку. От движения воздуха на столе зашевелились бумаги, и один листок — тот, что лежал перед генералом д'Ансельмом,— мягко спланировал на пол.

Пробурчав извинение, Риггс наклонился и поднял листок. Кладя его на стол, он искоса заглянул в текст.

Это было письмо командующему армией Антанты на Юге генералу Франшэ д'Эсперэ от «головного атамана войск УНР Симона Петлюры». Третьего дня главнокомандующий навещал Одессу в связи с неудачными действиями на фронте, в частности катастрофой под Березовкой. Дознавшись об этом, главный атаман войск УНР воспользовался счастливым случаем, чтобы приветствовать высокую особу на украинской земле. Но генерал Франшэ д'Эсперэ пробыл в Одессе только один день. Красная Армия от Березовки спешила на Сербку — и главнокомандующий тоже поспешил возвратиться в Константинополь. Письмо Симона Петлюры не застало уже главнокомандующего оккупационными армиями и до лучших времен отлеживалось на столе у генерала д'Ансельма — дело было неспешное. Вот это письмо:

«Узнав о вашем приезде в Одессу, я приветствую ваше превосходительство с прибытием на территорию Украины. Пользуюсь случаем напомнить вам, что прошло уже почти полгода с того времени, как наше молодое украинское войско под моим командованием начало борьбу против большевиков — врагов всех стран Европы. В эти дни, когда украинское войско снова сражается против большевиков, я высказываю уверенность, что с помощью французской армии наше войско сможет разбить нашего общего врага...»

Риггс не стал читать дальше.

Он положил бумагу на стол и закурил свою сигаретку. Но вдруг он швырнул сигаретку в пепельницу и, с каждым словом все сильнее наливаясь синей кровью, брызжа слюною, почти заорал:

— Мое правительство — президент Вильсон — был прав с самого начала! Надо шире использовать чужие силы! Вместо

того чтобы гнать куда-то в Архангельск, Владивосток, Батум или Одессу американских, английских и французских солдат и превращать их там в большевиков, надо заставить стать под нашу винтовку все малые народы и особенное внимание обратить на местные антибольшевистские элементы и на националистические, сепаратистские группировки. Мы должны всеми способами раздувать контрреволюционные и антироссийские настроения, дать контрреволюции в руки оружие, много оружия — не так, как делаете вы, жалея каждый пулемет! И пусть идут в бой против большевиков со всех уголков Российской империи: из Финляндии, из Эстонии, из Латвии, из Литвы, из Белоруссии, из Польши, с Украины, с Дона, с Кубани, все сто сорок кавказских племен, сто пятьдесят азиатских окраин, черт бы их всех побрал! И поберет, если дело будет поставлено именно так!..

— Верно!.. Верно!.. Верно!..— за каждым словом, чуть ли не дрожа, поддакивал Риггсу Шварц — немецкий генерал русской службы и американский ориентации.

Однако Фредамбер ехидно заметил:

— Вы неплохо знаете географию Российской империи, сэр!

— Такова наша с вами служба, Фредамбер! — завопил Риггс.— И я говорю это вам уже не в первый раз! Именно незнание этой географии поставило сейчас точку и на вашей карьере! — Брызжа слюною, Риггс орал: — Будет еще второй, а надо — так и третий, четвертый, черт побери, антикоммунистический поход! И осуществлять их будем мы, но чужими руками, руками всяких сепаратистов прежде всего! Соединенные Штаты еще научат вас, как надо бороться против большевизма! Но эта наука будет горька и для вас тоже! Будьте уверены!..

Но генерал д'Ансельм прикрыл ладонями уши, и болезненная гримаса исказила его выхоленное лицо. Генерал не переносил, когда кто-нибудь повышал голос, тем более орал во всю глотку.

— Мистер Риггс! Прошу вас! Мы с вами не на Парижской мирной конференции!..

Делегация возвратилась в здание Народной аудитории и доложила пленуму о результатах переговоров.

Пленум принял решение единогласно.

Председательствующий тут же продиктовал Гале сообщение, чтобы она успела поместить в утренний номер «Известий Совета рабочих депутатов»:

«Совет рабочих депутатов доводит до сведения всего населения города Одессы, что с двенадцати часов пятого апреля вся полнота власти в Одессе и ее пригородах переходит к Совету рабочих депутатов.

Все лица или организации, которые попытаются каким-либо образом оказать сопротивление власти Рабочих депутатов, будут наказаны в соответствии с законами военного времени...»

На пленуме, в углу зала, сидела Катюша Столярова. Она только что прибыла из ставки командования Красной Армии, перейдя фронт на этот раз под Сербкой. На клочке шелка, который Катюша извлекла из своей одежды, было только две цифры: арабское «пять» и римское «четыре». Это означало, что командование определяет срок для всеобщего восстания в городе на пятое четвертого, то есть пятое апреля.

Стрелки часов показывали уже начало первого. Пятое апреля наступило.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Пятого апреля в девять часов утра, то есть в тот час, когда начинаются занятия в городской управе, к особняку думы на Николаевском бульваре подкатили два грузовых автомобиля. В кузове одной машины был отряд бойцов рабочего полка имени Старостина с несколькими пулеметами. Во второй машине — Исполком Совета рабочих депутатов в полном составе. Из членов Исполкома не было только Галины Мирошниченко: к утру она заканчивала выпуск четвертого номера подпольных «Известий Совета рабочих депутатов» и теперь задержалась где-то между Куяльником и Молдаванкой.

Служащие управы в это время сидели уже на своих местах.

Александр Столяров выпрыгнул из кабинки грузовика первым, подождал, пока выберутся из кузова все члены Исполкома, и в сопровождении членов президиума направился к кабинету главы думы. В приемной девушка-секретарь остановила его:

— Как доложить?

Но он отстранил ее и переступил порог без доклада.

Навстречу Столярову из-за стола главы думы поднялся заместитель «мэра»; «мэр» города Брайкевич сегодня на службу не явился: еще ночью вместе со всей родней и кучей чемоданов он погрузился с Платоновского мола на пароход «Кавказ».

Членам Исполкома Совета рабочих депутатов личность заместителя «мэра» города была хорошо известна. Это был Рутенберг — один из наиболее значительных лидеров сионизма в России. Главу одесских сионистов Рутенберга особенно почитали в кругах городской буржуазии, а его выступления за полную поддержку интервентов, за всемерное укрепление «альянса» с кругами западноевропейской буржуазии и, глав-

ное, его закадычная дружба с главою американской миссии в Одессе полковником Риггсом — были общеизвестны.

Но Столяров знал Рутенберга еще лучше. Столярову известна была вся его биография: эсер-террорист в прошлом и личный друг Керенского, являясь одним из руководителей военных сил контрреволюционного Временного правительства, он пытался вместе с палачом Кишкиным подавить Октябрьское восстание в Петрограде во время осады Зимнего дворца.

Быстрым взглядом окинул Столяров просторную комнату: в кабинете главы городского самоуправления ему доводилось быть впервые. Помещение было просторное, светлое и обставленное добротно: роскошный персидский ковер покрывал весь пол, дорогая мебель из палисандрового дерева под темным штофом, портреты дюка Ришелье и адмирала де Рибаса на стенах, мраморная статуя богини Фемиды в одном углу и бронзовые куранты под стеклянным колпаком — в другом. Столяров решительно подошел к столу.

Рутенберг оторопело глядел на неизвестных ему людей.

— Освободите место, будьте добры! — сказал Столяров и жестом отстранил заместителя главы думы от стола.

Рутенберг попятился. Столяров сел в кресло.

— Прошу, товарищи! — пригласил он членов президиума Исполкома Совета, указывая на кресла и диваны.

Члены президиума Исполкома Совета сели.

— Итак,— объявил Столяров,— заседание президиума продолжаем. Сегодня на повестке дня первым вопросом стоит утверждение народных комиссаров всех отделов Исполкома Совета.— Он взглянул на Рутенберга, который все еще торчал рядом, растерянно и злобно поглядывая из-под бровей.— Посторонних лиц прошу выйти.

— Простите...— начал было зло Рутенберг.— Я замещаю главу думы, который...

— Власть в городе,— ответил Столяров,— принадлежит Совету рабочих депутатов. Контрреволюционная, кадетско-меньшевистская дума распущена. Можете идти. Народ будет судить вас, наемников иностранного капитала.

Шурка Понедилок вдруг заложил два пальца в рот и пронзительно свистнул. Точно его стегнули кнутом, Рутенберг стремглав выскочил за дверь.

— Товарищ Понедилок! — сурово прикрикнул Столяров.— Призываю вас к порядку!

Шурка Понедилок вскочил со своего палисандрового кресла, обитого фиолетовым штофом с золотыми разводами, и вытянулся:

— Прошу прощения, товарищ председатель Исполкома. Последний раз! На поминки контры... и на прощание с матросской вольницей! А дальше амба! Дисциплина будет во! — Шурка показал большой палец.

Столяров сурово кивнул:

— Садитесь!.. Итак, мы должны немедленно назначить комиссаров: продовольствия, военных дел, внутренних дел, финансов, печати, связи, юстиции, просвещения, охраны здоровья, транспорта, социального обеспечения, а также коменданта порта.

— И избрать председателя Совета комиссаров! [1] — добавил Никодим Онуфриевич Столяров.

— Я предлагаю выбрать председателем товарища Столярова Александра Никодимовича,— сразу же предложил Петро Васильевич Птаха.

Как раз в это время совсем близко застрекотал пулемет. Первая короткая очередь пронеслась, очевидно, где-то высоко, выше дома, вторая, длинная, прошла ниже; все стекла в окнах кабинета, выходившие на Николаевский бульвар, со зловещим лязгом посыпались на подоконники, и было слышно, как звон битого стекла пробежал вдоль всего фасада.

Два бойца прикрепляли красный флаг к флагштоку на шпиле думы, и это по ним ударила первая очередь. Стрелял деникинский броневик, появившийся из-за угла, от управления Ропита. Броневик остановился около здания Английского клуба и бил теперь по окнам, которые выходили к Оперному театру. Вслед за броневиком катил мотоциклет с коляской.

В ту же минуту затрещали пулеметы бойцов, державших охрану Совета. Броневик немедленно исчез по Ланжероновской. Мотоциклет ткнулся в тротуар, описал петлю и остановился, зацепившись за дерево. Один мотоциклист вывалился на мостовую, другой запрокинулся в коляске: оба офицера были убиты.

— Забаррикадироваться! — приказал Столяров.

Все члены Исполкома вместе с бойцами охранного отряда бросились тащить доски, бревна, камни, прикатили какой-то поломанный фаэтон, опрокинули будку из-под сельтерской воды. Баррикаду сооружали полукругом напротив Николаевского бульвара и перекрестка Пушкинской и Ланжероновской улиц.

В девять, одновременно с прибытием в помещение думы Исполкома Совета, полк имени Старостина, Морской батальон, комсомольская дружина и другие рабочие дружины, созданные в последние дни, разбившись на небольшие отряды, начали занимать важнейшие учреждения города: почту, телеграф, государственный банк, телефонную станцию, водопровод. И везде рабочие отряды сразу же встречали отпор. Сопротивление чинили офицерские роты из дивизии Гришина-Алмазова, офицер-

---

[1] Совет комиссаров существовал в Одессе в первые дни после установления власти Ревкома и передал потом всю полноту власти президиуму Совета депутатов и ее секциям.

ские дружины из резерва генерал-губернатора Шварца, отряды контрразведчиков... По гудку завода Гена на Пересыпи и гудку Главных железнодорожных мастерских близ Товарной только что созданные дружины заводских комитетов начали занимать заводы на окраинах. Здесь операция проходила почти без задержки: белая офицерня еще с вечера постаралась улизнуть из заводских районов. Но в центральных районах белогвардейцы держались уверенно и вызывающе. Рабочих-дружинников они встречали огнем, на улицах бесчинствовали, хватая и расстреливая на месте каждого, кто казался им похожим на большевика. Целый батальон белых офицеров с двумя пушками осадил тюрьму и начал артиллерийский обстрел казематов, чтобы вместе с тюрьмой уничтожить и всех политических заключенных. Одновременно десятки небольших банд Мишки Япончика рассыпались по городу и стали громить и грабить магазины и склады.

Надо было обеспечить контроль над всеми узлами коммуникаций, сломить сопротивление белогвардейской обороны, отстоять тюрьму, усмирить грабителей, а также ликвидировать все белые банды, которые рыскали по городу из конца в конец, чинили беспорядок и насилие, пытаясь террором устрашить население и поднять его против большевиков.

В городе, кроме того, находилось еще несколько десятков тысяч французов и греков — при артиллерии, бронечастях, танках и боевой авиации. Двух-трех тысяч бойцов рабочих дружин было недостаточно не только для того, чтобы вступить в бой с вооруженными силами оккупантов, но и чтобы обеспечить охрану новых органов власти.

Двадцать пять дружинников у подъезда Совета — это было все, на что мог рассчитывать Совет, чтобы удержаться в помещении бывшей думы...

Столяров подозвал Шурку Понедилка.

— Шурка! — негромко сказал Столяров, положив молодому матросу руку на плечо.— Курьера к Котовскому в плавни, как ты знаешь, послали еще затемно. Сейчас...— Столяров взглянул на бронзовые часы под стеклянным колпаком в углу,— сейчас его отряд должен был уже быть здесь. Может, Григорию Ивановичу пришлось по дороге вступить в бой?

— А что вы думаете! — согласился Шурка, следя за взглядом Столярова.

Столяров искоса сквозь выбитое окно посматривал на мотоцикл, стоявший на противоположной стороне площади. Убитые офицеры лежали на том же месте.

— Возможно...— взглянул Столяров на Шурку,— и посыльного по дороге могли... убить.

— И даже очень,— подтвердил Шурка.

— Не послать ли нам еще курьера?

— Правильно, товарищ Столяров! — немедленно поддер-

жал Шурка.— Я смотаюсь в один момент. Только, конечно, если на мотоцикле не прострелен бачок.

Не теряя времени на разыскивание дверей, Шурка выпрыгнул прямо в окно и побежал через площадь к мотоциклу. Он бежал быстро, вобрав голову в плечи и петляя. В эту минуту вокруг было тихо, но ведь броневик мог притаиться тут же за углом, около театра, да и с Пушкинской улицы могли неожиданно застрочить пулеметы. Все с тревогой наблюдали за Шуркой.

Но Шурка благополучно перебежал площадь и стоял уже около мотоцикла. Он вытащил из колясочки труп на мостовую и сразу захлопотал у мотора: покрутил какие-то вентили, навалился всей тяжестью на кикстартер. Вдруг раздались выхлопы, и мотоцикл задрожал в Шуркиных руках. Держа машину одной рукой за руль, Шурка другой сорвал бескозырку и помахал ею над головой. Потом он с разгону плюхнулся в седло, сделал крутой вираж и промчался через площадь. Минуя баррикады и подъезд, Шурка подкатил прямо под окно, из которого выглядывал Столяров и другие члены Исполкома.

— Полный порядок! — крикнул Шурка.— Новенький, прямо из арсенала. Всю жизнь мечтал о такой машине! Такого и у Уточкина не было: «Индиан»! И бензина полный бачок, хватит на оба конца. Какой будет адрес Григория Ивановича?

— Село Маяки, кузня дядька Гаврила над плавнями.

— Есть село Маяки, кузня дядька Гаврила над плавнями! Наше вам!

Он загрохотал мотором, собираясь двинуться в путь.

— Ты бы отцепил коляску, а то задерживает только,— предложил кто-то из дружинников.

— Мерси, мосье, вы абсолютно правы.

Шурка соскочил на землю и с помощью бойцов отцепил коляску. Через минуту он снова был в седле.

— Революционный мотокросс Одесса — Бессарабия объявляется открытым! — крикнул Шурка сквозь вой мотора.— Даю старт! Бенц!

Мотоцикл рванул, и Шурка понесся. Ветер развевал георгиевские ленты его бескозырки. Проскочив площадь, Шурка еще раз помахал бескозыркой и в клубах синего бензинового дыма исчез за платанами Пушкинской улицы.

— Счастливый путь! — промолвил Столяров.

— Ни пуха ни пера! — сказал и Никодим Онуфриевич Столяров, заядлый охотник.

— Счастливого плавания!

Шурка был матрос, и самым лучшим пожеланием для него было, конечно, морское напутствие.

На Николаевском бульваре было совершенно тихо. Но это была настороженная тишина — тишина, которая каждую се-

кунду могла взорваться визгом пуль, стрекотанием пулеметов и разрывами артиллерийских снарядов.

Снизу, с территории порта, долетал неумолчный гомон: взвизгивали клаксоны автомашин, тарахтели брички по мостовой, захлебывались сирены катеров, иногда долго и протяжно гудел пароход. Буржуазия со всего города стягивалась к порту, тащила свои пожитки и дралась за места на пароходах; французское командование выделило несколько судов. Ропита для желающих бежать куда глаза глядят — в Крым, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию...

С центральных улиц беспрестанно долетали тревожные звуки: винтовочные выстрелы, иногда пулеметная очередь, взрыв гранаты. Это бесчинствовали белогвардейцы, грабил Мишка Япончик, а рабочие и матросские дружины старались навести порядок.

От тюрьмы доносилась канонада.

Столяров возвратился в кабинет, чтобы продолжать заседание президиума. Он вынул из кобуры наган и положил его на стол перед собою.

Все члены президиума тоже вынули пистолеты и гранаты и положили их себе на колени.

Возвращаясь к повестке дня, Столяров еще раз взглянул на часы.

— Беспокоит меня, что так долго нет Гали...— сказал он и сразу же перешел к делу.

2

Галя в это время пробиралась с Молдаванки к центру.

Очередной номер газеты она на подводе доставила с Куяльника на Пересыпь, и сейчас пересыпские комсомолки уличками и переулками понесли свежие пачки, чтобы распространить их по всему городу. Пачки газет сегодня не были упакованы в бандероли от папирос «Сальве», их просто перевязали шнурками: орган Совета вышел из подполья.

День стоял теплый, весенний, ярко светило солнце. Галя была одета легко, по-весеннему — туфельки без каблучков, чулочки до колен, коротенькая юбочка и белая матроска с синим воротником. За пазухой у нее лежал небольшой дамский пистолетик — браунинг.

Галя пошла Херсонским спуском, потом по Херсонской улице. Но в центре она не свернула на Дерибасовскую, откуда слышалась стрельба и долетал отчаянный крик — это япончикова шпана грабила магазины,— а Малым переулком вышла на Гаванную. Галя считала, что менее опасно проскочить на Николаевский бульвар Театральным переулком, через район контрразведок, вряд ли кто-нибудь обратит внимание на девочку в матроске. Но в последнюю минуту Галя все-таки

свернула с Военного спуска, который вывел бы ее на Екатерининскую площадь. Лучше не лезть на рожон и не связываться с контрразведчиками. Она вошла в проходной двор, думая пробраться позади контрразведки прямо на Ланжероновскую.

И вот здесь, как раз в ту минуту, когда она уже прошла половину арки под воротами, Галя услышала сзади женский голос:

— Стой! Еще шаг — стреляю!

Это было произнесено по-французски.

Позади, при входе в подворотню, держа пистолет наготове, стояла Ева Блюм.

— Ни с места! — приказала она. И добавила с злобной иронией, приближаясь к Гале: — Куда ж это вы, моя ласточка? Я за вами иду уже шесть кварталов и очень обрадовалась, увидев, что вы повернули к контрразведке: мне было бы меньше хлопот. Но вы вдруг махнули хвостиком и повернули сюда. Нет, моя милая, теперь уж пойдемте прямо, в контрразведку; подвалы там сейчас не загружены, найдется и кусок веревки...

Ева Блюм с издевкой говорила ласковым тоном, побелев от злости, закусив губу, и злые ее глаза так и сверлили лицо жертвы. Рыжие космы выбились из-под армейского «пирожка» американского офицера, и сквозняк в туннеле трепал их, как пряди конопли. Она говорила медленно и медленно приближалась к Гале, едва переступая высокими зашнурованными бутсами, готовая каждую секунду при малейшем движении жертвы прыгнуть на нее или нажать собачку своего огромного американского кольта.

За эти несколько секунд все пронеслось перед Галей: вечер в «Дарданеллах», предательский арест французского капрала, арест Жанны и всей Иностранной коллегии, истязание товарищей в застенках контрразведки — истязание руками этой садистки,— расстрел товарищей, гибель Жанны... А может быть, и к аресту Ласточкина эта пройдоха тоже приложила свои руки?

Несколько секунд длилось это подкрадывание тигра к своей жертве. И все вскипело в душе Гали за эти несколько коротких секунд. Ненависть сжала ей сердце, омерзение охватило все ее существо. Нет, не кролик был перед кровожадным тигром...

Галя вдруг вскрикнула и внезапно бросилась Еве прямо под ноги. Из огромного кольта прогремел выстрел, но пуля отскочила рикошетом от каменного свода арки; американская контрразведчица выстрелила вверх, так как Галя схватила руками ее туго зашнурованные ботинки, что было силы рванула их — и рыжая бестия повалилась навзничь.

Пистолет, однако, остался у нее в руке, и она быстро вскочила. Но Галя уже выхватила из-за пазухи свой игрушечный браунинг и трижды выстрелила прямо в ненавистное лицо.

Ева Блюм ткнулась лицом в мостовую и сразу затихла. Все три выстрела попали в цель.

Галя стояла, и пистолетик дрожал у нее в руке...

Тихо было вокруг. Жители дома еще с вечера попрятались в самые далекие уголки своих квартир. Сейчас, услышав выстрелы во дворе, они и совсем притаились. Во дворе не было ни единой души, никто не выглядывал и из окон дома напротив. Выстрелы, конечно, слышны были далеко по улице, но сегодня, когда стрельба раздавалась во всем городе, разве кто-нибудь обратит внимание еще на какие-то пистолетные выстрелы?

Галя сунула пистолетик за пазуху, крепко стиснула руки и прижала их к груди, чтобы не дрожали,— ей еще никогда не приходилось убивать человека. Это было отвратительно и страшно. Но Галя уничтожила убийцу — и радость, гордость и мужество наполнили ее сердце... Так, неся стиснутые в один кулак руки перед собою, Галя перешла двор и через вторые ворота — задами, за усадьбой контрразведки — вышла на Ланжероновскую. На углу Екатерининской сновали люди: контрразведчики белогвардейские и контрразведчики французские выносили из помещения какие-то ящики и узлы и поспешно грузили их на машины и подводы. Контрразведки эвакуировались. На девчонку в матроске никто не обратил внимания.

Еще три минуты — и Галя прошла сквозь баррикады к Совету.

Только в кабинете председателя Совета она, наконец, разжала кулачки и опустила руки.

— А, Галя! Наконец-то! — приветствовал ее Столяров.— Хорошо, что ты пришла. А то мы уже начинали беспокоиться. Тебя утвердили комиссаром юстиции. Придется тебе немедленно организовать борьбу со всякой контрреволюцией и разбираться в том, кого из предателей и наймитов ставить перед судом народа. А тут еще и Мишка Япончик прислал своих парламентеров. Предлагает, шкура, действовать вместе против французов и даже берется, сукин сын, выставить целый полк своей шпаны. Но мы его, гада, все же ликвидируем. И это будет твое дело. Прежде всего разберись в тюрьме: всех политических — на волю, всех уголовных — под трибунал!

От тюрьмы в это время пришли уже и утешительные вести. Батальон полка имени Старостина ликвидировал налет; белых офицеров, которые осадили было тюрьму, разоружили и прямым ходом загнали в тюремные камеры. Политические заключенные самоорганизовались и из своей среды выбрали комендатуру тюрьмы. Бандитов Япончика, кинувшихся вызволять своих, отогнали.

Но разбросанные с утра по городу отряды белогвардейцев тем временем подтянулись к центру города, сосредоточились

и закрепились в приморских кварталах — от Александровского парка и Маразлиевской улицы до Большой Арнаутской и Преображенской. Бывшая дума, а теперь Совет — очутился, таким образом, в самом центре расположения белых частей. И белогвардейцы явно готовились к штурму. На Пушкинской и Ришельевской, в подворотнях и за мелкими строениями, рассыпались стрелки, на крыше Оперного театра размещались пулеметы, во дворах между Пушкинской и Канатной устанавливали зенитную артиллерию: очевидно, офицеры приспосабливали ее, чтобы вести стрельбу высокой траекторией через другие дома по зданию Совета.

Французские пехотные части тоже пришли в движение. Они подтягивались от казарм на окраинах и продвигались теперь Нарышкинским и Херсонским спусками. Некоторые части спускались сразу на Приморскую и выходили на территорию порта, другие группировались вокруг Воронцовского дворца. Похоже было, что, закрепляясь на территории порта и около ставки командования, французы готовятся развернуть боевые действия веером по улицам города. В течение часа к центру города подтянулось не менее десяти — пятнадцати тысяч французских пехотинцев, но это было, безусловно, только начало передислокации: пехотные французские части двинулись и с Среднего Фонтана и от Заставы. Прошли серо-голубые френчи регулярных национальных французских полков. Прошли в красных шароварах и синих мундирах зуавы. Прошли черные великаны сенегальцы в стальных шлемах, но в коротких штанах и с голыми икрами ног. Прошли мальгаши с кривыми тесаками и длинными, старого образца винтовками. Прошли бенгальцы в тюрбанах под командованием английских офицеров с американскими скорострельными автоматическими карабинами. Каждый пехотный батальон французов имел специальный взвод минометчиков, а за некоторыми батальонами грохотала и полевая артиллерия. Из пересыпских казарм тяжело загремели по мостовой танки. Их было десятка три.

Что могли сделать пятьдесят большевиков в помещении Совета против всех этих войск, даже если бы и батальон полка имени Старостина, который уже освободился после взятия тюрьмы, пробился сюда сквозь белогвардейские заставы, укрепившиеся в центральных кварталах?

Вот если бы сюда еще хотя бы партизанский отряд Григория Ивановича Котовского!..

3

Шурка Понедилок счастливо проскочил центральные кварталы города. Матрос спешил на своем мотоцикле во всю мочь, ветер развевал георгиевские ленты его бескозырки,— и белые пикеты расступались перед ним. Матросы были и на деникин-

ских кораблях, поэтому у пикетов не было сомнений: мчит курьер из ставки командующего генерал-губернатора Шварца.

Около Товарной станции Шурка на мгновение уменьшил скорость. Один только квартал вправо — и на Хуторской, за невысокой оградой из камня-ракушечника, между двумя горькими черешнями, под шпанской вишней стояла мазанка из одной комнаты с кухней. И в мазанке этой жила Шуркина мама. Как там ей сейчас? События в городе развивались такими бешеными темпами, что Шурка уже три дня не забегал домой, чтобы нарубить матери дров, принести ей воды и задать козе пойла с отрубями.

Возможно, что это случилось и вопреки Шуркиной воле: он даже не повернул руль, просто ноги вильнули сами — и мотоцикл послушно выполнил крутой вираж. Шурка описал кривую вокруг квартала и полетел по Хуторской, мимо маминой мазанки. Взглянуть только — жива ли еще она?

Все это произошло мгновенно и заняло не более десяти — пятнадцати секунд. Шуркин мотоцикл обогнул квартал, стрелой пролетел мимо хатки за оградой,— и, словно нарочно, Шуркина мама как раз сидела на скамеечке у калитки. Но Шурка не остановил мотоцикла. Он только выключил на мгновение мотор, прервал страшную канонаду выхлопов и в наступившей тишине прокричал во всю силу легких:

— Слышите, мама? Попросите соседей принести воды! Потому что мы делаем революцию! Я уж их потом отблагодарю!

И исчез в синем облаке бензинового дыма.

Если бы Шурка оглянулся, он увидел бы, что голос блудного сына долетел к бедной матери словно откуда-то с неба, в громах самого Ильи-пророка, и слепая старушка вздрогнула, заволновалась, хотела быстро вскочить, но только через силу поднялась на дрожащие ноги. Растерянно повертела она своей седой головой, прислушалась — не услышала ничего, кроме воя мотора и канонады выхлопов,— затем подняла руку и осенила крестным знамением пространство с той стороны, где замерли последние звуки голоса ее блудного сына...

Казармы французов вдоль шоссе Шурка также миновал без всяких инцидентов. Французы как раз строились, выходя на марш: устанавливали пулеметы и минометы на мотоплощадки, прилаживали зарядные и санитарные двуколки, суетились возле кухонь — и на сумасшедшего мотоциклиста не обратили никакого внимания.

Греческие пикеты, которые встретились по дороге где-то за Дальником, попытались было остановить мотоцикл, но машина так грохотала, что мотоциклист, пожалуй, не услышал их окриков. Мотоциклисту преградил было путь шлагбаум, но мотоцикл вильнул, сделал вольт вокруг столба шлагбаума

по тропинке — и опять выскочил на дорогу. Кто-то из патрулей выстрелил вдогонку, но Шурка не услышал даже визга пули.

Шурка мчался на самой большой скорости, какую только можно развить на мотоцикле «Индиан»,— мотор захлебывался, ветер свистел в ушах. Шурка не слышал ничего, даже собственного голоса. А горланил он во всю глотку:

Мы кузнецы, силен наш голос,
Куем мы счастье для людей...

Половина пути осталась позади, и Шурка не сомневался, что через полчаса он будет возле Днестровского лимана.

Но когда он проскочил мост через Козий яр, вихрем взлетел на Чабанский холм и широкая, почти плоская приднестровская степь раскинула перед ним свои безбрежные просторы, он сразу выключил мотор и нажал тормоза. Мотоцикл от внезапной остановки чуть не опрокинулся, и Шурка едва не вылетел из седла.

Остановиться же так внезапно было крайне необходимо.

До сих пор из лощины ему не видно было степи, а теперь она сразу открылась перед ним, и он увидел: не далее чем за двести шагов навстречу ему шла на рысях довольно крупная кавалерийская часть.

Это могли быть белые казаки, и в таком случае Шуркиному делу «табак». Шурка приподнялся и всмотрелся.

Впереди колонны на вороном арабском жеребце гарцевал командир в красных штанах, за ним на низкорослой казачьей буланке скакал его ординарец.

И вдруг сквозь частый топот копыт, сквозь тарахтенье тачанок Шурка услышал, что всадники поют и их пению поддакивает бубен и подпевает флояра.

Дойна!

— Ура! — заорал Шурка.

Он кубарем скатился с мотоцикла, сорвал бескозырку и, размахивая ею и тоже выводя «лаштунды-цой-дыр-дойда»,— ведь мелодия дойны так схожа с пересыпским «семь сорок»,— побежал по дороге навстречу конникам. Это шел на рысях бессарабский отряд во главе с Котовским.

Всадники заметили на дороге мотоцикл и матроса, который бежал навстречу, размахивая бескозыркой, и командир круто остановил своего горячего жеребца.

Шурка был уже возле Котовского, ударил, как положено, бескозыркой об землю и бросился обниматься.

— Григорий Иванович! — орал он, смеясь и чуть не плача.

Всадники столпились вокруг, и Шурка в двух словах доложил обстановку.

Котовский поднялся на стременах и крикнул, обращаясь к Жиле, который ехал во втором эшелоне, возглавляя отряд пулеметных тачанок:

— Жила! Ты с пулеметами давай на рысях, а мы карьером...

Потом он спросил Шурку:

— А ты как же, матрос, поспеешь со своей зажигалкой за нами или, может быть, подсядешь к Жиле на тачанку?

Шурка уже бежал к мотоциклу. Вскочил в седло. Но когда его «зажигалка», тарахтя, подкатила к отряду, кони шарахнулись, закусив удила. Это были вольные, степные кони, и мотор был для них страшилищем.

— Э, нет! — сразу же замахал руками Котовский.— Так у нас войны не получится! Либо погоняй индивидуально своей тарахтелкой, либо бросай ее к черту и подсаживайся на тачанку. А то... если удержишься в седле, бери коня из запаса — и айда!

Шурка раздумывать не умел. Он пнул ногой мотоцикл — мечту своей юной жизни. Мотоцикл скатился с насыпи в ров, а Шурка уже ощупывал подпругу у запасного коня: в задних рядах ездовые вели с десяток запасных коней. Матрос Шурка с Молдаванки был лихим кавалеристом; в детстве он даже мечтал стать наездником в цирке Чинезелли.

Он мигом подтянул подпругу и взлетел на коня.

— Эх! — гаркнул он, натягивая поводья.— Пропадет теперь, видно, флот! Заделался матрос Шурка конником Котовского!

И как раз в эту минуту Шурка увидел с другой стороны на таком же буланчике ординарца Котовского. Это был Сашко Птаха.

— О! — весело подмигнул он Сашку.— И ты здесь, шпингалет с Ланжерона?

Но Сашко, видно, не расслышал оскорбительного приветствия, потому что, если б услышал, бросился бы на Шурку с кулаками, что бы там ни было. Сашко не расслышал, так как сидел в эту минуту на коне, словно обалдев, бессмысленно хлопал глазами и смотрел на Григория Ивановича так, точно видел его первый раз в жизни.

— Да ты что это? — удивился Шурка.— Или конец заглотал и заякорился на сухом?

Странное поведение Сашка привлекло внимание и Григория Ивановича. Он как раз собирался подать команду, чтобы с рыси перейти на карьер, но бледное, перепуганное лицо молодого ординарца остановило его.

— Что с тобой, Сашко?

Но прошло еще несколько секунд, пока Сашко, наконец, смог, заикаясь, добыть из горла застрявший там вопрос:

— Дядя Григорий!.. Вы... вы... разве вы Котовский?

Как было не удивиться Сашку, если вот уже месяц, как он исправно осуществлял связь между Григорием Ивановичем в плавнях и подпольем города и знал точно, что Григорий Иванович — известный ему грузчик Григорий, а фамилия его просто Мадюдя! Днестровский отряд областкома партизаны так и прозвали: «днестровцы Григора Мадюди». Да и сам Сашко был известен всему отряду как родной племянник своего родного дядьки Григора Мадюди. И вдруг совсем не Мадюдя, а... легендарный Котовский, которым бредил Сашко с самого детства, вот он — перед ним, его, пусть и не родной, но все равно что родной — подпольный — дядько!

Как же было не оторопеть сердечному Сашку?

— Ну что ж,— усмехнулся Григорий Иванович,— раз наша власть из подполья вышла, так пусть уж и я буду носить фамилию родного отца!

И, не теряя времени, он громко подал команду:

— На Одессу! Марш-марш!

Степь замелькала с обеих сторон. И через несколько минут справа под ярким весенним солнцем блеснуло золотой чешуею широкое море.

Котовский скакал впереди на вороном жеребце, сразу за ним на казацких буланках мчались двое: матрос Шурка Понедилок — моторист с «Витязя», «братан» с Молдаванки,— и хлопчик Сашко Птаха — сын рыбака с Ланжерона, тоже коренной одессит...

Сашко скакал, закусив губу, однако ему казалось, что он громко поет, во весь голос, во всю силу легких, радостно и залихватски. Мчался он в бой, освобождать родную Одессу, скакал рядом с самим Котовским и сам был не кто иной, а ординарец Григория Ивановича Котовского! Ординарец! Понимаете ли вы это? Правая рука!

Вот и осуществилась мечта всей жизни Сашка. Да где там осуществилась,— самое себя превзошла!

Осуществлялись мечты и Григория Ивановича. Он летел в смертный бой с ненавистным врагом во главе отряда конницы.

Конец всем постылым маскам — помещика Золотарева, доктора Скоропостижного, негоцианта Берковича! С этим теперь покончено! Теперь — битва лицом к лицу, и не надо уже выдавать себя за кого-то другого, не надо смеяться, когда тебя душат слезы, и плакать, когда ты задыхаешься от смеха. Теперь смейся — когда смешно, плачь — когда допечет. Конец пряташью! А ну, вражище, сшибемся грудь с грудью, как этого издавна душа просит!

И будет в этой борьбе Григорий Иванович верхом на коне мчаться вихрем по широким просторам — привольным и гостеприимным для друга, враждебным и лютым для недруга,— по

залитым потом и кровью просторам многострадальной отчизны, неся смерть буржуазии и свободу народу.

Таким вот и сделала его воля большевистской партии.

Сотня конников летела сейчас галопом за Котовским в бой. И это была только первая сотня сабель. Пусть земля разверзнется под ним и поглотит его вместе с вороным арабом, если не пойдут за ним тысячи, десятки тысяч — целая конная армия восставшего, непримиримого к угнетателям родного народа!

Да, скоро уже помчится в бой за Котовским героическая конная армия советского народа...

Когда отряд всадников проскочил через Дальник, обратив в бегство перепуганные греческие дозоры, впереди, будто вырастая из-под земли, появились контуры города на плоской степной равнине.

Шурка Понедилок махнул рукой и закричал:

— Одесса-мама!

Григорий Иванович выхватил саблю из ножон и сверкнул ею над головой. И тогда сто сабель засверкали сотней молний над отрядом — сто всадников обнажили сабли к бою.

Котовский оглянулся на отряд и крикнул, пронзая своим голосом гулкий топот, будто клинком тело врага:

— Даешь Антанту! М-а-а-р-ш!

Через минуту отряд влетел на широкие улицы предместья.

Еще несколько минут, и отряд карьером влился в тесные, зажатые каменными рядами стен улицы города.

Сверкая саблями над головами коней, сотня первых всадников прославленной потом в веках конницы Котовского летела по улицам Одессы, и из-под копыт коней даже днем, даже при ярком полуденном солнце летели искры.

Все, кто держал оружие в руках, бросали его и разбегались во все стороны.

На улицах Одессы конница Котовского праздновала день своего рождения.

4

Было уже после полудня,— и вдруг само небо над городом и морем будто разверзлось и раскололось пополам, а затем еще на тысячи кусков. Городские здания так тряхнуло, что завибрировали и зазвенели стекла. Казалось, задрожала сама земля, и с моря в город в страшных стократных перекатах, словно в гигантский шторм, ударила волна за волной и отдалась громовым эхом. От этого эха стекла в верхних этажах со звоном посыпались на тротуары.

Это грянул залп тяжелой артиллерии французской эскадры, стоявшей на рейде.

Залпы гремели один за другим; с моря через кварталы го-

рода летели тяжелые «чемоданы». Разрывы послышались не сразу — далеко.

Артиллерия эскадры била еще не по городу: снаряды ложились за Пересыпью и Куяльником — на Жеваховой горе.

Телефонная связь немедленно уведомила Совет: из-за Дофиновки и лимана на Жевахову гору вышли авангарды партизан Николая Столярова, Визерского и Тилигуло-березанского отрядов.

Александр Столяров вызвал Воронцовский дворец и передал трубку Гале.

В трубке долго молчали. Наконец, донеслась французская речь. Говорил какой-то офицер — командир подразделения зуавов: в Воронцовском дворце, в резиденции консула Франции с особыми полномочиями, сейчас находились на постое только что перебазированные из городских казарм боевые части, а ставка главного командования еще глухой ночью... перебазировалась на военный корабль.

Загремел третий залп, пока Александр Столяров добывал сведения с телефонной станции. Дежурная телефонистка сообщала: под Военным молом стоит на причале флагман эскадры «Жан Бар», и его внутренняя телефонная сеть подключена к городской, флагман ведет беспрерывные разговоры со своими частями и подразделениями на берегу.

— Давай, барышня, флагмана! — приказал Столяров.

— Он сейчас говорит с Екатерининской площадью, восемь,— ответила телефонистка,— там находится их контрразведка.

— По шапке контрразведку! — приказал Столяров.— Давайте, барышня, я скажу ему пару слов!

В трубке щелкнуло, и Галя услышала французскую речь. Галя сразу узнала голос генерала д'Ансельма. Потеряв на проводе собеседника, генерал кричал:

— Алло, алло! Полковник Морисье! Полковик Морисье! Где вы?

— Пардон! — сказала Галя.— С вами говорит Совет рабочих депутатов. Это вы, мосье генерал?

Ошарашенный генерал секунду молчал, однако сразу же сориентировался и учтиво ответил:

— Я вас слушаю. Здравствуйте. По голосу узнаю, что это говорит знакомая мне девушка, секретарь Военно-революционного комитета?

— Вы не ошиблись, генерал,— ответила Галя.— А рядом со мной председатель Совета, товарищ Столяров. Он хочет передать вам несколько слов.

Генерал д'Ансельм любезно откликнулся:

— О! Очень рад! Передайте мой утренний привет мосье... товарищу Столярову!

— Он вам тоже передает утренний привет,— сказала Галя,— и просит вас выслушать следующее...

Галя минуту помолчала, внимательно слушая Столярова, и затем перевела:

— Если стрельба сию же минуту не будет прекращена, то Совет снимает с себя ответственность за жизнь иностранцев, которые находятся еще на берегу.

Снова прогремел залп.

— Поторапливайтесь, генерал! — крикнула Галя.— Поторапливайтесь! Товарищ Столяров через пять минут должен отдать приказ...

Генерал д'Ансельм молчал только две секунды. Через две секунды долетел его ответ:

— Хорошо, мадемуазель. Передайте мосье товарищу Столярову, что я отдаю приказ. Может быть, будет еще один залп, пока мой приказ дойдет до рубки командующего артиллерией...

Но приказ генерала дошел молниеносно: больше не раздалось ни единого залпа.

— Ну что ж,— сказал Столяров, когда разговор с генералом был закончен,— хотя мы еще не имеем в городе всей полноты власти, но командование интервентов нам уже подчиняется.

Но Столяров проговорил это несколько позже, а до того беседа с генералом еще продолжалась.

Столяров сказал:

— Насколько я понимаю, генерал, вы уже начали эвакуацию? Я считаю так: раз вы сами перебазировались на судно, то, надо полагать, именно для того, чтобы непосредственно руководить погрузкой армии?

Генерал ответил чуть слышно — так, что Гале пришлось извиниться и попросить повторить. Генерал повторил:

— Я получил приказ высшего командования и выполняю его. Но мне необходимо на эвакуацию две недели.

— Двое суток,— сказал Столяров.— Но имейте в виду: двое суток с момента нашей последней беседы с вами ночью. Следовательно, двенадцать часов первых суток уже миновало.

Генерал помолчал, затем спросил:

— На каком основании вы действуете так категорически?

Столяров ответил:

— Я получил приказ моего высшего командования и выполняю его.

Генерал снова помолчал, потом ответил запутанной в галантных выражениях фразой, содержание которой надо было понимать так:

— О, мосье! Я солдат, вы солдат, и мы один другого пре-

красно понимаем: каждый из нас должен выполнять приказ своего высшего командования. Неумолимое течение жизни покажет вам, насколько реальны приказы высшего командования, сидящего в тылу, когда эти приказы выполняют солдаты на линии огня...

— Что ж,— согласился Столяров,— пусть будет так: пусть жизнь нас с вами проверяет.

Однако он не дал после этого отбоя, а продолжал:

— Среди наших требований было еще одно: немедленно возвратить нам Николая Ласточкина.

На этот раз генерал молчал долго. Наконец, он ответил растерянно:

— Я не имею возможности выполнить вашу просьбу: Николай Ласточкин умер...

— Мерзавцы! — не выдержав, вскрикнула Галя.— Ах, какие вы мерзавцы!

Она заплакала.

Столяров понял и без перевода. Поняли и все другие товарищи. Телефон стоял на столе председателя Совета, и коллегия народных комиссаров вместе с президиумом заседала в полном составе. Все молча поднялись и склонили головы.

Генерал там, на другом конце провода, говорил:

— Я выражаю свое соболезнование. Я только солдат, а контрразведка в боевой обстановке действует иногда самостоятельно. Я выражаю свое сожаление, контрразведка поторопилась... Тело Ласточкина — в море, где-то вблизи тюремного транспорта номер четыре.

Генерал говорил сейчас с искренним огорчением. Но огорчала его не гибель замученного руководителя большевистского подполья. Перед генералом лежали две депеши с искрового телеграфа флагмана «Жан Бар». Одна депеша была получена из ставки главнокомандующего всех вооруженных сил Антанты на Востоке генерала Франшэ д'Эсперэ, вторая — из Парижа, из военного министерства, за подписью самого военного министра Франции, мосье Пишона. Первая депеша разрешала генералу д'Ансельму, командующему вооруженными силами Антанты на юге Украины, вывести сухопутные части союзных войск с территории Одессы и всего одесского плацдарма, а эскадре приказывала оставаться на рейде и прикрывать отступление войск. Вторая депеша предлагала генералу д'Ансельму передать свои полномочия высшему начальнику — генералу Бартелло. Одновременно депеша уведомляла, что дело бывшего командующего вооруженными силами Антанты на Украине генерала д'Ансельма, а именно вопрос о поражении на одесском плацдарме, передано на рассмотрение военного трибунала Французской республики...

5

Сотня всадников Котовского между тем миновала Пушкинскую и Почтовую. До здания Совета было уже недалеко.

На полном карьере конники промчались мимо роскошного, претенциозного в своей аляповатой росписи здания биржи.

Неожиданно Котовский подал саблею знак и с ходу повернул коня.

Биржа! В разгоряченном первым боем воображении Григория Ивановича возникло представление: там, на бирже, в своей цитадели, в своем храме, в эту минуту должна собраться вся контрреволюция!

Прямо по широкой лестнице Котовский ворвался на коне в роскошный вестибюль, а затем в огромный зал биржи. Подковы коня гулко загремели по мраморным плитам пола.

Вслед за Котовским появились на своих буланках Шурка Понедилок с Сашком Птахой. Потом въехали еще несколько всадников,— огромный зал биржи мог вместить в себя целый кавалерийский отряд.

Но зал был пуст. Акулы капитала удрали заблаговременно.

Опустив саблю, Котовский проскакал по залу вокруг и остановился у низенькой стеклянной перегородки. За перегородкой стояли столы, около них стулья, у стен — узкие и высокие шкафы. Посреди зала на дубовом стеллаже высилась огромная доска, испещренная клетками, точно страничка из арифметической тетрадки школьника. «Валюты» — написано было золотыми буквами вверху над доской. А в клетки вписаны были цифры: «Английский фунт — 63—66, французский франк — 3—3,25, итальянская лира — 1,1—1,15, немецкая марка —1,25—1,35...» Внизу была наклеена полоска бумажки с напечатанным на пишущей машинке текстом: «Котировка иностранных валют дается в русских николаевских рублях, но русскую николаевскую валюту надо после этого исчислять сообразно стоимости американского доллара...»

Это была последняя на одесской бирже котировка иностранных валют.

Финансовые и торговые воротилы бежали, и мертвые цифры банковских спекуляций остались после них печальным воспоминанием.

Перед дверью в кабинет старосты биржи Котовский и другие всадники остановили коней. На изгибе массивного бронзового бра, рядом с дверями, на растянутых розовых подтяжках тяжело покачивалось мертвое тело. Это был Штени. За пять месяцев интервенции из скромного ресторатора Штени превратился в сказочного богача. Капитал его одесская биржа оценивала в миллионы франков. Но вчера вечером за эти миллионы биржа не могла предложить ему и десяти советских рублей.

Сашко Птаха взмахнул саблей и перерезал розовые подтяжки.

Весть о приближении Котовского неизвестно каким образом бежала впереди от квартала к кварталу. В Совете уже было известно, что котовцы ворвались в город. Задержка около биржи встревожила всех, и через проходные дворы канцелярии градоначальника и судебной палаты к бирже прибыл от Совета гонец. Он появился из двора отеля «Бристоль» в ту минуту, когда Котовский подавал команду мчаться дальше.

Гонец на ходу передал Котовскому приказ Совета: хотя белые офицеры уже начали обстрел помещения Совета, Совет еще немного продержится собственными силами, а отряду надо немедленно лететь к банку, из которого белогвардейцы пытаются сейчас вывезти ценности.

Не прошло и минуты, как отряд перестроился и, завернув за угол Полицейской, помчался за своим командиром к конторе государственного банка.

Перед зданием банка стояли четыре грузовые машины, нагруженные кожаными мешками и коваными сундуками. Десятка два офицеров суетились еще возле машин, но моторы уже гудели — машины были готовы двинуться к порту, на пароход «Кавказ» и за пределы советской земли...

Шашки конников сверкнули, и котовцы с ходу врубились в толпу офицеров.

После этого машины были поставлены в центр, конники окружили их, и отряд двинулся дальше, по направлению к Оперному театру. Моторы машин глухо урчали на малой скорости, степные кони шарахались и прядали ушами, но твердые руки всадников сдерживали их, вздыбливали и возвращали назад в строй. Ценности города, народное достояние у грабителей было отбито, и теперь его надо было передать законному владельцу — Совету.

Когда отряд появился в тылу белогвардейцев, осаждавших дом Совета со стороны Пушкинской, Ришельевской и Ланжероновской улиц, белые цепи повернулись против конницы, пытаясь обороняться. Но котовцы врубились, смели ряды белогвардейцев и подгарцевали к подъезду Совета.

Члены президиума и народные комиссары стояли на баррикаде и приветствовали партизанский отряд областкома.

Котовский спрыгнул со своего высокого жеребца, бросил повод Сашку, подошел валким, но четким кавалерийским шагом и отдал оголенной шашкой салют красному знамени на флагштоке. Затем он отрапортовал Столярову:

— Конный отряд днестровских партизан, выполняя ваш приказ, прибыл в распоряжение Совета рабочих депутатов города Одессы. Золотой запас города Одессы — вон там, на тех четырех бензопхайках.

Шурка Понедилок и Сашко Птаха на своих казацких бу-

ланках стояли рядом, позади Котовского. Буланки тыкали мордами в спину Григория Ивановича.

В эту минуту из среды членов президиума Совета, негромко вскрикнув, выдвинулся старый Птаха Петро Васильевич. То замирая на мгновение, то снова бросаясь вперед, он продвигался вдоль баррикады к буланому, на котором сидел Сашко. Лицо Петра Васильевича то вспыхивало гневом, то все покрывалось мелкими морщинками радостного смеха.

— Ах ты висельник! — всплескивал руками Петро Васильевич.— Так ты, выходит, жив?

Сашко исчез из дома около месяца тому назад, и отец с матерью уже оплакивали его: решили, что мальчика где-то подстрелили, когда он, отбившись от рук, шатался по городу.

У Петра Васильевича так быстро менялось выражение лица, что невозможно было понять — бросится ли он на радостях обнимать сына, или снимет ремень и учинит тут же, на месте, суровую отцовскую расправу.

Заметив и поняв неопределенное душевное состояние счастливого отца, Григорий Иванович движением руки остановил старого рыбака.

— Полегче, полегче, Петро Васильевич! — сурово промолвил он.— Твой Сашко — мой адъютант, и сейчас он при исполнении боевого задания.

Сашку уже второй раз за сегодняшний день приходилось изумляться: его отец, старый «шкарбан», которого он к тому же подозревал в связях с контрабандистами и барахольщиками, оказывается, был... тоже большевик, да, кажется, еще и член президиума Совета...

В это время водолазы Морского райкома прислали связного.

Как только стало известно, что тело Ласточкина под волнорезом, водолазы надели скафандры и спустились на дно. Они обшарили все дно вокруг транспорта номер четыре и теперь докладывали, что тело Ласточкина найдено.

С камнем, привязанным к ногам, Николай Ласточкин стоял в воде под транспортом. Ногти на руках у него были сорваны, все тело сожжено и исколото. Палачи выкололи ему глаза...

На борту транспорта обнаружили еще одного человека, оставшегося в живых после тяжких истязаний: у него были вывернуты руки и ноги. Замученный назвал себя фельдшером Власом Власовичем Тимощуком и рассказал, что от него добивались, чтобы он выдал место пребывания Григория Котовского.

Члены президиума Совета и народные комиссары обнажили головы, печально склонились котовцы на конях.

Григорий Иванович заплакал.

Иван Федорович! Друг и советник, верный и стойкий большевик!.. Влас Власович! Милый, честный старик...

— Ну,— утер глаза Григорий Иванович,— пусть теперь буржуазия попомнит! Заплачу я ей сполна за друга моего — большевика Николая. Не умру, пока на свете будет жив хоть один паразит! За искалеченные руки и ноги старого фельдшера они тоже заплатят...

Григорий Иванович вскочил на коня и осадил его перед Столяровым.

— Слушаю ваш приказ! — И, помолчав, добавил: — Давай, Александр Никодимович, сразу, с ходу, сердце у меня закипает кровью...

Отряд Котовского получил приказ прорубиться сквозь пикеты белых, соединиться с отрядами Николая Столярова, тилигульских и визерских партизан и совместно с рабочими дружинами очищать город от интервентов.

Когда отряд тронулся, с севера, издалека, ветер донес гул далекой канонады.

Эта канонада звучала так: сначала слышался разрыв близко, а потом, через некоторое время, долетал звук далекого выстрела. Слухачи-специалисты сразу же определили, что после выстрела доносится отзвук железного грохота: били пушки бронепоездов.

Это, наступая по железной дороге с севера на город, сметая греческие и французские заслоны, приближалась Красная Армия.

Столяров приказал связаться с железной дорогой и точно определить координаты наступающих частей.

Но пока удалось добыть сведения с железной дороги (белые где-то перерезали телефонную линию), бойцы-связисты принесли еще два важных сообщения.

Батальон полка имени Старостина и Морской батальон, действуя на территории порта, отбивают у белых и французов имущество, которое те собираются грузить на пароходы. Отбили порядочный транспорт с продовольствием: французские галеты и американские консервы.

Столяров приказал:

— Немедленно организовать развоз консервов и галет на заводы. Заводским комитетам распределить продовольствие среди рабочих.

И второе сообщение: французские части, сконцентрировавшиеся было в районе Воронцовского дворца, получили, вероятно, приказ, и сейчас колонны их движутся по Николаевскому бульвару. Через несколько минут колонны национальной французской пехоты с минометами, полевой артиллерией и танками должны появиться на площади перед Советом.

— Все к оружию! — приказал Столяров.

Два-три десятка бойцов охраны с несколькими пулеметами, приблизительно столько же членов президиума Совета и только

что назначенные народные комиссары с пистолетами и гранатами в руках залегли за баррикадой перед входом в Совет. Шла армия оккупантов не менее чем в пятнадцать — двадцать тысяч штыков...

В эту минуту с Пушкинской улицы вылетели на рысях десятка два тачанок. На каждой тачанке был пулемет. На первой тачанке, вытянувшись во весь рост, в солдатской шинели и папахе с красным бумажным цветком на том месте, где была когда-то кокарда солдата царской армии, стоял Степан Жила.

Солдат-фронтовик сразу же оценил обстановку.

— Разворот! — подал команду Жила, и его гулкий голос степовика покатился перекатами в каменных улицах и переулках, окружавших площадь.— Пулеметы к бою!

Тачанки одна за другой разворачивались по полукругу овальной площади. Потом каждая тачанка описывала круг на месте, кони дыбились и врастали в асфальт. Теперь тачанки были повернуты пулеметами на угол бульвара. К каждому пулемету припал наводчик. Припал к своему пулемету на первой тачанке и Степан Жила.

6

Труба французского горниста заиграла за углом бульвара.

И вдруг грохот от топота по мостовой сотен тяжелых кованых бутсов докатился из-за угла, хотя самих солдат еще не было видно: их шеренги из-за угла еще не появились.

Это был топот, гулкий и громыхающий, точно рушились береговые кручи, подмытые морским прибоем. Он не был похож на чеканный шаг, когда шеренга за шеренгой идут батальоны маршевым строем. Он больше напоминал ленивое шарканье усталых ног — нестройное шуршание по булыжнику тысяч подошв. И шарканье это слышалось перекатами — один перекат набегал на другой, как набегает волна за волной на морской берег, покрытый галькой.

Солдаты шли не в ногу, лениво шаркая сапогами.

Вот показались из-за угла первые шеренги.

Это была национальная французская пехота в серо-голубых мундирах и маленьких кепи с крутыми козырьками.

Вышел первый ряд, вышел второй. Ряд за рядом шаркали французские пуалю по мостовой, у каждого солдата на ремне за плечом дулом вниз висел карабин.

Пехота шла не в бой. Она двигалась не спеша, походным порядком. Солдаты пересекали площадь и заворачивали вправо, на Пушкинскую улицу. С живым любопытством поглядывали они на баррикаду, слева отгораживающую площадь.

Проходила рота за ротой. После роты пуалю появилась рота зуавов, затем снова рота пуалю и рота мальгашей: разные роды войск были наспех перемешаны или с какой-то определенной целью перетасованы.

Связной подал Столярову четвертушку жесткой сахарной бумаги. Из-за нехватки бумаги в осажденном городе теперь все сообщения и приказы печатались на оберточной бумаге.

Это было сообщение ставки командования союзного десанта на юге Украины. Тысячи таких листовок разбрасывались сейчас в центре города. Сообщение было краткое. Вот его точный текст:

«Союзники сообщают, что в ближайшее время не имеют возможности доставить продовольствие в Одессу. Поэтому, с целью уменьшения количества едоков, они приняли решение начать частичную эвакуацию».

И это все.

Стыдливо сообщала о своем отступлении из Одессы и с одесского плацдарма семидесятитысячная оккупационная армия, которой приданы были двадцать тысяч различных контрреволюционных вооруженных формирований,— армия Антанты, оснащенная всеми видами наилучшей военной техники.

Они отступали потому... что не могли доставить продовольствие...

Столяров не мог сдержать улыбку.

Серый клочок бумаги пошел по баррикаде из рук в руки — и веселый смех зазвенел среди опрокинутых бричек, «штейгеров», письменных столов, пустых бочек из-под вина и фонарных столбов, сваленных в одну кучу.

Кто-то из бойцов влез на баррикаду, сорвал с головы фуражку и подбросил ее вверх.

Кое-кто из французских солдат ответил. Пуалю тоже срывали с головы кепи и махали ими. Долетело и несколько приветствий:

— Вив ле большевик!

Командование, штабы и канцелярии оккупационной армии спешно грузились на корабли и пароходы, стоящие в порту, а оккупационная пехота из-за недостачи морского тоннажа должна была эвакуироваться пешим порядком: на Тирасполь и Бендеры, через Бессарабию — в румынские города и порты.

Шли пуалю французских национальных полков, шли французские колониальные стрелки — зуавы, сенегальцы, мальгаши шли бенгальцы, только что прибывшие сюда под английским командованием.

В это время со стороны Градоначальницкого спуска появилась процессия.

Около пятидесяти бойцов из рабочих дружин — в засаленных кепках и робах, в матросских бескозырках и бушлатах,

в штатской одежде, опоясанные крест-накрест пулеметными лентами,— двигались тесным каре с винтовками наперевес. В середине каре на высоко поднятых руках четыре дружинника несли санитарные носилки. Пятый шел впереди носилок, держа обеими руками большой, полуторапудовый, камень. Камень был крест-накрест перевязан железной проволокой, а другой конец ее привязан к ногам человека, лежавшего на носилках. Это было тело замученного и утопленного руководителя одесского подполья — большевика Николая Ласточкина, Ивана Федоровича Смирнова.

Траурное каре двигалось навстречу ротам французских солдат по улице, которая с той минуты навсегда будет названа улицей Ласточкина...

Вот одесские рабочие и французские солдаты сблизились, поровнялись и миновали друг друга.

Траурное каре остановилось у баррикады. Дружинники опустили на землю носилки и выстроились позади. Они приставили к ноге винтовки и сняли шапки. Печально опустив обнаженные головы, с винтовкой в одной руке и шапкой в другой, стояли рабочие-дружинники перед Советом, прощаясь со своим погибшим руководителем. Члены Совета и бойцы охраны тоже скорбно склонились.

Согбенные горем, стояли члены Совета — большевики, которые вышли из подполья и взяли власть в свои руки; в глубокой скорби стояли рабочие, поднявшие оружие, чтобы утвердить власть Советов на своей родной земле; поднялись на своих тачанках и, склонив головы, стояли у пулеметов крестьянские повстанцы, которые спешили в город — на помощь восставшему пролетариату. Тело героя-бойца, отдавшего свою жизнь за власть Советов, лежало перед ними.

Мимо погибшего героя революции проходили, отступая с этой земли, полки интервентов...

И понемногу беспорядочное шарканье начало входить в ритм. Глухой шорох подошв постепенно перешел в четкий топот. Солдаты без команды начали отчеканивать удары каблуками — и беспорядочное шарканье постепенно сменилось торжественным церемониальным маршем.

Французские пуалю, колониальные стрелки — французы, сенегальцы, мальгаши и бенгальцы — вытягивались, прижимали карабины локтем, выравнивали строй, поворачивали головы равнением налево. Они шли церемониальным маршем, отдавая воинскую честь живым и погибшему, мимо которого они дефилировали, покидая побежденными советскую землю.

Вдруг среди рядов французских солдат зазвенел молодой звонкий голос:

Debout, les damnés de la terre...

Минуту он звучал одиноко. Но вот песню подхватил еще кто-то. Потом сразу откликнулось несколько голосов. И тогда сотнями голосов загремел над площадью советского города на французском языке «Интернационал».

Могучий пролетарский гимн дружно зазвучал над шеренгами солдат и гремящим потоком покатился по улицам освобожденного города.

Члены президиума Совета отдали честь. Бойцы охраны и дружинники стали «смирно» у тела Ласточкина.

Они отдавали честь гимну пролетарской интернациональной солидарности, отдавали честь восставшему народу.

Гимн пролетарской международной солидарности пели солдаты побежденной армии интервентов.

7

Три или четыре месяца назад эти солдаты прибыли сюда, чтобы раздавить пролетарскую революцию. Прибыло их семьдесят тысяч; они были оснащены оружием новейших образцов и лучшей военной техникой. Но это были рабочие и крестьяне — и язык рабоче-крестьянской революции нашел отклик в их сердцах. Их пригнали сюда вести войну против большевиков и уничтожить большевизм, но большевистское слово и дела большевиков разложили эту армию и привлекли солдат ее на свою сторону. Вооруженная до зубов армия интервентов стала небоеспособной, ее части отказались воевать против своих братьев по классу, ее солдаты заявили протест против грязной, антинародной войны.

Сегодня они уходят с земли восставшего против интервентов и контрреволюции советского народа, а завтра они восстанут сами — против войны, за мир между народами, за солидарность с бойцами пролетарской революции, за пролетарскую революцию.

Пройдет только десять дней, и французские моряки с миноносца «Протэ», линкоров «Франс», «Жюстис», «Вернье», «Мирабо», канонерок «Альголь», «Эско», «Скарп» и самого флагмана оккупационной эскадры дредноута «Жан Бар» — моряки всех кораблей, которые в эту минуту стоят на рейде и являются очевидцами восстания в Одессе, вместе с солдатами Сто семьдесят шестого пехотного полка, отступающими сейчас из Одессы,— пойдут по улицам Севастополя под красным знаменем и примут в свою грудь первые пули французской контрреволюции.

Взовьется тогда на одесском рейде красный флаг на крейсере «Вальдек Руссо» и на миноносцах «Мамелюк» и «Факонно». Поднимут красные флаги в честь международной солидарности пролетариев крейсер «Брюк» — на Тендре и

миноносец «Деортер» — в Керчи. Затрепещет красный флаг в Константинопольском порту, на крейсере «Эрнест Ренан», только что прибывшем из Одессы.

Восстанет уже у родных берегов в Тулоне линкор «Прованс», вернувшийся из советских портов на Черном море. А за ним поднимет флаг восстания вся дислоцированная в Тулоне французская эскадра, а также береговые казармы и полки, которые прибудут туда к этому времени после операции на юге России и Украины. Колониальная пехота, артиллерия и инженерные войска восстанут в Рошфоре, Бресте, Венеции, в портах Греции, в Бейруте и Бизерте.

Еще через три месяца восстанет линкор «Кондорсе» и миноносец «Туарег» — когда Антанта объявит «второй поход» на Одессу.

Восстанут, отказываясь снова идти войной против русских братьев по классу, моряки эсминца «Дюнуа», передислоцированного в Балтийское море, и моряки с крейсера «Д'Эстерн», переброшенного на Тихий океан, во Владивосток.

Восстанет и Сто семнадцатый полк тяжелой артиллерии, Четвертый и Тридцать седьмой колониальные полки...

Это они — Сто семнадцатый, Четвертый и Тридцать седьмой — маршируют сейчас по Николаевскому бульвару в Одессе, направляясь походным маршем на Бендеры.

С пением «Интернационала», чеканя шаг, стройными шеренгами проходят они сейчас мимо Одесского Совета рабочих депутатов, салютуя красному знамени.

А красные бойцы и их погибший руководитель принимают парад. Перед российскими большевиками, перед российскими рабочими и крестьянами проходят солдаты французской армии: французские крестьяне и рабочие. Их одели в солдатские мундиры, но воевать против братьев по классу они отказались.

Теперь они вернутся к себе на родину и понесут с собой идею международной солидарности. Они возвратятся в родную Францию, храня в своих сердцах великие идеи пролетарской революции,— и именно из их рядов родится, вырастет и утвердится во Франции передовая партия рабочего класса, которая будет бороться под знаменем Маркса — Энгельса — Ленина за победу коммунизма. Французская коммунистическая партия закалится в горниле классовых битв и покажет всему миру свою храбрость и стойкость в борьбе против эксплуататоров и интервентов — за социальную справедливость, за независимость Франции, за социализм...

К Столярову, который стоял, приложив руку к козырьку старой, потрепанной кепки, подошел матрос-телеграфист с судна «Граф Платов» и подал ему радиограмму.

В ней сообщалось, что в это время на улицы Парижа вышли сотни тысяч рабочих с красными знаменами и транспа-

рантами, на которых горят надписи: «Да здравствует Советская Россия!», «Да здравствует вождь революции Ленин!» Выступая с импровизированных трибун на бульварах и площадях своей столицы, французские пролетарии требуют немедленно прекратить интервенцию и возвратить домой французских рабочих и крестьян, одетых в солдатские мундиры. Митинги проходят под лозунгом: «Руки прочь от России!»

Столяров прочел радиограмму и посмотрел на площадь.

Вооруженная до зубов армия интервентов отступала с освобожденной советской земли под натиском сил трудового народа — народа, сплоченного первой коммунистической партией в мире, Российской Коммунистической партией большевиков. И коммунисты этой партии, молодые солдаты революции и еще более молодые строители социализма, принимали парад.

И у каждого из них на сердце было торжественно и радостно.

Они знали, что много еще трудностей и битв ждет их впереди, и готовы были эти трудности преодолеть и выйти из боев победителями. Они понимали, что врагов на свете еще будет много и не один раз враг будет зариться на народные богатства и покушаться на завоевания социалистической революции. Они осознавали, что в силу обстоятельств борьбы впереди еще могут быть и временные неудачи и серьезные поражения, возможны еще новые интервенции,— нога врага может снова ступить на их родную землю, испоганить ее.

Но они знали также — и знали это по собственному опыту,— что советская земля никогда не примет воинствующего чужестранца-интервента, всегда выбросит его вон или похоронит в себе, ибо в руках советского народа, в руках социалистических наций есть самое могучее оружие: дружба народов и единение трудящихся всех наций — вопреки стремлениям угнетателей и иноземных захватчиков.

Они были молодые бойцы и молодые строители, но они имели уже большой опыт: опыт Великой Октябрьской революции.

И победители стояли гордые и взволнованные: армия побежденных отступала, приветствуя победителей и прославляя их...

Город уже не был безлюден. Город жил. Люди вышли из подвалов, в которых прятались во время боя, и волнующим морем заполнили улицы. Люди были голодны, истощены, терроризированы жестоким захватчиком. Они так много увидели горя от интервенции, так много крови пролили в борьбе против этих солдат в мундирах оккупационной армии. Но вот эти солдаты в мундирах армии интервентов идут, распевая гимн международной солидарности, и бросают винтовки на мостовую,— камни гремят от гула винтовок,— и люди плачут от пережи-

того горя и только что изведанной радости и обнимают людей в солдатских мундирах.

Солдаты в мундирах врага тоже объявили войну войне и опять стали просто людьми, только людьми.

Гремели с севера пушки. К окраинам города, сметая последние заслоны интервентов и контрреволюционных банд, с боями приближалась Красная Армия.

Над городом гремел «Интернационал». Еще никогда и нигде не пел такой огромный хор — десятки тысяч голосов. Побежденная армия интервентов с пением «Интернационала» дефилировала перед победителями.

Парад принимали под красным знаменем у входа в здание высшего органа народной власти — Совета — представители народа-победителя — коммунисты.

Одесса — Киев

ПРИМЕЧАНИЯ

Охочекомонный — вышедший из употребления термин, относящийся к украинским казацким кавалерийским полкам; казаки являлись в полки со своим собственным снаряжением и на собственной лошади.

«Великопольша од можа до можа» («Великая Польша от моря до моря») — лозунг польских националистов-великодержавников, желавших присоединить к Польше украинские земли до Черного моря.

Курень — шалаш. Запорожцы называли «куренями» большие избы, в которых жили казаки-запорожцы. Соответственно этому назывались и ...ные запорожские полки. Петлюровцы так называли свои войсковые ..., соответствовавшие приблизительно батальону.

...та — стража. Во времена гетмана на Украине так называлась ...

Протофис — организация, объединявшая крупных промышленников, оптовых торговцев и банкиров.

Громада — буквально общество. В те годы — наименование националистической организации.

«Просвита» — самодеятельные культурно-просветительные организации до революции. В годы революции — буржуазно-националистические организации.

Гетманская «лопатка» — так называли в народе ассигнации гетманского банка, напечатанные в Германии, купюрой в пятьдесят рублей. На этой ассигнации был изображен крестьянин с лопатой в руке.

Румчерод — сокращенное название Исполнительного комитета Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесской области. Вначале Румчерод поддерживал Октябрьскую революцию, позже главенствующую роль в нем стали играть эсеры и меньшевики.

Булава — знак гетманского достоинства в старину на Украине.

Клейноды — атрибуты власти, регалии.

Поалей-цион — националистическая сионистская организация.

Штейгер — извозчик с коляской-линейкой (другое название — «гитара»)

С е ч е в и к и — в годы гражданской войны так называл
и офицеры особо реакционных контрреволюционных специал
петлюровской армии — «сечевых стрельцов».

Г а й д а м а к и.— В историческом прошлом Украины гайдамак
новались повстанцы против панов и польской шляхты. В годы г
ской войны это название присвоили себе специальные войсков
петлюровцев, нечто вроде националистической гвардии.

Т р а м о н т а н а и г о р о в о й — местные названия ветров,
ствующих в районе одесской бухты.

Ж о в т о б л а к и т н и к и — так называли петлюровцев, укр
националистов, принявших флаг из двух полотнищ — желтого и
(по-украински голубой — блакитный).

О с е л е д е ц — буквально селедка. Так называли в старину
чуб, оставляемый на выбритой голове украинскими запорожцами.

Б у н ч у ж н ы й — военное звание в старинных украинских
частях. Использовано как звание и в частях петлюровцев.

Д ж у р а — слуга, прислужник. В петлюровских частях — ден
стовой.

Г а р б а — большая, длинная телега.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Юрий Корнеевич Смолич

Рассвет над морем

Редактор *Р. Мина*

Художник *Д. Бисти*

Худож. редактор *Г. Кудрявцев*

Технич. редактор *М. Позднякова*

Корректоры *М. Доценко* и *А. Сергиенко*

*

Подписано к печати с матриц 14/VIII 1956 г. А06720.
Бумага 60 × 92 1/16—42,75 печ. л. = 43,74 уч.-изд. л. +
+ 1 вклейка = 43,8 л. Тираж 150 000 экз.
(75 001—150 000). Зак. № 1780. Цена 14 р. 65 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

3-я типография «Красный пролетарий»
Главполиграфпрома
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.



